ISSN 0130–6545

1. 1980

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Многоцветные бусинки

На 2, 3 и 4 страницах обложки
иллюстрации к статье «Сокровища славянской старины»

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА.

1 Январь 1980

Содержание

АРИЭЛЬ ДОРФМАН — Исчезнувшие *(Поэма. Перевод с испанского Инны Тыняновой)* 3

Рассказы писателей ГДР

РУТ ВЕРНЕР. АНГЕЛА СТАХОВА. ВОЛЬФГАНГ МЮЛЛЕР. ХЕЛЬГА ШУБЕРТ. МАРТИН СТЕФАН *(Переводы с немецкого Н. Литвинец, Т. А. Холодовой, Е. Шлоссер, Н. Беляевой, В. Вебера)* 12

ЯСУСИ ИНОУЭ — Охотничье ружье *(Новелла. Перевод с японского Б. Раскина)* 47

АТАНАС ДАЛЧЕВ — Стихи *(Перевод с болгарского Марии Петровых. Вступление Д. Самойлова)* 73

АДАВАН — Крылья *(Повесть. Перевод с тамильского А. Ибрагимова)* 78

НОРМАН ЛЬЮИС — Сицилийский специалист *(Роман. Перевод с английского Н. Емельянниковой)* 117

Критика

Адрес — Шушенское (Из выступлений участников Всесоюзной конференции, посвященной 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина) 204

Е. ГЕНИЕВА — Берега Малькольма Брэдбери 210

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ — Собака, затянутая песками *(Перевод с английского Н. Васильевой)* 215

Заметки писателя

ЛАРС ЮЛЛЕНСТЕН — «Я — лишь чей-то отзвук, чей-то след» *(Предисловие и перевод со шведского Катарины Мурадян)* 222

Публицистика

С. КОНДРАШОВ — Блики Нью-Йорка (Вместо воспоминаний) 230

Антирубрика

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА — Песок на зубах *(Перевод с итальянского Е. Дмитриевой)* 257

ДЖАННИ РОДАРИ — Война поэтов *(Перевод с итальянского Л. Вершинина)* 258

ДЖУЗЕППЕ Д'АГАТА — Жизнь и смерть одного «спайдера». Художник по воскресным дням. Дьявол-77 *(Перевод с итальянского Г. Богемского)* 261

ДЖУЗЕППЕ БРУНАМОНТИНИ — Неподобающее поведение *(Перевод с итальянского Л. Вершинина)* 265

Наши гости

М. Тарасова — Божидар Божилов. Лучезар Еленков (Болгария) 267

К нашим иллюстрациям

Святослав Бэлза — Сокровища славянской старины 269

Среди книг

Издано в СССР

Илья Фоняков — Млечный Путь и капустное поле ◆ Ю. Суровцев — Читая Эрвина Штритматтера, или К вопросу о диффузии жанров... 270

Издано за рубежом

По мнению американских критиков... Роберт Тауэрс — Изящество почерка. Роджер Сейл — Портрет художника 274

Из месяца в месяц 280

На обложке: ЯН ХАЛА (Чехословакия). Танец.

© «Иностранная литература», 1980.

АРИЭЛЬ ДОРФМАН

(ЧИЛИ)

Исчезнувшие

ПОЭМА

Перевод с испанского ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

И с ч е з н у т ь — пропасть без вести, перестать существовать, обратиться в ничто или нечто незримое.
(Из толковых словарей.)

Начиная с сентября 1973 года более двух тысяч пятисот человек пропали без вести в Чили.

МЫТАРСТВА

разузнавать сопоставлять сведения идти в полицию нанимать адвокатов подписывать прошения стучаться во все двери беседовать с родственниками искать былых возлюбленных домогаться влиятельных лиц обращаться в суд говорить с бывшими заключенными собирать слухи снова обращаться в суд видеться с другими семьями отпечатать снимки встретиться с иностранным журналистом посылать новые письма вскакивать среди ночи когда у дома остановилась машина слышать что твоя невеста выходит замуж за другого перечитывать твою тетрадь второго курса по литературе апеллировать к верховному суду всматриваться в улицу
и всё —
чтоб предать земле
твое тело,
чтоб матери
было куда
приходить с цветами —
ты любил хризантемы,
но за них теперь дорого просят...—
по воскресеньям
и в день
поминанья усопших.

АРИЭЛЬ ДОРФМАН — ARIEL DORFMAN (род. в 1942 г.).

Чилийский писатель, живет в эмиграции. Автор романов, стихотворений, рассказов, очерков, переведенных на многие языки. В последние годы вышли сборники эссе, очерки «Сожженные в Чили» («Ensayos quemados en Chile», 1974), «Культура и Сопротивление в Чили сегодня» («Culture as resistance in Chile today», 1977) и другие. Публикуемая в этом номере поэма «Исчезнувшие» передана автором в рукописи.

У ДЕВОЧКИ ВЫПАДАЮТ МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ

А это кто кто там
рядом с дядей Роберто?
Ах, малышка, ведь это твой папа.
Почему ж он к нам не приходит?
Потому что не может.
Он, верно, умер, наш папа,
потому не с нами?
Если скажу, что отец твой
жив —
это будет ложью.
Если скажу, что отец твой
мертв —
это будет ложью.

Одно скажу тебе, дочка,
не погрешив против правды,
что прийти к нам
он не может...

НАДЕЖДА

Эдуардо Энрикесу, отцу
Эдуардо Энрикесу, сыну

Мой сын неизвестно где,
он исчез бесследно
восьмого мая
прошедшего года.
За ним пришли и забрали
на какой-нибудь час —
объяснили:
только чтоб он ответил
на пару простых вопросов
С тех пор как умчалась машина
— без номера,— мы ничего
больше
о нем не знаем.

Теперь-то все изменилось.
Мы узнали от верного парня
(его отпустили недавно),
что полгода после ареста
пытали нашего сына
в застенках Виллы Гримальди,
что еще в конце сентября
его подвергали допросам
в свежеокрашенном доме,
что раньше был виллой Гримальди.

Говорят, что его узнали
по крикам, по голосу,
что ли.

Пускай мне ответят прямо:
в каком мы живем веке
и как называется эта
страна,
где мы обитаем?
И как же могло случиться —
пускай мне они ответят, —
что все материнское
счастье,
что вся отцовская
радость
заключены в известье
о том,
что пытают сына,
и можно поэтому думать,
что полгода после ареста
он был еще жив, наш мальчик.
и высшая наша
надежда
в том теперь,
чтоб убедиться,
что и в году наступившем,
через восемь месяцев, тоже
его еще всё пытают.

И может быть, о, быть может,
он жив и сейчас, наш мальчик?

ПИРОГ С КУКУРУЗОЙ

Старуха от того,что происходит,
была так далека...
Ее забрали
лишь только из-за нас, из-за детей.
Она ж сама
ни в чем,
совсем ни в чем не разбиралась.
Представь себе ее
у них... Сильней, чем боль,
ее терзало, верно, удивленье.
Разве могла она предположить,
что люди
как они
на свете
существуют?

Уж более двух лет прошло с тех пор,
и нет ее нигде...
Они тогда
вломились в кухню...
На огне остался
кипящий чайник.
И отец, вернувшись,
нашел его пустым
и все кипящим,
а фартука жены не доискался.

Представь себе: она на них глядела
все долгие два года...
и сейчас
еще глядит...
и долгие два года
спадает с глаз старухи
пелена,
что видеть ей мешала.
А эти люди, что и не должны
существовать,
опять всё ближе, ближе...

То мать моя была. Молю судьбу,
чтоб никогда она не возвратилась.

ОПОЗНАНИЕ

Ты говоришь, уже нашли другого?
В реке да? Плохо слышно... Нынче утром?
Его волной прибило?
Не решалась?.. да громче говори...
Неузнаваем?
Настолько, что его и мать родная,
и мать, ты говоришь, узнать не сможет?
Кто? Полицейский?
Так вот и сказал?
Что женщины другие уж смотрели?
Яснее говори!.. Что повернули
его, увидели лицо и руки,
что все стоят вокруг и ждут в молчанье
и в трауре
на берегу реки,
что вытащили из воды его,
что гол он
как в день когда родился?
Что полицейский не ушел еще?
Что не уйдут, пока я не приеду?
Что он ничей?
Ничей, ты говоришь?

Скажи, чтоб ждали, я уж одеваюсь.
А если полицейский тот же самый,
как в прошлый раз,
то знает он,
что будет.
Пускай мое ему запишут имя —
ну, то есть мужа моего — иль сына,
отца, если хотят... я подпишу
все нужные бумаги, пусть дождутся
меня, скажи, я скоро буду, слышишь?

А полицейский чтоб его не трогал,
не приближался ни на шаг. Понятно?

Скажи, чтобы они не волновались:
я хороню сама своих умерших.

ДАТА

И девятнадцатого сентября опять —
уже четыре года скоро... странно,
и не поверишь даже —
ее спрошу:
хоть что-нибудь известно?
Не просочилось что-нибудь?

Ответит она, что нет,
спасибо за вниманье,
в то время как глаза ее мне скажут
то, что сказали в первый раз без слов
(прошло с тех пор три года,
невозможно...),
что нет, спасибо,
тронута вниманьем,
что не вдова я,
что не приближайся,
не будоражь меня,
что за тебя не выйду,
что не вдова
еще я...

БОЛЬШЕ НЕ К КОМУ...

Господь, прости, что ныне беспокоим
тебя своим прошеньем —
нам другого пути уж нет...
От хунты нет ответа,
редакции газет над нами надсмеялись,
прокуратура к рассмотренью дела
не приступает,
даже суд верховный постановил:
процесса не вести.
И нет уже в полиции участка,
который бы посмел
принять прошение,
что всей семьей писали.

Господь, ведь ты везде,
ты посетил
Виллу Гримальди тоже?

Мы слышали, что если кто вступил
в колонию ли Дигнидад,
на вышку ль Военной академии,
в подвалы ль на Лондонской —
на свет уже не выйдет.
Удалось ли
тебе хоть выйти?

Если это так
и вездесущ ты правда,
то ответь нам:
ты сына нашего нигде не встретил?
Герардо? Он крещен в одной из многих
твоих церквей.
Герардо, самый буйный
и самый ласковый из четверых.
Его ты помнишь?
А то тебе мы карточку пошлем,
из тех, что уличный фотограф как-то
снял в воскресенье...
Еще примета: в тот последний раз,
когда его видали мы в тот вечер,
когда раздался стук и в нашу дверь,
уж после ужина. на нем жилет был синий
и выцветшие джинсы.
Он их носит
и посейчас наверно...

Ты все видишь, Господь...
Скажи, его не видел ты?

ДВА ПЛЮС ДВА

Все мы знаем, товарищ,
сколько шагов
от камеры нашей до этой залы.

Если двадцать —
тебя не ведут уж в баню
Если сорок —
не отведут на работы.

Если ж дважды по сорок прошел ты
и начал уже подыматься,
вслепую и спотыкаясь,
по лестнице темной,
о, если дважды по сорок,
то нет уж такого места,
куда отвести тебя могут,
нет уж такого места,
нет уж другого места,
о, нет уж такого места.

АВТОБУС ТОЛЬКО ЧТО УШЕЛ, И Я ОПАЗДЫВАЮ НА РАБОТУ

(Исчезнувшему другу)

Глазам бы моим источать мочу вместо слез,
чтоб тебя оплакать,
исходить бы слюною, пóтом, горечью вздохов,
проливаться вином,
умирать растоптанным виноградом.
Рту моему извергать бы коршунов вместе с кашлем
и плеваться тяжелой, зеленою тишиною,

чтоб от меня осталась одна лишь сухая кожа,
непригодная даже на чучело птицы иль зверя.
Так должен бы стать я
кровавою, гнойной раной,
чтоб тебя оплакать,
чтоб ближе...
чтоб нас оплакать.

СНАЧАЛА МЫ СОСТАВИЛИ СТУЛЬЯ ВМЕСТЕ, А ПОТОМ ПОЛОЖИЛИ НА НИХ ОДЕЯЛА. ПОЛУЧИЛСЯ СЛАВНЫЙ ДОМИК — ТОЛЬКО ДЛЯ НАС. ТЕПЕРЬ ДАВАЙ ИГРАТЬ: Я БУДУ ПАПА, А ТЫ МАМА. БУДЕМ ГОВОРИТЬ, КАК ОНИ ГОВОРЯТ, КОГДА ДУМАЮТ, ЧТО МЫ УЖЕ ЗАСНУЛИ. ИДЕТ?

Если ночью за мной придут...
Тогда я, мама, знаю, что надо делать.
Дождаться утра
и пойти к адвокату, дяде Антонио.
А если они среди дня нагрянут...
Тогда я уведомлю дядю Леандро,
он с партией связан.
Осторожно, чтоб за тобой не следили.
Осторожно, чтоб за мной не следили.

А если они заберут и тебя?
Уж этого быть не может.
Но вдруг они захотят
увести и тебя тоже?
Тогда я, мама, скажу детям,
что Хуан — изо всех старший
и знает, что надо делать.
Тише! Про нас говорят, слышишь?
Про нас разве?
Про тебя, про меня, про Хуана,
как в тот раз, помнишь?
В тот раз я
спала крепко.
А вдруг они уведут и детей
...Об этом спроси сама,
ведь ты мама.
Так и спросить?
Уведут ли детей?
Так, прямо?
Да, и тогда я, папа,
стану тебя бранить, повышу голос.
Этого, я скажу, никто не посмеет,
глупых не задавай вопросов!
А я, мама на это скажу...
Что ж я должна сказать на это?
А ты ничего не скажешь.
Ты будешь молчать и плакать.
Как сейчас. Понятно?

МОИ ТОВАРИЩИ ПО КАМЕРЕ УСНУЛИ

Ты входишь в комнату
единственную нашу,
и, чтоб не разбудить детей,
не зажигаешь
света.

Ты сбрасываешь в темноте одежду,
протягиваешь под одеялом руку
и теплое нащупываешь тельце
последней, самой
младшей,
той, кого не знаю,
той, что родилась позже.
И так, раздетая, стоишь возле постели,
все не ложась,
с открытыми глазами,
и слушаешь, как дышат
наши дети.

Тебе назавтра снова надо в суд,
и там тебе опять что нет... ответят —
чтоб ты опять пошла искать работу,
чтоб ты опять просила где-то в долг —
и всё что нет, что нет,
что лучше завтра
вы приходите...
Но не станем плакать, тише...
— хотя сейчас-то можно:
спят вокруг
и нечего бояться —
детских лиц
полна ночная темнота.

Я НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ОН ЖИВЕТ, МЫ РАЗОШЛИСЬ ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛАСИЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ЛАДИЛИ. Я ОСТАЛАСЬ С ДЕТЬМИ И ИНОГДА ПОЛУЧАЮ ОТ НЕГО ПИСЬМА БЕЗ ОБРАТНОГО АДРЕСА. ЭТО ВСЕ, ЧТО Я МОГУ ВАМ СКАЗАТЬ.

Мне-то самой,
чтоб найти тебя,
надо тебя, засыпая,
вспомнить.
И лишь иногда,
если мне повезет,
ты под утро
приходишь
сквозь то, что теперь называю
сном я.

Полиция тайная, будь уверен,
не занимается снами.
А если она в мой сон неверный
ворвется какой-то неведомой ночью —

я сразу услышу,
как чья-то машина
притормозила у нашей двери,
как на ходу кто-то спрыгнул,
как по улице чьи-то шаги
застучали,—
здесь не будет тебя,
чтоб узнать об этом,
— скажут: меня и не брали вовсе —
чтоб защитить,
чтоб искать
позже...

КАМЕННОЕ СОЛНЦЕ

Лицом к стене
поставили пленника.
Солдат, приближаясь,
связал ему руки.
И пальцы жесткие
коснулись нежно,
в знак прощанья,
рукй осужденного.
— Прости, товарищ,—
раздался голос,
даже не голос, скорее шепот.
От эха этого
прикосновения,
от эха этого голоса-шепота
наполнилось светом
все тело пленника,
ярким наполнилось светом, верьте,
и он не услышал
выстрелов треска.

ТЫНЯНОВА ИННА ЮРЬЕВНА.

Советский поэт-переводчик и литературовед; начала печататься с 1944 г. Автор книги об испанской поэзии «Ветер борьбы народной» (1972), ряда работ, посвященных творчеству испанских и латиноамериканских писателей; ей принадлежат сборники переводов Кастро Алвеса и Томаса Антонио Гонзага; переводы испанских и португальских классиков: Хорхе Манрике, Гарсиласо де ла Вега, Кальдерона, Камоэнса и др., стихов и пьес Ф. Гарсиа Лорки, поэзии Антонио Мачадо, Рубена Дарио, Мигеля Эрнандеса, Пабло Неруды, Николаса Гильена, португальских поэтов Сопротивления, романов Жоржи Амалу, рассказов Валье-Инклана, Альваро Юнке, Эсы де Кейроша, бразильского фольклора.

Рассказы писателей ГДР

С немецкого

РУТ ВЕРНЕР

Восьмерка задним ходом

Мы сели в машину одновременно. Господин Модер распахнул дверцу справа, я — слева, третий же, имени которого я не знала, устроился на заднем сиденье.

С господином Модером я познакомилась две недели назад. Сегодня это была наша пятая встреча. Поначалу мы не проявляли друг к другу никакого интереса, как это обычно и водится между инструктором по вождению автомобиля, у которого полно учеников, и одной из его учениц, заинтересованной лишь в том, чтобы как можно скорее получить права. Но уже во время второго нашего занятия, а точнее сказать, после него я стала невольно думать о нем; то вдруг я чувствовала к нему симпатию, потом он снова выводил меня из себя и я чуть ли не презирала его.

Из его рассказов я узнала, что у него двое детей — девочке девять, а мальчику семь лет — и что у него прекрасная жена, в чем скоро я смогла убедиться собственными глазами, поглядев на ее фотографию. В семье Модеров царили упорядоченные супружеские отношения. Меня это совсем не удивило: мой инструктор любил порядок и меру, это был во всех смыслах «человек середины» — так он сам называл себя не без гордости. Здесь-то и скрывалась причина моего интереса: как ведет себя такой человек в жизни?

Он родился в Данциге, был евангелического вероисповедания и в связи с этим нередко выражал сожаление по поводу того, что ему не пришлось венчаться в костеле девы Марии. Меня раздражала та серьезность, с какой он воспринимал это огорчительное обстоятельство. Я спросила, неужели на его свадьбе было так много гостей. Ведь вы-

---

РУТ ВЕРНЕР — RUTH WERNER (род. в 1907 г.).
Писательница и журналистка ГДР. В 1926 г. вступила в КПГ, прошла долгий путь политической и революционной борьбы, в том числе в условиях антифашистского подполья. Автор многих очерков, рассказов и романов. На русский язык переведен биографический роман «Ольга Бенарио. История одной мужественной жизни» («Olga Benario. Die Geschichte eines tapferen Lebens», 1961). Творчество Рут Вернер неоднократно отмечалось литературными премиями.
Рассказ «Восьмерка задним ходом» («Die Acht-rückwärts») взят из ее сборника «Гонг торговца фарфором» («Der Gong des Porzellanhändlers». Berlin, Verlag Neues Leben, 1976).

Публикуемые рассказы писателей ГДР войдут в сборник «Новелла ГДР. 70-е годы», готовящийся в издательстве «Прогресс».
© Verlag Neues Leben, Berlin, 1976.

сокий готический собор, к которому стекались все самые старые улочки нашего города, мог вместить по крайней мере тысяч двадцать пять народу. Слегка задетый и даже огорченный моим грубоватым ехидством, он посмотрел на меня своим кротким взглядом, и трудно было сказать, какого цвета у него глаза, серые или голубые, скорее всего, нечто среднее между тем и другим, как и вообще все в нем. Он тихо сказал:

— Я хотел этого из-за алтаря Мемлинга.

Тут я резко изменила тон. Да, расписной алтарь действительно неповторим, сказала я, а уж мне довелось поездить по свету и повидать немало церквей. Мои слова его обрадовали.

Возможно, художник Ханс Мемлинг завоевал симпатии Фрица Модера, инструктора по вождению, как раз тем, что на его картине все было просто: в мире существовало только добро и зло, да еще всевидящий господь бог, чьи помощники-ангелы рассортировывали людей будто на аптекарских весах: добрых отправляли на небо, злых —в преисподнюю.

Правая створка алтаря производила более сильное впечатление, она была намного жизненнее, чем левая, где праведники с приятными, но несколько скучноватыми лицами ожидали отправки в рай. Злодеи же подвергались ужасным пыткам. Они горели в адском огне, их плоть была изранена, лица искажены, будто бы они, если можно так выразиться, испускали последний вздох. Впрочем, это и так уже свершилось в конце их земного пути.

Господин Модер делил людей по тому же принципу, что и художник, расписавший алтарь,— на добрых и злых. Существенную роль играли при этом и его политические взгляды. Что же касается Ханса Мемлинга, то о нем в этом плане известно мало. Можно лишь предположить, что в 1473 году он, так же как и господин Модер в 1937-м, не хотел войны. Как раз тогда его фреска «Страшный суд», над которой он не один год работал в Брюгге, была погружена на корабль и отправлена одному меценату в Италию. Корабль оказался втянутым в торговую войну между Англией и ганзейским союзом, в открытом море он был взят на абордаж судовладельцем Петером Бенеке. Последний «пожертвовал алтарь», именно так говорится в старых книгах, костелу девы Марии.

В этом пункте сходство взглядов, надо думать, кончалось: Ханс Мемлинг наверняка зарезервировал для этого данцигского корсара место в той части алтаря, где помещалась преисподняя; в глазах Фрица Модера разбойник был героем.

Партия Католического центра, за которую он всегда голосовал, была для него своего рода точкой отсчета, социал-демократам он не отказывал в праве на существование, национал-социалистам тоже — «люди середины» должны проявлять терпимость. Нацистов и коммунистов он отправил бы в чистилище, впрочем не всех. «И среди них попадаются люди, которые хотят добра, их просто ввели в заблуждение». За последние два года центр тяжести в его политических антипатиях несколько переместился: коммунисты были под запретом, нацисты нет. Он находил это недопустимым и несправедливым, тем более что нацисты как раз тогда развернули клеветническую кампанию и против католической партии.

Больше всего на свете господин Модер любил автомобили. Собственную машину он собрал своими руками. Он был терпеливым инструктором, на которого можно положиться, и мне было приятно, что во время нынешней поездки втроем он оказался рядом. Его успокаивающая, дружеская близость была мне необходима.

Как звали человека, сидевшего сзади, я не знала. Об этом я уже

говорила. Я узнала его за двадцать семь минут до начала нашей поездки, и почти столько же времени я его ненавидела. Еще до того, как мы сели в машину, я зашла в его кабинет, тихо пожелав ему доброго утра. Ответа не последовало. Сидя за письменным столом, он заполнял какой-то формуляр. Места за двумя другими столами пустовали. Он был небольшого роста — насколько можно судить о человеке, когда он сидит,— волосы у него были жидкие и светлые, на верхней губе, чуть погуще, усы. Руки узкие и холеные. Я подумала, что у него непременно должны быть голубые глаза, но он еще ни разу не взглянул на меня.

В углу стояла деревянная вешалка, четыре больших крюка которой были сделаны в виде змей, там висело темно-зеленое пальто из грубого сукна и тирольская шляпа. Простояв еще некоторое время неподвижно, я повторила чуть громче:

— Доброе утро!

Человек поднял глаза, посмотрел на меня, и я тут же догадалась, о чем он подумал. Это было написано в его взгляде, в глазах, которые действительно оказались голубыми, наверное, они умели даже становиться дружелюбными, когда он имел дело с себе подобными. Но теперь перед ним стояла женщина, у которой не было ни светлых волос, ни голубых глаз, да и во всем остальном она явно не соответствовала его представлению о расовом идеале.

— Хайль Гитлер! — резко выкрикнул он в ответ.

Это означало, что со мной все ясно. Я поняла, насколько бессмысленно пытаться сдавать ему экзамен: результат все равно уже предрешен. Оставалось только взглянуть на него с презрением, еще раз громко и отрывисто сказать «доброе утро», повернуться спиной и гордо удалиться из здания полицайпрезидиума. Только таким способом я могла помешать ему торжествовать победу. Но, может, я сдавалась раньше времени? И разве дело мое не стоило того, чтобы побороться?

Один раз мне уже довелось держать такой экзамен. И здесь, в Данциге, у меня тоже должны быть водительские права,— так решили товарищи. Собственного автомобиля у меня никогда не было, но в искусстве вождения я превосходила многих.

— Сядьте,— сказал чиновник.

Вопросы следовали один за другим. Он выискивал самые головоломные и вдобавок требовал от меня трехцветных схем. Передавая мне красный карандаш, он чуть ли не швырнул его, и тот закатился под стол. Возникла пауза. Чиновник не двинулся с места. Я тоже. В конце концов я полезла в свою сумку и достала оттуда красный карандаш, он был совсем затупившимся.

Экзамен длился двадцать пять минут. На все вопросы я ответила правильно.

Когда мы вышли из помещения и направились к автомобилю, господин Модер вздохнул с явным облегчением: ему пришлось долго нас дожидаться.

Но самая тяжелая часть экзамена была впереди. Уже сейчас я нервничала, чувствовала, как меня покидают силы, и заново возвращалась к мысли: а не лучше ли прекратить все это и покинуть сцену с гордо поднятой головой, с ненавистью в глазах, вместо того чтобы добровольно обречь себя на поражение и доставить удовольствие этому производному от грубошерстного пальто, тирольской шляпы с кисточкой и неизменного «хайль Гитлер!»?

Ну уж нет, я ведь чувствовала себя вполне уверенно за рулем, к тому же добрейший господин Модер был рядом. Перед ним этот чиновник обязан изображать справедливость, он даже не стал проваливать меня на устном экзамене, хотя там мы были только вдвоем.

А может, он затем и позволил мне сдать теорию, чтобы не отказать себе в удовольствии помытарить меня по улицам, как ему заблагорассудится? Итак, лучше было покончить со всем этим сразу. Но разве не значило бы это добровольно, без борьбы признать его власть?

Мы ведь находились не на территории фашистской Германии, а в так называемом «вольном городе Данциге», конституцию которого гарантировала Лига Наций,— этого обстоятельства не хотели признавать нацисты, с этим они и боролись. И как раз поэтому нельзя было отступать без борьбы ни на шаг.

Сегодня, тридцать семь лет спустя, многое позабылось. Но я отчетливо помню мгновение, когда мы вышли из красного кирпичного здания и направились к темневшему на снегу автомобилю. До сих пор я ощущаю леденящий холод дверной ручки и мою радость по поводу того, что не этот экзаменатор, а господин Модер с его подбадривающей улыбкой оказался рядом. Впрочем, через мгновение пришла другая, гораздо менее приятная мысль — ощущать нациста за спиной, пожалуй, еще страшнее. Я чувствую на себе его взгляд и деревенею.

Неуверенной рукой я поворачиваю ключ зажигания, включаю первую передачу, шины взвизгивают, и автомобиль рывком дергается с места. В отчаянии я смотрю на господина Модера, вид у него тоже не очень обнадеживающий. Вторая скорость, скрежет при переключении, третья скорость, скрежет при переключении.

— Еще раз взять с места.

Благодарю за казарменный тон! Я больше не чувствую себя неуверенной. На этот раз я трогаюсь с места без осложнений.

— Повторить.

Третий старт тоже проходит удачно. И четвертый. И пятый.

Господин Модер слегка побледнел.

Долго ехать по прямой мне не дали.

— Направо. Направо. Налево. Направо.

Каждый раз команда отдается в самый последний момент. Во всяком случае, он не из трусливых, этот нацист,— похоже, перспектива аварии его не смущает.

Теперь я была уже спокойна и ко всему готова, тем не менее присутствие господина Модера очень мне помогало, помогали его широкие плечи и сосредоточенный взгляд, руки, способные тут же подхватить руль, если я сделаю неверное движение. К тому же меня поддерживали, правда больше психологически, чем практически, его тихие советы, какие опытный инструктор подает, едва шевеля губами, даже на глазах у самого строгого экзаменатора.

Без происшествий мы добрались до старой части города. Естественно, что эти узкие, нелегкие для проезда улочки входили в обязательную программу экзамена. Не совсем обычным показалось мне лишь то, что я должна была пересекать их по многу раз, вдоль и поперек, да еще и задним ходом.

— Направо. Налево. Направо.

Нога господина Модера слегка коснулась моего толстого зимнего пальто. Внимание, ловушка, предупреждало его слабо выдохнутое «нет», здесь нет правого поворота.

— Назад. Налево. Направо.

Мы все объехали уже по меньшей мере дважды. Рынок, ратуша, фонтан Нептуна, Артусово подворье, Высокие ворота. Сколько ворот мы уже миновали — Высокие, Золотые, Зеленые, Брогбенкентор, Фрауэнтор,— сегодня я уже не могу вспомнить, в каком порядке они следовали друг за другом.

Вот уже в третий раз мы сворачиваем на Ланггассе. С двух сторон красивые узкие фронтоны и фасады домов, самые старые из которых

насчитывают четыре столетия, их строили итальянские, немецкие и фламандские архитекторы. Эту улицу особенно любил господин Модер, да и не только он. Когда гордость его слишком уж явно ассоциировалась с «немецким духом», я напоминала ему, что почти шесть столетий город этот принадлежал Польше и жители Данцига вовсе не были осчастливлены тем, что немецкий рыцарский орден захватил их город, так же как отнюдь не добровольно подчинились они сорокалетнему прусскому господству.

Во время нашего третьего тура по Ланггассе мы еле ползли: впереди тащился трамвай — кажется, это был четвертый номер, рядом преградила дорогу ручная тележка с углем, то и дело улицу перебегали люди.

Меня это устраивало, чем больше уходит времени, тем лучше. Уже двадцать минут этот человек меня экзаменует. Перед маленьким магазинчиком, где продавались табачные изделия и сувениры и где на двери висела та самая табличка, на которую совсем недавно обратил внимание мой сын, мы застряли окончательно. Здесь, в Данциге, моему сыну исполнилось шесть лет. Отдавать его в немецкую школу мне не хотелось: тамошние учителя своим образом мыслей слишком уж напоминали мне моего сегодняшнего экзаменатора. Польские школы разрешалось посещать только детям из польских семей — и я занималась с ним сама. Он уже научился читать небольшие предложения, это приводило его в восторг, и он поминутно останавливался, пытаясь разобрать незнакомые слова. Когда однажды я тянула его за собой по Ланггассе, он спросил про эту табличку,— на ходу я не обратила на нее внимания. Я не сразу поняла, о чем он, когда, подбежав, он задал вопрос:

— Что значит «нежелательно»?

— Это все равно что «не нужно», «не разрешается».

— А что такое «евреи»?

Я не ответила.

— Это вроде как «курение нежелательно»?

Он развеселился и запел, подпрыгивая на одной ножке:

— Курение запрещено, евреи запрещены, звуковые сигналы запрещены.

— Перестань сейчас же! — прикрикнула я на него.

Дети никогда не прощают несправедливости.

— Хорошо,— сказал он и откинул голову назад,— сорить разрешается, воровать разрешается, евреи разрешаются.

Я ударила его, первый раз в жизни. Он заплакал.

Пробка все еще не рассосалась. Четвертый трамвай неподвижно стоял на месте, человек, тащивший угольную тележку, сбросил с плеча лямку и высвободился из оглобель. Потом огляделся по сторонам. Это был усталый пожилой человек. Наверное, всю свою жизнь он развозил уголь на этой тележке.

Мой экзаменатор опустил стекло и, потеряв терпение, высунулся из окна. Господин Модер воспользовался моментом, чтобы шепнуть мне:

— Плохое настроение сегодня.

Он имел в виду нашего экзаменатора. Ничего господин Модер не понял. Он и не представлял, какая борьба и во имя чего разыгрывалась рядом с ним в автомобиле. Его объяснение было наивно, безобидно и даже дружелюбно — плохое настроение. А вдруг я недооцениваю его, может быть, он считает, что это я не понимаю смысла происходящего, и пытается держать меня в неведении как можно дольше? Он отвернулся, прежде чем я успела взглянуть ему в глаза. Побледневшее лицо, плотно сжатые губы — о чем думал сейчас этот «человек середи-

ны»? Вполне возможно, что он всего лишь не хотел смотреть правде в глаза, точно так же как не хотел задуматься над истинным положением дел в своем родном городе.

На угольных брикетах стали скапливаться белые пушинки. Снег. Это еще больше усложнит экзамен. Что толку мне в этой передышке на Ланггассе, она лишь продлевает мои мучения.

Мы проехали мимо городского театра. Вечером играли «Госпожу Холле». Распродажа дров, распродажа угля, направо, налево — должно же это когда-нибудь кончиться. Я бросила быстрый взгляд в зеркало и заметила, как экзаменатор за моей спиной ухмыльнулся.

Он велел мне ехать к зданию, где помещалось представительство Лиги Наций. Мы проехали мимо. Я посмотрела в боковое стекло. Хлопья снега, налипшие на него, затрудняли видимость. Мне показалось, что полицейские больше не стоят у входа.

Во время нашего третьего занятия мы с господином Модером проезжали это место.

— Лестер — очень порядочный и смелый человек,— заметил он.

Я кивнула.

— Но почему же вы осмеливаетесь говорить о Верховном комиссаре Лиги Наций, в чьи обязанности входит сохранение конституционных гарантий вольного города Данцига, только шепотом?

— Вы же сами знаете.

Мои слова задели его.

— Знаю, потому и задаю этот вопрос.

К замечанию господина Модера я еще раз вернулась после занятий. В самом деле, невозможно было найти пример лучше, чем сам Верховный комиссар, чтобы наглядно продемонстрировать такому человеку, как Фриц Модер, что происходило в этом городе.

Ирландец Син Лестер шесть лет представлял свою страну в Лиге Наций, когда в 1934 году его, человека незаурядного, интеллигентного и основательного, обладающего недюжинным опытом и болеющего за справедливость, назначили в Данциг. Он со всей серьезностью отнесся к этой миссии и был полон решимости охранять конституционные права города, не допуская их нарушений ни одной из сторон.

Когда Лестер только приехал в город, он не подозревал, в какой степени конституционный устав уже попран нацистами.

Получив первые доказательства, он счел их «проявлением известного рода крайностей, которые, к сожалению, встречаются в целом ряде стран среди определенных групп населения», включая и его родину.

Прошло время, прежде чем он понял, что на его глазах как бы в уменьшенном размере, но зато более четко разыгрывалось все то, что происходило в немецком рейхе,— в несколько замедленном темпе, правда, но, благодаря уже приобретенным навыкам, систематичнее. Я охотно побеседовала бы как-нибудь с Верховным комиссаром и задала бы ему, скажем, такой вопрос: как вы оцениваете, господин Верховный комиссар, постановление данцигского сената, согласно которому в полиции теперь имеют право служить лишь убежденные нацисты? И как реагировали вы на сообщение, так потрясшее господина Модера? Оно гласило: «Врагам национал-социалистского государства, а также сторонникам партии Католического центра отныне нечего делать в аппарате данцигского городского самоуправления».

И как относитесь вы к тому, что преследуемые евреи в потемках разыскивают ваш дом и умоляют вас о помощи?

А что скажете вы о жалобах польского населения? О том, что людей избивают только за то, что они говорят на своем родном языке?

Как приняли вы депутацию от рабочих порта, перед которыми

была поставлена альтернатива: вступить в национал-социалистскую партию или лишиться работы?

Что ответили вы на заявление нацистского гауляйтера Альберта Форстера: «Как первое лицо в провинции, я не несу ответственности ни перед кем, кроме моего фюрера»? А позже, когда ваш дом был еще открыт для тех представителей буржуазии, которые выступали за соблюдение конституции, другое высказывание того же Форстера: «Бывший социалист Син Лестер допускает, чтобы данцигские марксисты пичкали его своими собственными измышлениями; а когда речь заходит о национал-социалистских идеях, он явно демонстрирует непонимание и пренебрежение». Что вы ему ответили тогда?

Гауляйтер Форстер сожалел лишь о том, что он не в состоянии расправиться с Верховным комиссаром, как с любым другим, поскольку за тем стояла Лига Наций. Однако, когда Лестер обратился в Лигу за поддержкой, наступил трагический момент — как для Верховного комиссара, так и для всего мира. Лига вовсе не поспешила активно вмешаться, она смотрела сквозь пальцы на распродажу Данцига нацистам. Эта распродажа совершалась не сразу и не оптом, она шла исподволь, медленно, участок за участком — в политике это так же опасно, как в коммерции.

Единственным, кто поддерживал Лестера в Лиге Наций и одновременно предостерегал его, был Литвинов, советский министр иностранных дел.

Британский консерватор Антони Иден отвечал в Лиге за данцигский вопрос. До сих пор я помню, как он выглядел,— газеты часто помещали его фотографии, не только в роли министра, но и как «человека, одетого в Англии изысканнее всех».

Каждое конкретное предупреждение Лестера о нацистской опасности в Данциге встречало со стороны Идена лишь отговорки: «Мы непременно проверим ситуацию, мы проследим за тем, что происходит».

Грайзер, президент данцигского сената и одновременно правая рука гауляйтера, с явным удовольствием принял к сведению пассивность Идена и заметил, что он ведет себя «как джентльмен».

Лестер не сдавался, ему удалось добиться, чтобы президента сената вызвали на ассамблею Лиги. Там Грайзер произнес напыщенную речь, которую закончил возгласом «хайль Гитлер!». Как смеялись тогда над этим участники ассамблеи! Но именно только смеялись. А Форстер мог уже позволить себе говорить о Лестере как о «нарушителе спокойствия».

Преследуемые нацистами все еще приходили к Лестеру, ища у него защиты своих прав и надеясь на улучшение своего положения, пока Грайзер и здесь не поставил препоны. Перед входом в здание появились полицейские, один из агентов в штатском спрашивал посетителей о цели их визита и разъяснял затем, что с подобными просьбами следует обращаться не к Лестеру, а в сенат, ибо все это относится к разряду «внутренних дел Данцига». Затем последовали аресты.

Теперь уже никто не ходил к Лестеру. Его корреспонденция просматривалась, его телефон прослушивался. Гауляйтер Форстер заявил: «Верховному комиссару господину Лестеру больше нечем заниматься в Данциге, и мы не понимаем, почему именно в нашем городе он должен получать сотни гульденов жалованья только за то, что принимает морские ванны и занимается рыбной ловлей».

Когда мы проезжали мимо резиденции Лестера, полицейских у входа больше не было: в них отпала необходимость. Лишенный Грайзером всех своих полномочий и оставшись без поддержки Лиги Наций, Верховный комиссар одиноко жил на своей вилле. Спустя какое-то время он обратился в Лигу с просьбой о том, чтобы его отозвали.

Просьба была тут же удовлетворена. Новый Верховный комиссар не был «нарушителем спокойствия», он сотрудничал с нацистами. Теперь, когда в Лигу, уже по другим каналам, поступали протесты, касавшиеся положения дел в Данциге, Иден отвечал: «Если бы все это было так серьезно, Верховный комиссар непременно проинформировал бы меня». Для Лиги Наций в Данциге по-прежнему царило спокойствие, оно царило там вплоть до 1 сентября 1939 года, когда в серые предрассветные часы нацисты начали вторую мировую войну.

Не зная всего этого, нельзя было понять, почему мой экзаменатор, издевательски ухмыляясь, заставил меня трижды сделать круг возле резиденции Верховного комиссара, почему господин Модер быстро взглянул на меня и по крайней мере теперь осознал, что происходило в автомобиле.

Удалось ли вам пережить войну, господин Модер, и то ужасное разрушение Данцига, за которое целиком несет ответственность гитлеровский рейх? На столь любимой вами Ланггассе осталось только три дома, все остальные превратились в руины. Тяжело пострадал и костел девы Марии. А как же алтарь работы Мемлинга? Нацисты прихватили его с собой, так они поступали повсюду с сокровищами искусства, представлявшими особую ценность. Известно ведь, как создавалась уникальная картинная галерея Геринга.

Спустя несколько лет алтарь был обнаружен в Тюрингии и передан Гданьску Советским Союзом.

После того как мы покружились некоторое время вокруг резиденции Верховного комиссара, наши дороги довольно неожиданно разошлись. Впоследствии я написала господину Модеру письмо, но он не ответил.

Мы выехали за пределы самой оживленной части города и направились к Лангфуру. Только теперь, когда вести машину стало легче, я почувствовала, насколько я измотана.

Внезапно экзаменатор указал мне на переулок, у въезда в который висел знак, запрещающий въезд.

Снова ловушка. Я останавливаюсь.

— Нет,— говорит он,— сворачивайте здесь.

Я выполняю указание, и он продолжает изменившимся, звучащим почти что ласково голосом:

— А теперь мы попробуем восьмерку задним ходом.

Господин Модер, который до этого момента не вмешивался и не произносил ни слова, оборачивается и недоверчиво переспрашивает:

— Восьмерку — задним ходом?

— Мне что, повторить?

— Извините,— испуганно бормочет господин Модер.

Две капли пота скатываются у него по вискам.

Фриц Модер, конечно, не знает, что тревога его напрасна, потому что восьмерка задним ходом — мой конек. С огромным удовольствием я бы сейчас расхохоталась. Но я скрываю свою радость, так же как до этого скрывала усталость.

Воспоминания накатывают на меня, и человек на заднем сиденье отходит на второй план.

Китай, 1932 год. Товарищи посчитали необходимым — по тем же соображениям, что и здесь, в Данциге,— чтобы я получила водительские права; это давало возможность более свободного передвижения коммунистам, находившимся в подполье. Шанхай: город иностранных и китайских торговцев, каждый с автомобилем, город ста тысяч рикш, с невероятной скоростью мчавшихся перед своими тележками и умиравших в тридцатилетнем возрасте. Втиснуть автомобиль между рик-

шами, которые ожидают пассажира,— это большое искусство. Чтобы обучиться ему, начинающих водителей заставляли бесконечно упражняться в восьмерке задним ходом, больше того, восьмерка эта проходила между столбиками, расположенными на близком расстоянии друг от друга и оставлявшими автомобилю пространство для маневра лишь в несколько сантиметров. Если один из столбиков падал, считалось, что экзаменующийся провалился,— понятно, что автомобилисты в Шанхае прежде всего терпеливо осваивали восьмерку задним ходом.

Товарищи меня предупредили, что с первого раза экзамен не сдает никто, по крайней мере им такие случаи неизвестны. Если удавалось сдать со второго раза, это было уже серьезным достижением; основная же масса сдавала с третьего захода. Вот почему товарищи выразили готовность поставить бутылку вина, сдай я экзамен с третьего раза. Если же потребовалось бы идти сдавать еще и в четвертый, и в пятый раз, что в принципе тоже было возможно, то выставить бутылку вина должна была уже я.

Товарищи из нашей маленькой интернациональной группы любили посмеяться и нередко подшучивали друг над другом. Как самая молодая, я часто становилась объектом этих шуток, но поскольку застенчивостью не отличалась, то с лихвой платила тем же. Порой мы вели себя как расшалившиеся дети, и никому бы и в голову не пришло, что у руководителей нашей группы уже тогда было имя и вес в рабочем движении — не в Шанхае, конечно, где они находились на нелегальном положении и жили с чужими паспортами, работая в каком-нибудь неприметном месте. Коммунистическая партия в Китае была запрещена. Каждому, кто был ее членом или поддерживал ее, грозила смертная казнь. Но правильно ли, что я рассказываю о наших дружеских шутках, а не о наших подвигах? По собственному опыту я знаю, что любой герой в повседневной жизни бывает самым обычным человеком.

Серьезность нашей работы и постоянная опасность не позволяли нам расслабляться, но мы вполне осознанно наслаждались жизнью, особенно в те короткие минуты, которые мы — страшно редко и вопреки всем законам конспирации — проводили все вместе. Подшучивание друг над другом тоже входило в программу хорошего настроения, вот так я и получила это фантастическое предложение, касавшееся восьмерки задним ходом.

Мой первый экзамен никого не интересовал, потому что в любом случае за ним должен был последовать второй. Товарищи даже не знали точно, на какой день его назначили. Я старалась как могла, и начало было обнадеживающим. Даже во время восьмерки задним ходом, которая всегда выполнялась в заключение, я проехала значительное расстояние без осложнений — пока мы не вышли на последний полукруг. Может быть, я волновалась из-за того, что самым невероятным образом чуть было не сдала экзамен, не знаю, но только уже где-то на последних двух метрах один из столбиков вдруг покачнулся. Это было допустимо, не полагалось только, чтобы он упал. Столбик, милый, не падай, выстои, повторяла я про себя, но он уже лежал на земле. Ну и ладно, почему, в конце концов, я должна с первого раза добиться того, что не удавалось даже тем, кто намного лучше меня держался за рулем. Однако глубина разочарования открыла мне глаза: я поняла, какую мечту лелеяла в своей душе. Инструктор и экзаменатор посмотрели на меня с сочувственной улыбкой. Предстояло еще отогнать машину обратно. Движение было оживленным. Я ехала довольно быстро и уверенно. Вдруг из переулка вылетел «крайслер». Его водитель не учел, что главной улицей считалась наша и мы пользовались преимуществом в движении. Тормоза у меня взвизгнули, и, бросив быстрый

взгляд на тротуар, я резко вывернула руль. Сильный удар о бортик тротуара, и мы приземлились на тротуаре, точно между двумя фонарями. Я вовсе не хвалюсь ни присутствием духа, ни своим особым умением, просто мне выпал один счастливый случай из тысячи несчастливых, где могло быть все: человеческие жертвы, перевернутый автомобиль вместе со сбитым фонарем — это было куда вероятнее.

Мой инструктор-китаец потирал правое колено, чиновник с гримасой боли на лице ухватился за свой локоть, сама я сильно ударилась о руль и никак не могла перевести дыхание.

Движение застопорилось. Как обычно при уличных происшествиях, собралась толпа и шумно обсуждала случившееся, были слышны похвалы и ругань, предлагалась помощь.

Чиновник схватил свой блокнот, выскочил из автомобиля и, проложив себе дорогу через все разраставшуюся толпу, записал номер «крайслера», ожесточенно споря с нарушителем.

Вернувшись, он, несмотря на свою ушибленную руку, обнял меня за плечо, поблагодарил, осыпал похвалами, все время повторяя вперемежку со своим незамысловатым английским слова «динг хау, динг хау» — очень хорошо, очень хорошо. В заключение он сказал: «Вы выдержали экзамен».

Да, это был прекрасный момент, когда при встрече с товарищами я как бы невзначай сообщила им результат.

Они не поверили мне и сочли шутку довольно-таки заурядной, но я продемонстрировала права. На какое-то мгновение все утратили дар речи, потом раздался смех, они требовали подробностей, и мой рассказ то и дело прерывался взрывами смеха. Естественно, на столе появилось вино, и нам выдалась редкая возможность посидеть всем вместе. Часы таких встреч я считаю лучшими в моей жизни.

Один из участников нашей группы, работавшей по заданию комитета международной солидарности, был позже схвачен, приговорен к смертной казни и расстрелян, другой долгие годы провел в тюрьме. Судьба остальных мне не известна, но я точно знаю, что никто из них не предал своих товарищей, вот почему я живу на свете и могу записать эту историю.

Итак, восьмерка задним ходом в городе Данциге. Пусть он гоняет меня еще хоть два часа, я не сдамся добровольно.

— Повторить.

Моя безукоризненная восьмерка раздражает его, что ж, хорошо, я повторю. Переключая скорость, я чувствую, как сиденье подо мной слегка дрожит. Смотрю вбок. Господина Модера бьет озноб. Я вижу, как ударяются друг о друга его колени, он закрывает лицо руками, потом отнимает их, стучит кулаками по приборному щитку и выкрикивает несколько раз подряд одну и ту же фразу:

— Я этого не выдержу. Я этого не выдержу.

Экзаменатор выскакивает из машины, открывает переднюю дверцу и орет:

— Убирайтесь!

Он дергает господина Модера за пальто, ему кажется, что тот вылезает из машины недостаточно быстро. Господин Модер тяжело дышит, он даже не наклоняется за своей шляпой, которая выкатилась на дорогу. Он удаляется неуверенной походкой, с непокрытой головой, подергивая плечами.

Побежать бы вслед за ним, думаю я, схватить его за руку, привести в чувство и вместе с ним стряхнуть с себя весь этот кошмар!

Экзаменатор захлопнул заднюю дверцу, прошел вперед и уселся рядом. Господин Модер бросил меня в беде, без него продолжать эту гонку было бессмысленно. Оставшись со мной один на один, чиновник мог в любой момент положить конец нашей игре в кошки-мышки, объявив, что я провалилась. А может, он с радостью растянет свои издевательства подольше, чтобы довести меня до такого же состояния, как и господина Модера, а я сгоряча попадусь на удочку и доставлю ему максимум удовольствия, пока буду отчаянно крутить руль. Выскочить из машины, пока я не начала кричать так же, как господин Модер.

Собрав всю силу воли, я приказала моим рукам не отпускать руль.

Бедный господин Модер, он так хорошо относился к окружающим, и ко мне в том числе, однако в этом мире нельзя относиться ко всем одинаково хорошо, без разбору.

— Восьмерка задним ходом,— сказал человек рядом со мной.— Если вы позволите,— добавил он с издевкой в голосе.

И вторая восьмерка мне удалась.

— Обратно на главную улицу, затем первый левый поворот до холма.

Я оглянулась назад...

Пройдут по маленькой улочке люди, они будут рассматривать следы от колес на снегу и шляпу. Будут гадать, каким образом этот внушающий уважение головной убор смог оказаться рядом с запутанными узорами автомобильных шин, но никто из них не докопается до истины.

Въехать на холм, остановиться, двинуться задним ходом — все это не составляет труда.

Ну теперь-то все?

Нет — еще раз в город; этот район я знаю. Странно, что фашист выбрал именно его. Только бы не пришлось поворачивать. Дальше прямо, все правильно, еще один кусок пути, а теперь я хотела бы проехать мимо новых жилых кварталов. Они построены очень продуманно: в комнате, выходящей окнами на юг, есть эркер — с двумя двойными рамами на значительном расстоянии друг от друга, он задуман как маленький зимний сад. Давай проедем еще три дома, там в угловом окне на четвертом этаже растут вечнозеленые кустарники, на третьем за оконными стеклами цветут альпийские фиалки, на первом вьется плющ, и только на втором этаже нет ничего такого; на втором этаже в простенке между окнами стоит корзина. Если ребенок в корзине сейчас не спит, то можно увидеть, как он болтает в воздухе своими сильными маленькими ножками, как маленькой ручонкой тянет ножку к себе, желая с ней поиграть. Нужно спросить у врача, нормально ли это, что моя дочь играет всегда только с одной своей ножкой, не может ли это привести к неравномерному развитию мышц?

Доставь мне эту радость, давай сейчас проедем мимо. Ты держишь меня при себе так долго, а она одна со своим братом. Шестилетний ребенок — не такая уж хорошая нянька для младенца.

Я знаю, как трудно было в такое тяжелое время да еще при моей работе решиться на второго ребенка. Отец девочки находится за десять тысяч километров от нас, он никогда не видел ее и, быть может, никогда и не увидит. Я знала все это. И я хотела ребенка. У кого поднимется рука бросить в меня камень?

Когда мы проезжали мимо нашего дома, я сбавила скорость и посмотрела вверх. Нацист наблюдал за мной. Через пятьдесят метров он приказал мне дать обратный ход.

— Остановите!

Машина остановилась прямо возле дома, где я жила. Тяжелое подозрение зашевелилось во мне. Этот фашист вовсе не экзаменатор, он

из данцигского гестапо, все, что было до сих пор,— всего лишь игра, видимость, сейчас он выйдет из машины и отправится обыскивать мою квартиру.

— Остановите!

Вот оно. Кое-что он, возможно, обнаружит, если будет действовать умело, но ничего такого, что могло бы повредить другим товарищам.

Но дети!

Этот вопрос мучил меня уже давно, и я никак не могла найти решения, не было даже малейшего проблеска. Я пыталась противостоять этому, закалить свою душу. И убеждала себя: да, они творят ужасные дела, но детей они не убивают. Тогда, в начале 1937 года, еще можно было так думать. Иногда я утешала себя тем, что у обоих детей были светлые волосы и голубые глаза и это, может быть, примут во внимание. Я цеплялась за эту идиотскую мысль просто потому, что не могла придумать ничего лучше.

Каждый новый день начинался с того, что я заготавливала липнюю бутылочку молока для малышки про запас, на случай, если я не вернусь. Сын знал, где ее найти и как ее давать ребенку. Он ухаживал за своей сестренкой гораздо серьезнее, чем это обычно делают дети в его возрасте. Он мог сам взять ее из кроватки, знал, как нужно поддержать головку, когда берешь ребенка на руки, мог сменить пеленку и запеленать ребенка снова. Случись что, их наверняка разлучили бы, отправили в разные детские дома. Возможно, на этом и основывалась его оберегающая любовь.

А может, я ошибаюсь, борюсь с призраками? Обычно ведь они не приходят поодиночке, приходят сразу человек десять, как правило ночью и с собаками.

Возможно, у этого фашиста был вполне безобидный повод, чтобы остановиться здесь. Может быть, он хотел проверить, в порядке ли шины, а может, он случайно оказался приятелем того нациста, что жил этажом выше меня. Я нарочно проехала мимо наших окон и затормозила, будто бы не расслышав его приказания, двумя подъездами дальше. Он не сделал мне замечания, вышел из машины и двинулся назад, в направлении моего подъезда. Перед ним он замедлил шаг.

У меня перехватило дыхание.

Он не вошел. Он повернулся, подошел к краю тротуара, посмотрел налево, затем направо, пересек улицу, прошел по другой стороне еще несколько метров, заглянул в витрину продуктового магазинчика и исчез внутри.

Как чудесно было снова возвратиться в повседневность! Этот человек просто-напросто завернул в магазин, славящийся своими деликатесами.

Я тоже покупала в этом магазине. Несмотря на высокие цены, я регулярно заглядывала туда — и не только из-за отменного качества продуктов. До сих пор я помню дружелюбное круглое лицо хозяина, его маленькие глаза и всегда чуть потную лысину. Я не знаю, был ли он членом нацистской партии, ведь к этому принуждали уже и лавочников. Меня он обслуживал с подчеркнутой вежливостью, казалось даже, он отдает мне предпочтение перед другими клиентами, он всегда предлагал мне самые свежие продукты, щедро взвешивал и старательно заворачивал покупки.

В тот день, когда мой сын увидел табличку в магазине на Ланггассе и превратил ее в ужасную песенку, предупредительность хозяина подействовала на меня особенно благотворно. Он отрезал мне двести граммов грудинки, которая в этом магазине была особенно хороша. Прежде чем положить ее на весы, он отделил жирные куски, а затем с улыбкой передал мне пакет.

— Спасибо за любезность,— сказала я и испугалась, потому что в моем голосе чувствовались слезы.

Он сразу посерьезнел, молча взглянул на меня и ответил так же тихо:

— Я больше не понимаю, что происходит.

Фашист вышел из магазина с пакетом и снова сел рядом со мной. Я была уверена, что там, внутри, грудинка с толстым слоем жира — своего рода акция сопротивления со стороны владельца магазина.

Сопротивление! Пусть этот фашист — дурная карикатура на весь их порядок — принадлежит к сильным мира сего и изводит меня своими придирками как расово неполноценную, но он и не подозревает, кто сидит рядом с ним.

Таких, как я, много, они встречаются у всех народов, с любым цветом кожи, во всех странах, и здесь, в Данциге, тоже, и даже рядом с ним в автомобиле. Они работают, они никогда не согласятся стать пассивными жертвами.

Дом, в котором мы живем, он знает. Наша квартира, к счастью, ему неизвестна. Там стоит тумбочка, на которой я пеленаю малышку, рядом книжная полка, радио, я люблю слушать музыку и граммофон. На диске лежит пластинка: Бетховен, увертюра к «Эгмонту». Никто никогда не слышал, как она звучит. Великий композитор должен простить мне это, наверняка он счел бы причину уважительной, ведь он тоже любил свободу.

У этого граммофона есть одна особенность. Когда на пластинку ставят иглу, он молчит. У него нет мотора. Я сама вынула его и швырнула в море. Затем я тщательно вымерила внутреннее пространство, сделала чертежи по размерам и, как в головоломке, стала соединять катушки, лампы и конденсаторы. Подобная деятельность никогда не была моей сильной стороной, чертежи меня больше запутывали, чем помогали, и каждый раз один маленький конденсатор оказывался лишним. Какие только решения я ни пробовала, он никак не хотел помещаться в этом ограниченном пространстве. После многочасовых усилий я его все-таки перехитрила и для надежности прочно припаяла.

Хотя я уже давно не была новичком, мне никогда не удавалось добиться высокого мастерства при изготовлении передатчика. Совсем иначе обстояло дело с самими передачами. Ритмично и четко посылала я мои сообщения в эфир, их принимали многие, в том числе и приспешники моего экзаменатора-нациста — и в Данциге, и в третьем рейхе, но смысл сообщений был им недоступен, пусть они хоть тысячу раз переберут все комбинации чисел, скрывавших в себе настоящий текст.

Вы можете перевернуть в моей комнате все вверх ногами — ключ к тексту вы не найдете. Он нигде не записан. По ночам, когда дети спят и весь дом успокаивается, я работаю с шифром. Лишь тот знает ключ, для кого этот текст предназначен, но он недосягаем для вас.

Так идут из этой страны сообщения, приходят советы, и наша группа работает.

— Направо. Налево. Снова налево.

Теперь ты гонишь меня как одержимый, ты что-то задумал, я едва поспеваю за тобой. 51... 53... 57... Столько минут мы уже едем...

— Направо. Налево. Направо. Направо.

Что за узкая улица и этот страшный грузовик, большой и мощный, он движется прямо на меня, нет, мы не разминемся, я не могу повернуть, в самом деле не могу.

— Направо! — рычишь ты.

Хорошо, направо. Я проезжаю почти вплотную к тротуару, слишком близко, машину подбрасывает вверх, два колеса проходят по панели. Было, однако, вполне достаточно места, чтобы не сделать этой ошибки.

— Выходите — вы не выдержали.

Не говоря ни слова, я выхожу, оставляю дверцу открытой, оборачиваюсь и смотрю на него в упор.

Что он знает о выдержке!

Перевод Н. ЛИТВИНЕЦ

АНГЕЛА СТАХОВА

Зорайа

Меня зовут Зорайа. Я уже видела себя по телевизору. Тетя Зельма была против.

Но в маленькую гостиную, где стоял телевизор, сбежались все ребята. Даже большие мальчишки, которые вечно надо всем смеются. Энрико тоже сел в кресло возле рояля.

Тетя Зельма ворчала: «Ну и суматоха. Это мне не нравится». Но сама стояла у двери и смотрела. Только под конец ушла.

В фильме показывали, как я играю в саду с кукольной коляской. Тогда я была еще меньше и толще, чем сейчас. «Неужели не найдется семья, которая стала бы родной для маленькой Зорайи, отданной в детский дом грудным ребенком»,— говорил в это время диктор. Мне было стыдно, и я думала, что кто-нибудь будет смеяться. Но все дети не отрываясь смотрели на экран.

После передачи я отправилась к тете Зельме. Габриэла уже опередила меня — она стояла посреди комнаты и совсем не обрадовалась, что я тоже пришла. Но уселись мы как обычно — Габриэла в большом кресле, а я на диване; это были наши постоянные места.

Тетя Зельма ворча доставала чашки из буфета. Не так осторожно, как всегда, и я боялась, что они полетят.

— Мало того, что мы вообще не можем обойтись без детских домов,— бурчала она,— а тут еще такие фильмы показывают. Детей рекламируют, как стиральные машины и холодильники. Тактично, деликатно.

После слова «деликатно» тетя Зельма сердито сплюнула. Она всегда так делает, когда чем-то недовольна.

АНГЕЛА СТАХОВА — ANGELA STACHOWA (род. в 1948 г.).

Писательница ГДР. Сорбка по национальности; по окончании школы в Баутцене работала на производстве, затем училась в Дрезденском университете.

Рассказы и очерки Ангелы Стаховой печатаются в журналах и сборниках на сорбском и немецком языках. В 1976 г. вышел сборник рассказов А. Стаховой «Когда все кошки серы» («Stunde zwischen Hund & Katz». Halle (Saale), Mitteldeutscher Verlag), откуда и взят публикуемый рассказ «Зорайа» («Soraya»).

© Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale), 1976.

Я заметила, что все это она говорила Габриэле. Но Габи, как видно, не думала отвечать. И, пожалуй, правильно делала: когда тетя Зельма не в духе, лучше всего молчать.

— Если кто-то захочет взять ребенка, он и так придет, без этих фильмов. Но люди чаще всего приходят к нам после фильмов. Это плохо.

Перед каждой фразой тетя Зельма задумывалась, а после всегда вздыхала.

— Как стиральные машины и холодильники. Деликатно,— буркнула она еще раз.

Тетя Зельма — воспитательница. И здесь очень давно. Поэтому мы думаем, что она уже старая. И еще потому, что она много знает.

Тетя Зельма живет вместе с нами. У нее две комнаты на четвертом этаже. Она тоже одна. Другие воспитательницы спят у нас только тогда, когда они дежурные. Обычно они уходят к себе домой, в город.

У Габриэлы теперь тоже своя комната в городе, а раньше она жила в детском доме. Габриэла, как и тетя Зельма, всегда была тут, насколько я помню.

Мне было ужасно грустно, когда Габриэла уезжала из детского дома.

— Нажилась я здесь, хватит,— смеялась она.— Тебя и на свете-то еще не было, когда я сюда попала.

Чаще всего Габриэла бывает веселой. И выглядит она очень мило, у нее такие жесткие черные волосы.

Ее тоже показывали по телевизору. Как она гуляет с нами в саду. «Молодая воспитательница, которая сама выросла в детском доме. Дети чувствуют себя с ней прекрасно»,— говорил при этом женский голос. Большие мальчишки, которые вечно меня дразнят, кричали еще тогда: брехня все это!

— А ты еще чувствуешь себя польщенной,— продолжала ворчать тетя Зельма. Такой сердитой она бывает не так уж часто.

Когда Габриэла приходит к тете Зельме, мне иногда удается услышать, о чем они говорят. Это бывает, когда они увлекаются разговором и забывают обо мне. Тогда я тихонько сижу в уголке на диване Но стоит только Габриэле заметить меня, как она говорит:

— Такие вещи Зорайе ни к чему слушать. Это непедагогично с нашей стороны.— И тогда мне приходится уходить к детям.

Габриэла часто приходит к тете Зельме, и уж всегда, если чем-то расстроена. Насколько я понимаю, это чаще всего связано с любовью. И тогда, после фильма, она неподвижно сидела, уныло глядя перед собой.

— Наверное, я никогда не встречу того, кто мне нужен.

Но тетя Зельма все еще была сердита:

— Оставь меня сегодня в покое со своими историями. У тебя только одно на уме. Неужели ты, педагог, считаешь эту передачу педагогичной?!

Габриэла учится заочно. И когда тетя Зельма говорит о педагогах, она всегда раздражается. Наверное, потому, что сама никогда не училась заочно. И вообще не училась. Изредка она рассказывает нам, что когда-то работала на кухне и была даже дворником.

Потом мы пили кофе, и Габриэла принесла из столовой пирожные. Обычно я ем вместе с детьми, но тетя Зельма сказала, что кофе я могу пить у нее Мне разрешают даже выбрать чашку.

У тети Зельмы буфет из темного дерева, впереди застекленный. И чашек у нее много. Они большие и такие изогнутые. На них нарисованы журавли, дома и улицы, женщины в широких юбках и вы-

соких чепчиках, голубые драконы и яркие цветы. И на самой красивой — три маленьких китайца сидят на террасе. Я беру всегда эту.

Габриэла сказала, что просто влюблена в эти чашки. И в тети Зельмино кресло, и в старинные часы, и во все. У тети Зельмы очень уютная квартира. Совсем не такая новая, как наша детская комната. И не пахнет дезинфекцией.

— Когда ты выйдешь замуж и если это будет достойный человек, не какой-нибудь вертопрах с длинными волосами, я подарю тебе шесть кофейных чашек,— сказала тетя Зельма.— Только не спеши пока.

Тогда, после передачи, Габриэла долго была грустной. Хотя она и сидела тут, с нами, было видно, что думает она все время о чем-то своем.

— А может быть, я возьму ребенка из детского дома,— сказала она задумчиво. Она уже выпила свой кофе и водила чашкой по блюдцу. Звук от этого казался особенно резким, потому что мы сидели очень тихо, а голоса детей не доходили до комнаты тети Зельмы.

— Тебе пока что кукла нужна.— набросилась на Габриэлу тетя Зельма и выхватила у нее из рук чашку.— Ты сперва научись собой управлять.

Тетя Зельма встала:

— На сегодня с меня хватит. Уходите-ка обе.— Я выбежала в сад, долго бродила одна и думала. Что, если бы тетя Зельма и Габриэла были моей семьей?

Потом я играла с Энрико. Как и всегда, с тех пор как он пришел в детский дом. Энрико нельзя было больше оставаться с матерью, она была плохой, сказала тетя Зельма. Энрико на два года старше меня. Мальчишки смеются над ним и дразнят. Бывают дети такие замкнутые, что другие дети их не любят. Поэтому мы с Энрико играли всегда вместе, в папу и маму, в квартиру и вообще во всякие игры.

Как показали наш детский дом по телевизору, к нам стали приходить люди. Все хотели детей. Но маленьких. И хорошеньких. С Энрико мы, конечно, дружили, пока его не взяла одна семья. Очень приличная, сказала тетя Зельма.

Меня брать никто не хотел. Наверное, потому, что я уже не маленькая — тогда мне было восемь лет, а теперь десять. И потому, что я не такая уж красивая. Большие мальчишки дразнят меня, потому что я толстая. Тетя Зельма говорит:

— Со временем все образуется.

Но один раз меня захотели посмотреть. Я сидела в глубине сада на качелях и читала, они думали, что я не слышу, о чем они говорят.

Мужчина и женщина долго смотрели на меня и тихо разговаривали.

— Что это за люди, которые назвали своего ребенка Зорайей,— сказала женщина.— Сомнительные типы. Тут еще надо подумать о наследственности. Это нельзя не учитывать. Кто знает, что выйдет из этой девочки. Пожалуй, натерпишься с ней.

— Как хочешь,— сказал мужчина.— Может, все это и ни к чему.

Мужчина вообще-то выглядел приветливым. Я даже думала, что он меня погладит. Но они так и ушли.

Я побежала к тете Зельме. Она была в прачечной и ругалась с мальчишками, которые устроили там морское сражение.

— Что такое наследственность? — спросила я.

Она удивленно посмотрела на меня и сказала:

— Ну, это то, что передается от родителей. Но с чего это пришло тебе в голову?

— Почему меня никто не хочет брать?

Тетя Зельма начала сгибать дужки очков, она всегда это делает, когда не знает, что сказать, но тут я на нее разозлилась, я подумала: пусть они сломаются, эти очки.

— Тебе больше не нравится здесь? — задумчиво спросила тетя Зельма.— Посмотри, сколько у тебя игрушек, не у каждого столько есть, давай посчитаем: кукольная коляска, кукла, негритенок...

— Почему у меня какая-то наследственность, а у других нет?

Я уже знала, что ничего хорошего это слово не означает, но мне хотелось помучить тетю Зельму. Меня ведь тоже никто не любит.

— Не разговаривай со мной таким задиристым тоном.— Тетя Зельма говорила очень строго.

Мальчишки притихли и слушали. Потом с криком помчались в сад. Было слышно, как они оттуда кричали:

— Эй, смывайтесь! Тетя Зельма сердится.

— У тебя есть я. И Габриэла, и все, с кем ты живешь.

— Но я хочу знать, где мои родители. Ведь должны же у меня быть родители и дом?

— Ну хорошо, я скажу. Твои родители оставили тебя одну и ушли. Вернее, просто сбежали. Два дня ты кричала. Но соседи уже привыкли к этому. Только когда стало совсем тихо, они взломали дверь и взяли тебя. Запомни это. Тебе не нужно думать о родителях.

Тетя Зельма сердито сплюнула.

Конечно, и в детском доме не так уж плохо.

Особенно по вечерам. Маленькие девочки давно спят, только я еще не сплю, лежу в постели и думаю. Никто мне не мешает. Как дома, в своей квартире. Слышно, как за дверью тихо разговаривают воспитательницы. Можно представить себе, что это родители перед сном убирают за тобой игрушки. Иногда входит тетя Зельма посмотреть, все ли спят. Она получше укрывает маленьких девочек и, если я еще не сплю, присаживается ко мне на кровать. Мы разговариваем шепотом, чтобы никого не разбудить.

Летом окно открыто настежь и слышно, как в саду щебечут птицы. Долго. А перед тем как совсем стемнеет, все вдруг затихает. Изредка еще можно услышать шаги. Но голоса уже стихли.

Я думаю: оттого, что так тихо, никто не решается говорить громко. Тогда мне хочется вскочить и далеко-далеко убежать.

А иногда я думаю о смерти. Но только летом, а зимой — нет. Когда я умру, мальчишки будут жалеть, что дразнили меня толстой Зорайей. И те люди с наследственностью будут себя винить. Или только мужчина. Но о смерти приятно думать, если знаешь, что многим людям будет тебя жалко. Тетя Зельма, конечно, будет плакать. И Габриэла тоже.

Мне хочется, чтобы со мной каждый день было много людей. Не только в воскресенье.

У Бёттхеров я бывала по воскресеньям. Фрау Бёттхер просто подошла ко мне и сказала:

— Зорайа, хочешь пойти к нам в воскресенье? У нас тоже есть девочка, Кристина, она твоя ровесница. Мы могли бы сходить в зоопарк. Тетя Зельма говорит, что ты любишь книги о животных.

Фрау Бёттхер говорила таким голосом, что можно было подумать, будто им будет ужасно грустно, если я не захочу прийти к ним в воскресенье. Фрау Бёттхер всегда так говорит. Она мне очень нравится.

Она маленькая, намного ниже господина Бёттхера. И такая же стройная, как Габриэла. У нее длинные каштановые волосы, которые она собирает в узел. Прошлым летом, когда мы ездили купаться, она

заплела их в длинную косу и была похожа на девочку. Глаза у нее иногда бывают такими грустными, будто она тоже была когда-то в детском доме.

Фрау Бёттхер была у нас в субботу и на следующий же день решила за мной приехать. Я сильно волновалась. Вечером долго не могла заснуть и все пыталась представить себе, как выглядит эта Кристина. Такая же толстая, как я? А фрау Бёттхер не думает о наследственности?

В воскресенье мы на машине поехали к Бёттхерам.

У Кристины своя комната. С настоящим письменным столом, за которым она делает уроки. Она как раз сидела за этим столом, когда мы вошли: фрау Бёттхер, господин Бёттхер и я.

Кристина протянула мне руку:

— Значит, ты и есть Зорайа. И у тебя нет родителей. Мама с папой считают, что это плохо.— Она выглядела очень серьезной и эти слова произнесла как настоящую речь.

Господин Бёттхер погладил ее по голове и, засмеявшись, сказал:

— Ну, Кристина, и умница ты у нас.— Видно было, что он гордится ею.

Так как я все еще стояла у двери, фрау Бёттхер подошла ко мне и тоже погладила меня по голове.

После обеда мы пошли в зоопарк. Господин Бёттхер был очень весел и все время рассказывал нам о каких-то необычных петухах, которые будто бы живут в горных зоопарках, с одной короткой и одной длинной ногой.

Кристина обиделась:

— Да таких петухов и не бывает. Тебе просто хочется нас подразнить. Я ведь уже не ребенок. Горные петухи!

— Зорайа, как ты думаешь, есть такие петухи? — не унимался господин Бёттхер.— Ты, надеюсь, меня поддержишь.

Я не знала, что сказать. О таких петухах я не слышала. В школе я училась не особенно хорошо. Но прежде чем я собралась что-нибудь ответить, Кристина и господин Бёттхер засмеялись.

— Мой папа любит подурачиться, не обращай внимания,— сказала Кристина и взяла меня под руку.

— Оставь девочек в покое,— сказала фрау Бёттхер.

Вечером тетя Зельма подсела ко мне на кровать. Она, конечно, знала, что мне не хочется спать.

— Ну как?

— Чудесно.— Мне казалось: если я расскажу, как мне было хорошо, то все кончится. И они не возьмут меня в следующее воскресенье.

Я бывала у Бёттхеров каждое воскресенье, целый год. Пока мне не исполнилось девять лет.

До обеда мы всегда играли в школу. Кристина была учительницей.

— Ты должна лучше учиться,— сказала мне фрау Бёттхер.

Теперь я стараюсь изо всех сил. Но это так трудно. Может быть, это легко, если у тебя свой письменный стол, как у Кристины. Она-то получает только пятерки. А в мой дневник учителя всегда пишут: «Зорайа мечтает».

Но об Индии мне не хочется мечтать: когда я об этом думаю, мне становится грустно.

В то воскресенье Бёттхеры опять сказали, что едут в Индию. Мы были в лесу на нашем месте. Это лесная поляна, у самой опушки протекает ручей. Там мы с господином Бёттхером каждый раз устраивали небольшую запруду. Поляна выглядит так, будто на ней никто до нас не бывал.

Было прекрасно в этот послеобеденный час. Как бывает в семье. День был теплый, и господин Бёттхер спал в тени под деревом. Фрау Беттхер читала книгу, а мы с Кристиной играли в бадминтон.

Потом Кристине тоже захотелось читать, и я подсела к фрау Бёттхер. С ней мне было лучше всего. Господин Беттхер слишком веселый. А кто слишком веселый, тот мало знает. Кристину же я побаивалась: она всегда говорит умно, а я часто говорю всякие глупости, и именно при ней.

Я дождалась, когда фрау Бёттхер закрыла книгу, и сказала:

— Вот и у меня будет такая же семья: отец, мать и двое детей.

Фрау Бёттхер посмотрела на господина Бёттхера, на Кристину и сказала:

— Зорайа, через два месяца мы уезжаем в Индию.

Помню, я еще продолжала улыбаться, потому что всему радовалась, и весело подумала: ну и прекрасно, в Индию так в Индию.

— Зорайа, мне очень жаль, я бы охотно взяла тебя с собой. Но... мы приедем сюда в отпуск и обратно поедем уже все вместе, вчетвером.

Таким же тоном говорила тогда тетя Зельма: «...кукла, негритенок, самокат».

Фрау Бёттхер долго объясняла мне, что господин Бёттхер — инженер и что он будет работать в Индии два года или больше.

Потом казалось, Бёттхеры вот-вот поссорятся. Господин Бёттхер считал, что Кристине надо на время пойти в детский дом. Это и для учебы лучше. И из-за климата. Потому что в Индии она может заболеть.

Фрау Бёттхер тоже инженер. Но без Кристины она не поедет.

— Подумай о Зорайе,— сказала она мужу.

Я не хотела ничего этого знать. И оставаться там больше не могла — я убежала в лес.

Я долго бежала. Но это только в детском доме, вечером, приятно думать, как здорово было бы убежать. А в таком лесу чувствуешь себя ужасно одиноко. Кристина не в счет.

Кристина все время бежала за мной. Она что-то болтала про Индию, про открытки, которые будет мне присылать. И тогда у меня будет самая большая коллекция в детском доме.

Но об этом я тоже не хотела слышать. Пусть она уезжает в Индию, эта умная Кристина. Пусть они все уезжают.

Солнце уже скрылось, и было холодно, когда мы вернулись на нашу поляну.

Фрау Бёттхер плакала, и нам досталось по оплеухе. Потому что она испугалась за нас. Я еще никогда не получала оплеух.

Кристина завыла. Потому что было больно. Мне тоже. Но я радовалась, что досталось не одной Кристине.

Вскоре появился из леса господин Бёттхер. Он ходил нас разыскивать и был сердит на Кристину. «Тебе следовало быть умней». Потом мы поехали домой.

Кристина дулась. Мы сидели с ней сзади, и она всю дорогу возмущалась:

— Какая гадость. Дать пощечину. Пусть они одни едут в Индию. Я пойду к тебе в детский дом.— Глупая эта Кристина.

Тетя Зельма не расспрашивала, почему я не хотела больше к Бёттхерам. И только бормотала:

— Со временем все образуется.

Кристина и фрау Бёттхер еще раз были у меня. Они принесли мне книгу об Индии.

— Смотри, Зорайа, чтоб у тебя был приличный табель, когда мы

вернемся,— шутливо пригрозила фрау Бёттхер. И зачем она притворяется, будто для нее это важно. Глупая Кристина бегала по комнате и кричала:

— Мамочка, посмотри, как у них тут хорошо! — Фрау Бёттхер смотрела на меня чуть-чуть грустно, будто знала, что я думаю. Но погладить себя я больше не дала.

По воскресеньям я играю теперь с маленькими девочками. Тетя Зельма говорит:

— Вот вернутся Бёттхеры и возьмут тебя.— Но я не знаю, хочу ли я, чтобы меня еще раз кто-нибудь взял.

Перевод Т. А. ХОЛОДОВОЙ

ВОЛЬФГАНГ МЮЛЛЕР

Юле-кочегар

1

Самого старшего из них звали Юле. Никто уже не спрашивал, как зовут его на самом деле.

Юле — и все тут. Коротконогий, с продубленной кожей. Взгляд у Юле был то соколиный, то совиный. Он менялся в зависимости от цвета неба над рекой. Менялся подобно ветру из раструбов вентиляторов: то теплый, то холодный. Никто не знал, почему так. Совсем уже состарился Юле возле пламени топок.

В глубокие морщины его лица настолько въелась угольная пыль, что не сходила даже после мытья, а мылся Юле часто и с удовольствием. В цинковом ведре со вмятинами, почерневшем снаружи от масла и угольной пыли, но блестящем и чистом изнутри. Поставив широкие натруженные за свой немалый век ступни босых ног на железные плиты палубы, мылся он после вахты возле люков угольной ямы, мылся долго, не жалея мыла, жесткой щеткой. Лил на голову горячую воду из ведра до тех пор, пока не смывал с себя остатки пены.

— Мыться — это хорошо,— говорил он, медленно поворачивая свое тело против огня или же подставляя его под воздушную струю вентилятора, пока не обсохнет.

— Мыться — это хорошо,— говорил он и покупал самое что ни есть дорогое мыло, хотя особой щедростью не отличался.

ВОЛЬФГАНГ МЮЛЛЕР — WOLFGANG MÜLLER (род. в 1941 г.).

Писатель ГДР. Прежде чем стать писателем, переменил много профессий — был продавцом, кочегаром, крановщиком, сельскохозяйственным рабочим помощником режиссера. В прессе ГДР публиковались его рассказы. На русском языке напечатан рассказ «Прошел!» («ИЛ» № 9, 1976).

Рассказ «Юле-кочегар» («Stokerjule») взят из первой книги В. Мюллера «Речные истории» («Flussgeschichten». Rostock, Hinstorff Verlag, 1974).

© VEB Hinstorff Verlag, Rostock, 1974.

После этого он надевал брюки и поднимался на палубу.

— Понюхать ветру,— говорил он.

Босиком, в одних брюках, так как рубаху носил только зимой. Ботинок у него была всего одна пара, и надевал он их, когда выпадал снег, либо ему надо было сойти на берег.

Если палуба накалялась от жары в июле или покрывалась льдом в декабре, то он носил шлепанцы на деревянной подошве, снашивая их до того, что мозолистые пятки начинали шаркать по металлической обшивке палубы. На одежду было ему наплевать.

— Мне нужен воздух,— говорил он.— Я лучше помоюсь, когда грязный, тогда и подштанники ни к чему.

Юле покупал в каждом порту мыло, пробуя новые сорта и складывая куски в коробку под своей койкой.

Кроме мыла, еды и табака он больше ничего не покупал. Деньги свои прятал.

Люди мало что знали о нем. Подобно старому судовому колоколу, устало поблескивавшему на солнце,— с надписью «Силезия», хотя пароход вот уже двадцать лет назывался «Двина»,— Юле был неотъемлемой частью судна. Он дольше всех плавал на пароходе и собирался пробыть на нем еще долго.

— Если так работать, как вы, то я долго продержусь,— часто повторял он, вороша кочергой в топке, мускулы его напрягались и твердели, а взгляд становился соколиным. Глаза — большими и серыми, как сталь. Независимо от цвета неба.— Мне у топки суждено помереть,— продолжал он,— но вам, ребята, до этого не дожить. Не дожить. У вас не так много времени, как у меня.

Ребята смеялись, и он смеялся вместе с ними, но иначе, хотя они этого и не замечали. Таким был Юле-кочегар, таким знали его все на реке. И те, для кого река была родным домом, и те, кто здесь всего лишь зарабатывал деньги. Юле-кочегар, стоящий на палубе с вечно голой грудью, открытой холодному ветру. Юле-кочегар, такой неразговорчивый и боязливо сторонящийся женщин.

— Они у тебя последнее отберут. Все они лживые насквозь, скажу я тебе. От баб лучше подальше. Я бы тебе рассказал, как они меня обирали, когда еще на море ходил, в войну.— И он показывал руки с татуировкой. Толстые голые женщины и тигр посередине, наколотые самым примитивным образом.— Я мог бы тебе рассказать такое, такое...

После подобных разговоров он чаще всего надолго умолкал. Качал головой и молчал. Только тому, кто умел молчать вместе с ним, подолгу молчать, рассказывал он о себе и о волках Галиции, подходивших зимой к самой хижине.

— Знаешь, то было перед первой войной. Когда еще императоры были. Моя бабка взяла меня тогда к себе, потому что мать моя все бродяжничала. Ну, да что там. Я ее и знать не знал.— Он потирал в задумчивости подбородок.— Сам видишь, никакого проку от возни с бабами. Одни хлопоты.— И он надолго стихал, а потом начинал снова: — Там такие волки, скажу я тебе, там, в Галиции. Здоровые, как телки, ей-богу. Сидят, значит, у двери и воют. Ничего не боятся, куда там, когда холодище такой. Ну, я тебе скажу...— Взгляд его упирался в пустоту, костлявые плечи опускались, сутулясь, а нос с горбинкой нависал над верхней губой. Вскоре, однако, Юле снова распрямлялся.— Да,— продолжал он,— но бабка всегда задавала им жару, стервецам этим.— Он свирепо размахивал худущими руками.— Полено из огня, дверь настежь на улицу и огнем по шкуре. Ха-ха! Их, паршивых собак, как не бывало. Да. Старуха была что надо. Такой не сыскать больше. Бог ты мой, что это была за женщи-

на! Жаль, что она умерла, когда мне только двенадцать стукнуло. Отправили меня тогда в именье. Н-да.— Он помолчал.— Нынешним бабам только денег подавай. Грош им цена. Коли деньги есть, так они до тех пор будут голову тебе морочить, пока дочиста не оберут. А нет денег — ты им и не нужен.

Выговорившись, он сплевывал на уголь и ложился на спину. Голой кожей на горячее железо.

— Меня больше ни одна не облапошит. Пусть только попробуют, я им покажу,— добавлял он иной раз, а уж больше — ни слова. Ни о бедности в Галиции, ни о бабах, ни о пароходе в Тихом океане, на котором он кочегарил до войны и всю войну. Юле неотрывно глядел на небо, плывшее навстречу пароходу. Был слышен только мерный стук машин да грозное шипенье пара в трубах.

Юле-кочегар молчал, пока под ним не начинали снова греметь зольники. Значит, скоро другой смене заступать на вахту. Четыре часа кочегарить, четыре часа не кочегарить, четыре часа кочегарить, четыре часа не кочегарить. Пятьдесят лет, множество раз поделенных на четыре часа. С огнем и без него.

Восьмой десяток разменял Юле-кочегар, стоя вот так у котлов, повязав живот старым лоскутом, чтобы не обжигали искры, вылетавшие снизу. То, что сверху,— он уже не чувствовал. Юле-кочегар из Галиции, с Тихого и с Эльбы.

2

— Тихий — дерьмо,— говаривал он иногда, покусывая при этом обветренные губы.— Атлантический лучше. Там, знаешь, не приходилось столько потеть. Нет лихорадки, и плаванья не такие затяжные. Тихий — дерьмо, это точно, уж можешь мне поверить.

Заглянет в топку, промерит уровень воды, присядет на уголь и сплюнет.

— Я все время на Тихом плавал. По Атлантическому всего пару рейсов сделал. Потом прибился к панамцу, и с тех пор все Тихий да Тихий, никак не мог уйти с той посудины.— И, посмеиваясь, продолжал: — Документов у меня никаких не было, ведь из именья-то я удрал еще тогда, после первой войны. А без бумажек не спишешься, разве что выгонят, но тогда тебе каюк. Ну, а потом вторая война. Я уж рад был, что смог остаться. Так вот и шло. Но,— он широко ухмыльнулся,— но в конце концов мне это удалось.— Он крошил пяткой кусок угля и растирал сверкавшую пыль.— У Фиджей она затонула, старая посудина. Так я наконец от нее и избавился, от стервы от этой.

Довольный, Юле снова залезал в угольную яму кидать уголь. И кидал до тех пор, пока у котла не вырастала гора угля, которого хватало до конца вахты.

— Угля я могу перекидать сколько хочешь,— повторял он.

Другим уже невмочь, а у него еще ни одна капля пота не проложила светлой борозды на лице. Он похож был на черта, прыгающего в адской жаровне. Голый и задиристый, тощий и непобедимый.

— Только малость пару — вот все, что от вас требуется, эх вы, салаги,— говорил он, и из люков победно раздавался его хриплый смех.— Но вы еще можете научиться, ребята, коли у вас так много времени. Если у вас вообще еще осталось время, ха-ха!

Уголь шумной лавиной устремлялся в кочегарку, обрушивался с треском на железные плиты, раскатываясь по углам. Юле работал, как машина. Тягаться с ним было никому не под силу, а он, вылезая из ямы, ухмылялся и говорил:

— Работать лопатой может не каждый, а?

Перед тем как кинуть уголь в топку, он спрыскивал его водой.

— Так он больше пару даст,— объяснял он.— Углю пить надо, тогда у него больше силы в огне, так-то вот.— От усмешек других он отмахивался: — Эх, да что вы смыслите, крысы сухопутные. Это ясно, что вы ничего не смыслите. Так оно и должно быть. Я тоже таким был, когда вкалывал на своем первом паровичке.— Он ставил ведро на место возле зольника, плеснув себе в лицо пригоршню воды, потом разражался смехом: — Fireman wanted?[1] Ха-ха! Знать бы мне это раньше. Ха-ха! Все Тихий да Тихий. Без малого тридцать лет. Какое дерьмо! — Тер глаза.— Не-ет. Я тоже был не умнее вас. Тогда.

Свою лопату он ставил в темный угол под трапом, где вешал брюки, когда заступал на вахту. Этот угол был его местом, и к лопате никто не смел прикасаться. Но если кто-нибудь решался взять ее, то Юле бушевал:

— Эй вы, собаки. Да вы же в самом деле ничего не смыслите. У каждого своя рука, она не подходит к чужой лопате. У кочегара должна быть своя лопата, иначе на корабле не будет пара. С вами одни только хлопоты.

Когда пароход заходил в док и на борт поднимались сварщики, лопата, бывшая частью самого Юле, лежала под койкой рядом с мылом, а ключ от двери висел на веревочке на морщинистой шее старика.

Но вообще-то он не был скупым. Заметит, что другому что-либо нужно, даст. Молча. В крайнем случае скажет:

— Остальным нечего знать, что я тебе дал, понятно? А то потом хлопот не оберешься. Проваливай.

Только вот когда он был кому нужен? На что Юле вообще годился? Разве что только уголь бросать.

Юле, он и есть Юле. Другие это понимали, понимал и сам Юле. По-видимому, так было еще тогда, в Окленде, вскоре после второй войны, когда он лежал в портовом госпитале с обожженной ногой и неизвестно было, что будет после всей этой крови и гноя. И когда в общежитии морякам давали жидкую баланду, да к тому же без мяса. Когда не было судна, на которое брали. Когда пароходы редко заходили в Окленд после второй войны, а панамца, того, что не спрашивал документов, кораллы уже превратили в красный риф у островов. Fireman wanted? Только не в Окленде.

Да и кому нужен был кочегар? Ни крейсерам, стоявшим на рейде, ни авианосцам, ни эсминцам. Никто больше не хотел нанимать дешевых панамцев. Цемент в Новую Гвинею для строительства бомбоубежищ. Война кончилась, а в Новой Зеландии осталось предостаточно молодых парней.

Fireman wanted? Только не в Сиднее. Он истратил все свои доллары, пока добрался туда. На месте погрузки угля можно было поспать, на такое расстояние подпускали к судам. Но не будешь ведь жрать уголь. Уголь пожирали только котлы. Совсем задубел Юле, но сделан он был не из железа. Юле по-прежнему оставался Юле, в Сиднее тоже. Приходилось побираться, и это не делало его моложе, да и голод в Австралии ничем не отличался от голода в Галиции — тогда, когда волки кружили вокруг хижины, потому что снежная пурга несла с собой смерть.

Если речь заходила о южных морях, о тамошних пальмах, акулах и девочках, Юле, прерывая долгое молчание, говорил:

---

[1] Кочегар нужен? *(англ.)*

— Да что там, все брехня. Тихий — это страшное дерьмо, уж ты можешь мне поверить.— Когда настроение было хорошим — обычно это бывало в день получки — и его тянуло поговорить, он еще добавлял: — В самом деле. Так оно и есть. Даже и думать не думай об этом, ты, бродяга. С бабами на Яве, да будет тебе известно, с ними тебе все равно не справиться. У них эти штуки поперек. Вот такие там дела.

Тут он разражался своим хриплым, нутряным смехом, все мускулы у него подрагивали, даже спина его тряслась от смеха. На этом его рассказы о женщинах на Яве заканчивались, а если кто начинал его дразнить, то он принимался за работу.

После этого его тонкогубый рот приоткрывался лишь тогда, когда он ворочал ломом в огне, сбивая припекшийся к решеткам шлак. Пламя у него всегда бушевало. Он любил покрикивать, всаживая лом в огонь, лицо его собиралось в складки, превращаясь в горячую, коричневую маску, на которой озорно поблескивали глаза. Он ругал свой котел, дразнил его и посылал в огонь проклятия, если что-то получалось не так, как он хотел.

— Свинья ты поганая! Сейчас я тебе задам, собака.— А в уголках рта таилась усмешка, предназначенная котлу.— Ну, погоди, дрянь ты этакая, я тебе покажу,— кричал он, выхватывая расплавленный шлак и бросая его себе под ноги.— Ну, что я тебе говорил, стерва. Вытащил же я тебя, видишь.

Так пританцовывал Юле с пудовыми ломами, фехтуя, как на турнире. Каждое движение отработано за долгую жизнь. Каждый удар точен, ни одного выпада впустую. Орудуя железными пудами, он работал с точностью до миллиметра, часами, с невероятной скоростью. Юле работал так быстро и так уверенно, что никто не мог распознать его приемов. В его присутствии старая топка оживала, выплевывая газ и снопы искр. Котел превращался в хищника из огня, пара и металла, и Юле, сбивая шлак, вступал с ним в бой. Каждые четыре часа Юле праздновал победу, он не знал усталости, ведь огонь не должен был затухать ни на миг, а манометры на котлах своими подрагивающими стрелками требовали давления.

— Пар должен быть на уровне, это для кочегара дело чести,— говорил Юле, если стрелки падали за красную отметину, и он снова напрягал свои упрямые мускулы.— Что бы там ни было, пар должен стоять!

Кто не может держать давление, тот тряпка, а из тряпки выжимают последнее. Так было у старого панамца. Везли копру с Фиджей в Манилу, со ржавыми котлами, еще более старыми, чем дряхлое суденышко. Незримый обжигающий пар прорывался через худые фланцы, каждодневно опаляя кожу.

«Такое уж это дело»,— ухмылялся старпом, просовывая свое злое свиное рыло сверху через люк, чтобы поглазеть в кочегарку. Жирный как боров старпом, всегда пьяный, ему нельзя было сойти с этой вонючей посудины — показаться на суше он не смел. Ни в Мельбурне, ни в Рангуне, нигде. Его повсюду разыскивали. «Такое уж это дело,— говорил старпом.— Дешевый флаг, дешевые котлы, дешевые кочегары. Только не уставать, ребята. Я проплавал на этой посудине добрый десяток лет.— И он обдавал их сверху своим безумным хохотом.— Поддайте огня, кочегары. Давай-давай! Больше пару, тюфяки, иначе никогда не доберемся до чертова пекла!» Кто не давал пару, того выгоняли. Все равно где: в Калькутте или Сингапуре. Были ли целы все кости или нет. «Кочегаров везде хватает, поддай пару!» Потом старпом уходил на корму. Сволочь старпом, этакая скотина,

он спускал пар в винтовой туннель, куда никто не мог заглянуть, но знали об этом все.

Тут врагом становился огонь, ибо со старпомом ничего не поделаешь, Юле надо было научиться бороться с металлом и дрянным углем. От Апиа до Молуккских островов, с угольным мусором либо кусками угля.

Сегодня Юле сказал:

— Пар — это для кочегара дело чести.

— Дерьмовая честь,— ответили остальные, опустили стрелки за красную черту и ждали, пока с кормы не заорал машинист.

3

Взгляд Юле становился совиным, когда речь заходила о деньгах. Тут он весь напрягался, думая о сберкнижках, желтых, с пятнами сажи, под половицей в кубрике. О записанных в них цифрах, набежавших за пятнадцать лет работы на Эльбе. Пятнадцать раз по двенадцать ежемесячных заработков да сверхурочные, премии, как это там называется? Еще надбавка за жару, надбавка за грязь и надбавка к питанию за свой счет.

«Мне и в голову не приходило, что у меня будет такая куча денег,— думал он и всякий раз удивлялся: — При этом я же всегда покупал табак и вот уже трижды обувь, черт подери. А еда... И сколько же всего человек пожирает! А захочется, так пойду выпью, зимой, когда холодно. Не понимаю, как эта фирма до сих пор еще не обанкротилась».

В памяти его всплывал коричневый глиняный горшок в углу хижины, прикрытый связкой соломы, припасенной для козы, в него бабушка складывала монетки, если они у нее заводились. Оттуда она брала их, когда надо было идти в деревню за крупой. Зимой с крупой было совсем плохо, там, в Галиции, ее тогда не хватало. А теперь где ее взять, крупу? Ему еще ни разу не приходилось на Эльбе есть кашу из такой крупы.

А потом Юле всегда вспоминался Хименес, испанец с раскосыми глазами, которого уже давно нет на свете. Хименес, с которым и поговорить-то было нельзя — он ни слова не понимал. Педро Хименес, что бесшумно и быстро объяснился на языке ножа в скользком Шанхае, когда два китайца подстерегли Юле ночью на улице. И снова Хименес в душную ночь, когда они на всех парах шли в тайфун. Хименес опять бы без колебаний ударил ножом, если бы Юле проснулся. Но Юле притворился спящим, ведь он знал испанца и понимал, что̀ сжимал Хименес в левой руке и что̀ уже засунул себе под рубашку, поближе к своей лосняшейся от масла коже.

Юле проснулся тогда, но виду не подал, хотя сердце у него оборвалось. Доллары за все восемь лет мучений в раскаленном брюхе панамца были теперь под рубашкой испанца, который умел лишь рычать, когда хотел что-то сказать. Доллары, не перепавшие лавочникам. Не доставшиеся пестрым китаянкам в Гонконге. Скольким китаянкам ничего не досталось, очень пестрым китаянкам. И Юле ничего не досталось. Однако он сохранил доллары, уже переставшие хрустеть оттого, что их часто пересчитывали. Доллары, которые были нужны, чтобы не погибнуть вместе с этим дряхлым панамцем, он снова и снова затягивал тебя, а уйти было невозможно: не хватало денег на документы. И все эти долларовые бумажки в кривой лапе низенького испанца, в другой — быстрый нож. Юле притворился крепко спящим в ту жаркую ночь, когда испанец вставлял на место доску, вынутую из обшивки переборки.

Вот о чем вспоминал Юле, если речь заходила о деньгах. И он

снова видел, как задраивает водонепроницаемую переборку. На другой день, когда уже начало штормить и волны вздымались все выше и выше, он был совершенно спокоен. Или ты, или я — крутилось у него в голове. Или ты, или я — твердил он, закручивая винтовой запор. И по сей день чувствовал он горячую, гладкую поверхность металла, обжигающую ему руку. Покрепче завернуть! Покрепче завернуть! Ты или я. Испанец за переборкой, которую невозможно было открыть изнутри. Ты или я, а по мне, так и оба сразу. Но только чтобы не я один.

В жаркие ночи Юле и сейчас чудятся иногда вопли испанца, погребенного под углем, с грохотом обрушившимся на него.

Доллары Юле не удалось найти, а Хименес так и остался лежать под грудой угля, когда пароход пошел ко дну у островов Фиджи.

Все это всплывало в памяти Юле-кочегара, если речь заходила о деньгах. Всегда по порядку. Галиция, пестрые китаянки и барселонец Хименес, у которого было двенадцать братьев.

Деньги и нож. Пот и кровь. Голод и смерть. То, о чем он думал, было ему не по нутру, и всегда где-то всплывало неясное желание, чтобы денег вообще не водилось на свете.

Об испанце он никогда не говорил, мало кто знал и о том, что у него никогда не было ни одной китаянки и вообще никакой другой женщины, когда он плавал на Тихом. Молчал он и о ноже, который лежал возле сберкнижек, завернутый в бурую парусину. Лежал у самых ног Юле, а внизу размеренно катила свои воды Эльба.

Он снова и снова возвращался к этим воспоминаниям; его охватывало беспокойство, всю ночь он просиживал на палубе, прислонясь — если было холодно — к трубе парохода или к якорной скобе над бушпритом, где разгуливал летний ветер. Наутро после такой бессонной ночи он, как всегда, шел на вахту. Никто не замечал, что он провел бессонную ночь. Только маленькие глаза становились темнее обычного и более красноречивым его молчание. Он долго и более тщательно мылся, медленнее поднимался на палубу, сторонясь кого бы то ни было, а после засыпал где попало, пока боцман не начинал на него кричать, потому что лежал он на канате, который как раз понадобился. Не говоря ни слова, Юле скатывался с каната и снова возвращался в кочегарку. Помогал работать остальным, будто хотел загладить свою вину, или же пристраивался у себя в углу и начинал латать одежду. Он терпеливо сносил насмешки над двадцатой заплатой, которую он прилаживал на свои истрепавшиеся штаны.

— Вы еще научитесь, ребята,— единственное, что он говорил, улыбаясь.

4

— Ну, скажу я тебе, как мне тогда удалось вырваться из Сиднея, в сорок восьмом. Вот что значит удача, черт подери!

Сидя возле рулевой машины, Юле грел свою голую спину у медных труб, в которых булькал конденсат, и смотрел на серую Эльбу. На реке начиналась зима, в такую погоду приятно было ощущать тепло кожей. Равномерно и убаюкивающе пощелкивали клапаны.

— Какой был пароход,— сказал Юле.— Красивое судно, скажу я тебе. И никакой лопаты для котла. Ей-богу! Не веришь? Да я тебе правду говорю. Там все было по-американски. Все, понимаешь, на жидком топливе. Знай себе поворачивай рукоятки. Да, корабль был что надо! Грузил боеприпасы. И вдруг, когда отчаливал, ка-ак трахнет. Пол-экипажа как не бывало.— Он покачал головой.— Да-а, не повезло ребятам. А мне все это на руку. Пароходу надо было отходить, для морской службы с натяжкой он еще годился. Тут они меня

и взяли смазчиком, я там как раз на приколе сидел. Мне-то дольше в Сиднее и не продержаться, без работы-то.

Он смазывал швы своих грубых башмаков и, довольно вздыхая, продолжал рассказывать:

— В воздухе уже пахло снегом, после нескольких рейсов на Тихом пришлось мне списываться на берег, кораблю надо было идти в док. Дело было в Гамбурге. Да они меня все равно больше не оставили бы, американцы-то. Джону Буллю не нужны кочегары без документов. А у меня их отроду не было. Откуда? Из именья я же удрал.

Он аккуратно соскоблил лишний гуталин и положил его обратно в банку. Затем он впихнул широкие, заскорузлые ступни в ботинки и удовлетворенно оглядел свои ноги.

— Еще послужат, и чинить не надо. Пару лет еще выдержит обувка-то.— Он снова их снял и начал энергично шевелить пальцами ног.— Без башмаков, оно лучше,— сказал он.— Нет башмаков — плохо. А их все время носить — тоже плохо. Правда,— усмехался он,— если башмаки у тебя есть, а носить не обязательно — это хорошо.

Он отставил ботинки в сторону и, потерев ноги одна о другую, поплотнее придвинулся к теплу.

Юле наскреб в кармане брюк пригоршню табаку, неторопливо скрутил самокрутку, понюхал ее и сказал:

— Табачок неплохой. От такого я никогда не откажусь.

Этот табак был самым дешевым на Эльбе, другого Юле и не покупал. Но Юле говорил то, что думал, ведь Юле никогда не лгал.

Ледяная кайма вокруг верхушек бун врастала в реку, вороны с пойменных лугов отлетали в города, и Юле приготовил себе рубаху. При мысли о том, что скоро надо будет ее надеть, ему становилось не по себе, но, с другой стороны, он думал: «Сколько же дадут мне рубах, если я выложу на прилавок все свои сберкнижки? Спросить, что ли, кого? Да чего там! — думал он.— Нечего всем все знать. От этого одни хлопоты».

Чем сильнее становились холода, тем реже появлялся он на палубе. И в свободное от вахты время он оставался внизу, усаживаясь поудобнее в углу рядом со своей лопатой, угольная пыль ему совсем не мешала. В кубрике он бывал теперь только ночью. В ту пору он стал, можно сказать, разговорчивым.

— Хотелось бы мне знать, для чего они нужны, эти деньги,— спросил он однажды, сидя, как всегда, на своем месте в углу, и стал ждать ответа, терпеливо улыбаясь, пока все отсмеются.— Ведь верно же, что от денег одни неприятности. И тогда, когда их у тебя мало, и тогда, когда их у тебя больше, чем тебе надо. А бабы? Шли бы они куда подальше. Мне они не нужны.— Секунду он молчал, заползая поглубже в угол, а затем продолжал: — Когда мне в Гамбурге пришлось списаться с американца, то меня взяли там докером. Им нужны были люди, а я тут и сказал, что мои документы затонули вместе с панамцем. Потом я сошелся с одной, ведь вдвоем оно дешевле, да и вообще, как она говорила. Такая блондинка, довольно задастая. У нас в то время даже своя комната была. Все как надо: с мебелью. Я спал, а она рыскала по моим карманам. А ведь я ей давал всегда, когда домой вечером возвращался. Днем она путалась с другими, паскуда.

Протянув назад руку, он вытащил из-за спины обструганный наполовину черенок для лопаты, над которым он уже давно трудился. Провел по нему мозолистой ладонью, ощупывая все неровности, и стал осторожно срезать дальше, приговаривая:

— На такую дубинку можно положиться. Это тебе не с бабами.

Ей все равно, есть у тебя деньги или нет. Если с ней как следует обращаться, она тебе долго прослужит. Пока не отработает свое. Ее на целый век хватит.— Потом он стал скоблить твердую древесину бутылочным осколком.— Слишком срежешь — это нехорошо, надо, чтоб был по руке. Резанешь не так — и испортишь совсем. Тогда, считай, зря прождал два года, чтоб высох.— Он поднес черенок поближе к свету.— Последний, больше не понадобятся. Этот лет десять продержится.

Он скоблил еще целую неделю, пока дерево не пришлось ему по руке.

— Недолго я там пробыл, в Гамбурге-то,— продолжал он.— Вскоре я оттуда уехал. Хотел попасть в Галицию, посмотреть, как там все выглядит, да и вообще.— На лице его появилось нечто вроде улыбки.— В Гамбурге мне рассказали, что в Галиции тоже война была. Я же раньше этого не знал. Ну, а в море мне больше не хотелось. Даже с документами. Ни за что. На море долго не протянешь, если ты не офицер, или старпом, или по меньшей мере стармех.— Он покачал головой.— Не-ет, долго не протянешь,— еще раз подтвердил он, разглядывая свои ладони. — Здесь жить можно, здесь, на этой посуди-

не,— добавил он и похлопал рукой по тросам, как треплют лошадь или собаку.— Здесь я и до старости доживу. У меня тут все есть, что мне нужно. И работенка есть. Здесь оно иначе, чем на море.

Через раскрытую горловину в кочегарку падали потемневшие от сажи хлопья снега, они парили в теплом воздухе, пытавшемся вытолкнуть их наружу, становились все меньше и меньше и, наконец, быстро таяли на ногах Юле, покрытых вздутыми синими венами. Юле опустил брюки на щиколотки, подогнул под себя ноги и, жмурясь, посмотрел наверх. Черный дым кружился над кольцами труб, превращаясь в толстые рогатины, пожирал снег и падал на реку.

— Захотелось мне, значит, в Галицию, у меня же на суше дома нет. У меня ведь, понимаешь, нет ни души.— Он смущенно почесал в голове.— Взял я да и пошел. Полный вперед. Дело-то было летом, да и денег у меня было самая малость. Тогда я еще ничего не знал, что где-то там граница и все такое. И что Галиции больше нет. Ни от кого я этого не слышал. Да и кто вообще знает, что такое Галиция? Я и сам толком не знаю. Я же нигде, кроме деревни, не бывал, пока не убежал оттуда. Но найти бы я ее нашел.

Он молчал, прислушиваясь к своим мыслям, может, чудился ему шелест упругих листьев тополей, росших возле деревни, или волки, или потрескивание огня в печке у бабушки.

— Но меня тогда задержали, я собирался реку переплывать, ведь моста-то не было. Тут другие документы нужны, сказали мне, а не эти, из Гамбурга. Послушай, откуда же мне это знать. Да, одним словом, пришлось мне тогда неделю картошку чистить в каталажке.— Воспоминание развеселило его.— Сколько же я ее там съел, ха-ха! Вкусная была, рассыпчатая.

Он рассказывал еще, как научил охранника-солдата играть в покер и как не хотелось ему потом уходить из уютного барака казармы, стоявшего на низком холме над Одером, где солдаты выращивали помидоры и где был загончик для двух свиней.

— Но они меня все же отправили. Я должен работать, а не бродяжничать, сказали они мне, и еще: Галиции больше нет. Все сгорело в войну. Сказали они.

Потом он надолго задумался и, наконец, спросил:

— Как ты считаешь? Правда это? Я многих уже спрашивал, и все они говорят: Галиции и в самом деле больше нет.— Взгляд у него

был растерянный, как у совы при внезапном свете.— Ты тоже так считаешь? Ее больше нет, да?

Юле не стал дожидаться ответа. Он не хотел ответа. Галиции больше нет. Зачем нужна Галиция с голодом и побоями в именье? Вообще, что это такое — Галиция? Он умолк, покусывая губы, и только еле слышно что-то бормотал. Говорить ему больше не хотелось. Его нужно было оставить в покое.

5

Настала зима. Последний рейс. Поутру, за плотинами, больше не было туманов, один серый иней, и Юле, выходя на палубу, натягивал рубаху на свою тощую грудь.

Река должна была скоро замерзнуть, а команда — отправиться по домам. Каждый к себе. Одному Юле приходилось оставаться, нести вахту на борту обезлюдевшего парохода на зимней стоянке. Все как обычно. В течение пятнадцати лет на «Двине».

У Юле будет много времени. «За самую малость работы и за одно только то, что я остаюсь на борту — целый заработок,— будет диviться он в шестнадцатый раз.— И как только пароходство сводит концы с концами, черт побери! Ведь я все равно не знаю, куда мне податься. Раньше надо было об этом заботиться». По утрам он будет долго лежать в постели, до семи часов, потом подкинет угля в печку и будет неторопливо долбить лед, чтобы высвободить бороздку вокруг судна. Так всю зиму, больше делать нечего. Разве что, если пойдет снег, расчистить палубу, да шугануть иногда разыгравшихся ребятишек с капитанского мостика, да присмотреть везде за порядком.

Зато весной, когда надо будет разжигать котлы, Юле бросит в топку первую лопату угля, так же как и осенью — последнюю.

— Все в порядке, Юле? Ничего не пострадало от мороза? Нет? Ну и отлично, как всегда,— скажут другие, и все снова пойдет по-старому.

В этот раз в верховьях реки, недалеко от зимней стоянки, лед уже сковал реку. На палубе все понадевали бушлаты.

На берегу снега пока не было, но он уже навис над землей.

На палубе и в машинном отделении все было подготовлено к зимовке. Пароход с трудом продирался сквозь ледяной покров, машины работали на полную мощность, в обоих котлах вовсю бушевало пламя.

В свободное от вахты время Юле принес в свой кубрик большой ящик и наносил в него ведрами мелкий уголь, наполнив его доверху. Достал из шкиперки второе одеяло и еще одну рубаху, поплотнее, на всякий случай. Потом заточил для себя ледорубы на корме.

Позже, во время вахты, он отпустил на час второго кочегара, чтобы тот смог упаковать свои вещи в дорогу.

— С твоим котлом я и шутя справлюсь, проваливай.

И он протопил их три раза подряд, без перерыва, как всегда. Выбирал золу из раскаленных добела букс, подносил уголь, сгребал шлак, нагнетая при этом давление.

Затопив в третий раз, не смог пройти в дверь, она вдруг стала двоиться у него в глазах, а потом исчезла совсем.

Когда машинист пришел в кочегарку поглядеть, почему пароход совсем сбавил ход, то застал Юле лежащим на груде угля у открытой заслонки. Одна рука на рукоятке тяжелого лома для шлака, другая — на груди. Удобно лежал, когда умер.

После Юле осталось что-то из поношенных вещей, предметы личного пользования, которые смогли бы уместиться в двух карма-

нах, коробка с мылом, в шкафу ящик с продуктами и две сберкнижки на сумму в тридцать пять тысяч марок.

В паспорте Юле капитан нашел замусоленную записку, где коряво, детским почерком было написано: «Если со мной что случится, деньги с книжек надо отдать одному испанцу, чтобы он не бросался с ножом на людей. Юлиан Чеховский. Пароход «Двина».

Одеяла и посуда были собственностью пароходства; о черенке для лопаты никто и не вспомнил.

Перевод Е. ШЛОССЕР

ХЕЛЬГА ШУБЕРТ

Мои одинокие подруги

К моим одиноким подругам можно заходить без предупреждения. Как правило, там уже кто-нибудь есть. К ним можно приводить других. Мои одинокие подруги сами никогда не приходят без предупреждения, они обязательно позвонят, хотя бы из ближайшего автомата. Они хотят, чтобы у вас в это время никого не было. Они никого не приводят с собой.

Мои одинокие подруги живут в домах старого типа. Причем либо на пятом этаже, либо на первом, где лавки. Они говорят, что не в силах высиживать каждый вторник в райжилуправлении. На самом же деле им просто не нужна квартира в новом доме. Их квартиры неповторимы.

Мои одинокие подруги гордятся своей нестандартностью. Ею прежде всего. Табличек у них на дверях нельзя не заметить, надписи

ХЕЛЬГА ШУБЕРТ — HELGA SCHUBERT (род. в 1940 г.).

Писательница ГДР. Получила медицинское образование, работала психотерапевтом. С 1973 г. училась в аспирантуре Берлинского университета имени Гумбольдта. Печатается с 1973 г. в журналах, газетах и антологиях, пишет также для радио и телевидения. На русском языке несколько рассказов Х. Шуберт напечатаны в «Иностранной литературе» (№ 9, 1976).

Рассказ «Мои одинокие подруги» («Meine alleinstehenden Freundinnen») взят из первой книги Х. Шуберт «Повсюду жизнь» («Lauter Leben». Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1975).

© Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1975.

выполнены от руки. Возле таблички висит блокнотик, а рядом, на шнурке,— карандаш: для тех, кто заходил и не застал.

Полы у них в прихожей покрыты циновками, а на стенах висят рисунки, плакаты, часы с кукушкой. У одной в глубине прихожей на полу стоит двенадцатитомная энциклопедия.

Туалеты в квартирах моих одиноких подруг нестандартные. Если только не приходится приноравливаться ко вкусам других жильцов. У одной туалет — в подвале за двумя замками с секретом — весь обит клеенкой. Так что сидишь под клеенчатым небом. У другой нужно идти сначала прямо, а потом направо за угол и опять направо. Таким путем достигаешь цели, которая возвышается на пьедестале. Оттуда можно любоваться картинками, извлеченными из чулочной упаковки. У третьей моей одинокой подруги нужно сначала передвинуть велосипед от дверей туалета к кухонной плите. И тогда сразу видно, что занято.

Кухни моим одиноким подругам служат одновременно помещениями для мытья и завтрака. Стены кухонь увешаны цветными фоторепродукциями с кулинарными рецептами, связками лука, а также полочками, на которых выставлен мейсенский фарфор с голубой росписью. Скатерти на кухонных столах — в синюю клетку. Кухонные шкафы и стулья выкрашены собственноручно красной или белой эмалевой краской. Еще тут есть маленький бойлер, а рядом — трехстворчатое зеркало, чтоб было во что смотреться.

В комнате у моих одиноких подруг бросается в глаза широкая тахта. Тахта — с изобилием подушек — покрыта ковром или плюшевым покрывалом. Рядом стоит горка с фарфоровыми безделушками, доставшимися от бабушки. Телевизор, запрятанный среди книг, сразу не заметишь. Мои одинокие подруги не любят тяжелых гардин. Светильниками служат рабочие лампы архитекторов на кронштейнах. Стены побелены и сплошь увешаны картинами, чтобы не надо было слишком часто белить. Картины появляются в результате обмена или покупаются в порыве великодушия. Иной раз их пишут собственноручно. И непременно икона: на случай, если ОН все-таки существует.

Мои одинокие подруги никогда не ходят в парикмахерскую. Но, сказать по секрету, у них есть бигуди. Они подстригают друг друга. Моим одиноким подругам совершенно все равно, что носить. И если коричневые бархатные брюки гармонируют с пуловером цвета охры, то это чистая случайность. Так они говорят. На свои глаза они тратят уйму денег. На пудру и тени для век, на карандаш, на кисточки, на поцелуе- и слезоустойчивую тушь.

Раз уж они ничего для себя не делают, надо же хоть что-то сделать для себя.

У моих одиноких подруг — если они не бездетны — по одному ребенку. Этих детей не заставляют так часто прибираться, как других ребят, их не отправляют рано спать и даже не водят в парикмахерскую. Дети всегда при них. Мои одинокие подруги желают воспитывать своих детей антиавторитарным методом, но дети их пока не очень-то за это благодарят. Дети пошли в отцов. И в этом вся закавыка.

С отцами своих детей они разошлись по-хорошему. Так они говорят. В большинстве случаев мужчины хотели остаться. Мои одинокие подруги подчеркивают этот момент. А раз так, то эти мужчины рады бы снова жениться на них или вообще жениться на них. Если бы эти мужчины уже не были снова женаты или все еще женаты.

Мои одинокие подруги придерживаются мнения, что хоть раз в жизни нужно побывать замужем. Когда у них нет друга, они говорят,

что ни за что на свете не согласились бы каждый день терпеть мужчину в доме. Когда у них есть друг, он живет у них. Но без прописки, эта доля свободы совершенно необходима моим одиноким подругам.

Когда у моих одиноких подруг есть возлюбленный, они начинают грустить. Потому что они — как ни странно это звучит — любят его. И потому что любовь так осложняет жизнь. Это последняя попытка, на нем они остановятся. Именно его стоило ждать. Так они надеются. Каждый раз. А их друзья все это чувствуют и предвидят осложнения, и это их настораживает.

Мои одинокие подруги не считают себя красивыми. На самом деле они гораздо симпатичней, чем были бы, если б считали себя красивыми. Потому-то их никто и не разубеждает, в том числе их друзья. Или: потому-то их друзья их не разубеждают.

Мои одинокие подруги принимают эти самые таблетки. Но вначале они не говорят об этом своим новым друзьям. А то у тех могут возникнуть разные мысли. У них и без того возникает достаточно мыслей при изучении дарственных надписей на книгах. А такие вещи всегда как-то накапливаются.

В начале каждой новой эпохи мои одинокие подруги наносят прощальный визит. В ближайшее время они не смогут к вам прийти и вряд ли смогут позвонить, возможно, они даже отключат телефон и уберут блокнотик с входной двери. Потому что все это может быть ему неприятно.

Уже стоя в прихожей, мои одинокие подруги в немногих словах характеризуют его. Вот наконец-то совершенно нормальный человек, и просто удивительно, как это они до сих пор терпели выверты других мужчин. Он жил так, как положено: сначала для работы, а теперь для женщины, к которой он, слава богу, знает, с какого боку подойти. Он такой плечистый Адонис и, слава богу, не мыслитель. Или: этот не вкалывает как сумасшедший на работе и не лежит целыми днями на спине под своей машиной, он рассудительный и тонко чувствующий человек, который все понимает и не думает сразу же про постель. Он не считает брак современной формой человеческого сожительства. Но он не хочет разрушать веру в него у других людей, для которых он что-то значит. Потому-то он и не разводится, и это встречает понимание со стороны моих одиноких подруг. Пока что.

Мои одинокие подруги содержат себя и своего ребенка сами. Они работают с удовольствием. Они усердны. Их работа важна для них, потому что это их единственный выход в мир. После мужчин. В период междуцарствия. Поэтому и на работе они принимают близко к сердцу и порицание и похвалу.

Мои одинокие подруги никогда не допускают ничего такого со своим шефом. Нет, таким они для такого не пользуются.

Мои одинокие подруги обычно проводят свой отпуск в путешествиях. Они очень любознательны и каждый раз едут в другое место. Но автостопом они путешествуют, только когда с ними кто-нибудь есть. Особенно вечером нельзя ездить одной автостопом, потому что всякое может случиться. Вот однажды они уже поехали не в том направлении, и только потому, что шофер грузовика сказал, что он едет не на польское побережье Балтийского моря, а в другое место и там, мол, гораздо красивее, чем там, куда он не едет.

Так познают они мир.

К моим одиноким подругам можно обратиться с просьбой. Они дадут вам книгу, а то и совет. Будь у них деньги, они дали бы вам и денег взаймы.

Перевод Н. БЕЛЯЕВОЙ

МАРТИН СТЕФАН

Простите, вы тоже поэт?..

Руководство издательства в самом деле обо всем позаботилось: командировки были выхлопотаны, приглашения разосланы и дошли до адресатов, провинциалы получили точно составленные карты маршрутов, и все действительно добрались до места назначения.

Семинар должен был длиться три дня. Старый курортный отель, название которого — Матильденхоф — внушало некоторую надежду на изысканность, был снят издательством, как уже сказано, на три дня.

От вокзала Вальден должны были ехать автобусом. Прибыв туда во второй половине дня, Зеебальд с радостным облегчением заметил, что галстук не обязателен: на привокзальной площади одиноко стояло несколько мужчин, все молодые — в возрасте, еще позволяющем не отчаиваться. На Зеебальда они произвели впечатление людей умных, но недоверчивых. Так как ни на одном не было галстука, он присоединился к стоящим, набрался мужества и обратился к одному из них: простите, вы тоже поэт?..

Тот неприязненно взглянул на Зеебальда и отвернулся, но он был им, поэтом,— Зеебальд почувствовал это и не отошел.

Наконец явились редакторы, точно отцы или, по крайней мере, старшие братья, с карманами, битком набитыми наставлениями и указаниями. Они многообещающе острили и улыбались. У редакторов были небольшие дорожные сумки: Зеебальд, да и не только он, радовался, что не взял чемодана. Правда, один — а именно лирик Зименс — был с чемоданом, и он немножко смущался.

Автобус подошел, все сели, у некоторых вполне счастливый вид.

Не таким уж изысканным оказался этот Матильденхоф, но все в нем было солидно: приятная температура комнат, посеребренные столовые приборы, меню, написанные от руки,— словом, не так уж и плохо. Вечером, после того как первые пункты программы семинара — с коньяком и вином, с пирожными, жареной колбасой и едва скрывае-

---

МАРТИН СТЕФАН — MARTIN STEPHAN (род. в 1945 г.).

Писатель ГДР. Сменил несколько профессий: работал на сталелитейном заводе, сменным шофером, рабочим химической промышленности, артистом кукольного театра; служил в Национальной народной армии. Рассказы, очерки, сценарии М. Стефана печатались в журналах и антологиях. Активно сотрудничает на радио и телевидении.
Рассказ «Простите, вы тоже поэт?..» («Entschuldigen Sie, sind Sie auch Dichter..?») был напечатан в первой его книге «И корабли иногда тонут» («Schiffe gehen gelegentlich unter». Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1975).

© Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1975.

мым разочарованием — были позади, гости пошли прогуляться в небольшой уже линяющий лес, который начинался сразу за зданием и постепенно становился все гуще и гуще. На прогулку отправились маленькими группами. Некоторые бродили в одиночестве, и среди сосен и елей то тут, то там вспыхивали их сигареты.

Лирики, не сговариваясь, сошлись на озере, где под луной тихо светилась вода, где шелестел камыш. Сочинительница баллад Цинтия Майер влезла на узкий лодочный мостик и добралась-таки по нему до того места, где доски уже уходили под воду. Ярко светила луна, и Цинтия Майер высмотрела все глаза, ища Чу, лебедя в черную крапинку, но Чу нигде не было видно. Чу, ты спишь?.. Таит тебя где-то сухой камыш... Соленой водою омытый ты спишь... Влажнолапчатый... Чу!.. Лебедь, еще днем, по прибытии гостей, доверчивый и готовый воплотиться в поэзию, теперь не откликнулся вовсе. Сочинительница баллад Цинтия Майер подобрала свое вечернее платье и грустно засеменила по направлению к берегу.

Лирик Зименс, столь же преданный ночной темноте, водрузил свой мускулистый зад на твердую деревянную скамейку и стал набивать трубку ароматным кавендишем[1]. То были последние минуты этой осени на деревянной скамейке у озера, и лирик Зименс подумывал, что было бы неплохо использовать парковую мебель в качестве символа этого затертого в поэзии времени года. Но в этом все же было что-то декадентское, он вырвался из рук прекрасной метафоры и присоединился к одной шепчущейся группе, которая прогуливалась по лесному склону, отыскивая в темноте загородную дачу популярного комика Леча. Вскоре они нашли дачу, она была не освещена — и это было естественно: ежегодно поздней осенью комик Леч отправлялся в зимнее турне, и целую зиму благодарные любители посмеяться заполняли залы больших городов.

Загородная дача вызывала удивление. Приют балагура такого ранга представлялся иным, наверняка более веселым, наверняка более красочным, более игривым, с нелепыми садовыми гномами во мху — это же был мрачный, строгий дом, меланхолично глядевший, чему, впрочем, виною могла быть осень. Тем не менее никто не был разочарован, ведь каждый когда-нибудь — причем в самую неподходящую минуту — не преминет рассказать: «Вы видели дом комика Леча?.. Вы себе не представляете, как отличается он...»

На следующее утро было чтение. Молодые авторы выложили на стол свои тонкие рукописи, а расходы за кофе и сельтерскую взяло на себя издательство. Вначале редакторы читали свои собственные рукописи, затем руководили обсуждением чужих. «Значит, и эти тоже! — думал Зеебальд, трезвея, и снова с удивлением констатировал: — Как же нас все-таки много».

Обстановка становилась все непринужденнее. Присутствующие пялили глаза на собственные рюмки и чашки, а также на читавшего в это время автора, все вместе немножко страдали от духоты и с трудом могли сосредоточиться. Иногда один из полупризнанных авторов издавал короткий одобрительный смешок, дебютанты подхватывали его, это получалось у них как у ворон, только не так скрипуче и было, видимо, вызвано другими причинами.

На обед был ромштекс с вареной картошкой и тушеной капустой, все очень вкусно. Лириков пришлось несколько раз приглашать, и они нерешительно принялись за угощение, эпики ели с большим аппетитом, а редакторы умяли все, включая фрукты, с непосредственностью голодных ремесленников.

---

[1] Сорт табака.

После обеда чтение было продолжено. К вечеру выяснилось все разнообразие поэтических смотрин: колодцы и упавшие в них дети, лебеди и другой орнитологический ассортимент родной природы, огонь лесного костра, тугие женские груди и иногда то тут, то там налет сомнения, но следом же сознание того, что все-таки лучше не сомневаться.

Вечером снова был шнапс и сухое красное вино, приехал один по-настоящему умный мужчина и рассказал, как плохо обстоят дела в мире, но опять же не так, чтобы совсем уж плохо. У него были по-серебренные сединой волосы, полное страданий прошлое, он был выше всякой критики и не стал выслушивать мнения дилетантов. Кое-кто задавал умные вопросы, несколько человек записывало себе в блокнот что-то показавшееся им интересным,— Зеебальд испытывал глубокое уважение ко всем. Он неотрывно смотрел себе на руки и принял решение написать обличительную новеллу.

Позднее, за дружеским столом, сам устроитель вечера давал ему конкретные советы; Зеебальд не знал, как им следовать.

— Мы не справились,— констатировал наставник не без горечи и разочарованным взглядом уставился на собственную рюмку.— Мы вас плохо воспитали...

Н-да...— подумал Зеебальд и хотел ответить, но побоялся сказать что-нибудь не то; словом, он промолчал, подумав: в своем роде этот старый винодуй был действительно исключительным человеком, чуть ли не сорвиголовой — вымирающим экземпляром.

Последний день уже не отличался от предыдущего, то есть был не таким уж плохим, ей-богу; в сущности, совсем не таким уж плохим. Что и говорить, милые люди. Были даже минуты, когда Зеебальд определенно ощущал свою принадлежность к ним.

Когда они утром покидали Матильденхоф, над озером стоял легкий туман. Редакторы прощались, как монахи, их прощальные жесты были сдержанны, они благословляли отъезд плутов и сваленную с плеч работу. Двоих из них, мужчину и женщину такой необычной красоты, что дух захватывало, Зеебальд никогда не забудет.

В автобусе еще какое-то время поговорили. Зеебальд слушал, закрыв глаза. По крайней мере теперь ему становилось ясно: не такие уж мы большие поэты и едва ли когда-нибудь ими станем.

Перевод В. ВЕБЕРА

ЯСУСИ ИНОУЭ

Охотничье ружье

НОВЕЛЛА

Перевод с японского Б. РАСКИНА

В последнем номере «Друга охотника» — тонкого журнала, издаваемого японским охотничьим клубом, напечатано мое стихотворение «Охотничье ружье».

Чтобы никто не подумал, будто я питаю какой-то интерес к охоте, сразу оговорюсь: воспитывала меня матушка, не выносившая и простого разговора об убийстве, а потому я ни разу в жизни не держал в руках даже духового ружья.

Дело в том, что редактором журнала «Друг охотника» стал мой старый школьный товарищ. Хотя переписка наша давно прервалась, он знал, что я не оставил поэзию, которой увлекался в юности, когда мы выпускали любительский литературный журнал. Вот он и предложил мне — то ли под влиянием момента, то ли желая хоть как-то искупить долгое свое молчание — написать для его журнала стихотворение на охотничью тему.

Будь все по-прежнему, я бы наотрез отказался: и журнал специальный, с которым я никак не связан, и тема охоты совершенно мне чужда. Но как ни странно, меня именно в ту пору вдруг заинтересовала взаимосвязь между охотничьим ружьем и человеческим одиночеством, и, охваченный поэтическим вдохновением, я как раз собирался написать об этом. И я согласился на предложение редактора, сочтя «Друга охотника» журналом, на редкость соответствующим моим намерениям. В конце ноября, когда ощутимей становятся ночные холода, я сел за стол и где-то после полуночи закончил стихотворение, а на другой день послал его в редакцию «Друга охотника».

Так появилось на свет стихотворение в прозе «Охотничье ружье», которое я позволю себе привести здесь, ибо оно имеет определенное отношение к дальнейшему повествованию:

ЯСУСИ ИНОУЭ (род. в 1907 г.).

Японский писатель, член Академии искусств, лауреат премии имени Акутагава. Автор многих романов, в том числе «Черная бабочка» (1956), «Ледяная стена» (1957), «Синий волк» (1960), «Ископаемое» (1966), повестей и рассказов. Издательство «Синтёся» в 1960 г. выпустило собрание сочинений Ясуси Иноуэ в 26-ти томах.

На русский язык переведен его исторический роман «Сны о России», главы из которого печатались в «ИЛ» (№ 2, 1974).

Новелла «Охотничье ружье» была напечатана в одноименном сборнике, выпущенном издательством «Хорупу» в 1972 г. Она войдет в книгу «Современная японская новелла», готовящуюся к печати издательством «Художественная литература».

«Человек с большой матросской трубкой в зубах медленно поднимался по узкой тропинке, извивавшейся среди кустов на горе Амаги. Его сапоги оставляли следы на покрытой инеем земле. Впереди бежал сеттер. Темно-коричневую куртку охотника перетягивал патронташ на двадцать пять патронов. За плечом была двустволка марки «черчилль». Что побудило его столь невозмутимо взять с собой это ослепительно сверкающее стальными стволами ружье, которое отнимает жизнь у всего живого? Я глядел вслед рослому охотнику, и мне вдруг неудержимо захотелось последовать за ним.

С той поры, в привокзальной ли сутолоке большого города или посреди праздной толпы, меня нередко пронзало желание брести куда-то в одиночестве, как этот охотник: медленно, спокойно, равнодушно... В такие минуты перед глазами почему-то всплывал не тот, пронизанный холодом ранней зимы пейзаж горы Амаги, а унылое белое русло пересохшей реки. И сверкающее полированными стволами ружье, которое, казалось, тяжким грузом придавило к земле тело и душу одинокого пожилого охотника, вызывало странное ощущение смертоносной красоты, какое никогда не возникает, если ружье нацелено на живое существо».

Получив от своего друга номер журнала с моим стихотворением и полистав его, я впервые понял, что поступил крайне легкомысленно: хотя название «Охотничье ружье» было вполне подходящим, само стихотворение не имело ничего общего с характером журнала и не вязалось с пестревшими на его страницах словами вроде «правила охоты», «спортивная сноровка», «полезное увлечение». Страница, которую оно занимало в одиночестве, напоминала своего рода крепость, некую отгороженную от всего остального совершенно особую зону. В своем стихотворении я раскрыл суть того, что называется охотничьим ружьем, как я его воспринял своей поэтической интуицией,— по крайней мере, стремился ее раскрыть, если сказанное выше звучит чересчур самоуверенно. Я говорил себе, что надо быть гордым и не унижать себя излишней скромностью. Безусловно, никакой проблемы не возникло бы, будь стихотворение опубликовано в ином журнале, но в органе японского охотничьего клуба, призванном пропагандировать охоту как самое здоровое и благородное увлечение, моя точка зрения на охотничье ружье выглядела одиозно, если не еретически. Я догадывался о смущении, в которое повергла моего друга рукопись стихотворения, когда он впервые ее прочитал. Я представил себе, какие он, по-видимому, испытал колебания, прежде чем решился его публиковать, и его трогательная, поистине товарищеская заботливость отдалась в моем сердце укором. У меня мелькнула мысль: ведь кто-нибудь из членов клуба может возмутиться, что журнал поместил на своих страницах подобное стихотворение. Но мои страхи оказались напрасными — ни единого возмущенного письма я не получил. К счастью или к несчастью, охотники обошли мое произведение полным молчанием. А если выразиться точнее, его, наверно, просто никто не прочел. Но однажды, спустя месяца два, когда история с этим стихотворением улетучилась уже из моей памяти, я получил письмо от некоего Дзёсукэ Мисуги — человека совершенно мне неизвестного.

Где-то я прочитал, будто иероглифы, высеченные на одном из старинных памятников горы Тайшань, напоминали, по словам историков последующих эпох, яркий свет солнца после пронесшегося урагана. Говоря несколько гиперболически, надпись на большом конверте

из белой японской бумаги наводила на мысль об этих иероглифах. Время стерло высеченную на древнем памятнике надпись, не осталось ни единой копии, и теперь трудно судить о ее каллиграфических особенностях. Размашистые, крупные, словно выпуклые иероглифы Дзёсукэ Мисуги оставляли ощущение удивительного изящества, но стоило приглядеться к ним — и от каждого иероглифа начинало веять бесцельностью, пустотой, и мне невольно вспомнились изречения упомянутых историков о надписи, высеченной на горе Тайшань. Наверно, он держал конверт в левой руке и, не жалея туши, щедрой кистью надписал его единым духом. Нельзя сказать, что его почерк был сух, но в нем проглядывала холодная бесстрастность и самонадеянность. Короче говоря, его размашистые письмена с самого начала не располагали к себе, в них чувствовалось стремление к самоутверждению, столь свойственное современным людям, хотя иероглифы и были лишены раздражающей вычурности, присущей тем, кто склонен кичиться красивым почерком.

Во всяком случае, конверт производил внушительное впечатление и был столь великолепен, что лишь по ошибке мог оказаться в моем скромном деревянном почтовом ящике. Я вскрыл конверт и вынул из него большие листы китайской бумаги, какими обычно пользуются художники. Они были исписаны тем же размашистым почерком — в каждой строке не более пяти-шести крупных иероглифов:

«Я немного интересуюсь охотой. Несколько дней назад, перелистывая журнал «Друг охотника», я случайно обратил внимание на ваше превосходное произведение «Охотничье ружье». Человек я обыкновенный, в тонкостях стихосложения не разбираюсь и, говоря откровенно, вообще впервые в жизни прочитал стихи. Нижайше прошу извинить мою неосведомленность, но и ваше уважаемое имя доселе было мне неизвестно. Однако, дочитав «Охотничье ружье», я ощутил волнение, какого давно не испытывал...»

Так начиналось письмо. Прочитав эти строки, я вспомнил уже позабытое мною стихотворение в прозе и подумал: итак, он все-таки пришел — протест от охотника, и противник этот, судя по всему, достойный. Но, читая дальше, я все более убеждался, что мои опасения напрасны и я вовсе не предугадал содержание письма. Дзёсукэ Мисуги в чрезвычайно учтивых и изящных выражениях, в которых, правда, проскальзывали все те же самонадеянность и безразличие, писал:

«Дозволено ли будет мне высказать предположение, что прообразом человека, которого вы описали в «Охотничьем ружье», послужила моя скромная особа? Думаю, именно моя долговязая фигура случайно попалась вам на глаза, когда я в начале ноября шел на охоту в окрестностях горы Амаги. Меня глубоко тронуло, что вы обратили внимание на черного с белыми отметинами сеттера, специально натасканного на фазанов, на «черчилля», которого я получил в дар от своего учителя в Лондоне, и даже на мою любимую трубку. Но этого мало! Вы проникли в самую глубину моего душевного состояния — в коем и сам я не в силах до конца разобраться, хоть и стыжусь его,— и с поразительной силой раскрыли его в стихотворной форме. Поистине поэт обладает незаурядной мудростью, недоступной обыкновенному человеку, и мне остается лишь склонить голову перед вашим великим талантом».

Дочитав до этого места, я попытался вспомнить облик того охотника, которого месяцев пять назад во время прогулки встретил случайно на узкой тропинке, извивавшейся в роще криптомерий у подножия горы Амаги. Но как ни силился я восстановить в памяти его облик — ничего не получалось. Я лишь смутно припомнил, что меня привлекло странное ощущение одиночества, исходившее от его мед-

ленно удалявшейся фигуры. И еще — что это был пожилой господин высокого роста.

Собственно говоря, у меня не было причины приглядываться к нему. Просто шедшего мне навстречу господина с трубкой во рту и охотничьим ружьем за спиной окружала атмосфера необычайной задумчивости, отличавшая его от обыкновенных охотников, и, когда он прошел мимо, я невольно обернулся и поглядел ему вслед. Он свернул с тропинки и осторожно, боясь поскользнуться, стал подниматься по довольно крутому склону, поросшему густым кустарником. Я проводил взглядом этого человека, думая о том, какой одинокой кажется его фигура. Именно это ощущение одиночества я и попытался передать в «Охотничьем ружье». Моих познаний хватило на то, чтобы понять, что следовавшая за ним собака — отличный сеттер. Определить же марку его ружья я не мог, будучи далек от охоты и всего с ней связанного.

Лишь много позже, в ту ночь, когда я сел писать свое стихотворение в прозе, я выяснил, что лучшими считаются охотничьи ружья марки «ричард» и «черчилль». И потому я вооружил этого господина прекрасным английским ружьем. По случайному совпадению у Дзёсукэ Мисуги оказалось ружье именно этой марки. И, хотя он счел себя героем моего стихотворения, тот Дзёсукэ Мисуги, который явился порождением моих размышлений, по-прежнему оставался для меня человеком незнакомым, и в ответ на предположение отправителя письма я могу лишь покачать головой и сказать: «Неужели?»

Письмо Дзёсукэ Мисуги заканчивалось так:

«Вам может показаться странным и неожиданным то, о чем я собираюсь вас попросить. Передо мной сейчас лежат адресованные мне три письма. Вначале я намеревался сжечь их, но когда я прочитал ваше прекрасное произведение и узнал о вашем существовании, мне захотелось показать эти письма вам. Нижайше прошу прощения за то, что нарушаю ваш покой, но я уже отправил вам отдельной бандеролью указанные письма и надеюсь, вы выберете время и прочитаете их. Никаких иных намерений у меня нет. Хочу лишь, чтобы вы узнали, каково то самое «белое русло пересохшей реки», в которое мне пришлось заглянуть. Человек — глупое существо. Ему обязательно хочется поведать кому-нибудь о себе. До сих пор я такого желания не испытывал, но, узнав о вас, о том, что вы проявили интерес к моей скромной особе, я внезапно ощутил потребность рассказать вам о себе все, все без утайки. Прочитав эти письма, вы можете их сжечь. По-видимому, я получил их незадолго до того, как вы обратили на меня внимание у подножия горы Амаги. Кстати, интерес к охоте появился у меня довольно давно, когда я еще не был так одинок в этом необъятном мире, и охотничье ружье стало моим неизменным спутником еще в ту пору, когда ничто как будто не предвещало краха моей личной жизни и служебной карьеры».

Через два дня я получил объемистый пакет, обратный адрес был тот же, что и на первом письме: «Отель Идзу, Дзёсукэ Мисуги». В пакете лежали три, адресованные Мисуги, письма от трех женщин. Когда я их прочитал... Нет, нет, я не стану говорить о тех чувствах, которые меня тогда охватили. Лучше я просто перепишу их дословно. Добавлю еще, что Мисуги мне показался человеком, занимавшим солидное положение в обществе, поэтому я попытался отыскать его имя в «Справочнике выдающихся личностей», а также в «Справочнике имен и фамилий», но нигде не обнаружил его и пришел к выводу, что он подписался вымышленным именем. Переписывая письма, я заме-

тил, что некоторые иероглифы густо замазаны тушью. Очевидно, вымарано было его настоящее имя, и потому я счел возможным вписать вместо них имя Дзёсукэ Мисуги. Хочу также оговориться, что все упоминаемые в письмах люди названы вымышленными именами.

Письмо Сёко

«Дядюшка! Дядюшка Дзёсукэ!

Прошло три недели с тех пор, как скончалась матушка. Вчера и сегодня уже никто не приходил выразить соболезнование, и дом сразу опустел. Я впервые по-настоящему поняла, что матушки больше нет на свете, и неизъяснимая печаль поселилась в моем сердце. Вы, наверно, очень устали. Ведь на ваши плечи легло все: и похороны, и извещение родственников, и даже заботы о нашей еде во время ночных бдений у гроба. Вдобавок, поскольку смерть матушки была столь необычной, вы много раз ходили вместо меня в полицию и все улаживали. Я не нахожу слов, чтобы поблагодарить вас за то, что вы сделали. И когда вам пришлось сразу выехать на службу в Токио, я очень тревожилась: как бы чрезмерная усталость не сказалась на вашем здоровье.

Если обстоятельства сложились именно так, как вы предполагали перед отъездом, значит, вы уже завершили свои дела в Токио и, наверное, любуетесь знакомым и мне прекрасным лесным пейзажем в Идзу, напоминающим роспись на фарфоре — прозрачную, но холодную и печальную. И я решилась взяться за перо в надежде, что это письмо вы прочтете во время вашего пребывания в Идзу.

Я думала написать вам такое письмо, чтобы, прочитав его, вы захотели бы закурить вашу трубку и пройтись по берегу моря, подставив лицо ветру. Но у меня ничего не вышло. Сколько раз, начав писать, разрывала написанное и принималась сызнова! Не знала, что это будет так тяжело. Часами обдумывала я содержание письма, хотела откровенно поделиться с вами обуревающими меня мыслями, надеясь, что вы поймете меня. Но когда я брала в руки перо, все смешивалось в бедной моей голове... Нет, не то! Горькие мысли набегали со всех сторон, словно увенчанные белыми гребнями морские валы в ветреный день в Асия, и я теряла нить... Но нет, я должна написать это письмо.

Дядюшка! Позвольте сказать вам: мне известно о ваших отношениях с матушкой. Я узнала об этом накануне ее кончины, тайком прочитав ее дневник.

Говорить об этом с вами было бы невыносимо, да я и не смогла бы вымолвить ни слова. Поэтому я сочла за лучшее написать вам. Дело вовсе не в том, что случилось нечто ужасное и я боюсь. Просто мной овладела неизъяснимая грусть, она сковывает мне язык. Я печалюсь не о вас, не о матушке и не о себе. Но едва я пытаюсь заговорить о случившемся, голубое небо и лучи осеннего солнца, индийская сирень в нашем саду и колеблемые ветром листья бамбука, вода, и камни, и земля — все вокруг окрашивается печалью. С той минуты, как я дочитала матушкин дневник, природа по нескольку раз в день обретает вдруг цвет печали. Достаточно мне вспомнить о том, что было между вами, и весь мир мгновенно меняется. Известно ли вам, дядюшка, что кроме красного, синего — всех тридцати с лишним цветов палитры — существует еще ясно различимый человеческим глазом цвет печали?

Я узнала о том, что вас с матушкой связывала любовь, которую никто не благословил, не имея на то права. О ней, о вашей любви, не

знала ни тетушка Мидори, ни я, ни родичи, ни соседи, ни самые близкие друзья. Не знали и не должны были знать. О ней знали лишь вы и матушка.

До сих пор я верила, что любовь — это сверкающее, благословенное богом и людьми, светлое, как солнце, чувство. Я думала, любовь — это прозрачный ручеек, который, сверкая и переливаясь на солнце, весело катит свои волны меж берегами, поросшими деревьями, травами и нежными цветами. Мне казалось, будто любовь рождается и растет под звуки прекрасной, неземной музыки. Могла ли я предположить, что существует любовь, подобная не ведающему солнца подземному потоку, который течет неведомо откуда и куда?

Тринадцать лет матушка обманывала меня. Она так и умерла, не раскрыв своего обмана. Могла ли я думать, что у нее были тайны от меня? Она сама не раз говорила: мы с тобой, доченька, одни на свете.

Лишь когда речь заходила о том, почему матушка рассталась с отцом, она не хотела ничего объяснять. «Ты все равно не поймешь, пока сама не выйдешь замуж»,— говорила она. И мне хотелось поскорее вырасти и выйти замуж. Но не для того, чтобы узнать, почему расстались мои родители. Нет, просто я понимала, как тяжко матушке хранить эту тайну в сердце. А она в самом деле ее очень мучила. Но я представить себе не могла, что у нее есть от меня еще одна тайна!

Когда я была маленькой, матушка часто рассказывала мне сказку о зайчике, обманутом волком, в которого вселился злой дух. За это волк был обращен в камень. Как же матушка могла обманывать меня, тетушку Мидори, всех людей на свете? Что за страшный злой дух вселился в нее? Матушка в своем дневнике записала: «Я и Дзёсукэ — преступники». Моя несчастная матушка, во сто крат более несчастная, чем обманувший зайчика волк! Как же она и мой горячо любимый дядюшка Дзёсукэ решились стать преступниками, великими преступниками?! И как печальна должна быть любовь, сохранить которую можно лишь ценой великого преступления? Помню, в детстве, в один из храмовых праздников города Нисиномия, кто-то подарил мне стеклянный шар, внутри которого был заключен красный лепесток. Сжимая в руке подарок, я горько заплакала и убежала. Тогда никто не понял, почему я так неожиданно разрыдалась. А я подумала о замурованном в холодном стекле, словно распятом, лепестке, которому не вернет жизнь ни грядущая весна, ни осень; мне стало так жаль его, и я не смогла сдержать слез. И вот опять мое сердце разрывает жалость, жалость к вашей любви, подобной этому злосчастному лепестку.

Дядюшка! Дядюшка Дзёсукэ!

Наверно, вы очень рассердились, узнав, что я тайком прочитала матушкин дневник. Но накануне ее кончины меня стало мучить предчувствие, что смерть близка и ей уже ничего не поможет. Нечто в облике матушки утверждало меня в этом дурном предчувствии. Вы ведь знаете — последние полгода матушка хворала, но, если не считать чуть повышенной температуры, она казалась совсем здоровой: у нее был хороший цвет лица, прекрасный аппетит, она даже слегка пополнела. И все же, когда я глядела на нее, во всей фигуре ее мне чудилась какая-то неизъяснимая грусть, особенно в ее бессильно поникших плечах. За день до смерти матушки ее пришла проведать тетушка Мидори. Я отворила дверь в матушкину комнату, чтобы сказать ей о гостье, и ахнула. Она сидела ко мне спиной в праздничной хаори[1] в серо-голубую полоску, расшитой крупными цветами татар-

[1] Накидка, принадлежность парадного или выходного японского женского или мужского костюма.

ника,— той самой хаори, которая вот уж много лет лежала в комоде в бумажном чехле. Матушка обещала подарить ее мне, утверждая, что для нее она чересчур ярка.

— В чем дело? — недоуменно спросила матушка, оборачиваясь ко мне.

— Но ведь... — начала я и больше не смогла вымолвить ни слова. «Странно! — мелькнуло у меня в голове.— Чему я, собственно, изумилась? Что удивительного, если она надела старинную яркую накидку? Не так уж много было у нее развлечений с тех пор, как она захворала». Позже, раздумывая над этим, я поняла: матушка была ослепительно хороша в этой нарядной накидке и в то же время грустна, как никогда прежде,— вот что меня изумило. Вошедшая вслед за мной Мидори не смогла сдержать восхищенного возгласа и какое-то время молча глядела на матушку. Прекрасный и несказанно печальный образ матушки в праздничной накидке весь день преследовал меня, и сердце мое горестно сжималось.

К вечеру бушевавший весь день ветер утих, и вместе со служанкой Садаё я сгребала и жгла в саду палые листья. Я принесла купленный накануне по баснословной цене сноп соломы, чтобы заодно сжечь и его, а пепел положить в матушкину жаровню. Наблюдавшая из гостиной за нашей работой матушка вышла на открытую галерею, держа в руках что-то, завернутое в красивую плотную бумагу.

— Сожги,— сказала она.

— Что это? — спросила я.

— Не твое дело,— вдруг резко ответила матушка. Потом смягчилась и тихо добавила: — Это дневник, мой дневник. Сожги его прямо в обертке.

Потом круто повернулась и, словно колеблемая ветром, ушла, нетвердо ступая, внутрь дома.

Чтобы сжечь солому, понадобилось несколько минут. Когда последний пучок ее тлел, завивая синие струйки дыма, я наконец решилась: взяв матушкин дневник, я потихоньку поднялась на второй этаж к себе в комнату и спрятала его в глубине книжной полки. Ночью снова поднялся ветер. Я выглянула в окно. Сад был залит необычно ярким светом луны. Ветер усилился. Казалось, будто волны прибоя дробятся о скалистый северный берег. Матушка и Садаё давно уснули, одна лишь я бодрствовала, не в силах сомкнуть глаз. Чтобы никто не вошел вдруг в комнату, я загородила дверь тяжелыми томами энциклопедии, потом опустила занавески на окне (даже проникавший в комнату лунный свет вызывал у меня безотчетный страх), зажгла настольную лампу и положила рядом с нею толстую тетрадь, в каких обычно пишут студенты. Это и был дневник моей матушки.

Дядюшка! Дядюшка Дзёсукэ!

Я подумала: надо воспользоваться случаем, иначе я никогда не узнаю причину разрыва между отцом и матушкой. Честно говоря, я раньше не старалась ничего узнать об отце и ждала, что матушка сама мне все расскажет, когда я выйду замуж. Я лишь бережно хранила в памяти его имя: Рэйитиро Кадота. Но с той минуты, когда я увидела матушку в праздничной хаори, все сразу переменилось — в моем сердце стала расти горькая уверенность, что она уже не выздоровеет.

Случайно я услыхала разговор родственников из Акаси о том, почему матушка была вынуждена расстаться с отцом. Когда он отправился в университет Киото писать диссертацию, мы — в ту пору мне исполнилось пять лет — с матушкой, бабушкой и служанкой остались в Акаси. Однажды в ветреный апрельский день в дверь постучала молодая женщина с грудным младенцем. Она вошла в гостиную,

положила ребенка в токонома[1], вытащила из принесенной ею небольшой корзины нижнее кимоно и, распустив оби[2], стала при всех переодеваться. Матушка, она принесла поднос с чаем, застыла от изумления. Видимо, женщина эта была не в своем уме. Позднее я поняла, что хилый младенец, спавший в токонома, где лежали на полочке красные плоды нандины, был ребенком этой женщины и моего отца.

Младенец вскоре умер, а женщина, к счастью, выздоровела, вышла замуж за торговца из города Окаямы и живет теперь счастливо. Вскоре после случившегося матушка забрала меня и покинула дом в Акаси.

Потом, когда я уже училась в женском колледже, бабушка как-то сказала:

— Аяко поступила так сгоряча, но теперь ничего не поделаешь.

А я тогда подумала: наверно, матушка с ее чистой душой не могла простить отцу такую обиду. До семи лет я была убеждена, что отец умер. Да и теперь в глубине души я считаю: он мертв для меня. Я никак не могу представить себе отца живым, а ведь в Хёго, всего в часе езды отсюда, ему принадлежит большая больница. Но хотя он на самом деле жив и здоров, для меня мой отец давно умер.

Я открыла матушкин дневник, и первым словом, которое я прочла, было... «преступление». Да, «преступление»! Оно повторялось много раз и было написано неровным почерком, совершенно непохожим на ее почерк. А внизу, словно придавленная громоздившимися друг над другом словами «преступление» и изнемогавшая под их тяжестью, была лишь одна фраза: «Боже, прости меня! Мидори, прости меня!» Мне показалось, будто все остальные слова на этой странице исчезли, и лишь одна эта фраза, словно внезапно нагрянувший злой дух, являла мне свой ужасный лик.

В страхе я захлопнула дневник. Какая это была жуткая минута! Вокруг царила тишина, слышался только громкий стук моего сердца. Я встала со стула, снова проверила, хорошо ли закрыты окно и дверь, и, вернувшись к столу, смело раскрыла дневник и дочитала его до конца, не пропустив ни единого слова. Об отце там не было ни строчки. Весь дневник — мне и во сне б не приснилось такое! — был посвящен вашим отношениям с матушкой. Она страдала, радовалась, молилась, теряла надежду, мечтала о смерти — да-да, она не раз намеревалась уйти из этого мира. В дневнике она писала: «Если Мидори узнает о наших отношениях с Дзёсукэ, я покончу с собой». Могла ли я предположить, что матушка, всегда радостно встречавшая Мидори и весело болтавшая с ней, так ее боялась?

Читая дневник, я поняла: целых тринадцать лет матушку не покидала мысль о смерти. Иногда по нескольку дней подряд, а то и два-три месяца она не вела записей. С каждой страницы на меня глядело лицо матушки, над которой нависла тень смерти. «Ах, лучше умереть! Смерть разрешит все!» Почему она написала эти полные отчаяния слова? «Чего я боюсь, раз решила принять смерть? Смелее! Будь дерзкой, Аяко!» Что заставляло мою добрую матушку написать такое? Неужели любовь? То самое прекрасное, сверкающее чувство, именуемое любовью? Однажды вы, дядюшка, подарили мне ко дню рождения книгу, где любовь уподоблялась нагой женщине с распущенными волосами, которая горделиво стоит у чудотворного источника, прижав ладони к высокой груди с упругими, словно бутоны, сосками. Как непохожа на этот символ та любовь, что была между вами и матушкой!

---

[1] Стенная ниша в японском доме.

[2] Широкий и длинный пояс для верхнего кимоно

Когда я прочитала дневник, Мидори стала и для меня самым страшным человеком, а страдания матушки, опасавшейся, как бы Мидори не проникла в ее тайну, стали теперь и моими страданиями. Я стала бояться тетушки Мидори, которая так часто, сложив губы бантиком, целовала меня! Той самой тетушки Мидори, которую я любила, наверно, не меньше, чем матушку! Ведь это она подарила мне ранец, разрисованный крупными розами, когда я поступила в первый класс начальной школы в Асия! А когда летом нас отправили в оздоровительную школу на морском побережье в Юра, она подарила мне надувную резиновую чайку. Это она каждый день приносила мне подарки, заставляя учить наизусть сказку братьев Гримм «Мальчик с пальчик», которую я так хорошо прочитала на школьном вечере. Что бы ни случалось со мною в детские годы, рядом всегда оказывалась тетушка Мидори. Она была самой любимой матушкиной кузиной. Мидори и теперь прекрасно танцует, а когда-то не было среди нас равной ей в гольфе и маджонге[1], в плаванье и лыжных прогулках. И вот я стала больше всех бояться той самой тетушки Мидори, которая пекла чудесные сладкие пироги, умела веселиться сама и развлекать нас, приглашая молоденьких актрис из театра Такарадзука. Той, кто всегда казался мне светлой и прекрасной, как распустившаяся роза!

Если на этом свете существует тайное предчувствие беды, то я однажды испытала нечто подобное, и касалось оно ваших отношений с матушкой. В прошлом году, как раз в это время, я шла с подругой на электричку — мы должны были ехать в школу — и вдруг вспомнила, что забыла дома английскую книгу для внеклассного чтения. Уговорив подругу подождать меня на станции, я поспешила домой. Но у ворот вдруг остановилась: что-то мешало мне войти в дом. Утром матушка послала служанку за покупками и оставалась дома одна. Я забыла об этом и вдруг почувствовала тревогу, даже страх. Я стояла перед воротами, глядела на кусты рододендронов и колебалась: входить или нет? В конце концов, так и не решившись войти, я без книги пошла обратно на станцию. Меня охватило тогда странное чувство: мне казалось, если я войду в дом и нарушу покой матушки, она будет недовольна и даже опечалена. Ощущая невыразимое одиночество, я шла по берегу реки Асия, отбрасывая носком камни, попадавшиеся под ноги. На станции я устало опустилась на деревянную скамью в зале ожидания, рассеянно слушая болтовню подруги.

Ни прежде, ни потом ничего подобного я не испытывала. Теперь я со страхом вспоминаю об охватившем меня тогда предчувствии беды. Кто знает, не снизошло ли и на Мидори столь же странное прозрение? Тем более что она сама не раз с гордостью утверждала, будто у нее, как у пойнтера, удивительное чутье, благодаря которому она мгновенно разгадывает замыслы противника во время игры в карты. При одной мысли, что Мидори могла догадаться о вашей любви, я начинаю трепетать от страха. Но нет! Это просто мои глупые опасения. Ведь все уже кончено. Тайна сохранена. И матушка ушла в мир иной ради того, чтобы унести с собой эту тайну. Так я думаю.

Никогда не забыть мне тот зловещий день. Незадолго до агонии, не слишком долгой, но страшной — о ней невозможно вспомнить без содрогания,— матушка позвала меня к себе. Лицо ее было каким-то гладким, словно у куклы из театра Бунраку.

— Я сейчас выпила яд... — сказала она.— Я так устала. Жить больше нет сил.

---

[1] Китайская настольная игра.

Ее голос был чист, как небесная музыка, и, казалось, она говорит не со мной, а через меня обращается к богу. В тот миг мне отчетливо послышался грохот рушащейся Эйфелевой башни из слов, нагроможденных друг на друга в ее дневнике... «Преступление»... Огромное здание преступления, простояв тринадцать лет, обрушилось на уставшую до изнеможения матушку. Я сидела не шелохнувшись. Взгляд ее был устремлен куда-то вдаль. Вдруг, словно осенний ветер, пригибающий травы к земле, на меня нахлынуло необъяснимое чувство негодования. Пристально глянув на печальное лицо матушки, я сказала:

— Так.

Всего одно слово — точно речь шла о совершенно чужом человеке.

Сказала — и сердце похолодело, будто на него плеснули ледяной водой. Потом со странным, непонятным и мне самой безразличием я встала, вышла из гостиной и по длинному коридору направилась к телефону, чтобы позвонить вам. (Именно в этот момент я услышала короткий крик умирающей матушки.) Но после моего звонка пришли не вы, примчалась Мидори. Матушка испустила дух, сжимая руку той, кого она так любила и так боялась. И Мидори накрыла белым платком ее лицо, с которого исчезло отражение печали и ее страданий в этом мире.

Дядюшка! Дядюшка Дзёсукэ!

В ту первую ночь наших бдений у гроба усопшей царила невообразимая тишина. Ушли полицейские и врач, ушли соседи, приходившие проститься с матушкой. У гроба остались лишь вы, Мидори и я. Никто не произносил ни слова. Казалось, мы все трое прислушиваемся к доносящемуся издалека негромкому плеску волн. Когда догорали поминальные свечи, мы, вставая по очереди, зажигали новые, потом ненадолго открывали окно, чтобы проветрить комнату, и, печально взглянув на фотографию усопшей, возвращались обратно. Когда наступал ваш черед менять свечи, вы грустно вглядывались в фотографию матушки, и тихая непонятная улыбка освещала ваше скорбное лицо. В ту ночь мне не раз приходила в голову мысль, что матушка, прожившая такую горькую жизнь, все же была счастлива.

Было часов девять, когда я подошла к окну и вдруг заплакала. Вы положили руку мне на плечо, несколько минут постояли рядом и молча вернулись назад. Я плакала тогда не потому, что горевала из-за смерти матушки. Нет, я подумала о том, что она даже в свой последний час не посмела назвать ваше имя, что не вы поспешили на мой телефонный звонок, а Мидори, и ощутила вдруг такую безысходную тоску... И любовь, которую вам обоим пришлось скрывать до самой смерти матушки, показалась мне такой же несчастной, как распятый лепесток, замурованный в подаренном мне стеклянном шаре. Я открыла окно и, глядя на усыпанное холодными звездами небо, пыталась сдержать слезы, но внезапно представила, как сейчас ее любовь поднимается к этому звездному небу и тихонько плывет меж холодных звезд; мне стало так горько, и я разрыдалась. Мне почудилось, будто сожаление об этой одиноко уплывающей к звездам любви столь велико, что с ним не может сравниться горе из-за смерти одного человека — моей матушки.

И снова заплакала я, когда ночью взяла в руки палочки — поесть суси[1].

— Старайся держать себя в руках. Мне очень горько сознавать, что я не в силах тебе помочь,— тихо сказала тогда Мидори.

---

[1] Колобки из вареного риса с ломтиками рыбы, креветками или овощами и приправленные уксусом и сахаром.

И я увидела: ее глаза тоже полны слез. Я посмотрела на увлажнившиеся прекрасные глаза Мидори и отрицательно покачала головой. Она, наверно, тогда не поняла меня. А ведь я заплакала от жалости к ней, Мидори. Глядя, как она раскладывает суси на четыре тарелки: вам, себе, мне и — покойной матушке, я вдруг подумала, что самая несчастная среди нас — Мидори, и зарыдала.

В ту ночь я плакала еще раз. Помните? Вы предложили мне отдохнуть, сказав, что завтра будет очень тяжелый день. Я легла в соседней комнате и мгновенно уснула. Среди ночи я вдруг проснулась вся в поту. Взглянув на часы, стоявшие на книжной полке, я поняла, что проспала почти час. В соседней комнате, где стоял гроб, по-прежнему царила тишина, время от времени нарушаемая щелканьем вашей зажигалки. Потом вы сказали:

— Пойди отдохни немного, я посижу один.

— Я не устала, а вам бы отдохнуть не мешало,— отвечала Мидори.

Опять наступила долгая тишина, и я расплакалась. Вы, наверно, не услышали моих рыданий. Я подумала о том, что вы и Мидори находитесь сейчас в одной комнате с покойницей, но каждый из вас занят своими мыслями. И весь мир взрослых людей показался мне таким невыносимым, таким печальным и страшным, что я не могла сдержать горьких слез.

Дядюшка! Дядюшка Дзёсукэ!

Я без утайки написала вам обо всем, что думала и чувствовала в те дни, надеясь, что вы поймете мою просьбу: отныне мне бы не хотелось встречаться ни с вами, ни с Мидори. Я больше не смогу, как это бывало прежде, доверчиво принимать знаки вашего внимания, не смогу докучать Мидори своими капризами. Я хочу забыть о преступлении, погубившем мою матушку.

Дальше писать я не в силах.

Дом в Асия я решила поручить заботам дяди Цумура. А сама возвращусь в Акаси, открою там небольшое ателье и буду зарабатывать на жизнь собственным трудом. В завещании матушка написала, чтобы я во всем советовалась с вами, но если б она знала о нынешнем моем состоянии, она бы, наверно, отказалась от своих слов.

Сегодня я сожгла в саду матушкин дневник. От него осталась лишь горсточка жаркого пепла. Я пошла за водой, чтобы залить пепел, а когда вернулась, его уже не было: ветер куда-то унес его вместе с опавшими листьями, унес и развеял.

Пересылаю письмо матушки, адресованное вам. Я нашла его на следующий день после вашего отъезда в Токио, когда разбирала ее стол».

Письмо Мидори

«Господин Дзёсукэ Мисуги!

Когда я обращаюсь к вам так официально, мне начинает казаться, будто бремя лет исчезло (правда, мне всего лишь тридцать три) и сердце трепещет, словно я пишу любовное послание. Кстати, за последние десять с лишним лет я — иногда втайне от вас, иногда открыто — писала много любовных писем, но ни одно из них почему-то не было адресовано вам. Мне и самой, если говорить всерьез, это кажется странным. А вам?

Однажды супруга господина Такаги (вы, наверно, помните эту даму: когда она накладывает слишком много косметики, в ее лице появляется что-то лисье), перемывая косточки видных людей Осаки

и Кобе, не обошла вниманием и вас, причем в довольно резких выражениях: дескать, Мисуги женщинам не интересен, ибо не способен понять тонких движений женского сердца; сам он, конечно, может влюбляться, но женщина никогда не полюбит на всю жизнь подобного человека. Не стоит очень уж огорчаться — этот нелестный отзыв сорвался у нее с языка в минуту легкого опьянения, но кое в чем она, пожалуй, не так далека от истины. О нет, вы не из тех людей, кто страдает от одиночества или приступов меланхолии, и в выражении вашего лица преобладает не грусть, а разочарование. На все у вас существует совершенно определенная точка зрения, которую вы, само собой, считаете единственно верной. Почему-то эта ваша самоуверенность вызывает раздражение, желание ее поколебать. Словом, человек вы неинтересный, для женщин невыносимы, и влюбляться в вас бесполезно. Подумайте, почему ни одно из написанных мною любовных писем не адресовано вам? Но все же мне это кажется странным. Хотя бы одно или два письма следовало отправить и вам. Пусть даже они адресованы не вам, но если предположить, что я писала их, думая о вас, то, пожалуй, не так уж важно, кто их адресат. Разве не могла я, от природы застенчивая и наивная не по возрасту, стесняться писать своему супругу нежные письма и, думая о нем, отправлять их другим людям? Видно, я родилась под несчастливой звездой, с самого начала определившей мне такую судьбу.

Верно, мне не дано
Узнать ваши светлые мысли.
Хочу подойти,
Но боюсь, ненароком нарушу
Высокое это безмолвье.

Это стихотворение сложила я прошлой осенью, когда вы сидели у себя в кабинете. Я попыталась выразить в поэтической форме тогдашнее свое настроение. Я вложила в эти слова чувства несчастной жены, которая боялась (вернее, хотела, но не решилась) нарушить ваш драгоценный покой, когда вы сидели у себя, рассматривая старинную фарфоровую чашку. (Ах, как бездушны, как бесчувственны вы были!) «Лгунья!» — возможно, подумаете вы. Но это не так! Всю ночь напролет, играя в маджонг, я то и дело поглядывала украдкой в сторону вашего кабинета. Правда, это стихотворение я тоже отдала не вам, а потихоньку положила на стол в доме Тагами — того самого юного философа, который успел сделать блестящую карьеру и нынешней весной стал доцентом университета. Своей шалостью, как известно и вам, я смутила душевный покой молодого ученого, и бульварные газеты трепали мое имя в разделе скандальной хроники, что доставило вам неприятности. А я ведь всего лишь хотела чуть-чуть поколебать вашу самоуверенность. Удалось ли мне это?

Впрочем, моя легкомысленная болтовня, наверно, лишь обостряет вашу ко мне неприязнь, спешу посему перейти к главному.

Наш брак давно уже стал фикцией. Как, по-вашему, не слишком ли он затянулся? Мне думается, вы ощутите облегчение, обретя бóльшую свободу. Все это, конечно, очень печально, но если у вас нет каких-либо веских возражений, не думаете ли вы, что нам пора расстаться официально?

Сейчас, когда вас попросили уйти в почетную отставку с занимаемых вами важных постов (меня, правда, несказанно удивило, когда я прочитала вашу фамилию в списке предпринимателей, подвергшихся чистке), настал, пожалуй, самый удобный для вас момент положить конец и нашим неестественным отношениям. Мои условия

вкратце сводятся к следующему: меня вполне удовлетворили бы загородные дома в Такарадзуке и Ясэ. Дом в Ясэ достаточно велик для меня, да и окружающий пейзаж мне по душе. Там я хотела бы поселиться. Дом же в Такарадзуке я продала бы миллиона за два иен. Этой суммы мне хватило бы до конца моих дней. Считайте это моим последним капризом, моей единственной просьбой. Ведь за всю нашу совместную жизнь я не припомню случая, чтобы вы меня чем-то побаловали. Таково мое, вероятно, неожиданное для вас предложение; но, поверьте, оно вовсе не означает, что у меня на примете есть человек, которого я могла бы назвать любимым. И совершенно напрасны были бы ваши опасения, будто кто-нибудь попытается воспользоваться моими деньгами. К сожалению, я до сих пор не встретила человека, коего, не стыдясь, могла бы объявить своим возлюбленным. Видно, и теперь, спустя десять лет, все еще сильно чувство первой радости, которое вы доставили своей молодой жене. Сейчас, кстати, не так легко найти мужчину, отвечающего хотя бы двум требованиям: аккуратно постриженного и стройного.

Однажды я прочитала, что в сирийской пустыне нашли обнаженного юношу, который жил вместе со стадом оленей. Как красив был он на фотографии, помещенной в газете! Как прекрасны были его застывший профиль под шапкой лохматых волос и стройные длинные ноги! Даже сегодня, когда я вспоминаю о нем, необычайный жар вспыхивает у меня в крови.

После того как я увидела фотографию этого юноши, все прочие мужчины показались мне невыносимо скучными и банальными! Так вот! Если у вашей супруги на один-единственный миг и возникла мысль об измене, то лишь в ту минуту, когда она созерцала фото юноши-оленя. Стоит мне представить чистую, упругую кожу этого юноши, увлажненную ночной росой пустыни... Ах, едва я подумаю о необычайной судьбе этого юноши, сердце начинает бешено колотиться в груди.

Два года назад я увлеклась господином Мацуё — художником-модернистом. В ту пору о наших отношениях распространялись разные небылицы, но меня это нисколько не трогало. В ваших глазах, когда вы глядели на меня, я уловила некую печаль, что-то похожее на сострадание. Хотя, собственно, жалеть меня не было причины. И все же ваш взгляд тронул мое сердце. Ваши глаза, хотя и уступали глазам юноши-оленя, были прекрасны. Почему же вы не захотели сказать мне вашим взглядом нечто большее? Но вы не сделали этого, и мне ничего не оставалось, как отправиться в холодное ателье Мацуё и дать согласие позировать ему. Я и теперь, кстати, ценю его как художника. По стилю он чем-то напоминает Утрилло. Но человек он никудышный. И если вам можно было бы поставить сто баллов, то он тянет не более чем на пятьдесят. О да, он талантлив, но испорчен известностью. У него приятное лицо, однако в его облике не хватает какой-то изюминки. Он бывает просто смешон, когда самодовольно попыхивает своей трубкой.

А в начале минувшего лета я увлеклась жокеем Цумурой, выигравшим на кобыле Голубая Слава скачки на приз министерства сельского хозяйства и лесоводства. И тогда в вашем взгляде я заметила уже не сострадание, а холодное презрение. Вначале, когда мы случайно встречались в коридоре, мне казалось, что это листья за окном зеленью отражались в ваших глазах. И лишь позднее поняла, как я ошибалась,— в вашем взгляде был огонь непримиримости. Какая оплошность с моей стороны! Пойми я это сразу, мне удалось бы подготовить свое сердце к любым вашим взглядам. Увы, в ту пору все мои чувства, все ощущения были связаны с одним — с обаянием ско-

рости! И ваша неприступная замкнутость, ваше стремление скрыть свои истинные чувства были так недосягаемы и непонятны! Как мне хотелось хоть раз показать вам Цумуру, когда он летит на Голубой Славе, далеко обогнав соперников. Вы и сами, я уверена, не остались бы равнодушны, глядя сквозь очки на это милое, сосредоточившее все свои силы ради одной лишь единственной цели существо (я имею в виду, конечно, не Голубую Славу, а жокея Цумуру).

Так вот, одного моего взгляда было достаточно, чтобы этот уже избалованный успехом двадцатидвухлетний юноша проявил неслыханную волю к победе и даже дважды ее добился. Мне прежде не доводилось видеть подобного темперамента. Он жаждал моей похвалы, но забывал обо всем на свете, в том числе и обо мне, едва вскакивал на свою каурую Голубую Славу, и целиком отдавался демону скорости. Вот в такие минуты я ощущала всю полноту жизни и без сожаления отдала бы ему три бриллианта, сохранившиеся у меня еще с довоенного времени. Но юный жокей был привлекателен, лишь пока скакал на Голубой Славе. Едва ступив на землю, он превращался в неотесанного мальчишку, который толком не разбирается даже во вкусе кофе. И все же мне было приятнее прогуливаться с этим безрассудным смельчаком, закалившим свою волю на скачках, чем с литератором Сэноо или бывшим леваком Мицуя.

Никаких глубоких чувств я к нему не питала и с легким сердцем сосватала ему восемнадцатилетнюю танцовщицу с пухлыми губками, которой я тоже симпатизировала, и даже помогла им устроить свадьбу.

Но, кажется, из-за своей болтовни я позабыла о главном. Так вот, мне все же не хотелось бы, поселившись в Ясэ, стать затворницей. И я задумала выращивать там цветы. Кажется, на цветах можно прилично зарабатывать, продавая их в торговых рядах Сидзё. Полагаю, с помощью кормилицы, молодой служанки и двух девушек, знающих толк в цветоводстве, можно без особого труда вырастить сотню-другую гвоздик. На какое-то время мужчинам доступ туда будет закрыт. Мужской дух нам несколько приелся. Поверьте, я не кривлю душой. Отныне я серьезно намереваюсь начать новую жизнь и надеюсь найти в ней истинное счастье.

Вас, наверно, удивит столь неожиданная просьба о разводе. Нет-нет! Скорее вам должно показаться странным, что я до сих пор не заговаривала о нем. Да и я, оглядываясь на прошлое, с горечью думаю о том, как могли мы прожить вместе десять с лишним лет. Правда, меня упрекали в дурном поведении, и у окружающих, может быть, сложилось впечатление, будто мы странная пара. И все же наша репутация в обществе не была запятнана. Иногда нам даже оказывали честь, приглашая в сваты. Нет, тут вам, пожалуй, не в чем меня упрекнуть. Скорее я заслужила похвалу, не правда ли?

Как все-таки трудно писать прощальное письмо! Неприятно проливать слезы, но не менее неприятно выглядеть развязной. Хочется, чтобы мое письмо помогло нам расстаться благородно, не причиняя друг другу лишней боли. Но ничего, по-моему, не выходит, и я, наверно, кажусь вам ужасно глупой, когда вы читаете эти строки. Что поделать! Кому под силу писать о разводе красиво? Поэтому мне придется перейти на официальный тон, наиболее подходящий для письма о разводе. И не сердитесь, если конец моего письма будет вам неприятен, ибо я решила защитить себя тоже броней равнодушия.

Все началось в феврале тысяча девятьсот тридцать четвертого года. Часов около девяти утра я выглянула из окна своего номера на

втором этаже отеля «Атами» и увидела вас. Вы были в сером костюме и неторопливо шли вдоль крутого скалистого берега. Ах, как давно это было! Тот день канул в небытие, как сон. Успокойтесь и читайте дальше. Вскоре вас догнала высокая женщина в красивой накидке в серо-голубую полоску, расшитой крупными цветами татарника. О, как больно уколола меня в сердце эта накидка! Не думала я, что мое предчувствие оправдается с такой точностью. Чтобы проверить его, я и приехала в Атами вечерним поездом. Всю ночь я не сомкнула глаз, а в голове все время вертелась одна старинная фраза: «Если это сон — очнись!» В ту пору мне было двадцать лет (столько же, сколько теперь Сёко). Для наивной, неопытной молоденькой женщины, которая только что вышла замуж, это был слишком тяжелый удар. Я позвонила и попросила недоумевающего коридорного немедленно принести счет. Я не хотела оставаться здесь ни одной лишней секунды и, расплатившись, тотчас покинула гостиницу. Некоторое время я стояла на улице, пытаясь унять жгучую боль в груди и раздумывая, пойти ли мне в сторону моря или на станцию. Наконец я сделала несколько шагов к морю и снова остановилась в нерешительности. Долго я глядела на сверкавшее в лучах солнца зимнее море, напоминавшее своим цветом выдавленную из тюбика берлинскую лазурь, потом повернулась к нему спиной и решительно зашагала по дороге на станцию. Если подумать, я с той поры все шла и шла по этой дороге, она-то и привела меня к нынешнему дню. Пойди я тогда на берег моря, где стояли вы, сегодня, наверно, все было бы по-иному. Но — к счастью или к несчастью — я этого не сделала. Теперь, кажется мне, это был самый роковой перекресток в моей жизни.

Почему я тогда не пошла к морю? Меня остановило сознание, что я ни в чем не могу сравниться со своей сестрой — красавицей Аяко: ни жизненным опытом, ни познаниями, ни талантом, ни умением элегантно держать кофейную чашечку, ни пониманием литературы или способностью отдаваться музыке, ни тонкостью пользования косметикой. О, это самоуничижение! Самоуничижение двадцатилетней жены, которое можно изобразить на картине лишь чистой линией. Когда погружаешься в студеное море, замираешь, ибо каждое движение во сто крат усиливает ощущение холода. Приходилось ли вам это испытывать? Вот и я тогда боялась шевельнуться. И лишь много позднее я приняла решение: раз он меня обманывает, отплачу ему тем же.

Однажды во время экскурсии я с бывшими школьными подругами вошла в зал ожидания на станции Санномия и едва успела выбежать наружу, потому что заметила там вас и Аяко. Было это спустя год после того, как я увидела вас из окна отеля «Атами».

Никогда не забыть мне и вечер, наполненный пением цикад, когда я бесконечно долго стояла перед плотно закрытыми, словно створки раковины, воротами дома Аяко, глядела на мягкий свет, струившийся из окна второго этажа сквозь щелку между гардинами, и никак не решалась протянуть руку к звонку. Не помню, была тогда осень или весна. У меня вообще плохая память на времена года. И еще много, очень много могла бы я вам поведать такого, от чего вы застонали бы. Но я хранила молчание и не пыталась что-либо предпринять. Даже тогда, в Атами, я не пошла следом за вами к морю. Даже тогда! И вот что странно: когда перед моими глазами внезапно всплывал тот сверкающий, похожий на берлинскую лазурь кусочек моря, стихала в сердце жгучая боль, которая чуть не свела меня с ума, и на меня снисходило умиротворение.

Не скрою, в моей жизни были долгие месяцы, когда я находилась на грани сумасшествия, но время — прекрасный целитель, оно разрешило все проблемы наилучшим образом.

Подобно тому как остывает раскаленный кусок железа, остывали и наши отношения. Чем холодней становились вы, тем холодней становилась и я, не уступая вам в этом ни на йоту. Теперь отношения между нами подобны соприкосновению заиндевелых ресниц. Семья? Нет, это теплое человеческое слово здесь неуместно! Более подходящим было бы слово «крепость» — думаю, вы с этим согласитесь. Запершись в этой крепости, вы обманывали меня, а я — вас (но вы начали первый!). В какие же печальные сделки вступают люди между собой! Вся наша жизнь была построена на двух тайнах, которые мы хранили друг от друга. На мои недопустимые выходки вы глядели иногда неодобрительно, иногда с презрением или с печалью во взоре, но всегда делали вид, будто ничего не замечаете. Сколько раз я, нежась в ванной, неприлично громко приказывала служанке принести сигареты; в гостиной или в коридоре неряшливо рассыпала пудру; поговорив со знакомым мужчиной по телефону, вальсировала по комнате; приглашала актрис из Такарадзука, угощала их и фотографировалась вместе с ними; в день своего рождения заставляла даже служанок украшать себя лентами; приглашала студентов и устраивала шумные попойки. Я поступала так совершенно сознательно, понимая, что все это вам очень неприятно. Ах, если бы вы хоть раз всерьез упрекнули меня! Нет, вы не сделали этого, не могли сделать. И между нами не вспыхивали ссоры. В нашей крепости царила тишина; лишь окружавший нас воздух, словно подхваченный ветром пустыни, со странным холодным шелестом и шипением уносился неведомо куда. Почему вы, привыкший охотиться на диких голубей и фазанов, не сумели вскинуть свое охотничье ружье и выстрелить мне в сердце? Почему вы, начав обманывать меня, не стали это делать более откровенно и жестоко? Не довели обман до конца? Разве вы не знаете, что женщина может простить мужчине любую ложь?

Более десяти лет я терпела подобную жизнь и думала: когда-нибудь да придет ей конец. Что-то случится! Что-то должно произойти! Слабая, но упорная надежда все время теплилась в глубине моего сердца. Каким будет этот конец? Я представляла его себе двояко: либо я прильну однажды к вашей груди и тихо закрою глаза, либо изо всей силы, так, чтобы фонтаном брызнула кровь, вонжу в вашу грудь нож, тот самый, который — помните? — вы привезли мне из Египта. Как вы думаете, чего я больше желала? Честно говоря, я и сама не знаю.

А помните вы случай, который произошел лет пять назад, после вашего возвращения из поездки в южные страны? Меня не было дома два дня. На третий день я пришла слегка под хмельком. Вы уезжали на несколько дней в Токио по делам, и я была уверена, что вы еще не вернулись. Но вы неожиданно оказались дома — сидели в столовой и чистили ружье. Я поздоровалась и сразу же вышла на веранду, опустилась на диван спиною к вам и подставила прохладному ветру разгоряченное лицо. Тент, натянутый над обеденным столом в саду, служил своеобразным экраном, и в стеклянной двери террасы отражалась часть комнаты, так что я, не оборачиваясь, могла вас видеть. Устав до изнеможения после длившихся двое суток шумных развлечений, в мрачном настроении я сидела на диване, не в силах пошевельнуться, и бездумно глядела на ваше отражение. Вычистив ствол, вы закрепили его на ложе и несколько раз приподняли и опу-

стили ружье. Потом, прижав приклад к плечу, вы слегка прищурили глаз и прицелились. Прицелились в меня!

Может быть, вы решили меня застрелить? И хотя ружье не было заряжено, мне вдруг захотелось узнать: возникло ли у вас в тот момент желание убить меня? Я сделала вид, будто ничего не замечаю, и закрыла глаза. Интересно, куда вы целились — в плечо, в шею или в затылок? Я с нетерпением ждала, когда в тишине негромко щелкнет курок, потому что решила: в тот миг, когда раздастся щелчок, я упаду с дивана. С радостным трепетом, какого я не испытывала уже много лет, я ожидала этого мгновенья, чтобы сыграть задуманную сцену.

Я приоткрыла глаза и увидела: вы по-прежнему в меня целитесь. Некоторое время я продолжала сидеть неподвижно, потом вдруг — не знаю почему — резко обернулась и взглянула уже не на ваше отражение, а на вас самих. В ту же секунду вы отвели ружье в сторону и прицелились в куст впервые расцветшего в это лето рододендрона, который я привезла из Амаги. Раздался легкий щелчок. Почему вы тогда не выстрелили в свою неверную жену? В тот момент она вполне этого заслуживала. Вы так хотели убить меня, но не решились спустить курок! Ах, если бы вы тогда спустили курок, не простили мне мою неверность, пронзили бы ненавистью мое сердце! Может быть, я в раскаянии кинулась бы вам на грудь... а может быть, наоборот, решила бы показать вам, что тоже умею метко стрелять. Но вы не сделали этого, и я, отведя взгляд от рододендрона, который вы избрали мишенью вместо меня, и нарочно покачиваясь, пошла в свою комнату, напевая то ли «Под крышами Парижа», то ли другую модную песенку.

С тех пор прошло несколько лет, однако удобного случая положить конец нашим отношениям все не представлялось. Но в прошлое лето лилии в саду расцвели невиданно ядовитым красным цветом. Глядя на них, я лелеяла надежду на какие-то перемены...

В последний раз я была у Аяко накануне ее смерти. В тот день я вновь, спустя десять с лишним лет, увидела на ней накидку, которая под сверкающими лучами утреннего солнца в Атами на всю жизнь, как страшный сон, запечатлелась в моей памяти. Крупные лиловые цветы татарника выглядели совсем как живые. Казалось, эта накидка тяжким грузом давит на ее слабые и столь дорогие вашему сердцу плечи. Я вошла в комнату, села напротив Аяко и воскликнула: «Как ты прекрасна!» Сперва я попыталась сдержаться, но потом подумала: зачем она надела эту накидку и сидит в ней передо мной? В то же мгновенье кровь бешено застучала в висках, и я уже ничего не могла с собой поделать. Своеволие женщины, отнявшей супруга у другой, и долготерпение потерявшей его двадцатилетней жены когда-нибудь должны были быть взвешены на весах справедливости. Видимо, этот час настал. И я открыла тайну, свято хранимую более десяти лет, тихо положила ее перед лиловыми цветами татарника.

— Знакомая накидка,— сказала я.

Аяко едва слышно вскрикнула и подняла на меня глаза. Наши взгляды встретились. Я глядела ей в глаза и не собиралась опускать взгляд — это должна была сделать она.

— Ты была в этой накидке, когда ездила вместе с Мисуги в Атами. Извини, я видела вас в тот день,— сказала я.

Кровь отлила от лица Аяко, и оно стало белым, как бумага. Ее губы дернулись, точно она силилась что-то сказать, но были бессильны вымолвить хоть слово. Потупясь, она устремила взгляд на свои белые руки, сложенные на коленях.

И тогда я ощутила такую радость, словно меня освежили тугие струи благодатного дождя: вот она — минута, которой я ждала столько лет! И одновременно где-то в глубине души я с невыразимой тоской осознала, какой я вынуждена избрать конец. Мы долго сидели так друг против друга. Я готова была окаменеть и бесконечно глядеть на Аяко. Представляю, как ей хотелось, чтобы я исчезла! Потом она подняла восковое лицо и поглядела на меня спокойно. Я поняла, она скоро умрет. В это мгновенье смерть вошла в Аяко. Иначе она не могла бы так спокойно глядеть на меня. Солнце выглянуло из-за туч, и в темном до той поры саду сразу стало светло. Резко оборвались звуки рояля, доносившиеся из соседнего дома.

— Не огорчайся, я не таю зла. Могу отдать тебе Мисуги насовсем! — Так сказала я и вышла на веранду, где оставила принесенный для Аяко букет белых роз. Я вернулась с розами в комнату, поставила их в вазу на книжной полке, слегка расправила стебли, придав букету красивую форму, потом взглянула на поникшую Аяко и снова подумала: наверное, вижу ее в последний раз. (Какое страшное предчувствие!)

— Не принимай все так близко к сердцу,— сказала я на прощанье.— Ведь я тоже обманывала тебя больше десяти лет. Теперь мы квиты.— И я невольно рассмеялась. Какое это было удивительное молчание! С самого начала Аяко не произнесла ни единого слова. Она сидела так тихо, словно у нее остановилось дыхание. Суд кончился. Теперь она была вольна поступать как ей вздумается. Больше мне здесь делать нечего, решила я, быстро встала и вышла из комнаты.

— Мидори! — услышала я за спиной голос Аяко. Это было первое слово, которое она произнесла. Но я не остановилась.

— Что с вами, тетушка? У вас в лице ни кровинки! — воскликнула Сёко. Она несла Аяко чай, и я столкнулась с ней в коридоре. Только тогда поняла я, как взволнована сама.

Теперь вам ясно, почему я должна с вами расстаться, вернее, почему вы не можете больше оставаться со мной. Прошу прощения за то, что позволила себе столько дерзостей в этом длинном письме. Видно, нашим невеселым отношениям, длившимся столько лет, пришел конец. Вот, пожалуй, и все, что я хотела сообщить вам. Надеюсь, если это возможно, получить от вас согласие на развод еще во время вашего пребывания в Идзу.

Позвольте напоследок сказать вам, что сегодня я вместо служанки убирала ваш кабинет — уж не вспомню, когда я делала это в последний раз. Меня поразила царившая там тишина. Какое спокойное и приятное место для размышлений. Удобное кресло словно просит опуститься в него, а цветы на вазе, созданной Нинсэем [1], так и пламенеют. Это письмо я написала в вашем кабинете. Картина Гогена, мне кажется, не соответствует его атмосфере. И я ее самовольно сняла, чтобы — если вы позволите — украсить им ваш дом в Ясэ. Вместо Гогена я повесила в кабинете зимний пейзаж Вламинка. Я также обновила содержимое вашего гардероба: повесила туда три зимних костюма и подобрала к ним на свой вкус три галстука. Не знаю, понравятся ли они вам».

Письмо Аяко

«Когда вы получите это письмо, меня уже не будет. Не могу себе представить, что́ такое смерть, но в одном я уверена: она унесет с собой из этого мира и мои радости, и мои страдания. Вместе со мной

[1] Выдающийся гончар XVII века.

уйдут и бесконечные мысли о вас, и тревога за будущее Сёко, а мои тело и душа превратятся в ничто.

Вы прочитаете это письмо спустя несколько часов, а может быть дней, после того, как я умру. И тогда вы узнаете о тех нескончаемых думах, которые осаждают сейчас меня — еще живую. Это письмо расскажет вам так же, как могла бы рассказать и я, о том, чего вы даже не подозреваете. И вы будете слушать мой голос, разговаривать со мною словно с живой, удивляться, переживать, бранить... Вряд ли у вас на глаза навернутся слезы, но лицо ваше станет таким грустным, каким его видела только я (даже Мидори не знает, что у вас может быть такое лицо!). И вы скажете: «Какая же ты глупенькая!» Я сейчас удивительно ясно представляю себе ваше лицо и слышу ваш голос.

Пока вы читаете это письмо, моя жизнь, хотя я буду уже мертва, незаметно возродится в его строках: она вспыхнет в тот миг, когда вы вскроете конверт и увидите первое слово, и продлится, наверно, пятнадцать — двадцать минут, пока вы не дочитаете последнюю фразу. Она вновь, словно я и не умирала, проникнет во все уголки вашего существа, наполнит ваше сердце воспоминаниями. Посмертное письмо... Какие странные слова! Столь же странной покажется вам и моя недолгая жизнь, заключенная в его строках. Но за этот краткий миг я хочу рассказать вам правду. Я полна желания открыть вам истину. Страшно в такую минуту говорить об этом, но знайте: живой вы никогда не знали меня такою, какова я есть. Только это письмо покажет вам, какой я была на самом деле... На самом деле!

До сих пор у меня перед глазами омытые дождем деревья на горе Тэнно в Ямадзаки в алом убранстве осенних листьев. Ах, как это было красиво! Мы пережидали дождь, приютившись под козырьком старых ворот перед чайным домиком Мёкиан, и с восхищением глядели на гору Тэнно, возвышавшуюся позади станции. Злую шутку сыграл с нами этот клонившийся к вечеру осенний день. То и дело начинал моросить мелкий дождик. Сквозь его сетку горы, куда мы собирались подняться, казались сказочно красивыми. С того дня миновало тринадцать лет, но до сих пор жива в моем сердце память о необыкновенной красоте деревьев в багряном уборе осени.

В тот день мы впервые остались вдвоем. Вы возили меня по окрестностям Киото, и я изнемогала от усталости. Наверно, устали и вы. Вы все время говорили мне всякие милые глупости, вроде того, что любовь — это увлечение, что вы увлекаетесь редкими вазами и в этом ничего нет плохого, что вы увлеклись мною и в этом тоже ничего худого не видите. И еще вы говорили, будто только нам двоим по-настоящему открылась осенняя красота горы Тэнно, мы почувствовали ее одновременно и теперь обратного пути нет — все предопределено и непоправимо. Увещевали меня, как капризного ребенка, даже грозили.

В тот день я всеми силами стремилась отдалиться от вас, но ваши, казалось бы, нелепые сравнения и пустая болтовня сожгли мое сердце. Ваша бесконечная тоска, скрывавшаяся за резкими выражениями и угрозами, расцвела во мне цветами счастья, ибо я поняла, что любима.

Как просто и легко я, не простившая своему мужу Кадоте его единственный проступок, шла на измену!

В Атами, когда мы остались вдвоем в отеле, вы первый сказали: станем преступниками! Вы помните? Была ветреная ночь, и неплотно закрытые ставни обращенного к морю окна все время поскрипывали. Посреди ночи вы решили их закрепить и открыли дверь. Тогда я увидела далеко в море горящую рыбачью лодку. Она пылала ярко,

словно сигнальный костер. Наверно, в той лодке люди терпели бедствие и смерть уже глядела им в глаза. Но мы не испытывали ужаса, нас потрясла лишь красота этого зрелища. Когда вы захлопнули дверь, меня охватило внезапное беспокойство. Я вновь отворила ее, но рыбачья лодка, очевидно, уже сгорела, и перед моими глазами простиралась лишь темная гладь моря без единого огонька. До той ночи я в глубине души еще надеялась найти в себе силы, чтобы расстаться с вами, но после пожара на море меня охватило странное чувство неизбежности происходящего. Помните? Вы сказали: «Станем преступниками, будем всю жизнь обманывать Мидори», и я, не колеблясь, ответила: «Тогда уж станем великими преступниками и будем обманывать не только Мидори, а всех людей, весь мир». И впервые с тех пор, как мы начали тайно встречаться, я крепко уснула.

В ту ночь мне почудилось, будто судьба сгоревшей на море рыбачьей лодки — это судьба нашей любви, от которой уже нет спасенья. У меня и теперь, когда я пишу вам свое прощальное письмо, пляшет перед глазами яркое пламя, пожирающее суденышко среди ночного мрака. Тот пожар как бы воплотил в одном мгновенье мучительные страдания, испытываемые женщиной в этом зыбком мире.

Стоит ли дальше погружаться в воспоминания? Ведь им не будет конца! За прошедшие тринадцать лет я испытала немало горя и мук. И все же я была счастливей всех на свете. Убаюкиваемая волнами вашей огромной любви, я наслаждалась счастьем сверх всякой меры.

Днем я перелистала дневник. В нем часто повторялись слова: «смерть», «преступление», «любовь». Они вновь напоминали мне нелегкие годы, сквозь которые мы с вами прошли. И все же, положив дневник на ладонь, я ощущала лишь тяжесть любви и счастья. Меня все время преследовало чувство вины за содеянное преступление. Каждый день надо мною витала тень смерти, и, взирая на нее, я повторяла: когда Мидори узнает обо всем, я умру; если Мидори все станет известно, я смертью искуплю свою вину. Вот как велико и невозвратимо было мое счастье!

Ах, кто бы мог предположить, что помимо той, которую знали вы, существовала еще одна я — другая (вам такая фраза, наверно, покажется надуманной, но не знаю, как выразить мысль по-иному). Оказывается, во мне жила еще одна женщина, а я ничего о ней не знала. Да, это была еще одна я, о существовании которой вам и во сне не снилось.

Однажды вы сказали, что в каждом человеке живет своя змея. Помните? У вас была назначена встреча с профессором Киотоского университета Такадой. Пока вы с ним беседовали, я, чтобы убить время, стала разглядывать заспиртованных змей в стеклянных шкафах, которые стояли в конце длинного мрачного коридора. Зрелище было не из приятных, и у меня испортилось настроение. Спустя полчаса вы вышли из кабинета профессора и, указывая на змей, шутливо сказали: «Эта змейка — Аяко, эта — Мидори, а вот эта — моя. У каждого человека есть своя змея, и пугаться их не стоит». Та, которая жила в Мидори, была небольшой светло-коричневой змейкой из южных стран. Моя змея была вся в белых крапинках с острой, как шило, головкой. Ее привезли из Австралии. Ах, зачем вы сказали тогда, что в каждом человеке живет змея? Сказали — и забыли, а мне ваши слова запали в душу, и с тех пор я нередко задумывалась: что же, собственно, представляет собой эта змея внутри человека? Иногда мне казалось, будто она олицетворяет упрямство, иногда — ревность или рок.

Я и теперь не понимаю, что такое эта змея, но во мне, вы сами сказали, такая змея жила. Ибо как иначе можно назвать ту, другую,

которую я не знала, но которая была частью моего существа. И она впервые явилась мне сегодня.

Это случилось во второй половине дня. Когда Мидори пришла меня проведать, я была в той самой накидке, которую вы привезли мне из Мито. В молодости я ее очень любила. Мидори вошла в комнату, увидела на мне накидку и... остолбенела. Она хотела что-то сказать, но, видимо, сдержалась, и мы некоторое время молча глядели друг на друга. Я нарочно не заговаривала первой, радуясь, что даже Мидори поразил мой необычный наряд. Но вдруг Мидори тихо сказала:

— В этой накидке ты была, когда ездила вместе с Мисуги в Атами. Я видела вас в тот день.

Она страшно побледнела, и ее слова прозвучали так, словно она хотела пронзить меня ими, как кинжалом.

В первую минуту я ничего не поняла. Но когда до меня дошел смысл сказанного, я инстинктивно плотнее запахнула накидку и замерла.

Значит, она все знала! Знала уже много лет! Меня охватило странное спокойствие: будто на закате я гляжу с безопасного места на море и по нему катится к берегу высокий вал прилива. Мне захотелось взять Мидори за руку, утешить.

Вот оно и пришло — мгновение, которого я так боялась, но я почему-то не испытала страха. В единый миг была сорвана завеса с тайны, а ведь мы хранили ее тринадцать лет, но за ней скрывалась не смерть, о которой я столько думала, а тихое и — как бы это сказать поточнее? — удивительное отдохновение. Исчезло бремя, многие годы не дававшее мне покоя, но его сменила пустота и стало так грустно, что захотелось плакать. Меня ошеломило чувство полного раскрепощения. В оцепененье глядела я в глаза Мидори, но ничего не видела перед собой, не слышала ни единого ее слова.

Когда я пришла в себя, Мидори уже не было.

— Мидори,— позвала я ее. Зачем? Сама не знаю. Может быть, мне хотелось, чтобы она еще долго, бесконечно долго сидела передо мной. Скорее всего, если б она вернулась, я безо всякого смущения сказала бы ей:

— Отдай мне Мисуги, и пусть он станет моим законным мужем.

А может, столь же прямо заявила бы обратное:

— Пришло время вернуть Мисуги тебе.

Мне и самой неясно, что сказала бы я, вернись тогда Мидори. Но она не пришла на мой зов.

Раз Мидори узнала правду, я умру! Преступление, преступление, преступление! К чему это бессмысленное сознание собственной вины? Неужели человек, однажды продавший душу дьяволу, уже никогда от него не освободится? Неужели я на протяжении тринадцати лет обманывала бога и даже самое себя? Так размышляла я. Потом я крепко уснула. Меня разбудила Сёко. Я открыла глаза и ощутила такую боль во всем теле, что боялась пошевелиться. Казалось, будто на меня разом навалилась усталость, накопившаяся за тринадцать лет. У моего изголовья сидел дядя из Акаси. Вы с ним однажды встречались. Он заехал меня проведать по пути в Осаку, куда направлялся по делам. Полчаса он болтал без умолку, потом спохватился, боясь опоздать на поезд, и стал прощаться. Уже с порога, надевая ботинки, он сказал:

— Знаешь, Кадота женился.

Кадота... Впервые за много лет я вновь услышала фамилию мужа, с которым рассталась. Дядя упомянул об этом как бы между прочим, но меня его новость взволновала.

— Когда? — спросила я и сама почувствовала, как дрожит мой голос.

— Кажется, месяц или два назад. Говорят, он построит себе в Хёго дом. Рядом с больницей.

— Вот как? — с трудом произнесла я.

Проводив дядю, я, едва волоча ноги, вернулась в гостиную. Внезапно закружилась голова, и, чтоб не упасть, я ухватилась за спинку стула. Постепенно силы возвратились ко мне, и я сквозь стеклянную дверь посмотрела наружу: сильный ветер раскачивал деревья, но до меня не доносилось ни звука. Казалось, будто я гляжу сквозь стенки аквариума на некий подводный мир.

— Конец,— сказала я себе, толком не понимая, что я имела в виду.

— Чему конец? — раздался голос Сёко. Я даже не заметила, как она вошла в комнату.

— Сама не знаю,— ответила я и почему-то засмеялась.

— Какие глупости вы говорите, матушка. Ложитесь-ка лучше в постель.

Поддерживаемая Сёко, я кое-как добралась до постели. У меня было такое ощущение, словно прорвалась плотина и все вокруг рушится. Я оперлась рукой о подушку и крепилась, пока Сёко была в комнате. Но едва она вышла на кухню, как слезы потоком хлынули из моих глаз.

Я и представить себе не могла, что женитьба Кадоты так больно меня ранит. Не помню, сколько времени прошло, пока я сквозь стеклянную дверь не увидела Сёко — она жгла в саду опавшие листья. Солнце уже зашло, и наступил удивительно тихий вечер.

— А, уже жгут! — пробормотала я, словно видела в этом некий знак.

Я встала с постели и вытащила из ящика стола спрятанный там дневник. «Ну конечно же, это судьба — Сёко развела в саду костер, чтобы я сожгла свой дневник»,— подумала я, даже не заметив, сколь нелепа была эта мысль. Взяв дневник, я вышла на веранду, села в плетеное кресло и начала его перелистывать. На одной из страниц в ряд выстроились слова: преступление, смерть, любовь. Настоящая исповедь преступника Преступление, смерть, любовь... Сколько раз в течение тринадцати лет повторяла я эти слова в дневнике! До вчерашнего дня они ослепительно сверкали и переливались живыми яркими красками, а теперь разом поблекли, и я без всякого сожаления подумала о том, что через минуту они сгорят в костре и лиловым дымком поднимутся в небо.

Отдавая Сёко дневник, я приняла решение умереть. Жить дальше не было сил.

После того как я рассталась с Кадотой, он жил один. Наверно, ему просто не представлялось удобного случая жениться: то учеба за границей, то война. Во всяком случае, уйдя от меня, он не привел к себе в дом новую жену. И для меня это было опорой в жизни, хотя я сама об этом не подозревала. Так, по крайней мере, кажется мне теперь. Поверьте, с тех пор как мы расстались с Кадотой, я с ним не встречалась, да и желания видеть его у меня не было. Кроме отрывочных слухов, которые передавали мне родственники из Акаси, я о нем ничего не знала, даже имя его вычеркнула из памяти...

Опустилась ночь. Сёко и служанка давно уснули, а мне не спалось. Я достала альбом с фотографиями — моими и Кадоты.

Однажды, несколько лет назад, Сёко, разглядывая этот альбом, сказала:

— Матушка, как интересно наклеены здесь фотографии: ваше лицо и лицо отца соприкасаются...

— Не говори глупостей,— рассердилась я тогда.

Сёко сказала это без всякой задней мысли, но слова ее запали мне в душу, и с той поры я каждый год со странным чувством перелистывала этот альбом. В самом деле, фотографии мои и Кадоты, снятые еще во время медового месяца, были наклеены на соседних страницах, и когда я закрывала альбом, наши лица прижимались друг к другу. И тем не менее за все эти годы у меня ни разу не мелькнула мысль переклеить фотографии или вообще вынуть их из альбома. Но сейчас пришло время это сделать. Я сорвала со страниц фотографии Кадоты и вложила их в альбом Сёко: пусть на долгие годы сохранится для нее облик отца, когда он был еще молод.

Теперь вам понятно, какой была та — другая я, о которой я и сама не подозревала. Вот какой оказалась маленькая австралийская змейка с белыми крапинками, что, как вы однажды сказали, таилась во мне. А та, светло-коричневая змейка, вселившаяся в Мидори, с невинным видом хранила в себе тринадцать лет нашу тайну, которую слизнула в Атами алым, как солнечный протуберанец, язычком и проглотила.

Так что же такое эта змея, живущая в каждом человеке? Может, олицетворение строптивости, ревности, рока, когда они сливаются воедино внутри тебя и нет сил им противиться? Жаль, мне уже не представится случай спросить вас об этом. Как печально, что человек вынужден носить в себе свою змею! Помнится, в какой-то книге я наткнулась на слова «страдания жизни». Сейчас, когда я пишу это письмо, кажется, будто моего сердца коснулось нечто тоскливое и холодное, от чего нет спасения. Что же это такое, таящееся в человеке,— невыносимо отвратительное и потому невыносимо печальное?

Написала уже так много и вдруг заметила: я почти ни единым словом не обмолвилась о том, какова же я на самом деле. Чем дальше пишу я, тем слабее становится моя решимость, и кажется, будто я все время избегаю самого страшного.

Какая это благовидная лазейка — «другая я, о которой сама не знала»! Несколькими строками выше я вам сообщила, будто сегодня впервые обнаружила в себе змейку с белыми крапинками и лишь сегодня она явилась мне.

Ложь! Так утверждать — значит обманывать вас! Я несомненно давным-давно знала о ее существовании.

Помню страшное зрелище, когда ночью шестого августа весь район между Осакой и Кобе превратился в бушующее море огня. В ту ночь мы с Сёко прятались в противовоздушной щели, выкопанной вами. Однажды, когда в который уж раз вверху послышался гул «летающих крепостей», я внезапно ощутила страшную тоску и безысходность и никак не могла с ними совладать. Невыразимая печаль разрывала мне сердце. Она гнала меня прочь от щели, и я, еле переставляя непослушные ноги, вылезла наружу... И увидала вас.

По всему небу полыхало красное зарево. Рядом с вашим домом бушевали пожары, но вы, бросив все, поспешили сюда и стояли у входа в щель. Вместе с вами я вернулась в убежище и там вдруг расплакалась навзрыд. Сёко и вы, наверно, решили, что моя истерика вызвана страхом. Да я и сама ни тогда, ни после не могла найти ей разумного объяснения. Простите меня! Подобно тому как вы, движимый огромной любовью ко мне, которой я не заслужила, кинулись к нашему убежищу, так я в тот момент хотела очутиться перед убежищем чистенькой, выкрашенной белой краской больницы Кадоты в Хёго, которую видела однажды из окна поезда. Все мое тело содро-

галось от этого желания, и я горько разрыдалась, не найдя в себе силы подавить его.

Должна вам признаться: нечто подобное случалось со мною и раньше. Помните ту змейку с белыми крапинками? Я тогда похолодела от страха. Никогда в жизни я не испытывала подобного ужаса. Вы, вероятно, не вкладывали особого смысла в свои слова, а мне показалось, будто вы заглянули в самую глубину моего сердца. Я боязливо поглядела на вас. Вы, прикусив незажженную сигарету, задумчиво глядели куда-то вдаль. Может, это мне показалось, но лицо ваше было таким печальным, каким я его еще никогда не видела. Это длилось какое-то мгновенье, потом вы повернулись ко мне, и ваше лицо стало, как всегда, приветливым и спокойным.

Прежде я ясно не представляла, какова та, другая, которая жила внутри меня. Но отныне я стала думать, будто она и есть та самая змейка с белыми крапинками, на которую указали вы. В ту ночь я не одну страницу дневника исписала словами «змейка с белыми крапинками». Я представила себе, как эта змея лежит внутри меня, свернувшись в тугие, сужающиеся кверху кольца, а из самой вершины торчит маленькая, острая, похожая на шило головка. Ну, прямо-таки изящная безделушка! И мне становилось чуть легче на душе при мысли, что все страшное, отвратительное, таящееся во мне, облечено в столь законченную, даже изящную форму. Пожалуй, сам господь бог при виде этой свернувшейся кольцами змейки ощутил бы к ней ласковое сочувствие. Может быть, она даже вызвала бы у него сострадание. Вот до каких дерзновенных мыслей я додумалась. С той ночи я ощутила себя еще более великой преступницей, чем прежде.

Вы уже узнали обо мне многое, но надо набраться мужества и рассказать все до конца. Не сердитесь, пожалуйста! Помните ту ветреную ночь в Атами, когда мы дали слово друг другу обманывать всех и стать великими преступниками ради нашей любви?

Обменявшись столь дерзкими клятвами, мы умолкли: больше нам не о чем было говорить. Мы лежали на белых, хорошо накрахмаленных простынях и молча глядели во тьму. Эти мгновения удивительной тишины запомнились мне на всю жизнь. Долго ли мы хранили молчание — пять минут или час, не знаю.

В те мгновения, как ни странно, я была совершенно одинока. Забыв, что рядом со мной лежите вы, я осталась одна, наедине со своею душой. Отчего я почувствовала тогда безысходное одиночество, хотя мы только что заключили наш тайный союз и должны были во всей полноте ощущать взаимную близость?

В ту ночь мы решили обмануть всех, но вы, по всему судя, не предполагали, что будете сами обмануты. Я в те минуты не делала исключения и для вас. Буду обманывать всех: и Мидори, и вас, и даже самое себя — такова уготованная мне судьба! Вот какая мысль мелькала, словно блуждающий огонек, в глубине моей одинокой души.

Да, проступок Кадоты был случайным, но я не могла простить его неверности. Вот почему я решила любыми средствами избавиться от своего чувства к Кадоте — чувства, в котором трудно было отделить любовь от ненависти. Я готова была на все, лишь бы покончить с ним. Я очень страдала. И всей душой искала средства, способного угасить мои страдания.

И все-таки... все-таки! С тех пор прошло тринадцать лет, но и сегодня ничего не изменилось, все остается так же, как в ту ночь.

Любить, быть любимой — какой роковой выбор! Однажды во время экзаменов по английской грамматике на втором или третьем

курсе женского колледжа нам дали задание определить активные и пассивные формы глаголов. Среди написанных на листках глаголов была и пара «любить — быть любимой». Пока все девушки, уставясь на листки и покусывая карандаши, обдумывали задание, кто-то, наверно из шалости, передал из задних рядов листок, на котором было написано:

«Что ты предпочитаешь: любить или быть любимой?» Около слов «быть любимой» разноцветными карандашами и чернилами было поставлено множество кружков, рядом со словом «любить» — ни одного. Я тоже, как и остальные, поставила кружок у слов «быть любимой». Наверно, девушки лет шестнадцати или семнадцати, которые толком еще не разбирались, что означает «любить» и «быть любимой», инстинктивно уже догадывались: счастье в том, чтобы быть любимой.

Только моя соседка по парте мельком глянула на листок и, ни секунды не колеблясь, поставила большой жирный кружок около слова «любить». Я сразу почувствовала к ней неприязнь за то, что она поступила не так, как все, но в то же время — и я это помню до сих пор — мне почудилось, будто я ошиблась в своем выборе. Девушка эта была ничем не примечательна. Она не особенно хорошо училась, всегда казалась угрюмой, ни с кем не дружила. Не знаю, как потом сложилась ее жизнь, но вдруг теперь, когда я пишу вам это письмо, перед моими глазами вновь всплыло ее лицо, хоть с тех пор прошло двадцать лет и я ее больше ни разу не видела.

Какой женщине в смертный час бог предпочтет дать тихое отдохновение: той ли, которая наслаждалась счастьем быть любимой, или другой, что видела мало счастья, но может сказать: я любила. Только найдется ли в этом мире женщина, которая с полным правом могла бы сказать богу: я любила? Нет-нет, наверно, такие женщины есть и мои сомнения напрасны. Что, если та ничем не примечательная девушка с плохо причесанными волосами вошла в число избранных? Я представила, как она — простоволосая, в рваном рубище — стоит перед богом с гордо поднятой головой и говорит: я любила! Говорит — и падает бездыханная! Ах, как все невыносимо! Хочется куда-то бежать, исчезнуть! Я стараюсь прогнать преследующий меня образ этой девушки — тщетно. Почему меня не оставляют эти невыносимые, беспокойные мысли, хотя всего через несколько часов наступит конец и я умру? Наверно, это возмездие женщине, не вынесшей мук любви, искавшей счастье в том, чтобы быть любимой.

Я глубоко сожалею, что вынуждена написать вам такое письмо после тринадцати лет счастья, которое вы мне дали.

Пришел последний час — я всегда знала, что когда-нибудь он наступит,— догорает в море рыбачья лодка. Я слишком устала, чтобы жить дальше. Надеюсь, мне удалось рассказать вам, какой я была на самом деле. Пятнадцать — двадцать минут, потраченных вами на чтение письма, воплотили в себе мою настоящую жизнь, жизнь истинной Аяко без прикрас и обмана.

Позвольте на прощанье еще раз сказать: тринадцать лет моей жизни казались чудесным сном. Благодаря вашей огромной любви я была счастлива. Счастливее всех на свете».

Когда я дочитал третье письмо, адресованное Дзёсукэ Мисуги, была уже глубокая ночь. Я вынул из ящика стола письмо самого Мисуги, перечел его и обратил внимание на фразу, которой оно заканчивалось. Она показалась мне многозначительной, я вновь и вновь возвращался к ней:

«Интерес к охоте появился у меня довольно давно, когда я еще не был совсем одинок в этом необъятном мире, и охотничье ружье стало моим неизменным спутником еще в ту пору, когда ничто как будто не предвещало краха моей личной жизни и служебной карьеры».

Внезапно каллиграфически выписанные иероглифы дохнули на меня такой невыносимой скорбью, что я даже зажмурился. Если воспользоваться словами Аяко, возможно, это была змея, которая жила в Мисуги.

Я резко поднялся из-за стола, подошел к северному окну кабинета и долго вглядывался в ночную тьму, где изредка вспыхивали голубые молнии, высекаемые далекой электричкой. Какое значение имели для Мисуги эти три письма? Что он из них узнал? Разве открыли они ему какие-то новые, неизвестные факты? Неужели ему давно не открылась сущность тех змеек, которые жили и в Мидори, и в Аяко?

Я долго стоял у открытого окна, ощущая на щеках ночную прохладу. Голова слегка кружилась, как при легком опьянении. Я ухватился обеими руками за раму и некоторое время пристально вглядывался в темноту маленького заросшего сада, как будто предо мной было то самое «белое русло пересохшей реки», которое увидел Мисуги.

■

РАСКИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1927 г.).

Советский японовед, переводчик. В его переводе на русский язык вышли романы Масудзи Ибусэ «Черный дождь», Такэси Кайко «Японская грехгрошовая опера» и «Горькое похмелье», Ясуси Иноуэ «Сны о России», Сэйтё Мацумото «Среда обитания» и «Земля — пустыня», книга Масакацу Гундзи «Японский театр Кабуки», рассказы Сюгоро Ямамото, Рюноскэ Акутагава, Ясунари Кавабата, Морио Кита и др.

АТАНАС ДАЛЧЕВ

■

С болгарского

Шесть стихотворений в переводе Марии Петровых

Атанас Далчев умер в 1978 году, Мария Петровых — совсем недавно. Оба они вступили в большое время.

Каким-то иным зрением видишь недавно ушедших, словно сняли с медленно возводимого здания строительные леса и оно предстало таким, каким задумано, каким стоять ему долгие годы.

Стихи Атанаса Далчева мы знаем в переводах Марии Петровых. Она была переводчиком, внушавшим огромное доверие. Я знаю ее искреннюю заботу об оригинале, бережность и подлинную страсть, которые она вносила в переводческое творчество. Мало кто наделен таким талантом сопереживания и способностью воссоздать на чистейшем русском языке стихи другого поэта.

Стараниями Марии Петровых на русском языке заговорили болгарские поэты Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Валерий Петров и Атанас Далчев.

Может быть, Далчев был ей ближе других.

Здесь не имеется в виду сходство или родство дарований. У каждого из поэтов свой поэтический мир, свой способ выражения. Переводческое «перевоплощение», если переводчик — истинный поэт, дело довольно условное. Я говорю о сердечности и степени уважения, которые чувствуются в строках «русского» Далчева, об огромной самоотдаче Марии Петровых.

Привлекательной чертой Атанаса Далчева является его сдержанность без сухости. Он немногословен. Его лирические сюжеты кажутся простыми и никогда не растянуты. Однако за каждым из них стоит большой и протяженный опыт сердца и ума. Переживание редко высказано, оно передано лишь в интонации. Добыть и воссоздать этот «второй план» — нелегкое дело для переводчика, не сразу постигает его и читатель.

Далчев, как каждый взыскательный художник, остро ощущает несоответствие замысла (того, что задумано) и воплощения (того, что получилось).

«Художник хотел нарисовать ветер и видел всегда, что рисует другое».

Но в его понимании этого несоответствия нет безнадежности. В конце концов при всем несовершенстве творения оно выполняет свою главную функцию — пробуждение совести: «вы не спите, совесть ваша рядом с ним не спит» («Поэт»).

У Далчева нет высоких и риторических фраз о назначении поэзии, но ее гражданский смысл он определяет ясно и просто: пробуждать совесть.

АТАНАС ДАЛЧЕВ (1904—1978).

Болгарский поэт, народный деятель культуры Болгарии. Первый сборник его стихов «Окно» («Прозорец») вышел в 1926 г. Переводил с русского, французского, испанского и немецкого. На русском языке издано «Избранное» А. Далчева (М., 1974), стихи публиковались в «Иностранной литературе» (№ 6, 1971), в сборниках и антологиях.
Предлагаемые стихотворения взяты из книги «Балкон» (София, 1972) и журнала «Септември» (№ 3, 1975 и № 10, 1977).

Еще одна отличительная черта Далчева. Высокое содержание он всегда «обставляет» реалиями обыденной жизни. Это не для «снижения», как называют этот прием литературоведы, а для зримости, для «овеществления» поэзии. Стихотворение «Поэт» — прекрасный пример сказанного.

Я однажды назвал далчевский способ поэтического видения «эффектом окна». Он не останавливает мгновение, как в стоп-кадре, не вырывает с мясом яркий эпизод из бесконечного времени и пространства реальной жизни; его способ выделить из множества явлений одно — заключить его в раму окна, то есть придать ему форму предельно естественную и определенную и при этом показать реальность наблюдателя-поэта, реальность его точки зрения.

Атанас Далчев был очень взыскателен к себе. Стихотворения, включенные в данную подборку, как мне говорили болгаристы,— почти все, что он напечатал в последние годы.

Они прибавят еще несколько ярких образов к поэзии Далчева, которую мы знаем по небольшой книге, переведенной Марией Петровых, книге, включающей кроме стихов замечательные короткие записи и уже завоевавшей признание советского читателя.

Д. САМОЙЛОВ

Художник и ветер

Художник хотел нарисовать ветер
и рисовал листья, что летели в смятении с веток
осенних,
будто искры бушующего костра.
Он хотел нарисовать ветер
и рисовал, как, поблескивая, струится трава на лугу.
Он хотел нарисовать ветер
и рисовал облака в их паническом бегстве по небу.
Художник хотел нарисовать ветер
и видел всегда, что рисует другое.

«Александр Невский» в тумане

Когда туман спускается — вначале
лишь золотые купола померкнут,
а каменный корабль высокой церкви
чуть позже тонет, медля на причале.

Но вот шаги и голоса стихают.
Многообразье красок, трезвость линий
в небытии тумана исчезают,
и видимого нет уже в помине.

В безмолвном этом кораблекрушенье
лишь гул большого колокола странный
едва доносится из погруженья
в густую мглу, как в недра океана.

Зато потом блеснут небес глубины
от мокрых куполов, а скаты крыши
покажутся и зеленей и выше,
как от сырых напластований тины.

Приятелю

Ты, говоришь, купил в какой-то деревеньке
один из тех домов, где нет уже хозяев,
и сможешь там творить спокойно — в отдаленье
от суеты пустой, от шума городского.

Дивлюсь, приятель мой, твоей ошибке странной:
ты с совестью твоей там не найдешь покоя.
В покинутых домах присутствует тревога,
и призраков полно под опустевшей кровлей.

И ты ошибся: треск ступенек деревянных
исходит от шагов, а не от древоточца,
и не в трубе печной, как счел ты, воет ветер —
то бесприютных душ доносится рыданье.

Предчувствую — вот-вот увидишь поздней ночью,
от полнолуния прозрачно-голубою,—
они пустым двором приблизятся неслышно,
вернутся в дом родной, захваченный тобою.

Нежданный дождь

Казалось — ясен день, но, тайно подойдя,
нас дождь застиг врасплох, ударив зло и хлестко;
едва успели мы укрыться от дождя
под деревом, вблизи закрытого киоска.

Под плотною листвой в глуши зеленой тьмы
в нас чувство смутное очнулось ненароком,
и, как давным-давно, вновь оказались мы
влюбленными детьми на чердаке высоком.

Виднелось небо нам, как в слуховом окне,
а переплет ветвей напоминал стропила...
Склонилась головой она на грудь ко мне,
и вновь ее лицо зелено-смуглым было.

Стояли молча мы, и словно лишь сейчас
впервые в жизни здесь смогли уединиться,
и слушали, как дождь шумит, оставив нас
под темной кровлею зеленой черепицы.

Поэт

Он к себе домой идет неспешно,
смутно улыбаясь, погружен
в некий мир — невидимый, нездешний.
Ничего вокруг не видит он.

Здесь для всех какой-то он особый;
старики, прервав свою игру,
бросят карты и следят со злобой,
как домой идет он по двору.

Женщины, в тазах белье оставя,
на балконах поднимают крик,
чтобы все их Митенце и Славе
со двора домой вернулись вмиг.

Вдовушка — соседка молодая
с вечно голой грудью — много дней
зло следит за ним, подозревая,
что подослан он следить за ней.

И завскладом, с виду столь почтенный,
неспокоен, как и все вокруг;
он, дрожа, сжимается мгновенно,
кражи и растраты вспомня вдруг.

А когда, пристроясь у лампады,
сочиняет человек стихи —
думают, что пишет он доклады
лишь про них про всех, про их грехи.

И на корточках — так лучше видно
смутную луну его окна —
все сидят и смотрят, всем обидно,
и завыть им впору истемна.

Эх, да говорите, что хотите,
будто ваш мирок ему претит!
Въехал он сюда — и вы не спите,
совесть ваша рядом с ним не спит.

Дикий бурьян

Чего не делал я, чтобы не думать
о ней, и все же думал непрестанно,
встречал ее на каждом перекрестке,
она во сне меня не покидала
и в ночь бессонную была со мною.
Мне в сердце проросла бурьяном диким,
я выдернуть его не мог оттуда.

Тогда решил я сблизиться с другою.
Она была и ласковой, и милой.
Покамест я прогуливался с нею,
о первой и не вспоминал, не думал,
но стоило мне с девушкой проститься
и вниз сбежать по лестнице скрипучей
как первую встречал я у калитки.

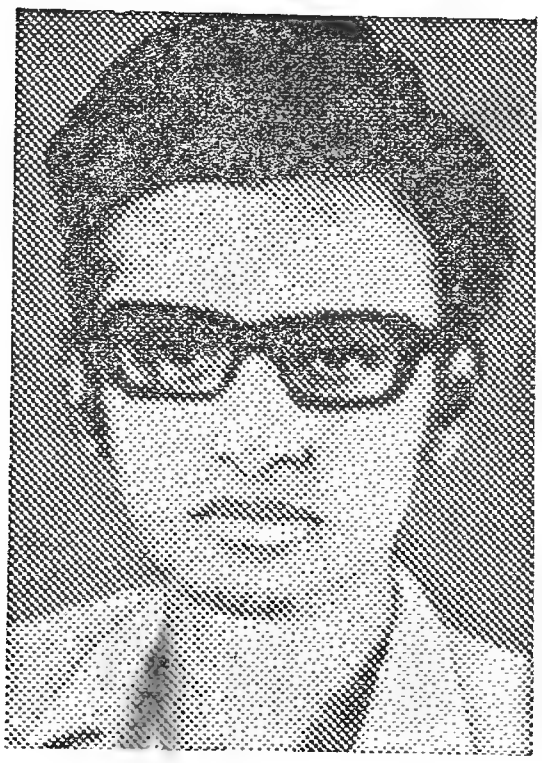
Она меня ждала, и, обезумев
от счастья, с ней, с единственной, с любимой,
бродил я, как бывало, до рассвета
под редкими ночными фонарями
по улицам, почти что опустевшим;
мы разговаривали и смеялись,
расстаться, как всегда, не в силах.

Нам изредка прохожие встречались
и видели, как юноша нелепый
идет один и радостно смеется
и разговаривает сам с собою.

■

ПЕТРОВЫХ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (1908—1979).

Советский поэт. Начала печататься с 1934 г. в журналах и альманахах. Выпустила книгу стихов «Дальнее дерево» (1968). Много переводила советских поэтов, преимущественно армянских и литовских, а также поэтов славянских стран — П. Славейкова, П. Яворова (Болгария), Б. Лесьмяна, Ю. Тувима, К. И. Галчинского (Польша), Ф. Прешерна, М. Крлежу, Ст. Раичковича (Югославия) и др. В 1974 г. в ее переводе вышла книга стихов А. Далчева «Избранное».



АДАВАН

Крылья

ПОВЕСТЬ

Перевод с тамильского А. ИБРАГИМОВА

Ура!

— Да здравствует свобода!

— Ура! Ура!

И так весь день — восторги, ликование, смех, веселые крики подруг. Мы просто не знали, куда деваться от счастья. Ура! Свобода! Последние экзамены позади, даже не верится, что отныне мы бакалавры искусств. Неужели больше не будет ни уроков, ни нудных лекций, ни толстенных учебников и конспектов, ни постных лиц преподавателей, ни зубрежки до полного изнеможения?! Неужто мы хоть на время избавимся от вечной толчеи на остановках и в переполненных автобусах?!

Прощай, школа, прощай, колледж! Сложим же молитвенно ладони в знак прощания. Рукку так именно и сделала, еле сдерживая смех, изобразила на лице смирение и почтение, склонила голову и обратилась к нашему колледжу:

— Прощай навсегда, родимый!

Мы так и прыснули. И дружно потребовали:

— Ну-ка еще разок!

В этот момент, словно из-под земли, перед нами возникла наша бывшая историчка — мисс Тумпамани, которую девочки между собой называли только «Тумбой», из-за ее поистине необъятных форм.

— Ну что, довольны?

Мы заулыбались.

Тогда она принялась по очереди расспрашивать нас, как прошли экзамены, кто какое получил назначение, чем мы собираемся заняться в ближайшем будущем, и так далее и тому подобное, и все это с учительской дотошностью и обстоятельностью. Мы отвечали подробно и вежливо — пай-девочки да и только. Одна Рукку не могла угомониться. Тихонько, чтобы Тумба ничего не услышала, она отпуска-

---

АДАВАН (К. С. СУНДАРАМ) (род. в 1942 г.).

Индийский писатель, пишет на тамильском языке. Автор сборников рассказов «Пузырьки мечты», «Боль в ноге», романа «Бумажные цветы», книг для детей. Произведения Адавана переводились на индийские языки, английский и французский.

Повесть «Крылья» была напечатана в сборнике повестей и рассказов Адавана «Перед ночью приходит вечер», выпущенном в 1974 г. издательством «Имайа падиппахам» (г. Нагапаттинам).

© АДАВАН, 1974.

ла такие замечания, что даже непонятно, как нам удавалось не расхохотаться.

— Вот вы и покидаете нас. Надеюсь, девочки, вы не забудете своих наставниц,— ворковала Тумба.

— Конечно нет.

— И меня не забудете?

— Никогда!

— Первое, что мы постараемся сделать — это поскорее забыть твою глупую рожу,— шепнула Рукку.

— Ты что-то сказала, Рукку?— спросила Тумба.

— Она говорит, что, будь у нас ваша фотография. мы бы всегда смотрели на нее с любовью,— поспешила выручить подругу Лалу, корча серьезную мину.

Тумба была явно польщена.

— Да, будь у кого-нибудь из вас камера, мы могли бы сняться на память.

— Не хватало еще изводить на тебя дорогую пленку!— не унималась Рукку.

— Что, что?— опять не расслышала Тумба.

— Она говорит, раз нет камеры, хорошо бы нам вместе сходить к фотографу.

— Прекрасная мысль! К сожалению, я не могу пойти с вами, у меня деловое свидание. А если отложить на другой день? Только не обижайтесь.

— Ну что вы!

— Очень удачно вышло,— вставила Рукку.

Тумба, опять не расслышав, переспросила:

— Что? Что?

— Ничего, ничего.

Едва она отошла, мы все набросились на Рукку:

— Ну что ты прицепилась к историчке! Пожалей ее!

И так мы хохотали весь день, вспоминая Тумбу и давно позабыв о ней, хохотали по пустякам и вовсе без причины. И на остановке, дожидаясь автобуса, мы хохотали. И пока ехали в нем — хохотали. В конце концов у нас потекли слезы, разболелись животы, но остановиться мы не могли. Со стороны могло показаться, что у нас не все дома. Нам же скучные и серьезные пассажиры автобуса и прохожие казались какими-то пришибленными. Как только могут они не ликовать и не смеяться в такой день? О, глупцы, о, слепцы, почему никто из вас не видит, как чудесен мир и как прекрасна жизнь!

И на улице и дома смех не смолкал — утром, днем, вечером, смех до икоты, до колик.

— Ну что ты без конца хохочешь?— говорила мама.

— Перестань смеяться,— увещевал меня папа.

Но я была не в силах совладать с собой.

Когда приступы необузданного веселья ненадолго проходили, я с удивлением замечала, что с временем творится что-то странное. Пока я училась в колледже, оно неслось вскачь, и я едва поспевала за ним. Теперь же время словно застыло в неподвижности, и мне чуть не силком приходилось тащить его за собой, подталкивать, чтобы хоть как-то сдвинуть с места.

Впервые у меня возникла возможность повнимательней присмотреться к тому, как живет мама, и с искренним недоумением я задумалась, каким образом умудряется она убивать время.

— А тебе не скучно, мама?— не удержавшись, спросила я.

Она уклонилась от прямого ответа, лишь улыбнулась.

— Почему ты вдруг забеспокоилась обо мне?

Бедная мамуля! День-деньской совсем одна, заперта в четырех стенах! Папа с утра уходил в контору, я — в колледж, Бабу и Суси — в школу, а мама занималась хозяйством, оберегала наш домашний очаг. Как же, наверно, тяготило ее одиночество.

Все время она, бедняжка, проводила либо на кухне, либо в молельне. Папа любил подтрунивать над ней в нашем присутствии: «Ваша мать ходит в молельню, как на работу».

Вообще-то отец и сам благочестив, но до маминого рвения ему далеко. Когда он молится, то не кладет золу на лоб толстым слоем, а ставит лишь маленькое пятнышко, да и то стирает, отправляясь на службу. «Истинно верующему не подобает выставлять напоказ свои чувства»,— говорит он, и я вполне с ним согласна.

Но теперь я изнывала от безделья, и как-то само собой получилось, что я стала молиться вместе с мамой. По утрам у меня появилась новая обязанность — срывать цветы в садике перед домом, чтобы украсить изображение свами [1] в молельной. Ах! Какое наслаждение — выходить ранним утром и срезать благоухающие, обрызганные прохладной росой цветы!

Я беззаботно предавалась этому приятному занятию четыре дня, а на пятый... я вдруг заметила: на веранде дома напротив сидит молодой человек и пристально наблюдает за мной. Что мне оставалось делать? Только притвориться, будто я его не замечаю, и продолжать свое занятие. Но краешком глаза я видела, что он все смотрит и смотрит на меня. Вернувшись в дом, я первым делом кинулась к зеркалу. Но тотчас с досадой одернула себя: «Неужто тебе интересно знать, какой тебя видел этот бездельник? Фу! Глупости!»

Однако на другое утро, прежде чем выйти в палисадник, я опять подошла к зеркалу. Некоторое время я стояла, в растерянности глядя на себя и размышляя: вправду ли мне безразличен этот юноша и не хочется ли мне в глубине души, чтобы он опять сидел там же. В конце концов я решила просто не выходить из дому — возьму и докажу самой себе, как мало он для меня значит. Но ведь мама непременно спросит, почему я не принесла свежих цветов. Что я отвечу? Мол, какой-то дурак пялится на меня? Ну нет, из-за него я не стану ничего менять!

Так оно и повелось: по утрам я рвала цветы, а он подсматривал за мною. И по вечерам, когда я, приодевшись, выходила к двери подышать свежим воздухом, он тоже не сводил с меня глаз. «Не ради него же я выхожу на улицу,— уверяла я сама себя.— Что мне теперь, прикажете торчать на заднем дворе?» Мне почти удалось убедить себя, лишь на самом донышке души пряталось крохотное угрызение совести.

Любовь — это поистине величайшая загадка природы! И почему никому — ни мужчине, ни женщине — не дано ее избежать? Когда я была совсем девчонкой, мне чудилось, будто на меня законы любви не распространяются. «Ведь я не такая, как все, я особенная, уж я-то управлюсь со своими чувствами». Вслух я часто твердила: «Никогда, ни за что не выйду замуж!» Я и теперь иногда говорила так, но, странное дело, без былой убежденности. Мною владели какие-то новые мысли и чувства! «В конце концов,— размышляла я,— с какой стати я возомнила, что отличаюсь от всех?»

Теперь, когда я бывала одна, мне чудилось порой, будто меня вот-вот обнимут чьи-то сильные руки. Неясный томительный трепет вдруг пробегал по телу, принося небывалое радостное ощущение. Я пугалась этих чувств, их остроты и силы.

---

[1] Божество.

Как-то я заговорила об этом с мамой.

— Когда я была маленькой,— сказала она, улыбаясь,— я тоже думала, что никогда не выйду замуж.

Теперь мы с мамой часами вели задушевные беседы. Едва отец уходил на работу, как мы, наскоро позавтракав, устраивались в большой комнате прямо на полу. Обычно я раскрывала какой-нибудь журнал или роман, но не прочитывала ни строчки, а все слушала и слушала мамины рассказы о ее детстве — вот бы глянуть, какой она была тогда с косой и в юбочке!— о доме ее родителей в Тирувидангуре, о сватовстве моего отца и первых днях замужества. Я слушала ее, затаив дыхание. Случалось, она умолкала, тяжко вздыхала. а то и плакала, особенно когда вспоминала своих родителей.

Мой дед — мамин отец — был мунсифом, председателем окружного суда, и мама доныне очень этим гордится. У них был большой и богатый дом, а в саду — пропасть цветов, манго и даже хлебное дерево. В их доме бывали коллекторы [1] — важные по тем временам шишки. Бабушка была очень хороша собой и ходила вся в драгоценностях. Но невзирая на это, на множество слуг и собственный выезд, жилось ей, должно быть. несладко. Нравом дед был крут и суров. Смягчить его бабушке удавалось лишь кротостью, терпением и домовитостью.

У нас сохранилась их старая фотография. Дед восседает с открытой грудью, с толстым слоем священного пепла на лбу, строгий, даже надменный. А бабушка стоит — не сидит! — чуть поодаль, кутаясь в покрывало, из которого выглядывает ее испуганное лицо.

На свадебных фотографиях, которыми полны нынешние иллюстрированные журналы, молодожены всегда сидят рядом. Если бы мой дед увидел эти снимки, он просто остолбенел бы!

Дедушки мои—по матери и по отцу — случайно познакомились в поезде. Но если б не эта случайность. мои родители, само собой, не поженились бы и я бы не появилась на свет.

Сперва у моей мамы был другой жених, молодой человек, который выучился в Лондоне на доктора. Его отец послал сватов, даже не спросив его согласия. Но мамин дядя ухитрился пронюхать, что доктор завел в Лондоне шашни с какой-то англичанкой. Дед мой разнес отца жениха в пух и прах, и свадьба расстроилась. Мама узнала все эти подробности, подслушав разговор дедушки с дядей. С тех пор дядю в нашей семье величали Шерлоком Холмсом.

— Видно, твой дядюшка выслеживал и меня! То-то на свадьбе лицо его показалось мне знакомым!— подшучивает иногда отец.

Но мама не дает в обиду свою родню и сразу же отрезает:

— Уж вам-то про моего дядю лучше не заикаться.

О маминых родственниках папа почему-то всегда говорит с легким пренебрежением. И она тоже любит проехаться по адресу его семьи. Во время наших откровенных разговоров мама не раз вспоминала, как они измывались над ней, когда она, такая молоденькая и неопытная, попала в их дом. А ведь с виду мои дяди и тети — все очень милые и славные! И только послушав маму, поймешь, какие они на самом деле черствые и бездушные.

— Ах, птенчик мой, знала бы ты, как они глумились надо мной! Сколько злобы и яда в их сердцах! Они заставляли меня работать с утра до поздней ночи, не упускали случая обидеть побольнее, настраивали против меня твоего отца. А у него вечно недоставало духу вступиться за жену. Что бы они ни говорили, он знай себе помалкивал.

[1] Высокая административная должность в колониальной Индии.

Стоило папе услышать нечто подобное, он тотчас парировал:

— Вот удави я тогда всю свою родню, то-то бы мама порадовалась.

— А сами они только и мечтали, как бы меня удавить,— отвечала мама.

И так они препирались, стараясь — каждый — перетянуть меня на свою сторону, будто я — всемогущий судья и от моего решения зависит, на чьей стороне правда.

А мне нелегко было рассудить, кто из них прав: так ли жестоко обращалось папино семейство с мамой и верно ли, будто он совсем не вступался за нее.

Вообще-то отец — человек мягкий и миролюбивый. Даже столкнувшись с явной несправедливостью, он старается держать себя в руках и не теряет терпения. А мама, напротив, вспыльчива и раздражительна. Чуть что не по ней — вспыхнет и тут же бросается в атаку. Я думаю, папа довольно болезненно переносил бесконечные стычки своей родни с мамой. В конце концов ему все осточертело и он был готов бежать хоть на край света от этой нескончаемой свары. Едва ему представилась возможность перебраться в Дели, он схватил свою дорогую жену в охапку и — ходу.

Но послушать отца — он, перебравшись в Дели, принес во имя семейного мира великую жертву: лучшей кулинарки, чем его мать, утверждал он, в мире не сыскать, а он лишился возможности лакомиться ее стряпней!

— Да я готовлю ничуть не хуже,— кипятится в таких случаях мама.— Разве с тех пор, как мы переехали в Дели, ваше здоровье не стало гораздо лучше?

— При чем здесь еда? Просто теперь, когда мы живем своим домом, я могу любоваться моей женушкой сколько душе угодно. Радость — вот лучший бальзам!

И мама — она не может скрыть удовольствия — кротко заканчивает спор:

— Да, уж чего-чего, а радости нам хватает...

Стоит появиться на мамином лице стыдливой улыбке, и во всем ее облике проглядывает нечто по-девичьи привлекательное. В молодости она со своей робкой, застенчивой улыбкой была очень мила. Достаточно только взглянуть на свадебную фотографию, висящую на стене в гостиной. У отца же такой вид, будто он вот-вот скажет фотографу: «Ну, кончай и проваливай отсюда!»

Папа вообще терпеть не может сниматься. У нас есть групповая фотография отца и его сослуживцев, запечатлевшая проводы их шефа-англичанина. На ней яснее ясного видно: отец просто спит. И все же он выглядит здесь получше, чем на свадебном фото. И уж наверное есть доля истины в маминых словах: с той поры, как они живут в Дели, отец поздоровел.

Первое время после переезда отец любил весь свой досуг проводить на кухне с мамой. Он с удовольствием помогал ей готовить обед — подавал соль, перец, сушеные овощи, вскрывал кокосовые орехи, крутил ручную мельницу. А во время отпуска и вовсе освобождал маму от кухонной работы: они брали еду из ближайшего ресторана. По вечерам, возвращаясь с работы, отец часто приносил домой что-нибудь вкусненькое. Поев, они обычно отправлялись погулять. О чем же они говорили тогда на прогулке? Я как-то спросила маму, и она ответила: «Обо всем понемногу...» И многозначительно улыбнулась. В улыбке ее было нечто такое, чего я не сумела понять. Наверно, молодые мужчина и женщина с несхожими характерами и взглядами, в чьих семьях сложились разные устои и привычки, ста-

рались во время этих долгих прогулок по улицам Дели получше узнать друг друга.

«Каков он?» — думала мама. «Какова она?» — думал отец. И они так старательно, с таким увлечением изучали друг друга, что в итоге этих обоюдных стараний появилась на свет я.

Среди наших фотографий есть одна, старая-престарая. Я на коленях у отца. Мне года три, не больше. Я сосу палец, готовая в любой миг соскользнуть с отцовских коленей и умчаться куда-нибудь подальше.

Так вот, даже на этой фотографии — а ведь тогда я была совсем еще крохой — сразу видно, что на моем лице главенствует... нос. Это нос отцовской семьи. От нее же я унаследовала широкий лоб, густые брови и высокий рост. Зато волосы и глаза, говорит мама, достались мне от ее предков. Я — новое издание, во многом повторяющее предыдущие, но все же дополненное и переработанное.

Ах, как мне хотелось бы увидеть воочию всех своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек — всех, кто так или иначе принимал участие в моем сотворении. Вот бы узнать, как они жили, как, например, одевались. А этот длинный нос, любопытно, которое уж столетие остается он нашим фамильным достоянием? Неужто со времен самого Каушики [1] — ведь мы как-никак ведем свой род именно от него.

Моя бабушка не умела ни читать, ни писать, мама окончила восемь классов, а вот я — бакалавр искусств. Бабушка понятия не имела обо всем, что известно мне. Но тайны домоводства, которыми владела она, для меня непостижимы. И вообще она была крепче, сильнее меня. В годы ученья мне приходилось изо дня в день висеть на поручнях переполненного автобуса, сжимая под мышкой тяжелые книги. Иногда я играла в волейбол или бадминтон. Этим, собственно, и исчерпывались мои физические упражнения. И потому мне уж не передать по наследству своим детям силу и ловкость, которыми — щедро ли, скудно ли — наделила меня моя дорогая бабуся.

Мои дети! Где, когда они родятся? Кому суждено стать их отцом? Когда мы с ним встретимся? Может быть, это юноша из дома напротив? Фу, ни за что! Но тогда кто же?

По дороге в колледж, в автобусе, я изо дня в день видела одних и тех же мужчин. Был там, скажем, юноша с пышными усами и черным «дипломатом», обычно погруженный в чтение романов. Или другой, в зеленых очках, с легким пушком над губой. Многие из них стали столь же привычными атрибутами моей жизни, как преподаватели колледжа или одноклассницы. И я, наверное, тоже намозолила им глаза. Если кого-то из них не оказывалось в автобусе, я сразу замечала это. Теперь они все разом ушли из моей жизни, зыбкая связь между нами порвалась, и, пожалуй, навсегда. Они-то по-прежнему ездят девятичасовым автобусом, может быть, кое-кто из них даже подумал раз-другой: «Куда подевалась та стройная (красивая?) девушка, что садилась обычно у «Радиостанции»? Почему ее больше не видно?»

Немало мужских лиц видела я и на улицах, и в кинотеатрах. Несомненно, я видела куда больше мужчин, чем мои бабушки или даже мама за всю их жизнь. Не исключено, что судьба где-то на мгновение уже сводила меня с будущим моим избранником. Не скажет ли он когда-нибудь: «Четырнадцатого июля 1968 года я видел тебя в кинотеатре «Риволи» на утреннем сеансе, ты была в лиловом сари? Верно?»—«Да»,— отвечу я изумленно.

---

[1] Мифический царь, отец мудреца Вишвамитры.

Совсем недавно с утра до вечера перед моими глазами мелькали сотни разных лиц. Теперь их не более четырех-пяти. Отец — раз, мать — два, брат — три, сестра — четыре... У брата и сестры свой обособленный мирок. Отец с утра до вечера пропадает в конторе. Остается одна мама. Вот мы с ней и лежим часами на полу гостиной, под большим вентилятором.

Едва мама ложится, ее сразу начинает смаривать сон. Я же люблю сперва почитать книжку или журнал. Вскоре дремота наваливается и на меня, книга выпадает из слабеющих рук, и я погружаюсь в приятное забытье. Отдохнув, мама обычно берет мою книгу и пытается ее читать. Или рассматривает иллюстрации в журналах «Фемина» и «Ивз уикли».

— Вот говорят: мода. Но как ни взгляни, а это одно безобразие! — возмущается мама.

Мне, признаться, и самой не очень по душе новомодные туалеты, но, лежа рядом с мамой, я невольно ощущаю себя представительницей молодого поколения, призванной отстаивать все современное.

— Каждый волен одеваться по вкусу и по своим возможностям. Это в старину женщины зависели от милостей семьи и наряжались лишь в угоду супругу. Так и сидели дома, обвешанные побрякушками. Современные женщины вращаются в обществе и должны одеваться соответственно. Но главное — большинство из них сами зарабатывают на свои платья и украшения.

— Судя по тому, насколько укоротились блузки, зарабатывают они немного. Может, экономят на сумки и туфли, а?

М-да, блузки и впрямь становятся все короче, а сумки стремительно увеличиваются, каблуки удлиняются. Возможно, мама и права.

— Все учатся, учатся, а ходят распустехами,— сетует она.— Может, и ты такой будешь?

Хоть мама иногда и поругивает «ученых девиц», особенно их небрежную манеру одеваться, но я-то знаю, ей нравятся девушки с образованием. И то, что ее старшая дочь — бакалавр искусств, ей очень льстит. Мама по сей день жалеет, что сама не получила настоящего образования. Она бы и сейчас уселась за учебники. А уж как старалась она разобраться в моих английских книгах! Вертела их и так и этак, пыталась читать по складам.

Пришлось учить маму английскому.

Итак, я — учительница, а мама, научившая меня когда-то первым в моей жизни словам, моя послушная ученица.

Много лет назад, когда я только поступила в школу, мама занималась с отцом. «Ты у меня выучишь английский лучше, чем птенчик в своей школе»,— говорил он. Отец хотел, чтобы она могла поддерживать разговор с его коллегами-англичанами и их женами, приходившими к нам в гости. Но вскоре, потому ли, что англичане уехали из Индии, или папино рвение поубавилось, занятия эти прекратились. А я все-таки прилично изучила английский.

Сейчас в газетах то и дело твердят, что нам пора окончательно упразднить в стране английский язык, но пишут об этом по-английски, и маме этого ни прочесть, ни понять.

Каждый день, едва отец уходил на службу, мы приступали к занятиям. Я выбрала для начала пару тоненьких книжечек, но мама воспротивилась: ей хотелось сразу взяться за какой-нибудь увесистый том. Она жаждала понять, что же такого особенного есть в английских романах, которые я поглощаю с таким упоением?

Начали мы с диккенсовского «Дэвида Копперфилда». Остановила я свой выбор на нем, потому что в этой книге нет сомнительных

любовных сцен. Не могла же я читать с мамой Лоуренса или Мопассана!

Мама терпеливо разбирала фразу за фразой. Я давала ей минуту времени на перевод, а потом сама переводила правильно. Если я опережала ее, мама сердилась: «Постой, постой, я сама!» Но стоило мне помолчать, ожидая, пока мама управится сама, она хмурилась: «Ну что ж ты молчишь? Помоги мне, видишь ведь — я не понимаю».

Мама требовала, чтобы я объясняла ей значение каждого слова. Если я переводила английскую фразу из десяти слов пятью-шестью словами, она, недоверчиво косясь на меня, спрашивала: «И это все?»

Сказать по правде, читаю я не слишком въедливо: пощиплю верхушки травы и скачу дальше. Длинные и скучные описания я всегда проглядываю мельком, слежу только за развитием сюжета. А мама не пропускала ни слова и требовала от меня самого буквального перевода. И это у такого многословного писателя, как Диккенс!

Только в любовных сценах мама не просила меня соблюдать точность, а, наоборот, торопила: «Да, да, понятно!» Мама считает, что о любви, как и о всем прочем, она знает куда больше моего и мне еще рано об этом думать. Но я-то училась в колледже и убеждена: о взаимоотношении полов знаю гораздо больше мамы.

Прежде, занимаясь английским с папой, она, дойдя до любовных сцен, делала вид, будто ничего не понимает, и он обстоятельно ей все растолковывал. Папа тоже прикидывался, будто верит маминой неосведомленности, подолгу задерживаясь с ней на этих сценах. Но нельзя же обсуждать с дочерью то же самое, что с мужем! Да и я не могла говорить с мамой столь же свободно, как с подругами.

Вечером, вернувшись со службы, отец расспрашивал меня о маминых успехах: «Ну как, профессор, ваша ученица?» А маму спрашивал: «Что новенького говорит Дэвид Копперфилд?»

Прежде, когда к нам приходили в гости мои подруги или друзья отца — не тамилы, мама говорила с ними на хинди. Теперь же она стала пересыпать свою речь английскими словечками, а потом и вовсе перешла на английский и лишь изредка вставляла одно-два слова на хинди. Правда, произношение у нее было своеобразное, и мне приходилось заранее просить подруг не смеяться над маминым английским.

Как-то моя подруга Камала сказала, что устроилась в одну фирму стенографисткой.

— Найди и нашему птенчику хорошую джобу [1],— ввернула мама английское словцо.

Камала не поняла и лишь неуверенно улыбнулась в ответ. Потом, когда я объяснила ей, что мама так произносит слово «работа», Камала расхохоталась:

— Господи! А я-то подумала совсем другое и даже растерялась.

Для того чтобы помочь маме с произношением, я стала водить ее на английские и американские фильмы. Но между английской дикцией Алека Кайнса и американской скороговоркой Марлона Брандо — целая пропасть. И между произношением Софи Лорен и Элизабет Тейлор — тоже пропасть. К тому же в зависимости от времени и места действия меняется язык диалогов — то он изысканно литературен, то сплошь жаргон. Актеры то глотают слова, то растягивают их или пришепетывают. От этого путаница в маминой голове не только не уменьшилась, а скорее усугубилась. Даже папа не всегда понимал диалоги в современных фильмах и спрашивал меня, о чем идет речь.

[1] От английского job (работа).

Впрочем, он вообще терпеть не может современный кинематограф.

— Посмотрела бы ты, как играли Поль Муни, Роналд Колмен, Грета Гарбо, Бэт Дэвис. Вот это была игра! — любит повторять он.

Современная литература и политика тоже ему не нравятся. То, что делали Ганди, Тилак, теперь никому не по силам, считает папа. Ну, а литература, по его мнению, и вовсе остановилась в своем развитии на Диккенсе, Гарди, Скотте и Шоу. Если я при папе слушаю по радио современную музыку, он непременно начинает подтрунивать надо мной, с комичными гримасами и преувеличенной жестикуляцией пародировать синкопированные ритмы. Знает и любит он лишь несколько песен из старых фильмов и всякий раз, услыхав их, говорит:

— Это любимые песни нашей молодости!

Я пытаюсь представить себе родителей молодыми. Вот они сидят рядом в полутемном зале, отец шепотом растолковывает маме, что происходит на экране, а во время любовных объяснений, наверно, говорит нечто такое, от чего мама краснеет и смущается. В перерыве оба пьют прохладительные напитки, а после окончания сеанса возвращаются домой на тонге[1] — такси в такое время не поймать. Усаживаясь, отец берет маму под руку и сходя — тоже. Ужинают они тем, что мама приготовила днем. «Хочешь, я сварю тебе расам?[2]» — спрашивает мама. «Нет, нет, не надо»,— неизменно отвечает он, не желая ее утруждать.

Мама увидела свой первый фильм, только приехав в Дели. Дед сам не ходил в кино и не пускал ни детей, ни жену. А бабушка моя по отцу и вовсе не знала, что такое кино. Обе мои бабки не видели ни одного фильма, даже на родном языке. А сейчас мама вместе со мной смотрит английские фильмы! Как тут не возгордиться?!

Я, птенчик, обучаю маму английскому языку! Порою мне кажется, будто я даю уроки не ей одной, а всем женщинам былых поколений нашей семьи — бабушкам, прабабушкам, их бабушкам. И душа моя наполняется гордостью и удовлетворением при мысли: вот, мол, таким образом я воздаю им должное. Какие странные фантазии приходят иногда в голову! Мне чудится: вон они, все женщины нашего рода, тесно сплетя руки, радостные и счастливые, вступают в прекрасный мир человеческих знаний. И это я — я! — распахиваю перед ними дверь в заветный мир волнующих открытий. Потому-то занятия с мамой дарят мне столько радости.

Но помочь маме расширить ее кругозор — это еще не все. И я всерьез взялась за ее внешность. Уговорила сменить широкие, бесформенные блузки на изящные, туго обтягивающие грудь. Научила вместо старомодного узла укладывать волосы в современную прическу, показала, как сейчас принято повязывать сари.

Однажды мы с мамой, в ее новой ипостаси, пошли посмотреть английский фильм. Едва мы вошли в зал, она вдруг воскликнула:

— Посмотри-ка! — и указала на соседний ряд.

Я обмерла. Там чинно сидела Камала, а рядом с ней — молодой человек. И кто бы вы думали? Тот самый, из дома напротив, что глазеет на меня по утрам.

«Ну и слава богу,— подумала я.— По крайней мере больше не надо ломать голову: нравится он мне или нет». Но, по правде говоря, мне стало досадно.

Бывает, приглянется безделушка в витрине магазина, но ты не торопишься с покупкой, уверенная, мол, всегда успеешь ее приобре-

[1] Двухколесная коляска.

[2] Похлебка.

сти. И вдруг в один прекрасный день она исчезает с витрины, кто-то перехватил ее. Ну как тут не огорчиться?

Дня через три забежали ко мне Рукку и Хема. Разговор сам собою зашел на волнующую всех нас тему — о браке по любви. Вот тут-то Рукку и выложила свою новость:

— Слышали, девочки? У нашей Камалы роман с молодым бенгальцем. Они вместе работают, и Камала втрескалась в него по уши. Он вроде живет где-то неподалеку.

— Неужели? Представления не имею,— ответила я.

— Нашла с кем разговаривать про любовь! Она же совсем еще зеленая, ничего в этом не смыслит,— засмеялась Хема.

— Ну, ты тоже скажешь! — я шутливо ткнула подругу в бок.

И мы принялись перемывать косточки Камале. Я старалась казаться спокойной и веселой, скрыть разочарование и ревность, закравшиеся в душу.

— Ты-то, детка, еще ни в кого не влюбилась? — спросила Рукку.

— Да что ты!

— А ты, Хема?

— Увы!

— Ну и тоска! — вздохнули мы обе.

Ах, как нам нравилась вольготная жизнь героинь современных английских романов! Как непринужденно держат они себя с мужчинами, как запросто с ними болтают, танцуют. Разве подобное возможно при наших допотопных нравах? Да у наших мужчин нет ни такта, ни уважения к женщине. Перекинешься с кем-то из них словечком, и он уже возомнил невесть что. Загадочные существа, эти мужчины! Любопытно, что они думают о нас и каковы на самом деле.

С веранды нашего дома хорошо видна улица и толпы прохожих — мужчины, женщины, дети. Всякий раз, когда ко мне заходят подруги, мы подолгу стоим на веранде и разглядываем их. На женщин мы смотрим с пренебрежением или с завистью. Мужчины становятся мишенью для колкостей и насмешек. Мы стараемся выказывать полное безразличие, скрывая друг от друга свой интерес. Но в глубине души нас грызет какое-то неприятное чувство.

Мы много рассуждаем о браке: как трудно решиться соединить свою жизнь с совершенно незнакомым человеком. А вдруг он не понимает красоты? Или у него нет чувства юмора? Что, если он вспыльчив, недалек, а то и вовсе болван? А ну как брак окажется неудачным, не исправишь ошибку и изволь всю жизнь влачить тяжкое бремя. Какой ужас!

Да, Камала права: самое правильное в нашем положении — выйти замуж по любви. Нельзя слепо полагаться на удачу, как это делали наши мамы и бабушки, надевая свадебную гирлянду на шею неизвестного мужчины. По-моему, это не только опрометчиво, но и непристойно. Благо еще, моей маме повезло — судьба свела ее с таким превосходным человеком, как отец. А что ожидает меня? Раз уж я превзошла своих бабушек и маму в образованности, то и во всем, что касается брака, мне надлежит сказать новое слово.

Да, легко говорить! Где и когда я, наконец, встречу своего суженого? Хоть бы влюбился в меня кто-нибудь! Так нет, не влюбляется никто — как назло.

Нет, я не признаю любви с первого взгляда, способной якобы вспыхнуть на автобусной остановке, в кино, на веранде колледжа. И не для меня любовь, порождаемая кокетством, легкомыслием и флиртом. Не очень-то привлекает меня и любовь, начинающаяся с томных вздохов, душещипательных песен, бессвязного лепета.

Мой идеал — чувство горделивое, спокойное, исполненное достоинства. Именно такая любовь описана Генри Джеймсом — нежная, взаимная, всепокоряющая.

Но все-таки где повстречается мне идеальный возлюбленный? Ясное дело, не на автобусной станции, не в кино и не на торговой улице. И если даже случай и столкнет нас там, я его ни за что не узнаю.

В конце концов я пришла к выводу, что у меня есть одна-единственная возможность встретить своего суженого — последовать примеру Камалы и поступить на службу. Работая рядом с мужчиной, можно исподволь присмотреться к нему, разобраться в нем, оценить его достоинства и недостатки. Тут уж тебе не грозит опасность ни с того ни с сего влюбиться до потери рассудка, вспыхнуть и тотчас охладеть.

Но прежде чем самой устраиваться на службу, надо бы поглядеть, как работают другие. И вот в одно прекрасное утро, когда отец собирался на работу, я ошеломила его неожиданной просьбой:

— Папа, возьми меня с собой.

— Куда? В контору?

— Да.

— И что ты будешь там делать?

— Ничего. Просто погляжу.

— А что тебя интересует?

— Как я могу ответить заранее?

Он рассмеялся:

— Поверь, ничего интересного ты не увидишь. Я вот иду туда без всякого удовольствия. Но такова уж моя судьба — сидеть там с утра до вечера. А ты, зачем тебе это понадобилось?

Папа не хотел обидеть меня резким отказом, но исполнять мой каприз явно не собирался. Вдруг мне на выручку пришла мама:

— Взяли бы девочку с собой, раз ей так хочется.

Помню, в детстве я чуть не каждый день устраивала родителям концерты: хочу к папе на службу, и все тут. Мама пыталась отвлечь меня чем-нибудь, уговорить, потом теряла терпение, и все кончалось шлепками. И вот — извольте! — она перешла на мою сторону. Быть может, потому, что я обучала ее английскому, и она ко мне подольщалась. Возможно, мама смягчилась в предчувствии разлуки с дочерью. Но скорее всего в ней просто заговорила женская солидарность. Как бы то ни было, вдвоем мы уломали отца.

— Ну, хорошо, едем. Даю тебе пять минут на сборы, я и так уже опаздываю.— И папа напустил на себя безразличный вид. Но я-то знала, что за равнодушием он прячет безмерную нежность ко мне.

Мы вместе пошли к автобусной остановке. Обычно, когда отец гуляет со мной и с мамой по городу, он нетерпеливо уходит вперед, и мы еле за ним поспеваем. Но сегодня он старался приноровить свой шаг к моему. Меня захлестнуло чувство изумления и радостной благодарности.

С тех пор как я выросла, мы не так уж и часто ходили куда-нибудь вдвоем с папой, и эта поездка осталась навсегда одним из самых приятных моих воспоминаний. Я поняла отца лучше, чем за все предыдущие годы. Сознавая, что между нами крепнет дружеская близость, я впервые ощутила всю меру, точнее сказать, всю безмерность его любви ко мне.

Он почти все время молчал, но мне казалось, будто он делится со мною своими мыслями и чувствами. Я видела: ему хочется взять меня, как в детстве, за руку. Но он избегал излишней чувствительности, и я понимала, как трудно ему смириться с тем, что я совсем уже взрослая и самостоятельная.

Пока мы шли к автобусной остановке, папа то и дело нетерпеливо поглядывал на часы, и мне стало совестно — ведь он опаздывал из-за меня.

— Когда ты должен быть в конторе?

— В четверть десятого.

Осталось всего десять минут! Кроме нас автобуса ждали какие-то молодые люди, и я нет-нет да ловила на себе любопытные взгляды, но, конечно, и виду не подавала, что замечаю их. Ведь я была с отцом и старалась держаться скромно и застенчиво, точно затворница.

Мама легко и естественно примирилась с тем, что я уже взрослая девушка, но папа боялся отчужденности между нами, ему казалось, будто я стараюсь закрыть ему доступ в свой мир. А мне так не хотелось лишаться его нежности, и чтобы не огорчать его, я старалась рядиться в милые его сердцу детские одежки.

— И что тебе дома не сидится? — спросил он немного погодя.

Я пожала плечом и промолчала.

— Там столько книг! Сидела бы да читала.

— Я уже все прочла.

— Ну так займись домашними делами, помоги маме. Я вовсе не хочу, чтобы ты надрывалась! Просто быстрее время пройдет.

— Я делаю все, что могу. А мне все равно скучно!

— Вот как! — усмехнулся отец.

Мы снова умолкли. Автобуса все не было. Окинув меня критическим взглядом, отец вдруг сказал:

— Почему у тебя лицо в прыщиках? Ты разве не пользуешься косметикой?

— Пользуюсь. Мажусь каждый день.

— И глаза вроде припухли.

— Да нет, все в порядке.

— Вон и руки в золе. Ты что, не умывалась?

— Умывалась.

— А почему ты не переоделась? У этого сари несвежий вид.

— Сам меня торопил.

— Зачем надела старые туфли? А где новые?

— Они натирают ноги.

Вот так он со мной разговаривал. Чужому человеку показалось бы, будто он придирается, недоволен мною. Но я-то знала: его ворчливость скрывает заботливость и нежность — просто не умеет иначе. Я готова была отвечать на его вопросы хоть до вечера, но подошел автобус.

Когда мы садились в него, рука отца чуть-чуть коснулась моей спины. И от этого легкого прикосновения у меня стало тепло на душе.

Автобус был переполнен, и нам пришлось стоять в проходе. Какой-то юноша уступил мне место. Ах, напрасно он сделал это, когда рядом со мной отец!

— Садись ты, папа.

— Нет, нет, садись сама.

Конечно, он не хотел показаться этому юноше стариком, готовым усесться на место, предложенное молодой девушке, и он решительно отказался. Я перестала настаивать, села и взяла у отца его большой кожаный портфель. Ах, как мне хотелось взглянуть на благовоспитанного юношу, но в присутствии отца я не смела поднять глаза. Так мы и ехали — я молча глядела в окно, даже не поблагодарила молодого человека. Представляю, что он подумал о моих манерах!

Когда мы сошли с автобуса, отец попытался взять у меня портфель, но я отвела руку.

— Позволь, я понесу сама.

Так мы и вошли втроем в контору — отец, я и портфель. Я с гордостью заметила, как почтительно поздоровался с отцом привратник. Пока мы поднимались в лифте, несколько человек вежливо ему поклонились. И в коридоре на пути к отцовскому кабинету все здоровались с ним первыми. Я окончательно уверовала бы в высокое положение отца, если б нам не повстречался толстый господин с сигарой, небрежно зажатой в углу рта. Отец почтительно склонил голову и столь же почтительно произнес:

— Доброе утро, сар [1].

Тот едва кивнул в ответ и с каменным лицом прошествовал дальше.

— Это мой шеф,— шепнул папа.

Мой отец, которого я привыкла считать самым важным человеком на свете, подчиняется какому-то толстяку!

Мы вошли в кабинет, и папа сразу сел в свое кресло, а мне указал на один из стульев. Я подумала, что отцу очень идет его служебное кресло — прекрасная отделка, блестящая сталь, мягкие подлокотники. Отец в нем казался величественным и даже неприступным. Оказывается, я знала своего отца только на три четверти, а в полной мере оценить его можно было, лишь увидев в служебной обстановке, восседающим за письменным столом в этом великолепном кресле. Папа в кругу семьи — все равно что Кришна без метательного диска или Ганеша без хобота [2].

— Ну, как, нравится тебе мой кабинет? — спросил он минут через пять.

Что я могла ответить? Тут на глаза мне попалась груда пухлых канцелярских папок, и к моему восторгу примешалась безотчетная растерянность. Перехватив мой взгляд, отец с легкой гримасой бросил:

— Это и есть моя работа. Как видишь, интересного мало.

— Какие огромные папки!

— Да, вид у них внушительный; но, разобравшись в этой писанине, убеждаешься: дельного в ней очень мало.

С этими словами отец взял одну из папок и углубился в бумаги.

От нечего делать я принялась изучать обстановку кабинета. Пощелкала пальцами, взяла карандаш со стола и стала выводить узоры на ладони, потом поиграла с пресс-папье, но оно, вдруг выскользнув у меня из рук, со стуком упало на пол. Отец поднял голову.

— Тебе скучно?

— Нет, что ты! — прощебетала я.

Затрещал телефон.

— Ну вот, ни минуты покоя! — буркнул папа и потянулся за телефонной трубкой.— Алло,— сказал он с некоторым раздражением, но тотчас выражение его лица изменилось.— Да, сар,— проговорил он почтительно и смиренно.— Слушаюсь, сар.

— Меня вызывает начальник. Ты посиди здесь, я скоро вернусь.

Я осталась одна. Снова обвела взглядом кабинет, вентилятор, жужжавший под потолком, фотографии и календарь на стенах, груду папок на столе, вращающееся кресло отца. Ветер от вентилятора перебирал бумаги в раскрытых папках, и они шуршали, словно заговаривая со мной. Я раскрыла одну из папок и попыталась вникнуть в суть дела. Кто только не приложил руку к ее содержимому! И последний письмовед, и самый главный начальник. Ничего не поняв, я положила папку на место. Пустое отцовское кресло буквально гип-

---

[1] Господин *(искаж. англ.)*.

[2] Бог мудрости, покровитель благих начинаний, изображается с головой слона.

нотизировало меня. Оказывается, пока мы с мамой томимся дома от безделья, отец в своем кресле вершит важные дела. И мне стало завидно. Такой красивый кабинет! И потрясающий стол!

Меня вдруг обуяло необоримое желание посидеть в отцовском кресле, и как я ни противилась, это желание одержало верх над моим благоразумием. Я привстала со стула, оглянулась на дверь, плотно ли она закрыта, подкралась на цыпочках к креслу и присела на краешек.

Хорошо мне сейчас вспоминать об этом! Гордость так и распирает меня. Но тогда-то, тогда я больше всего боялась, как бы кто не вошел. Отгоняя страх, я сделала попеременно несколько глубоких вдохов и выдохов, потом устроилась поудобней, откинулась на спинку, заложила ногу за ногу и погрузилась в размышления. О чем? Конечно же о своих бабушках и маме: ведь никому из них не доводилось даже глянуть на место работы их мужей и отцов. Это я — первая из всех женщин нашего рода — переступила заповедную черту.

Вот таким приятным размышлениям предавалась я, сидя в отцовском кресле. Вдруг... дверь распахнулась. Я подскочила как ужаленная и, оторопев, увидела на пороге молодого человека с огромной папкой в руках. По-видимому, он пришел к отцу по делу и, никак не ожидая встретить здесь незнакомую девицу, оторопел не меньше моего. Не знаю, как долго мы простояли, пялясь друг на друга.

Он первым пришел в себя. Положил папку на стол и, окинув меня растерянным взглядом, произнес:

— Мистера Мурти еще нет?

Сердце мое отчаянно забилось. Ужас как захотелось поговорить с этим парнем.

— Он куда-то вышел. Сейчас вернется,— ответила я, стараясь подавить волнение.

Наступила пауза. Не мне же первой начинать разговор! Неужели мы так и будем молча стоять до скончания времен? Наконец он решился:

— Извините... это не вы будете работать у нас библиотекарем?

Я задумалась. Если я скажу «нет», он, естественно, спросит, кто же я такая, как попала сюда и что здесь делаю. Придется сознаться, что я дочь мистера Мурти, а это не прибавит ему смелости. Поэтому я промычала нечто нечленораздельное, при желании это можно было принять за положительный ответ, и неопределенно покачала головой.

— О! Так чего же мы стоим? Давайте присядем!

Я заметила, что сам он опустился на стул лишь после того, как уселась я.

— Меня зовут Сангаран. А вы мисс Гирджа?

— Да,— подтвердила я, а сама подумала: «Ничего страшного, если я стану на часок мисс Гирджей».

— Я работаю здесь в одном из отделов. Это я печатал приказ о вашем назначении.

— Очень приятно.

— Вам сказали в приемной, чтобы вы зашли к мистеру Мурти?

— Да-да.

— Он и будет вашим шефом, библиотека в его ведении.

— Ах, так! А что он за человек, мистер Мурти?

— Да ничего, работать с ним можно. Только иной раз найдет на него и уж тогда за любой пустяк так взгреет, что не поздоровится! Но в общем, как я сказал, человек он неплохой.

По правде говоря, такая характеристика выглядела достаточно убедительной.

— Я слышала, будто он ужасно высокомерен.

— Да нет же, это не высокомерие. Просто он очень самолюбив. Любит похвастать своими заслугами: «Я сделал то да это... Кабы не я...» Ну порой и хватит через край.

Мне стало смешно: портрет действительно напоминал папу.

Но тут дверь отворилась и вошел отец. Мой собеседник тотчас вскочил со стула, я тоже встала.

От утреннего спокойствия и удовлетворения на лице у папы не осталось и следа, оно выражало лишь раздражение и досаду. Он уселся в кресло и сказал молодому человеку:

— Что, Сангаран? Плохи наши дела. Отборочная комиссия утвердила на должность библиотекаря одну кандидатуру, а мы провели приказом другую. Как это могло произойти?

— Нет, сар, они рекомендовали именно мисс Гирджу.

— Но в списке было две девушки с этой фамилией. Взяли мисс О. Гирджу, а в приказе ты поставил «Д. Гирджа»,— и отец раздраженно ткнул пальцем в какой-то листок.

— Написано было неразборчиво — не то Д, не то О. А поскольку за письменный экзамен Д. Гирджа получила более высокий балл, я и решил, что именно она...

— Тебе платят жалованье не за то, чтобы ты решал или угадывал. Твоя обязанность неукоснительно выполнять все указания.

Молодой человек был совершенно уничтожен, на него стало жалко смотреть, но отец продолжал прежним тоном:

— У второй Гирджи влиятельный покровитель. И помощник секретаря сделал мне из-за нее выговор. Ладно, можешь идти, Сангаран. Я сам продиктую письма им обеим. Если поручить это тебе, снова напутаешь.

Бедняга вышел, понурив голову. Едва за ним затворилась дверь, отец тяжело вздохнул и, печально глядя на меня, признался:

— Виноват я сам, подписал не глядя. У Д. Гирджи, безусловно, больше достоинств. Зато у О. Гирджи — протекция! Какая вопиющая несправедливость! И кто это выдумал — брать женщин на работу?! Сидели бы дома! Всем бы было спокойней.

— Значит, ты принципиально против того, чтобы женщины работали? — Я решилась задать этот важный для себя вопрос, чтобы выяснить позицию отца. Вот уж не ожидала, что он в ответ разразится целой тирадой:

— Ведь что говорят эти современные девицы? Не желаем, мол, быть рабынями в семье, не хотим зависеть от мужчин, жаждем свободы и самостоятельности. И не понимают, дурехи, что необходимость ежедневно таскаться на службу — это и есть истинное рабство. Такова уж наша мужская участь — обеспечивать существование самим себе и своей семье. Мы, как говорится, кормильцы. Вот и приходится служить, подчиняться, приспосабливаться, изворачиваться, лгать, терпеть попреки и дурное настроение начальства. Но женщинам-то это зачем? Сидели бы себе дома, не ведая никаких забот. Стоит ли покидать чистый и светлый домашний мир ради сомнительных соблазнов мира внешнего, где с первых же минут человек унижается до лести и лжи.

— Это твое твердое убеждение?

— Хочешь кофе? — спросил вдруг отец и потянулся к телефону.

— Здесь не хочу. Можно я посмотрю вашу столовую?

— Мне сейчас некогда водить тебя в столовую. Ладно, попрошу стенографистку.— И сказал в трубку: — Миссис Комалям, пожалуйста, зайдите ко мне.

При слове «стенографистка» я представила себе современную разбитную девицу и готова была ей позавидовать. Каково же было

мое изумление, когда минуты через две в кабинет вплыла упитанная матрона лет тридцати пяти!

— Это моя дочь,— представил меня ей отец. Миссис Комалям любезно улыбнулась и сложила ладони в знак приветствия.— Ей хочется посмотреть нашу столовую. Не проводите ли ее? Вы, кажется, в это время пьете кофе?

— Да, да,— пробормотала миссис Комалям, и по ее растерянной улыбке видно было: такого распоряжения она никак не ожидала.

Впрочем, она скоро оправилась от смущения и по пути в столовую засыпала меня вопросами. Ее интересовало буквально все. Я даже опешила под ее натиском. К счастью, она тотчас с такой же энергией принялась подробнейшим образом излагать историю собственной жизни. Пока мы дошли до столовой и выбрали свободный столик, она успела поведать мне по меньшей мере две главы своей биографии.

Родилась она в бедной семье. Жила плохо. Семнадцати лет ее выдали замуж за человека довольно обеспеченного и с хорошим положением. Казалось, всем ее бедам пришел конец. Но не тут-то было. Негодяй в один прекрасный день просто выгнал ее из дому, а сам женился на другой. Что ей оставалось делать? Пришлось снова пойти учиться. Она стала стенографисткой. Но хорошее место не так-то легко найти. Каких только мытарств она не натерпелась, пока наконец не устроилась в эту контору!

— Ах, милочка, все наши несчастья из-за этих проклятых мужчин! — воскликнула она, шумно прихлебывая из чашки.

Я промолчала.

— Наверно, тебе надоели мои россказни?

— Нет, нет, что вы!

Допив кофе, миссис Комалям вытерла губы салфеткой и спросила:

— А когда ты собираешься замуж?

— Не скоро.

— Будешь еще учиться?

— Нет, хочу поступить на работу.

— Вот это правильно! — одобрительно заметила она и сразу же стала рассуждать о том, какая работа мне больше подойдет. Поток ее речей прервался только после того, как в столовую вошли еще две женщины и направились к нашему столику.

— Что ж вы так поздно? — ласково упрекнула их миссис Комалям и представила мне обеих: — Это Лада, а это Васундара.

Они тут же присоединились к нашему разговору. Я отвечала им полуправдой-полуложью, а они в ответ на мои расспросы начали подробно рассказывать о себе.

Выяснилось, что у Лады нет отца и на свое жалованье она содержит мать, братишек и сестер. А у Васундары и отец есть, и семья довольно зажиточная, но в детстве ее лицо обезобразила оспа, и никто не берет ее в жены. Вот она и решила пойти на работу — не сидеть же дома горемычной вековухой.

Вот какие невеселые истории пришлось мне услышать. И, честное слово, нелегко дался мне ответ на вопрос моих новых приятельниц, что́ вынуждает меня идти на службу.

— Просто хочу работать,— пробормотала я.

Мне стало стыдно за свою беззаботную юность и легкую жизнь. Окончила колледж, и теперь у меня только и забот что помогать маме по хозяйству. А потом выйду замуж, перееду в дом мужа.

Тем временем тысячи женщин, к которым судьба не столь благосклонна, вынуждены трудиться с утра до вечера. И это не каприз или прихоть — просто у них нет иного выхода. Все мои представления о

работающих женщинах вдруг переменились. Я впервые взглянула на них другими глазами и под заманчивой оболочкой свободы и самостоятельности увидела горести и нужду. Меня охватила жалость.

Но я уже ничего не могла с собой поделать. Желание уподобиться им в их независимой жизни стало еще более властным. Мне захотелось хоть ненадолго стать такой, как они. Кто знает, как сложится моя жизнь? А вдруг замужество окажется неудачным? Вот тогда-то уверенность в том, что в любую минуту я смогу присоединиться к сонму работающих, придаст мне силы и явится лучшим утешением.

С этого дня я начала внимательно читать все газетные объявления о найме на работу. Отец делал вид, будто ничего не замечает, хотя, наверное, обо всем догадывался. А вот мама не удержалась и как-то перед очередным уроком английского спросила:

— Раньше ты газеты и в руки не брала. Почему ты теперь читаешь их чуть ли не час подряд?

— Просматриваю объявления о найме на работу.

— На работу? Для кого же это?

— Для себя.

— Что ты болтаешь, глупышка?

— Это правда, мама.

— Зачем тебе это понадобилось, интересно узнать?

— Да просто так.

— Ты только что кончила колледж, надо отдохнуть, окрепнуть немного. А ты собралась на работу! И тебе не жаль своего здоровья? Лучше бы о замужестве подумала.

— А я решила работать, пока не выйду замуж.

Мама взглянула на меня, еле скрывая раздражение, и сердито сказала:

— Что ж, дело твое. Вам с отцом решать. Поступайте как знаете! — И замолчала, боясь не совладать с собой и наговорить лишнего. Все-таки я ее учительница, и ей не хотелось ссориться со мной.

В конце концов я отобрала несколько объявлений, решив, что эти должности как раз соответствуют моему образованию и способностям, и написала по указанным в них адресам с просьбой прислать мне необходимые бланки.

— Мне надо снять копию с моего аттестата,— сказала я как-то отцу за завтраком.

— Зачем? Решила подарить кому-нибудь оригинал? — с простодушным видом спросил отец.

Я едва не заплакала.

— Мне нужна копия, чтобы подать заявление о приеме на работу.

— Вот это новость! Ты не шутишь?

— Нет.

— Да кому ж ты нужна такая?

В его голосе было столько иронии, что я сразу не смогла и возразить. А он продолжал:

— Прежде чем подавать заявление, надо хорошенько обдумать, подходит ли тебе эта работа, справишься ль ты с нею. Есть ли смысл рассылать заявления пачками? — Отец взял со стола один из бланков.— Ты просишь место секретаря? А разве эта работа по тебе? Тут в первую очередь нужны выдержка и спокойствие. А ведь тебе слова поперек не скажи — сразу в рев.— И он резко швырнул бланк обратно на стол.

Это был конец. Слезы брызнули у меня из глаз и потекли по щекам.

— Вот видишь!

Потоки слез стали еще обильнее. Отец подошел ко мне и, легонько похлопав по спине, произнес миролюбивым тоном:

— Глупышка, я просто пошутил, а ты своими слезами доказала мою правоту.

Утирая глаза концом сари, я выскочила из комнаты.

Вечером, когда я, как обычно, сидела на веранде с книгой в руках, ко мне подошел вернувшийся из конторы отец и молча положил мне на колени несколько копий аттестата. Вздрогнув от неожиданности, я подняла на него растерянный взгляд.

— Нужны еще какие-нибудь копии? — спросил он.

Я только улыбнулась в ответ.

— Значит, не нужны? — повторил он.

— Нет.

— И тебе ничего больше не надо? Подумай хорошенько.

— Нет.

— А про оригинал ты забыла! — сказал он укоризненно.— И еще тебе нужны фотографии.

Мы решили не откладывая отправиться в фотоателье. Тут в комнату ворвались Бабу и Сусила. Узнав, куда мы собрались, они заявили, что тоже желают пойти к фотографу.

— Мы идем по делу — фотографировать птенчика для документов. А вам-то что там понадобилось? — тщетно уговаривал их папа.

— Ну и что, мы тоже хотим сфотографироваться,— упрямился Бабу, а Суси ему вторила.

— Да поймите, птенчик поступает на службу. Вы что, надумали бросить школу и тоже начать работать?

— Нет, но к фотографу мы все равно хотим.

Папа сдался:

— Ну, хорошо, что с вами поделаешь! Идемте.

Малыши помчались переодеваться, а в комнату вошла мама.

— Может, и ты пойдешь с нами? — спросил ее отец.

— Куда?

— Фотографироваться.

— Вот еще! И не подумаю.

— Ну и напрасно. Разве дома одной веселее? Идти — так уж всем вместе.

Мама недоверчиво глянула на отца — не разыгрывает ли он ее.

— Нет-нет, я не шучу. Ну, так как же?

И мама дала себя уговорить.

Вот и стал тот день памятен не только моими фотокарточками, приклеенными к анкетам. Мы снялись всей семьей, и когда через несколько дней из ателье прислали большое фото в массивной рамке, мы повесили его на видном месте в гостиной между групповым снимком моего выпуска и фотографией, запечатлевшей прощание с шефом-англичанином.

Началось нетерпеливое ожидание почтальона. На каждый стук я первой бросалась к дверям, думая, что принесли свежую почту. Эти паршивцы, Бабу и Суси, вконец извели меня. «Вон почтальон с целой кучей писем!» — вопили они. Я едва их не отшлепала.

Но дни бежали, а ответа ни на одно мое заявление не было.

— Вот видишь, все твои старанья впустую, никто и не думает тебе отвечать,— заметила как-то мама.

— А ты и рада! — вспыхнула я.

Во мне росла досада на всех и вся, я стала еще вспыльчивей и раздражительней. О, как меня бесило то, что я по-прежнему влачу свои дни в жалком безделье. Хотелось бежать куда глаза глядят от этой постылой жизни.

«Боже милостивый, сделай же, чтоб поскорее нашлась для меня хоть какая-нибудь работа!» — так начиналась и кончалась каждая моя молитва. Теперь я много времени проводила в молельной перед изображением свами. Мама только дивилась моей набожности.

Однажды я решилась испытать судьбу и потянуть жребий в молельной. Но, прочитав на бумажке, которую вытащила: «Работу ты не найдешь», обиделась и на свами.

Родителей беспокоило мое состояние, они подолгу тревожно шептались обо мне. Через неделю они приняли решение, и отец разослал всей нашей многочисленной родне мой гороскоп, прося их принять участие в устройстве моей судьбы. В эти планы он посвятил и своих друзей. Я ужасно злилась на родителей и думала: «С чего они взяли, будто я мучаюсь из-за того, что у меня нет жениха?»

Но, между нами, они не так уж и ошибались. Чем хуже становилось мое настроение, тем ласковей и терпеливее держались со мной родители. Чем только они не пытались рассеять мою меланхолию! Однажды папа вдруг предложил:

— Почему бы тебе не поучиться пению?

— У меня нет слуха,— отрезала я.

— Откуда ты знаешь? Начнешь учиться — и все само собою образуется.

— Меня это не интересует.

Он больше не настаивал. Но дня через два мама тоже заговорила об уроках пения.

— Это пошло бы тебе на пользу, доченька,— сказала она.

— Но что я могу поделать, если мне вовсе не хочется петь?

Мама вздохнула.

— А я вот жалею, что меня в свое время не учили пению. У тебя есть для этого все возможности. Может, попробуешь?

Я промолчала.

— Оба твои деда обожали музыку. Чтобы послушать знаменитого певца, они, позабыв про сон и еду, готовы были мчаться в поезде хоть на край света. Даже странно, что у таких музыкальных дедов — этакая внучка! — Мама опять вздохнула и продолжила с грустью: — Пока был жив мой отец, он учил меня пению. Как знать, проживи он подольше, я, может быть, стала бы известной певицей.

— Но ведь твой дядя тоже знаток музыки, почему бы тебе не поучиться у него сейчас? — спросила я, радуясь в душе возможности направить разговор в другое русло.

— Оно бы неплохо... Если уж дедушка твой мечтал развить мои способности. Но отец, уж очень ревнует он меня к моей родне. И потом... Начни я сейчас брать уроки пения у дяди, все поднимут меня на смех. Стара я для этого...

— Вот потому-то и я не хочу учиться. Предположим, я вскоре выйду замуж, перееду в дом мужа. Где, спрашивается, я буду распевать? И кто станет меня слушать? Стоит ли тратить деньги попусту...

— Почему ты так думаешь? Разве умение петь не приятно само по себе? Вовсе не обязательно устраивать сольные концерты для мужниной родни или посторонних! Песня по-настоящему хороша, лишь когда поют для собственного удовольствия.

— Но ведь вы решили учить меня пению не ради этого. Просто вы опасаетесь, что для меня будет труднее найти приличного жениха, если окажется, что я не умею петь. Разве не так?

— Ну, милая, если ты собираешься говорить со мной в подобном тоне, лучше не продолжай,— оборвала мама.

Как-то незаметно подошел навараттири[1]. В праздничной суете разговоры об уроках пения сами собою прекратились. Десять дней подряд нас осаждали полчища любимых тетушек. Тетушки, которые умели или воображали, будто умеют петь, рьяно выводили рулады. Те же из них, кто не решились усладить наш слух своим пением, дискутировали о моем замужестве. Можно было подумать, будто на свете не осталось других тем для разговоров.

— Интересно, где через год-другой будет отмечать навараттири наша невеста? — с глупейшим хихиканьем вопрошали тетушки.

Бедную маму они просто заклевали:

— Ну как, милочка, еще не подыскали жениха своей красавице?

Все наперебой лезли с непрошеными советами и предложениями. Иные вздыхали и сокрушались: как, мол, стало трудно выдать дочь замуж и сколько прекрасных, достойнейших девушек осталось одинокими. У каждой была припасена история о том, как — даже после помолвки — свадьбы неизбежно расстраивались. Мне под конец уже казалось, что я вот-вот сойду с ума от этих пересудов. Да и маме было несладко выслушивать их.

Как-то ко мне пришли Рукку и Хема. Я было обрадовалась, но потом речь опять пошла о наших сердечных делах.

— Ну что, подружки, уже завели кавалеров? — спросила я.

Они переглянулись, прикусили губы и вздохнули. «Что ж,— подумала я,— значит, и у них дела обстоят не лучше моего». Но стоило маме разговориться с ними, как истина выплыла наружу. Мама сперва попросила их спеть. Обе, конечно, отговорились тем, что горло у них не в порядке.

— Ничего! — настаивала мама.— Здесь не концертный зал, все свои. Пойте как умеете.

— Пусть начинает Хема,— сказала Рукку.

— Почему я? Лучше ты,— запротестовала Хема.

Они пререкались, пока не вмешалась мама:

— Пойте вместе!

Делать нечего, они запели дуэтом. Где-то в середине гиртанея[2] на высокой ноте Рукку пустила петуха, и мы все расхохотались. Кое-как совладав со смехом, они начали снова, но дуэт разладился, и им расхотелось продолжать.

— Ничего не выходит, споем как-нибудь в другой раз.

— Хема, ты, между прочим, очень хорошо поешь, Рукку только мешает тебе.

— Конечно! Ей теперь старинная музыка кажется смешной,— объявила Хема.

— Это почему же?

— Да ведь она увлеклась американской музыкой.

— Американской? — удивилась мама.— С чего бы это?

— Хема, если ты скажешь еще хоть слово, я на тебя обижусь! — пригрозила Рукку.

Но Хема не обратила на ее слова никакого внимания.

— В доме у Рукку поселился один американец, студент...

— А вот и нет. Я еще раньше начала учиться играть на рояле.

— И теннису ты начала учиться до его приезда?

Рукку насупилась, но Хема совсем разошлась и мало-помалу выдала нам ее секрет.

Оказывается, в Индию приехала группа американских студентов. Чтобы получше узнать местные нравы и обычаи, они поселились не

---

[1] Праздник, посвященный богиням Дурге, Лакшми и Сарасвати.

[2] Религиозное песнопение.

в общежитии, а в домах индийцев, согласившихся их принять. Так в доме Рукку появился Морис, студент Мичиганского университета. С тех пор Рукку учится играть на рояле, а по вечерам играет с ним в теннис.

— Ну что, насплетничала и рада? — Рукку сделала сердитое лицо, но тут же весело подмигнула: — Ничего, я в долгу не останусь. Думаете, Хема занялась пением из любви к старинной музыке? Как бы не так...

Хема попыталась унять ее, но куда там! Рукку не терпелось отплатить подруге той же монетой.

— В редакции газеты, где работает отец Хемы, подвизается некий музыкальный критик. С некоторых пор он стал частым гостем в доме Хемы, их видят вместе на концертах, но, право, нельзя поручиться, только ли любовь к музыке их объединяет.

Не переставая пререкаться, болтушки вскоре попрощались и ушли. Конечно, я радовалась, что у моих подруг все складывается так удачно, но ночью я долго не могла уснуть, все думала, какая же я невезучая.

Наступил еще один праздник — виджаядасами [1]. Вся семья по обычаю собралась в молельной. Каждый — с книгой в руках. Ученые занятия и чтения — вот дань, угодная богине просвещения Сарасвати. Я долгое время колебалась, какую книгу взять, среди моих книг не нашлось ни одной подходящей. Бывало, я усаживалась с учебником, но теперь я не знала, что выбрать. Отец читал «Рамаяну» Вальмики [2], мама — стихи Тайуманавара [3] и «Дэвида Копперфилда», брат и сестра — школьные учебники, одна я сидела с пустыми руками.

— Почему ты не принесла никакой книги? — спросил папа.

— Если хочешь, возьми вот эту,— сказала мама, протягивая мне томик Тайуманавара.

Но не успела я взять его, как отец сказал:

— В день виджаядасами можно не только читать, но и петь.

И тут произошло нечто неожиданное. Отец отложил свою книгу и запел «Сахала кала ванийе...»[4].

Это было поразительно! Пение отца произвело на нас, пожалуй, такое же впечатление, как если бы вдруг отверзла уста и запела каменная статуя в храме. Никто из нас никогда не слышал, чтобы отец пел. Правда, иногда, после работы, в хорошем расположении духа, он что-то мурлычет себе под нос. Но разве это можно назвать пением? Так, журчанье родника, едва пробивающегося сквозь травы и камни. Сейчас он запел в полный голос, и это был могучий поток, вольно и неукротимо катящий свои воды. Голос отца оказался сильным и чистым. Хотя время в какой-то мере и лишило его гибкости и глубины, но для нас, самых родных и близких, только придало ему трогательность и обаяние. Мне хотелось обнять отца и спросить: «Как случилось, что ты зарыл свой талант в землю? Разве можно так обращаться с божественным даром?» Слезы душили меня. Но вот песня кончилась. Взволнованный не менее нас, отец сперва помолчал, замкнувшись в себе, потом сказал:

— А теперь пусть споет кто-нибудь из вас.

И он обвел нас всех долгим, испытующим взглядом. Я не посмела поднять голову. Отец вздохнул как-то особенно печально.

---

[1] Десятидневный религиозный праздник.

[2] Легендарный мудрец, которому приписывается авторство знаменитого древнеиндийского эпоса «Рамаяна».

[3] Знаменитый тамильский поэт XVII столетия.

[4] «О, покровительница всех наук...»

— Когда-то в нашем доме утро неизменно начиналось с того, что мой отец запевал гиртаней. А мы-то и раз в году не решаемся спеть хоть что-нибудь. Да, жизнь тогда была совсем иной. Каждый миг ее был наполнен ощущением прекрасного, проникнут особым, глубоким смыслом. А теперь день за днем в нас угасает потребность в красоте, она покидает нас, уходит безвозвратно. Весь год мы тратим на суетливую погоню за мирскими благами. Слава богу, остались еще праздники вроде навараттири и дипавали [1], когда мы вспоминаем дивное искусство наших предков. Но даже и праздники мы умудряемся сводить к пустым разговорам и еде.

Мне стало грустно. Ведь отец прав. В эти праздничные дни наш дом был полон родни, но только три мои тети умели петь по-настоящему. Пройдет еще какое-то время, и молодежь вовсе не пожелает тратить время и деньги на обучение этому искусству. Забудется обычай украшать дома в праздники навараттири, и навсегда сотрется память о величественных и прекрасных вещах, которые из поколения в поколение украшали жизнь наших предков. Наш механизированный век с его дикими скоростями и праздной суетой растеряет навсегда бесценное богатство — песни. А ведь в нашем роду это сокровище бережно передавалось из века в век. Я первая отказываюсь принять его из рук предков и этим обделяю своих детей и внуков. Значит, я предаю и себя, и грядущие поколения. Стыд и презренье к самой себе захлестнули меня жгучей волной. Уж не знаю и как — это был безотчетный порыв,— но я вдруг запела.

Когда я еще училась в младших классах, мне часто доводилось слышать «Расцвел белый лотос». Сами собою вспомнились слова, мелодия, и я — сама не своя — запела песню привольно и звонко.

Едва смолкли последние звуки, малыши Бабу и Суси захлопали в ладоши. Отец был сдержан, но и он похвалил:

— Хорошо спела, дочка.

Эта его похвала окончательно смутила меня, и я, не в силах совладать с собой, выскочила из молельной.

Вот как получилось, что я решила заняться музыкой. А вечером решение это еще более укрепилось. Нашу обычную мирную беседу на веранде прервал приход миссис Комалям. Отец любезно с ней поздоровался, попенял, что она не зашла раньше, к началу праздника, потом повернулся к нам и сказал:

— Вам выпала большая удача. Попросите миссис Комалям спеть что-нибудь. Поверьте, слушать ее — редкое наслаждение.

Мы еще побеседовали в гостиной и все-таки уговорили миссис Комалям спеть. Ах, что это был за голос! Какой изумительной нежности и мелодичности! И как хороша была ее манера пения — никакой вычурности, аффектации. Она пела, и всем нам казалось, будто чувства наши становятся благороднее, чище, теряют обычную свою заземленность и воспаряют ввысь. Нам хотелось лишь одного: чтоб никогда не кончалось это дивное пение! Уступая нашим просьбам, миссис Комалям спела одну за другой три песни. Да, давно не испытывали мы подобного наслаждения.

Гостья ушла, а мама долго еще расхваливала ее. Я же благоговейно восхищалась миссис Комалям. И решила: буду учиться пению только у нее.

Дня два спустя я рассказала о своем намерении родителям, и они очень обрадовались. Боясь, как бы легкомысленная «малышка» не передумала, папа в тот же день поговорил в конторе с миссис Комалям и попросил ее зайти к нам на следующий вечер.

---

[1] Праздник огней.

Так в моей жизни открылась новая страница — изучение музыки.

На наших занятиях всегда присутствовала мама. Хотя на уроках английского моя мамуля и смирялась с ролью послушной ученицы, но уж во всем, что касалось музыки, она не без удовольствия давала мне почувствовать свое превосходство. И когда сама миссис Комалям оставалась довольной моими успехами, мама еще раз сто заставляла меня выпевать одну и ту же фразу, придираясь к малейшим неточностям.

Я на нее очень сердилась и назавтра старалась взять реванш, веля ей раз за разом твердить английские слова и выражения, отрабатывая верное произношение.

Еще хуже было, если во время занятий домой возвращался отец. Мама в сравнении с ним была сущее золото. Поначалу он слушал меня довольно спокойно, потом вдруг взрывался: «Ты не поешь, а воешь, совсем как такой-то имярек» — и называл певцов, которых терпеть не мог. Послушать его, выходило, будто всего один или два певца на свете способны исполнить эту песню, прочие же ее только губят. Миссис Комалям вступала с ним в спор, защищая своих любимых мастеров. В конце концов оба сходились на том, что классическая наша музыка приходит в упадок и тут, увы, ничего не поделать. После таких словопрений мой энтузиазм и уверенность в своих силах таяли на глазах.

Впрочем, миссис Комалям не обращала особого внимания на вмешательство моих просвещенных родителей и продолжала спокойно учить меня. Благодаря ее настойчивости я делала большие успехи.

Так оно и шло: днем — занятия с мамой английским, вечером — музыка.

Спустя некоторое время миссис Комалям стала приходить к нам вместе со своими подругами — Ладой и Васундарой. Они любили поболтать о служебных делах. Общение с ними помогало мне преодолеть чувство собственной неполноценности: ведь меня по-прежнему удручало, что я оказалась не такой удачливой, как мои подружки Рукку и Хема, уже поступившие на службу и, на мой взгляд, поднявшиеся на ступеньку выше меня. Любопытно, отчего мы так болезненно переживаем чье-то возвышение, будь это даже наш лучший друг? И почему мы испытываем тайное удовлетворение, если кто-то оказывается глупее или наивнее нас? Странно, не правда ли...

Мои новые приятельницы нравились и маме. Видно, ей порядком надоели дамы ее круга и вечная их трескотня о тряпках да побрякушках. С Ладой и Васундарой можно было поговорить о Диккенсе, Джейн Остин, Софи Лорен или Жаклин Кеннеди. И вскоре мама ожидала прихода этих девушек еще более нетерпеливо, чем я. И признаюсь, я не без тщеславия замечала, насколько расширился круг ее интересов.

С тех пор как я занялась музыкой, мои отношения с отцом тоже изменились к лучшему. Возникшая было трещинка затянулась, он стал давать мне разные поручения. Началось с малого — так, по утрам на службу его провожала теперь я, а не мама, и следила, чтоб он не забыл портфель, очки, кошелек и носовой платок. Я пришивала пуговицы к его пиджаку и отдавала белье в стирку. Затем мне было поручено принимать от отца жалованье, прятать его в конторку и расплачиваться по счетам с прачкой, молочником, бакалейщиком. Я же должна была нанимать прислугу и мусорщика и присматривать за их работой. Когда у Бабу и Суси что-то не ладилось с уроками, они прибегали ко мне. Я стала полноправным членом семейных советов, мое мнение теперь имело вес даже при решении самых важных вопросов.

Часть домашней работы мама окончательно переложила на меня. Все, что я прежде делала урывками, по настроению, отныне вменялось мне в обязанность. Каждое утро я срезала свежие цветы и украшала ими молельную, варила кофе, заквашивала молоко, нарезала овощи, а иногда и стряпала обед. Если Бабу, Суси или папа ели без удовольствия, мне становилось обидно до слез.

Вот так, мечтая о самостоятельности и служебной карьере, я стала заурядной домашней хозяйкой, огорчающейся, когда обед не особенно удается. Подозреваю, что отец с мамой вступили в сговор, дабы таким образом вернуть своевольную дочь на путь истинный.

Вдобавок еще они вдруг начали всячески печься о моем здоровье. Отец натащил в дом груду флаконов с тонизирующими средствами и усиленно пичкал меня этой гадостью. Возможно, из-за этого со мною начали происходить загадочные вещи — я вдруг пополнела и все блузки стали мне тесны: они резали под мышками и трещали по швам при каждом неловком движении. Я недоумевала и стыдилась такой перемены.

— У тебя, доченька, растут крылья,— сказала однажды мама.

— Как это?

— А вот так. Вырастут крылья, значит, птенчику пора покидать родное гнездо.

— Но я не хочу...

О, я могла повторять это свое «не хочу» сколько угодно, но душа рвалась куда-то в неведомое. Когда по утрам, провожая отца, я подавала ему все необходимое, мне вдруг начинало казаться, будто я собираю на службу своего мужа. И хотелось, чтобы он, этот воображаемый мужчина, ласково коснулся моей руки. А не то, отдавая в стирку отцовское белье, я ни с того ни с сего представляла себе, что это вещи моего супруга. Готовя обед, я ловила себя на мысли, будто стараюсь для мужа, который восседает в столовой с газетой, я даже слышала его голос, произносящий мое имя. Когда я подходила к зеркалу поправить прическу или платье, мне казалось: вот сейчас он подкрадется ко мне и прикроет ладонями мои глаза. По ночам, а иногда и днем, когда я ложилась вздремнуть после обеда, я просыпалась, решив, будто кто-то будит меня, трогая за плечо. Во сне я видела даже лицо моего суженого, но, проснувшись, была не в силах его вспомнить.

Неужто мама права — у меня растут крылья? Неужели и впрямь пришел срок взмахнуть ими, вылететь из родного гнезда и умчаться в другой, неведомый мир?

Как бы то ни было, ощущения эти были мне приятны, даже очень. Я словно купалась в них, не в силах стряхнуть с себя странную цепенящую мечтательность.

Тут-то и пришло письмо с приглашением на собеседование.

Оно воскресило сразу полузабытые мечты о работе. Но, увы, было уже поздно! Я давно отказалась от прежних планов, и письмо вызвало у меня лишь досаду и разочарование. Я отшвырнула его со злостью, как будто бумажка эта в чем-то была виновата.

Но прошел день, другой, и я ощутила угрызения совести: не слишком ли быстро я сдалась, позволив себе погрязнуть в мелких житейских заботах и грезах о замужестве. «Не пришло ли мне время взяться за ум? — спросила я себя.— Пора доказать всем: нет, я не из тех, кто запросто отступает от принятых решений». Желание устроиться на работу вновь пустило в моей душе робкий росток, и за неделю он вытянулся в могучее древо. Перед собеседованием я рассказала родителям о своих планах. Как и следовало ожидать, мама приняла их в штыки. Но отец молча усмехнулся. Сколько мудрого сми-

рения и отрешенности было в этой улыбке! Он словно бы говорил: «Что ж, с судьбой не поспоришь...» Потом отец совершенно спокойно спросил:

— На какой ты час приглашена?

— На одиннадцать.

— Тогда пойдем вместе.

Тут в комнату вбежал Бабу.

— Куда это вы собрались?

— Твоя сестра решила поступить на службу.

— Вот здорово! Правда? — подскочил он и вдруг, хитрец этакий, чинно попросил: — Сестрица, а ты мне купишь часы?

Следом явилась Суси. Услышав новость, она заявила: ей до зарезу нужно новое ожерелье.

— Нет уж, вы, малыши, подождите, пока наш птенчик подарит мне сари, ладно? — улыбнулась мама.

— А как же я? Тогда уж мне коробку шоколада! — поднял руку отец.

Все рассмеялись, а мне стало так легко и весело, словно я уже выдержала испытание.

На другой день с самого утра я не могла найти себе места. Давно я уже так не волновалась — пожалуй, со времен экзаменов в колледже. За завтраком кусок не лез мне в горло. Меня мутило от страха.

Мы с отцом не пошли на автобусную остановку, а сразу взяли такси. По дороге он рассказывал мне, как проходили такие собеседования в его времена, еще при англичанах. Получалось, будто только тогда и был настоящий порядок, а теперь прием на работу смахивает на фарс. Нет, отцу не нравились обычаи и манеры англичан, но их административные и организаторские способности он ставил весьма высоко.

Все, что говорил отец о собеседованиях, было интересно, однако его слова меня нисколько не успокоили.

Когда я вошла в приемную фирмы и показала письмо секретарше, сердце мое бешено заколотилось. Она мельком взглянула на письмо и, сложив губы в любезную улыбку, предложила мне подождать. «Конечно,— не сомневалась я,— она видит меня насквозь и посмеивается в душе над моим волнением». В приемной сидели уже две девушки-панджабки. Обе окинули меня изучающим взглядом, усмехнулись и обменялись какими-то репликами. Я сразу их возненавидела и едва не расплакалась. Секретарша, желая, видимо, блеснуть перед нами своим положением и опытностью, затеяла длинный разговор по телефону. Она кокетничала и, хихикая, многозначительно поддакивала. А в приемную заходили какие-то люди и осматривали нас с головы до ног — одни с улыбкой, другие безучастно или даже пренебрежительно. Обе панджабки вдруг, как по команде, открыли сумочки и достали пудреницы и помаду. Мне тоже захотелось поглядеться в зеркало. Но — вот растяпа — я забыла сумочку дома. Секретарше принесли стакан прохладительного напитка, и я вдруг почувствовала, что у меня пересохло в горле. Но не просить же в самом деле воды... Не знаю, долго ли я просидела в полном оцепенении. Потом неожиданно для себя встала и решительно осведомилась у секретарши, как пройти в туалет. Она объяснила.

Я вбежала туда, словно спасаясь от погони, и заперла дверь на задвижку. Уф! Наконец-то я одна! С трудом подавив желание разреветься, я глянула на себя в зеркало. Ну и вид! Лицо лоснится, словно я окунула его в масло, только что капли не висят. Я утерлась краешком сари — никакого толку. Проклятый нос знай себе поблес-

кивает. Да он — изведи банку крема или целую пудреницу — все равно никогда не утратит своего победного сияния,— хоть зайчиков пускай. Такие уж в нашем роду носы!

Вдруг я увидела в зеркале своего отца, потом бабушку. «Ты идешь на работу, внученька? — спрашивает она.— Я бы могла рассказать тебе обо всем, что творится в доме твоей тетки, но вот о конторе об этой я ничего не знаю. Будь осторожна, родная, будь осторожна!»

Я опять принялась изо всех сил тереть нос, и бабушкино лицо исчезло. В зеркале на меня уставилась лишь моя отвратительная физиономия.

А кругом — редкостное великолепие: пол и стены выложены сверкающей плиткой, на стене рядом с раковиной — белоснежное полотенце, рулончик туалетной бумаги, флакон с жидким мылом. Ну, не стыдно ли так распускаться среди подобной роскоши? Я не спеша умылась, хорошенько вытерлась полотенцем, поправила прическу, выпрямилась. Вот теперь я себе нравлюсь! Одобрительно глядя на свое отражение, я поджала сперва губы, потом немного выпятила их, надула и снова втянула щеки, подняла и опустила брови. Напустив на себя самоуверенный вид, я, наконец, покинула свое убежище. Но в коридоре от всего моего спокойствия не осталось и следа. Кошмар! Я забыла обратный путь! Наугад толкнула одну из дверей и очутилась в другом коридоре с множеством точно таких же дверей. Пока я раздумывала, в какую из них заглянуть, откуда-то справа появилась секретарша и набросилась на меня:

— Куда вы запропастились? Ваша очередь! Скорее!

Она подвела меня к массивной двери и сказала по-английски:

— Входите.

У меня затряслись поджилки. Глотнув воздуха, приоткрыла дверь и бочком протиснулась внутрь. За спиной у меня громко звякнули пружины. Прямо передо мной за круглым столом сидели два молодых человека. Один — толстый, другой — худощавый и стройный.

— Подойдите поближе,— сказал толстяк, приветливо кивнув.

Представляю, каково было им смотреть на мою перекошенную от страха физиономию. Должно быть, потому второй, худощавый, сразу опустил взгляд. Чего уж там, я сама себе была противна! Сердце колотится ошалело, ноги словно ватные. Фу, гадость! «Спокойнее!» — приказала я себе. Не съедят же они меня, в самом деле. Чего мне бояться? Глубокий вдох — и, подняв на них холодный, безразличный взгляд, я не спеша направилась к столу. Вдруг комната и молодые люди закружились у меня перед глазами, опрокинулись, и... я растянулась на ковре. Черт, зацепилась за край ковра! Никакой боли я не почувствовала, но... какой стыд! Позор!

Оба молодых человека бросились ко мне, помогли подняться. Я хотела лишь одного: исчезнуть, испариться, провалиться сквозь землю. Толстяк быстро подставил мне стул, словно боясь, как бы я снова не шлепнулась.

— Вы не ушиблись? — заботливо спросил худощавый.

Я мотнула головой.

— А ведь ушибись вы,— сказал толстяк,— он бы только обрадовался. Все дожидается случая кого-нибудь полечить, прописать лекарство и подзаработать, ха, ха, не так ли, доктор?

Худой что-то ответил, но я ничего не поняла. Я сидела как на иголках, и слова их не доходили до моего сознания. Мое смущение оказалось заразительным, молодые люди тоже умолкли, не зная, как вести себя дальше. Пауза затягивалась. Уж лучше б они подшучивали надо мною, все было бы легче, чем это безмолвное сочувствие. Надо

же быть такой недотепой — плюхнуться на пол в комнате для собеседований! Экое невезенье! Глупая трусиха! Да разве таким место на службе? И зачем только я пришла сюда? Сама опозорилась да еще отнимаю время у занятых людей. И чего вообще угораздило подать заявление о приеме на работу? А уж являться на собеседование...

Толстяк хотел спросить меня о чем-то, но я опередила его:

— Пожалуйста, простите меня, но мне лучше уйти. Извините за беспокойство.

Я поднялась и быстро направилась к двери. Вышла из комнаты, слава богу, благополучно, не споткнулась.

В приемной я подошла к секретарше — справиться, как найти выход. Вдруг кто-то окликнул меня по имени. Я обернулась: Хема! В другой раз я обрадовалась бы, встретив подругу, но тут мне было не до нее.

— Прости, Хема, я тороплюсь,— пискнула я и выбежала вон.

Должно быть, мой тон и вид показались ей странными, потому что в тот же вечер Хема примчалась к нам узнать, что случилось. Когда она явилась, я спала. Едва я вернулась, мама насела на меня с расспросами о собеседовании, но я раздраженно оборвала ее и заперлась у себя в комнате. Наплакавшись вволю, я незаметно уснула. Разбудил меня мамин голос:

— Птенчик, птенчик! К тебе Хема пришла.

Вскочив, я наскоро привела себя в порядок и вышла в гостиную.

— Привет! — насмешливо сказала Хема.— Красавица изволит почивать?

— Представляешь, птенчик, Хема тоже была сегодня на собеседовании. И ее взяли,— оживленно сообщила мама.

— Поздравляю! — бросила я не слишком любезно.

— Да, на работу устроиться непросто,— заметила мама.— Для этого, наверно, одного образования мало, нужна специальность.

Я пристально посмотрела на нее — нет ли в ее словах какого-нибудь подвоха.

— Пойду принесу кофе,— быстро сказала мама и оставила нас одних.

— Ну, не огорчайся! Что они там тебе наговорили? На тебе лица не было.

— Да в том и беда, что ничего они мне не наговорили! — И я рассказала Хеме, что произошло. Она засмеялась.

— И только-то? А выглядела ты так, будто тебя пытались по меньшей мере изнасиловать.

Тут уж и я не выдержала, и мы обе расхохотались.

— А тебя о чем спрашивали? — полюбопытствовала я.

— Думаешь, для них имеет значение, что говорит испытуемая? Как бы не так! Главное, как она держится. Я не растерялась, сделала глазки директору — и все сошло о'кей.

Меня неприятно поразили ее слова. Мы довольно давно не виделись. Хема заметно изменилась: говорила и держалась она совсем не так, как раньше.

— Мужчины вообще все до единого негодяи и тупицы,— объявила она.

— Даже твой друг?

— Нет у меня друга.

— А как же тот музыкальный критик?

— Скажешь тоже! Я про него и думать забыла. Он обзавелся новой пассией. Я ему, видишь ли, не подхожу, нет во мне истинного

влечения к музыке. А ему необходимо, чтобы мои вкусы и взгляды были точь-в-точь такие же, как у него.

Я промолчала. Но Хема все не могла успокоиться:

— Давно пора поставить этих эгоистов на место. Которое поколение мы, женщины, безропотно потакаем им во всем! Это по нашей вине они возомнили о себе бог весть что. Их послушать, так мы лишь для того и существуем, чтоб угождать их капризам и прихотям. Нет, больше так продолжаться не может!

Хема разыгрывала роль защитницы униженного и оскорбленного женского пола и, пылая мстительной ненавистью к мужской части человечества, рьяно отстаивала женские права. Не вернись мама из кухни с кофейным подносом, Хема бы и меня обратила в свою мужененавистническую веру.

Она ушла, а я еще долго размышляла о том, как неудачно сложилась судьба моей подруги. Тот, кому она подарила свою первую любовь, обманул ее надежды. Потому-то она, бедняжка, и воспылала гневом против всех мужчин. Ах, узнать бы, каким будет человек, которому суждено войти в мою жизнь! Что, если он тоже окажется скверным человеком, и я, как Хема...

Задумавшись, я не слыхала, как вернулся со службы отец.

— Что это ты сумерничаешь в одиночестве? — спросил он, щелкнув выключателем.

Больше всего я боялась его расспросов о собеседовании, но ему явно было не до меня.

— Где мама? — спросил он, вынимая из кармана конверт.— Дядюшка Холмс прислал письмо. На-ка, почитай.

Дядя писал, что нашел мне жениха. Это его хороший знакомый, молодой доктор, живущий в Бомбее и уже имеющий приличную практику. Он сирота, и у него нет никого, кроме сестры. Сейчас он в Дели — на конференции. Дядя рассказал ему обо мне, и, вероятно, он зайдет к нам в воскресенье.

О господи! До воскресенья всего два дня!

Всю пятницу и субботу мама, Бабу и Суси без устали носились по дому, наводили чистоту и блеск. Украшали комнаты. Предстоящий визит жениха волновал их куда больше, чем меня.

Отец, по обыкновению, был настроен скептически.

— Ну, чего хорошего можно ждать от твоего дядюшки Холмса? — говорил он маме.— Надо же так бестолково написать письмо! Доктор! Ну и что? А о самом важном ни слова — ни тебе генеалогического древа, ни гороскопа. Сирота — и только! Выходит, больше о нем и сказать-то нечего? Неужели он думает, что к нам в дом можно послать любого безродного проходимца, а мы — представляй ему дочь!

— Да, да, разумеется, он уговорил первого встречного посвататься за птенчика,— обозлилась мама.— Уж будто моему дяде больше делать нечего.

— О, если бы все делали то же, что твой дядюшка, человечеству пришлось бы худо!

— Как вам угодно, можете не пускать этого доктора на порог,— обиделась мама.

— Прекрасная мысль! Так я и сделаю. Пусть взглянет на нашего птенчика в окошко и убирается восвояси.

Отец ворчал и брюзжал целых два дня. Но в воскресенье вдруг переменился. Он метался из комнаты в комнату, явно волнуясь. Надел цветную рубашку, тут же снял ее и облачился в белую сорочку и пиджак, а потом сменил его на тунду [1]. Бедный папа, вероятно, не

[1] Часть одежды в виде полотнища, переброшенного через плечо.

мог решить, как ему следует быть одетым во время смотрин. И вдруг накинулся на меня:

— Ты почему в старом сари и не причесана? Гости не гости, неужели нельзя привести себя в порядок?

Младшим тоже от него перепало:

— Вечно путаетесь под ногами! Ну-ка, марш в сад!

Потом он отправился на кухню, где мама готовила угощение, и сердито буркнул:

— Пока ты тут возишься, можно свадьбу сыграть.

На каждый доносившийся с улицы сигнал автомобиля или мотороллера отец кидался к входной двери. И дважды в час проверял по радио свой хронометр.

Пока я переодевалась, а мама готовила угощение, пробило пять. Но никто не являлся. Отец в сотый раз перечитал дядино письмо.

— Что за человек! Нет чтобы написать точно, в котором часу они приедут.

— Откуда он мог знать? Когда им будет удобно, тогда и приедут.

— А мы тут сиди и жди их до поздней ночи. То ли дело англичане. Когда они собирались куда-нибудь, то всегда заранее...

— Ну что вы превозносите своих англичан? Родня они вам, что ли? — рассердилась мама.

Половина шестого. Шесть.

— А вдруг они спутали адрес и не могут найти дорогу? — Отец надел туфли и пиджак.— Пойду посмотрю в конце улицы.

Он ушел, и минут через пять у нашего дома просигналила машина.

— Наверное, это они! — воскликнула мама и побежала в переднюю. Она приподняла занавеску и позвала меня: — Птенчик, птенчик!

— Что, мама?

— Посмотри! Не иначе как они.

— Да? — Я тоже выглянула в окно.

Перед домом стоял автомобиль. Из него вышли двое молодых людей. Глянув на них, я едва не лишилась чувств. Боже милостивый! Да ведь это они вели злополучное собеседование! Ну да, так и есть! Мама говорила мне что-то, но я ее не слышала. Не услыхала и стука в парадную дверь. Мною владело одно-единственное желание — бежать, спрятаться, скрыться. Никогда в жизни я не испытывала такого ужаса. Что делать? Как быть? Не ускользнуть ли через черный ход? Или накраситься так, чтоб даже родная мать не узнала? Нет, все не то, не то! Я забилась в дальнюю комнату, судорожно ища выхода из этого нелепого положения. Обгрызла все ногти, но ни одна дельная мысль так и не пришла в мою бедную голову. Сквозь закрытую дверь было слышно, как мама разговаривает с гостями. Иногда слышался смех. Интересно, о чем они болтают? Экая досада! Ну не глупо ли сидеть тут одной? Но ведь будет еще глупее, если я, проторчав здесь столько времени, вдруг выйду к ним... В комнату вошла мама.

— Что же ты, милая, прячешься от гостей? Ведь они приехали познакомиться с тобой.

Я молчала.

— Ну иди, иди к ним. Отнесешь угощение. А я пока сварю кофе.

— Нет, мамочка, лучше угощай их ты, я сама сварю кофе.

— Не понимаю, чего ты так испугалась.

— Да я не боюсь.

— В чем дело? Должны же они увидеть тебя!

— Вовсе не обязательно.

Мама пристально посмотрела на меня.

— Не хочешь, как хочешь. Отец вернется, так я ему и скажу: птенчик отказывается выйти к гостям, не хочет предложить им угощение.

У меня сжалось сердце. Вот-вот вернется отец. Если он позовет меня в гостиную, как смогу я его ослушаться? Ну и положеньице. Уж лучше возьму в каждую руку по подносу и выйду к гостям. Так я и поступила: поставила подносы на столик возле дивана и села поближе к маме. Молодые люди глядели на меня с вполне понятным удивлением, а мама вдруг возьми да и скажи:

— Она у нас чуточку нервная и такая застенчивая!

«Ах, мама, ну что ты говоришь!» — ужаснулась я, а она продолжала:

— Кушайте на здоровье. Дочка сама готовила угощение.

— Да? — поднял брови доктор.

— Бедняжка! Неужто все это время она возилась на кухне? — подхватил его друг.

— Конечно. Как ни стараешься, вечно в последнюю минуту чего-нибудь да недоделаешь, точь-в-точь как перед экзаменом,— пошутила мама по-английски, и мы все засмеялись.

Мама внезапно встала и, поразив нас непринужденностью своей английской речи, сказала, что сейчас принесет кофе. Несколько минут длилось неловкое молчание, наконец друг жениха спросил:

— Вы на нас не обиделись?

Я с трудом заставила себя посмотреть на него и улыбнуться:

— За что?

— Ну... мы тогда решили... вы обиделись на нас и потому так поспешно ушли.

— Нет, что вы... Это вы должны меня простить. Я как-то не успела опомниться.

— И он тоже с тех пор не в себе,— кивнув на доктора, пошутил его друг.

Тот бросил на него хмурый взгляд и, с трудом преодолевая неловкость, стал расспрашивать меня, в какой школе я училась, какой колледж окончила. Сначала я робела и смущалась, но мало-помалу обрела уверенность, и, когда мы добрались до родословной, я почувствовала себя совсем свободно. Мама, вернувшись с кофе, застала нас за разговором о Чаплине и его фильмах.

— Чаплин — великолепный актер! — тотчас провозгласила мама.— Но от его личной жизни я не в восторге. На что это похоже — четыре жены, восемь детей!

— Значит, восемь — четыре, таков последний счет? — сострил друг доктора.

Заговорили о многодетных семьях, о том, что обычай жить совместно, семейным кланом, в наши дни становится редкостью.

— Как хотите, но это чудесный обычай — жить всем вместе, с самым старшим в роду и самым младшим! — безапелляционно заявила мама.

— В наши дни это почти неразрешимая задача,— ответил доктор.— В городе не так-то легко найти подходящую квартиру даже для небольшой семьи, а уж для целого клана... Если так пойдет и дальше, то вскоре, боюсь, не хватит места для жены и детей.

Приятель поспешил тактично загладить оплошность жениха:

— Он имеет в виду, что в Бомбее неважно с жильем, и для жены-то едва хватает места.

Доктор опять хмуро на него покосился, но тут дверь широко распахнулась и в гостиную вошел отец. При его появлении оба молодых человека поспешно встали.

— Сидите, сидите,— сказал папа.— Извините, что я заставил себя ждать. Встретил на углу старого приятеля, и мы заболтались. Вы уже поели?

— Да, да, сейчас я и вам принесу,— сказала мама.

— Ну, так кто же из вас жених? — спросил отец, окидывая обоих внимательным взглядом.

— Я,— поклонился доктор.— А это мой друг.

— Он живет в Дели?

— Да.

Естественно, мужчины тут же принялись сравнивать Дели с Бомбеем, анализируя достоинства и недостатки этих городов. Съев принесенную мамой еду и выпив чашку кофе, отец заговорил о растущей дороговизне и об инфляции. Затем — об иностранной помощи, политике неприсоединения и т. д. и т. п. Чувствовалось, он готов говорить о чем угодно, только не о цели их визита. Но, разумеется, мама нашла выход из положения. Дождавшись паузы, она вдруг повернулась ко мне:

— Спой нам что-нибудь, птенчик.

Отец обрадовался этой спасительной соломинке.

— Спой «Брочевару» [1],— посоветовал он.

И я запела. Лучше бы мне не раскрывать рта! Не дойдя и до середины, я смолкла, забыв слова. После подсказки отца я запела дальше, но вскоре опять запуталась. Наконец кое-как я допела песню — чуть ли не на два голоса с отцом. Слава богу, гости положили конец моим мучениям.

— Может быть, достаточно, сар! Стоит ли продолжать?

Я готова была провалиться сквозь землю. Отец стал расспрашивать доктора о его родителях и родственниках.

— Мой отец когда-то служил в Дели. Его звали Панджабакесан. Он служил по тому же ведомству, что и вы.

— Да? Что-то не припомню такой фамилии.

Разговор перешел на гороскопы.

— Ваш дядюшка говорил, что наши гороскопы согласуются,— сказал доктор, слегка кивнув в мою сторону.— Но, знаете, сам я предпочитаю психологические тесты. По-моему, сходство вкусов жениха и невесты, их взглядов на жизнь важнее, чем соответствие их гороскопов.

— Нет, вы неправы. Именно в гороскопе предначертано будущее! — важно изрек отец и пустился в рассуждения столь пространные, что, когда пробило восемь, он еще был где-то посередине. Гости поднялись.

— Простите, уже поздно, нам пора.

— А-а, вы уходите,— разочарованно протянул папа и тоже встал — проводить их.

И тут произошло нечто неожиданное. Взгляд доктора упал на старую фотографию, запечатлевшую прощание с шефом-англичанином. Секунду он созерцал ее в полном недоумении, потом произнес:

— Удивительно! Точно такой же снимок висит и у нас дома.

— Неужели? — заинтересовался папа.

— Да, ведь здесь снят мой дед. Вот он,— и доктор указал на пожилого человека в тюрбане и со священной золой на лбу, сидевшего по правую руку от англичанина.

— Так это же С. Б. Айар! — воскликнул отец.

— Мой дед!

Отец смотрел то на фотографию, то на доктора. От волнения у

---

[1] Песня на языке телугу «Кто мой спаситель, как не ты?..».

него даже слезы навернулись на глаза. Вдруг он обнял молодого человека.

— То-то ваше лицо с самого начала мне показалось знакомым!— восклицал он.— Я все думал, кого же вы мне напоминаете?

Собравшиеся было уходить гости снова сели, и завязался оживленный разговор.

— Ваш дед подал в отставку примерно через месяц после ухода английского шефа. Мы все называли его С. Б. Айар, я до сих пор не знаю его полного имени,— говорил отец.— Какой замечательный был человек! Редкой образованности. Помню, мы основали тогда общество любителей культуры. Он вел у нас беседы об искусстве, музыке, древней литературе...

Поток папиных воспоминаний стал иссякать лишь к десяти вечера. Гости опять встали.

— Что ж, моему другу пора уезжать,— сказал приятель жениха.— Согласно обычаю, он может вернуться домой, подумать и письменно известить вас о своем решении.

— Родители невесты точно так же вправе высказать свое мнение. Может быть, вы сначала мне напишете? — спросил доктор у отца.

— А мы можем прямо сейчас узнать результат,— усмехнулся отец.— Ну как, птенчик, да или нет?

Я молча потупилась.

— Надо ответить, доченька,— сказала мама.

Я подняла взгляд, улыбнулась и снова потупилась.

Итак, завтра свадьба. Просто не верится! Даже как-то не укладывается в голове, что со дня смотрин прошло больше двух месяцев. И что завтра я стану его женой, покину родной дом и — уже навсегда — буду только с ним, с ним одним. Нет, нет, в это невозможно поверить.

На душе у меня и радостно, и тревожно, светлая печаль смешана с волнением и страхом.

Дома все перевернуто вверх дном. Гостей — тьма. Его-то родни не так уж и много (все они прибыли сегодня утром): сестра, ее муж, свояк с семьей — всего человек десять, не больше. Зато с нашей стороны!.. Мы просто не знали, как их всех разместить. Отец и мама с ног сбились, стараясь никого не забыть, не обидеть, не обойти вниманием.

Приехал и мамин дядюшка Холмс, и сестра папы из Ернакуляма. Оба они считают себя великими знатоками свадебных церемоний. То и дело между ними вспыхивали перепалки из-за того или иного обряда. Ну прямо лидеры правящей и оппозиционной партий! Впрочем, последнее слово почти всегда оставалось за дядей. Вообще-то, как родственник жены, он стоял на ступеньку ниже сестры моего отца, но его близкое знакомство с родней жениха давало ему неоспоримое преимущество в спорах. Как я заметила, маме это доставляло тайное удовольствие, ведь на ее собственной свадьбе золовка была не слишком почтительна с ней и с ее братом. Зато теперь дядюшка расквитался за все сполна.

Родственники постарше осаждали отца и маму, а младшие окружили меня. Мы, молодежь, держались отдельно от стариков, развлекаясь анекдотами и розыгрышами. Предстоящие хлопоты нас вроде бы не касались. Время летело быстро.

Часа в три пришла Хема. Она немного посидела в нашей молодой компании, потом, взглянув на часы, вдруг предложила мне:

— Давай вместе сходим погулять.

— Куда?

— Какая разница? Жених небось слоняется с приятелями по городу, а ты сидишь дома! Почему такое неравноправие?

Я растерялась, хотела отказаться, но остальные дружно поддержали Хему:

— Правильно! Иди гулять, и все!

Хема сама поговорила с моей мамой и убедила отпустить меня. Она повела меня к кинотеатру «Одеон». У входа я увидела — кого бы вы думали? — своего жениха и его друга.

— А мы вас совсем заждались,— объявил нам доктор.

— Думаете, просто было ее уговорить? — ответила Хема.

Ах, вот оно что! Они сговорились, и по их просьбе моя милая Хема утащила меня из дома!

Когда мы вошли в зал, фильм уже начался. Доктор сел рядом со мной. Я была ужасно на него зла. Вечером будет обряд представления жениха родным невесты, дома все волнуются, места себе не находят, а он отправился со мной в кино. Нашел время!

— Вы очень сердитесь? — спросил он, наклоняясь ко мне.

— Ну-у...

— Не обижайтесь. Мне так хотелось увидеть вас до свадьбы, поговорить, узнать вас поближе. Хема обещала мне помочь. Не поймите меня превратно...

— Боюсь, дома будут волноваться.

— Не беспокойтесь. Церемония назначена на семь часов, мы вернемся гораздо раньше.

Несколько минут мы сидели молча. Я испугалась: вдруг он истолкует мое молчание как признак обиды или скуки. Мне ужасно хотелось сказать что-нибудь умное, значительное, но в голову лезла всякая чушь. В нашем языке сотни тысяч слов, почему же вот в такие мгновения не удается найти хоть пару подходящих словечек?! Наконец я решилась. Пусть моя речь покажется ему плоской, надуманной — мне все равно.

— Так что же вам хочется узнать обо мне?

— Да мало ли. Ну, например, что вы за человек, каковы ваши мысли, вкусы, убеждения? Признаться, я страшусь неизвестности.

— А мне, думаете, не страшно?

— Чего же вы боитесь? Уж не меня ли?

— Может, и вас. Я вообще боюсь всех, кто носит очки.

Он резким движением снял их.

— И теперь боитесь?

— Теперь, пожалуй, нет,— я улыбнулась и покачала головой.

— Зато мне стало страшно по-настоящему: ведь без очков я почти ничего не вижу.

— Давно вы их носите?

— Три года.

Я потянулась за очками и нацепила их себе на нос.

— Ого! А они довольно сильные. Ну как, идет мне?

— Очень.

— Неужели?

— Вы в них похожи на преподавательницу колледжа.

Я вернула ему очки. Мы говорили еще о чем-то, кажется, о вещах довольно скучных и банальных. Но мне все время чудилось, будто за пустыми, ничего не значащими фразами прячется нечто возвышенное и значительное. Между нами ни слова не было сказано о любви, но казалось, она незримо присутствует в каждом радостном взгляде, спокойной улыбке, жесте, интонации, даже в самом нашем молчании. Оказывается, о любви очень многое можно сказать, не про-

износя особых слов. Эта истина открылась мне, пока мы сидели рядом в темном зале.

В перерыве мы пошли в буфет выпить чего-нибудь прохладительного. Я была очень горда и довольна собой. В самом деле, это немалый прогресс по сравнению с бабушкой или мамой — пойти с женихом в кино накануне свадьбы, пить кока-колу и непринужденно болтать с ним.

Потом наши кавалеры отправились за сигаретами в табачный киоск, и мы с Хемой остались вдвоем. Тут она, как-то криво усмехнувшись, кивнула вслед другу доктора.

— А ведь мой простачок и впрямь думает, будто я в него влюблена по уши.

Я так и ахнула.

— Честно говоря, мне тоже показалось, что он тебе нравится.

— Ну, нравится. Теперь. Пока не подвернется другой простачок. А до тех пор надо делать вид, будто нравится. Верно?

— Притворяться?

— А почему бы и нет? Игра довольно забавная. Сперва делаешь вид, будто он тебе очень симпатичен, а когда клюнет на приманку, щелкнешь его по носу. Обычно такие штучки проделывают мужчины. Почему же нам, женщинам, нельзя?

Я не решилась продолжать разговор на такую скользкую тему. Моя лучшая подруга вдруг предстала передо мною в облике злобной ракшаси [1]. Я не решалась взглянуть на ее искаженное циничной усмешкой лицо. Мой взгляд рассеянно блуждал по окружавшей нас пестрой толпе. И вдруг я увидела неподалеку знакомое лицо. Это была Лада.

— Лада! Лада! — закричала я так громко, что Хема вздрогнула от неожиданности, и еще несколько человек изумленно повернули голову в мою сторону. Ну и пусть себе смотрят! Лада заметила меня и, радостно улыбаясь, подошла к нам. Я познакомила ее с Хемой и спросила: — Неужели ты пошла в кино одна?

— Нет. Мой знакомый стоит вон там, в очереди за мороженым,— ответила Лада, указав на молодого человека, который, повернувшись в нашу сторону, приветственно помахал рукой. Я узнала мистера Сангарана, с которым когда-то познакомилась в кабинете отца. Сангаран купил четыре порции мороженого и подошел к нам. Как мы с Хемой ни отказывались, он заставил нас взять мороженое. Потом, обратясь ко мне, вспомнил, как ловко разыграла я его в тот памятный день, выдав себя за библиотекаршу.

Хема произнесла наставительным тоном:

— А тебе, милая, не следует есть мороженое. Чего доброго, схватишь насморк и будешь на свадьбе шмыгать носом и чихать.

— Как, у нее завтра свадьба?

— Да,— ответила за меня Хема.— И представьте себе: жених и невеста накануне свадьбы пошли в кино.

— Вот это правильно! — воскликнул Сангаран.— И мы с тобой, Лада, накануне нашей свадьбы...

— Ах, тише,— сказала Лада, но их тайна уже открылась.

— Вот так счастливое совпадение! — заулыбалась Хема.— Значит, на сегодняшнем сеансе мы все — три будущие супружеские пары.

— Что ж ты ничего мне не сказала? — упрекнула я Ладу. Но она лишь смущенно опустила голову.

---

[1] Женщина-демон.

В это время вернулись доктор и его друг. Все вместе мы направились в зал. Сангаран уговорил двух зрителей из нашего ряда поменяться местами, сам сел рядом с доктором, а Лада — рядом со мной.

Свет погас, и я спросила ее:

— Тебе очень нравится Сангаран?

— В общем-то нравится. Но тебе я скажу правду, только, смотри, никому ни-ни.

— Само собою.

— Все началось с того, что как-то я спряталась от дождя в галерее на Канат-Плейс [1]. Там я встретила мистера Сангарана. «Как вы здесь оказались?» — обрадовался он. «А вы как?» — «Меня застал дождь, когда я возвращался из лавки». Мы с ним прошлись по галерее. Не помню, о чем мы тогда говорили, но дождь лил как из ведра и выйти на улицу было невозможно. Народ набился в галерею. Гомон стоял невообразимый. И, представь, меня это вовсе не раздражало. Потом мы забежали в какой-то ресторанчик и переждали там ливень.

Когда мы вышли из ресторана, уже стемнело. Небо, улицы, дома, деревья, люди — все было чисто и дышало свежестью. Мне было легко и весело как никогда. На перекрестке мы остановились, пропуская поток машин. Он осторожно взял меня за руку. Тепло от его руки разлилось по всему моему телу. Мы перешли на другую сторону, а он не выпускал мою руку. Нам казалось: скажешь хоть слово — и нежданно возникшее ощущение близости вмиг исчезнет.

Наконец мы дошли до моей остановки. Он нерешительно посмотрел на меня и спросил: «Вам уже надо возвращаться домой?»— «Не обязательно»,— ответила я. «Что же будем делать?» Я огляделась. Недалеко от остановки была площадка с аттракционами, медленно вращалось гигантское колесо. Я улыбнулась: «А что, если покататься на чертовом колесе?» — «Отличная идея!» И он повел меня туда.

Ты когда-нибудь каталась на этой штуковине? Вверх — еще ничего, но когда начинаешь спускаться, все внутри обрывается от страха. Уже на втором обороте я прижалась к нему. «Страшно?» — «Да». Он привлек меня к себе. Я прислонила голову к его плечу и зажмурилась. Открыла я глаза, только когда колесо остановилось. Наша кабинка висела на самом верху, вниз даже взглянуть было страшно. «Боже мой! Почему мы застряли? Что-то сломалось?» — невольно вскрикнула я. Он улыбнулся и еще крепче прижал меня к себе. И вдруг стал целовать мне руки, плечи, лицо. Колесо сразу завертелось опять, как будто только того и ждало.

Лада умолкла.

— А что дальше?

— Дальше? В тот вечер нам было трудно расстаться. С тех пор мы часто видимся и расстаемся, чтобы увидеться снова.

— А вдруг ты не встретилась бы с ним на Канат-Плейс?

— Ну и что! Повстречала бы кого-нибудь другого. Знала бы ты, какое гадкое настроение было у меня в тот день! И, возвращаясь домой на автобусе, я совсем раскисла. Неужели весь век свой я проторчу в этой поганой конторе, думала я, и у меня не будет ни своего дома, ни семьи, ни мужа. И я поняла, что, если сейчас не найду в себе сил решительно перевернуть свою жизнь, потом будет поздно.

Автобус катил по Канат-Плейс. В толпе мелькнуло знакомое лицо. Я узнала мистера Сангарана. На следующей остановке я выскочила из автобуса и под дождем побежала назад. И пока я бежала, я думала о том, что мокрая одежда и волосы, оживленное лицо, наверно, делают

---

[1] Большое кольцо магазинов и деловых учреждений в центре Дели.

меня очень привлекательной и он не сможет этого не заметить. Признаюсь тебе откровенно: встреть я в тот день не его, а другого хоть немного знакомого мужчину, я сделала бы то же самое. Даже не представляю себе, чем бы это могло кончиться.

Мне стало не по себе. И больше я не расспрашивала Ладу, боясь узнать ее тайные мысли. Но она продолжала сама:

— Да, я могла попасть в большую беду, но мне повезло. А могло и не повезти. Как, например, Васундаре.

— А что с ней?

— Как, разве ты не знаешь? Она сбежала из дому с молодым поваром, который у них работал. До сих пор о ней ничего не известно. Жалко смотреть на ее родителей, все глаза выплакали!

Я пробормотала что-то невнятное. И вдруг меня словно громом оглушило. Боже мой! Что это?

— Миссис Комалям уехала в Мадрас, теперь на службе не с кем и словом перекинуться.

— В Мадрас? Зачем?

— Ее муж тяжело болен, лежит в больнице.

— А при чем тут она? Пятнадцать лет его не интересовало, жива ли она, здорова ли. С какой стати она должна теперь о нем заботиться?

— Жизнь, к сожалению, не подчиняется строгой логике. Это, увы, не математика, где дважды два всегда четыре. Мы любим тех, кто не любит нас, а любящих нас нередко ненавидим. На добро не всегда отвечаем добром и не всегда мстим за причиненное нам зло.

Что она говорит, эта Лада? Откуда в ее словах столько мудрой горечи? Буря в моей душе бушевала все сильнее. Она не стихла, даже когда мы ушли из кинотеатра.

Мы с женихом не досидели до конца сеанса, боясь опоздать на джанавасам[1]. На улице мы остановились, ища свободное такси. Внезапно рядом с нами притормозил большой автомобиль. Услышав гудки, я удивленно оглянулась. Из автомобиля выскочили Рукку и Морис. Я ужасно обрадовалась — ведь мы не виделись с Рукку очень давно.

— Вы из кино? — спросила она, когда я представила им своего жениха.

— Да.

— А когда свадьба?

— Сегодня джанавасам.

Рукку удивленно глянула на меня, потом одобрительно похлопала по руке, словно говоря: «Молодчина, делаешь успехи!» Они с Морисом предложили подвезти нас. Я вопросительно посмотрела на доктора, он слегка пожал плечом, мол, готов повиноваться моему решению.

Мужчины сели сзади, а мы с Рукку — впереди. Машину вела она. И всю дорогу не переставала болтать:

— Кстати, знаешь новость? Камала развелась.

— Что ты говоришь?

— Да. Не поладила со свекровью.

— Это еще не причина для развода.

— Ну, ты же знаешь Камалу. Она привыкла все делать по-своему. А после свадьбы поняла, что ее муж без разрешения матери шагу не ступит. Та — женщина старого закала, и ей пришлась не по вкусу невестка с новомодными замашками. А Камалу бесили ханжество и косность старухи, ее вечное ворчание и придирки. Как-то раз они

[1] Одна из церемоний свадьбы, когда жениха привозят к невесте.

повздорили, а муж встал на сторону своей мамаши. Вот Камала и ушла, да так и не пожелала вернуться. На днях она позвонила мне и сказала, что оформила развод.

— Господи! Кто бы мог подумать!

— Ну мне-то, слава богу, ничего подобного не угрожает. Родители Мориса давно развелись, у обоих новые семьи. Им и до родного сына нет дела, а уж до меня, его жены, и подавно.

Я помолчала, а она продолжала:

— Так уж заведено у нас в стране — старики заедают жизнь молодым. Но ведь детям нужна опека, только пока они маленькие, а потом пусть живут как им нравится. Ан нет! Старики суют свой нос в наши служебные дела, в личную жизнь и воспитание наших детей. Вот потому-то мы и не можем достичь такого высокого уровня развития, как, например, Америка, Германия, Япония. Каждое новое поколение растет у нас в тени предыдущего. Свежие мысли и убеждения гибнут под бременем старины. Найдись хоть тысяча человек, которые осмелились бы открыто выступить против гнета рутины, может быть, всем стало намного легче.

— Ты называешь бременем то, что завещано нам нашими предками?

— Да. Чудовищное бремя! Наше поколение — это бандероль, присланная из далекого прошлого. Нас связывают по рукам и ногам путы традиций, верований, обычаев, привычек, нравов, и вся наша жизнь уходит на то, чтобы их развязать. Это ужасно!

Я не нашлась, что ответить, и Рукку умолкла.

Мы подъехали к нашему дому. Как-то само собою получилось, что Рукку предложила нам воспользоваться для свадебной процессии их машиной. И видели бы вы, с каким шиком она ею управляла.

Вечером, лежа в постели, я перебирала в памяти все подробности свадебного шествия и пришла к выводу, что лучше всех выглядел мой жених — он сидел на заднем сиденье, с пышной гирляндой на шее. Но, увы, почти никто не смотрел на него, все таращили глаза на Рукку. В самом деле, даже в наши дни такое увидишь не часто — женщина за рулем машины во главе свадебной процессии! Разве могло бы это случиться во времена моей мамы, а уж о бабушке и говорить нечего! Немыслимо было тогда и многое другое. Взять хотя бы мою свадьбу! Перед самой церемонией джанавасам мы с женихом отправляемся в кино. Сопровождает нас друг жениха вместе со своей секретаршей. А ведь прежде женщины не служили в учреждениях и уж конечно не влюблялись до свадьбы! Если и бывали такие случаи, то о них предпочитали умалчивать. Развод же был просто неслыханным делом.

Господи! Какая я счастливица! Как много, оказывается, опасностей подстерегало меня, как много коварных ловушек и ям! Я просто чудом избежала беды! Оглядываясь вокруг, я вижу девушек с выросшими крыльями. Они готовятся вылететь из родных гнезд, и мне хочется пожелать им всем удачи, она им так нужна!..

Первой из нашей девчачьей стайки упорхнула Камала. Но она ошиблась в своем избраннике, он оказался недостаточно зрелым и мужественным. Ее полет завершился падением. Вскоре после нее умчались Рукку и Хема. Рукку выпала удача в лоторее жизни, и она полна высокомерного презрения ко всему старому. Разочарование, перенесенное Хемой, поселило в ней горечь и мстительную неприязнь к мужчинам.

Мои новые подруги, Лада и Васундара, тоже обрели крылья и улетели с решимостью, порожденной тоской и безнадежностью. Они разуверились в себе. Устали терпеливо ждать, пока счастье явится

к ним. Обе в минуту отчаяния рванулись в неведомое, рискуя обломать крылья. И что же? Лада опустилась на прекрасный цветущий луг, а Васундара...

Меня пробрала дрожь. Как капризна причудница-судьба! Своей единственной избранницей она сделала меня, так что мне было до боли неловко перед подругами. Как будто есть доля моей вины в том, что я так счастлива...

Я вспомнила, как часто порывалась улететь куда-нибудь, все равно куда, лишь бы испытать радость свободного полета. Но она, милосердная судьба, удержала меня в гнезде, пока крылья не окрепли.

Что помогло мне найти правильный путь, верное направление? Одна ли удача? Или, быть может, мне зачлись заслуги моих предков, их праведность?

Бабушку мою обручили в пять лет, а в двенадцать она уже перешла в дом мужа. Кто она была тогда? Неоперившийся еще птенец... Мама вышла замуж шестнадцати лет, а мне — двадцать два. Что, если бы, например, бабушка вошла в дом мужа не в двенадцать лет, а хотя бы в шестнадцать? И мама не в шестнадцать, а, как я, в двадцать два? Как изменился бы мой путь, направление моей жизни? Не постигла бы меня участь Камалы, Рукку или Хемы? А если бы в Дели переехал еще мой дед? Не оказалась бы я теперь где-нибудь в Париже или Токио?

Чем определяется наша судьба? Заслугами предков? Может быть, она — лишь повторение их судеб? И верно ли, что они для нас тяжкое бремя, как утверждает Рукку? То мне кажется, что она права, то, поразмыслив, я решительно с ней не соглашаюсь.

Неужели мой дед — бремя? Бабушка — бремя? И отец с мамой? И все, кто до нас жил? Но тогда и я — бремя? Бремя, рожденное бременем. Бремя для самой себя, для моих будущих детей, для детей моих детей? Если это и правда, то оно, наше бремя, законно, и нести его — наш долг!

Прошлое грозит раздавить настоящее. Настоящее же стремится скинуть с себя эту тяжесть, чтоб облегчить и ускорить свой бег. Почему же минувшее с таким безразличием и недоверием относится к тем, кто влачит на себе его груз? И в свою очередь сталкивается со страхом и отвращением? И почему настоящее не кладет порою эту ношу на землю и не отвергает все, что стало ненужным балластом? Может быть, то, что мы называем бременем, вовсе не бремя, а, наоборот, нечто дающее нам силы?

Вот, например, мои родители. Я выросла в их тени, а потом отошла в сторону. Но ведь я не только испытывала на себе их влияние, я сама влияла на них — как теперь будут влиять на них мои младший брат и сестра!

Брат, сестра, родители — сегодня они еще мои, но только сегодня, не завтра. До сих пор я жила в их тени. Но пришел день, когда я должна сбросить прежнее бремя и взвалить на себя новое. Мне предстоит отказаться от многих моих склонностей и привязанностей. И возможно, мои новые одежды и украшения будут мне в тягость.

Но после того, как я сниму с себя старое бремя и прежде чем возложу на себя новое, я на миг окажусь свободной. Один-единственный миг без ноши, без пут, без прибежища, без опоры. Каков он, этот миг?

Меня вдруг охватило жуткое ощущение одиночества. Как будто я затерялась одна, совсем одна, среди безлюдной пустыни и мне не от кого ждать помощи!

— Мама!

Почему я кричу так громко? Сама не знаю.

— Мама!

Она прибежала, испуганная, растерянная.

— Что с тобой, птенчик?

Я молча припала к ее груди и зарыдала.

— Мама.

Казалось, все горе, веками копившееся во мне во время бесчисленных перерождений, прорвалось в этом потоке слез.

Я рыдала оттого, что покидаю отчий дом. Рыдала, вспоминая своих дедушек, бабушек, предков. Рыдала по миссис Комалям. По Хеме и Васундаре. Рыдала, опасаясь, что стану черствой эгоисткой, неспособной к состраданию.

Мама ласково положила мою голову к себе на колени. А мне чудилось, будто надо мной склоняются мои предки. Чьи-то нежные пальцы гладят мои волосы, чей-то тихий голос напевает колыбельную. Спи, малышка, спи!

И, уткнув мокрое от слез лицо в колени матери, я медленно ухожу в сон.

ИБРАГИМОВ АЛЕВ ШАКИРОВИЧ (род. в 1925 г.).

Советский переводчик. Переводит с тамильского, турецкого, английского, французского, немецкого. В его переводах печатались сборник двустиший «Тиракурал», стихи Байрона, Вордсворта, Шелли, Верхарна, Л. Хьюза, Р. Тагора, Н. Хикмета, турецких и африканских поэтов, произведения прозы современных тамильских писателей — Кальки, Пудумейпиттана, Лакшми и др.

НОРМАН ЛЬЮИС

Сицилийский специалист

РОМАН

Перевод с английского Н. ЕМЕЛЬЯННИКОВОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Через три недели после того, как союзники высадились в 1943 году в Сицилии, марокканцы — небольшой отряд в составе англо-канадской армии, которая продвигалась с побережья в глубь острова,— убили своего командира и дезертировали. Захватив четыре «джипа», они удрали с поля боя и, направившись на запад, принялись грабить и убивать. В Кампамаро у них кончился бензин, и они превратили эту деревню в свой опорный пункт, базу для набегов на окрестные селения. Дезертиры нападали на близлежащие фермы, грабили, жгли, рубили головы тем, кто оказывал сопротивление, насиловали мужчин, женщин и детей, а потом с гиканьем и хохотом возвращались в Кампамаро, таща награбленное и украсив руки кольцами, сорванными или срезанными с пальцев своих жертв. Порой они волокли за собой девчонку или мальчишку, иногда и двоих, а когда истерзанные, истекающие кровью дети уползали, били в барабаны и плясали всю ночь напролет.

На третий день их пребывания в Кампамаро семнадцатилетнему Марко Риччоне, который, с тех пор как явились марокканцы, вместе с матерью и младшей сестрой прятался в старом погребе, удалось с наступлением темноты бежать и через горы добраться до Сан-Стефано, где была ферма Тальяферри, человека из Общества чести.

Тальяферри, небольшого роста, иссушенный солнцем крестьянин, много лет проживший в Америке, вызвал трех своих подчиненных по Обществу, и они все вместе разработали план действий. Они понимали, что их слишком мало, чтобы напасть на марокканцев с оружием в руках. Кроме того, они были уверены, что подобное нападение не останется безнаказанным, когда прибудут основные силы союзников, а потому решили покончить с пришельцами старым, испытанным способом. Марко Риччоне рассказал, как обстоят дела в Кампамаро: марокканцы голодают, потому что хлеба нет, весь скот крестьяне забили и съели, оставив только свиней, которых мусульман-

---

НОРМАН ЛЬЮИС — NORMAN LEWIS (род. в 1908 г.).

Английский писатель, публицист, этнограф, путешественник. В годы второй мировой войны служил в английских войсках в Северной Африке. На русский язык переведены его романы «Вулканы над нами», «Зримая тьма», «От руки брата его» («ИЛ» № 9, 10, 1969). Н. Льюисом написано также несколько книг очеркового жанра и социально-историческое исследование «Общество чести» («The Honoured Society», 1964), посвященное разоблачению политической роли сицилийской мафии.
Мы предлагаем вниманию читателя роман Нормана Льюиса «Сицилийский специалист» («The Sicilian Specialist». London, Collins, 1975), публикуемый нами в журнальном варианте.

ская религия запрещает употреблять в пищу. В хозяйствах Сан-Стефано отыскали девять кур, зарезали и впрыснули в мясо мышьяк, а Риччоне согласился отвезти кур в Кампамаро. Ему дали велосипед, и он, повесив кур на руль, отправился по горной дороге назад. Как только он въехал в свою деревню, на него с гиканьем набросились марокканцы. Связав ему большие пальцы рук, они потащили его в хижину, где над ним надругался сначала старший сержант, а потом, согласно чину и старшинству, остальные. После этого зажарили на вертеле кур и съели. А через полчаса или даже раньше яд стал проникать в ткани, нервы, кровь и кости, оказывая парализующее действие. Все внутри у них запылало, и они с воплями кинулись во все стороны, ногтями раздирая тело. Смерть наступала не сразу, один из марокканцев сумел отползти от деревни на целых полмили, где, вгрызаясь в землю, испустил дух лишь восемь часов спустя.

К исходу дня операция была завершена, и у жителей Кампамаро осталось на руках одиннадцать трупов, что несколько осложняло положение, поскольку, по слухам, в округе появились передовые отряды союзников. Выход был найден тем же сообразительным Риччоне, который, притащив брошенный немцами автомат, изрешетил трупы марокканцев пулями, предварительно положив их так, будто они пали с оружием в руках и лицом к врагу.

Сметливость почиталась в Кампамаро еще больше, чем отвага, и в деревне на Риччоне стали смотреть как на героя. Священник Дон Эмилио Кардона перед началом мессы публично обнял его на ступеньках храма. Помещик Дон Карло Манья дал понять, что согласен отдать за него свою дочь, которая, правда, была придурковатой, но зато считалась самой богатой невестой в округе. А старики, которые, никого не допуская в свою компанию, ежедневно и в полном молчании резались в карты в сельской таверне, пригласили его играть с ними. Первые танки союзников вошли в Кампамаро только через неделю с лишним, а к этому времени трупы марокканцев уже немало пострадали от жаркого солнца и несметных полчищ ворон. Союзники не проявили к убитым никакого интереса; ночью трупы увезли и закопали на огородах в качестве удобрения.

Вместе с этим эпизодом закончилось и участие Кампамаро во второй мировой войне, но роль, сыгранная Марко Риччоне в спасении деревни, не осталась незамеченной. Подобные способности не так уж часто проявляются, чтобы ими пренебречь. Удар, который Муссолини в свое время нанес Обществу чести, ослабил и обескровил организацию, и во главе ее осталась сокращавшаяся с каждым годом горстка стариков. Многие из них считали, что ради прилива новой крови необходимо допустить некоторое смягчение суровых требований.

Не прошло и месяца, как в Сан-Стефано, в доме с наглухо закрытыми ставнями, состоялась — что бывало крайне редко — волнующая церемония, на которой Тальяферри и еще трое принимали Риччоне в члены организации. Все пятеро, одетые как на свадьбу, в черные, наглухо застегнутые костюмы, сидели за круглым столом и кухонным ножом, который выполнял роль ритуального кинжала, поочередно пилили себе большой палец руки, пока не появлялась капля крови и не падала, смешиваясь с другими, на листок бумаги со знаками, скопированными с книги святого Киприана, свода заговóров, который всегда можно найти в таких глухих горных деревушках. Потом Тальяферри поднес листок к пламени свечи, сжег его, и церемония завершилась. Не было произнесено ни слова. Пятеро мужчин встали и обнялись.

Марко Риччоне церемония эта запала в самую душу. С этой минуты все прежние привязанности забылись, их место навсегда заняли новые. Теперь он мог не пресмыкаться перед законом, пренебрегать церковными заповедями, ибо те таинственные и молчаливые люди, которые взяли его под свое покровительство, сами диктовали законы и по-своему умели отпускать грехи. От него же требовалась лишь слепая преданность уставу и тем, кто следовал этому уставу, а поскольку богатство и общественное положение не имели большого значения в организации, члены ее могли быть и пастухами, и князьями, но каждого из них можно было тотчас отличить в толпе по той твердости взгляда, по тому зловещему спокойствию, которые появляются от сознания собственной силы и неуязвимости.

Снаружи — полуденное затишье большого и славного города, облаченного в шафран и увенчанного многочисленными куполами, внутри — настороженная апатия среди порыжевших пальмовых листьев в гостинице «Солнце», где каждая пальма стоит как бы среди пустыни. Марко послали на почти безнадежные поиски «Мартини» в городе, который не мог предложить ничего, кроме марсалы, да еще зачастую с яичным желтком. Брэдли остался отбиваться от наскоков Локателли.

— Всякий раз, когда я об этом думаю,— говорил Локателли,— меня пробирает дрожь. Он ведь еще совсем мальчик. Что такое двадцать два года?

Брэдли перестал напевать «Nun ti scorda di me» [1], мелодию, пронизанную ностальгией, которая к концу войны начала овладевать всеми.

— В Сицилии иные понятия о возрасте,— возразил он.— Дети растут здесь быстрее. К двадцати годам это уже взрослые люди, сознающие свою ответственность. На вид он, может, и мальчик, но в действительности серьезный женатый мужчина.

— Ты знаешь, сколько лет его жене?

— Четырнадцать. Ну и что? Таков местный обычай.

— Более серьезного поручения нам еще не приходилось выполнять.

— А может, и не придется.

— Нас выгонят из армии, если что-нибудь случится.

— Ничего не случится. Его прислал Дон К., и для меня этого достаточно. У Дона К. есть голова на плечах. Молодой человек выполнит все, что ему будет приказано. И очень умело.

И Брэдли, сцепив руки, а потом разведя их, словно обхватил и отбросил дальнейшие возражения Локателли. Он сознавал, что в жилах у него течет более холодная кровь, чем у местных жителей, и он не столь импульсивен, ибо вечно занят какими-то расчетами, и потому старался чем-то это компенсировать: он перенял у итальянцев их выразительную жестикуляцию, а также полный набор преувеличенно экзальтированных возгласов. Сейчас он совсем не к месту часто заморгал, а суровый, насупившийся Локателли, который если и жестикулировал, то лишь во время еды, продолжал терзаться страхом и бормотать об опасности.

— Мы спасем Европу,— заявил Брэдли,— и спасти ее нам поможет этот невзрачный на вид юноша. Его ждет великое будущее.

— Нет, таким способом не спасем,— возразил Локателли.— Если мы будем слушаться Дона К., то из всего этого получится лишь куча великомучеников. А если операция сорвется, то нас отсюда выставят. Навсегда.

Брэдли лишь качал головой, наблюдая за ним. Локателли сидел, втянув голову в плечи, и был похож на стервятника. Брэдли старался справиться с охватившим его раздражением. Этот человек, который когда-то был их гордостью, превращался в балласт, и только потому, что заразился пессимизмом. В прежние времена, еще до Пирл-Харбора, он участвовал в создании Центрального управления информации и с энтузиазмом перешел в его филиал — вызывающее зависть и насмешки Управление стратегической разведки, сотрудников которого уже тогда выпускники Вест-Пойнта окрестили «драгунами Донована». На любое дело Локателли шел с байронической яростью и страстью: его не страшили ни норвежские тылы, ни оккупированная Франция. Самого же крупного успеха он почти достиг тайным посещением Муссолини в 1943 году и соглашением с ним, имевшим целью оставить диктатора главой итальянского правительства — тот был готов сотрудничать с победителями и держать свой народ в такой покорности, какую сами союзники не были в состоянии обеспечить. Выполнению этого соглашения, однако, помешали черчиллевские вояки, и с тех пор карьера Локателли пошла под гору. После ликвидации Управления стратегической разведки он достался по наследству ЦРУ вместе, как теперь казалось Брэдли, с кучей других бездельников. Локателли еще не было и сорока лет, а он вдруг превратился чуть ли не в старика: лоб его перерезали морщины, взгляд потух и стал покорным.

Брэдли поднял глаза и увидел Марко, который приближался к ним, мягко ступая в американских офицерских ботинках на резиновой подошве.

[1] «Не забывай меня» *(итал.)*.

— А вот и коктейли,— сказал он.— Прошу тебя, не показывай, что ты в него не веришь. Он очень чувствителен, хотя и не подает вида.— И громко спросил у Марко:— Как это тебе удалось?

— Достал,— коротко ответил Марко.— И предупредил, что «Мартини» должен быть на сухом вине.

Он осторожно шагал по натертому до блеска полу, не спуская глаз с двух стаканов на подносе; лицо его было напряженным, как на свадебных фотографиях или на портретах в честь окончания учебного заведения.

— Настоящий сухой «Мартини»,— сказал Брэдли.— Фантастика, а? Как ты это сумел?

— Мы с барменом из одних мест,— ответил Марко.— Из Кальтаниссетты.— И впервые за всю неделю их знакомства он улыбнулся.

В штабной машине они отъехали от города на пять миль по Саганской дороге и остановились у заброшенной известняковой каменоломни, выдолбленной в склоне горы. Здесь пахло полынью и пустыней. Это было уединенное место, сверкавшее в лучах полуденного солнца клинками света, от которых слепило глаза. Кое-где из земли сочилась известь, и Брэдли заметил, как Марко, шагая по траве, старается не запачкать ботинки. Локателли тащился следом за ними.

— Все идет, как ты предполагал? — спросил Брэдли.

— В точности, — заверил его Марко.— Первого мая в Колло будет большой митинг. Кремона дал согласие выступить, а это значит, что прибудут все провинциальные партийные лидеры. На что мы и рассчитываем.

— Очень рад, если это так. Тем не менее неплохо бы обсудить все детали операции. Сейчас не время для оттоворок и секретов. Нам недостаточно знать, что такой-то человек будет ликвидирован, мы хотели бы услышать, как ты намерен это осуществить.

Брэдли почувствовал, что Марко смущен. Он был похож на стыдливую женщину, у которой выспрашивают подробности близости с мужчиной.

— Их уберут,— коротко ответил он.— Это несложно. Они просто исчезнут, вот и все.

Обычно спокойный и собранный, избегавший резких жестов, молодой человек на сей раз позволил себе рукой подчеркнуть — конец: словно невидимым пером подвел черту в конце страницы.

— Этим ты нам ничего не сказал,— настаивал Брэдли.

Локателли напряженно сощурил глаза, готовясь услышать то, чего ему не хотелось бы слышать.

— На них нападут бандиты,— объяснил Марко.

— Вот как? Бандиты? Неужто наш старый приятель Аттилио Мессина?

— Аттилио — единственный из бандитов, у кого остались силы для такой операции.

— Ну, а ты-то откуда знаешь? И он согласился оказать такую любезность?

— Ему прикажут, и он выполнит приказ.

Не гордость ли слышалась в его тихом, ровном голосе? Трудно сказать. Заяви кто-нибудь другой нечто подобное, Брэдли не стал бы даже смеяться — до того это звучало бы нелепо, но в устах Марко каждое слово было ошеломляюще достоверным.

— Кто же даст такой приказ?

— Одна важная особа.

— Ты имеешь в виду Дона К.?

Марко ничего не ответил, и Брэдли понял, что совершил бестактность.

— Ну, Джон, что скажешь? Как тебе это нравится? Аттилио решит все наши проблемы. Что скажешь?

Локателли смотрел в сторону.

— Я предпочитаю воздержаться от высказываний.

Камень на шее, подумал Брэдли. Порой ему приходило в голову — а не нарочно ли штаб спарил его с этим человеком? Страшась дерзкой смелости, не доверяя проницательности и силе, не поручили ли они Локателли тайную миссию держать его в узде?

Марко остановился, обтер ботинок о пучок жесткой травы. Потом сорванным с куста листком снял комок мела с начищенной до блеска кожи.

— Всю компартию Сицилии уничтожить одним махом! — ликовал Брэдли.— С помощью бандитов. До чего все просто! В любой другой стране это было бы чистейшей фантастикой.

— Здесь это тоже чистая фантастика,— заметил Локателли.

— Мы ликвидируем только руководство,— уточнил Марко.— Их немного, тех, чье влияние на крестьян считается опасным.

— И поднимется шум на весь мир, — сказал Локателли.

— Пожалуй,— согласился Брэдли.— К сожалению, тут ты прав, Джон. Представляешь, какой начнется крик?

— Возмущение общественности будет направлено против бандитов,— опять уточнил Марко.— Бандиты будут действовать по приказу, но об этом никто не узнает.

— Ты думаешь, правда не выплывет наружу? — спросил Локателли.

— Я уверен,— ответил Марко.

— Откуда у тебя такая уверенность?

— Существуют средства обеспечить сохранность тайны.

— Ты можешь говорить прямо, без обиняков? — рассердился Брэдли.

— Кроме нас только бандиты будут знать правду, а их тоже уберут. Как только станет ясно, что от бандитов больше нет пользы, с ними покончат.

«Покончат. Уберут. Слова из моего лексикона, только произнесенные вслух,— подумал Брэдли.— В странном мы живем мире. Эти эвфемизмы несут, должно быть, какую-то защитную функцию... Охраняют воображение от страшной действительности».

Шедший рядом Локателли приблизился к нему вплотную и сухим кудахтающим голосом чревовещателя предупредил:

— ...а задумывался ли ты над тем, что скажет по этому поводу генерал?

— Генерал? — переспросил Брэдли.— Разве Нельсон не прикладывал подзорную трубу к незрячему глазу? Генерал? Почему бы нам не перейти мост, раз уж мы до него добрались, а, Джон? — Он не сводил глаз с трех карликовых теней, что бежали перед ними под полуденным солнцем.— Как называется это место, Марко? Ну, где бандиты прикончат красных?

— Колло. Возле Леркара Фридди.

— Никогда не слышал. Годится оно для операции?

— Митинг состоится на открытой местности, там кругом горы. Естественный амфитеатр из скал.

— Хорошо сказано,— одобрил Брэдли.— Очень наглядно.

— Туда соберутся несколько тысяч крестьян из окрестных селений. Потом, в условленный момент, дороги будут перекрыты, и люди окажутся в западне. А вся эта местность хорошо простреливается из автоматов и минометов.

— Разве у бандитов есть минометы?

— И противотанковые ружья,— ответил Марко.— И новейшие полевые телефоны, и радиопередатчики. Ваша армия дала им все, что они просили, за исключением горной артиллерии.

Брэдли поднял брови и сделал круглые глаза, желая показать, как он удивлен.

— У кого же это они получили такое оснащение?

— У предыдущего генерала,— ответил Марко.

— Да, верно, я совсем забыл. Тогда у них был с нами полный альянс по поводу создания сепаратистского государства Как жаль, что из этого ничего не вышло. Разреши еще полюбопытствовать: где будут полиция и карательные отряды, когда все это произойдет?

— Где-нибудь в другом месте.

— Как все просто: в другом месте. Ты не перестаешь удивлять меня, Марко. Еще вопрос: может ли эта операция сорваться?

— Я вас не понимаю, мистер Брэдли.

— Сколько человек, кроме Кремоны, вы предполагаете ликвидировать?

— Максимум тридцать. В том числе большинство провинциальных партийных лидеров.

— Исключено,— вмешался Локателли.— Об этом не может быть и речи.

— Тридцать — в самый раз,— одобрил Брэдли.— Сто — вот это, пожалуй, было бы многовато.

И хотя Локателли мучили сомнения, он не счел возможным спорить в присутствии Марко и только в отчаянии сжимал и разжимал кулаки.

— Умелая политическая операция в нужное время и в нужном месте,— заметил Брэдли,— не такая уж высокая цена за свободу.

— Бойня — это бойня, как ее ни называй,— возразил Локателли.— Кремона здесь считается героем.

— Считался,— поправил его Брэдли.— Партизанское движение ушло в прошлое. Через сколько времени толпа в Иерусалиме забыла про Иисуса Христа? Эти твои бандиты,— обратился он к Марко,— которых мы, напрасно или нет, снабдили оружием, численностью всегда раз в тридцать уступали войскам безопасности. Как же получилось, что они до сих пор не истреблены?

— Есть вещи, до сути которых не всегда стоит докапываться,— ответил Марко.— Быть может, им еще не пришло время исчезнуть.

— Ну и страна! Ну и страна! — восхищался потрясенный Брэдли, обращаясь к окрестностям, к разрушенным стенам каменоломни и к небу с лениво парившими в нем воронами. Овод впился в шелушащуюся кожу у него на руке и в тот же миг превратился в мокрое место.

А Марко тем временем высказал то, что рано или поздно приходится выслушивать любому иностранцу, если он вступил в разговор с жителем Сицилии:

— За многовековую свою историю наш народ получил немало уроков. Мы научились решать свои проблемы по-своему. Иностранец не всегда способен нас понять.

— Пожалуй, ты прав, Марко. Думаю, что иностранцу вас не понять. Как быстро нам нужно принять решение по поводу твоего превосходного по своей простоте плана?

— Чем скорей, тем лучше,— ответил Марко.— До митинга осталось всего две недели, а такой возможности может больше и не представиться.

Утробный голос Локателли резанул слух Брэдли:

— Генерал вернется из отпуска через неделю. Только через неделю ты сумеешь увидеть его, не раньше.

— Кто сказал, что я должен его видеть? — удивился Брэдли.— Доложим ему, когда все будет кончено.

Они высадили Марко на Куатро Канти и смотрели ему вслед, пока его складная темная фигура не растаяла в людском водовороте. Брэдли свернул на улицу Македа. Из-за нехватки бензина машин было мало, но зато встречались пестро раскрашенные повозки и множество пешеходов, лица которых все еще хранили следы голода военных лет. По десять человек в ряд они шагали к своим любимым барам, там стоя выпивали чашку суррогатного кофе и отправлялись домой на сиесту

Локателли снова заговорил о предстоящей операции:

— Здесь не Италия, а сицилийцы — не итальянцы.

— Ты это уже говорил, Джон. Быть может, разница и есть, но что из того? Почему я должен разделять твои предубеждения?

— Но мы ничего не знаем об этом человеке.

— Во-первых, он от Дона К., а во-вторых, прошел проверку наших органов безопасности. Два года он работал на англичан в Катании, а потом два года на нашей базе в Кальтаниссетте. Я навел справки у командира базы, и он дал о нем самый лучший отзыв. Он сказал, что Марко — единственный из сицилийцев, кто никогда не был замечен в воровстве. И кроме того, по слухам, он из Общества чести.

— Если такое Общество существует,— заметил Локателли.

— Если существует.

— Так что же ты намерен делать? — спросил Локателли.

— Дать плану ход,— ответил Брэдли.

— Большего безрассудства я в жизни не встречал.

— А по-моему, все очень разумно. На словах звучит, конечно, дико, но если как следует вдуматься, вовсе нет. Сицилийцы все равно рано или поздно это сделают.

— Так пусть и делают сами. Зачем нам встревать?

— Чтобы операция не вышла из-под контроля. И я хочу быть в курсе событий.

«И еще,— подумал Брэдли,— я люблю историю и хочу сам ее творить; я люблю эту страну и чувствую, что призван защищать ее».

— Доложи об этом генералу и послушай, что он скажет.

— Он простой солдат, ему это не по зубам. Да и времени нет. Наш босс — человек простодушный, дай бог ему здоровья. Кто был солдатом, тот солдатом и останется.

Они ехали со скоростью пешехода, потому что хотя воронки от бомб четырехлетней давности на этом отрезке дороги и были засыпаны галькой и землей, положить покрытие никто не удосужился.

— Твоя затея — самоуправство в худшем смысле этого слова,— сказал Локателли.

— А я сказал бы: самоуправство невиданного масштаба.

— Когда я думаю о том, что поставлено на карту, меня берет дрожь.

Брэдли хотелось сказать: это — новое смелое предприятие, и мы в нем участвуем рука об руку. Какое значение имеют генералы и политические деятели? *Мы* — новые люди. Задавать тон будем *мы*.

Но он сказал только:

— Тебе надо выпить.

Они добрались до площади Руджеро Сеттимо, где не было никаких достопримечательностей, кроме единственного в Палермо за пределами гостиницы «Солнце» бара, где иногда водился настоящий сухой «Мартини». Здесь они проведут полчаса, и Локателли наверняка вытащит из кармана украшенную автографом фотографию ушедшего в небытие дуче в каком-то странном котелке, которую он всегда при себе носит. «Человек, с которым были связаны все наши надежды,— скажет он, качая головой.— Самый оригинальный философ после Платона». И Брэдли из вежливости согласится с ним.

Свернув на обочину, он выключил мотор и весело хлопнул Локателли по тощей ляжке.

— Не унывай, Джон. Я, может, сумею выхлопотать тебе отпуск по болезни, если хочешь, конечно, и ты съездишь домой, но только после великого события. Только после события.

Марко быстро, насколько позволяла толпа, миновал проспект Виктора Эммануила и, зайдя в пивную «Венеция», остановился чуть поодаль от остальных посетителей, уголщавшихся пойлом из жареных орехов. Ему же подали крошечную чашечку настоящего кофе, ибо бармен хоть и мало его знал, но чутко улавливал исходящие от человеческой души токи. На стеклянной стойке лежали ряды маленьких пирожных из марципанов и яичного желтка. Марко взял пирожное, в два приема проглотил его и тщательно обтер кончики пальцев бумажной салфеткой. Бармен крутился поблизости, поднятием бровей почтительно вопрошая, не угодно ли еще кофе, но Марко покачал головой. Ему не о чем было говорить с этим елейно подобострастным молодым человеком за стойкой. Для Марко этот человек и его болтливые клиенты почти не существовали, хотя они были людьми вполне реальными по сравнению с иностранцами вроде Брэдли и Локателли — те принадлежали к миру призраков, находившемуся где-то в бездонной глубине его собственной вселенной, которая перестанет существовать, как только перестанет существовать он сам.

Когда он выходил из пивной, два-три посетителя обернулись и посмотрели ему вслед Он быстро прошел сто ярдов, отделявшие его от Маротты, где он жил и где его ждала молодая жена. Возбуждение и нетерпение бурлили у него в крови, когда он свернул с главной улицы в узкий переулок, ведущий к глухому, заброшенному тупику — там они с Терезой поселились после свадьбы. Темные первые этажи — настоящие

bassi [1] — занимали здесь десятки самых дешевых в городе и самых замызганных проституток, на верхних этажах, где теснились полуголодные государственные служащие, все еще трепетали на ветру обрывки плакатов с портретами Муссолини. Пройдя мимо «джипа», в котором карабинеры из нового карательного отряда сидели, как едва оперившиеся птенцы на краю гнезда, Марко вошел в подъезд и поднялся на третий этаж.

Он услышал, как зашлепали по голому полу в передней домашние туфли Терезы. Дверь приоткрылась, показалось ее настороженное треугольное личико, затем она сняла цепочку и впустила его. Она обняла его за шею, он прильнул губами к ее губам, ощутил прикосновение ее груди и огромного живота, уловил запах ее тела. Под халатом у нее ничего не было надето, как у любой сицилийки летом в доме, и он, приподняв халат, погладил ее, потом поднял на руки и понес через переднюю в комнату с закрытыми ставнями, все убранство которой составляли лишь полумрак, стол и кровать.

Марко положил жену на кровать и овладел ею с победной агрессивностью, подогреваемый вскриками не то боли, не то удовольствия. Обычно он проводил с нею, согласно традиции и желанию, около часа, иногда и больше, а потом, обессилев, они съедали что-нибудь мучное, и он снова отправлялся на работу. Так проходила сиеста, а по вечерам они рано ложились, чтобы, не теряя ни минуты, вновь предаться любви. Всякий достойный уважения мужчина ежедневно налагал подобную епитимью на свою жену и на себя.

Вдруг Марко заметил на простыне кровь.

— Может, я что-то тебе повредил?

— Нет.

— Ты уверена?

— Конечно уверена.

— А вдруг что-нибудь с ребенком? Давай позовем доктора Белометти.

— Не хочу, чтобы он дотрагивался до меня. Лучше я подниму ноги на подушку и полежу.

Он вспомнил, что это ей помогло, когда в первую брачную ночь у нее открылось сильное кровотечение.

— Я все-таки схожу за доктором Белометти,— решил он.

— Не надо. Позови лучше Бруну.

Бруна была повивальной бабкой. Эта беззубая кудахтающая ведьма, умевшая варить запретные снадобья, пользовалась авторитетом у мысливших по старинке мужей, которые отвергали помощь гинекологов-мужчин.

Но Марко пошел за Белометти, доказав этим, что в случае необходимости способен порвать с традициями.

— У нее с самой первой ночи кровотечения,— объяснил он доктору.— Не часто, но бывают.

Белометти, родившийся в селении из арабских лачуг с навесами на горе Камарата, где достигшая брачного возраста женщина никогда не появлялась на улице после шести утра и где ему еще помнились выставленные в окнах брачных покоев запятнанные кровью простыни, посмотрел на Марко с уважением. Времена изменились, в основном к худшему, но несколько настоящих мужчин все-таки сохранилось.

— Ты хочешь, чтобы я ее осмотрел?

— Да. Не сердитесь, доктор, но, пожалуйста, сперва вымойте руки. Если нужен пенициллин, я могу достать.

— Я верю в провидение, чистые бинты и свежий воздух,— сказал Белометти.— Люди боятся солнца, отсюда и половина болезней. Дéржите ставни закрытыми, и комната превращается в скопище бацилл.

«Крестьяне, переселившиеся в город,— думал Белометти,— но в душе все еще крестьяне, угнетенные чудовищным однообразием крестьянского существования, ищут избавления от него в какой-то необузданной ярости, и кровать в комнате — самое доступное средство, чтобы дать этой ярости выход». Он вспомнил про contadino [2], которому нечего было есть, кроме кукурузной каши, и он жевал стручки горького перца, пока из глаз у него не начинали литься слезы.

---

[1] Трущобы *(итал.)*.
[2] Крестьянина *(итал.)*.

Белометти велел Терезе лечь на бок и принялся ее осматривать; Марко, повернувшись к ним спиной, с тревогой вслушивался в ее учащенное дыхание. Белометти был вторым мужчиной, который видел ее тело и дотрагивался до него. Марко казалось, что она как бы снова лишается девственности, и чем больше он старался думать о том, что доктор беспристрастно и добросовестно выполняет свой долг, как выполнял его уже сотни раз, тем больше мужские достоинства Белометти занимали его воображение. Красота Терезы — густые темные волосы, обрамлявшие лицо с полными губами и большими глазами, характерными для женщин юга, тонкая талия, пышная грудь и широкие бедра — заставляла прохожих на улице смотреть ей вслед, и трудно было поверить, что ее нагота и этот осмотр не вызовут желания у любого мужчины, даже у видавшего виды доктора.

— Пусть она отдохнет день-другой, вот и все,— понизив голос до шепота, сказал Белометти и закрыл свой саквояж.— На этой стадии беременности следует быть осторожней. Она молода, но удачно сложена. Я загляну на той неделе, если не возражаешь.

Он ушел, возле двери еще раз напомнив Марко, что природа — великий целитель и что, по правде говоря, умирать так же естественно, как жить, но его визит ничуть не успокоил Марко. В тот день он боялся уйти из дому, боялся, что Терезу на самом деле мучают боли, но она не признается в этом; боялся, как бы не возобновилось кровотечение.

3

Спустя два дня Марко вместе с Брэдли и Локателли отправился в Монтелупо — деревню, где обосновались бандиты. Марко не советовал американцам ехать с ним, но Брэдли трудно было отговорить. Для этой поездки Брэдли раздобыл где-то «фиат-миллеченто» с палермским номером, и оба американца нарядились на манер коммивояжеров в плохо сшитые костюмы из местной темно-серой ткани. Локателли, опасавшийся, как бы их не похитили ради выкупа, тоже придерживался мнения, что Марко лучше одному ехать к бандитам, и все больше мрачнел по мере того, как Марко показывал им на глухой горной дороге места, где бандиты устраивали засады, и придорожные могилы с букетиками увядших цветов, принесенных скорбящими родственниками. Брэдли вел машину так же, как говорил и двигался,— уверенно и залихватски.

— Что будем делать, если нас в самом деле сцапают? — спросил Локателли.

Брэдли заметил, что чем больше Локателли проявляет осторожность и задумывается над проблемами морали, тем больше его одолевает трусость. Опасность — призрак, прежде изгонявшийся смехом,— теперь стала чем-то осязаемым, реальным. Локателли боялся и вооруженных засад среди скал, и скорости, с какой они неслись по дороге, изобилующей крутыми поворотами и обрывами.

— Этого не случится,— сказал Брэдли.— Мы ничем не рискуем.

— Почему?

— Потому что, насколько нам известно, разведка у этих ребят поставлена превосходно. Они не в ладах с полицией, с войсками, но не с нами.

— А как же те штатские, которых они держали ради выкупа?

— То были итальянцы, а не американцы. Пока что с офицерами союзников таких случаев не было.

— Если нам прикажут остановиться, мы остановимся немедленно,— сказал Марко.— Мы не будем сопротивляться, не попытаемся бежать. И когда мы объясним, кто мы, нас отпустят.

— А сколько их, по-твоему, в этом районе?

Брэдли сосредоточил все внимание на подковообразном повороте впереди. Он взял его с маху, идя по нижней кромке, чуть более скошенной, чем нужно, и, включив скорость у пика поворота, выпустил из-под задних колес фонтан гравия, обрушившийся на стену хвойных деревьев, за которыми скрывался обрыв в сто футов высотой. Машина накренилась, развернулась, ландшафт вдруг сместился. Прямо над головой Локателли увидел известковую скалу и понял, что она уходит в бездну у края дороги справа от него. Он стиснул зубы. Целая армия могла скрываться в густом кустарнике между скал.

— Человек сто или двести, а может, сейчас и меньше,— ответил Марко.— Неко-

торые бандиты приходят в горы только в свободное время. По субботам и воскресеньям, когда им нечего делать или когда на фермах нельзя найти работу.

Локателли поморщился.

— Знаешь, что я сделаю, когда сойду с парохода? — спросил он у Брэдли.— Встану на колени и поцелую землю.

— Уедешь отсюда и начнешь скучать,— заметил Брэдли.— Увидишь, что спокойная жизнь не по тебе.

Показалось Монтелупо — серые обшарпанные строения среди скал.

— Приехали,— сказал Брэдли.— Романтично по-своему, а?

Он замедлил ход, чтобы полюбоваться дикой природой. Вот что такое единство стихий, подумал он: эти громадные белые скалы, словно нарочно нагроможденные друг на друга, ледники и где-то вдали похожие на снег залежи известняка, редкие сосны, завязанные ветром в невиданные узлы; а у подножия — падающая в ущелье вода, и аркадский пастух на вершине, который, стоит его позвать, выкопает из земли ружье и уйдет в банду Мессины. Одним словом, место это еще хранило свою языческую нетронутость, и Брэдли нравилось здесь все.

От главной дороги к деревне вилась узкая разбитая колея, и они, проехав по ней несколько сот ярдов, остановились в тени фигового дерева. Марко ушел на встречу с бандитами. Неподалеку от того места, где они сидели, стоял какой-то барак без окон, в дверном проеме которого копошились темные силуэты людей и коз. Грязный осел, задрав хвост, пустил в их сторону желтую струю. Над головой в покрытых лишайником ветвях трещали насекомые.

— Не могу понять, для чего несколько тысяч солдат и полиция прочесывают остров в поисках этого Мессины,— сказал Локателли,— когда он сидит тут, в своей родной деревне.

— И еще живет вполне уютно,— добавил Брэдли.— Только на прошлой неделе погибло в засадах четырнадцать карабинеров, а главный инспектор полиции поднимается сюда распить с ним бутылку вина.

— Так в чем же дело? — недоумевал Локателли.

— Он им нужен.

— Написать про такое в книге — никто не поверит.

— Книгу не напечатают.

— В двух шагах от нас скрывается шайка бандитов. Самых жестоких в истории.

— И тем не менее тебе угрожает не большая опасность, чем на Девяносто третьей улице в Западной части Нью-Йорка. Наверное, даже меньшая.

— Такого не должно быть,— заявил Локателли.— Этого можно было бы избежать.

В машину, жужжа, влетел огромный, сверкающий на солнце овод. Локателли выгнал его и быстро закрыл окно.

— Чего можно было бы избежать?

— Всей этой неразберихи. Если бы мы решились сотрудничать с Муссолини, не было бы ни одной из этих проблем.

— Не знаю,— сказал Брэдли.— Ты это уже не раз говорил. Но мы не решились. Вот в чем все дело: не решились.

Марко направился в деревенский бар, где его ждал кавалер Санто Флорес. Кавалер, седеющий толстяк лет шестидесяти, ослабевший из-за собственной тучности и больных легких и передвигавшийся только с помощью двух телохранителей, был членом Общества чести и правил большим, но не имевшим определенных границ районом к северо-востоку от Палермо. Процессия медленно проследовала к расположенному в дальнем проулке штабу Аттилио Мессины; телохранители волокли хрипевшего и задыхающегося от астмы Санто Флореса по булыжной мостовой, а Марко из уважения к нему шел сзади. На улице не было ни души, ставни на окнах были закрыты. Они миновали крошечную площадь, где Мессина публично казнил полицейских осведомителей и тех, кто обвинялся в угнетении бедняков, и свернули в проулок к дому матери бандита, у которой он жил, когда не осуществлял никаких акций в горах.

Здесь Санто Флореса, близкого друга нескольких герцогов, человека, получившего свой титул от самого короля Италии, бесцеремонно затолкали вместе с его телохрани-

гелями в какую-то тесную каморку, а Марко повели к Аттилио Мессине. Знаменитый бандит оказался вовсе не таким, каким Марко представлял его себе. Трудно было поверить, что этот франтоватый молодой человек с короткими пальцами и гладко прилизанными волосами мог совершить столько убийств. Распространяя запах одеколона, он вошел в набитую деревенской мебелью комнату, как актер выходит на сцену. Во время войны он партизанил и громил все посланные против него воинские подразделения, изображая, к великому удовольствию певцов — сочинителей баллад, современного Робин Гуда. Англичане, а потом и американцы снабжали его оружием в бредовой надежде, что сумеют каким-то образом отделить Сицилию от Италии, превратив ее в самостоятельное марионеточное государство-колонию, а то и в новый американский штат с Мессиной во главе. Но этот мыльный пузырь лопнул, и теперь союзникам хотелось поскорее обо всем забыть, а для тайной организации, которая взяла бразды правления в свои руки, Мессина превратился в помеху. Уже была дана команда уничтожить его, но прежде ему предстояло выполнить последнее задание.

Марко вручил Мессине письмо от Дона К., в котором, как ему было известно, содержался приказ провести операцию против красных в Колло. Взамен от имени человека, пришедшего к власти и так или иначе державшего под контролем судьбу всех сицилийцев, давалась гарантия, что бандитам будет позволено эмигрировать в Бразилию.

Мессина, не говоря ни слова, вскрыл конверт и вынул письмо. Затем медленно прочел, беззвучно шевеля губами, как это делают полуграмотные крестьяне. Ход его мыслей легко прослеживался по лицу, на котором сначала выразилось хмурое сомнение, а под конец сверкнула удовлетворенная усмешка. Марко с презрением отметил эту неспособность скрывать свои чувства. Впрочем, чего еще ждать от бандита?

Мессина подошел к двери и позвал своего двоюродного брата и заместителя по отряду Аннибале Сарди. Похожий на хорька, с огромными черными, но слишком близко посаженными глазами, в американской офицерской форме и ярко начищенных высоких сапогах, Сарди показался Марко еще более нелепым, чем Мессина. Собственно, люди из Общества чести и бандиты по традиции испытывали друг к другу неприязнь. Члены Общества презирали бандитов за недисциплинированность, горячность, отсутствие твердой цели, а бандиты, в свою очередь, третировали тех, кому, по их мнению, недоставало мужества и кто добивался своего с помощью тайных махинаций. В трудные времена, когда бандиты, нанятые охранять поместья крупных землевладельцев, превышали свои полномочия и подлежали уничтожению, их палачами обычно бывали люди из Общества.

Мессина и Сарди подошли к карте, прикрепленной кнопками к стене в углу. Мессина отыскал Колло, показал его Сарди, и они принялись о чем-то шептаться. Марко тем временем продолжал стоять. Оказанный ему прохладный прием был оскорбительным: по местным обычаям ему должны были предложить сесть и выпить стакан вина, а второй стул следовало подать для его шляпы, независимо от того, была она у него или нет. Но Марко заранее знал, что его ждет. Бандиты Мессины осмеливались наносить оскорбления и угрожать даже людям ранга и престижа Санто Флореса, а члены Общества глотали обиду, ничем не выказывая гнева, отмечая только лица, имена, время и место и занося их в накрепко замкнутые архивы своей памяти. Для Марко происходящее было лишь тренировкой силы духа. Он стоял, засунув руки в карманы, и наблюдал, убеждая себя не испытывать обиды за тех, чей приказ он только что принес.

Через несколько минут его так же молча выставили, лишь кивнув головой, как назойливому нищему. За дверью его ждал, сидя на стуле, Санто Флорес с угрюмыми телохранителями по бокам. Двадцать лет назад Санто Флорес тоже остался бы равнодушен к нанесенному ему оскорблению, но, по мере того как силы его угасали, исчезал и самоконтроль. И сейчас он сидел весь багровый и трясся от ярости.

4

В канун первого мая все участники драмы, которой суждено было разыграться на следующий день, занимали свои позиции. Мрачные бандиты, одетые в новую, с иголочки форму, шагали через горы к месту, где им предстояло устроить засаду. К этому времени они уже почти не сомневались, что конец их близок. Пастухи, привлеченные

к операции, чтобы помочь в переноске тяжелого оборудования, не очень-то слушались и были настроены враждебно, некоторых даже пришлось вытаскивать из дома под дулом пистолета. Как раз перед выступлением Мессина узнал, что Сарди договорился со специалистом по легочным заболеваниям из Палермо и тот готов в случае необходимости дать ему алиби, подтвердив, что первого мая он проходил обследование в клинике.

Тысяча, а то и больше крестьян из десятка окрестных деревень собрались в Мьере, маленьком городке у подножья горного перевала Колло, где на следующий день должен был состояться политический митинг. Они заняли гостиницы и свободные комнаты в частных домах, а те, кому не хватило места, расположились прямо на улице. Митинга такого размаха Западная Сицилия не видела со времен прихода фашистов к власти, но большинство крестьян явилось скорее ради festa[1], ярмарки скота и зрелищ, нежели ради политики. Когда Брэдли, Локателли и Марко в старом, тарахтящем «милленто» въехали в город, уже наступила безлунная, пахнущая травой ночь. Локателли сначала отказался принимать участие в экспедиции, но в конце концов, после того как Брэдли пошел на радикальные изменения в плане, решил поехать с ними. Брэдли, видя, что ни один из его доводов в пользу так называемой «экономии террора» не подействовал, согласился на требования Локателли, так как боялся остаться в одиночестве. Было решено, что Кремону и секретарей провинциальных партийных организаций не убьют, а выкрадут и удалят с политической арены до конца избирательной кампании.

Однако на просьбы Локателли не связываться с Доном К. он ответил отказом.

— Не понимаю, при чем тут этот человек? — сказал Локателли.— Можешь ты мне объяснить, почему он обязан нам помогать?

— Он наш должник,— ответил Брэдли.— И его устраивает, что мы участвуем в этом деле совместно.

— Почему?

— Почему? Хотя бы потому, что прикрываем друг друга.

— Мне совсем не хочется служить прикрытием для этого человека.

Для них были заказаны комнаты в местной locanda[2]. Брэдли и Локателли отправились прогуляться по городку, а Марко пошел на встречу с представителем бандитов. Они смотрели ему вслед, пока он не растворился в праздничной толпе, заполнявшей освещенную яркими фонарями улицу.

— Случалось ли тебе предвидеть события? — спросил Брэдли.

— Нет, пожалуй.

— А мне иногда видится предстоящее, словно через темное стекло,— сказал Брэдли.— Этот молодой человек вызывает у меня странное ощущение, которое я даже не в состоянии описать. Мне кажется, он способен на гораздо большее, чем нынешняя операция. У меня есть планы на его счет.

— Он лишен нравственности,— заметил Локателли.

— Как раз наоборот. Только его нравственность отличается от нашей.

— У меня было с ним несколько занятных бесед,— сказал Локателли.— Его интересует только одно: его семья. Прочее, в том числе и мы с тобой, для него не существует. Вот что следует помнить.

— Я бы этого не сказал.

— Такое можно встретить только в Сицилии. Семья — главное, а на все остальное наплевать.

— Он может оказаться весьма полезным для нас — я имею в виду не только сегодняшнюю операцию,— заметил Брэдли.— Такого парня я бы не прочь иметь под рукой.

С посланцем бандитов Марко встретился в баре на окраине городка. Не узнать его было нельзя: он был в городском белом плаще с подбитыми ватой плечами и выставлял напоказ часы с календарем и два толстых золотых перстня. Этот девятнадцатилетний розовощекий сын фермера по фамилии Кучинелли был самым добродушным и одновре-

[1] Празднества *(итал.)*.
[2] Гостинице *(итал.)*

менно самым жестоким из бандитов: он отправил на тот свет восемнадцать человек. Марко вывел его из бара на улицу, и ночь огласилась бессмысленным смехом Кучинелли. Мессина выбрал для этого задания именно его: он знал, что если карабинеры попытаются задержать Кучинелли, тот ни за что не дастся им в руки живым, чтобы не выдать под страхом пыток план проведения операции. Кучинелли доложил Марко, что бандиты уже заняли позиции в горах, откуда легко просматривается открытое пространство, где должен состояться митинг, и что они начнут операцию ровно в девять утра. В свою очередь Марко объявил ему, что приказ изменен и что Кремону с друзьями следует взять живьем. Кучинелли хихикнул в знак согласия, заставил Марко на прощание стерпеть свое объятие и подарил ему две американские сигары, которые Марко из вежливости взял, но выбросил, как только Кучинелли скрылся из виду.

Затем Марко навестил другого бандита, который был бандитом, так сказать, по совместительству, а когда хватало работы, чтобы прокормить семью, шил упряжь. Марко дал ему конверт с двадцатью тысячами лир и велел, взяв двух приятелей, отправиться в деревню Фермагоста, в десяти милях к востоку от Мьеры, и там ранним утром закидать холостыми гранатами полицейский участок, причем постараться, чтобы операция тянулась как можно дольше. Несмотря на отданный на высоком уровне приказ убрать силы общественной безопасности из округи и тем самым предоставить бандитам полную свободу действий, тридцать два человека из карательного отряда по какому-то недосмотру остались на своем посту в Мьере, и Марко надеялся таким способом отвлечь их внимание.

Брэдли и Локателли переходили от одной группы к другой, разглядывая семьи, сидевшие на корточках, будто ведьмы на шабаше, возле котлов, где варилась требуха к ужину; детей, окруживших передвижной кукольный театр и кровожадно приветствовавших убийство сарацинов крестоносцами; толпу, зачарованно слушавшую уличного певца, который пообещал, несмотря на полицейский запрет, воспеть подвиги Аттилио Мессины.

У Локателли на нервной почве зачесались шея и подбородок. После ухода Марко он почувствовал себя окончательно брошенным на произвол судьбы и беззащитным.

— Куда пошел Риччоне, как ты думаешь? — спросил он у Брэдли.

— Он сказал, что идет повидаться с приятелем. Наверное, это просто предлог, чтобы отделаться от нас.

— Какой-то он сегодня тихий.

— А я ничего не заметил.

— Нервы сдают, наверное.

— Только не у Марко. У Марко стальные нервы. Может, дома что-нибудь случилось. Его жена чувствует себя неважно. Но в чем дело, он не сказал.

— Удивительно, как он вообще об этом упомянул.

— Пришлось. Она не доверяет их доктору и ходит к повивальной бабке. А он боится, что она подхватит какую-нибудь инфекцию.

— Так плохо здесь лечат?

— Конечно плохо. Если говорить о повивальных бабках в деревне, то эта страна находится на одном уровне с Африкой. Мыло и вода под постоянным запретом.

— А с чем он обратился к тебе?

— Он спросил, есть ли у нас в армии гинекологи.

— Есть?

— В каждом госпитале есть гинеколог. Наверное, для медсестер. Одним словом, я договорился, что врач примет его, как только мы вернемся.

— Завтра, надеюсь,— сказал Локателли.

— Разумеется, завтра. Не беспокойся, Джон, все это займет не больше двух часов.

У Локателли опять зачесалась шея. Какой-то испуганный малыш, в которого попала искра из костра, с воплем ткнулся прямо ему в ноги; Локателли хотел успокоить его кусочком шоколада и сунул руку в карман, но там было пусто.

— Я все время думаю об этом, Роналд.

— Я знаю, Джон. Так уж ты устроен. Перестань беспокоиться и пойми, что на этой стадии мы уже ничего сделать не можем.

— По-моему, мы встали на очень опасный и потенциально бесчеловечный путь. Только посмотри на этих детей. Их тут полно.

— С ними ничего не случится. Их никто не собирается обижать.

— Ты уверен, что не будут стрелять из минометов?

— Совершенно уверен.

— Потому что прицельного минометного огня не бывает. Мне, по крайней мере, видеть не довелось.

— Минометов не будет,— заверил его Брэдли.—Как мы договорились, дадут несколько выстрелов в воздух, толпа бросится бежать, и бандиты схватят красных. Назначено это на девять утра. Тогда же начнутся скачки мулов и парад повозок, все дети будут там. Место это в два раза больше футбольного поля. В одном конце происходят все зрелища, а в другом — политический митинг. Те люди, которые собираются развлекаться, даже не будут знать, что делается на другом конце. Успокоился?

— Нет, не успокоился,— ответил Локателли,— потому что в подобных операциях часто все бывает совсем не так, как задумано. Слишком много мне довелось видеть типичных военных накладок. Я успокоюсь только тогда, когда все будет позади.

— Тут никакой накладки не случится, потому что разработала эту операцию головка совсем не военная. Десять минут — вот и все, что требуется для нашей маленькой операции, а потом мы можем ехать домой.

— Хотелось бы верить этому,— отозвался Локателли.— Ох, как бы хотелось!

Спали они плохо. Из тьмы доносились смех, грубые шутки и звуки шарманки, эхом разносившиеся по глухим улочкам. За завтраком Локателли попробовал козьей сыворотки с хлебом и отодвинул от себя миску.

— А где Марко? — спросил он.

— На крыше с биноклем,— ответил Брэдли. Для такого дня он был удивительно спокоен.

— Куда, по-твоему, понеслась вдруг вся полиция?

— Могу сказать: в Фермагосту. Там сегодня утром было совершено нападение на бараки карабинеров.

— Далеко это отсюда?

— Нет, но на сегодня они уже вышли из строя. Чтобы не нарваться на засаду, им придется идти туда пешком.

— Какое совпадение!

— Я бы этого не сказал,— отозвался Брэдли. Он позволил себе улыбнуться всезнающей самодовольной улыбкой, но тотчас же осторожным взглядом окинул маленькую голую комнату, убранную бедно, но со вкусом. В дальнем углу двое крестьян в толстой праздничной одежде молча ели кукурузную кашу. Над подношением из восковых хризантем мадонна, прижимая к груди обезьяноподобного младенца, безучастно взирала на происходящее.— Все будет прекрасно,— заверил он.— Политиканы полчаса назад ушли вместе с оркестром, но на площади осталось еще человек пятьсот — шестьсот.

— Митинг собрал больше народу, чем я думал,— сказал Локателли и опять почесался. Нервный зуд перекинулся на горло.

— Марко считает, что из Мьеры придет около тысячи человек. А с другой стороны перевала, наверное, раза в два больше.

— Слишком много народу. Что-нибудь обязательно пойдет не так.

— Почему обязательно? Вовсе нет.

— Начнется стрельба. Ты сам сказал, что выстрелы должны обратить толпу в бегство. Собьют с ног детей и помчатся по ним. Многие погибнут в панике.

— Надеюсь, этого не случится,— сказал Брэдли.

— От твоей надежды мало проку.

— Разумеется, несчастные случаи не исключены. Мы должны быть готовы к тому, что несколько человек пострадают. Но на это стоит пойти ради положительных

результатов операции. Нацисты обращали в паническое бегство толпы на дорогах Франции. После этого в сражениях уже не было необходимости. Народ надо отпугнуть от красных. Подобная акция может приостановить политическую борьбу на этом острове на целое десятилетие.

— Террор — плохой помощник,— возразил Локателли.

— К сожалению, хороший.

— Нужно убеждать людей, а не терроризировать. Если эта операция превратится в бойню, положение станет в сто раз хуже.

— Десяток переломанных костей — это еще не бойня,— сказал Брэдли.— Не будем утрачивать чувство перспективы.

Последняя в процессе шарманка на запряженной осликом тележке заиграла старую популярную мелодию «Mamma sono tanto felice» [1]. Локателли почувствовал, что на глазах у него выступили слезы. Он был растроган.

— Есть ли на свете такой народ, который все эти годы продолжал бы распевать серенады своим матерям?

— В прошлом месяце они единодушно проголосовали за красного на предварительных выборах,— сказал Брэдли.

Он положил ложку на стол и примирительно улыбнулся. Когда-то Локателли вызывал у него чувство восхищения, ибо был способен попирать все законы, пренебрегая последствиями. Но постепенно вместе с физическими силами ушло и мужество. Теперь каждую проблему он рассматривал с двух сторон, и к исходу операции им овладевала жалость, вызванная частично слабостью, а частично нервным истощением. В этот раз было бы куда разумнее обойтись без него. На следующей встрече с генералом Брэдли попробует как можно деликатнее затронуть вопрос о замене.

— Уж не собираешься ли ты выйти из игры, Джон? — тихо спросил он.— Выйти из игры и оставить меня одного?

Через час городок был пуст. Локателли подошел к окну, надеясь еще раз услышать слабый напев шарманки, но до него донеслось только воробьиное чириканье. Поросшие рядами рыжих кустов горы окружали Мьеру, но даже в бинокль Брэдли не заметил на склонах никакого движения.

Подъехала машина с Марко за рулем, и Локателли первым сошел вниз.

— Ты что-то притих. Perchè stai zitto? [2] Тебя что-нибудь тревожит?

— Нет, мистер Локателли.

— Думаешь, все будет в порядке?

— Все будет в порядке.

— Они все там?

— Большинство. Митинг уже начался.

— А наши друзья?

— Готовы к действию. Вчера вечером я разговаривал с их человеком.

— Думаешь, на них можно положиться?

На гладком, ничего не выражающем лице деревенского жениха промелькнула ехидная усмешка:

— Это — бедные глупые люди, мистер Локателли, но приказ они обязаны выполнить.

Стуча каблуками, спустился по лестнице Брэдли. Глаза его блестели, лицо было напряженным от возбуждения. Радостное предчувствие бурлило в крови, убеждая, что эта операция будет большим козырем в его карьере. Он улыбнулся Локателли и, обняв Марко за плечи, легонько хлопнул по спине.

— Сколько времени нам требуется, чтобы добраться до места, а, Марко?

— Десять минут. Может, и меньше, если дорога свободна.

— Да что ты говоришь? Тогда лучше приехать раньше, чем опоздать на представление.

Брэдли сел за руль «фиата», и они тронулись в путь. Проехав пять миль по извилистой, разбитой и пыльной дороге, они почти добрались до перевала. Но тут им

[1] «Мама, я так счастлив» *(итал.)*.
[2] Почему молчишь? *(итал.)*.

пришлось сбавить скорость — крестьяне, шедшие целыми семьями, с овцами и ослами, занимали всю дорогу. Марко наклонился и тронул Брэдли за рукав.

— Если хотите все видеть, остановитесь здесь.

Брэдли съехал с дороги и выключил мотор. Они вылезли из машины, поднялись по склону и огляделись. В двух милях от них вздымалась к небу уродливая вершина горы Пиццута, на которой в засаде сидел основной отряд бандитов. А за перевалом туманился похожий на пирамиду пик Кумета, где набранные в помощь пастухи под дулом бандитских винтовок готовились напасть на толпу крестьян с тыла. Колло лежал между этих двух гор, среди огромных валунов, занесенных туда еще в доисторические времена.

— Прямо как на луне,— сказал Брэдли в удивлении и восторге и широко раскинул руки, словно желая обнять пейзаж. Картина, представшая его глазам, была чуть не в фокусе, ее окаймляла радужная полоска, а на мрачном скалистом хребте, казалось, горел огонь. Ветер, гуляя по острым как бритва вершинам, посвистывал, точно стрижи в небе. В нескольких сотнях ярдов от них группа крестьян обнаружила более короткий путь вниз по склону горы — на таком расстоянии они походили на людей с картин Брейгеля и, казалось, ползли, как крабы. Однако человеческий муравейник в Колло разглядеть было трудно.— Придется нам пробраться поближе.

— Вы хотите въехать в Колло на машине, мистер Брэдли? — осторожно спросил Марко.

— А почему бы и нет? Отсюда ничего не видно.

— Там может не оказаться безопасной стоянки.

— Давай все-таки попробуем.

Они влезли в «фиат» и поехали дальше, у подножия Пиццуты свернули прямо в Колло и вклинились в гущу крестьянских повозок, запрудивших дорогу, потом вышли из машины и очутились в самой середине шумящей толпы. Куда девалась присущая сицилийцам сдержанность! Люди весело окликали друг друга, стараясь перекрыть игрушечные дудки и свистульки, звуки шарманок и крики балаганных зазывал. Молодые фермеры состязались в верховой езде на мулах, притворяясь, будто не умеют ими править. От толпы пахло кожей, коровьим потом, веревочными подошвами и дымом очага. Было много женщин с грудными младенцами. Интересно, подумал Брэдли, есть ли какой-то политический смысл в том, что на голове у большинства мальчишек красные бумажные пилотки?

Вскоре они увидели, что люди собрались вокруг огромного валуна, с плоской вершины которого оратор обращался к толпе. Кремона уже начал свою речь. Он был партизаном, героем трех схваток с немецкими фашистами в районе Удине, потерял там кисть руки, был взят в плен, гестапо пытало его в бараках Пальмановы, но он сумел оттуда бежать и вновь принял командование бригадой Гарибальди. Сейчас вместе с восемью своими спутниками он стоял под красным знаменем, засунув протез в карман куртки, и усиленно жестикулировал здоровой рукой, словно отгонял назойливого москита. На таком расстоянии было трудно разобрать, о чем говорил герой своим тонким высоким голосом. В ожидании операции нервы у Локателли опять начали сдавать: у него схватило живот.

Было уже четверть десятого, операция задерживалась на пятнадцать минут. Брэдли то и дело поглядывал на часы, опасаясь, что в любой момент Кремона может закончить речь, слезть с трибуны и скрыться из виду.

— Что там случилось? — шепотом спросил он у Марко.

— Наверное, не рассчитали, сколько надо времени, чтобы спуститься с горы.

— А где, по-твоему, сейчас наши приятели?

— Может, и здесь, в толпе, пробираются поближе к оратору.

— А вдруг он кончит говорить? Что тогда?

— Он проговорит самое меньшее еще час.

Локателли не мог слышать их разговора. Брэдли одарил Марко своей макиавеллиевской улыбкой.

— Они понимают, что если не удастся взять живьем, то надо ликвидировать его любым способом?

— Да, понимают.

В эту минуту Марко волновало только одно: как бы побыстрее завершить операцию — при условии, разумеется, что шефы останутся удовлетворены ее исходом. Ко всему прочему он был безразличен и думал только о Терезе. Накануне ночью она опять жаловалась на боли.

Брэдли снова заговорил — его, видимо, обуревали те же заботы, что и Марко:

— Будем надеяться, что все пройдет как надо.

— Будем надеяться, мистер Брэдли.

— Вы слышали? — спросил Локателли.

— Что? — поинтересовался Брэдли.

— Какой-то хлопок. Похоже на выстрел.

Брэдли прислушался.

— Фейерверк,— сказал он.— И ракеты. Здесь всегда на праздник устраивают фейерверки.

Подобно тому как люди из Общества чести руководили бандитами и пользовались их услугами, так и бандиты, в свою очередь, пользовались услугами жалких пастухов, многие из которых в трудные времена не гнушались заниматься бандитизмом по собственному почину, но в общем предпочитали, чтобы их оставили в покое и дали возможность пасти стада. Готовясь к операции в Колло, бандиты разыскали пятьдесят три пастуха. Трое из них сбежали — одного ранили, но он все равно сумел уползти от бандитов. Каждому пастуху вручили легкий карабин, но патроны для верности несли шестеро бандитов, не спускавшие глаз с пастухов. Кроме того, они несли радиопередатчик, которым умел пользоваться один из них и с помощью которого они поддерживали связь с основным отрядом. Пастухи и их стражи заняли позиции на склонах пирамидальной Куметы как раз перед наступлением темноты. Согласно плану на следующее утро по радиосигналу Мессины им предстояло спуститься с горы, зайти праздничной толпе в тыл и захватить или, в случае необходимости, убить руководителей митинга, которым удастся ускользнуть, когда Мессина нанесет главный удар. А чтобы пастухи не сбежали, бандиты, уже измученные долгим переходом через горы, были вынуждены еще и стеречь их всю ночь.

Слух, что их ждет западня и что командиры намереваются их бросить на произвол судьбы, подорвал дисциплину среди бандитов. Они понимали, что без пастухов им не обойтись, и вместе с тем до наступления часа атаки боялись раздать патроны. После бессонной ночи нервы у них сдали. Даже жующие траву овцы казались им людьми, прячущимися среди скал. Утром удалось установить радиосвязь с Мессиной, который находился на Пиццуте, и бандиты несколько успокоились, но затем, когда до начала операции оставались считанные минуты, непредвиденное обстоятельство нарушило все планы. Двое парней из Мьеры, подцепив какую-то заезжую проститутку, отправились на поиски укромного места и наткнулись на засаду бандитов. Всех троих тут же схватили и связали. Один из парней оказался двоюродным братом радиста, и от него бандит узнал, что в Колло пришли и его дядя с теткой. Понимая, что будет убито немало народу, радист внезапно нырнул за скалу и бросился бежать. В погоню за ним пустились два его товарища; пятеро пастухов тотчас воспользовались сумятицей и тоже сбежали. Началась перестрелка между бандитами и дезертирами, но никто не был ранен. В результате радиопередатчик вышел из строя, и всякая связь с основным отрядом прервалась.

Радио молчало, и бандитов на Пиццуте тоже охватило уныние. Это были люди хоть и необразованные, но от природы смышленые, обладавшие обостренным чутьем и способные почувствовать приближение смерти почти как запах. По склонам Пиццуты от одной группы к другой, словно по воздуху, передавались слухи. Теперь уже все были уверены, что полиция и карабинеры решили забыть свою традиционную вражду и сообща приступить к уничтожению бандитов. Некоторые утверждали, что слышали стрельбу в районе Куметы, объясняя это внезапным нападением временно объединившихся сил порядка.

Основной отряд бандитов был разделен на три группы с пулеметом марки «бреда» и трехдюймовым минометом в каждой. Хотя минометами и было запрещено пользоваться, их прихватили на всякий случай. В начале десятого, когда напряжение достигло предела и связи с Куметой не было уже пятнадцать минут, дозорный, выставленный на

высоком склоне Пиццуты, сообщил, что в тыл бандитам заходит отряд человек в тридцать. Вокруг Мессины поднялась волна паники, и ему пришлось вытащить пистолет. Он не верил, что появление этих неопознанных людей предвещает опасность,— скорее то были крестьяне, шедшие на митинг, чем полицейские в штатском, посланные, чтобы нанести предательский удар. Однако времени на выяснение не было, первоначальный план рухнул из-за молчания на Кумете, и западня, так искусно подготовленная, перестала существовать. Если бы Мессина сейчас отдал приказ спуститься с гор и захватить Кремону и его товарищей, никто не помешал бы им бежать — тыл у них был открыт. Но разрабатывать новую стратегию было некогда, кроме того, Мессина не знал, сколько еще он сумеет держать в руках свою банду. Ждать уже не было сил, наступило самое время действовать. И Мессина дал знак пулеметчикам открыть огонь.

Джузеппе Кремона — руководитель сицилийской коммунистической партии — сразу понял, что представляют собой еле слышные хлопки, которые заставили нескольких его слушателей поглядеть на небо в поисках ракет. Он повидал немало сражений и стычек и умел распознавать станковый пулемет по его медленному равномерному стуку.

— Берегитесь! — крикнул он и замахал руками, как большая птица, пытающаяся взлететь, но хотя в отдельных местах пули попали в цель и началось волнение, в целом было невозможно объяснить толпе, что происходит. Восемь секретарей провинциальных партийных ячеек торжественно сидели на стульях за спиной у Кремоны, и третья очередь пулемета Мессины свалила четверых из них. Один бросился к Кремоне, показывая руку — три пальца держались лишь на лоскуте кожи. Кремона хотел было утешить его и обнять, но пуля впилась ему в горло. Секунду Кремона стоял, качаясь, потом рухнул навзничь.

Как и Кремона, Брэдли был поражен медлительностью, с какой реагировала на все это толпа, жестами и криками выражавшая скорей недоумение, чем страх. Первым побуждением людей было не бежать, а как в стаде прижаться друг к другу. Пулеметчикам Мессины издали казалось, что плотная масса словно бы ежится от прикосновения пуль — так вздрагивает всей шкурой лошадь, когда ей досаждают насекомые. Вскоре уже все пулеметы открыли огонь, а бандиты, вооруженные винтовками, палили наугад, не давая себе труда прицелиться. Толпа начала разбегаться. От нее отделилась охваченная страхом группа и, не очень понимая, откуда идет стрельба, бросилась к Пиццуте в поисках укрытия. Бандиты, совсем ошалев, открыли огонь из минометов. Стреляли они неумело и наугад, мины падали то в толпу, то вокруг, одни не причиняли никакого вреда, другие убивали людей наповал.

Страх, думал Брэдли,— заразительное и опасное чувство, дикий зверь, которого следует укрощать и подавлять силой взгляда. Прямо на него шел человек в франтовато костюме, вместо лица у него была кровавая маска, в которой различалось лишь отверстие, где раньше был рот. Поблизости разорвалась мина, и в воздух взлетели какие-то тряпки и куски — должно быть, попадание было прямое.

Потом неистовый гул несколько стих, и Брэдли вдруг заметил, что Локателли и Марко исчезли. Он был спокоен, но ему не хватало дыхания, как бывает, когда взбежишь вверх по лестнице. Крики умолкли, издалека доносились лишь отдельные выстрелы. Крестьяне вокруг него медленно, устало задвигались. Где-то позади ворчливый старческий голос не переставая жаловался на боль.

А тем временем на Кумете после короткой стычки с пастухами бандиты обратились в бегство. На Пиццуте Мессина приказал отходить, но одна отдаленная группа, с которой он не мог связаться, продолжала для бодрости духа беспорядочно и бесцельно стрелять по толпе. У Брэдли было такое ощущение, словно из него выпустили воздух — остались лишь грусть и пустота. Так бывает после близости с женщиной, подумал он.

Откуда-то вновь возник Марко, стряхивая пыль с темного костюма. Лицо его, как всегда, было бесстрастно.

— Произошло что-то не то, а? — спросил Брэдли.

— Слишком много стрельбы,— отозвался Марко.— Кремона убит,— поспешил добавить он, инстинктивно чувствуя, что эта новость отчасти оправдает провал первоначального плана.

Брэдли попытался придать лицу столь же невозмутимое, как у Марко, выражение.

— А люди, которые были с ним?

Марко ответил готовой зашифрованной фразой:

— По-моему, их тоже вывели из строя, мистер Брэдли.

— Всю компанию? Господи боже! Мессина, должно быть, рехнулся.

— Он всегда был ненормальным,— заметил Марко.— Но теперь он и ненормальный, и один. Теперь у него нигде не осталось друзей.

Интуиция подсказала Марко, что Брэдли не слишком огорчен тем оборотом, какой приняла операция. Он с самого начала не сомневался, что последние указания Брэдли о сокращении масштабов операции не следует принимать всерьез. Они поняли друг друга и обменялись заговорщицким взглядом. «Нам не хотелось бы иметь на своей совести массовое убийство,— сказал тогда Брэдли и тем же тоном, каким он призывал к осторожности и умеренности, добавил: — Но лично я не стал бы расстраиваться, если бы кое-кого как следует проучили».

Пожелание Брэдли, высказанное в форме достаточно прозрачного намека, совпадало с желаниями шефов Марко. Приспела пора ликвидировать бандитов, а крестьян уже давно следовало проучить. И Марко сам через своего друга Тальяферри посоветовал одним выстрелом убить двух зайцев. Крестьяне, разумеется, никогда не забудут этого побоища и вскоре узнают, кто его учинил. Бандиты же не могут существовать без тайной помощи со стороны крестьян: последние обеспечивали их едой и кровом и сообщали им, где находятся войска и полиция. А теперь крестьяне обратятся против бандитов, и Обществу чести легко будет расправиться с ними.

— А где Локателли? — спросил Брэдли.

— Помогает раненым.

— Что ж, пойдем и мы,— сказал Брэдли.— Наш долг — помочь этим людям всем, что в наших силах.

5

Два месяца пролетело без особых забот и хлопот. Марко продолжал работать на складах базы в Кальтаниссетте, занимаясь контрактами с гражданским населением. Благодаря ему застрявшие на острове остатки войск союзников снабжались самым спелым и сочным виноградом и отличными помидорами, причем по такой низкой цене, что с ней не мог конкурировать ни один оптовик в Палермо. Полковник повысил ему жалованье и предоставил в его личное распоряжение «джип». Питался Марко в офицерской столовой, но держался отчужденно, хотя и с молчаливой учтивостью, и никогда не входил в бар. Полковник, заметив, что если Марко отлучается, то всегда с разрешения штаба, заподозрил, что он представляет собой нечто большее, чем можно было предположить, и пригласил его на обед в модный ресторан «Ла Паломина», но Марко тактично уклонился от приглашения.

Дома у него все складывалось удачно несмотря на то, что время было трудное. Тревожные симптомы у Терезы к его возвращению из Колло исчезли и больше не появлялись. В течение недели он не прикасался к ней, но затем близость снова стала пылкой, как прежде. Хоть он и суетился вокруг нее, заставляя сегодня глотать гомеопатические лекарства и шарлатанские средства, а завтра делать уколы и принимать огромные дозы витаминов, здоровье Терезы оставалось отличным.

Марко регулярно посылал деньги матери и старшему брату Паоло, который так и не оправился окончательно после войны и двухлетнего пребывания в английском лагере для военнопленных. Сестра его Кристина, сбежавшая в 1943 году с офицером из армии союзников, отыскалась наконец в Катании, где зарабатывала себе на жизнь проституцией. Марко послал туда священника, чтобы уговорить ее изменить образ жизни, и пообещал дать ей в приданое сто тысяч лир. Она собиралась в самом скором времени выйти замуж за мастера с фабрики пластмасс. Марко настоятельно уговаривал

мать и брата переехать к нему в Палермо, но им, по-видимому, нравилось жить в горном селении, и они под разными предлогами отказывались.

В середине августа полковник передал Марко записку от Брэдли с приглашением встретиться в парке делла Фаворита. Марко отправился туда без особого желания, сразу почувствовав, что его ждет неприятность. Брэдли, которого он не видел с мая, крепко пожал ему руку, одарив актерски искусной улыбкой, и дважды поблагодарил за приход. Они сели в тени пальм на чугунной скамье викторианских времен, но американец не спешил приступить к делу.

— Когда же вы ждете ребенка?

— Через два месяца.

— Прекрасно,— сказал Брэдли.— Ты, наверное, очень волнуешься?

— Мы оба волнуемся.

— Она будет рожать дома?

— В больнице Сант-Анджело.

— Превосходное заведение. Говорят, оно оборудовано по последнему слову техники. Там за ней будет отличный уход.

— Меня познакомили с главным гинекологом,— сказал Марко.

— Замечательно! Как хорошо, когда кругом друзья. А что ты собираешься делать потом?

— Как только Терезе будет можно, мы поедем отдыхать на озера. В Сирмионе.

— Там отлично. Особенно в это время года. Нет такой жары. И Сирмионе вам понравится. Скромное место, но удивительно приятное. Я его хорошо знаю.

— Что слышно о мистере Локателли? — спросил Марко.

— Он мне не пишет,— ответил Брэдли.— Ты ведь знаешь, он вернулся в Штаты.

Его лицо, уже отмеченное в нескольких местах печатью возраста, стало твердым и словно расчерченным рукой художника-кубиста на квадраты и треугольники. По привычке он то и дело настороженно поглядывал вокруг, но в этом месте вряд ли кто мог ими заинтересоваться. Неподалеку от них старик мусорщик собирал на острие палки жесткие листья, опадавшие с экзотического дерева летом, и фыркал от удовольствия всякий раз, как ему удавалось проткнуть очередной лист. Чуть поодаль нянька, наряженная на манер конца века в кружевной чепец, крахмальные манжеты и нитяные перчатки, сидела под зонтиком, присматривая за двумя детьми.

— У нас большие неприятности, Марко,— сказал Брэдли.— Операция в Колло обернулась против нас.

— Я не понимаю вас, мистер Брэдли.

— Кто-то рассказал о ней одному сумасшедшему сенатору у нас дома и составил докладную, где приведены все подробности. И, между прочим, число пострадавших.

— Несмотря на то что эти сведения никогда не публиковались даже здесь?

— Несмотря на это. Более того, названы все участники. В том числе и я, разумеется.

— Вы знаете, кто мог передать эти сведения?

— Пока лишь предполагаю, поэтому не будем больше об этом говорить. Ты, конечно, понимаешь, кого я имею в виду?

— Только пять человек знали все подробности операции в Колло, мистер Брэдли. В том числе и мистер Локателли. Мистер Локателли был очень огорчен тем, что произошло.

— Вот именно. И начал пить больше, чем следует. Однако не будем об этом говорить, я тебе уже сказал. Пусть все так и останется. Беда в том, что может разразиться страшный скандал. Пока еще до газет ничего не дошло, но если они узнают, то делом этим не преминут воспользоваться на выборах. Противники президента, ради того чтобы дискредитировать администрацию, не остановятся ни перед чем. Не исключено, что сюда пришлют комиссию из конгресса.

— Для чего?

— Собрать факты и опросить свидетелей.

— В Сицилии не принято давать свидетельские показания.

— Да, это, конечно, облегчает дело.— Лицо Брэдли растянулось в улыбке, потом, словно лопнувшая резина, снова сжалось.— А как насчет бандитов, которые все это устроили? Почему они до сих пор не ликвидированы? Если какое-нибудь заинтересованное лицо доберется до них, нам несдобровать.

— Произошла непредвиденная задержка,— ответил Марко. Язык у него стал более казенным из-за многочисленных писем, которые ему приходилось сочинять на службе.— Однако мы считаем, что дело это будет завершено в течение ближайших дней,— добавил он.

— Слава богу. Последнее время о них очень редко упоминают в газетах. Поэтому трудно догадаться, что должно произойти.

— Главари, Мессина и Сарди, изолированы от своих людей,— объяснил Марко.— А те без руководства — все равно что туловище без головы. Их можно ликвидировать в любую минуту.

— Превосходно,— оживился Брэдли.— А сами Мессина и Сарди? По-твоему, с ними легко покончить?

— Мы считаем, что никаких затруднений не будет. Сарди готов выдать Мессину, когда понадобится.

— Выдать кому?

— Полиции.

— Но разве полиция не поддерживает Мессину?

— Только полковники и генералы, мистер Брэдли. Рядовые полицейские его ненавидят. Он убил слишком многих.

— Прости, Марко, я этого не знал. Я живу здесь уже несколько лет, но в некоторых вещах я полный профан. Значит, шишки считают, что его полезно иметь при себе, но у мелкой сошки иное мнение. Кстати, когда бандитов будут ликвидировать, кто возьмет на себя эту грязную работу? Люди из Общества чести?

— Кто, мистер Брэдли?

— Твои друзья, если угодно. Так ведь, кажется, вы себя называете?

— Я стараюсь быть другом моим друзьям, мистер Брэдли.

— Хватит увиливать,— расхохотался Брэдли.— Впрочем, пусть так. Главное, я получил от тебя заверение, что теперь мы можем не бояться бандитов, что бы ни случилось.

— Все могут теперь не бояться бандитов.

— Дон К. в курсе завершающей операции, которую ты планируешь?

— Дон К., мистер Брэдли?

— Дон Клаудио Виллальба. Ты что, его не знаешь?

— Только понаслышке. Больше я ничего не могу сказать.

— Послушай, Марко, кто из нас кого дурачит? Неужели тебе неизвестно, что мы были в контакте с Доном К. еще до начала вторжения? Ты об этом не слышал, а, Марко?

Марко смотрел на Брэдли такими же пустыми глазами, какими смотрят на посетителей огромные мозаичные святые со стен собора в Монреале. Эту нарочитую пустоту взора и отсутствующее выражение лица сицилийцы объясняют безмятежностью характера, которая вызывает всеобщее восхищение, но на деле является чертой отрицательной и чисто восточной, имеющей мало общего с западным пониманием этого качества. Брэдли порой подозревал, что за этим кроется даже умение приостановить мысль.

На миг он разозлился. Знает же этот малый, что я в курсе всех дел, чего же выдрючиваться? Почему бы ему хоть время от времени не держаться со мной откровенно?

— Тебе не приходит в голову,— спросил он,— что вся эта таинственность может завести слишком далеко? Я знаком с местными обычаями, к которым отношусь с уважением и восхищением, но когда два человека трудятся во имя общего дела, подобные условности ведут только к непониманию и к излишним затруднениям.— «Сказать ему? — подумал он.— Хуже, пожалуй, не будет».— Мы знаем, кто такой Дон К., и знаем, кто ты. Нам даже известно, что тебя с самого начала прислал к нам Дон К.

и что ты слывешь у них смышленым парнем. А поскольку это так, может, мы теперь будем откровеннее друг с другом? Это значительно облегчило бы жизнь.

Марко улыбнулся, как всегда, когда бывал смущен.

— Мистер Брэдли, вы очень ошибаетесь, уверяю вас. В нашей стране любят преувеличивать и болтать все, что приходит в голову. Любой подтвердит вам, что я восемь часов в день работаю на складах базы. Когда же мне заниматься делами, которые меня лично не касаются? Вы правы, у меня есть кое-какие связи, друзья, если хотите, вот и все. Я стараюсь помогать своим друзьям, что вполне естественно.

Брэдли с усмешкой слушал эту уже ставшую привычной дымовую завесу из слов и отговорок. Наследие Востока. Никогда не добиться от них прямого «да» или «нет», нечего и пытаться.

— Понятно, понятно,— сказал он.— Ладно, Марко, поступай как знаешь.

Совещание, на котором должен был обсуждаться предложенный Марко план ликвидации бандитов — Дону К. его изложил Тальяферри,— состоялось на вилле архиепископа в Монреале. На нем присутствовали главы всех одиннадцати кланов Общества чести, каждый из которых, войдя, склонялся к перстню на руке Дона К. В то время Дону К. было лет пятьдесят с небольшим. Это был человек с тяжелым, вечно усталым лицом и задумчивым взглядом. Он был известен своей неряшливостью — от него всегда попахивало фермой,— сквернословием и привычкой постоянно носить шлепанцы, умел прикидываться спящим в середине наскучившей беседы и обладал, по-видимому, какой-то гипнотической властью над законными правителями острова — принцами, герцогами, баронами и самим архиепископом. О нем ходило множество легенд; согласно одной из них во время высадки союзников он просто снял телефонную трубку, попросил соединить его с немецким фельдмаршалом в Риме и велел ему вывести свои войска из Сицилии. Если вспомнить, что войска в самом деле были вдруг выведены, что Западная Сицилия сдалась союзникам без единого выстрела и что союзники впоследствии осыпали Дона К. почестями и наградами, вполне можно предположить, что в легенде была доля истины. Когда война закончилась, он дал понять, что считает своим долгом установить в Сицилии мир и порядок. И это в то время, когда в горах действовали тридцать две банды бежавших от правосудия преступников, на востоке то и дело заявляла о своем присутствии тайно вооруженная союзниками армия сепаратистов и воскресали профсоюзы, ставившие своей целью осложнить жизнь землевладельцев классовой борьбой.

Марко вызвали в Монреале на тот случай, если понадобится уточнить детали плана, но он провел все утро в пристройке вместе с телохранителями, прибывшими со своими хозяевами и славившимися умением держать язык за зубами. Дона К. упоминали не часто и почтительно называли: «Одна важная особа». Совещание началось в семь утра, а в полдень покровитель Марко Тальяферри вышел, хлопнул его по плечу и кивнул, давая понять, что все прошло гладко. И они вместе отбыли в машине Тальяферри.

План Марко, который понравился всем участникам совещания своей простотой и практичностью, состоял в том, чтобы заставить бандитов, отрезанных от своих главарей, спуститься с гор, в которых они чувствовали себя как дома, на незнакомые равнины, заманить там в ловушку и уничтожить. Дону К. особенно нравилось, что исполнение этого плана можно было возложить на единственного в Обществе человека, способного занять его пост. Это был Бенедетто Джентиле из Монреале; в начале трудовой жизни он пас коз и, верный своей любви к этим животным, по-прежнему жил как простой пастух в лачугах, выстроенных вдоль троп, по которым бродили его несметные ныне стада. Джентиле, таивший обиду на бандитов за то, что они воровали его коз, с удовольствием согласился выполнить возложенное на него поручение. Чем подписал, по мнению Дона К., собственный смертный приговор: как только станет известно, что Джентиле убил хоть одного бандита, он превратится в объект вендетты со стороны родственников убитого. Даже такому могущественному человеку, как Джентиле, не

выжить, если на него начнут охотиться десятки людей, которые на много лет забросят все свои дела ради того, чтобы свершить месть.

Согласно плану Марко начальникам полицейских участков было дано указание вывести все свои силы из Монреале и сосредоточить их в горах возле Трапани. Здесь засели бандиты в ожидании известий от Мессины и Сарди, которые должны были договориться о получении паспортов для беспрепятственного выезда в Южную Америку. Шпион бандитов в полиции продолжал информировать их, как обычно, о намерениях и перемещениях полицейских сил, и через несколько часов после прибытия карательных отрядов в горы возле Трапани им было доставлено письмо, написанное якобы Мессиной, в котором бандитам приказывалось, разбившись на небольшие группы, с интервалом в два дня спускаться в Монреале к Джентиле, где им будет предоставлено убежище и обеспечено дальнейшее продвижение.

Ничего необычного в этом не было. Бандитам часто приходилось менять свое месторасположение, передвигались они всегда втроем или вчетвером, чтобы не привлекать к себе внимания, и если им удавалось спать под крышей, то это был дом человека из Общества чести. Появление первой группы из четырех бандитов, которые прошли через горы вдвое быстрее, чем Джентиле рассчитывал, застало его врасплох. Пришлось принять их по-дружески, успокоить, усыпить их бдительность, после чего бандитов напоили вином со снотворным, связали и передали в руки полиции. Случай этот насторожил Джентиле, и он расставил вокруг своей фермы вооруженных людей, которые при появлении следующей группы встретили ее огнем. Единственный уцелевший бандит, по которому палили из рвов и из-за стен, сумел добраться до шоссе на Палермо, но за ним погнались на машине и в конце концов задавили.

Третья и четвертая группы, охваченные какой-то необъяснимой тревогой и внезапно усилившимся чувством обреченности, которое уже давно их мучило, решили изменить свой маршрут. И заблудились. Не получая дальнейших указаний от Мессины, которые им должен был якобы передать Джентиле, они бесцельно бродили по местности, полной ловушек. В минуту растерянности и отчаяния полицейский шпион бросил своих товарищей, явился на пост карабинеров и предъявил секретное полицейское удостоверение. Сержант карабинеров позвонил в свой штаб в Палермо, спросил, как быть, получил указание, вернулся, насвистывая, вытащил пистолет и с завидным хладнокровием дважды прострелил шпиону голову.

Немногие оставшиеся на свободе бандиты совсем потеряли голову и начали разбегаться в стороны, как испуганные овцы, заслышавшие волчий вой. Кое-кого из них поймали пастухи, над которыми они так часто измывались в прошлом, и, следуя сохранившемуся в округе обычаю бронзового века, связали и живьем сбросили в глубокие расщелины, чтобы родственники не могли отыскать их останки и «в присутствии тела» дать обет кровной мести. В эти дни любого подозрительного незнакомца принимали за бандита в бегах и для верности быстро и тихо убирали с лица земли. Двух людей, которые явились в монреальскую больницу с огнестрельными ранами и не сумели вразумительно объяснить, как они их получили, тайком перевезли в Корлеоне в клинику известного доктора Ди Анджелиса, члена Общества чести, где оба испустили дух под наркозом. А к другому человеку из Общества ночью явился с автоматом в руках красивый и бесстрашный Кучинелли и самым дружеским образом попросил обеспечить его автомобилем, деньгами и продовольствием, в чем ему никоим образом не было отказано. Но не проехал Кучинелли и десяти миль, как двадцатифунтовый заряд динамита разнес на куски и его самого, и машину, в результате чего родителям его для похорон остались лишь одна рука да пара пропитанных кровью сапог.

Почти все бандиты были поначалу просто крестьянскими парнями, слишком отважными и решительными, чтобы терпеть унижения и нужды военного времени. Уйдя в горы, они действовали разумно и порой даже по-рыцарски, но со временем под гнетом постоянной напряженности мужество выродилось в звериную злобу, поэтому их неизбежно ждал столь жестокий конец. Последние три бандита, выдержавшие трехнедельную осаду в не обозначенных на карте пещерах Страсетты, отчаявшись, убили капрала карабинеров, которого они держали в качестве заложника, и съели его ляжки и ягодицы. Когда их поймали, в отместку за их преступление им связали ноги, облили

бензином и велели бежать. А через несколько минут вслед за ними двинулись те, кто их поймал, бросая в них горящие спички.

Мессина, пребывавший в полном неведении обо всех этих событиях, был отправлен генерал-инспектором Манкузо в Кастельветрано, где находилась посадочная полоса, ждать военного самолета, который должен был вывезти его из страны. Накануне отлета Манкузо проделал пятидесятимильное путешествие из Палермо в Кастельветрано, чтобы попрощаться с Мессиной. Он привез с собой хорошенькую проститутку из лучшего дома в Палермо и корзину со съестным, и вечером все трое лакомились дроздами, зажаренными на вертеле, и пармской ветчиной, запивая их орвьетским вином. После обеда мужчины поочередно развлекались с проституткой. Всхлипывая от полноты чувств, Манкузо объявил Мессине, что любит его больше, чем собственного сына, и в этом была доля истины, ибо за два года, в течение которых сотни полицейских под его началом безуспешно преследовали засевших в горах бандитов, он на самом деле стал испытывать к Мессине нежную привязанность. Когда в два часа ночи Манкузо удалился, Мессина был в стельку пьян, а часом позже, когда прибыл Сарди, чтобы выполнить поручение, за которое ему пообещали немалые деньги, он крепко спал, сидя в кресле.

Арестованный, несмотря на все полученные обещания, Сарди вскоре скончался в тюрьме. Его смерть никого не удивила, но ради нее пришлось немало потрудиться. Бандит не скрывал своего намерения рассказать на суде все, что ему известно, и, опасаясь, что будет предпринята попытка заставить его молчать, проявлял чрезвычайную осторожность: ел только после того, как кусочек проглатывал котенок, которого ему разрешили держать при себе. Удобный случай представился, когда у Сарди возобновились боли в груди. Доктор прописал ему обычное патентованное средство. Бутылочку доставили в камеру, Сарди внимательно ее осмотрел, сорвал печать, сделал глоток и тотчас с воплем упал на пол. Через полчаса его не стало.

В тот же день у генерал-инспектора Манкузо по выходе из пивной «Венеция», где он выпил с наперсток черного кофе и съел два крохотных миндальных пирожных, прямо на улице Македа начался сердечный приступ, и он скончался в карете «скорой помощи» по дороге в Сант-Анджело. Следователь, который вел дело о его скоропостижной смерти, не мог не удивиться тому, что «скорая помощь» целый час ехала до больницы. Обычно на этот путь уходило не больше десяти минут. А через неделю полковник Фоска, командир карательного отряда карабинеров, часто сотрудничавший с Манкузо, упал прямо под колеса трамвая — оказалось, что причиной был апоплексический удар. В барах и кофейнях Палермо об этом много судачили, недоумевая, почему такой молодой, полный энергии человек умер так странно, но очень скоро о нем забыли. В течение этого периода Марко чаще обычного отпускали с работы.

Но оставался еще грозный Джентиле, который за всю жизнь покидал свою ферму, наверное, не больше пяти раз. Однако сейчас, заслышав, что вдова одного из погибших в Колло вынуждена продать стадо коз, он испытывал жгучее желание отправиться в Мьеру. В эти дни с деньгами у всех было туго, поэтому и цены упали; кроме того, считал Джентиле, если его агент заранее оповестит о том, что он будет в Мьере, другие потенциальные покупатели вряд ли туда сунутся. Джентиле приехал, посмотрел коз, предложил свою цену и сел в тени за столиком кафе на маленькой площади, где несколько недель назад крестьяне собирались под знамена, перед тем как выступить в Колло. Рядом на лошадках ручной карусели скакали дети, а вдали туманился силуэт роковой Пиццуты. Тут на глазах по меньшей мере сотни людей к Джентиле подошел незнакомец, удостоверился по фотокарточке, которую держал в руках, что перед ним тот, кто ему нужен, и, вытащив из кармана револьвер большого калибра, выпустил пять пуль в голову и грудь Джентиле. Полиция не сумела отыскать ни одного свидетеля, видевшего или слышавшего, как стреляли — факт, о котором с сарказмом упоминали газеты, демонстрируя фотоснимки укрытого одеялом трупа и ручейки крови на булыжниках мостовой. А через два дня описывались похороны Джентиле: растянувшаяся на целую милю колонна машин, море цветов, надгробное слово депутата парламента. Потом событие это стерлось из памяти. В те времена подобного рода происшествия случались не реже раза в неделю.

Процесс ликвидации шел быстро и гладко и к концу сентября — меньше чем через месяц после встречи Марко с Брэдли — успешно завершился. Дон К. весьма своеобразно выразил свою благодарность Марко за участие в отлично проведенной операции. Тальяферри навестил Марко, который и не ждал никаких наград, поздравил его и передал добрые пожелания и признательность от одной важной особы. И посоветовал купить по возможности больше земли в районе, прилегающем к южной окраине Палермо. Почти весь этот район занимала старая городская свалка, поэтому он считался бесполезным для любого начинания. Но через неделю после того, как Марко внес задаток за 10 000 квадратных метров, купленных по бросовой цене, муниципальный совет объявил, что в этом районе будет срочно строиться новый промышленный комплекс. И на следующий день Марко получил за свою землю в пятнадцать раз больше, чем заплатил. Одну десятую прибыли он пожертвовал приюту дельи Эремити, потому что так полагалось поступить человеку из Общества чести, а не в тайной надежде, что о его поступке будет доложено Дону К., после чего его положение станет еще более прочным.

Событие это решено было отпраздновать, и Марко повез Терезу на экскурсию в небольшой приморский городок Монделло, где заказал столик в ресторане «Дзу Тану». «Дзу Тану», осколок сицилийской виктории, полузамок-полумечеть, был возведен среди кустов тамариска на покрытом ракушкой пляже в часе езды на лошадях от Палермо. Туда в былые времена приезжали принцы и герцоги и, угостившись омарами и шампанским, предавались любовным утехам со своими куртизанками. Среди плюща, мраморных купидонов и тусклой позолоты царила атмосфера суровой осторожности. Завсегдатаи «Дзу Тану» друг с другом не общались, вели еле слышные беседы в глубоких нишах, где стояли столики, и никогда не видели больше того, чем входило в их намерения. Сюда любили приезжать люди из Общества чести, когда им хотелось романтики.

Позже, вспоминая события этого дня, Марко пришел к выводу, что именно тогда Тереза, которой едва исполнилось пятнадцать лет, внезапно перестала быть ребенком и приняла на себя обязанности взрослой женщины. В разговоре он вскользь упомянул, что совершенно неожиданно кое-что произошло и теперь их собственное будущее и будущее ребенка можно считать обеспеченным. Он сказал, что в ближайшие дни они съедут с квартиры в тупике и начнут новую жизнь, и Тереза, разумеется, сразу задумалась над их будущим, которое сразу представилось ей совсем иным, чем час назад.

6

В течение следующего месяца был заложен фундамент благосостояния семьи Риччоне. С помощью Тальяферри они всего за две трети запрашиваемой цены приобрели квартиру в респектабельном районе Акуасанта. Теперь они жили в новом доме с мраморным вестибюлем, лифтом, плевательницами величиной с купель на каждом этаже, огромными окнами, плавательным бассейном, детской площадкой и швейцаром в похожей на адмиральский мундир униформе. В квартире оставались две незанятые комнаты, и Риччоне решили, что, как только родится ребенок, каждый из них снова попробует уговорить свою мать — обе они были вдовами — переехать к ним. Марко особенно тепло относился к теще, которая по-прежнему проводила дни за плетением кружев у себя в деревне Пьоппо. Услышав, что его брат Паоло хочет купить в Кампамаро гараж, он послал ему в подарок двести тысяч лир. Он стал членом трех местных клубов и двух благотворительных организаций. Купил новую машину «Ланча Аугуста» с особым кузовом «Фарина» и в свободное время занимался отлаживанием мотора. В конце месяца в больнице Сант-Анджело появился на свет их первенец.

Спустя два дня позвонил Брэдли и сказал, что хочет с ним встретиться.

— Прежде всего, Марко, прими мои самые горячие поздравления. Замечательное событие! Сын, да? Прекрасно! Надеюсь, и мать и младенец чувствуют себя хорошо?

— Спасибо, мистер Брэдли. Все в порядке. Роды продолжались всего два часа.

— Превосходно! Как вы его назовете?

— Амедео.

— Хорошее имя. Необычное. Мне оно нравится. Замечательное событие, Марко! Очень рад за вас обоих.

Они сидели в другом конце парка делла Фаворита, в заброшенной беседке у высохшего фонтана, где ушедшая под землю вода наполняла воздух ароматом оранжерейных цветов.

— Дело в том, что я уезжаю,— сказал Брэдли.— Отбываю на следующей неделе в Штаты. Мне хотелось повидать тебя и попрощаться.

— Мы еще увидим вас, мистер Брэдли?

— Не знаю, Марко. Не думаю, что я сюда вернусь. Мне здесь делать нечего. Тут все стабилизировалось.

— Приятно было сотрудничать с вами, мистер Брэдли. Мне вас будет не хватать.

— Спасибо, Марко. Позволь задать тебе один вопрос. Как у тебя сейчас дела? Я слышал, что базу закрыли. Где теперь ты применяешь свои необыкновенные способности?

— Я надеюсь, что меня возьмут в контору по продаже недвижимости.

— Думаешь, тебе там будет по душе? — На лице Брэдли появилось что-то вроде насмешки.

— Для меня это дело новое. Буду учиться.

— Скучно здесь стало в последнее время,— сказал Брэдли.— Прямо тихая заводь. И между прочим, главным образом благодаря тебе, Марко. Прошли те дни, когда нельзя было развернуть газету, чтобы не прочитать, как кого-то похитили или как Мессина перестрелял целый полицейский участок. Грандиозно ты поработал.

— Мое участие было очень незначительным.

— А у меня другие сведения. Наверное, я знаю о случившемся несколько больше, чем ты предполагаешь. Все эти фокусы за закрытыми дверями на вилле служителя божьего. Который пусть лучше останется неназванным, Марко, пусть останется неназванным. Да и чего нам беспокоиться? Результаты налицо.

— Вы как-то говорили о неприятностях, там, дома... Какой-то сенатор интересовался, да? Получилось из этого что-нибудь?

— Абсолютно ничего. Заглохло само собой. Я чувствовал, что так и будет, если, конечно, все пойдет в нужном направлении.

— Рад это слышать. Сразу, наверное, легче стало.

— Легче? Еще бы! Признаюсь, это был трудный момент.— Брэдли вдруг сморщился словно от боли и замахал рукой, будто ошпарил кончики пальцев. Как и многие другие жесты, которые он перенял у итальянцев, этот был не совсем к месту — скорей он был неаполитанским и в Сицилии выглядел странно.— Ладно, с этим уже покончено, теперь нам надо думать о будущем, а оно, Марко, обещает быть интересным. Хотя и нелегким, не заблуждайся на этот счет. Я не имею в виду Сицилию, нет, это — пройденный этап. Я говорю про Берлин, Латинскую Америку. А потом рано или поздно и Дальний Восток.

— Пусть делают что хотят, лишь бы оставили меня в покое.

— Не знаю, правильное ли это отношение, Марко. Для старика, пожалуй, да, но молодой человек обязан проявлять активность. Я говорю о будущем цивилизации. Разве тебя не страшит угроза культурному наследию Запада?

— Если говорить откровенно — нет, не страшит, мистер Брэдли. Я слишком незначителен, чтобы проявлять беспокойство о подобных вещах. Пусть о них заботятся другие.

— Марко, ты здесь пропадешь. Все твои способности пойдут прахом.

— Очень сожалею, что вам так кажется, мистер Брэдли. Едва ли я тут что-то могу изменить.

— А не переехать ли тебе в Штаты?

— Вы шутите, мистер Брэдли.

— На сей раз не шучу. Мое предложение совсем не шутка. Я бы хотел, чтобы ты перешел на работу в мою организацию.

— Извините, но никак не могу. Здесь вся моя жизнь, моя семья.

— Я не требую немедленного решения. И не прошу тебя сказать «да» или «нет». Подумай как следует. Больших денег я не могу тебе предложить, но по сравнению со

здешними трудностями в Штатах сейчас, по мнению многих, живется совсем недурно. Могу сказать одно: твоей жене там понравится. И когда придет время, ты сможешь отдать своего сына в хорошую школу. Почему бы тебе не поговорить с Терезой и не посмотреть, как она к этому отнесется? А что, если нам потолковать втроем?

— Я не совсем понимаю, мистер Брэдли, зачем я вам нужен. По вечерам я изучаю право, но пройдут годы, прежде чем я получу диплом, если вообще его получу. Кроме того, в США законодательство совсем другое, мне пришлось бы начать все сызнова.

— Марко, мы заинтересованы в твоих необыкновенных способностях, и ты не хуже меня знаешь, о чем я говорю. Не торопись отказываться, поразмысли как следует. Мы еще успеем до моего отъезда не раз обсудить этот вопрос. Ты должен спросить самого себя, готов ли ты провести остаток жизни в конторе в тихом городе вроде этого или жаждешь быть в центре событий.

— Я непременно об этом подумаю,— сказал Марко,— и поговорю с Терезой, но очень сомневаюсь, что мы решимся на такой шаг. У нас обоих есть матери, не говоря уже о моих брате и сестре. Мы не могли бы оставить их здесь. Я только что купил новую квартиру на Акуасанта, у нас много друзей и родственников. По-моему, я сразу должен ответить: об этом не может быть и речи.

— Все равно подумай день-другой,— сказал Брэдли.— Я тебе еще позвоню.

Сразу после этой встречи Брэдли направился в свою бывшую штаб-квартиру на улице Изидоро Карини, где его преемник Элистер Фергюсон за неделю пребывания на посту произвел целый переворот. Это был, как и обещал генерал, молодой человек с твердым характером и «реальным» взглядом на вещи. В Европе он прежде не бывал. Все в Фергюсоне и на нем было новым и свежим, в том числе и его живой, юношеский цинизм, воспитанный в военном училище и выставленный напоказ, словно костюм из магазина фирмы «Братья Брукс». У него была чисто выбритая современная физиономия уроженца Новой Англии с высокими, как у монгола, скулами, густыми бесцветными бровями, с добродушными морщинками вокруг глаз и гладкими щеками, на которых еще цвел мальчишеский румянец. Хотя у входа в палаццо постоянно стоял на страже итальянский солдат, а у барьера на первом этаже следовало предъявить пропуск, Фергюсон вставил в дверь своего кабинета секретный замок, а вторым замком запер занимавшую треть комнаты и вызывавшую всеобщий восторг новую автоматизированную картотеку.

— Не клюнул,— сообщил Брэдли.— Как я и думал.

— А почему?

— Потому что ему и здесь хорошо. Молодая жена, ребенок, достаточно состоятелен, какое-то общественное положение. Зачем отказываться от всего этого ради сомнительного существования там, где, скажем прямо, даже элементарная безопасность не гарантирована.

— И правда, зачем?

— Он не так жаден на деньги, как большинство из них. У него уже есть столько, что другому хватит на всю жизнь,— сказал Брэдли.

— А то и больше.

— Кроме того, как это ни странно, сицилийцы — не любители приключений.

Брэдли провел рукой по крышке только что доставленного из Штатов письменного стола Фергюсона, наполнявшего кабинет запахом искусственной кожи. Они с Фергюсоном одного поколения, а разделяет их целая жизнь, подумал он. Американцы все больше и больше становятся американцами, и этому молодому человеку никак не удастся скрыть свою принадлежность к американской расе и свои намерения, когда, одетый в неприметный, как он по наивности полагал, итальянский костюм, сшитый из дешевого материала, он примется фланировать в толпе по улицам Палермо. На другой день после приезда Фергюсона в Палермо Брэдли подверг его испытанию, которое тот успешно выдержал.

«Карабинеры поймали человека, на которого падает подозрение,— словно невзначай обронил Брэдли.— И собираются расплющить ему половые органы».

«Как? На самом деле?»

«Именно. Я подумал было: может, вы хотите пойти посмотреть? Считается, что таким путем можно добиться признания секунд за десять. Нам, пожалуй, есть чему у них поучиться. Не знаю, но, по-моему, мир не становится лучше. Впереди нас еще ждут трудные времена».

Они вместе отправились на допрос, где подозреваемый очень скоро во всем признался. Брэдли не слишком прельщало подобное зрелище, однако усилием воли он заставил себя ничего не видеть и не слышать. Когда все кончилось, Фергюсон был, пожалуй, чуть бледнее обычного, но присутствия духа не утратил.

«Информация, полученная вовремя, может спасти жизнь сотни, а то и тысячи невинных людей,— сказал Брэдли.— Во всех своих начинаниях я всегда руководствуюсь христианскими заповедями. С одним только не могу согласиться — что на зло следует отвечать добром».

«Придет этот человек в себя?» — спросил Фергюсон достойным похвалы небрежным тоном.

«Наверное. Хотя таким мужчиной, как прежде, ему уже не бывать».

— А Риччоне очень нам нужен? — спросил Фергюсон, возобновляя прерванный разговор.

— Рано или поздно он нам понадобится. Этот парень — поистине великий организатор. Когда составляется план операции, он просто незаменим. С Мессиной он разделался блестяще. Ни одна деталь не была упущена.

— Но сумеет ли он со своими специфическими способностями работать в Штатах? В незнакомой обстановке, хочу я сказать.

— В Штатах незнакомая для сицилийца обстановка? Вы смеетесь. Да он будет у нас как рыба в воде.

— Что вы намерены предпринять? — спросил Фергюсон.

— Не знаю. Нужно подумать. Я все-таки заполучу его, надо только найти ход. Дон К., наверное, способен помочь.

— А он пойдет на это?

— Пойдет, если я как следует нажму.

— А что скажет Риччоне, когда его насильно отправят отсюда? — спросил Фергюсон.

— Зачем раньше времени ломать голову?

Фергюсон помолчал; он плохо владел современным жаргоном и теперь с трудом подыскивал нужное слово.

— Думаете, это он... м-м... убрал Джентиле?

— Не собственноручно, разумеется. Человек, о котором мы говорим, отнюдь не простак. Он сделал вот что — причем это факт: шепнул одному из родственников Мессины, что на Джентиле лежит вина за гибель этого великого человека.

— Несмотря на то что Джентиле тоже из их компании и таким образом теоретически неприкосновенен?

— Неприкосновенен в обычных условиях, но в данном случае он слишком вырос из своих штанов. Вполне возможно, что над ним состоялся суд, вот ему и пришлось убраться на тот свет.

Несколько раз ткнув не туда, куда надо Фергюсон, наконец нашел кнопку, приводящую в действие одну из секций шкафа для делопроизводства. Зажужжал механизм, выдвинулся ящик, и их глазам предстали ряды скоросшивателей. Но они были пусты, и Фергюсон, лишний раз увидев свою несостоятельность, погрустнел.

— Как вам удается откапывать сведения? — спросил он.

— Связи. Я часто навещаю одну известную личность, не так давно покинувшую Даннеморскую тюрьму.

— Неужели Спину?

— Именно. Дон К. приглашал его на знаменитое совещание в Монреале, где принималось решение.

— А что заставляет Спину помогать нам? Мы вытащили его из тюрьмы и таким образом расквитались с ним. И он нам тоже ничем не обязан.

— В данный момент нет, но он не теряет надежды, что положение изменится.

— Могу я узнать об этом подробнее?

— Ненамного больше того, что уже знаете. Я полностью согласен со старинным утверждением: чем меньше человек знает, тем для него же лучше. Спина, по-видимому, думает, что мы в скором времени сможем оказаться ему полезными. Ваше любопытство удовлетворено?

— Мне бы хотелось с ним встретиться,— сказал Фергюсон.

Брэдли покачал головой.

— Ничего не выйдет. Он человек обаятельный, но очень замкнутый. Время от времени мы ведем беседы за чашкой кофе. Для меня он делает исключение, потому что мы давние друзья, но большую часть времени предпочитает проводить в уединении.

— Джон Локателли участвовал в этой операции вместе с вами, да?

— Мы некоторое время работали вместе.

— Что, по-вашему, заставило его поступить так, как он поступил?

— Наверное, нервы сдали.

— Вы считаете самоубийство трусостью?

— Нет,— ответил Брэдли.— Я никогда не придерживался этой точки зрения. Он постарел для того образа жизни, который был вынужден вести. Его нервная система не могла выдержать такого напряжения и такой нагрузки. Или он был не в состоянии глядеть в лицо кое-каким фактам. Да нам ли судить?

— Он был приятный человек. Я видел его в Центре. Он приезжал читать нам лекцию.

— Один из лучших,— согласился Брэдли,— только сентиментальный, может, чересчур сентиментальный для нашей работы. Вы, наверное, слышали о крупной сделке с Муссолини, в которой он почти добился успеха. Мы все были большими поклонниками Джона Локателли. Я уверен, что у него сдали нервы.

— Он до конца оставался идеалистом,— сказал Фергюсон и нахмурился: опять у него по неосторожности вырвалось выражение из того мира, от которого он отрекся.— Он был человеком искренним,— поправился он.

— Локателли позволил себе роскошь сохранить совесть,— сказал Брэдли.— Что заставляло его балансировать на туго натянутом канате. Куда лучше отдать свою совесть родине на сохранение.— И оба расхохотались.

— Он, по-видимому, не мог пережить того, как предали Джентиле,— предположил Фергюсон.

— Вполне возможно. Он был простым солдатом и жил мифами прошлого.

— В Центре говорят о таких делах.

— О каких?

— Как, например, история с Джентиле.

— Все еще толкуют об этом?

— Мифы нашего времени,— сказал Фергюсон.— Слушаешь их и забываешь, потому что не веришь в них. А потом вдруг оказываешься в таком вот месте вроде этого, и все становится правдой. Я изучил тут несколько дел, которые вы мне дали. Эти вендетты! Уму непостижимо. На днях застрелили четырнадцатилетнего мальчишку за поступок, совершенный его отцом еще до его появления на свет. Как это сицилийцы могут быть такими?

— Потому что они совсем не похожи на нас.

— Я приехал сюда только потому, что меня не послали в Париж,— признался Фергюсон.

— Знаю.

— А вам здесь нравится, правда?

— Да.

— Что же здесь хорошего, разрешите спросить?

— Что здесь хорошего? Не знаю.— Какими словами можно описать этот сплав неопределенных эмоций? Этот душевный отклик на ляпис-лазурь великого города, мраморных грифонов, пышногрудых ангелов, просвечивающее сквозь пальмы небо, желтовато-смуглые лица, демонстрацию крови девственниц, запах пробивающейся сквозь траву воды, лицо Христа, выглядывающее из-за плеча хитро улыбающегося архиепископа? — Просто все началось не только в Афинах, но и здесь.— И я помог спасти этот

край, убеждал он себя. Я помог отстоять его.— Вам следовало бы побывать в Сиракузах,— сказал он.

— С удовольствием. Здесь все пропахло дерьмом,— сказал Фергюсон.

— Мы говорили о том, что сицилийцы отличаются от нас,— продолжал Брэдли.— У них своя религия, отличная от христианской. Они верны традициям. У них меньше привязанностей, чем у нас, но их привязанности сильнее. Если они на твоей стороне — значит, останутся верными до конца. Вот почему мне хотелось бы заполучить Риччоне. Есть ситуации, где он был бы незаменим.

Фергюсон попытался угадать, чему улыбнулся Брэдли. Брэдли — интриган, о чем его предупреждали еще в Штатах. Немного фантазер. До сих пор у него все шло гладко, но в один прекрасный день он лопнет с треском, как мыльный пузырь. Фергюсон почувствовал, что того гляди станет участником одной из тех грандиозных авантюр, на которых основывалась легенда о Брэдли.

— Если вам придется все-таки пойти к Дону К., что, по-вашему, он сделает?

— Поддаст пару,— ответил Брэдли.— Не знаю, как именно это произойдет, но есть возможность довести до сведения родственников Джентиле, кто его погубил. А если так, вряд ли Марко удастся усидеть на этом острове.

Глаза Фергюсона расширились от восхищения. Вот оно, предательство в чистом виде: грандиозный обман и тройное предательство, холодное и романтичное, как айсберг.

— Понятно,— сказал он.

7

Сицилия привела в порядок свои дела и принялась наслаждаться мирной жизнью, процветанием и братской любовью. Послушные и невероятно трудолюбивые крестьяне вернулись к работе, безропотно проводя в поле по двенадцать, четырнадцать или шестнадцать часов в день. Профсоюзных же лидеров, которые попытались вмешаться, сначала предупредили, а потом тех, кто продолжал настаивать на своем, быстро и тихо убрали. Церкви были переполнены. Мелкое воровство ушло в прошлое: туристка, забывшая сумку на столике в кафе, находила ее на следующий день на том же месте. Владельцы лавок перестали обжуливать покупателей. Проститутки приобрели куда более привлекательный вид, чем в голодные послевоенные дни. Во время церковных праздников устраивались религиозные шествия с бесплатной раздачей макарон. Все голосовали за христианских демократов и жаждали творить добро на благо ближнему.

Для Марко и Терезы это был период спокойствия и довольства, когда слово «надежда» теряет смысл, ибо в жизни ничего больше не требуется. Через год после Амедео у них родилась девочка, которую назвали Лючией. Пришлось послать в Кампамаро за нянькой, и та ежедневно выводила детей на прогулку в находившийся неподалеку парк делла Фаворита. Все попытки уговорить матерей покинуть горные селения и переехать в Палермо ни к чему не привели, поэтому в конце каждой недели Марко и Тереза ездили попеременно то в Кампамаро, то в Пьоппо. Они, как и прежде, были влюблены друг в друга, и Марко все так же трясся, боясь за здоровье Терезы. Детей регулярно навещал доктор Белометти, пользуя их от всяческих воображаемых недугов и, по настоянию Марко, начиняя витаминами, совершенно ненужными при их отличном здоровье. Когда Амедео исполнилось шесть лет, его отдали в школу, руководимую монахинями и получавшую немалую субсидию от его отца.

Марко работал у своего старого покровителя Тальяферри, который с помощью Дона К. открыл на улице Кавура контору по торговле недвижимостью и так преуспел, что через несколько лет купил целую строительную компанию. Тальяферри заботился о своих друзьях и о друзьях своих друзей. Сделавшись еще и владельцем автомобильной компании, которая занималась подвозкой материалов на строительные площадки, он отправлял свои грузовики на капитальный ремонт в гараж Паоло в Кампамаро в тридцати милях от города, хотя ему было бы гораздо удобнее, если бы машины обслуживались в самом Палермо.

По своему характеру Марко очень подходил к роли управляющего конторой по торговле недвижимостью, где было важно поддерживать хорошие отношения с городскими властями, уметь сделать одолжение мэру и нужным членам муниципального

совета, помнить, когда именины у детей и жен высокопоставленных особ, и вручить подарок так ловко, чтобы человек влиятельный, но в то же время совестливый ни в коем случае не обиделся, и, наконец, твердо отстаивать свою позицию во время заключения сделок. Выполняя свои повседневные обязанности, Марко встречался со всеми жителями Палермо, занимавшими в городе ключевые позиции, и неизменно производил на них благоприятное впечатление. Он удостоился чести преклонить колени перед архиепископом и поцеловать перстень у него на пальце. В элегантно обставленной квартире на Акуасанта у Марко обедали и командир карабинеров, и начальник publica sicurezza [1]. Преуспеяние его было окончательно закреплено на вечере в честь крещения Лючии, когда помимо секретаря архиепископа и нескольких баронов в толпе гостей вдруг появились два неряшливо одетых незнакомца. Это были Дон К. и его садовник-шофер. Дон К. пробыл минут пять, оставил конверт с пятьюдесятью тысячами лир, промычал что-то невразумительное Марко на ухо и удалился, но Марко почувствовал, что сила перелилась из тела старика в его тело — все гости были свидетелями этого торжества. То были дни, когда солнце, казалось, будет вечно сиять на безоблачном небе.

Затем в Палермо прибыли два брата, высланные из Соединенных Штатов,— Джонни и Пит Ла Барбера. Вернувшись на родину, они создали новую партию, которую газеты назвали La Mafia Nuova — Новая мафия. Джонни было сорок три года, а Питу — сорок; из Сицилии они уехали еще детьми, потом, давая деньги в рост и орудуя в нью-йоркском порту, сколотили порядочный капиталец, как вдруг кому-то пришло в голову, что поскольку они не сделали ни единой попытки получить гражданство Соединенных Штатов, то почему бы не отправить их обратно в Италию.

Джонни и Пит резко выделялись на фоне населения Палермо. Они привезли с собой свои белые «кадиллаки» и стремление быть на виду, незнакомое на острове, где царила атмосфера сдержанности. Оба они знали по-итальянски всего несколько слов, но зато стали завсегдатаями таких ресторанов, как «Каприз» и «Олимпик», где устраивали шумные застолья в компании самых дорогих в городе куртизанок и нескольких прихлебателей из местных. Сначала сицилийцы считали своей обязанностью принимать их, но были при этом весьма сдержанны. Человек из Общества чести, вынужденный не по собственному желанию пересечь Атлантику, всегда мог рассчитывать на радушный прием по другую сторону океана и знал, что, если решит там остаться, ему тотчас подыщут место. Поэтому наглость явившихся из Америки братьев старались не замечать.

Через три месяца после прибытия в Палермо братья Ла Барбера купили бывший военный лагерь на дороге Боккадифалько, сразу за городской чертой, превратили главное здание в лабораторию, обнесли весь участок проволочной оградой, по которой пустили электрический ток, и начали перерабатывать там привозимый из Бейрута морфий в чистый героин. Затем они приобрели небольшую фирму, занимавшуюся упаковкой и экспортом фруктов, и в течение нескольких месяцев в каждый ящик лимонов, отправляемый в США, вкладывали по крайней мере один лимон из пластика, начиненный героином. Когда по доносу благонамеренного докера, который обнаружил начиненный героином лимон в украденном им ящике, нью-йоркская полиция ликвидировала эту систему, братья Ла Барбера вложили заработанные ими на наркотиках три миллиона долларов в городское строительство.

Город рос непрерывно. В сооружении новых дорог, мостов, жилых районов, предприятий и отелей участвовало несколько фирм, и в каждой из них часть капитала принадлежала членам Общества чести. Это было время, когда люди богатели на глазах, а незначительные шероховатости в отношениях между дельцами прикрывались лицемерными фразами и улыбками, но с появлением братьев Ла Барбера мирной жизни под девизом «живи и дай жить другим» пришел конец. На острове существовал обычай сначала предупреждать противника, а потом уже действовать, но тех, кто поссорился с братьями Ла Барбера, отказавшись вступить с ними в сделку или взять их в долю, без предупреждения убивали из-за угла, сбивали машиной и даже — предварительно оглушив — топили в море. К ужасу чтивших традиции людей из Общества

---

[1] Службы общественной безопасности *(итал.)*.

чести, братья расправлялись с неугодными в присутствии их родных и впервые в истории Сицилии похитили женщину, чтобы добиться покорности ее мужа. Братья Ла Барбера окружили себя местными преступниками — straccie (голытьбой, как презрительно отзывались о них люди из Общества чести) и привезенными из Америки наемными убийцами. В течение года они распространили свое влияние на весь город. Эмиссаров от Дона К., которые были посланы в штаб-квартиру Джонни Ла Барбера на улице Македа с поручением уладить противоречия мирным путем, охранявшие вход straccie просто спустили с лестницы.

Несколькими днями позже, осенью 1953 года, Джонни Ла Барбера, пинком распахнув дверь и оттолкнув секретаршу, которая попыталась было задержать его, вошел в кабинет Тальяферри, плюхнулся в кресло и положил ноги на стол.

Тальяферри просматривал письмо, которое секретарша только что вручила ему. Он продолжал читать, Ла Барбера достал огромную сигару, откусил кончик и спрятал ее обратно в нагрудный карман. Тальяферри читал, неторопливо делая пометки своим мелким аккуратным почерком, потом отложил письмо в сторону.

— Ты Тальяферри, да? — спросил Ла Барбера. Это был крупный мужчина с писклявым, как у карлика, голосом.

Тальяферри поднял глаза.

— Совершенно верно,— ответил он.

— Я Джонни Ла Барбера.

— Знаю. Я вас видел.

— Подумать только, а ты ведь недурно говоришь по-английски. Откуда?

— Я прожил в Штатах двенадцать лет. Что вам угодно?

— Тальяферри, мы мешаем друг другу. Ты вздуваешь мои цены, я — твои. А позволить себе этого мы не можем.

— Я не жалуюсь,— сказал Тальяферри.

— Нет? А у меня создалось впечатление, что последние несколько месяцев твои дела идут неважно. Может, это и вранье, но говорят, твоя заявка на строительство нового Саганского моста отвергнута.

— Однако вашу заявку тоже, по-моему, не приняли.

— Почему ты так думаешь?

— Пока у них котируется Росси.

Ла Барбера улыбнулся во весь рот, и на щеках у него появились ямочки, как у ребенка.

— Ты что, не читал сегодняшней газеты? Бедняги уже нет больше с нами. Приказал долго жить. Ему разнесли череп в Монделло, в этом ночном клубе, как он там называется.

— Какая жалость,— отозвался Тальяферри.— Росси был моим другом.

— Да, неплохой был малый. Одна беда: уж очень тупой. Не умел жить в ногу со временем.

— Вы хотели, кажется, купить у него часть дела?

— Я? Кто сказал?

— Ходят слухи.

— Я бы выразился несколько по-другому: я сделал ему предложение, как намерен сделать и тебе. Лавочка твоя буксует, и если дело пойдет так и дальше, то через месяц ей каюк. В последние недели тебе пришлось уволить половину своих людей. Говорят, и во дворце Криспи работы приостановили после того, как двое рабочих упали с лесов.

Тальяферри не отрывал глаз от своих сжатых в кулаки рук. У него явно поднялось давление и застучало в висках. Он был не из тех, кто находит разрядку в ссоре.

— Чего вы хотите? — спросил он.

— Половину,— ответил Ла Барбера.— Плачу по нынешней цене. А если заставишь меня ждать, то цена упадет.

— Ничего не выйдет,— сказал Тальяферри.

— Подумай хорошенько. Не спеши и подумай.

— Мне не о чем думать.

— Сейчас у тебя еще есть что продать. Кое-что осталось. Инвентарь и оборудование можешь записать по себестоимости. Я буду с тобой справедлив, Тальяферри. Я люблю играть на равных.

— Я сказал — нет.

Ла Барбера встал.

— Жаль, что у тебя такое настроение. А я-то думал, если мы займемся этим делом вместе, может, что и получится. Ты знаешь, где меня найти, коли передумаешь.

Тальяферри проводил его до дверей и увидел на площадке лестницы двух ухмыляющихся уголовников — телохранителей Ла Барберы. Один из них нагло приветствовал Тальяферри, и все это вместе убедило его, что неписаный «кодекс чести», с таким старанием создававшийся в течение многих поколений, начал рушиться. Необходимо было что-то предпринять.

Он вызвал к себе Марко, и тот предложил план, который следовало представить Дону К. на одобрение.

— Ему не понравится,— заметил Тальяферри. Оба знали, что с годами их шеф становился все более и более рьяным сторонником разрешения споров мирным путем.

Но через два дня ранним утром сгорел дотла гараж Тальяферри с пятью грузовиками. Тальяферри позвонил Марко.

— Я еще раз переговорил с одной важной особой по поводу нового мальчика, и нам дали зеленый свет.

Марко попросил к телефону Джонни Ла Барбера и, представившись служащим агентства «Недвижимость Гарибальди», где, как он узнал, Ла Барбера однажды наводил справки по поводу покупки дома, сказал:

— Сеньор Ла Барбера, у нас записано, что вы желаете купить дом в центре города. Вас это еще интересует?

— Если дом такой, как мне нужно,— пропищал Ла Барбера,— и цена подходящая.

— По-моему, вам должно понравиться мое предложение. Дом этот значительно больше того, про который вы спрашивали, и расположен в самом центре, на площади Караччоло. Семь спален и три гостиных на трех этажах. Превосходный дом, я бы сказал. Кроме того, у него еще одно большое преимущество: есть двор. Поэтому, если у вас есть машина, проблемы гаража не существует. В нашей практике дома с двором попадаются очень редко.

— Я заеду посмотреть,— пообещал Ла Барбера.

Дом оказался и в самом деле превосходным. Он был выстроен в испанском стиле для любовницы последнего из вице-королей. Даже Ла Барбера был поражен великолепием архитектуры и особенно тем, что здесь, в самом центре города, есть место и для двух белых «кадиллаков», а потому не раздумывая согласился на запрашиваемую цену, заказал мебель на несколько миллионов лир и через неделю вместе с Питом въехал в новый дом.

Три дня спустя, прихватив двух девиц, они отправились в машине Джонни в ресторан «Дзу Тану» в Монделло. По желанию Джонни для них был зарезервирован тот самый столик, за которым в последний раз сидел Росси. Они поужинали отличными омарами, фирменным блюдом ресторана, и, отвергнув предложение официанта уединиться после ужина в знаменитые купальни при ресторане, отправились прямо домой на площадь Караччоло.

Они подъехали к дому поздно вечером. Джонни позвонил в звонок у чугунных ворот, но привратник не появился, и он начал в нетерпении дергать за ручку — оказалось, что ворота не заперты. Джонни, а за ним и остальные вошли во двор, зажгли свет и увидели, что позади «кадиллака» Пита стоит какая-то чужая машина, которую придется подвинуть, чтобы ввести во двор «кадиллак» Джонни. Но как только Ла Барбера злобно рванул дверцу чужой «альфы ромео», раздался взрыв, осветивший зеленоватым светом всю площадь; вокруг на добрую четверть мили вылетели стекла, а несколько запоздалых прохожих упали на колени в уверенности, что настал конец света. От четырех жертв почти ничего не осталось, и на следующий день клочья человеческой плоти были наугад разложены в четыре гроба. В двух из них, по утверждению договорившихся между собой полиции и похоронного бюро, покоились останки девиц, поэтому их

украсили белыми лентами, символизирующими чистоту и невинность. Семьи девиц впоследствии получили анонимные подарки по двести тысяч лир.

Этот эпизод, послуживший началом небольшой гражданской войны в городе Палермо осенью 1953 года, подвергся тщательному расследованию со стороны Элистера Фергюсона, который подробно изложил его в рапорте своему начальству в Вашингтоне. Через несколько дней в Сицилию после более чем шестилетнего отсутствия прибыл Брэдли. Фергюсон встречал его в аэропорту, и по пути, памятуя былое, они остановились выпить в гостинице «Солнце».

— Ничто здесь не изменилось,— заметил Брэдли.

Однако изменилось многое — настолько, что Брэдли стало даже грустно.

— В этом баре есть что-то свое,— заметил Фергюсон.

Он тоже сильно изменился — настолько, что Брэдли с трудом узнал наивного энтузиаста прошлых лет. Теперь на нем были сандалии, на руке — массивный золотой перстень с какими-то, по-видимому каббалистическими, знаками, а движения у него были сонливые и заученные, как у курильщика опиума. Он заказал себе марсалу с яичным желтком в отдельном стакане, потом влил желток в вино и тщательно размешал ложечкой. Вот, подумал Брэдли, что получилось из обещанного генералом молодого человека с твердым характером, сторонника «реального» взгляда на вещи, которого прислали защищать остатки нашего с таким трудом завоеванного влияния в этой стране. Он ухватился за соломинку надежды: а может, Фергюсон просто прикидывается, чтобы лучше выполнять свои секретные обязанности?

— Вы, по-видимому, изменили свое отношение к Сицилии, раз сами попросили оставить вас здесь на второй срок? — спросил Брэдли.

— Дело в том, что я более или менее превратился в итальянца,— ответил Фергюсон, пальцем стирая остатки желтка с губ.

Он стал бездельником и спасался только регулярными и многословными донесениями. Он собирал слухи, раскрывал придуманные им самим заговоры, обнаруживал возможность утечки секретной информации в скандальном поведении мелких политических деятелей. В Вашингтоне им были довольны, но приезд Брэдли застал его врасплох. Он настороженно следил за гостем, готовясь к обороне. После отъезда Брэдли он услышал о нем много такого, что отнюдь не вызывало желания снова встретиться с ним. Из неуправляемых, говорили про Брэдли,— самодур, который убежден, что тяжелая рука судьбы лежит на его плече и направляет его.

— Что ж, если это вас устраивает, почему бы и нет? — сказал Брэдли.— Поехали?

Они сели в черную «альфу», и Фергюсон с бесстрастным лицом, точно робот, привез Брэдли в его бывшую штаб-квартиру, где все хитроумные замки уже давно исчезли. Их встретил доставленный когда-то специально из Америки письменный стол, теперь заваленный горами бумаг. На полу вокруг лежали стопки иллюстрированных журналов, а со стен смотрела коллекция жестикулирующих театральных марионеток.

— Вы приехали как раз вовремя,— заметил Фергюсон.— Вчера еще две машины взлетели на воздух. Убито тринадцать, не то четырнадцать человек. А сколько погибло позавчера, я уже забыл.

— Я видел фотографии в «Джорнале»,— сказал Брэдли.— Сплошная кровь. Кто берет верх в данный момент?

— Старая фирма,— ответил Фергюсон.— У новых мальчиков нет никаких шансов после того, как наш друг Марко прикончил обоих Ла Барбера. Джонни был мозгом организации. Его не стало, и они превратились в стадо баранов. Продолжают сопротивляться, но их дни сочтены: полное отсутствие стратегии.

— Я прочел ваше последнее донесение,— сказал Брэдли.— Откуда вы знаете, что взрыв на вилле Медина — дело рук Марко?

— Откуда? Трудно даже объяснить. Я живу здесь почти семь лет. И со временем приходит умение вытягивать факты прямо из воздуха. Появляется какой-то нюх. Здесь, в Сицилии, факты и слухи слиты воедино. Поэтому в конце концов у тебя развивается способность отличать правду от лжи. И самое забавное, что в Палермо, когда его как следует знаешь, нет никаких тайн. Можно сказать — все знают всё. Только никогда ничего не докажешь. Надо брать шестым чувством, что ли.— И он, закрыв глаза, постучал себя по голове.

— Вы давно видели Марко?

— Встречаю иногда. Я знаю, где он живет. Хотите с ним повидаться?

— Ни в коем случае,— ответил Брэдли.— Помните, я говорил вам, что придет время, когда он мне понадобится? По-видимому, такое время вот-вот наступит. Я должен увидеть Дона К. В прошлом я оказал ему кое-какие услуги, поэтому думаю, что он не откажет, если я попрошу его помочь мне.

Марко удивило, но ничуть не встревожило приглашение к Дону К. в его загородный дом у подножия Каммараты. Только самых достойных из членов Общества чести — тех, кто мог занять ответственный и значительный пост,— Дон К. приглашал к себе в дом, но с той поры, как великий человек почтил своим присутствием вечер в честь крещения Лючии, Марко считал, что и он причислен к избранным.

Для приема посетителей существовал определенный протокол. Дон К. принимал гостя во дворе, сидя в тени фигового дерева. Человек он был удивительно молчаливый и предпочитал общаться с помощью жестов, тоже весьма немногочисленных и сдержанных. Но во время аудиенции он делал над собой усилие и еле слышным хриплым голосом задавал множество вопросов. Вопросы эти были самыми банальными, да и Дон К., задававший их исключительно из вежливости и ради того, чтобы чем-то заполнить паузы между глотками принесенного экономкой настоя ромашки, знал наперед все ответы. Рассказывали, что ему известна до мельчайших подробностей жизнь каждого человека из Общества чести. Он сидел в этом далеком от города сельском доме среди выжженных солнцем безмолвных полей, где воняло свиным навозом и роились кучи мух, но ничто не ускользало от его бдительного ока и никто не мог уйти из-под его власти.

Тальяферри дал Марко несколько советов, как себя вести.

— Как все люди, он любит уважение — прояви его, но не переусердствуй. Не падай на колени. Ему не по душе подхалимы. Времена меняются.

Покровитель Марко подсказал ему еще кое-что. Было известно, что Дон К. не одобряет хвастовства, Марко же слишком разодет для предстоящего визита. Второй костюм тоже был забракован, и Тальяферри посоветовал купить что-нибудь более подходящее в лавке, где торговали подержанными вещами. Костюм должен сидеть плохо, но не чересчур плохо и, если можно, быть аккуратно залатанным. И новенькая «ланча аугуста» тоже не годится. Нужен старый «фиат» со стучащими клапанами и помятыми крыльями.

Летом Дон К. вставал около половины четвертого утра, до восхода солнца, и любил проводить аудиенции перед завтраком, поэтому Марко было велено явиться к семи. Ему предстояло двухчасовое путешествие до Леркара Фридди по бетонированному еще союзниками отличному шоссе, а потом по изрезанному глубокими бороздами проселку за деревню Каммарату. На самом краю долины у подножия горы у Дона К. было несколько тысяч акров земли цвета пергамента, на которой он выращивал пшеницу методами, требовавшими максимального количества рабочих рук для получения минимального урожая. Это были те края земного шара, где по праздникам ели ослиное мясо, где в 1852 году на костре сожгли ведьму, где крестьяне, обращаясь к состоятельному на вид незнакомцу, называли его «ваше сиятельство» и порой, когда продукты с наступлением зимы дорожали, отдавали достигшую брачного возраста дочь тому, кто за нее дороже заплатит.

В желтоватом свете утра дом Дона К. выглядел как земляная крепость в Атласских горах. Стены его, испещренные крошечными квадратными окнами, были защищены серой изгородью из колючих грушевых деревьев. Черные старухи, перекладывавшие кукурузные початки, что дозревали на плоской кровле дома, закрыли тряпкой лицо на манер арабских женщин, когда выпрямились, чтобы посмотреть на Марко. Тонкие стручки перца, висевшие в окне, были похожи на окровавленные ножи. Штук шесть автомобилей, все побитые, приткнулись в так называемую тень среди кактусов, и Марко заметил среди них принадлежавший Дону К. знаменитый «бьянки» 1928 года, порыжевший от ржавчины, с дверцей, привязанной бечевкой. Он понял, что идет совещание, на которое руководители местных кланов приехали на взятых напрокат старых машинах и в

эту минуту, одетые не лучше мусорщиков или лесников, беседуют с шефом, высказывая по его просьбе свое мнение по какому-то весьма важному делу.

Человек в вельветовой куртке и черных бриджах, ожидавший его у ворот, был одним из тех крестьян, которым Дон К. дал дом и несколько акров каменистой земли в обмен на выполнение разных работ и обязанностей телохранителя, когда он выезжал в Палермо или Монреале. Человек этот провел Марко в комнату, голую как тюремная камера, где стояла лишь низкая скамья да из крана в углу капала в таз вода. После пыльной дороги прежде всего следовало умыться, и Марко вымыл под краном руки и вытер их какой-то грязной тряпкой, висевшей поблизости на гвозде. Потом он сел на скамью, а на другом ее конце расположился молодой парень, который, распространяя запах овечьего загона, вошел в комнату следом за ним. Когда Марко посмотрел на него, парень отвернулся и уставился в противоположную стену, но как только Марко встал и подошел к зарешеченному окну, он тотчас почувствовал на себе безучастный взгляд пастуха.

В окно ему был виден угол двора, стена с облупившейся кое-где известкой, сломанное колесо от повозки, упряжь, покрытая пылью и птичьим пометом, и тощая кошка, ступавшая по земле с такой осторожностью, с какой ребенок впервые касается клавиш рояля. В поле зрения появились три члена Общества чести. Их суровые, мрачные лица — призрак преуспеяния в сельской Сицилии — сейчас, казалось Марко, заострились и вытянулись под влиянием чрезвычайных обстоятельств; когда они подошли ближе, чуть горбясь под тяжестью своих длинных накидок, которые все еще носили в этих краях, Марко узнал в одном главу клана Джентиле, а в другом — своего собственного покровителя Тальяферри. В ту же секунду Тальяферри поднял голову, и их взгляды встретились. Марко чуть кивнул, но Тальяферри тотчас отвел глаза, и все трое скрылись из виду.

Марко снова сел на скамью. Молодой пастух рассматривал свои заскорузлые от работы руки и изредка похрустывал суставами. Что-то произошло, понял Марко. Ему было также известно, что участь членов Общества решается однажды: твоя звезда либо восходит, либо гаснет навсегда.

Прошло полчаса. Пастух, который, как начал подозревать Марко, был приставлен к нему в качестве сторожа, хрустел суставами и ерзал по скамье, распространяя запах овечьей мочи и хлева. Синяя муха жужжала в пересечении солнечных лучей, и Марко не мог оторвать от нее взгляда. Один из бентамских петухов Дона К. попытался что-то прокукарекать, но крик его был больше похож на стон. Через окно Марко было видно, как выходили во двор члены Общества чести; одни шагали энергично, другие с трудом тащили за собой свою тень. В эти минуты он стоически распрощался со многими надеждами. Что-то случилось. Смерть, наверное, уже поджидает его на пути назад в Палермо.

Наконец по вымощенному плитами двору раздались быстрые шаги, дверь распахнулась, и в комнату ворвался маленький аккуратный человечек. На нем был такой шикарный костюм, какого Марко отродясь не видел. Но почему-то создавалось впечатление, что человек тонет в своей одежде, которая, словно на легком ветру, трепетала вокруг его рук и ног.

— Salutami gli amici [1],— произнес человечек с сильным акцентом и тут же перешел на английский: — Ты Риччоне, да? Я Спина. Рад познакомиться.

Марко неловко взял протянутую ему руку, не зная, поцеловать ее или нет, и был рад, когда человечек ее отдернул. Спина был легендарной фигурой, человеком, который, сидя в американской тюрьме строгого режима, замыслил с Доном К. ниспровержение фашизма в Сицилии, в награду за что был досрочно освобожден и выслан в Италию. Слухи, басни и реальные факты превратили его в фигуру, внушавшую страх. Спина был Доном К. в Соединенных Штатах, Цезарем, который обладал неограниченной властью и сметал со своего пути всех, кто противился его планам военизации кланов. Трудно было поверить, что этот суетливый, улыбчивый и сморщенный человечек прекрасным апрельским днем 1931 года чуть слышным голосом отдал приказ о ликвидации своего бывшего шефа страшного Джузеппе Массериа и сорока его главных

---

[1] Привет друзьям! *(итал.)*

сторонников при условии, чтобы ни один человек не был убит в присутствии жены и детей, и тут же велел закупить на 20 000 долларов цветов для будущих похорон.

Сицилийцы были просто не в состоянии осознать все величие Спины. Они имели дело лишь с землей и ее плодами, а Спине принадлежала целая империя запретных наслаждений. У них в подчинении было сто человек, а Спина командовал десятью тысячами. Члены сицилийского Общества чести оставались в душе фермерами, в то время как Спина был одновременно и финансистом, и политическим деятелем, и генералом, пока его на некоторое время не убрали со сцены. По этой причине, когда ему пришлось вернуться на родину, его поначалу приняли с настороженной сдержанностью, но он пустил в ход свое обаяние, улыбался, льстил, обхаживал, и в конце концов сицилийцы смягчились и почти простили ему огромный гангстерский автомобиль и бриллиантовые перстни. Люди из Общества чести утешали себя тем, что в Сицилии нет ничего такого, ради чего Спина задержался бы на родине надолго. Он был чересчур блестящим, чересчур ярким. Не могли они понять и дерзкого демократизма его манер, который их смущал, как смутил и Марко, ибо лишал их возможности в должной форме проявить уважение, что было одним из условий благополучия и спокойствия жителей Сицилии, каждый из которых ожидал такого же уважения от нижестоящих.

— Я говорил со стариком о тебе, Риччоне,— сказал Спина.— И услышал немало хорошего. Жаль, что все складывается так неудачно.

Марко опять почувствовал неловкость. Было бы лучше всего обратиться к Спине по имени, предварив его титулом «Дон», но он не мог вспомнить, как зовут Спину, и знал: чем больше он будет стараться вспомнить, тем меньше надежды на то, что его имя всплывет в памяти.

— Боюсь, сеньор Спина, я не совсем понимаю, что происходит.

Выражение удивления разлилось по лицу Спины.

— Неужели никто не предупредил тебя, Риччоне, о чем идет речь? Такие судилища, как нынче, устраивали, бывало, во времена Дона Вито Феррера, а то и раньше. Держу пари, что здесь в глуши все еще верят в привидения. Было больше двадцати свидетелей. Дай им волю, они бы целый день проговорили. Не поверишь, но один старик явился в овечьей шкуре.— Он засмеялся, обнажив коренные зубы, от чего голова его стала еще больше похожа на череп. Зрачки его темных глаз весело поблескивали на фоне налитых кровью белков.— Человек явился в овечьей шкуре, а никто и глазом не моргнул.

— В деревнях, сеньор Спина, есть еще очень отсталые люди,— согласился Марко.

То, что это вызвало у Спины веселье, поразило его. Ведь люди ходят в овечьей шкуре в знак презрения к большим городам с царящей в них испорченностью; такие люди отправляются в горы, где становятся хранителями и защитниками старинных традиций и пользуются всеобщим уважением. Непочтительность Спины была типичной для вернувшихся после войны из-за океана новых людей, которые были готовы бросить вызов всем укоренившимся обычаям. Услышав небрежно сказанные им презрительные слова, Марко даже пал духом. Для него Общество было отцом, матерью, братом и сестрой. Общество протянуло ему руку помощи, положило конец его страшному существованию в Компамаро. Оно освободило его от присущей крестьянам рабской покорности, что была у него в крови, и наградило холодной, но брызжущей через край самоуверенностью, вызывавшей уважение у всех, кто имел с ним дело. Он считал себя обязанным разделить презрение Спины, и в то же время оно причиняло ему боль, словно заразив способностью осуждать и сомневаться.

— И ты даже не представляешь, зачем тебя вызвали?

— Понятия не имею, сэр.

— Я слышал, что ты надежный парень. И мозги у тебя есть, мне сказали. И не будешь скулить, даже если тебе придется туго. За тобой послали, потому что ты попал в беду. Знаешь, почему кое-кто из этих деятелей жаждет поджарить тебе одно место?

— Нет, сэр.

— Я тебе скажу. Тебя обвиняют в том, что несколько лет назад ты взял на прицел некоего Бенедетто Джентиле, который затем погиб при трагических обстоятельствах. Скажу откровенно: если тебя признают виновным, ты знаешь, что тебя ждет.

Марко облизал губы. Страх, который может принимать, как и любовь, разные обличья, коснулся его кончиками своих холодных пальцев. Сейчас это было мучительное нежелание умереть. В юности, когда он попал в руки марокканцев, он не испытывал такого страха; тогда жизнь представлялась ему чем-то простым и бесформенным, не имевшим ни определенного начала, ни конца. Теперь же она была связана с жизнью его жены и детей. Их существование целиком зависело от его существования. Ему нужно было время, чтобы развязать узелок зависимости и подготовить их к жизни без его защиты. Он не был готов к смерти.

— Огорчен?

— Я думаю о разном, сеньор Спина.-Просто думаю.

— Пусть тебя это не слишком расстраивает. По правде говоря, ты не будешь признан виновным. Суд должен был состояться, потому что этого требовал клан Джентиле. Тебя признают невиновным одиннадцатью голосами против одного — если, конечно, старик воздержится.

Холодная тень смерти растворилась. Стоявшая перед мысленным взором Марко картина пустынной дороги на Палермо с крестами в честь уже забытых сейчас схваток исчезла. Вечером Тереза будет его ждать, и он вернется домой.

— Но от расплаты тебе так просто не уйти,— продолжал Спина.— Эти Джентиле, а их немало, постараются прихлопнуть тебя при первом же удобном случае. А старику нужен покой. Поэтому, мне кажется, тебе следует уехать из Италии.

Марко кивнул, ожидая, что будет дальше.

— Как ты к этому относишься?

— У меня жена и двое детей.

— Вы оба молодые. Твоей жене понравится за границей.

— Мы в прошлом месяце купили новую квартиру, сеньор Спина.

— Хватит качать права, Риччоне. Ты купил ее по дешевке, я слышал. Можешь продать и еще заработать на этом деле.

От волнения Марко вспомнил, как зовут Спину.

— Я был бы только рад следовать вашим указаниям, Дон Сальваторе.

— Ты счастливчик, Риччоне, хотя сам этого не понимаешь. Ты кое-чего здесь добился, верно, но не так уж много. Пока тебе не стукнет пятидесяти пяти и у тебя не будет камней в почках, едва ли тебе станут целовать перстень на руке. И всегда можно ждать неприятностей. Хочешь знать правду? На этом острове до чертиков скучно. А в Штатах такой парень, как ты, может по-настоящему развернуться. Через год у тебя будет открытый «линкольн», а то и двухэтажный дом, да в придачу бунгало с собственным пляжем на Лонг-Айленде.

Почему Спина, думал Марко. Почему о решении Дона К. ему объявляет великий Спина, хотя до сих пор это делал его покровитель Тальяферри, через которого передавались все приказы?

— Как скоро это нужно сделать, Дон Сальваторе? — спросил Марко.

— Уехать? Чем скорее, тем лучше, Риччоне. Медлить нельзя. Дон К. может уговорить твоих противников подождать неделю, не больше. После этого тебя будут разыскивать полсотни молодцов Джентиле с духовыми ружьями двенадцатого калибра, заряженными картечью. Ты и помолиться не успеешь.

Спина изящно жестикулировал, сложив щепоткой четыре пальца и ритмично покачивая кистью. В сочетании со сказанным это могло означать что угодно, но в данном случае обещало отмену приговора. Широкая улыбка растягивала щеки и удлиняла челюсть. К мстителям с духовым ружьем наперевес Марко отнесся скептически, как к чему-то театральному и неправдоподобному. В действительности, должно быть, пройдет немало медленных и осторожных лет, прежде чем в один прекрасный день смышленый на вид молодой Джентиле, сменив имя и скрыв, кто он такой, обратится к нему за работой, или другой Джентиле, досконально изучивший все его привычки, явится в бар, куда Марко ходит пить кофе, а может быть, механик из гаража, где обслуживают его машину, будучи тайным сторонником семьи Джентиле, найдет способ кое-что «починить».

— И надолго, Дон Сальваторе?

— Лет на десять. Твоим друзьям хочется, чтобы ты остался в живых. Да и твоей милой молодой супруге еще рано быть вдовой.

— Я не уверен, сумею ли я за неделю продать квартиру и мебель, Дон Сальваторе.

— А чего торопиться? Тальяферри это сделает и переведет тебе деньги. Проблема решена?

— Да, Дон Сальваторе.

— Вот такое отношение мне нравится, Риччоне. Правильный философский подход. Все знают, что ты здесь немало потрудился. И за океаном о тебе позаботятся. Тебя сведут с нужными людьми и предоставят возможность как следует развернуться.

— Большое вам спасибо за участие, Дон Сальваторе.

— Не стоит, Риччоне, не стоит. Я заинтересовался твоей судьбой только потому, что ты малый перспективный. У меня есть предчувствие, что ты далеко пойдешь. Я отправляю тебя в такое место, где ты сможешь расправить плечи и свободно вздохнуть. Ты слышал когда-нибудь про город Солсбери в штате Массачусетс? Наверно, нет? Так вот. У меня есть там хороший приятель, мой компаньон в те годы, когда я занимался спиртным. Человек он отличный и при деньгах. К нему я и посылаю тебя, Риччоне.

— Еще раз спасибо, Дон Сальваторе. К сожалению, у меня нет возможности выразить всю благодарность. какую я испытываю в душе.

— Забудь об этом, Риччоне. И перестань выражаться как итальянец. Мы повязаны одной веревочкой, значит, должны помогать друг другу. Все за одного, и один за всех. Рано или поздно и мне придется попросить тебя об одолжении, и я знаю, ты мне не откажешь.

— О, если бы когда-нибудь это произошло, Дон Сальваторе. О большем я и не мечтаю.

— Перейдем к деталям,— сказал Спина.— «Принчипе ди Пьемонте» отплывает из Генуи в Нью-Йорк в понедельник, восьмого числа. Ровно через неделю. У меня было предчувствие, что все может так обернуться, поэтому для тебя и твоей семьи заказана каюта первого класса. За билеты платит человек, которого мы не будем называть. А теперь сделай милость, перестань меня благодарить.

С нами-то все будет в порядке, думал Марко, с Терезой, с детьми и со мной. Но как насчет остальных? Что будет с ними? Две матери-вдовы, у которых старость уже не за горами? Кристина, которую муж рано или поздно бросит, воспользовавшись как предлогом ее прошлым... Паоло с его новым гаражом, агентством «Аджип» и мастерскими по обслуживанию «фиатов», а также с астмой, которая прогрессирует и дает дополнительную нагрузку его и без того больному сердцу? И целая куча двоюродных, троюродных и четвероюродных братьев, сестер и прочих родственников, которые, как только он стал чуть-чуть преуспевать, появились, требуя защиты, любви, денег, рождественских индеек, советов по поводу браков и земельных тяжб,— и все эти обязанности он брал на себя охотно, почти с благодарностью. Что они будут делать? К кому обратятся за помощью и поддержкой, когда он уедет?

— Ну, что ты скажешь? — спросил Спина.— Что теперь ты думаешь по поводу своего будущего?

Часть вторая

1

Им занялся Эндрю Кобболд, урожденный Андреа Коппола.

— Ты больше не Марко Риччоне,— заявил Кобболд.— Постарайся забыть, что ты им был. Теперь тебя зовут Марк Ричардс. Ты получишь приличную должность в компании «Винсент Стивенс», а жить будешь в респектабельном районе на Чемплейн авеню. Старайся держать марку.

— Я сделаю все, что в моих силах, сэр.

— И не величай меня «сэром». Здесь демократическая страна.

Кобболд сидел, не сводя с него сонного взгляда. Это был моложавый человек с залысинами надо лбом, с густыми — словно в утешение — зарослями черных волос по бокам и молочно-белой, как у юной девушки, кожей. Лицо его попеременно принимало то презрительное, то умиротворенное выражение, а когда он встал, Марк снова удивил-

ся тому, какого он маленького роста. Кобболд был адвокатом, возглавлял правовой отдел компании «Винсент Стивенс» и, по мнению многих в этой организации, которая доверяла больше слухам, чем фактам, был первым претендентом на корону в стивенсовской империи, основателем которой являлся Дон Винченте ди Стефано. По слухам, Кобболд вытеснил законного наследника, сына Дона Винченте.

— Возьмем меня, к примеру,— пустился в откровения Кобболд.— Как ты думаешь, где я родился?

Марк знал, что Кобболд родился в Америке, получил от отца небольшое состояние, нажитое на торговле пивом во время сухого закона, и окончил юридический факультет Гарвардского университета. Он пожал плечами.

— Я родился в Малберри-Бенд,— сказал Кобболд.— На Элизабет-стрит. Но ты ведь и понятия не имеешь, где это.

— Я еще мало пробыл в Штатах,— ответил Марк.

— Конечно мало. Малберри-Бенд было итальянским гетто. Мой отец начал с крохотного банка в помещении магазина. Я хочу сказать вот что, Ричардс: не нужно тащить груз прошлого за собой через всю жизнь. Сейчас пятьдесят третий год. С Сицилией ты покончил, и я надеюсь сделать из тебя американца. Откуда у тебя, между прочим, такое произношение?

— Я два года был переводчиком у англичан, а потом работал на складах американской военно-морской базы в Кальтаниссетте, мистер Кобболд.

— И это твой плюс,— сказал Кобболд.— Что же касается остального, то извини за откровенность, ты выглядишь как кусок сала. Что ты пьешь, Ричардс? Дома, я хочу сказать.

— Мы иногда пьем вино.

— Так я и думал. Придется тебе привыкать к виски. И ты, наверное, ешь много мучного?

— Не очень много,— ответил Марк.— Раза два в неделю, не больше.

— На людях мучного не ешь. А то на тебя сразу обратят внимание. Для нас главное — не выделяться, быть как можно неприметнее. Кроме того, с мужчинами не целоваться.

Кобболд еле слышно постукивал по крышке стола пальцами с тщательно ухоженными ногтями. Волосы, исчезая у него с головы, в изобилии росли на всех других местах, включая пальцы и кисти рук. Позади него на стене кружились танцовщицы из «Мулен-Руж» на афише Тулуз-Лотрека.

— Когда вы с миссис Ричардс в последний раз куда-нибудь ходили?

— Примерно неделю назад.

— Желательно делать это регулярно. Никому не покажется странным видеть тебя в компании твоей жены. Наоборот. У нас в Америке иное отношение к женщинам. Тебе совершенно нечего опасаться, никто не ущипнет ее за зад в общественном месте. Хотелось бы, чтобы ты приспособился к здешней жизни. Ты будешь жить в превосходном районе. Демонстрируй соседям свое усердие. По воскресеньям стриги траву на газоне перед домом. Вступи в теннисный клуб. И чтобы завтра же ты был одет по-другому. Закажи себе пару костюмов, а в выходные дни носи твид. Постригись. Извини за все эти разговоры, Ричардс, но в компании «Винсент Стивенс» нет усатых и лохматых сотрудников.

— Разумеется, мистер Кобболд. Я понимаю.

— Отлично. А сейчас мы отправимся в загородный клуб, посидим там, выпьем и обсудим более деликатные моменты. И что ты будешь пить?

— Виски,— ответил Марк.

— Не обязательно виски. Можно джин с тоником или мартини с водкой. А на закуску торт?

— Нет, не торт.

— Превосходно. Торт нам уже не нужен. Мы делаем успехи.

У официанта были седые волосы и лицо озабоченного патриция. Он был живой декорацией в этой комнате с бревенчатыми стенами, украшенными гравюрами из жизни английских охотников.

— Мой друг будет пить солодовое виски со льдом,— сказал Кобболд.— «Глен Ливет» или «Глен Грант», если есть. И мне то же самое. Здесь очень приятно,— продолжал он.— Тихо. Особенно летом. Всегда дует ветерок. Дон Винченте предложил твою кандидатуру в члены клуба. Его сюда не пускали, когда он приехал, поэтому он купил это заведение.

Бесшумно, как убийца, скользя по толстому ковру, официант подал виски и удалился.

— Есть вещи, о которых тебе следует знать,— сказал Кобболд.— Через несколько дней или недель ты встретишься с самим Доном Винченте, а пока я расскажу тебе о нашей компании. Сначала она была задумана как семейное предприятие, но из этого ничего не получилось. Два старших сына Дона Винченте потеряли интерес к нашему бизнесу и уехали отсюда навсегда. Что же касается младшего... Впрочем, увидишь сам. Ты, наверное, уже кое-что слышал о его выходках, а?

— Мне рассказывали, что он интересуется женщинами и спортивными машинами,— ответил Марк.

— Нам принадлежат несколько фабрик, банк, оба городских отеля, три ресторана и вот этот клуб. Дело в том, что Дон Винченте не вечен, а я не представляю себе, как Виктор со всем этим справится, когда наступит время. Ты наверняка согласишься со мной, когда увидишь его.—Он понизил голос, хотя в комнате кроме них никого не было, а лицо его приняло еще более презрительное выражение.— У нас также есть интерес в нескольких увеселительных заведениях, но в последнее время наши вложения туда сокращаются. Некоторые из этих заведений существуют на основе не вполне законной, хотя полиция и закрывает на это глаза. Мы намерены изъять деньги из этой... так сказать, находящейся на границе дозволенного деятельности и поместить их куда-нибудь еще. Как раз сейчас Дон Винченте покупает отели в Гаване, которая должна стать в будущем столицей развлечений. А поскольку ты работаешь в конторе по покупке и продаже недвижимости, тебе полезно все это знать.

— Гаваной занимается внешнеторговая контора,— заметил Марк.— А моя ведет дела в основном в городе и его пригородах.

Кобболд уселся поудобнее в кресле, скрестил ноги и откинул голову.

— Я слышал, что ты перед отъездом из Италии встретился со знаменитым Спиной.

— Я пробыл с ним всего около часа.

— Есть в нем что-то необычное?

Марк задумался.

— Есть. Он совсем не такой, каким его себе представляешь. Я думал, это здоровенный мужчина крутого нрава, а оказалось, что он небольшого роста и довольно приятный в обхождении. Чувствуется, что с ним легко ладить. А лицом он похож на обезьяну.

— В свое время он убил немало людей,— заметил Кобболд.— Много лет назад он и Дон Винченте были компаньонами. У них был тотализатор для итальянцев в нижней части Манхэттена. Еще до того, как они пошли разными путями. Как тебе известно, Спину посадили за принуждение девиц к проституции. Они с Доном Винченте, по-моему, родились в одной деревне, в Алькамо Марина, если мне не изменяет память, и вместе приехали сюда. Последние из могикан, а? И как только он вышел на свободу, его выслали обратно в Италию. Говорят, он живет в Неаполе.

— Он уезжает из Италии,— сказал Марк.— Может, уже уехал.

— Правда?

— Если только он не шутил. Он приехал в Палермо попрощаться с нами и сказал, чтобы я обязательно разыскал его, если мне придется быть на Кубе.

— Он так сказал? Значит, он все-таки едет в Гавану. И тебе он понравился? Ты тоже не устоял перед его знаменитым обаянием?

— Он не может не нравиться.

— Ты слышал когда-нибудь о Кастелламарской войне, что шла здесь в тридцатые годы?

— Слышал.

— За одну ночь он уложил сорок человек. Он убийца, Ричардс. Настоящий убийца. Но сейчас в наш век его методы устарели.

Марк промолчал. Эти кровавые легенды не вызывали в нем никаких чувств. В Сицилии Спина оказал ему содействие, помог ему и его семье живыми выбраться из Италии и попросил Дона Винченте взять его под свою защиту. Что бы этот человек ни сделал со своими врагами, его, Марка, это не касается. Он навсегда у Спины в долгу.

Но Марку было известно и то, что отец Кобболда погиб во время Кастелламарской войны.

2

Первые полгода пребывания в Солсбери Тереза никак не могла прийти в себя. Во время двухнедельного путешествия к берегам Америки она часто думала про города Соединенных Штатов, и они представлялись ей такими же, как Палермо, только с более широкими улицами, более высокими виллами, более просторными площадями и с более опасным — из-за количества машин — уличным движением; там люди живут еще более скученно, чем у нее на родине, и деревенской тишины, одиночества и скуки, столь презираемых людьми крестьянского происхождения, там нет. Каким же непохожим на воображаемый оказался настоящий Солсбери! Большинство домов было из дерева, чего не любит крестьянин, жаждущий укрыться под защитой камня; более того, на всех так называемых «респектабельных» улицах, вроде Чемплейн авеню, дома стояли далеко друг от друга, посреди широких лужаек. Сицилийцы боятся открытой местности. В Шакке, Агридженто или Палермо — везде они предпочитают селиться как можно теснее, в многоквартирных домах, чтобы кругом — на лестницах, площадках, в коридорах, наверху и внизу — были соседи. Постоянное человеческое присутствие избавляет их от воспоминаний о мародерах и одновременно не дает забыть о том, что другие люди живут теми же заботами.

Полгода Тереза сидела дома, борясь с одиночеством, утешаясь воспитанием детей, и с растущим любопытством рассматривала и оценивала окружавший ее новый мир. Затем начались перемены. Оказалось, что у нее от природы отличные, еще лучше, чем у Марка, лингвистические способности, прекрасная память, удивительное умение подражать другим и врожденное чувство слова. Она старалась говорить по-английски где только можно: с продавцами в магазинах, с разносчиками, с женщиной, которая приходила к ним убирать, с Марком, когда он бывал дома, и, наконец, когда пришла уверенность,— с соседями. Через год она превосходно владела языком и говорила с настоящим солсберийским акцентом, лишенным тех тягучих гласных на конце слова, которые так часто выдают эмигранта из Италии. Типичная молодая сицилийка, выходившая из дома только к мессе, теперь старалась проводить как можно больше времени в городе, бродя по магазинам и рассматривая витрины, или у соседей — за кофе по утрам и за бриджем после обеда. Когда ей надо было уйти из дому, Тереза вызывала приходящую няню и оставляла детей на ее попечение (к этому времени они решили, что Амедео будет теперь Мартином, а Лючия — Люси); она даже успела вступить в два благотворительных общества. Марк купил ей «фольксваген», который она освоила меньше чем за месяц.

Новые знакомства пробудили ее ум и расширили круг интересов. В Сицилии молодые женщины беседуют друг с другом только о детях или об интимных отношениях с мужьями, не скупясь на подробности, порожденные самой необузданной фантазией. Здесь о себе не рассказывали. О сексе говорили между прочим, точно о телевизионных сериях, уделяя этой проблеме не больше внимания, чем керамике, плетению корзин или политике республиканцев.

Марк начал замечать в Терезе какое-то беспокойство, прилив энергии и почти неженское любопытство, а вместе с этим изменилась и ее внешность: она похудела, бедра и грудь перестали быть пышными, она сделалась более привлекательной и, казалось ему, даже выросла.

Вулкан их сексуальной жизни слегка остыл. Неукоснительно соблюдавшийся обычай ложиться в постель днем был нарушен тем обстоятельством, что в Солсбери не существовало сиесты. Мужчинам в положении Марка сиесту заменяли долгие деловые ленчи. Но когда днем он бывал свободен, он шел домой, и они с Терезой удалялись в спальню. В эти часы они говорили по-итальянски, употребляя вульгаризмы, которым не могли подыскать эквивалента в английском языке.

Она начала носить трусики. Сначала он был шокирован: в Сицилии эту деталь дамского туалета надевали, чтобы возбудить мужчину, только проститутки. Но он быстро смирился и стал получать удовольствие, раздевая жену. Нет, некоторые американские обычаи совсем недурны.

Все итальянские эмигранты первым делом спешили превратиться в настоящих американцев. Появились итальянцы в этих краях четверть века назад, оттесняя голландцев и немцев и стремясь пробраться под крыло всемогущего молодого тогда Винченте ди Стефано.

Кобболд рассказал Марку о первых шагах этого объединения, возникшего на чисто национальной основе.

— Он правил всем. Все политические деятели были у него в кулаке. И он старался помогать своим землякам. Тот, кто приезжал из Неаполя или Сицилии, тотчас получал работу. Если же человек был родом из Кастелламмаре, он получал хорошую должность. С тех пор положение изменилось.— Они сидели в загородном клубе, где Кобболд только что попарился в сауне и привел в порядок ногти.

— А что же произошло? — полюбопытствовал Марк.

— Что произошло? По-моему, слишком долго все шло чересчур гладко. Как в истории: ни одна империя не существует вечно. Сыновья не интересовались делом. Он послал их в Принстон, и они исчезли, как только закончили университет. Ты, наверное, слышал поговорку: «Не делай детей своих лучше себя»? В свое время я назвал бы его «Capo dei Capi»[1], если тут знают, что это такое. Во всех Штатах не было босса, который не послал бы ему поздравления ко дню ангела. А теперь город наш по-прежнему открыт для приезжих, но поддержки они уже не получают. У нас все еще есть король, но он без армии... Меня, между прочим, можно рассматривать как иллюстрацию к происходящему,— продолжал он.— Мой отец гнал отраву, на которой заработал достаточно, чтобы послать меня в колледж, а теперь я пью «Мутон Ротшильд». Ты способен представить меня с пистолетом в руке?

— Каким же вам видится будущее нашей организации?

— Будущее? Раз уж ты спрашиваешь меня, то отвечу: весьма неопределенным. Я более оптимистично настроен в отношении кубинского проекта, поскольку там мы переходим в сферу законного бизнеса. Здесь же такой уверенности у меня нет. Еще некоторое время по инерции мы будем существовать; сколько — не берусь определить. В основе здешнего бизнеса лежал принцип личной власти, которой в случае необходимости можно было воспользоваться, теперь же это сделать трудно, поскольку действующие лица — вымирающее племя.— Он поставил бокал на стол и рассмеялся.— Марк, я знаком с тобой уже почти год и хочу рассказать тебе кое-что, это тебя позабавит. Когда ты впервые появился, я не мог понять, зачем ты здесь, почему старик так старался притащить тебя сюда. С виду у тебя не было никаких достоинств, за исключением, так сказать, задатков наемного убийцы. Неужто талант такого рода здесь больше не водится и старик решил ввозить его из-за границы?

Он снова расхохотался, и Марк вместе с ним.

— Я появился здесь только потому,— сказал он,— что этого пожелал Сальваторе Спина.

Лицо Кобболда, желтое и унылое в неярком свете клубных ламп, стало задумчивым.

— Что само по себе могло бы вызвать подозрения,— сказал он.— Ты, наверное, не знаешь всей правды про Спину. Он сложный механизм. Клубок интриг и заговоров. И когда я поначалу заинтересовался им, то, помню, натолкнулся на некоего Брэдли. То ли Спина работал на Брэдли, то ли Брэдли — на Спину. Я так и не сумел выяснить.

— В Палермо мне доводилось встречаться с Брэдли,— сказал Марк.— Он был армейским офицером. Но я ни разу не слышал, что он как-то связан со Спиной. Хотя определенно сказать нельзя. Брэдли имел дело с довольно странной публикой.

— Я чувствую, что он скоро здесь появится,— сказал Кобболд.— И судя по тому, что мне известно от моих агентов, хорошего от него не жди. Между прочим, и от Спины

[1] Верховный глава мафии (*итал.*).

тоже. Запомни, Марк: если Спина сделал тебе одолжение, то рано или поздно он попросит тебя отплатить ему тем же.

3

Через год и два месяца после переезда в Соединенные Штаты Марк был приглашен к Дону Винченте. Старик жил в двух милях от города, в большом ветхом, окруженном рощами и парком доме, частично перестроенном на манер замка Орсини, который произвел на него неизгладимое впечатление, когда Дон Винченте еще совсем юношей гостил в Италии.

Пожилой человек — должно быть, садовник — ввел Марка в дом, в котором все показалось ему знакомым. Таким было жилище любого зажиточного сицилийца прошлого поколения: покрытые пылью гипсовые святые, в каждой комнате — картина на религиозную тему и всюду источаемый, казалось, самими стенами еле уловимый сладкий запах цветов, увядающих в семейной раке, ладана и чеснока. Дон Винченте принял его в гостиной, заставленной викторианской мебелью. Это был человек с грустным лицом, огромным крючковатым носом, маленькими красноватыми глазками и почти такой же неряшливый, как Дон К. В молодости он мог бы сойти за американца второго или третьего поколения, но, по мере того как он набирал вес, его когда-то худощавое и по-юношески свежее лицо стало сначала мясистым, а потом и толстым; Марк был просто поражен, когда увидел, до чего Дон Винченте похож на сицилийца — он даже отрастил на мизинцах непомерно длинные ногти, как некогда было модно в Сицилии.

Дон Винченте производил впечатление человека доброжелательного и простого. Когда Марк наклонился поцеловать его перстень, он опустил ему на плечо свою пухлую клешню и сам поцеловал его в щеку. Позади него, возвышаясь как башня среди хаоса из маркетри и золоченой бронзы, с мрачной точностью отмеряли время привезенные из Италии напольные часы с ярко раскрашенным циферблатом, а в клетке верещала канарейка, рассыпая на ковер зерна и песок.

— Ричардс, сколько времени ты уже в Штатах?

— Чуть больше года, Дон Винченте.

— Стыдно, что мы не встретились раньше. Я был, правда, занят. Как тебя тут приняли?

— Очень хорошо, Дон Винченте. Жаловаться не на что.

— Я про тебя много слышал. И работаешь, говорят, хорошо. Живешь все еще на Чемплейн авеню? Неплохое место. Я сам был бы не прочь там поселиться, если бы не жил тут. Отличный район. С соседями ладишь?

— Вполне. Славные люди.

— Очень хорошо. Жить в таком маленьком городке, как Солсбери,— это совсем не то что в большом городе. Нужно стараться нравиться соседям. Ты вступил в какие-нибудь общественные организации?

— В «Кивани» и в Общество Христофора Колумба. И в теннисный клуб меня приняли.

Дон Винченте поднял брови. На лице его появилось выражение легкого раздумья, и он стал похож на попугая.

— Как тебе это удалось, Ричардс? Туда принимают далеко не всех.

— Мою кандидатуру поддержали вы, Дон Винченте.

— Вот как? Потому, значит, и удалось? Что ж, очень рад за тебя. Теперь ты, так сказать, пьешь из одного источника с самыми крупными деятелями в нашей округе. Остается только, чтобы тебя выбрали церемониймейстером на парад в день святого Рокко.

— Теперь в этот день парада не бывает, Дон Винченте.

— Вот как? Очень печально. Что ж, времена меняются. Твоя жена, я слышал, участвует в благотворительности. Тоже хорошо. Пусть она когда-нибудь скажет, что хочет быть дамой-попечительницей в госпитале. Сейчас-то она еще слишком молода, может, как станет постарше.

В дверях появился, кашлянув, чтобы на него обратили внимание, молодой человек в брюках для верховой езды. Это был Виктор, непутевое чадо Дона Винченте, в котором

несмотря на уродовавшую щеки сыпь, недоразвитый подбородок, капризное выражение лица и ускользающий взгляд сразу можно было распознать сына своего отца.

— У меня опять что-то с машиной, папа. Можно взять твою?

— Конечно можно. Ты же знаешь, что можно. Только, пожалуйста, не врывайся и не перебивай, когда у меня конфиденциальный разговор.

— Помешан на машинах,— пояснил старик Марку, когда Виктор ушел.— Вчера вечером налетел на своем «сандербёрде» на дерево, разбил вдребезги, но думает, что я не знаю,— добавил он с хриплым снисходительным смешком. Затем доверительный, отеческий тон вдруг исчез, и Марк почувствовал разделявшее их расстояние.— Ричардс, я хочу тебя кое о чем попросить. Ты ведь часто видишься с Кобболдом?

— Только по делу, Дон Винченте. Вне работы он к себе не очень допускает.

— Да, знаю, он всегда держался особняком. Тем не менее, сумел ли ты из ваших встреч составить о нем какое-либо мнение?

— Он умный человек, Дон Винченте, сомневаться не приходится. И образованный, сразу видно.

— Этим ты мне ничего не сказал,— заметил Дон Винченте более строгим тоном.

— Он предан делу.

Подчиненные Дона Винченте, хорошо изучившие характер своего босса и все еще считавшиеся с ним, предупредили Марка, что к нему лучше являться с добрыми вестями, нежели с дурными. Дон Винченте любил, когда говорили, что приближенные исправно ему служат.

— Я послал его с ответственным заданием за границу. Ты об этом слышал?

— Я знаю, что он на Кубе.

— Правильно. В Гаване. У меня там сейчас разворачиваются большие дела, и он поехал туда наставить местных политиканов на путь истинный. Неплохо справляется. Не припомню ни единого случая, чтобы я был недоволен работой Кобболда. Но вот беда: он оказался carogna [1]. Пошел в Бюро по борьбе с наркотиками. В Гаване торгуют наркотиками, и он донес в полицию.

— Я не верю этому, Дон Винченте.

— Молчи и слушай. Тебя не просят верить, тебе говорят. Я наркотиками не занимаюсь и никогда не занимался. Но чем занимаются мои друзья, это их дело. Кобболд донес властям на одного из моих друзей, а тебе известно, что это значит.— Солнце, выйдя из-за облака, проникло в комнату сквозь цветное стекло высокого окна, и в его желтом свете лицо Дона Винченте, сразу постарев, приобрело восковой оттенок.— К счастью, у нас еще есть связи, помогающие контакту с властями. Между прочим, один наш знакомый знает тебя еще по Палермо. Я забыл его фамилию.

— Брэдли? — спросил Марк.

— Возможно. Он сказал, что вы вместе работали. Сказал, что на днях заедет повидаться. В подобном случае это полезное знакомство, Ричардс. Когда доносят на моего друга, мне кажется, что донесли на меня. Кстати, тот, на кого он донес, и твой друг тоже.

Спина, подумал Марк. Все сходится. Во время деловых ленчей с Кобболдом в загородном клубе или в беседах о правовых аспектах купли-продажи очередного земельного участка неизбежно возникала одна и та же тема: Спина и его переезд в Гавану, его дела с наркотиками, его перспективы. Пытаясь завоевать симпатии Марка или по крайней мере нейтрализовать в нем сторонника Спины, Кобболд не стеснялся и открыто высказывал свои предположения о том, чего надо ждать. Здоровье Дона Винченте ухудшается, и уже давно, если следовать железным обычаям Сицилии, его полагалось бы убрать с поста. Спина же, хоть и всего на несколько лет моложе Дона Винченте, был человеком сравнительно здоровым и видел себя, поскольку у Дона Винченте не было достаточно умного и сильного сына, его законным преемником. Но так как после высылки из Штатов Спина не мог туда вернуться, он уговорил Дона Винченте перевести капиталы и основные операции в Гавану, где со временем сумеет без шума все прибрать к рукам. Марк не разделял недовольства Кобболда нынешней ситуацией и его мрачных взглядов на будущее, и вот теперь своей попыткой сделать

[1] Подонок, падаль *(итал.)*.

власти орудием мести и заодно осуществить собственные честолюбивые планы Кобболд совершил преступление, и прощения ему явно нет.

— Я слышал, ты мастер устраивать несчастные случаи, поэтому у меня будет к тебе просьба.

— Я к вашим услугам, Дон Винченте.

— Я ненавижу carogna, и ты, наверное, тоже. Этот малый по воскресеньям обедал у меня. И большой дом на Риджуэй, где он живет, я подарил ему на свадьбу. Любой скажет тебе, что я относился к нему лучше, чем к собственному сыну. Он знает все мои планы. Это — настоящая измена.— От волнения на кончике огромного носа Дона Винченте появилась и задрожала капля. Он достал носовой платок и громко высморкался.— Ты сделаешь мне большое одолжение, Ричардс, если съездишь в Гавану и решишь эту проблему.

— Когда вы говорите — «решить», Дон Винченте...

— Я и имею в виду — «решить». Я больше не хочу слышать о мистере Кобболде.

Просьба — а в действительности приказ — требовала немедленного согласия. Любое промедление могло оказаться роковым, потому что Дон Винченте тотчас же заподозрил бы Марка в нежелании помочь ему.

— Когда я должен ехать, Дон Винченте?

— Лишь только мы сообразим, как это осуществить. Я беру на себя все расходы, остальное — за тобой. Я знаю, у тебя нет личного опыта в качестве sicario [1]. Но ты должен будешь разработать операцию, и, скажу прямо, дело это нелегкое. Такого хитроумного поручения тебе, наверное, еще не доводилось выполнять. Кобболд куда умнее Джентиле.

Джентиле, подумал Марк, он знает про Джентиле. Сидит здесь, в этой помойной яме, никуда не показывается, но знает все, что происходит. Его восхищение Доном Винченте росло.

— Кобболд неглуп, наверное, чует, что его ждет. Он живет в роскошном отеле и никуда не выходит без двух своих телохранителей. Я только что получил донесение о том, что там делается. Они спят у него в номере. Ждут у дверей, когда он сидит в сортире. Можешь нанять всех наемных убийц, какие найдутся на Кубе, но к нему тебе не пробраться. Я чуть не забыл сказать, что он большой приятель тамошнего начальника полиции.

— Тот, кто этим займется...

— Ты,— перебил его Дон Винченте.

— Должен взять его тогда, когда телохранителей рядом не будет.

— Верно. А когда же это может быть?

— Когда он с женщиной.

— Разве он интересуется дамами? — спросил Дон Винченте.

— Говорят.

— Хотя у него очень милая жена. Еврейка.

— Я не знал, что он женат, Дон Винченте.

— Он не говорит про нее и никому не показывает. Не хотелось бы вмешивать в это дело женщин, но раз нет выхода...

Дон Винченте славился своим пуританством, своей неприязнью к проституции; он скорее отказался бы от дохода, нежели разрешил непристойность во время представлений в своих бурлесках и кабаре. Женщины, даже если они и не из Сицилии,— это прежде всего матери.

— Может, и не придется, Дон Винченте. Может, эти телохранители и не все время крутятся возле него. Нужно посмотреть собственными глазами. Чтобы решить, как действовать, нужно поехать туда и день-другой понаблюдать за ним.

— После работы его никто никогда не видел без дамы,— сказал Дон Винченте.— И как это я не сообразил, что ему нельзя доверять?

•

— Какие женщины нравятся нашему другу Кобболду? — спросил Марк у своего помощника Ди Сантиса.

---

[1] Наемного убийцы *(итал.)*.

— Блондинки,— ответил Ди Сантис.— Холодные яркие блондинки. Как и каждому второму итальянцу.

— Постойте, разве вы сами не итальянец?

Ди Сантис только что окончил университет, где специализировался по экономике. Он обладал присущим родившимся в Америке итальянцам чувством юмора.

— Конечно, итальянец. Но я стараюсь подавлять в себе этнические пороки.

— А где можно отыскать таких белокурых красавиц?

— Везде. Их стало полно с тех пор, как телевидение погубило Голливуд и Калифорния потеряла свою привлекательность. Сейчас у нас с десяток бурлесков на Дуайт-стрит.

Так это и было. Их стиль и репертуар варьировались от «Фламинго», где по субботам можно было увидеть все тридцать две позиции из «Камасутры», а голые девицы разгуливали между столиками, готовые взобраться на колени к любому привлекательному мужчине и прижать его голову к своей груди, до «Баварского замка», где певица, главным достоинством которой был высокий мелодичный голос, раздевалась только до штанишек.

Линда Уотс, родом из Саут-Бенда, штат Индиана, была от природы серьезной девушкой, которая когда-то отлично справлялась с обязанностями секретарши, но имела несчастье занять первое место на городском конкурсе красоты. После чего она почувствовала потребность позировать журнальным фотографам, что в свою очередь привело к выступлениям в бурлеске. Ни петь, ни танцевать по-настоящему она не умела, но зато грациозно двигалась и обладала броской, хотя и недолговечной красотой.

После представления Марк зашел к ней в уборную. Когда-то «Баварский замок» принадлежал Дону Винченте, и несмотря на то, что он продал его вместе с прочими своими владениями на Дуайт-стрит, его имя все еще пользовалось там уважением.

— Линда, до меня дошли слухи, что дела у вас идут неважно. Хотите быстро заработать десять тысяч?

— Десять тысяч? А что я должна сделать? Ограбить банк?

У нее был неприятный смех. Он входил в арсенал средств, принятых на вооружение девицей, которая для самозащиты была вынуждена создать некую видимость искушенности и твердости духа. По этой же причине и в ее лице появилось что-то жесткое. Но зато она обладала тем, что никогда не утрачивает своей привлекательности в глазах южанина: голубыми глазами и плотно облегающим голову шлемом шелковистых светлых волос.

— Вам придется соблазнить моего приятеля.

— Подождите минутку. На жизнь я зарабатываю пением, в данный момент во всяком случае.

— Ваш ангажемент скоро кончается, верно?

— На следующей неделе. Я провалилась с небывалым за всю историю треском.

— Не нужно так умалять себя. Вы слишком хороши для этой помойки.— Он говорил искренне.

— Спасибо на добром слове, приятель. Мне оно очень кстати. Тем не менее, опять придется сесть на пособие по безработице. Какую сумму вы назвали?

— Десять тысяч.

— Я подумала, что ослышалась. А что с вашим другом? У него проказа?

— Насколько мне известно, с ним все в порядке.

— Мне рассказывали про нефтяного шейха, который, чтобы возбудиться, ломал курам ноги. Что-нибудь в этом духе?

— Мой друг — молод, хорош собой, обаятелен и богат. Вряд ли он охотник до извращений. Вам придется провести в его компании два-три дня, самое большее.

— И ночи, естественно.

— Возможно. Не знаю. Если он захочет, то да. А когда задание будет выполнено, вам придется все забыть.

После этих слов шутливость, которой Линда защищалась, как рукой сняло. Лицо ее стало задумчивым и умным, а внезапно набежавшие морщинки сделали его даже одухотворенным.

— Почему? — спросила она, понизив голос, но более твердо.

Марк без удовольствия пригубил виски со льдом — ему не хотелось пить, но она настояла. Он предпочитал глуповато-миловидную Линду, какой она была минуту назад. Сейчас же лицо ее стало по-мужски бесстрастным.

— Потому, что вы получите хороший куш, а деньги вам очень нужны.

— Я не об этом спрашиваю. Я хочу знать больше. Неужели, по-вашему, я соглашусь на подобное предложение, не зная, в чем дело?

— В городе найдутся девицы, которые лягут в постель с этим человеком и за сотню,— сказал Марк.— Разница в том, что у вас есть голова. Я ознакомился с вашей биографией и понял, что вы умеете шевелить мозгами. Потому вам и предлагают десять тысяч. Могу добавить, что ничего противозаконного тут нет. Нарушать закон вам не придется.

— Молодой, интересный и при деньгах? А где все это произойдет? Здесь, в Солсбери?

— Нет. На курорте, где-нибудь на юге. Как только закончится ваш ангажемент. Мой друг уже там. Вы поедете туда, проведете с ним несколько дней, а потом отправитесь домой.

— Не сюда?

— Нет, поедете домой. Это входит в наш договор.

— Вы хотите сказать, что я должна буду сидеть в Саут-Бенде?

— Да. Пока вам не скажут, что вы можете располагать собой.

— Не понимаю. Придется вам рассказать мне об этом поподробнее.

— Больше рассказывать нечего. Есть молодой человек, ему скучно. Он интересуется женщинами, особенно такого типа, как вы. Там, где он сейчас, таких женщин нет, поэтому мы и посылаем вас к нему. Вернее — везем, потому что я поеду вместе с вами.

— Другими словами, делаете ему дорогой подарок.— Она вложила в эту фразу всю горечь, какую могла.— Вы итальянец, да?

— Почему вы так думаете?

— Сразу видно, что итальянец, только акцент у вас другой. В этом городе всем правят итальянцы. Даже наше заведение, я знаю, принадлежит итальянцу.

— Принадлежало,— поправил он ее.— Только я не понимаю, какое это имеет отношение к нашему делу.

— Я чувствую, что и вы работаете на этого человека.

— Не имеет значения, кто я и на кого работаю. Мне случайно стало известно, что вам надоело ваше занятие, а мое предложение дает вам возможность с ним покончить. Ваши родные знают, чем вы занимаетесь здесь, в Солсбери?

— Еще чего! — воскликнула она.— Я из респектабельной пресвитерианской семьи. Мой отец был дьяконом.

— Вам надо вернуться домой,— сказал он.— Женщина вы красивая. Вернетесь в Саут-Бенд, выйдете замуж за человека из страхового бизнеса и заведете детей. Я говорю серьезно: эта жизнь не для вас. Приедете домой, скажите, что заработали много денег, и никто ничего не будет знать. Да и вы сами забудете о том, что было.

— Я должна подумать,— сказала она.— Подумаю и дам вам знать.

— Извините, решать придется сейчас. Что мешает вам согласиться немедленно?

Необходимость принять решение чуть состарила ее, на миг прочертив под глазами морщинки, которые вскоре станут постоянными.

— Сказать — что? Потому что я боюсь.

— Чего?

— Всего. Что-то в этом кроется странное.

Он обнял ее за плечи.

— Малышка, за кого ты меня приняла несколько минут назад?

— За итальянца.

— Предположим, что я действительно итальянец. Ты, наверное, наслышана про нас?

— Чересчур наслышана,— ответила она.— Чересчур.

— Но что бы тебе ни рассказывали, одно известно всем: итальянцы не обижают

хорошеньких женщин. Спроси своих приятельниц. Кроме того, я чувствую, мы с тобой отлично поладим.

— Но ведь там будешь не ты. Там будет другой.

— Я тоже буду там. Я буду поблизости, пока не наступит время ехать домой.

Она кивнула, словно в знак благодарности, и ее лицо разгладилось.

— Понимаешь, я легко пугаюсь,— сказала она.— И боюсь оставаться одна.

4

Спустя два дня, накануне отлета, у Марка возникли осложнения в собственном доме.

На целую неделю вперед у них были запланированы разные встречи и вечеринки, и Тереза, которая никогда прежде не возражала против его поездок, была раздражена сообщением о предстоящей командировке.

— Почему ты меня не предупредил?

— Я сам узнал только сегодня.

— Но почему на Кубу?

— Потому что наша компания хочет увеличить там свои капиталовложения.

— Ты же не говоришь по-испански.

— А мне и не нужно говорить по-испански. Я должен только определить стоимость здания.

— Сколько же тебя не будет?

— Неделю, наверное. Может, меньше.

— Я отменю все, что назначено на эту неделю, и мы полетим с тобой. Детям полезно побыть на солнце.

— Извини, но это невозможно.

— Почему?

Впервые за их совместную жизнь она не желала беспрекословно подчиниться его власти. В Сицилии он повернулся бы к ней спиной и удалился, ничего не ответив, а потом в течение дня или ночью в постели она изо всех сил старалась бы загладить свой проступок. Теперь же он мягко ответил:

— Потому что нет времени на сборы.

— Не так уж много времени требуется, чтобы заказать еще три билета.

— Я еду по делу,— сказал он ровным тоном, пытаясь на этом закончить разговор.— И на одном месте сидеть не буду.

— Но мы могли бы пожить в отеле где-нибудь на берегу, пока ты будешь занят своими делами.

— Нет, нельзя. Но если дети должны отдохнуть, почему бы вам не поехать в Майами? Солнца там сколько душе угодно плюс чистота и еда, к какой они привыкли.

— Надоело,— ответила она.— Не хочу больше. Почему ты никогда не берешь нас с собой?

— Потому что туда, где мне приходится бывать, с семьей не ездят. На Кубе сейчас революция; людей убивают на улице. В такое место не приезжают с женой и детьми. Я, наверное, еще раз туда полечу, и если к тому времени революция закончится, вы полетите со мной. Обещаю.

Но Тереза не успокоилась и обиженно молчала весь остаток дня. Впервые ему пришлось добиваться ее благосклонности, а не наоборот, как бывало после их немногочисленных ссор в прошлом.

Марк оставил Линде билет до Нью-Йорка на контроле, и когда он вошел в самолет, она уже сидела на своем месте. Он не смотрел на нее. Прошла стюардесса с охапкой журналов. Марк взял «Ньюсуик» и укрылся за ним. Когда он через несколько минут оглянулся, Линда что-то оживленно рассказывала своему соседу, который наклонился к ней и с интересом слушал. Марк заметил, что белый полотняный костюм идет ей больше, чем парчовое платье на сцене «Баварского замка». Она, по-видимому, понимала, почему он не хочет, чтобы их видели в самолете вместе. И в рейсе из нью-

йоркского аэропорта «Ла-Гардиа» до Майами они тоже сидели отдельно. На этот раз она сидела впереди него, во втором ряду, казалась умиротворенной и спокойной, выпила два виски, потом, нажав кнопку, вызвала стюарда и о чем-то с ним говорила, помогая себе изящными жестами танцовщицы с острова Бали. Позже, благоухающая и отчужденная, сопровождаемая взглядами мужчин, она проследовала в туалет, где пробыла довольно долго.

В Майами ему пришлось помочь ей при прохождении паспортных формальностей.

— Что это? — спросила она.

— Туристская карточка. Она тебе понадобится на Кубе.

— Ты не сказал мне, что мы едем за границу.

— Гавана — не заграница. Это — Соединенные Штаты в тропиках. Там говорят по-английски.

— Что ж, очень хорошо,— сказала она.— Я когда-то видела фильм про Кубу. С Элис Фей, да? Мне давно хотелось побывать в Гаване.

С высоты в десять тысяч футов Куба казалась сияющим островом в чехле из зелени. Самолет прорвался сквозь кучевые облака и воздушные течения и ранним вечером высадил их на Ранчо-Бойерос. И сразу они погрузились в теплый, как парное молоко, воздух, исходящий от пальм зеленоватый свет и нелепую толпу туристов в соломенных шляпах и с маракасами, которыми они непрерывно трясли. Теперь Марк и Линда были неразлучны. Марк вел Линду, и чем откровеннее выражали свое восхищение коренастые мужчины в безупречно накрахмаленных рубашках, неохотно сторонившиеся, чтобы пропустить их, и провожавшие ее горящими взглядами, тем крепче он прижимал к себе ее локоть. На лимузине они добрались до центра города, где Марк поселил Линду в отеле «Линкольн», а сам поехал в «Севилью». Там, как ему было известно, остановился Кобболд.

Он зарегистрировался и получил номер на пятом этаже, выходивший окнами на узкую улицу с оживленным движением. И сама гостиница тоже была шумной, с голыми, выложенными плиткой полами и хлопающими дверями; прохладные стены ее еще не поглотили накопившуюся за день жару. Он принял душ, переоделся в легкий костюм и попытался позвонить Кобболду, но на коммутаторе ответили, что не могут его найти. Под предлогом недовольства номером он спустился к портье, и ему показали план гостиницы. Кобболд жил в надстройке на восьмом этаже, и номер его состоял из гостиной и спальни, которая, поскольку номер был угловым, продувалась с двух сторон.

Следующий час Марк потратил на беглый осмотр гостиницы и окружающей территории. «Севилья» была задумана в претенциозном стиле прошлого века, когда не скупились на место для внутренних двориков, коридоров и лестничных клеток. Лифты ходили медленно и управлялись лифтерами. Главный вход в гостиницу был расположен на улице Куартелес, где машины шли в одну сторону — к проспекту Марти и там сворачивали направо. Кроме того, в гостиницу можно было пройти с проспекта через пассаж с магазинами. Город находился на военном положении, и на улицах время от времени возникала стрельба, поэтому у каждого входа стоял солдат с автоматом.

Марк купил в табачном киоске «Гавана пост» — газету, выходящую на английском языке, и, быстро проглядев ее, узнал, что на улицах после ночных боев было подобрано пять трупов. Выйдя на Куартелес и повернув направо, против движения, он тотчас очутился на небольшой площади, где стояло на случай тревоги с полдюжины полицейских машин, вооруженных пулеметами. Было ясно, что окрестности «Севильи» никак не годятся для ликвидации Кобболда.

Служебный вход в гостиницу тоже не подходил для бегства после операции: в подвал можно было попасть либо на лифте, ждать которого приходилось в среднем три минуты, либо через дверь у подножья лестницы, которая, по-видимому, была постоянно на замке.

Марк отправился в бар, чтобы обдумать все эти обстоятельства за чашкой кофе, как вдруг его позвали к телефону. Это была Линда.

— Я же просил тебя не звонить,— сказал он.

— Извини, мне скучно. Разыскал своего приятеля?

— Пока нет.

— Я не знаю, чем заняться.

— Пойди посмотри город.

— Исключено. Ко мне пристают даже в холле. Пришлось подняться в номер. Можно мне прийти к тебе?

— Нет, лучше сиди на месте. Я подожду моего приятеля еще час, и если он не явится, пойдем куда-нибудь поужинать.

В девять Кобболда еще не было, поэтому Марк заехал на такси за Линдой, и они отправились в «Эль Бохио», ресторан, который рекламировался в «Гавана пост» как местная достопримечательность. Для привлечения туристов он был выстроен в виде крестьянской хижины с крышей из пальмовых листьев; посетители сидели в саду под деревьями, с которых доносилось чириканье потревоженных птиц. Ночь скрыла все выцветшие на солнце краски Гаваны и превратила ее в город, вырезанный из слоновой кости. Здания лучились мягким светом, словно поверхность камня еще хранила остатки солнечного жара, накопленного в течение дня, и ресторанная суматоха вскоре растворилась в царившем вокруг безмолвии.

Когда ласковый воздух города проник в их легкие, а тишина успокоила нервы, Марк и Линда преобразились. Он заметил, как смягчился ее голос и исчез резкий смех, который часто служил ей щитом. Она превратилась в секретаршу на отдыхе, правдивую и беспечную, которой нечего терять.

Между тыквенными бутылками, висевшими на решетке, оплетенной вьющимися растениями, проглядывал канал Морро, по которому, словно влекомая невидимыми рабочими сцены, шла в море шхуна с развернутыми парусами на скрипящих от ветра мачтах, а на носу у нее неподвижно стояли три рыбака с фонарями на длинных шестах.

— Как красиво,— заметила Линда.

— Совсем недурной город, когда на час-другой они перестают стрелять друг в друга.

— Чудесный! Хочется остаться здесь и не возвращаться домой. Хорошо бы так и сделать.

Дает понять, что она свободна, решил он, в чем, впрочем, он никогда и не сомневался. Предпочитая не выходить за рамки деловых отношений, он достал из кармана конверт с десятью стодолларовыми купюрами и протянул ей.

— Чуть не забыл,— сказал он.— Это аванс, как договорились.

— Не надо сейчас,— отказалась она.

— Дело прежде всего. Возьми.

Она покачала головой, тогда он взял ее сумку, открыл и вложил туда конверт.

— Зачем было напоминать?

— Ты говоришь так, будто тебя ждет испытание.

— А разве нет?

— Послушай, Линда, не принимай это на свой счет, но о том, что делается в театральном мире, я имею представление. Кое-что ты повидала. Без этого у вас не проживешь.

— Но того, что требуешь ты, мне никогда не приходилось делать.

— Возможно. Тем не менее не понимаю, что здесь страшного.

— В этом есть что-то бессердечное. Послушай, серьезно, могу я на этой стадии выйти из игры?

— Нет,— ответил он,— не можешь. Бежать поздно.

— Сколько времени мне придется пробыть с этим твоим приятелем?

— Дня два-три. Я тебе уже говорил.

— А меньше нельзя?

— Не знаю. Может, и меньше. А может, и больше. Кто знает, может, он вообще не клюнет на тебя.

— Ты хочешь сказать, что, когда он меня увидит, ему, может, и не захочется со мной спать?

Марк пожал плечами.

— И что будет тогда?

— В таком случае наш договор отменяется, а тысяча твоя.

— Вот если бы так и случилось,— сказала она.

— Не очень на это рассчитывай. У моего приятеля хороший вкус. Я чувствую, что он врежется в тебя по уши.

— Ты женат?

— Да.

— Любишь жену?

— Да.

— Как она в постели? Итальянки, как правило, недурны, да?

— Говорят, да. Лично у меня нет причин для жалоб.

— Я тебе не нравлюсь,— сказала Линда.

— Ошибаешься.

— Но физически тебя ко мне не тянет.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что если бы тянуло, ты бы не говорил так о своей жене.

— В большинстве случаев я стараюсь говорить правду. Так что ничем помочь не могу.

— Жаль, что у тебя с ней такие отношения. С моей точки зрения, разумеется. Потому что я не знаю, могу ли я тебя кое о чем попросить.

— Смотря о чем. Но поскольку обстоятельства сложились так, как сейчас, я обязан выполнять твои просьбы.

— Не волнуйся, ничего особенного от тебя не потребуется. Просто мне бы хотелось, чтобы после всего этого мы провели здесь день-другой. Не обязательно в городе, лучше на побережье, где можно купаться, загорать и ни о чем не думать. Если я тебе нравлюсь, то это для тебя не будет так уж трудно.

— Ничего не обещаю,— ответил Марк.— Но постараюсь что-нибудь придумать.

— Как здесь хорошо,— повторила она.— А впереди у меня Саут-Бенд, так что не размечтаешься...

За квартал от «Линкольна» они увидели небольшую толпу. Люди стояли молча и не спускали глаз со сточной канавы. Марк дотронулся до руки Линды.

— Подожди минутку,— сказал он.

Он протолкался сквозь толпу. В канаве, нескладно разбросав руки и ноги, лежал юноша. Голова его покоилась на обочине, на щеках запеклась и засохла вытекшая из пустых глазниц кровь.

— Muerto,— доверительно прошептал кто-то Марку на ухо.— Estudiante. Policia. Le han sacado los ojos[1].

Марк повернулся к Линде и быстро повел ее прочь.

— Что там? — спросила она.

— Полиция прикончила какого-то парня,— ответил он.— Здесь они не слишком-то церемонятся.

В отеле она сказала:

— Пойдем ко мне.— А через несколько минут: — Пожалуйста, не уходи.

Уверенность в том, что ее тело ждет его и что, оставаясь для него пока тайной, оно принадлежит ему без всяких уговоров, возбуждала его. Он испытывал радость ожидания, точно в детстве рождественским утром, когда вместе с братом и сестрой получал подарки, завернутые так, чтобы нельзя было сразу догадаться, что́ в бумаге. Но в спальне отеля, где стоял запах «Флита», булькали трубы и потрескивали старомодные лампы дневного света, его встретила только проза жизни. От Линды пахло вином, а во рту у нее был привкус перебродившего пива.

— И с женой ты тоже так? — спросила она.

Когда все было кончено, он встал и подошел к окну. Звезды уже исчезли, небо было бледным и пустым, и в тусклом свете луны Гаванский залив отливал сталью. Марк начал одеваться, раздумывая над тем, что ему предстоит завтра.

---

[1] Убит. Студент. Полиция. Ему выкололи глаза *(исп.)*.

5

Еще не было восьми утра, когда Кобболд позвонил к нему в номер из кафе на первом этаже гостиницы, и Марк, быстро одевшись, спустился вниз. Несмотря на влажный гаванский климат Кобболд был в безупречном костюме из льняной ткани. Он один сидел у стойки, а за столиком рядом уныло развалились, как скучающие гориллы в зоологическом саду, два низколобых мулата. Телохранители, понял Марк. Он уселся на табурет рядом с Кобболдом, и тот уставился на него холодным взглядом.

— Вот уж неожиданная встреча,— заметил он, и в его голосе прозвучало раздражение.

— Я звонил тебе раза два,— сказал Марк.— А вечером пришел поздно.

— Знаю,— сказал Кобболд.— Если говорить честно, я видел тебя в «Эль Бохио». Немного бутафорское, пожалуй, но тем не менее приятное заведение. Что привело тебя в Гавану?

— Недвижимость, которой интересуется наша компания.

— На какой предмет?

— Хотят открыть казино.

— О господи, опять казино! — Лицо его стало суровым и недоверчивым.— А при чем тут ты?

— Спроси Тедди Маклина из внешнеторговой конторы,— ответил Марк.

— Казино здесь отошли в прошлое. Во всяком случае, если судить по нынешней обстановке.

— Не я определяю политику нашей фирмы.

За стойкой появился мрачный негр в гусарском доломане.

— Кофе? — спросил Кобболд.

— Давай.

— Traigame dos cafés [1],— сказал Кобболд бармену.— С поджаренным хлебом?— обратился он к Марку.

— Нет, только кофе.

— Y un tostado para mi[2].

Бармен ушел, и солнце, которое затаилось в ожидании где-то за серыми домами на другой стороне улицы, вдруг выбросило нестерпимо яркий луч света и словно ударом меча прорезало пространство между ними. Кобболд хмуро молчал.

— А где находится эта твоя недвижимость? — вдруг спросил он резким учительским тоном.

— Авенида де Масео, два шесть четыре шесть шесть.— Марк был готов к любым вопросам.

— Ты хочешь сказать, Малекон, набережная. Ее больше не называют Масео.— Он чуть просветлел, довольный, быть может, тем, что поставил Марка на место, уличив его в некомпетентности.— Это здание числится у агентов в списках уже много лет. Весь морской берег превратился в свалку. Там можно купить участок за гроши. Сколько они просят сейчас?

— Триста тысяч.

— Триста тысяч? Значит, на сто тысяч меньше, чем в прошлом месяце. А через месяц ты сможешь купить этот дом за двести тысяч, если его еще будут продавать. Если вообще что-то будут продавать. Позволь мне объяснить тебе кое-что, Ричардс. Если наша компания купит эту недвижимость, они выбросят деньги на ветер. Не понимаю только, зачем они прислали тебя, когда им стоило лишь позвонить мне.

— За этот дом просят намного меньше, чем за все, что здесь было куплено до сих пор,— ответил Марк.— По-моему, Дон Винченте отправил сюда меня потому, что приобретение недвижимого имущества входит непосредственно в мои обязанности.

Появился бармен с кофе и поджаренным хлебом; они почувствовали его настороженный взгляд.

— Беда нашей фирмы в том,— сказал Кобболд,— что в каждом втором случае правая рука ее не ведает, что творит левая. Не раз, а десятки раз твердил я Дону

---

[1] Принеси два кофе *(исп.)*.
[2] И поджаренный хлеб для меня *(исп.)*.

Винченте: сейчас не время покупать недвижимость в Гаване. Ты ничего не смыслишь в политике, Ричардс, я знаю, но неужели никто не объяснил тебе, что в этой стране происходит революция? Ты слышал стрельбу ночью?

— Я видел мальчишку, которого выбросили из полицейской машины. Ему выкололи глаза.

— Обычная история,— заметил Кобболд. — Traigame más mantequilla! [1] — крикнул он вслед бармену.— Ночью, около трех часов, на улицах было целое сражение. Убито двадцать, не то тридцать студентов. Тем не менее постарайся понять: эти мальчики— я говорю про студентов — одерживают верх. Правительству конец. Поэтому нет смысла приобретать здесь недвижимость. Хочешь делать дело, обращайся к новым ребятам. Ибо то, что купишь сейчас, реквизируют. В том числе и недвижимость на Малеконе. А вот сторговаться с будущими властями — дело совсем другое. Тогда все условия останутся в силе. Вот почему я считаю, что ты просто теряешь здесь время.

Тихо покачиваясь, как утопленник на волнах, вошел какой-то набравшийся с утра алкоголик. Один из двух низколобых встал из-за стола и, взяв его за руку, вытолкнул за дверь.

— Откуда эти гориллы? — спросил Марк.

— В таком месте никогда не знаешь, кто твои враги,— ответил Кобболд.— А рисковать глупо. Эти ребята — полицейские при исполнении служебных обязанностей. Скажи мне, где еще за небольшие деньги местный начальник полиции обеспечит тебе охрану?

— По-моему, здесь Сальваторе Спина,— вместо ответа сказал Марк.— А что он думает про будущее Кубы?

— Мы с Сальваторе не встречаемся. У нас с ним, мягко говоря, разные взгляды. Спина занимается наркотиками. Говорят, только за прошлый месяц он заработал пять миллионов долларов. Еще я слышал, что из них почти миллион достался здешнему президенту. Отсюда следует, что Спина поддерживает президента, а президент — Спину. Но как только к власти придет новое правительство, Спине придется убраться. А мы занимаемся законным бизнесом, поэтому нас не тронут. Спина дает президенту заработать на наркотиках, а мы делаем добровольные взносы в боевую копилку повстанцев. И почему бы нам этого не делать? Тут ошибки быть не может.

— Мне это представляется несколько рискованным.

— Еще неделю-две. А через месяц на главном месте в президентском дворце будет сидеть наш близкий друг.

Кобболд говорил, время от времени подкрепляя свою речь мягкими, пластичными движениями рук и выразительно поднимая брови, как некогда его отец-итальянец, а Марк обдумывал сложные технические проблемы его ликвидации. Телохранители, по-видимому, не дремали и были способны действовать решительно. Вошел еще один турист, менее пьяный на сей раз, но явно одурелый от Гаваны, как и большинство приезжих. Бессмысленно улыбаясь, он размахивал купленным в лавке сувениров чучелом крокодила. В надежде найти собеседников он направился было к ним, но телохранитель преградил ему путь. Куба — это страна, думал Марк, где техника обороны усовершенствована до такой степени, что способна противостоять любой опасности. В процентном отношении, как он выяснил, полицейских здесь было в шесть раз больше, чем в США. Он понимал, что ни один наемный убийца, сколько ему ни пообещай, не возьмется за это дело, ибо надежды уйти живым почти нет.

— Одного я не понимаю,— продолжал Кобболд,— при чем тут этот Брэдли? Помнишь, мы о нем говорили? Не могу отделаться от чувства что он стоит за Спиной. Но почему? Мне донесли, что на прошлой неделе он был в Гаване. Что ты думаешь?

— Про Брэдли? Ровным счетом ничего.

— В нем есть что-то такое, от чего у меня холодеет под ложечкой,— признался Кобболд.— Между прочим, когда ты только приехал, у меня тоже возникло это чувство Я не мог как следует понять, что ты делаешь в Штатах. Но с тех пор я разобрался в тебе и знаю, что ты парень стоящий. Я не очень люблю загадки. Ладно, забудем про наши неприятности. Долго ты здесь пробудешь?

---

[1] Принеси побольше масла (*исп.*).

— Постараюсь недолго,— ответил Марк.— Я должен посмотреть это здание, оценить его и могу отправляться.

— Чего спешить? Побудь здесь несколько дней. Я с удовольствием покажу тебе кое-что такое, что может заинтересовать мужчину вроде тебя и чего не видят туристы. В этом городе есть много достойного внимания. Вот, например, эта гостиница. Можешь ты назвать хоть одну первоклассную гостиницу, где, если спрашиваешь коридорного, нельзя ли найти женщину, тебе приводят десяток на выбор? Где еще встретишь такое? И предлагают не уличных проституток, а по-настоящему интересных женщин.

— Значит, тебе здесь нравится?

— Очень. Я бы рекомендовал это заведение всем, кто не против черных. Если надумаешь, попроси привести prieta. Так их здесь называют. Это более вежливо, чем «черномазая».— Он рассмеялся так, будто у него был набит рот.— Ночью, как говорится, все кошки серы.

Должен же быть какой-то выход, думал Марк. Например, если у Кобболда есть машина, можно вызвать из Палермо того специалиста, который заминировал машину во дворе дома Ла Барбера на площади Караччоло.

— И чего здесь никогда не встретишь,— разглагольствовал Кобболд,— так это гусиной кожи. Кожа у них такая шелковистая, какая редко бывает у белых. Я лично не считаю, что от черных дурно пахнет, хотя я в этом отношении привередлив. Между прочим, извини за любопытство, что это за лучезарное создание было при тебе вчера? Это, конечно, не местное приобретение, а?

— Она из нашего города и решила поехать со мной. Хочешь познакомиться?

— Если у тебя нет на нее исключительных прав,— ответил Кобболд.

— Отнюдь нет. По-моему, ей больше хотелось посмотреть Гавану, чем провести время со мной.

— Превосходно. С моих позиций, разумеется,— добавил Кобболд.— Почему бы нам не поужинать сегодня втроем? Может, в «Эль Парадисо»? Он считается лучшим клубом в мире.

— Я спрошу ее.

— Думаешь, она согласится?

— А почему бы и нет? Я позвоню ей попозже и дам тебе знать.

— Отлично. Давай договоримся так: если ты мне не звонишь — значит, все в порядке и я жду вас в холле в восемь вечера.

Как только Кобболд слез с табурета, телохранители, отодвинув стулья, с двух сторон двинулись к нему.

— До скорого,— кивнул он и, повернувшись, исчез за дверью в сопровождении мулатов.

Пока, думал Марк, все идет по плану. Ему казалось невероятным, что этому человеку, по-своему проницательному, чуткому, умному и сильному, не передался по наследству инстинкт предков, предупреждавший о приближении смерти.

Неподалеку от берега, где можно было любоваться заливом, но тем не менее на некотором расстоянии, чтобы не ощущать запаха испражнений, когда ветер дует с пляжа, стоял «Эль Парадисо», считавшийся самым шикарным ночным клубом в мире. Обычно потолок в огромном круглом здании, увенчанном диадемой из огней, заменяло открытое небо, но с помощью знаменитого механизма, приводимого в движение одним поворотом рубильника, двадцать две тысячи квадратных футов крыши бесшумно вставали на место, и на смену затуманенным дождем настоящим звездам являлся небосвод с тысячью еще более ярких искусственных звезд, которые, совсем как настоящие, мигали в голубоватых розетках из анодированного алюминия.

Их провели к угловому столику, который Кобболд заказал заранее. Он устроился так, чтобы видеть все происходящее, а тот, кто пожелал бы с ним поговорить, должен был сначала пройти мимо облаченных в темно-синие шелковистые костюмы телохранителей, которые, задумчиво потягивая коктейли, сидели за соседним столиком.

Присутствие Линды вызвало разительную перемену в манерах и даже во внешности Кобболда. Утром в «Севилье» он показался Марку каким-то вульгарным, сейчас

же держался с большим достоинством. Вся чарующая фальшь столицы Кубы сосредоточилась здесь, чтобы создать вокруг них атмосферу романтики. С бутафорских тропических деревьев, к ветвям которых были прикреплены настоящие орхидеи, свисали пластмассовые лианы, а хитроумно запрятанные лампы заливали зал лунным светом. В «Эль Парадисо» все было отменным. Еда была отличной, обслуживание быстрым, а шампанское неразбавленным. Два джаз-оркестра попеременно играли то рок-н-ролл, то, оглушая присутствующих грохотом ударных инструментов, ритмы, завезенные из африканских джунглей.

С Линдой Кобболд был обворожителен — весь внимание и уважение. Чувствовалось, что ей он нравится, а он и не скрывал своего увлечения. В «Эль Парадисо» она казалась настоящей красавицей: великолепные волосы, отливающие серебром в искусственном лунном свете, по-детски наивное выражение лица; глаза, в которых не было и тени раздумья; и безупречная кожа, не испорченная ни единой складочкой или морщинкой.

Чувствуя себя в безопасности в своем углу, Кобболд объяснил, что подвернул ногу и поэтому не может танцевать. Марк и Линда вышли на середину зала.

— Ну, что скажешь? — спросил Марк.

— Совсем недурно,— отозвалась она.— Лучше, чем я ожидала.

— Эндрю — парень что надо. Я говорил, что он тебе понравится.

— А что будет дальше?

— Мне кажется, ты ему тоже нравишься. Так что предоставим действовать природе. У меня как раз заболела голова. Когда мы поедем по домам, я попрошу его высадить меня у «Севильи», а он пусть проводит тебя в твой отель.

— А потом?

— Потом? Как получится. Мне нужно, чтобы вы почаще встречались в ближайшие дни. Ты уж сама постарайся это устроить.

— Я должна сразу лечь с ним?

— Решай сама. Я позвоню утром. Хорошо бы он пригласил тебя куда-нибудь на завтрашний вечер. А если захочет пригласить и послезавтра, еще лучше.

— То есть чтобы он неотлучно был при мне?

— Именно Хорошо бы, если бы вы все время были вместе.

Мелодию сменил замысловатый латиноамериканский ритм, который приковал их к углу танцплощадки, и их тела разъединились, чтобы легче было держать ритм. Сквозь сказочные джунгли «Эль Парадисо» Марку виден был постоянно обращенный в их сторону маленький бледный овал лица Кобболда.

— Пожалуйста, объясни мне, в чем дело,— попросила Линда.

— Это связано с одной сделкой. Я должен быть по возможности в курсе того, где он проводит время. Теперь, по крайней мере, я буду знать, когда он с тобой.

— Кошка спит, а мыши веселятся, да?

— Вроде того.

— А кто эти два кубинца при нем?

— Его телохранители,— ответил он.— В стране смута, поэтому полиция обеспечивает охрану тех, кто приехал по важному делу.

— Понятно,— сказала Линда.— А почему тебе не дали телохранителей?

— Я не представляю для них интереса. Я всего лишь покупатель здания на набережной.

— Что я должна сказать о себе, если он начнет меня расспрашивать?

— Правду — по возможности. Не придумывай лишнего.

— Что будет, если он узнает про наш сговор? — спросила она.

— Беда,— ответил Марк.— Представить даже не могу, какие это повлечет за собой неприятности.

— Интересно, боюсь я тебя? — спросила она. И ответила: — Боюсь.

— Бояться нечего,— сказал Марк. И тихо добавил: — Я знаю, ты выполнишь свои обязанности до конца. До самого конца.

— Ты мне начинаешь нравиться все меньше и меньше,— сказала она.

— Жаль. Потому что ты мне — все больше и больше.

— Может, пойдем на место?

— Когда кончится музыка,— ответил он.— И помни: Кобболд не сводит с нас глаз. Не смотри на него. Успокойся и веди себя так, будто тебе на самом деле страшно весело.

Рано утром из своего номера Марк позвонил Линде.

— Как дела?

— Неплохо,— ответила она.— По-моему, во всяком случае. Я только что проснулась.

— Извини, что мне пришлось вчера уйти. У меня прямо черные мухи летали перед глазами. Приятный мы провели вечер, правда? Я знаю, что ты не пожалеешь о знакомстве с Эндрю Кобболдом. Как вы, поладили?

— Вроде да,— ответила она.— Эндрю был очень мил.

— А как сегодня? Какие-нибудь планы?

— У меня для тебя новость. Мы вместе обедаем. А вечером, наверное, пойдем в другое место со звездами в потолке. Доволен?

— Да.

— Я так и думала.

— А завтра?

— Представь себе, завтра мы едем на пикник на побережье.

— Куда именно?

— Мне не сказали.

— Нам необходимо сегодня увидеться,— сказал Марк.

— Пожалуйста. Во второй половине дня я почти все время буду у себя в номере.

— Я приду к тебе часов в пять-шесть,— сказал он.— Обсудим положение. Может, успеем выпить рюмку-другую.

По опыту Марк знал, что телефонные разговоры прослушиваются, о встречах сообщается, а детали предполагаемых деловых переговоров проверяются. От придуманной истории нельзя отступать ни на шаг, поэтому он добросовестно отправился в сопровождении агента по продаже недвижимости на Малекон. Три стоявших вплотную друг к другу строения были возведены на берегу залива миллионером, обезумевшим от доходов, которые приносил ему сахар. Это были жутковатые на вид и отвратительно размалеванные дворцы, предназначенные для веселья, но говорившие о маниакальном страхе. Марк старательно лазал по мраморным с позолотой лестницам, осматривал покои Синей Бороды, где жил дух обреченности, ходил по прогнившим полам и сквозь затуманенные солью оконные стекла разглядывал океан.

Закончив подробный осмотр всех помещений, Марк с непроницаемым лицом попросил копии договоров о сдаче в аренду. Посольство снабдило его списком оценщиков, но ни одного из них не решилось рекомендовать. «Все подкуплены»,— сказал ему торговый атташе.

Он позвонил к себе в контору в Солсбери и поговорил с Маклином, ведавшим внешнеторговыми сделками, предполагая, что их разговор подслушивают.

— Оценку нужно произвести сейчас?

— Поступай как знаешь,— ответил Маклин.— Если, по-твоему, это стоящее дело.

— Я разговаривал с Эндрю Кобболдом. Он не одобряет.

— С Эндрю Кобболдом? А он чем там занят?

— Какие-то дела с властями. Мне не полагается знать.

— Мировой малый, этот Кобболд.

— Один из лучших.

— И ты говоришь, наша идея его не привлекает?

— Он считает, что лучше подождать.

— А если кто-нибудь другой ухватит этот кусок?

— Эндрю говорит, что этого не случится. Он сказал, что дом продают уже давно. Тут вообще ситуация непростая. Может, и не стоило нам покупать все эти отели. По-моему, нужно выждать.

— Ты там на месте, Марк. Тебе видней, что делать.

— Тут есть кое-какие моменты, которые мне хотелось бы обсудить с тобой, прежде чем мы на что-то решимся.

— Тем не менее узнай их окончательную цену. Вреда от этого не будет.

— А как насчет оценки?

— Почему бы не провести? Сколько это стоит?

— Здесь все делается уж больно медленно. Тогда мне, наверное, придется задержаться до четверга. Я тебе не нужен?

— Пока ничего срочного. Приглядись, посмотри, нет ли там еще чего-нибудь.

— Хорошо, погляжу.

— И передай привет Эндрю, если увидишь его.

— Обязательно.

— Скажи, что я желаю ему успеха, чем бы он там ни занимался.

6

Придя по адресу, который дал ему Дон Винченте, Марк оказался перед служебным помещением, занимавшим целый квартал неподалеку от кладбища. У двери стоял на часах кубинский солдат, а второй солдат разгуливал возле стола при входе, где человек в штатском, которого Марк принял за американца, спросил его о цели визита, поговорил с кем-то по телефону, а потом пропустил Марка в лифт. На пятом этаже третий кубинский солдат проводил его по коридору до кабинета, где его ждал Сальваторе Спина.

— Удивлен, Ричардс?

— Пожалуй, да, Дон Сальваторе.

— А ведь глядя на твою рожу, сроду не догадаешься, что ты удивлен,— заметил Спина.— Тебе когда-нибудь говорили, что ты похож на сфинкса?

Марк взял маленькую смуглую руку и склонился над нею, не дотрагиваясь, однако, губами. Спина постарел за то время, что они не виделись, и его задубленная солнцем кожа, ставшая похожей на пергамент, скоро совсем высохнет. Но зоркие, как у мартышки, глаза, разглядывавшие бесстрастное лицо Марка, были все такие же живые.

— Мне говорили, что вы в Неаполе, Дон Сальваторе.

Фраза была дипломатической. Приличие требовало не показывать Спине, что в компании «Винсент Стивенс» или в любой другой подобной организации на территории Соединенных Штатов мог найтись человек, который не знает о переезде Спины на Кубу и о причинах этого переезда. Всем было известно, что Спина взял в свои руки контроль над международной торговлей наркотиками, которая в дальнейшем будет осуществляться из Гаваны. А несколько человек знали также и о том, что огромное количество героина и кокаина привозят теперь прямо из Средиземноморья на Кубу, где их доставляют на берег, минуя таможенный досмотр, и по проверенным безопасным каналам вывозят в Штаты.

— Я решил поселиться в Гаване полтора года назад,— объяснил Спина.— Гавана — прекрасный город Как жаль, что ты приехал сейчас, когда кучка студентов устраивает беспорядки Вчера вечером было нападение на президентский дворец, ты, наверное, слышал. Мятежников всех перебили, может, теперь они немного угомонятся. Здешний президент — наш близкий друг, а сумеем ли мы договориться с новым, одному богу известно Сколько ты собираешься здесь пробыть?

— Сколько потребуется, Дон Сальваторе.

— И не больше? В чем дело? Тебе не нравится Гавана?

— У меня жена и двое детей в Штатах.

— Знаю, знаю. Ты хороший семьянин, Ричардс. Что ж, не будем задерживать тебя дольше чем нужно. Могу сказать тебе прямо сейчас, что знаю, зачем ты прибыл и что́ тебе предстоит сделать. Задание у тебя сложное. Этот Кобболд неглуп и дает немалые деньги тем, кому требуется. Ты, наверное, об этом слышал?

— Дон Винченте объяснил мне ситуацию.

— Кобболд —'ncarugnutu [1], как мы говорим. Человек, который нарушает клятву. В подобном случае есть только одно средство, Ричардс. Levarisi la petra di la scarpa —

[1] Негодяй *(итал.)*.

вытряхнуть камень из башмака. Слышал такое выражение? Понимаешь, что я хочу сказать?

— Разумеется, Дон Сальваторе. Другого выхода нет.

— Сколько ты уже здесь?

— Два дня.

— То есть у тебя еще не было времени изучить как следует обстановку?

— Кобболд, по-видимому, чувствует, что́ его ждет. За ним повсюду ходят два полицейских-кубинца.

— Мне донесли, что ты прибыл сюда с женщиной. Она в этом принимает участие?

— Нам стало известно, что Кобболд интересуется женщинами. Мы решили, что ему может понравиться эта девица, и тогда она сможет следить за ним.

— Понравилась?

— Кажется, да, Дон Сальваторе. Он встречается с ней сегодня дважды и завтра как будто тоже.

— Вся штука в том, что при нем не должно быть полицейских, Ричардс.

— Через несколько часов обстановка прояснится, Дон Сальваторе.

— Я плохо представляю себе, что можно сделать в их присутствии. Чтобы ликвидировать Кобболда, нам придется нанять кубинца, но пока мы не уберем с дороги полицейских, ни одного желающего не найдется. Как же решить эту проблему? Ты ведь специалист, Ричардс.

— Если увести его от этих горилл, то любой снайпер сумеет его снять. Но найдем ли мы снайпера?

— Конечно найдем. Заполучить такого умельца нетрудно. Но только надо гарантировать ему безопасность. Это можно сделать через одного моего друга. Он не откажет мне лично, но если выйдет накладка, меня возьмут за горло. Поэтому тут я не могу рисковать. Прежде чем обратиться к моему другу, я должен знать, как мы уведем Кобболда от телохранителей.

— Он собирается завтра устроить для этой женщины пикник на побережье.

— А нам какой от этого прок? Насколько я понимаю, ты на здешних пляжах не бывал. Если они поедут на пляж, это будет либо Хайманитас, либо пляж яхт-клуба. Пляж яхт-клуба огорожен десятифутовой изгородью, чтобы туда не пролезали разные подонки. А на Хайманитас через каждые десять ярдов торчит охранник да бегают официанты в плавках, чтобы посетители, если им захочется выпить, могли не вылезать из воды. На этих пляжах убрать нашего приятеля не легче, чем войти во дворец и шлепнуть президента.

— По-моему, это будет не очень людный пляж, Дон Сальваторе. Насколько я знаю Кобболда, он захочет побыть с этой женщиной наедине, то есть поедет на такой пляж, где мало народу.

— Да, в этом есть резон. Кто устраивает пикник для бабы, тому незачем тащиться на Хайманитас или в яхт-клуб.

— Есть ли такой снайпер, который сумеет уложить его, когда он будет с женщиной?

На живом лице Спины выразилось крайнее удивление.

— Смотря что ты под этим подразумеваешь. Хочешь сказать: когда они будут в обнимку?

Хотя Спина и отсидел несколько лет в Даннеморской тюрьме за организацию проституции в Нью-Йорке, он испытывал нежные чувства к женщинам вообще и даже слышать не желал, что кому-то из них могут причинить боль.

— Нет, когда они будут просто рядом.

— Понятно. Знаешь, есть один малый, который, говорят, с двухсот ярдов может в толпе убрать человека выстрелом в голову.

— Он здесь, на Кубе, Дон Сальваторе?

— По правде говоря, он отбывает на острове Пинос пожизненное заключение за убийство. Но я мог бы на день одолжить его.

— Вы хотите сказать, его выпустят из тюрьмы, чтобы он выполнил то, о чем мы с ним условимся?

— Когда знаешь нужных людей и платишь не скупясь, сделать можно все. Этот парень — псих, полоумный. Когда у него в голове раздается звон колоколов или что-то в этом роде, он должен кого-нибудь убить. Мне рассказывали, что промаха он не знает. Говорят, в последний раз его выпускали прикончить какого-то мексиканского деятеля в Ногалесе, который собирался поживиться за счет казино. Ребята из Финикса узнали, что мексиканец без ума от лошадей и родео, отправились в Ногалес и устроили там родео в его честь. Самое сложное было оторвать его от приятелей, поэтому его накачали спиртным, посадили на лошадь и вывезли на арену. И тут этот псих первым же выстрелом со ста пятидесяти ярдов пробил ему башку. Лошадь еще даже не успела успокоиться. Что скажешь, а?

— Прямо не верится.

— Чему не верится? Что он сумел прикончить мексиканца на брыкающейся лошади со ста пятидесяти ярдов?

— Не столько этому, сколько тому, что в цивилизованной стране человека могут по договоренности выпустить для такого дела из тюрьмы.

— Кто сказал, что это «цивилизованная страна»? Добыть этого парня, чтобы прикончить мексиканца, стоило двадцать тысяч. Я думаю, мы сумеем заполучить его дешевле. Во всяком случае, это не твоя забота. Плачу я.

— Если вы считаете, что такое можно устроить, наша задача, похоже, решена.

— Я поговорю со своим другом из правительства и дам тебе знать, как только что-нибудь прояснится. Где тебя искать?

— К вечеру я вернусь в «Севилью». А сейчас мне нужно повидаться с этой женщиной. Вдруг есть что-нибудь новое.

— Тебе, вероятно, небезынтересно узнать, что истинная его страсть — фотография,— сказала Линда.— Мы едем на пляж, потому что он хочет снимать меня.

— В каком виде?

— Наверное, голой.— Она скорчила гримасу.

Десять минут назад Марк незаметно проскользнул в «Линкольн», и они, сидя в холле, пили фруктовую воду с привкусом клубники и сливок, от которой потом было противно во рту. Марк, как всякий сицилиец, высоко ценил в людях чувство собственного достоинства, и теперь он невольно восхитился умению Линды приспосабливаться к окружающей обстановке. Она держалась необычайно грациозно. Трудно было поверить, что эта холодная, светлокудрая Прозерпина способна стоять перед слабоумной публикой и под звуки музыки медленно снимать с себя одежду. Нечего удивляться, что Коббольд явно увлекся ею, а это им весьма на руку.

— Интересно, почему он не остался на ночь? — спросил он.

— Наверное, из-за того, что при нем эти люди.

— Значит, наличие телохранителей мешает любви.

— Все идет так, как ты надеялся? — спросила она.

— Будем держать этот курс и дальше,— сказал он.— Как прошел обед?

— Хорошо. Мы были в ресторане возле доков. Там обедают не только туристы, но и настоящие рыбаки.

— А телохранители сидели за соседним столиком?

— Да. На этот раз в блестящих костюмах кремового цвета.

— О чем вы беседовали?

— О разном. Он занимательный собеседник, умеет слушать, с ним легко и приятно.

— Не забывай, что ты работаешь на меня,— заметил Марк.

— Не забуду. Я об этом все время помню.

— Это то же самое, что продавать недвижимость или страховать жизнь. Личное отношение к клиенту не должно мешать делу.

— Понимаю. Быть может, следует добавить к сказанному вот еще что: ты мне по-прежнему нравишься больше его.

— Спасибо на добром слове,— сказал он.— Надеюсь, это правда.

— Конечно, правда. А ты не забыл подумать, о чем я просила? Чтобы побыть здесь вместе день-другой после того, как все кончится.

— Я еще не думал об этом, но подумаю. Эти телохранители...

— Ты пришел сейчас только по делу? Тогда продолжай.

— Они были в машине, когда он заехал за тобой?

— Да. Один сидел вместе с ним на переднем сиденье, а второй рядом со мной.

— Ты случайно не знаешь, это его собственная машина?

— Нет. Он взял ее напрокат в «Херце». «Кадиллак». С шофером.

— Он сказал тебе, чем будет занят во второй половине дня?

— Он говорил про встречу с каким-то политическим деятелем. Сказал, что заедет за мной в восемь часов. Мы ужинаем в «Сан суси», а завтра едем на пляж и будем фотографироваться.

— Не знаешь где?

— Нет. Мы возьмем в собой еду, вот и все, что он сказал, и, если ветер утихнет, будем купаться.

— Я, наверное, позвоню тебе утром,— пообещал Марк.

Из телефона-автомата он позвонил Спине.

— Можно говорить?

— Откуда ты звонишь?

— Из автомата возле «Линкольна».

— Там вообще-то не подслушивают,— сказал Спина,— но полной уверенности нет. Думай, когда говоришь. Сначала я скажу, какие у меня новости. Человека, в котором мы заинтересованы, получить можно.

— Отлично. А теперь послушайте меня. Наш приятель во время завтрашней поездки на пляж собирается ее фотографировать.

— Нагишом?

— По-моему, да.

— Очень полезная информация. Значит, пляж действительно будет безлюдным. Что-нибудь вроде Санта-Фе или Баракоа. Это единственные места в радиусе пятидесяти миль от города, где можно устроить пикник, не боясь, что тебе помешают. У тебя есть карта?

— Могу достать.

— Наверняка одно из этих двух мест. Тебе, пожалуй, стоит сейчас съездить туда и осмотреться на случай, если мы не ошиблись.

— Хорошо,— согласился Марк.

— И как только вернешься, приходи сюда.

Ему помог звонок к Кобболду.

— Я собираюсь уходить,— сказал Кобболд,— а то показал бы тебе на карте, где места получше. Сейчас в воде полно медуз, они обжигают тело, поэтому, если хочешь просто поплавать, поезжай в какой-нибудь клуб. Тебя могут записать в члены клуба прямо здесь, в гостинице.

— Хорошо бы сбежать от этой громкой музыки. И чтобы можно было раздеться.

— Тогда поезжай мимо клуба «Мирамар». Скажи, чтобы тебя везли на запад от города. К востоку ничего приличного нет. А Баракоа — неплохое место, но за рифом водятся акулы и барракуды, поэтому далеко не заплывай. Хочешь нанять машину?

— Возьму, наверное, в «Херце».

— От машины далеко не отходи. Не то через пять минут останешься без колес.

Марк проехал еще пятьсот ярдов по проселку и остановился в тени разлохмаченной ветром пальмы, где следы от колес машин, съехавших вниз на берег, заносило песком. Он выключил мотор и с минуту сидел неподвижно. И тотчас же со всех сторон из своих норок в песке вылезли маленькие розовые крабы. По шоссе каждые три-четыре минуты проходил грузовик. Над «Мирамаром», таща за собой рекламу пива «Кристалл», низко кружил самолет, потом он улетел, и стук его моторов поглотили песок и вода. Неподалеку была хижина, выстроенная из обломков рангоута и плавника и крытая паль-

мовыми листьями. Перед входом в нее лежала куча конусообразных раковин. Такие хижины на берегу он видел и раньше: их сооружают, очевидно, праздношатающиеся негры, которые ночуют где придется. Он вылез из машины и спустился к воде, у которой рядком лежали медузы, словно выложенные из формочек для бланманже. Пролетавший мимо коричневый пеликан вдруг нырнул за рыбой, на мгновение исчез в темном гейзере из пены, потом вновь появился на поверхности в двадцати ярдах от этого места. Где-то на горизонте, держа курс на «Мирамар», шел быстроходный катер. Марк помахал ему рукой, но ответа не получил, из чего сделал заключение, что его не видно.

Через полчаса из-за скалы вдруг появился негр с кучей раковин, которые он отыскал на мелководье. Неподалеку от хижины он принялся вытаскивать из них моллюсков. В любом другом месте он просто взял бы мачете и срезал верхушку раковины, но здесь, возле прибрежных клубов, отполированные раковины раскупались в качестве сувениров. Чтобы вытащить моллюсков, негр поднимал раковину высоко над головой, а потом изо всех сил швырял на мокрый песок. После двадцати-тридцати подобных бросков оглушенный и умирающий моллюск наконец раскрывал створки своего панциря. Ловец раковин, негр с длинными, огромных размеров конечностями и порыжевшими от солнца и соленой воды волосами, устраивал из этой операции целое представление: он прыгал и танцевал на песке и, швыряя раковину, с громким призывным криком откидывал назад голову. Он, казалось, не замечал Марка. Марк с презрением следил за его прыжками — какой-то получеловек, существо сумеречных глубин чуждого ему мира, почти обезумевшее от нищеты и одиночества.

Он подождал, пока пламенное солнце не коснулось горизонта — чуть отпрыгнуло и скользнуло за него,— а потом поехал в Гавану в контору Спины у стен кладбища.

— Человека этого мы получили,— сказал Спина.— Все в порядке. Мы можем взять его на тех же условиях, что и с мексиканцем: двадцать тысяч в день или пятьдесят за неделю. Завтра утром он прилетит из Нуэва-Хероны.

— Один?

— Об этом ничего не было сказано.

— Дон Сальваторе, почему они уверены, что он вернется в тюрьму?

— По словам моего друга, у него есть сынишка, которого будут держать как заложника, пока он не явится.

— Какой ужас!

— Ужас, конечно. Кому это по душе? Тем не менее мы его получили. Главное теперь, сумеем ли мы его использовать? Есть какие-нибудь мысли? Что насчет пляжа?

— Скорее всего это произойдет в Баракоа.

— Я так и думал.

— Если ему нужно безлюдное место, то Баракоа, пожалуй, самое подходящее.

— Никого там нет? Ты проверил?

— Только рыбаки.

— А движение на дороге?

— Иногда идут грузовики. Редко. Вся местность выглядит так, будто по ней пронесся ураган.

— Полиции нет?

— Я никого не видел.

— У них и тут дел хватает, куда им соваться за город.

— Там совсем тихо. Всего двадцать миль от города, а словно попал в другой мир.

— Лучшего места не придумаешь,— сказал Спина.— До того здорово, что даже не верится.— Он задумчиво улыбнулся, точно припомнив что-то личное.— А ведь такое дело никогда легким не бывает. Это самое трудное на свете — убрать человека так, чтобы все прошло гладко. Всегда что-нибудь да стрясется непредвиденное.

— Они могут передумать и вообще не поехать на побережье, Дон Сальваторе. Или завтра налетит ураган.

— Если в этом сезоне еще суждено быть урагану, он обязательно случится завтра. Тем не менее давай все обдумаем на тот случай, если урагана не будет.

Боначеа Леон оказался на редкость невзрачным субъектом. Около одиннадцати утра Марк с Боначеа подъехали к Марианао, поставили машину на стоянку у ресторана, мимо которого обязательно должна проехать любая машина, идущая в западном направлении, и устроились под зонтом с эмблемой кока-колы в пятидесяти ярдах от синеватой полосы дороги, аккуратно окаймленной отбрасывающими ровную тень пальмами. В ресторане никого не было. Под жгучим солнцем все вокруг словно вымерло, не проезжали даже машины. Шофер, бандит из Канзас-Сити, прибывший от Спины вместе с машиной, потягивал лимонад, сидя за рулем. Он был похож на гангстера из фильмов тридцатых годов: носил не снимая шляпу и говорил сквозь зубы. У всех троих были официальные ordenes de misión [1], которые избавляли их от вмешательства полиции, а у Боначеа вдобавок охранное свидетельство, подписанное секретарем министра внутренних дел.

Боначеа ел рубленый шницель с такой сосредоточенностью, с какой слушают классическую музыку. Он сидел сгорбившись и задумчиво жевал, рубашка его обвисла, открыв впалую грудь. У него была восковая кожа, как у туберкулезника — казалось, будто под ней не бежит кровь.

Спина сумел весьма немного разузнать о Боначеа. Он был пастухом в Альта-Грасиа, провинция Камагуэй, в шестнадцатилетнем возрасте его завербовали в отряд, созданный кубинским диктатором для борьбы со своими внутренними противниками. Возвращаясь в поезде домой после обычной расправы с населением, Боначеа выстрелил в крестьянина, ехавшего на запряженном быками возу по тракту параллельно железной дороге, и убил его, за что был приговорен к пожизненному заключению. Он сказал психиатру, что причин для убийства крестьянина у него не было, но признался, что в момент убийства находился в состоянии сексуального возбуждения. От внимания некоторых лиц, наблюдавших за судебным процессом, не ускользнула характерная деталь: Боначеа сумел прострелить человеку голову из окна поезда, шедшего со скоростью примерно сорок миль в час.

Боначеа дернул Марка за рукав. Ему захотелось показать фотографию своей семьи, на которой были запечатлены толстогубая мулатка-жена и светлоглазый, с мелко вьющимися волосами мальчик в матроске. Это и был сын, которого держат в качестве заложника. Свадьбу Боначеа сыграли в приходской церкви Нуэва-Хероны, и на ней присутствовал заместитель начальника тюрьмы. «Он живет как в «Уолдорф-Астории»,— заметил Спина.— Его навещает жена, с которой он спит, когда захочет. Он — большая ценность для администрации».

Боначеа заказал еще один шницель, понюхал и принялся жевать. Потом судорожно глотнул, открыл рот, ловя воздух, и снова сделал знак официанту.

Гангстер за рулем едва слышно просигналил, и Марк увидел, как из пористой дали решительно вынырнул принадлежащий «Херцу» шоколадный «кадиллак». Он встал и скользнул за бамбуковый занавес, сквозь который дорога тоже была видна, а человек из Канзас-Сити лег на переднее сиденье и притворился спящим. «Кадиллак» подъехал и, шурша колесами по гравию, круто свернул на стоянку. Один телохранитель сидел рядом с шофером на переднем сиденье, а Кобболд — между вторым телохранителем и одетой в белое Линдой — на заднем. Первый телохранитель вошел в ресторан и тотчас вышел обратно, неся несколько картонных коробок и голубую пластиковую сумку. Все это он положил в багажник, и они снова тронулись в путь, по-прежнему держа курс на запад. Марк и Боначеа подождали, пока «кадиллак» не скрылся из виду, потом сели в машину и черепашьим шагом поехали за ним. Проехав пять миль, они увидели, что «кадиллак» остановился именно там, где Марк и предполагал. Они съехали с дороги в заросли карликовых пальм. Боначеа достал винтовку в коричневом парусиновом чехле, в каком обычно носят удочки; оставив шофера в машине, они с Марком спустились на пляж и пошли по песку.

Со своим чехлом для удочек Боначеа тотчас вписался в ландшафт: человек без определенных занятий идет на рыбную ловлю. Марк знаком велел ему подождать, а сам пошел дальше. Одному будет легче, если получится нечаянная встреча или если он сам,

[1] Служебные удостоверения *(исп.)*.

выскочив из-за дюн, вдруг наткнется на них («Я так и знал, что встречу тебя здесь, Эндрю. Нет, не буду вам мешать. Где тут можно купаться нагишом?»).

К счастью, он заметил Кобболда и его компанию с вершины песчаной насыпи, образовавшейся с подветренной стороны карликовых пальм. Под пляжным зонтом раскинули стол, и Линда с шофером распаковывали коробки с едой. Кобболд и его телохранители стояли у воды и смотрели, как рыбаки, ухватившись с двух сторон за концы мелководной сети, медленно тянут ее к берегу.

Кобболд принялся фотографировать: групповые снимки, портреты рыбаков крупным планом. Когда улов вывалили на берег, состоялись переговоры между одним из телохранителей и рыбаками, в результате чего Кобболд выбрал себе рыбу, и деньги перешли из рук в руки. Потом стали собирать плавник и разводить костер, чтобы жарить рыбу. Под зонтом раскупоривались бутылки и опустошались стаканы. Рыбаки присоединились к Кобболду и его спутникам, ели и пили вместе с ними.

Припав к земле, Марк и Боначеа лежали в лохматой тени карликовых пальм, а москиты дымом клубились над гниющей растительностью и впивались в их тела. Внизу на пляже Кобболд отошел от остальных и, пригнувшись, стал перезаряжать аппарат. Марк услышал шелест парусины — винтовку вынули из чехла.

— Ahora? — прошептал Боначеа.— Сейчас?

— Нет. Ради бога, подожди, пока я не скажу. Эта штука очень громкая?

— Нет. No mucho [1].

Создавшуюся ситуацию в лучшем случае следовало оценить как сносную. Провести операцию гладко, в классическом стиле, не представлялось возможным. На берегу было слишком много народу: рыбаки — они, по-видимому, и не собирались уходить,— шофер и два телохранителя, которые, словно ищейки, бросятся на запах пороха, как только раздастся выстрел. И самое главное, среди них была женщина, которая Марку совсем некстати нравилась и которой, во всяком случае, согласно нерушимым правилам, следовало сохранить жизнь.

Он наблюдал, выжидая подходящий момент. Конечно, ситуация не из лучших, но ничего более благоприятного, чем этот пикник, как видно, не будет. Внизу, на берегу, оживление постепенно замирало. Несколько рыбаков, собрав улов, гуськом — люди без тени — зашагали в свою невидимую деревню. Остальные спали, втиснувшись в узкую, как острие ножа, тень от вытащенной на берег лодки. Линда зашла по щиколотку в воду, потом вышла на берег и легла лицом вниз под зонтом, а Кобболд сел на песок рядом с ней. Шофер и телохранители устроились на стульях, один из них задремал, свесив голову на грудь и свесив руки. Когда Линда вышла из воды, морские птицы, спустившись с безжизненно гладкого неба, прочно расположились там, где прилив оставил на песке клочки пены. Самолет с рекламой еще раз взмыл над далеким «Мирамаром», навевая сон гудением мотора, а потом вновь погрузился в плотную тишину небесного безмолвия.

Боначеа ерзал на четвереньках, чуть поскрипывая песком в поисках упора.

— Ahora? — снова прошептал он.

— Нет. Погоди, я сказал.

Последовала бесконечно долгая пауза. Неожиданно Кобболд вскочил и, протянув руку, помог встать Линде. Телохранитель тоже встал и хотел было подойти к ним, но Кобболд знаком велел ему оставаться на месте. Вдвоем, держась за руки, они побрели в сторону бамбука — их бледные городские тела казались темными на фоне ослепительной белизны песка. Кобболд шагал чуть впереди Линды. Он шел по песку, будто по колено в воде, раскинув руки, чтобы легче дышалось.

Они вошли в бамбуковые заросли и, наверное, решили, что никто их не видит. Сейчас, думал Марк. Его рот наполнился слюной. Неудачное время и неудачная ситуация. Приказ будет выполнен с нарушением неписаных законов. Линда сняла с себя купальный костюм. Кобболд сжал было ее в объятьях, потом выпустил и поднес фотоаппарат к глазу.

Рядом с Марком шумно, по-собачьи тянул носом воздух Боначеа. Лицо его было искажено. Марк вдруг почувствовал острый запах собственного пота.

— Ahora?

---

[1] Не слишком *(исп.)*.

— Да. Ahora!

Выстрел был не громче икоты, фырканья, отрыжки, но в нем прошелестел змеиным язычком звук ушедшей пули. Трудно было поверить, что за этим хлопком последует что-либо серьезное, но в то же мгновение фигура с аппаратом, уже наполовину растворившаяся в дымке жары, дрогнула, а Линда, опустившись на колени, заколыхалась и тонко, как чайка, закричала. Сидевшая у кромки воды птица подпрыгнула на фут в воздух и снова плюхнулась на прежнее место. Из тени перевернутой кверху дном лодки выкатился рыбак и, прикрывая глаза рукой, повернулся к ним лицом. Один телохранитель показал в их сторону, что-то крикнул и потянулся за пистолетом.

Марк и Боначеа повернулись, нырнули за дюну и заскользили вниз с насыпи. Но тут же увидели шедшего им навстречу ловца раковин, которого Марк встретил накануне. Его черная как смоль кожа под жгучим полуденным солнцем казалась серой, словно у прокаженного. Он не спеша шел вдоль берега с пригоршней ракушек в руках, а с крюка на веревке у него свисал маленький осьминог. Любопытство и надежда продать осьминога заставили его повернуться и прыжками направиться в их сторону. Он узнал Марка, и губы его растянулись в нелепой ухмылке.

Хихикая и капая слюной, Боначеа поднял винтовку, и белозубая улыбка негра исказилась от недоумения. Он бросил раковины и осьминога на песок, вскинул руки, чтобы закрыть лицо, и тотчас уронил их, потому что Боначеа спустил курок и винтовка снова икнула. Боначеа рукой вытер губы и сунул винтовку в чехол. Как только они выбрались на дорогу, шофер заметил их и, пока они бежали к машине, выплюнул изо рта окурок сигары и включил мотор.

Первые городские такси попались им навстречу в пригороде Альмандарес, и Марк велел шоферу остановиться возле телефона-автомата.

— Отвези этого человека в аэропорт,— сказал он.— На внутренние линии.

Он вошел в будку и набрал номер Спины.

— Я подумал, что вы, наверное, ждете моего звонка.

— Как все прошло? — спросил Спина.

— Нормально.

— Уверен, что все получилось как надо?

— Более или менее уверен. Я не задержался проверить, но оттуда, где я был, это выглядело отлично.

— Все обошлось, так сказать, гладко? Ты понимаешь, о чем я спрашиваю?

— Не так гладко, как хотелось бы. Было небольшое осложнение.

— Жаль. Есть основания для беспокойства?

— Нет. Могло обойтись и без этого, вот и все.

— Что с этим нашим человеком?

— Улетает. Вечерним рейсом.

— Обратно, откуда прибыл, в уют и уединение его личных апартаментов? Ну и страна, а? Ну и страна! А женщина?

— Если все будет так, как мы надеемся, она сможет завтра отправиться в путь.

— Возможна задержка,— сказал Спина.— Для соблюдения формальностей ей могут задать несколько вопросов. Да, задержка возможна. Ты будешь при ней?

— Придется, наверное,— ответил Марк.— На всякий случай, для страховки.

— Что ж, разумно. Послушай, на этом этапе очень важно вести себя правильно. Сам понимаешь. Что она скажет сейчас, значения не имеет, потому что никто ее слушать не будет и все легко уладить. Важно, что она будет говорить потом. Меня это не касается. Я забочусь о тебе. Ты можешь попасть в беду.

— Спасибо за предупреждение. Я приму меры.

— Да уж постарайся. Дай ей понять, что если ее заставят говорить, то пусть язык не распускает. Слушай, ты сумеешь сюда зайти, прежде чем улетишь?

— Трудно сказать. Хотелось бы, но посмотрим, как пойдут дела. Наверное, я в ближайшие часы буду очень занят.

— Что ж, если не увидимся, счастливого тебе пути и навести меня, когда снова будешь в Гаване. У нас здесь большой бизнес, а будет еще больше, поэтому, надеюсь, ты сюда вернешься.

— Хотелось бы.

— Передай привет нашим, дома. Скажи, я бы с удовольствием приехал повидаться, да не могу, они знают.

Он добрался до «Севильи» на такси. Никто ему не звонил. Он пошел в бар и впервые в жизни заказал двойное виски. Потом поднялся к себе в номер, разделся, закрыл ставни и лег. Он лежал, недоумевая, почему он себя так чувствует, пытаясь отделаться от непонятного беспокойства, от раздражающей тревоги, которые испытывал первый раз в жизни и в которых любой другой человек немедленно распознал бы угрызения совести. Марк всю жизнь был конформистом, удовлетворялся тем, что твердо придерживался правил, согласно которым держал ответ только перед своим кланом. Сейчас он впервые нарушил собственный моральный кодекс. Он вспомнил, что даже Спина был потрясен предложением ликвидировать Кобболда в присутствии женщины.

Когда зазвонил телефон, Марк хотел было не отвечать. В конце концов он поднял трубку, зная, что звонит Линда.

— Я в больнице Мирафлорес. Произошла жуткая вещь.

Молчание. Может, линия в неисправности, а может, ей трудно говорить.

— Я тебя не слышу,— сказал он.— В чем дело? Говори. Что случилось?

— Эндрю тяжело ранен. В него стреляли, и, по-моему, он умирает. Приехала полиция, а я не понимаю, что они говорят. Он лежит, ему ничего не делают, даже не пытаются помочь.

— Его смотрел доктор?

— Он вошел, взглянул на него и ушел. Какой ужас! Его бросили умирать.

— Я сейчас приеду,— сказал Марк.

Больница Мирафлорес находилась в другом конце города, и, пока Марк одевался, ловил такси и ехал, прошло более получаса. Он нашел Линду в приемном покое. Над покрытым простыней телом бормотала молитвы монахиня. Калека в грязном больничном халате выметал из комнаты окурки сигарет и окровавленные куски ваты.

Подошла Линда в сопровождении сестры, которая тотчас удалилась, оставив их вдвоем.

— Умер,— сказала Линда.— Мне пришлось подписать свидетельство о смерти.— Марка поразил спокойный голос Линды, никак не вязавшийся с ее растерзанным видом.— Они беспокоились только о том, чтобы я подписала все нужные бумаги. И ничем не помогли. Посмотрели на него — и все.

— Может, они ничем и не могли помочь. Он приходил в сознание?

— Не думаю. Он ни разу не шевельнулся. Лежал тихо до последней минуты. И только умирая начал страшно хрипеть.

— Значит, ничего не чувствовал,— сказал Марк.— Это, должно быть, какая-то нервная реакция.

— Слава богу, если так,— отозвалась она.— У него была страшная рана.— Она подняла голову, и он увидел ее лицо: измазанное, заплаканное, с каким-то новым от горя выражением.— Я знала, что его ждет смерть.

Монахиня встала, положила четки в карман юбки и, подняв огромную соломенную корзину с пакетами мыльного порошка, туалетной бумагой и печеньем, удалилась. Под простыней Кобболд был совсем маленьким. Казалось, там лежит труп ребенка.

— Полицейские ушли несколько минут назад. Сказали, что должны будут еще раз побеседовать со мной,— продолжала Линда.— И забрали у меня туристскую карточку. Завтра утром мне велено куда-то явиться.

— Расскажи, что произошло,— попросил Марк.

— Мы были на пляже, и в него выстрелили.

— Кто?

— Я не видела. Мы разговаривали, и вдруг он упал. Я услышала выстрел, и он упал — вот и все, что было.

— Вы были одни?

Она взглянула на него с каким-то смутным любопытством.

— Почему ты спрашиваешь? Может, я ненормальная, но у меня такое чувство, будто тебе заранее известны все ответы. Тем не менее на этот вопрос я отвечаю: нет. Там были эти двое, что не отходили от него, и шофер. Они все ушли вместе с полицией.

— Тебе надо выпить, да и мне тоже,— сказал Марк.— Пойдем куда-нибудь, где можно поговорить.

В баре в соседнем квартале, где рабочие-кубинцы играли в домино, кричал по-испански попугай, а на стойке спала кошка, он заказал два бренди.

— Его, наверное, застрелили революционеры,— сказал он.

Это предположение словно пробудило ее. Мышцы лица напряглись, взгляд стал сосредоточенным.

— Не делай из меня дуру,— сказала она.

— Я сказал «наверное». В этой стране сейчас убивают налево и направо. В «Пост» сегодня утром напечатано предупреждение: полиция не рекомендует выезжать за пределы города.

— Зачем революционерам понадобилось стрелять в Эндрю? — недоумевала она.— Если бы они хотели кого-то убить, так уж скорее кубинцев, что были с нами. А Эндрю никак не был с ними связан.

— Ты ведь можешь и ошибаться.

— А ты какое имеешь к этому отношение? А я? Зачем, к примеру, ты меня сюда привез? Почему заплатил мне, чтобы я следила за Эндрю?

— Я тебе уже объяснял.

— Но ты меня не убедил. Я знаю, я дура, но не до такой же степени.

— Я сказал тебе все, что мог. В твоих же интересах оставаться менее осведомленной.

— Завтра в полиции опять будут меня допрашивать. Спросят, зачем я сюда приехала.

— Скажешь, что приехала отдохнуть.

— С тобой?

— Конечно. Почему бы и нет? Если тебя спросят.

— Сказать, что вы с Эндрю знали друг друга?

— Если спросят.

— Сказать, что мы втроем ходили в ночной клуб?

— Скажи все. К чему утаивать?

— Включая и нашу договоренность?

— Нет, об этом не упоминай.

— Так я и знала,— сказала она.

— Я с самого начала дал понять, что тебе платят за твою сообразительность,— сказал Марк.

— Хорошо, но я хочу знать правду.

— Пожалуйста. Правда состоит в том, что Эндрю стал вмешиваться в большую политику. Он пошел на сделку с противоположной стороной, и с ним за это расквитались. Он был обречен.

— А ты тут при чем?

— Мы из одной фирмы. Он пользовался деньгами нашей фирмы. И нам хотелось знать, на что идут деньги и с кем он имеет дело.

— И ты узнал? — спросила она.

— Не успел.

— Я хочу тебе кое-что сказать.— Она не могла успокоиться.— Мне понравился Эндрю. Он был славным человеком. Он умер, и мне еще никогда в жизни не было так грустно. Если бы я умела плакать, я, наверное, выплакала бы все глаза.

— Он был неплохим малым,— согласился Марк.— Но любил играть ва-банк. И делал рискованные ставки.— Он обнял ее за плечи и погладил по щеке. Вошел мальчик с пачкой первого вечернего выпуска «Эль Соль». Марк купил газету и по заголовкам выяснил, кто стал добычей смерти в этот день.

— Скоро мы выберемся из этого страшного города? — спросила Линда.— Завтра сможем улететь?

— Наверное,— ответил он.— Если полиция тебя отпустит, мы улетим дневным рейсом.

8

Опыт научил Спину: когда хочешь дать взятку латиноамериканскому чиновнику, главное — отыскать посредника, через которого можно передать деньги. В Гаване все знали, где и как это делается: следовало пойти прямо в налоговое управление муниципалитета, внести аванс за налог с предполагаемого годового дохода, а потом, не сходя с места, попросить приема у секретаря того министра, которого хочешь подкупить. Поскольку такой аванс вносили только желающие дать взятку, то недоразумений не возникало. В муниципалитете Спина с восхищением увидел, как маленький седой клерк положил конверт с пятьюдесятью стодолларовыми купюрами, который он дал ему, в детскую копилку, а затем, взяв ее в руки, понес в соседнюю комнату, где тотчас тренькнул короткий звоночек, означавший, что там сняли телефонную трубку.

Из муниципалитета Спина на такси добрался до министерства внутренних дел, где его ждал секретарь министра, говоривший по-английски с типичным для латиноамериканцев пришепетыванием. На секретаре была безупречно накрахмаленная рубашка и толстое обручальное кольцо на пухлой руке. В уголках его рта, когда он улыбался, поблескивало золото.

— Наши интересы полностью совпадают,— сказал он.— Нам невыгодно создавать впечатление, будто жизнь и имущество иностранцев в нашей стране не охраняются должным образом.

Спина всей душой презирал этого человека. Теперь, заплатив за сотрудничество, он считал себя вправе диктовать условия.

— Подробное изложение фактов должно появиться в газетах как можно скорее,— сказал он.— После чего об этом случае следует забыть навсегда. Но я бы хотел просмотреть сообщение, прежде чем его напечатают.

— Наши молодые люди сознают, что зашли в тупик,— сказал секретарь,— а потому совершают отчаянные и глупые акции. В данном случае преступник полностью сознался, но, кроме него, обвиняется еще ряд людей.

— Похвальная оперативность,— иронически улыбнулся Спина.— Нашли оружие, которым было совершено убийство?

— По-моему, пока нет.

— Распорядитесь, чтобы нашли,— приказал Спина.— К завтрашнему дню, если можно. И напечатайте в газетах заключение специалиста по баллистике.

— На первой странице?

— Ни в коем случае. Где-нибудь в конце. Краткая информация. С этим делом пора кончать.

— Совершенно справедливо, — согласился секретарь. — Предоставьте это мне. Я знаю, что именно требуется.

У него был спокойный и убедительный тон портного, обсуждающего с заказчиком покрой пиджака. Секретарь был человеком со стальными нервами. Кубинцам, которые с угрюмым смирением взирали на лихоимство тех, кто ими правил, было известно, что за один только год он присвоил из общественных фондов 50 тысяч долларов, а его начальник, министр, — четверть миллиона.

— Как вы считаете, ваш посол будет доволен? — спросил он.

— Еще бы! Он, наверное, просто потрясен той быстротой, с какой произведены аресты.

Секретарь встал, чтобы пожать Спине руку.

— Мистер Спина, поверьте, я крайне вам благодарен. Вы были очень любезны. — И вдруг, словно вспомнив, добавил совсем другим тоном: — Чуть не забыл. Что нам делать с телом покойного? Вы хотите, чтобы мы похоронили его на Кубе? В таком случае посольство должно дать нам указание.

— Похоронить на Кубе? — удивился Спина. — Да что вы! Этот малый был человеком влиятельным и заслужил самые пышные похороны, на какие способен его родной город. Мы закупим самолет, который отвезет его домой. Тысячи две сограждан пойдут за его гробом, господин секретарь.

Брэдли условился встретиться с Элистером Фергюсоном в открытом кафе Центрального парка. Очередное сияющее утро заливало город ярким солнцем, и кубинцы вокруг спешили по своим делам, которые, казалось, вели в никуда в этом городе цвета слоновой кости и корицы.

— Как дела? Привыкаете? — спросил Брэдли.

— Привыкну, — не сразу ответил Фергюсон. — Многое здесь оказалось весьма неожиданным.

— И в Палермо поначалу было так же, — напомнил Брэдли. — Забыли, наверное. А потом пришлось чуть ли не силой вытаскивать вас оттуда. Не беспокойтесь, вы всегда под моей надежной защитой. Я буду проезжать через Гавану по крайней мере раз в месяц.

Фергюсон скорчил печальную мину, и Брэдли похлопал его по плечу. Он рассчитывал, что здесь Фергюсон сможет оправдать возлагавшиеся на него надежды. В Сицилии ему так и не представилось случая показать, на что он способен, проявить ту многообещающую твердость и решительность, которые завоевали ему благосклонность начальства еще в дни ученичества. Но если где человек и имеет возможность проявить себя, так это здесь, на Кубе.

— Сожалею, что вашему созерцательному существованию пришел конец, — продолжал Брэдли.— Однако надеюсь, что и новое место вам придется по душе. Хоть тут и процветает коррупция, но есть немало занимательного, да и развлечения — на все вкусы.— Он помолчал, уставившись на Фергюсона знаменитым сицилийским взглядом в собственном смягченном варианте. — Кроме того, это сейчас арена международной борьбы, — добавил он.

— Неужели? — усомнился Фергюсон, взглянув на тощих негров, подбиравших из-под стульев окурки сигар. Семь человек спали поблизости на резных парковых скамейках. Кто-то вставил гвоздику в телефон возле кассы на стойке.

— Куба — это Берлин шестидесятых годов, — сказал Брэдли. — Интересы западного мира здесь поставлены на карту точно так же, как это было в Берлине, а интересы нашего государства — тем более. Куба — это не четыре тысячи миль от Штатов; Куба — это наши задворки.

Фергюсон в изумлении посмотрел на него. За разговором Брэдли съел целую тарелку гигантских креветок, очищая их с необыкновенной быстротой и ловкостью. Ухватив большим и указательным пальцами толстую розовую креветку, он потряс ею перед самым носом Фергюсона.

— Нынешняя ситуация чревата угрозой тому, что для нас дорого, хотя я еще не встретил ни одного человека, который бы понимал, насколько эта опасность реальна. Вчера мне показали оперативную сводку нашей собственной службы информации, в которой утверждается, что красные зашли в тупик. А в действительности поражение терпим мы. Я говорю «мы», потому что эта война касается нас не меньше, чем кубинцев... Главная цель нашей встречи,— продолжал Брэдли,— разъяснить вам суть одного недавнего происшествия, которое имеет гораздо большее значение, чем кажется. Два дня назад на здешнем пляже был убит человек по фамилии Кобболд. Вы, наверное, читали об этом?

— У меня есть вырезки из газет.

— Что вы думаете по этому поводу?

— «Диарио де ла марина» утверждает, что его прихлопнули красные, из чего я, естественно, сделал вывод, что правительство решило убрать его по какой-то причине.

— Вы ошибаетесь. Он был убит гангстерами, и я объясню вам, в чем дело.

Брэдли уселся на стуле поудобнее, очистил очередную креветку и бросил ее голову, клешни и панцирь сидевшей в ожидании собаке. Прошли две ослепительно красивые мулатки, хихикая и ничего не замечая вокруг. Фергюсон посмотрел им вслед и вздохнул.

— Здесь Спина, — сказал Брэдли.

— Я слышал.

— Заправляет торговлей наркотиками на сотни миллионов долларов. А также подводит под местную проституцию более рациональную основу. Кобболд же возглавлял группу, которая занимается отелями и игорными домами. Суть конфликта в том, что

Кобболд не сомневался в победе красных и считал, что с ними надо вступить в отношения. И что же он сделал? Он подарил им на миллион долларов оружия. Красные захватили порт где-то в провинции Ориенте и удерживали его до тех пор, пока не пришел весь груз с оружием. После чего и начались их многочисленные победы. Десять тысяч автоматов вполне могут сдвинуть военную ситуацию с мертвой точки.

— Я слышал, что они добрались до Эскамбрея.

— Благодаря нашему земляку Кобболду. Он решил предать интересы своей страны в обмен на возможность править этим городом как ему заблагорассудится. Не думайте, что Спина лучше. Разница только в том, что Спина знает: если к власти придут повстанцы, его тотчас же выкинут с Кубы, потому что красные против наркотиков. Отсюда и антагонизм между этими двумя людьми. — Брэдли загадочно улыбнулся. — Беда в том, — продолжал он, — что у этих людей есть тайные привязанности. Спина был заинтересован в ликвидации Кобболда, хотя в прежние годы сам был компаньоном Винсента Стивенса, босса Кобболда. Они до сих пор дружат, поэтому прежде чем убрать Кобболда, следовало убедить Стивенса, что он предатель. Задачу эту решить было непросто, пока кому-то не пришло в голову подсказать Спине, что Кобболд собирается донести на него в Бюро по борьбе с наркотиками. Для этого пришлось захватить один из малогабаритных самолетов, которые Спина использует для перевозки наркотиков во Флориду, что, между прочим, потребовало наблюдения за сотнями посадочных полос в этом штате. Операция была не из легких. Как только нам удалось задержать самолет, Спине сказали, что все детали его связей с поставщиками были сообщены Кобболдом. А через два-три дня в Гавану прибыл самый талантливый ликвидатор. Кто, как по-вашему?

— Я должен знать кого-то из ликвидаторов?

— Этого вы знаете.

— Неужели Риччоне?

— Теперь он Ричардс. Марк Ричардс. Наш старый приятель из Палермо.

— Риччоне? Значит, он все-таки оказался полезным, как вы и думали.

— Я был в этом уверен. Но это все ерунда. В один прекрасный день Ричардс совершит действительно крупную акцию и войдет в историю. На здешнюю операцию я смотрю как на пробный забег. Грядут более серьезные дела, нечто такое, что действительно будет иметь значение для прочного мира и спокойствия на земном шаре.

— И Риччоне в самом деле убил Кобболда?

— Не собственноручно. Ни в коем случае. Он этим не занимается. Но я не сомневаюсь, что организовал все это он. Достаточно сказать, что Кобболд умер при таинственных обстоятельствах от огнестрельной раны спустя два дня после прибытия Ричардса на Кубу. Ричардс наверняка виделся со Спиной, и они вместе все это обстряпали.

Фергюсон не очень удивился. С тех пор как он перебрался на Кубу, жизнь его начала утрачивать одно из своих измерений. Удивляться невероятному человек способен только в течение сравнительно короткого периода. А здесь за несколько дней он наслушался рассказов о таких жестокостях, что после двухлетнего пребывания в Гаване убийство стало для него обыденным фактом.

— Теперь посмотрим, — продолжал Брэдли, — изменится ли с кончиной Кобболда военное положение на Кубе.

— Слишком поздно, наверное.

— Не обязательно, потому что Стивенс и его приятели продолжают вкладывать сюда свои миллионы. Они люди всесильные, энергичные и, вложив жирный куш в эту страну, не будут сидеть сложа руки и ждать, пока их отсюда выгонят. Поймите: Спина и все, что он олицетворяет, мне вовсе не по душе, как, не сомневаюсь, и вам, но в данный момент он для нас имеет не меньшее значение, чем эскадрилья бомбардировщиков.

— А кубинцы не выставят его из страны? Когда они покончат с этим мятежом, я хочу сказать.

— А как по-вашему? На таможне и в министерстве внутренних дел нет чиновника с именной табличкой на двери кабинета, который не участвовал бы в бизнесе с наркотиками. А в ближайшем будущем Спина станет еще более могущественным. Вин-

сент Стивенс — человек больной, и как только он отойдет от дел или умрет, Спина либо сам завладеет его бизнесом, либо войдет в компанию с его никчемным сыном. На деле это не отразится, потому что парень будет делать то, что скажет ему Спина. А это значит, что после президента наш приятель станет самой крупной фигурой в стране.

— И ФБР не вмешивается?

— Что они могут сделать? Он почти неуязвим. Мне рассказывали, что во Флориде можно построить посадочную полосу для «бичкрофта» или «чессны» за несколько часов. Они вылетают отсюда с грузом, и ни один радар не успевает их засечь. С такой ситуацией наши органы безопасности справиться не в силах. Поставьте себя на их место. Допустим, они удвоят или даже утроят свои силы во Флориде, но сделать это можно только за счет других опасных мест на границе, и тогда наркотики начнут поступать из Мексики или Канады, что в конечном счете одно и то же.

— Пожалуй, — согласился Фергюсон. — Поэтому придется кубинцам научиться жить в мире со Спиной.

— Да, — сказал Брэдли, — но если они не сумеют остановить повстанцев... В этом случае всем нам, включая и Спину, крышка.

— Вчера возле Эскамбрея действовала авиация: обстреливала сортировочные станции и взрывала мосты. Сколько отсюда до Эскамбрея? — спросил Фергюсон.

— Рукой подать. Стоит повстанцам одержать победу в одном большом сражении, и вся оборона рухнет. Газеты молчат о том, что армия бежит. Теперь нас отделяют от них только пятьдесят старых танков. Если они прорвутся за танки, то будут здесь часа через два, после чего Куба, какой мы ее знаем, перестанет существовать, а у США в тылу появится враждебная держава. — Внезапно на лицо Брэдли наползла усталость. Под глазами повисли мешки, а углы рта прикрыли две меланхолические складки. — Кобболду было за что ответить, — заключил он.

9

Как и в прошлый раз, они из осторожности сидели в самолете отдельно. У стойки «Американ эйрлайнз» в Айдлуайлде[1] Марк купил Линде билет до Индианаполиса. В четыре часа дня обычно наступает затишье в передвижениях, поэтому и пассажиров было немного. Марку было жаль расставаться с ней. Поблизости темнел бар, укрытый от холодного блеска аэропорта, и он пригласил ее зайти, предварительно удостоверившись, что там никого нет. Они посидели немного, выпили, потом Марк поцеловал ее и повернулся, чтобы уйти. В этот момент и произошло то, что бывает один раз на десять тысяч,— такая уж у Марка была судьба. В бар вошли мужчина и женщина. Мужчина был ему незнаком, но женщину Марк где-то видел. Их взгляды встретились, оба тут же отвели глаза, и Марк пошел на посадку.

К семи он был дома. Обнял Терезу.

— Я думала, ты уж никогда не вернешься. Почему ты не звонил?

— Каждый вечер пытался, но безуспешно. Плохо работает связь.

— Я очень о тебе беспокоилась,— сказала она.— Ты слышал про Эндрю Кобболда?

— Да, — ответил он. — Ужас! Я был там, когда это произошло. Накануне мы с ним виделись.

— Его жена в полном отчаянии. Ходят слухи, что компания собирается устроить настоящие итальянские похороны. Но она и слышать об этом не желает.

— Я ее понимаю, — сказал Марк. — Такие похороны ушли в прошлое. Бедняги уже нет. Зачем бессмысленно тратить столько денег? Лучше пожертвовать их на благотворительность. А где дети? — вдруг вспомнил он.

— Спят,— ответила она.— Я обещала повести их завтра в цирк, поэтому они легли рано. Давай тоже ляжем пораньше.

— Я уже давно готов.

---

[1] Теперь аэропорт им. Кеннеди в Нью-Йорке.

За завтраком на другое утро он заметил, что атмосфера в доме изменилась. Вместо сицилийской крестьянки перед ним была решительная и уверенная в себе молодая американка.

— Вчера я не хотела тебя огорчать, — сказала Тереза, — но по городу ходят странные слухи.

— Слухи?

— Про Эндрю Кобболда. Перед отъездом он составил завещание.

— А что в этом необычного?

— Необычным было письмо, которое он написал жене. Оно пришло в один день с известием о его смерти. Она говорит, если читать между строк, то ясно, что он знал о грозившей ему опасности.

— Сейчас любому человеку на Кубе грозит опасность. Гибнут сотни людей.

— У тебя не было впечатления, что его что-то тревожило?

— Бизнес, пожалуй, вот и все.

— В одной газете пишут одно, в другой — совершенно противоположное. Хорошо бы они пришли к единому выводу. Ненавижу тайны. Во всяком случае, письмо это у прокурора.

— Вряд ли ему удастся узнать, что в действительности произошло, — заметил Марк. — И стоит ли докапываться до истины? Куба — странное место, у них там другие представления о законности и порядке. Хорошо, что я не дал себя уговорить и не взял с собой тебя и детей.

— Начинаю верить, что это на самом деле было к лучшему.

Они помолчали. Марк смотрел в окно, которое всегда казалось ему слишком большим. Лужайки после осенних дождей снова стали яркими, ядовито-зелеными. Сейчас деревья с плоской кроной закрывают дом со стороны дороги — хоть какое-то уединение, но пройдет месяц, листья облетят, и вся их жизнь будет как на ладони. Хорошо бы обнести дом высокой стеной. Из-за того, что произошло на Кубе, он не мог отделаться от тревожного чувства незащищенности. Он с завистью припомнил английское выражение «мой дом — моя крепость» и с тоской подумал о каменном чреве Кампамаро, выложенном таким образом, что задняя стена домов представляла собой одну высокую стену, а наверху в ней были проделаны крохотные окошки, в которые не мог пролезть незваный гость. В Солсбери же он чувствовал себя беззащитным.

— У меня есть для тебя новость, — сказала Тереза.

Он нехотя вернулся в настоящее.

— Что такое?

— Мне предложили вступить в только что образованный комитет по защите граждан.

— А что это? Надеюсь, не политическая организация?

— Комитет выделился из Общества Христофора Колумба,— объяснила она.— Состоит из граждан итальянского происхождения, проживающих в этом городе.

— И от чего же вы защищаетесь?

— От террора и коррупции. Мы должны доказать, что итальянское меньшинство — не менее порядочные люди, чем все остальные.

— А нужно это?

— Да, нужно. Мы навели справки через одно агентство и выяснили, что итальянцы, составляющие около десяти процентов населения, владеют более чем половиной предприятий в городе.

— Они их заработали, — сказал Марк.

Перемена темы напомнила ему про Дона Винченте. Он посмотрел на часы. Меньше чем через час ему предстоит доложить о проделанном.

— Не все, — возразила она. — Некоторые просто вышвырнули вон законных владельцев и сели на их место.

— В далеком прошлом, возможно, — согласился он, — но времена изменились.

— Мы объявляем войну бурлескам и игорным заведениям на Дуайт-стрит. Нас поддерживает Макклейрен из «Экземинера». Он начинает в своей газете кампанию одновременно с нами.

— Поищите кого-нибудь другого,— посоветовал Марк.— Макклейрен — большой сумасброд. Толку от него мало. Не думай, я желаю вам добра, но Макклейрен — совсем не то, что нужно.

— Он человек честный, что бы про него ни говорили,— упорствовала Тереза.— Комитет уже встречался с ним, и в следующий понедельник он начнет серию статей-очерков о Винсенте Стивенсе, так называемом «благодетеле» нашего города.

Марку становилось все более и более тревожно. Хорошо бы надолго укрыться за толстыми стенами, где его никто не будет беспокоить, звонить по телефону, и чтобы вокруг были только друзья из прошлого.

— По-моему, ты делаешь ошибку, — заметил он.

— Почему?

— Потому что эта статья будет явно против Дона Винченте, а он, между прочим, подписывает чек с моим жалованьем.

— И, значит, способен только на добро?

— Когда мы приехали сюда, не зная здесь ни души, о нас позаботился он. У меня не было никакой специальности. Без Дона Винченте меня бы и в официанты не взяли. Если мне придется водить такси, Мартина в колледж мы послать не сумеем.

— Ты отрицаешь, что он нажил свои деньги торговлей спиртным во времена сухого закона? — спросила Тереза.

— Ничего я не отрицаю, — ответил Марк. — Он был тогда совсем мальчишкой без всякого будущего, а ему тоже хотелось жить, вот он и стоял за себя как умел. Но те дни давно прошли. Надеюсь, твой друг Макклейрен не забудет упомянуть, что Дон Винченте пожертвовал четверть миллиона долларов на строительство нового крыла для больницы.

— Неужели ты не понимаешь, что все это делается напоказ? — спросила она.— Он крадет десять миллионов, а потом возвращает четверть миллиона, чтобы заткнуть людям рот. В этом городе все сверху донизу подкуплены, и это дело его рук.

— Этот город открыт для всех, потому что так хотят его жители. Мэр, который был до Грабчека, попытался было кое-кого выдворить — от него живо избавились. Если тебе не нравится, что тут происходит, вини не Дона Винченте, а тех, кто посадил в мэры Грабчека. Ведь горожане выбрали Грабчека огромным большинством голосов.

— Стивенс платит и Грабчеку, и этому капитану полиции, как там его фамилия.

— Они берут деньги у всех.

— Прошлой осенью, когда этот подонок, сын Стивенса, задавил насмерть человека, Стивенс договорился с полицией и его отпустили. Как это называется?

— Какой нормальный отец не сделает все возможное, чтобы помочь сыну?

— По-моему, нормальный отец не должен так поступать, — возразила Тереза.— Во всяком случае «Экземинер» собирается потребовать пересмотра дела, и, держу пари, при такой гласности он этого добьется.

Марк взглянул на нее с удивлением. В этом настроении она была готова бороться даже с ним. Она оказалась по другую сторону баррикад. Не надо было приезжать в Америку, подумал он. Выжили бы и дома. На худой конец могли бы перебраться в Рим.

— Сделай мне одолжение,— сказал он.— Не занимайся этими делами.

— Странное у тебя настроение.

— Может быть.

— В чем дело?

Он не знал, как выразить по-английски — да и по-итальянски тоже — ощущение обреченности, еле уловимое предчувствие смерти.

— Sono seccato. Мне все осточертело. — Выражение это могло означать все, что хотел услышать собеседник. А поскольку он сам не понимал собственной тревоги, то не мог объяснить свои чувства Терезе. Он решил переменить тему.— Я получил письмо от Паоло. У него неприятности. Кто-то сделал так, что новая дорога на Палермо идет мимо самой деревни, и на него нажимают, чтобы он продал гараж. Астма его усилилась. Похоже, что он потеряет свое агентство.

В такие минуты Марк любил думать и говорить про жизнь в Италии, где ему больше не было места.

— На земле моего двоюродного брата Росси нашли медь. Надо было бы съездить поздравить его... В Кальтаниссетте опять выборы. Кандидат — наш родственник по материнской линии. Зять моей троюродной сестры... А про Мессину сняли фильм.

— Про бандита?

— Ну да. Вот все посмеялись... В Сан-Стефано строится отель для туристов. В такой дыре, представляешь?

— Паоло не пишет про твою сестру? — спросила Тереза.

— Ее муж уехал на заработки в Германию. Она осталась одна с тремя малышами.

— Он не должен был этого делать.

— А разве мог он иначе? Фабрика закрылась, и половина города сидит на пособии. Как бы нужно съездить туда. В такое время я должен быть рядом с Паоло, хоть он меня и не зовет. Наши родственники — люди терпеливые и не хотят беспокоить нас своими бедами. А я чувствую, что все там разваливается.

— Они хоть тебе пишут,— заметила Тереза.— А я и писем-то не получаю. Уже полгода прошло с тех пор, как мама написала в последний раз. Она поссорилась с бакалейщиком, который обычно писал под ее диктовку. Может, она больна, а я ничего не знаю.

— Мы должны вернуться, — подытожил он, чувствуя, как при этих словах у него сдавило горло.

— Ты хочешь сказать — домой, в Сицилию?

Неужели на ее лице написана тревога?

— Именно. Мы оставили там родных, которые не могут без нас жить. Мы нужны им, а они нам. Здесь мы одиноки. — Он лихорадочно подыскивал подходящий предлог, чтобы прикрыть свою сентиментальность и неосязаемый, необъяснимый страх.— В городе объявилась какая-то шайка подростков. Хотим мы этого или не хотим, а придется Мартина отдать в закрытую школу. Иначе его будут бить только потому, что он католик.

— Решай сам, — сказала Тереза. — Но если мы уезжаем, давай не тянуть. Едем сразу.

— Многие уезжают, — продолжал размышлять он. — Половина, по крайней мере. Живут здесь лет пять-шесть, собирают кое-какие деньги и возвращаются.

— Холостяки — да, но не семьи. Не так-то легко снять с места целую семью. Еще год, и нам будет не под силу подняться.

Она хочет остаться, понял он. Она стала американкой.

Даже в утреннем свете дом и парк Дона Винченте казались зловещими и мрачными. У его жены Донны Карлотты, ставшей жертвой как патологической скупости, так и религиозной мании, не было постоянной прислуги, чтобы смотреть за домом и поместьем. Занавески сняли для стирки, да так и не повесили обратно, окна помутнели от грязи, а аллея была завалена сломанными ветками. Один из священников, которых Донна Карлотта всегда держала при себе, молча впустил Марка и исчез где-то в глубине дома. Дон Винченте ждал его в тесной от викторианской мебели комнате, еще более убогой при свете дня. Он был в белом свитере — подарке жены, принятом без особой радости и не только не соответствовавшем его годам, а делавшем его даже старше.

Марк показал ему вырезку из «Гавана пост». Дон Винченте внимательно ее изучил, кивая головой и тихонько щелкая вставными челюстями.

— Я читал об этом в здешней газете,— сказал он.— И некролог они поместили вполне пристойный. Вдове приятно читать — уважительный и в то же время сдержанный. Не распустили слюни, как обычно. Значит, тех, кто это сделал, поймали, а?

— Полиция в Гаване действует быстро,— ответил Марк.— Их будет судить военный трибунал. Они обвиняются в заговоре и убийстве.

— Сегодня утром я слышал по радио, что под полом в доме одного из обвиняемых нашли орудие убийства. Это не твоих рук дело, а?

Марк покачал головой.

— Наверное, Сальваторе,— сказал Дон Винченте.— Узнаю его почерк.

Он подвигал пальцами, выражая свое удовлетворение, и тотчас заговорил другим тоном, давая понять, что с этим вопросом покончено. Марк и не ждал никаких изъявлений благодарности. Люди из Общества чести друг друга не благодарили. Подобно арабам, сицилийцы, воспитанные в традициях старой школы, возносили благодарность не людям, а богу.

— Ты слышал про мои неприятности с Макклейреном? — спросил Дон Винченте. Он чуть передернулся, будто его укусила блоха.

— Мне рассказала Тереза,— ответил Марк.

— Он хочет написать про меня в своей газете. Я не возражаю, пусть пишет что угодно.

— Тереза говорит, что он собирается требовать пересмотра дела о прошлогодней аварии Виктора,— сообщил Марк, чувствуя, что в схватке с Макклейреном именно это обстоятельство больше всего волнует старика.

— Я как раз собирался сказать тебе об этом,— подхватил Дон Винченте.— Пусть болтает обо мне что хочет, лишь бы не трогал мальчика. Эту аварию подстроил один негодяй, с которым я поссорился несколько лет назад, и мне обидно, если из-за меня пострадает Виктор. Вик — неплохой мальчик, надо только найти с ним общий язык, и я не хочу, чтобы ему зря трепали нервы. Марк, сделай одолжение, сходи к Макклейрену и объясни ему все как есть. Желательно, чтобы это сделал именно ты, потому что ты дипломат и умеешь без зуботычин переубедить человека.— Он наклонился и легонько обнял Марка за плечи.

— Вы хотите, чтобы я сейчас же пошел к нему, Дон Винченте?

— Видишь ли, если этот очерк, или как он там называется, должен появиться на следующей неделе, то времени терять не стоит.

— Я поговорю с ним сегодня же,— пообещал Марк.

— Не надо слишком на него нажимать. Можно ведь решить все по-дружески. Так всегда лучше. Пусть себе пишет что угодно, лишь бы не трогал Виктора.

— В таком плане я с ним и побеседую.

Марк поехал в «Экземинер», который занимал шлакоблочное здание между евангелической молельней из белых досок и винной лавкой в некогда процветавшей, а потом захиревшей части города. Макклейрен был человек религиозный, посещал молельню и в сопровождении хора учениц Фримонтской средней школы выступал по телевидению с призывами возвратиться к вере в адов огонь и вечные муки. В своем намерении очистить атмосферу в городе он руководствовался двумя соображениями: он видел в этой кампании средство не только для ликвидации общественных язв, но и для увеличения тиража собственной газеты. Высокий и хрупкий на вид человек с бесцветными глазами, он держался неестественно прямо и, хотя еще был не стар, говорил скрипучим старческим голосом. Неуверенно, словно балансируя на протезах, он сделал шаг вперед и протянул Марку руку.

— Вы меня не знаете,— сказал Марк.— Моя фамилия Ричардс. Я из компании «Винсент Стивенс», и если вы можете уделить мне минутку, хотел бы поговорить с вами об очерке про мистера Стивенса, который вы намерены опубликовать на будущей неделе.

— Садитесь, мистер Ричардс,— сказал Макклейрен.— А я-то думал, что вы пришли сообщить о решении забрать свою рекламу.

Марк заметил, что крупные, красноватые, с распухшими суставами руки Макклейрена чуть дрожат. Макклейрен спрятал их под стол.

— Насколько мне известно, об этом нет и речи. Подобных вещей мистер Стивенс не допускает. Я пришел по другому поводу: мистер Стивенс мог бы помочь вам, изложив факты своей биографии в правильном освещении. Он был бы рад внести, так сказать, свою лепту, если она вам пригодится.

— Видите ли, мистер Ричардс, я не совсем уверен в разумности такого предложения.— В водянистых глазах Макклейрена появилась и тотчас погасла искорка вызова.— «Экземинер» печатает свои материалы без страха и упрека. Мы обязаны так

поступать. И неужели вы предполагаете, что меня, например, можно заставить что-то опустить?

От сухого, церковного запаха у Марка защекотало в носу, и он вдруг чихнул.

— Могу заверить вас — такого же мнения, несомненно, придерживается и мистер Стивенс,— что у него и в мыслях нет ничего подобного. Просто он считает, что многие факты его отрочества — и в Сицилии и здесь — не могут быть вам известны. Он готов посидеть с одним из ваших репортеров, а может, и лично с вами, если вы пожелаете, и рассказать о той стороне его жизни, которая вас больше интересует. Когда он еще совсем мальчиком приехал сюда, он волею судеб очутился среди весьма беззастенчивых людей, чьи имена с тех пор стали общеизвестны.

— Насколько я знаю, да,— согласился Макклейрен.— Таких, как Маранцано и Немец-Шульц. Позор нашей страны между двумя войнами.

— Как вам известно, мистеру Стивенсу удалось порвать с этим окружением. Однако, хотя он, к счастью, не имел никакого отношения к преступлениям того времени, он присутствовал при разработке нескольких крупномасштабных операций, и мне думается, что отдельные факты его биографии, впервые изложенные в вашей газете, могут быть крайне интересны для ваших читателей.

— Готов согласиться с вами, мистер Ричардс,— сказал Макклейрен.—Если бы у нас появилась возможность поместить такой материал, он несомненно вызвал бы большой интерес.— Его крупное, не слишком решительное лицо напряглось: как бы не прогадать.— Такой материал обычно нелегко раздобыть.

— И это будут не слухи, записанные с чужих слов, а чистая правда. У мистера Стивенса сохранились удивительные письма от многих известных людей, и с его согласия вы могли бы их использовать. Мало разбираясь в журналистике, я тем не менее осмелюсь предсказать, что очерк подобного рода будет перепечатан всеми газетами в стране.

— Вполне возможно,— согласился Макклейрен,— при условии, что материал будет свежим и достоверным.— Его глаза словно бы придвинулись к носу.— Какую же компенсацию желает получить мистер Стивенс за исключительное право на столь уникальный материал? Насколько я понимаю, он рассчитывает на какую-то уступку.

— По правде говоря, да,— сказал Марк. — На очень незначительную. Ему хотелось бы, чтобы в этой статье не было никаких упоминаний о его сыне Викторе.

— Что ж, в создавшихся условиях я мог бы пойти на это,— сказал Макклейрен.— Мне думается, можно считать, что мы пришли к соглашению.

— Мистер Стивенс очень привязан к сыну. Одно слово похвалы в адрес юноши, и вы — друг Стивенса на всю жизнь. И наоборот.

10

Еще подростком Виктор всерьез занялся изучением теории и освоением техники насилия. Первое нападение он совершил, еще будучи учеником Фримонтской средней школы. Объектом нападения обычно становились служанки, а стратегия основывалась на удобном расположении комнат в доме. Служанке, как правило, отводили мансарду во флигеле, отделенном от остальных помещений темными лестницами и мрачными коридорами, а спальня Виктора находилась на пути туда. Лет в пятнадцать Виктор, выждав случай, подсыпал девушке в еду сильнодействующее снотворное и получил возможность не торопясь надругаться над ее бесчувственным телом. Позже, с ростом уверенности и потенции, он потерял вкус к полной пассивности и придумал новый способ вынуждать девушек к капитуляции. В балках мансарды он укрепил маленький динамик, из которого вдруг раздавались страшные звуки, записанные на спрятанном в шкафу магнитофоне. Затем, когда, по его мнению, процесс устрашения достигал цели, он стучался в дверь и предлагал свою защиту. Служанки обычно были из бедных семей латиноамериканских эмигрантов, а иногда и сироты, которых католическое общество оказания помощи поставляло в семьи, чья добропорядочность не вызывала сомнений.

Нынешней служанке, Эльвире, заменившей прежнюю, которая месяц назад вдруг ушла в слезах, но не проронив ни слова, было всего пятнадцать лет. Через неделю после своего появления в доме Эльвира проснулась от раздававшихся в комнате странных

звуков. Она натянула себе на голову одеяло и несколько минут лежала неподвижно, умирая от страха. Потом, когда воцарилась тишина, она встала, чтобы включить крохотную лампу, которой снабдила ее Донна Карлотта. Но Виктор заблаговременно вывернул пробки, поэтому в комнате по-прежнему было темно. Вдруг что-то невидимое забулькало, заухало у нее над головой, и Эльвира, бросившись к двери, отодвинула задвижку и выбежала в коридор, где ее поджидал Виктор.

К несчастью, на этот раз Виктор был порядком пьян, и, пытаясь преодолеть сопротивление Эльвиры, он забыл о страхе перед возможными последствиями и окончательно обезумел. Когда он, наконец, отпустил Эльвиру, девушка, совершенно обнаженная и окровавленная, в ужасе бросилась вниз по лестнице. На ее крик прибежал Дон Винченте; предпочитая не вызывать карету «скорой помощи», он завернул девушку в одеяло и сам отвез ее в больницу, где принялся совать налево и направо сотенные купюры.

На следующий день царившее в доме безмолвие было нарушено появлением начальника полиции Генри Уайсмена, который, не говоря ни слова, подал Дону Винченте пачку фотографий. Уайсмен пятнадцать лет пробыл в патрульной службе, как вдруг новый мэр Джордж Грабчек назначил его начальником полиции.

Дон Винченте уставился на скручивавшиеся в трубку глянцевитые снимки: крупным планом, неправдоподобно отчетливо были сфотографированы разрывы тканей, царапины от ногтей на животе и ягодицах, полукружья укусов на груди. Рот его наполнился слюной, и он не сразу смог заговорить.

— Мэр сумеет с этим справиться? — наконец спросил он.

Уайсмен покачал головой.

— Не уверен. В больнице один доктор прямо на стенку лезет. Если мы не примем мер, он вызовет полицию штата.

— Каких мер?

Уайсмен пожал плечами и отвел взгляд.

— Кто делал эти фотографии?

— Наш фотограф. Он не знает, кто в этом замешан.

— Негативы можно достать?

— Конечно, но если появится фотограф из полиции штата, то снимки будут такие же.

— Разве нет договоренности, что полиция штата не вмешивается в дела нашего города?

— Только в случаях мелких нарушений закона. А это — крупное дело, мистер Стивенс. В некоторых штатах за такое можно попасть на электрический стул. Любой судья, увидев эти фото, посадит вашего сына на десять лет.

— Послушай, Уайсмен, кто тебе сказал, что это сделал мой сын? Мой сын этого не делал. Тут какая-то фальсификация.— Гнев его рос. Дон Винченте почти верил собственным словам. Да, Виктор изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, но пусть еще докажут, что он нанес ей все эти раны, которые зафиксированы на снимках. Чего они добиваются? Что могло помешать им, например, взять из архивов полиции любой набор фотографий по делу об изнасиловании и использовать нынешние неприятности для шантажа? Дону Винченте было известно про Уайсмена все, в частности, то, что он еженедельно берет по пять долларов с каждой проститутки в Солсбери. Он был из тех, кого Дон Винченте не слишком жаловал, хотя и пользовался их услугами.

— Возьми свои фотографии и убирайся,— сказал он.— Если мой сын попадет на скамью подсудимых и такие вот фотографии будут предъявлены кому-нибудь, на другой же день ты вернешься туда, откуда начинал, в патруль.

Дон Винченте позвонил мэру Грабчеку.

— Джордж, у меня был этот прохвост Уайсмен с пачкой фотографий. Тебе известно, что произошло?

— Слышал,— ответил Грабчек.— Выглядит это не очень приятно. Насчет вашего сына и несовершеннолетней девчонки.

— У Виктора получилась неприятность с девушкой, которая работала у нас в доме. Она из Пуэрто-Рико. Ты ведь знаешь, как бывает у молодежи. Говорят, они теперь

все наркоманы. Если она или ее семья хотят жаловаться, я готов их выслушать. Может, ты с ними поговоришь, Джордж? Я бы хотел предоставить это тебе. Ну, а Уайсмен — знаешь, что-то он мне не нравится. Может, вернуться ему в патруль, а? Хорошо бы ты поскорее сходил к ее родным, Джордж, и уладил это дело так, как сочтешь разумным. А потом дай мне знать, чем все кончилось.

— Обязательно, Винсент. Я позвоню тебе, как только что-нибудь выясню.

— И скажи Уайсмену, что, если я еще раз услышу про эти фотографии, я лично всыплю ему по первое число.

— Обязательно,— повторил Грабчек. И, словно вспомнив, спросил: — А где Виктор сейчас?

— Поехал кататься на машине,— ответил Дон Винченте.— Он ужасно разволновался после всей этой истории. Я велел ему поехать покататься, съездить куда-нибудь подальше и успокоиться.

— Лучше бы ему несколько дней не показываться в городе,— посоветовал Грабчек.— Земляки девочки очень расстроены. У нее, наверное, есть братья, а некоторые из этих пуэрториканцев отличаются горячим нравом.

Грабчек пребывал в состоянии крайней нерешительности. Слухи и собственное чутье подсказывали ему, что Дон Винченте как сила доживает последние дни Говорили, что он торопится распродать свои владения в Солсбери и перевести капитал за границу а люди прикрывавшие подлинных хозяев заведений на Дуайт-стрит, в частной беседе признавались, что больше не получают указаний от Дона. С другой стороны, никак не удавалось выяснить, в какой мере Дон Винченте еще держит в руках механизм выборов, а Грабчек опасался, что если в нынешней ситуации он не поможет самому выдающемуся гражданину города, то вряд ли у него будут хорошие шансы на переизбрание.

Семья Казальсов жила на верхнем этаже многоквартирного дома на Сорок третьей улице Муж с женой и двое детей занимали одну комнату с двумя матрасами на полу, тремя стульями, комодом, плитой и кучей поломанных игрушек. Когда Грабчек начал объяснять причину своего визита Казальс поспешно выставил всех домочадцев за дверь и, придвинув драное кресло, предложил мэру сесть. К удивлению Грабчека, Казальс оказался еще совсем молодым человеком с гладким лицом, умными глазами и огромным лбом, над которым торчали пучки преждевременно поседевших волос.

— Я буду говорить с вами не как мужчина с мужчиной,— начал Грабчек,— а как отец с отцом У меня самого пятеро детей.— Он засмеялся глубоким, грудным смехом, усовершенствованным в центре постановки голоса.— И шестой на подходе.

Казальс слушал с мрачным, напряженным вниманием не произнося ни слова Он часто подносил ко рту сложенную лодочкой руку, словно ожидая приступа кашля,— здоровье его явно оставляло желать лучшего.

— Мое появление здесь как мэра,— продолжал Грабчек,— свидетельствует об озабоченности граждан нашего города случившимся, не говоря уже о том, в каком ужасе и горе находятся люди, имеющие непосредственное отношение к этой истории.

Честный взгляд Казальса следил за Грабчеком поверх костяшек руки, которую он вновь поднес к губам.

— Простите, я не расслышал вашего имени,— опустив руку, тихо сказал он.

Господи боже, спросил себя Грабчек, неужели он не понимает, о чем, черт побери, я говорю?

— Моя фамилия Грабчек. Я Джордж Грабчек, мэр этого города,— сказал он.— Зовите меня просто Джордж.

— Роберто Казальс,— представился пуэрториканец. Он вскочил, поклонился и снова сел.

— Прежде всего ты должен понять, Роберто, что я ни в коем случае не собираюсь на тебя давить,— сказал Грабчек.— Ты, конечно, вправе раздуть из случившегося целую историю, отрицать не приходится. С другой стороны, зачем это делать? От тебя многое зависит, а ты, я уверен, такой человек, который подумает дважды, а то и трижды, прежде чем решить, как ему действовать, когда его действия могут иметь не слишком-то приятные последствия. Я прав?

Казальс медленно кивнул и снова поднес руку ко рту.

— В первую очередь,— продолжал Грабчек,— следует принять во внимание интересы твоей девочки. Мы должны забыть наши личные чувства и думать только о ней. Как, ты говоришь, ее зовут?

— Эльвира.

— Эльвира! Какое красивое имя! У меня у самого три дочери. Так вот, если дело дойдет до суда и твоя дочь будет вынуждена давать показания — а этого не избежишь,— нужно прежде всего подумать, как психологически это может отразиться на ней Сомневаться не приходится, Роберго, такой суд — тяжкое испытание для юного существа.

— Мне не хотелось бы, чтобы Эльвира еще и дальше страдала,— отозвался Казальс.

— Вот именно. Какой отец, если он достоин быть отцом, этого захочет? Позволь мне объяснить тебе, что ее ждет в суде Ей придется сесть в свидетельское кресло и рассказывать во всех подробностях, а то и повторять несколько раз перед толпой чужих людей, журналистов и просто любопытных которые придут туда, потому что любят всякую грязь,— рассказывать, что с ней произошло.

— Ей придется это делать?

— Боюсь, что да. И ее подвергнут перекрестному допросу Присутствовал ты когда-нибудь при перекрестном допросе? Это может травмировать человека А некоторые адвокаты применяют и тактику запугивания, пытаясь взволновать свидетеля, заставить противоречить самому себе и тем самым выставить его лгуном. Представь себе девочку из приличной семьи, которую подвергают подобной пытке — публичному обсуждению всех деталей того, что якобы произошло.

— «Якобы», мистер Грабчек?

— Это — лишь юридический термин, Роберто. Любое преступление остается под вопросом, пока оно не доказано. Юридическая тонкость. А теперь давай посмотрим на дело с другой точки зрения. Если даже Эльвира решится на столь тяжкое испытание, это все равно может ни к чему не привести. Три из четырех дел об изнасиловании суд даже не принимает к рассмотрению А причина, как объяснили мне мои друзья-адвокаты, состоит в юридической презумпции, заключающейся в том, что любая сильная и здоровая молодая женщина в состоянии защитить свою честь от посягательств мужчины, если, конечно, ему никто не помогает. Правда, если ее ударили по голове или придушили, тогда другое дело. В остальных же случаях всегда есть доля сомнения, и присяжные не склонны признавать подсудимого виновным.

Лицо Казальса вдруг постарело, рот искривился. Грабчек знал, что пуэрториканцы легко льют слезы, а слез он боялся. За косо повешенной занавеской в доме напротив он заметил движение. В каждом из трех окон, которые были видны, появилась черная, словно отлакированная, голова.

— И что́ же, по-вашему, мне следует делать, мистер Грабчек? — спросил Казальс.

— Что тебе следует делать, Роберто? Ничего сложного, могу тебя уверить. Как я понимаю, мы оба хотим избавить людей от ненужных страданий. В каком-то смысле этого молодого человека можно не только осудить, но и пожалеть, ибо до конца жизни его будут терзать страшные угрызения совести. Но меня больше заботят его родители. Его отец и мать — самые достойные люди, каких я знаю Их не просто уважают в нашем городе, их искренне любят. Попробуй поставить себя на место мистера Стивенса. Скандал такого рода убьет его. Я всегда говорю, что рядом с виновным страдает и невинный. Вы должны встретиться. Они чудесные люди, и я случайно знаю — но это строго между нами,— что мистер Стивенс, отец юноши, дорого бы дал, чтобы загладить вину сына.

Соображает ли этот малый, о чем идет речь? Грабчек опасался напрасно: Казальс явно не кипел злобой. Или он просто затаился и высчитывает, сколько с них содрать? Тоже вряд ли. Грабчек пришел к выводу, что Казальс просто глуп, о чем приходится лишь сожалеть: ведь по глупости он того и гляди упустит свою выгоду На его лице, застывшем в смирении, жили только глаза. Ну и дом, подумал Грабчек Он и представить себе не мог, что до сих пор существуют такие жилища. Вязкий клубок музыки, рвущейся из проигрывателей и радиоприемников, смешиваясь с отдаленными взвиза-

ми детей, плыл в стоячем воздухе, а в квартирах, разделенных тонкими перегородками, что-то булькало и бурчало, словно в пустом желудке.

— Слишком большие у нас города, вот что,— продолжал Грабчек. На эту мысль его навела убогость окружающей обстановки.— Нужно как-то помочь вам. Ваши дети имеют право, как и все другие дети, спокойно играть на зеленых лужайках, среди цветов и деревьев. Послушай, Роберто, не будем ходить вокруг да около. Мистер Стивенс готов позаботиться о вас. Ты по болезни потерял работу, он завтра же найдет тебе другую. И отыщет вам дом в таком месте, где воздух, как в лесу. Что ты на это скажешь? — Он сделал паузу и, сменив чересчур бодрый тон на более подходящий к случаю, умеренно-торжественный, продолжал: — И мы не должны забывать об Эльвире. Мистер Стивенс готов положить на банковский счет... ну, скажем, несколько тысяч долларов, чтобы обеспечить ее будущее, чтобы у девочки было приданое.

Дверь в квартиру чуть приоткрылась, и Грабчек увидел миссис Казальс. Взгляд у нее был робкий, как у испуганного зверька, а лицо, испачканное чем-то, было лицом человека, хорошо знакомого с бедностью. Не верилось, что у нее уже взрослая дочь.

— Прошу вас, мадам, войдите и примите участие в нашей беседе,— предложил ей Грабчек.— Вам известно, я уверен, зачем я здесь. Мы с Роберто, как люди разумные, пытаемся сообща уладить эту неприятную историю и были бы крайне признательны вам за любую помощь, которую вы в состоянии оказать нам как мать Эльвиры.

Миссис Казальс вошла, еле передвигая ноги, словно с трудом избавилась от неких пут, привязывавших ее к лестничной площадке. Она закрыла дверь и стала возле нее, готовая бежать в любую минуту.

— Я пришел по поручению мистера Стивенса, отца юноши,— объяснил Грабчек.— Понимая, какие страдания выпали на долю вашей дочери, он желал бы... э-э... компенсировать...

Миссис Казальс, не поднимая глаз, прошептала что-то по-испански своему мужу.

— Что она сказала? — спросил Грабчек.

— Она хочет знать, согласен ли сын мистера Стивенса жениться на Эльвире,— перевел Казальс.

По его лицу Грабчек видел, что он понимает, насколько это нереально.

— Сын мистера Стивенса, боюсь, еще слишком молод, чтобы принять на себя ту ответственность, которая ложится на человека, связанного супружескими узами,— сказал он.— Но мистер Стивенс готов, как я уже говорил, выплатить вам весьма значительную сумму кроме того, устроить Роберто на работу и, возможно, даже подыскать для всей семьи более привлекательное жилище.

— И что же я должен за это сделать, мистер Грабчек? — спросил Казальс.

Он подошел к жене, взял ее за руку, отворил дверь, ласково вытолкнул ее из комнаты и снова закрыл дверь.

— Почти ничего, Роберто. Все проще простого. За этим делом стоит какой-то чертов доктор. Не понимаю, зачем ему это нужно. Хорошо бы, если бы ты посоветовал ему не совать носа в чужие дела И кроме того, пускай Эльвира заберет свое заявление из полиции. Вот и все. Ничего больше не требуется.— И жестом фокусника он раскинул руки и улыбнулся.

— Извините, мистер Грабчек, я изо всех сил стараюсь вас понять, но как это — «заберет заявление»?

— Говоря попросту, Роберто,— как можно мягче объяснил Грабчек,— ей нужно сказать, что она сама на все согласилась. Никаких проблем при этом не возникнет: полиция привыкла к тому, что люди меняют свои показания. Сначала они, мол, просто возились, а потом она не сказала «нет», потому что по своей невинности, если угодно, не понимала, в чем дело. Или пусть она скажет, что заявила в полицию, потому что не знала, как к этому отнесется отец. Предоставляю выбор тебе. Может, ты придумаешь что-нибудь и получше.

Когда Казальс встал и сделал два шага к нему, какой-то инстинкт заставил Грабчека вскочить. Пелена красного света застлала ему глаза, а в голове словно захлопнулась автомобильная дверца. Но звук этот тотчас пропал, как только мягкие руки прикрыли ему уши, наполняя их звенящей пустотой. Он рухнул в кресло с такой силой, что тело его подпрыгнуло. Все предметы в комнате, в том числе и лицо Казальса, смо-

тревшего немигающим, испытующим взглядом, безостановочно кружились у него перед глазами. А из дрожащих губ вместе со слюной вылетел зуб. Все мысли куда-то исчезли — осталось одно изумление.

— За что? — спрашивал он.— За что?

Неделю спустя молодого доктора, который первым осматривал Эльвиру, пригласили в кабинет главного врача, и тот незамедлительно перешел к делу:

— Джон, мне известно твое отношение к истории с этой Казальс, но, по-моему, не стоит поднимать такой шум. Во-первых, тебя могут обвинить в том, что ты ищешь дешевой популярности. Кроме того — я буду с тобой совершенно откровенен,— ты можешь нанести ущерб нашей больнице.

Главный врач подождал ответа, но молодой гинеколог молчал. Главному хотелось побыстрее закончить разговор, но он не знал, как это сделать.

— Стивенс — самый щедрый патрон, какого имела и, по-видимому, будет иметь наша больница,— продолжал он с подчеркнутой твердостью.— Нам необходимо еще в этом году переоборудовать рентгеновский кабинет, и я очень надеюсь, что смогу снова обратиться к нему.

— Понятно, сэр.

— Кроме того, у меня есть основания предполагать, что полиция тоже будет рада закрыть это дело. Девочка оказалась весьма непоследовательной в своих показаниях, и, как мне сказали, в них концы с концами не очень сходятся. Мне думается, если к тебе снова обратятся, пусть все останется как есть, но если не обратятся, спусти эту историю на тормозах и, пожалуйста, держись от прессы подальше. Такие дела лучше всего улаживаются без участия суда, а если ты помешаешь спокойно прийти к соглашению, то окажешь плохую услугу всем заинтересованным лицам.

Молодой гинеколог был вынужден уступить. Конечно, его бы не уволили с работы, но случай этот вряд ли пошел бы на пользу его карьере. Медики — каста замкнутая и консервативная, и молодые люди с колючим характером и независимыми взглядами не вызывают у них симпатии.

С полицией штата все утряслось без особых осложнений. Капитан Уилбер Харт, которого все считали молодым человеком с большим будущим, придя домой в один прекрасный день, увидел, что его жена разворачивает посылку. В посылке оказалась норковая шуба. Харт превосходно знал, от кого она, но фамилия отправителя указана не была, и это обстоятельство лишило его возможности, вернув шубу, продемонстрировать свою прославленную неподкупность. Упрямое семейство Казальсов сохранило свою гордость, но осталось таким же бедным, ибо после того как «Экземинер» сообщил, что полиция закрыла дело против Виктора Стивенса, все попытки расположить их в пользу молодого Стивенса были прекращены.

Сразу же вслед за этим Виктор получил первое из нескольких писем с угрозами. Письмо было написано неумело и неграмотно и сопровождалось рисунками, словно сделанными ребенком: два человечка с палочками вместо рук и ног избивают и колют ножом третьего. Дон Винченте воспринял эти письма достаточно серьезно. Друзья рассказывали ему о появлении бандитских шаек из пуэрториканцев, которые по своей жестокости и дисциплинированности не уступали даже сицилийцам прошлого поколения из Общества чести. Вполне возможно, что Казальсы, решив отомстить, обратились за помощью к одной из таких банд. Перед Доном Винченте стояла нелегкая задача: удержать сына дома, пока все не успокоится.

«Экземинер», сбитый на время с пути истинного публикацией очерка о Доне Винченте, был вынужден под давлением общественного мнения, заявившего о себе резким падением тиража, вновь изменить позицию. Маятник качнулся в другую сторону, и теперь все совершаемые менее приметными гражданами злодеяния, в которых Дон Винченте был абсолютно неповинен, приписывались ему. Бессвязно вещая в воскресных проповедях про Содом и Гоморру, Макклейрен по понедельникам приступал к весьма активным действиям, гоняя своих репортеров по игорным заведениям, тотализаторам

и публичным домам Солсбери в поисках вернувшихся на стезю добродетели проституток и порвавших с прошлым шулеров, готовых присоединиться к новому крестовому походу и дать показания, изобличающие моральное разложение отцов города. Он выявлял многочисленные случаи шантажа, изо всех сил скрывая от своих читателей, что большинство этих преступлений имело место в далеком прошлом. Его ежедневные разоблачения заставляли читателей ахать и временно увеличивали тираж этак на тысячу экземпляров, ибо мало кто заметил, что события эти были по меньшей мере десятилетней давности.

Возбужденные подобными откровениями, перешли к действиям на улицах и «защитники граждан». Это были главным образом немолодые дамы, принадлежавшие к методистской или лютеранской церкви, но один отряд состоял из молодых женщин, и возглавляла его Тереза. Они выставили пикеты возле пользующихся дурной репутацией заведений, выкрикивали лозунги, разбросали тысячу двести листовок, разбили окна и облили чернилами платье дамы-благотворительницы, по ошибке приняв ее за хозяйку публичного дома, подали в муниципалитет петицию с требованием отставки мэра и затем разошлись по домам.

Время шло. Через несколько недель молодой гинеколог сумел позабыть недавние неприятности и с головой ушел в работу. Грабчек, отличавшийся расточительностью, которая приводила к тому, что он вечно испытывал финансовые трудности, волновался по поводу того, что не сможет много выручить за свою яхту, а у него к следующему сезону заказана новая, сорокафутовая. Миссис Уилбер Харт без конца примеряла свою норковую шубу но так и не осмелилась показаться в ней на людях. Макклейрен в поисках способов увеличения тиража раскапывал все новые и новые скандальные истории. Пострадавший от этой кампании Дон Винченте продал остатки своих владений в Солсбери Его фирма по торговле недвижимостью перешла в новые руки, но Марк остался в качестве управляющего, теперь, правда, обессиленной из-за отсутствия связей с муниципалитетом фирмы. Дон Винченте и Донна Карлотта не утратили веры в добродетельность их сына. А Казальсы, муж и жена, оплакивали судьбу своей дочери, которая, вернувшись из больницы, оделась во все черное и перестала выходить на улицу.

Марк вступил в полосу неудач. Он узнал, что его мать больна,— этим и объяснялось ее молчание. У нее обнаружили опухоль, а в письме от лечащего врача говорилось весьма туманно о том, сумеет ли она оправиться после предстоящей операции. Паоло коротко сообщил о потере своего агентства. Письма к сестре оставались без ответа; Марк послал телеграмму с оплаченным ответом на имя sindaco[1] Сан-Грегорио, городка в Катании, где она жила с мужем, и sindaco сообщил, что она сбежала с коммивояжером из Гурина, прихватив с собой и детей. Где она находится, разузнать не удалось. Тем временем крупная горнорудная компания обманом выманила у двоюродного брата Росси право на разработку всей найденной на его земле меди.

«Я нужен родным,— твердил себе Марк,— а я сижу здесь, отрезанный от них». Первой заповедью человека из Общества чести была преданность семье и друзьям — какой бы ценой ни пришлось платить за эту преданность. В единственном за всю жизнь интервью для печати Дон К., глава сицилийского Общества чести, заявил на весь мир: «Я живу чтобы помогать людям В этом я вижу смысл жизни».

Через месяц Марку сообщили о смерти матери. Скорбь его была тем сильнее, что недавние события заметно осложнили его отношения с Терезой.

— Неужели ты веришь, что Виктор действительно невиновен в истории с этой девочкой? — спросила как-то она. На ее лице опять появилось это новое выражение гнева и решимости.

— Все зависит от того, что ты под этим подразумеваешь. Я разговаривал в клубе с Уайсменом Она по-видимому, поощряла его, хотя, разумеется, не ожидала, что дело примет такой оборот.

---

[1] Мэра *(итал.)*.

— Виктор уже давно занимается такими вещами, и всякий раз это сходит ему с рук.

— Откуда ты знаешь?

— Все говорят.

— Мало ли что говорят. Он такой же итальянец, как и мы. Большинство жителей этого города продолжают верить всему плохому, что говорят про итальянцев.

— Достаточно взглянуть на него, сразу видно, что он психопат.

— Тебе, может, и видно, а мне нет. Я знаю Виктора довольно хорошо. Половина его бед — от того, что он поздний ребенок. Его слишком опекают, у него нет уверенности в себе. Обращайся с ним как надо и увидишь, что он будет вести себя пристойно.

— Ты, по-видимому, намерен защищать его во всех случаях жизни. Какой тогда смысл говорить об этом?

— Если я защищаю его, то лишь потому, что он того заслуживает.

— Он самый настоящий гангстер. Ты знаешь, что он связан со Спиной?

— Со Спиной?

— Да, со Спиной, знаменитым королем наркотиков, твоим приятелем с Сицилии. Тем самым, что устроил наш переезд сюда. В прошлом году Виктор Стивенс летал в Нассау на встречу с ним.

— Я об этом не слышал,— сказал Марк.— Откуда у тебя такие сведения?

— От Ханны Кобболд.

— От жены... то есть от вдовы Кобболда? — удивился Марк. Второй заповедью, которой должен был бы руководствоваться и Кобболд, предписывалось хранить тайну и молчать, особенно в присутствии женщин.— Я даже и не знал, что он был женат,— вспомнил Марк, — пока ты мне как-то не сказала.

— Он считал, что ей незачем бывать на людях,— ответила Тереза.— Между прочим, она хочет с тобой поговорить. Когда ты можешь?

— Со мной? О чем?

Только женщина, прожившая с ним десять лет, могла услышать в его ровном тоне тревогу и раздражение.

— Об Эндрю. Она хочет обратиться в частное сыскное агентство с просьбой расследовать обстоятельства его смерти и думала, может, ты подскажешь куда.

Не успела еще Тереза ответить ему, как он уже знал, что за этим последует. Маленькое бесцветное ничтожество с задворков биографии Кобболда вышло на люди в полной уверенности, что правосудие и законность вечны. Теперь она будет терпеливо, не ведая устали, действовать, готовая перенести любые разочарования и преодолеть все препятствия на пути к цели. Почему она решила спросить о сыскном агентстве именно его? Всем известно, как и где найти такое агентство. Этим она дает ему знать, что следит за ним.

— Я сыщиками не занимаюсь,— ответил он.— Пусть выкидывает деньги на ветер, если хочет, а обратиться она может, например, к Пинкертону. Скажи ей, что телефон его конторы она найдет в любом справочнике.

11

Пока не перестали приходить письма с угрозами и не прекратились таинственные телефонные звонки, Виктор не посещал своих любимых злачных мест и большую часть времени сидел дома Двенадцатого декабря был день его рождения; ему исполнилось двадцать лет. Дон Винченте подарил сыну новый вишневый «сандербёрд» вместо старой машины, которую Виктор разбил как раз накануне истории с Эльвирой, и в середине дня в сопровождении приятеля Джонни Вентуры, игравшего на гитаре в небольшом оркестре, Виктор отправился в ресторан «Дофин» на берегу озера Машапог в пятидесяти милях от города.

По дороге Виктор и Джонни дважды останавливались выпить и приехали в ресторан около трех часов дня. К этому времени ленч уже почти закончился. Вдоль одной стены ресторана шли кабинки, а напротив тянулась тридцатифутовая стойка бара. В кабинках еще сидел народ, поэтому они заняли столик в центре зала. Фирменным блюдом ресторана было мясо, поджаренное на углях; сам шеф-повар в колпаке принял

у них заказ и вернулся в конец зала к грилю, окутанному голубоватой дымкой. Напитки им подавала девица в венгерском национальном костюме. Громко играла музыка. Они выпили пива, потом мартини с водкой, и когда Виктор уже допивал второй коктейль, в зал вошли и уселись за соседним столиком четыре низкорослых смуглолицых человека.

— Это он,— сказал один из них остальным, прикрыв рот ладонью.

Виктор обратил внимание лишь на то, что эти люди как-то не вписывались в окружающую обстановку. Они были слишком низкорослы, слишком бесшумны и держались слишком тесной группой. Молодых художников и их прихлебателей, которые приезжали сюда, потому что еда стоила недорого и можно было пообедать в кредит, отличало нечто общее в одежде и манерах. Эти же люди были совсем другие. Они скорей напоминали официантов в выходной день, лишенных профессиональной уверенности и нахальства. Девица в венгерском наряде приняла у вновь прибывших заказ на напитки — за всех говорил один, обращаясь к ней с такой почтительностью, к какой она не привыкла, и с нервной улыбкой извиняясь за то, что его товарищи слишком долго выбирают Он сидел лицом к Виктору, который то отворачивался, то смотрел на него, скорее чувствуя, чем видя, что этот человек не сводит с него взгляда. И вдруг он даже улыбнулся Виктору, словно старому знакомому.

Виктор рылся в памяти, пытаясь вспомнить это лицо с аккуратными мелкими чертами, маленькими глазками и темными волосами, которые, закрывая лоб, пучками росли на расстоянии дюйма от бровей. Но так ничего и не вспомнил. Джонни завел разговор о достоинствах игры команды «Ред сокс», которую они вместе видели летом. Когда официантка шла мимо, Виктор выставил руку так, что она поневоле коснулась ее бедром. Потом, не удержавшись, снова повернул голову; человек за соседним столиком по-прежнему смотрел на него и улыбался. Он что-то сказал, но громкие голоса и рвущаяся из усилителя музыка заглушили его слова. Озадаченный Виктор придвинулся к нему поближе, ожидая, когда стихнет шум.

— Сукин сын,— сказал человек, продолжая улыбаться. Или Виктору показалось, что он это сказал.

— Чего ты? — спросил Виктор. То ли ему послышалось, то ли человек был пьян.

— Сукин сын,— повторил человек.

На этот раз ошибки быть не могло.

Виктор встал, нетвердо держась на ногах после трех стаканов пива и четырех коктейлей, лицо его горело. Сейчас ему очень бы пригодился знаменитый взгляд, который был для его отца в начале карьеры лучшей защитой, чем любой револьвер. Но во взгляде Дона Винченте была уверенность, которую он не сумел передать ни одному из своих сыновей. Виктор в подобных случаях прибегал только к угрозам.

Воцарилась тишина. Музыкальный автомат умолк, все головы повернулись к ним

— В случае если кто-нибудь не знает,— сказал человек,— рекомендую: мистер Виктор Стивенс. Тот самый, о котором вы все слышали. Любит насиловать женщин, но легко уходит от наказания.

— А сейчас, похоже, он собрался поскандалить,— подхватил второй из этой компании. Он отодвинул свой стакан и, опершись руками о стол, поднялся на ноги.

— Давай сматываться,— прошептал Джонни.

Но возле Виктора уже появились и взяли его под руки два выпускника колледжа, которые по субботам выполняли роль вышибал — в субботние вечера здесь частенько бывало чересчур весело,— а в остальное время работали на кухне.

— Вы слышали, как этот малый меня оскорбил? — спросил Виктор.

— Слышали, мистер Стивенс, а потому попросим удалиться и его вместе с его компанией Но нам представляется, в ваших же интересах вам и вашему приятелю уйти первыми.

— Пустите руки. Я должен расплатиться.

— Все, что вам было подано, администрация берет на свой счет. А теперь давайте выйдем, мистер Стивенс. Чем скорее вы и ваш приятель уберетесь отсюда, тем меньше шансов, что кто-нибудь пострадает.

Виктор и Джонни вышли, сели в «сандербёрд» и поехали по проселку в сторону шоссе. Джонни сказал, что знает более короткий путь, но в результате они очутились

на какой-то ферме, и им пришлось разворачиваться. Не успели они добраться до развилки, как их обогнал и прижал к обочине «скайларк», в котором сидели те четверо. Увидев, что они вылезают из машины, держа в руках по остроконечной кирке, Виктор распахнул дверцу, выскочил и бросился бежать обратно в сторону ресторана, а те четверо погнались за ним. До ресторана было две мили. Сначала Виктор опередил своих преследователей, но после нескольких недель, проведенных в основном перед телевизором с кружкой пива в руках, он был в плохой форме и скоро понял, что ему от них не уйти. Он продолжал бежать, потому что ничего другого не оставалось, но четыре низкорослых человека постепенно догоняли его. Справа тянулся заброшенный фруктовый сад из сучковатых, источенных червями яблонь, и он перепрыгнул через невысокую изгородь в надежде где-нибудь спрятаться. Но яблони были хилыми да и стояли далеко друг от друга.

Когда его почти настиг первый из четверых, он нырнул за дерево, потом выскочил, ничего не соображая, как окруженный собаками олень. Наконец они поймали его; он стоял спиной к дереву, с открытым ртом, чтобы легче дышать, и слюна текла у него по подбородку. Они не спешили, стараясь отдышаться, ухмыляясь и переглядываясь, и не могли решить, с чего начать.

Наступал вечер, жизнь вокруг замерла, и самый воздух, казалось, пропитался тишиной. По небу, закрывая его, словно ставнями, скользили облака. Чайки, прилетавшие с побережья к прудам возле Уэбстера, летели назад. За оградой горел красный огонек машины, но Джонни Вентура исчез. Он отправился по проселочной дороге за помощью в «Дофин» и прошел всего полпути. Тени легли в низинах, и лица окружавших Виктора пуэрториканцев пожелтели в угасавшем свете дня. Ими, казалось, овладело смущение, почти стыд. Охваченный страхом разум Виктора выискивал слова, которые могли бы смягчить сердца, извинения, за которыми можно было бы укрыться, взятки, которые помогли бы отсрочить исполнение приговора.

— Ребята, послушайте, я ведь ничего плохого не сделал,— вот и все, что ему пришло в голову.

Старший из пуэрториканцев, который все время улыбался, сейчас помрачнел и, казалось, задумался над мольбой Виктора. Хмурясь и нервно поеживаясь, он стоял, широко расставив ноги и держа обеими руками свою кирку, а остальные с тревогой оглядывались по сторонам.

— Anda — начнем,— сказал один из них. Ему не терпелось приступить к делу, хотя он испытывал неловкость и отвел взгляд в сторону.

До этой минуты они казались группой случайно встретившихся на углу людей, которые не знают, о чем говорить, и ждут, кто первым нарушит молчание.

— Хотите мою машину, а? — спросил Виктор. Голос его был хриплым от волнения, но надежды в нем не слышалось.

Застенчивый, не поднимая глаз, ответил:

— Мистер Стивенс, нам нужны вы, а не ваша вонючая машина.

— Mátalo,— сказал третий.—Por qué estamos esperando?[1]

Они спорили шепотом, словно опасаясь, что их подслушают, и размахивали своими остроконечными кирками. Речь, по-видимому, шла о том, кому начинать. «Tú primero».— «No, tú»[2]. Первый удар, нерешительный, неловкий, несильный, удар отца, который обязан наказать любимое дитя, нанес пуэрториканец, переставший улыбаться. Виктор правой рукой парировал этот удар, но в ту же секунду застенчивый размахнулся и, саданув изо всей силы, сломал в двух местах Виктору челюсть. Потом что-то, как молотком, стукнуло его по правой скуле. Он упал на колени, опираясь на поврежденную руку и стараясь не лечь на землю, потому что сквозь боль к нему пришла мысль, что если он ляжет, то уже не встанет. Если бы он помнил слова хоть одной молитвы, он стал бы молиться. Но он их не помнил и принялся взывать к собственной матери. Последним ударом ему сломали несколько ребер, обломок кости вонзился в легкое, и из него вышел воздух. После этого он уже не мог говорить, хотя губы его, залитые алой кровью из легкого, все еще пытались произнести слово «мама».

---

[1] Бей его. Чего мы ждем? *(исп.)*.
[2] «Ты первый».— «Нет, ты». *(исп.)*.

Виктор провел в больнице три месяца.

Дон Винченте поведал о своем горе Марку:

— Бедный мальчик сидит целый день дома. Половину времени он спит. Он и разговаривать-то ни с кем не хочет.

Дон Винченте не сказал прямо: «Сделай мне одолжение», но он имел это в виду, и Марк счел себя обязанным откликнуться на невысказанную просьбу.

— Зачем ему было переезжать к нам? — спросила Тереза.

— Потому что здесь легче за ним ухаживать. Во всяком случае, приглашение исходило от меня. Я знал, что этого ждут. Это самое меньшее, чем я могу помочь.

— Сколько он здесь пробудет?

— Сколько захочет.

— Для детей это плохо.

— Нет,— возразил он,— совсем неплохо. Хорошо. Пусть побольше играют с ним. Он им нравится.

— Меня бросает в дрожь от его взгляда.

— Он не может смотреть по-другому. Только через полгода у него будет закрываться поврежденный глаз.

— Когда я его вижу, я все время думаю о том, что он натворил с той девушкой,— пожаловалась Тереза.

— Ничего он ни с кем не натворил,— возразил Марк.— Дело ведь закрыли, так?

— Потому что полиция получила взятку.

— Зачем ты так говоришь? Из четырех дел об изнасиловании три закрывают по причине отсутствия достаточных улик. Их закрывают, потому что никакого изнасилования не было.

— Ты как отец, способен оставить Люси наедине с ним?

— Конечно.

— Оставим в стороне то,— сказала Тереза,— что ты делаешь одолжение человеку, который, по-твоему, когда-то тебе помог, но я просто не могу понять, почему он тебе вроде бы действительно нравится. Что тебя в нем привлекает?

— У него есть характер,— ответил Марк.

От этой типично сицилийской похвалы она окончательно вышла из себя.

— Объясни мне, что ты под этим подразумеваешь?

— Пожалуйста. Он не хнычет. Он верный друг. Он становится человеком.

— Человеком из Общества чести. Вроде тебя.

— Мне нравится быть таким.

— Человек из Общества чести уважает женщин,— сказала она.

— Он тоже уважает женщин.

Тереза махнула рукой.

— В последние дни мы никогда не бываем одни,— пожаловалась она.— Противно, когда в доме посторонний человек.

— Он уйдет, как только поправится, и ты его будешь видеть гораздо реже. А пока, прошу тебя, постарайся сделать так, чтобы он чувствовал себя как дома.

Меры предосторожности, принятые по настоянию Марка, привели Терезу в ярость. Были приглашены люди из фирмы, специализирующейся на охране домов; они установили сигнализацию, заделали решетками все выходящие во двор окна первого этажа, а дверь черного хода обили стальным листом и, кроме обычного замка приделали к ней еще и задвижку. Ночью все газоны впереди и позади дома освещались яркими лампами.

— Соседи... — принималась жаловаться Тереза.

— Пусть идут к черту,— спокойно отвечал Марк.

Он купил духовое ружье и хранил его в стенном шкафу в их спальне. Куда бы Виктор ни шел, он всегда его сопровождал. Виктор ежедневно ходил в городскую больницу, где ему разрабатывали пальцы левой руки, и в клинику, где психиатр боролся с навязчивыми страхами и пытался восстановить память.

Марк и Виктор отлично ладили. Виктор был благодарен за то, что для него делалось, а разлука с собственной семьей была ему только на пользу. Он безуспешно старался понравиться Терезе, с готовностью хватаясь за любую работу, которую она поручала ему в саду, не зная устали, играл с детьми, соорудил им неуклюжую клетку для кроликов, учил собаку разным трюкам и часами сидел, вырезая из журналов картинки с машинами и наклеивая их в альбомы.

Марк видел, что Виктор не проявляет интереса к женщинам. Более того, у него появилась мания преследования, и Марку с трудом удалось убедить его, что врач, который массировал и разрабатывал лучезапястный сустав его левой руки, чтобы восстановить хватательное движение, не переодетый убийца.

В один прекрасный день, застилая постель Виктора, Тереза нашла под подушкой пистолет. Это был полицейский пистолет тридцать восьмого калибра с коротким дулом.

— Это естественно после всего, что с ним случилось,— сказал Марк.— Конечно у него есть оружие.

— Я больше не могу этого выдержать,— заявила она. Голос ее дрожал, она была близка к истерике.— Наступает день, когда тебе придется решать: либо он, либо я.

Марк бросил на нее суровый взгляд, потом смягчился.

— На следующей неделе ему предстоит очередной осмотр в больнице. Давай с тобой договоримся так: я не намерен его выгонять, но, если доктор разрешит, я постараюсь отправить его куда нибудь на несколько недель. Захочет вернуться к нам — пусть возвращается, но ты, по крайней мере, хоть немного передохнешь.

(Окончание следует)

ЕМЕЛЬЯННИКОВА НИНА ЛЬВОВНА

Советский переводчик с английского языка. Начала печататься с 1951 г. В ее переводах опубликованы произведения Дж. Лондона, Н. Готорна, Дж. Эллиота, Вальтера Скотта, Ч. П. Сноу и других английских и американских писателей.

АДРЕС — ШУШЕНСКОЕ

«С Лениным, по ленинскому пути». Под таким девизом в селе Шушенском в сентябре 1979 года состоялась Всесоюзная конференция, посвященная предстоящему юбилею — 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

Мы попросили гостей конференции — писателей и критиков социалистических стран — рассказать о влиянии ленинских идей на творчество современного писателя, о том, как эти идеи воплощаются в книгах последних лет.

Это произведения, в которых писатели отражают основные этапные вехи героического прошлого и обращаются к насущным проблемам сегодняшнего дня, воссоздают исторические судьбы народов и образы своих современников. О трудовых подвигах своих соотечественников, о новых, порою сложных взаимоотношениях людей, о творческих и нравственных исканиях молодежи, об интернациональной дружбе повествуют книги, которые представляют участники анкеты

Гомбын Жамсранжав (МОНГОЛИЯ)

Окинуть зорким взором солнечный мир, проникнуть в него ясным, светлым разумом — это поистине прекрасно. Точно так же нет ничего лучше для писателя нашего времени, чем увидеть мир в свете ленинских идей, найти сердцевину во множестве переплетающихся друг с другом общественных явлений страстно отобразить это средствами художественного воплощения.

Наш народ под руководством Монгольской народно-революционной партии и благодаря бескорыстной помощи советского народа прошел исторический путь от феодализма к социализму, минуя капитализм Это для нас является главным результатом претворения в жизнь идей великого Ленина.

Правдивые и яркие произведения становились глазами и ушами массы читателей вдохновляли на преодоление препятствий и трудностей, призывали к движению вперед.

Идеи Ленина подобны оптическому прибору, который помогает познанию человеческих душ и помыслов подобны компасу, который указывает дальние направления

Ныне, когда на мир социализма обрушиваются с враждебными нападками идеологи капитализма, которым вторят маоисты для нас, монгольских писателей и критиков, священным, интернациональным долгом является приумножение своего вклада в развитие социалистического реализма, принципов партийности и народности. И в этом мы опираемся на ленинское учение об искусстве и ленинскую теорию отражения.

Героическая борьба нашего народа в период победы народной демократии и социалистического строительства — в центре нашей литературы. Большое место занимает здесь военно-патриотическая тематика и идеи интернационализма.

Недавно вышел роман Ц. Цэдэнжава «Песчаный холм» — о подвигах сражавшихся на Халхин-Голе бок о бок монгольских и советских воинов против японских милитаристов.

Писатель Ж. Лодой создал роман «Война». В этой многоплановой эпопее изображены самоотверженные будни скотоводов из восточных аймаков Монголии, которые во время Великой Отечественной войны делали все, чтобы помочь советскому народу одержать победу. Разгромив гитлеровский фашизм, погасив вспыхнувший на востоке новый очаг войны, Советская Армия выполнила свою историческую миссию. В это святое дело внесла вклад и Монгольская народная армия. И об этом повествует роман «Война».

Наши писатели стремятся также пока-

зать труд и борьбу своего народа в мирное время. В романе «Весенняя стужа» Л. Чойжилсурэн создал образы молодых революционеров, посвятивших жизнь делу защиты революции, укрепления народно-демократического строя, подъема политической и трудовой активности народных масс. В трех связанных друг с другом повестях «Год голубой мыши», «Сэмжудэй» и «Бабье лето» С. Эрдэнэ вывел образы пробужденных революцией женщин.

В первой книге романа «Кочевье и оседлость» Л. Тудэв показал, как среди скотоводов-аратов развертывалось движение за создание сельскохозяйственных объединений. Во второй книге им очерчены образы партийных работников и кадров молодой аратской интеллигенции, руководящих работой по укреплению и укрупнению объединений, внедрению в сельскохозяйственное производство научно-технических достижений.

С. Дашдэндэв создал эпическую поэму «Отец и сын». Сопоставляя два мировосприятия, присущие разным поколениям — отца и сына, сталкивая разные позиции, писатель запечатлел сложный процесс освоения целины с помощью новой техники, «причащение» к великому труду хлебороба.

Наши писатели создают множество очерков, рассказов, повестей, романов и пьес о совместном труде монгольских и советских рабочих, которые в одной бригаде работают над созданием новых предприятий, возводят новые заводы. фабрики, стройки.

Плодотворно работают и наши литературные критики. В семидесятых годах мною опубликованы три книги — «Заметки о собратьях по перу», «Интервью в художественном мире», «Новым путем». Эти литературно-критические и публицистические произведения затрагивают вопросы связей и взаимодействия монгольской и советской литератур, посвящены творческому сотрудничеству писателей обеих наших стран, специфике монгольской литературы 30-х годов, развитию художественных методов и мастерства писателей.

Так живут и претворяются в жизнь идеи великого Ленина. Так отражаются они в произведениях наших писателей и критиков.

Живая жизнь — источник нашего творчества. Только отыскав этот источник, писатель обретет талант и творческую силу. Примером для нас служит плодотворный опыт наших советских коллег, писателей и критиков других социалистических стран.

Анна Киш (ВЕНГРИЯ)

Ленинские идеи, по-моему, неотделимы одна от другой, и в своей совокупности они дают гениальные ориентиры, отклоняться от которых не может и не должен писатель — участник строительства социалистического общества.

В произведениях Ленина особое ударение делается на необходимости учебы, познания. В то же самое время неверно было бы думать о том, что учиться можно только по книгам. Писателям, призвание которых состоит в том. чтобы быть совестью своего общества, надо глубоко и всесторонне знать жизнь, любить и хорошо знать человека. Для художника в этом проявляется его подлинная универсальность, реализуется совпадение его принципов с практической деятельностью или же происходит их противоборство.

У нас нередко говорят, что произведения большинства венгерских писателей недостаточно оптимистичны. На самом деле это не так. Настоящее, высокохудожественное произведение всегда представляет собой попытку охватить жизнь во всей ее полноте, оно ни о чем не умалчивает, рассчитывая на читателя вполне зрелого и подготовленного для восприятия. А что же это такое, как не оптимизм?

Увы. я не литературовед, а всего лишь поэтесса, поэтому не умею четко и точно формулировать свои литературные впечатления. да и память у меня подходит к «отбору» произведений чисто эмоционально. Боюсь, что буду недостаточно объективна.

Мне глубоко запали в память герои произведения Тибора Дери «Пятая печать», которые «возводят памятник» чувству ответственности,— даже фашизм не способен умертвить в них человеческое начало. Незабываемы для меня рассказы Дюлы Хернади, на основе которых автор совместно с режиссером Миклошем Янчи сделали фильмы.

Или, к примеру, эпос Ференца Юхаса, посвященный крестьянскому вождю Дёрдю Доже и рассказывающий о событиях народной войны 1514 года, но обращенный к людям сегодняшнего дня.

Эти произведения не просто показывают те или иные исторические явления, но и анализируют сложные взаимосвязи между историей и человеческой личностью.

Казимеж Козневский (ПОЛЬША)

Конечно же, образ Ленина дорог и близок нам, полякам. Образ Ленина присутствует во многих произведениях польских писателей. поэтических и прозаических. Его мысли и идеи лежат в основе поступков и деяний героев произведений. Мне думается, что нам предстоит многому учиться у

советских писателей в изображении Ленина, его деяний, чтобы избежать декларативности и схематизма.

Существенно, полагаю, другое, а именно то, что идеи Ленина получили широкий отклик в польской литературе. Я имею в виду здесь прежде всего смелые слова Стефана Жеромского, обращенные к полякам в его замечательном романе «Канун весны»: «Будьте столь же отважны, как Ленин!», означавшие призыв к социальной революции.

Влияние идей Великой Октябрьской революции и, следовательно, влияние ленинских идей на польскую литературу межвоенного периода было весьма значительным. Левое, революционное течение в нашей литературе того периода было довольно широким. Достаточно назвать имена Леона Кручковского, Владислава Броневского, Эмиля Зегадловича, Ванды Василевской, Люциана Рудницкого, Люциана Шенвальда, Леона Пастернака, а также целой плеяды писателей младшего поколения, в том числе писателей из объединения «Квадрига» и «Пшедместе», а также такие журналы, как «Облик дня», «Левар», «Левый тор», «Сигналы» «Или — или», «Попросту», «Карта», группу виленских поэтов «Жагары» и многих других.

Таким образом, современная польская литература имеет глубокие корни и многих предшественников, стремившихся обладать этой упомянутой Жеромским «отвагой Ленина».

Важно отметить однако, что ленинские идеи оказали непосредственное влияние не только на литературу, связанную с тематикой или идеологией революционного рабочего движения. Литература — хотят ли этого отдельные писатели или открещиваются от этого — всегда является более или менее точным, правда не прямолинейным, отображением идейной жизни своего времени. А в наше время — будем точны — все наиболее существенное, что происходило и что происходит находится в связи с Октябрьской революцией. Либо как действия, направленные на осуществление идеалов социалистической революции (в ее подчас самых разнообразных проявлениях), либо как действия направленные на ликвидацию или противодействие этой революции. Из страха перед социальными преобразованиями на современном этапе капитализм прибегает к новым ухищрениям и провокациям. Все основные направления нашей эпохи — это деяния в пользу социалистической революции или против нее.

А так как литература весьма чутко отображает идейные тенденции своей эпохи, следовательно, вся передовая литература — прямо или косвенно — проникнута идеями, являющимися по существу ленинскими.

Десятки произведений польских писателей посвящены героическому прошлому нашего народа. В современной польской литературе почти каждый роман, почти каждое стихотворение — это отклик на нашу современную историю. Ту, что началась в 1918 году и продолжалась в годы сражений во второй мировой войне, ту, что обрела свою кульминацию в 1945 году, и ту, что развивалась в Польше в последующие годы. Этими проблемами пронизано все наше творчество, и поэтому неимоверно трудно назвать лишь несколько книг. Трудно — но попытаюсь.

Итак, прежде всего роман Тадеуша Голуя «Личность» — очень интересное сочетание легенды с фактами, касающимися жизни, борьбы и смерти от руки гитлеровцев одного из сынов Польши.

Следует назвать и биографический роман Янины Дзярновской об известном польском революционном писателе Бруно Ясенском — «Слово о Бруно Ясенском». Это превосходная книга.

К числу такого же рода книг я бы причислил и военную повесть Владислава Махеека «Об этой войне, о плохой войне», роман Ежи Гжимковского «Глубокие шрамы» — о трудном периоде борьбы с контрреволюцией в 1945—1948 годах. К их числу относится и первая, только что появившаяся книга многотомного цикла романов Ежи Путрамента «Избранники», в котором известный польский писатель рисует судьбы молодых коммунистов в довоенные, военные и послевоенные годы.

Только что вышел мой роман «Ночь столяра Норберта» являющийся историческим документально-художественным отчетом об одном из эпизодов борьбы польских социалистов и коммунистов а также воскрешающий события марта 1937 года, когда цензура санационного правительства запретила издание пользовавшейся широкой известностью газеты «Дзенник популярны».

Пусть эти несколько названий послужат лишь примером широты интересов современной польской литературы.

Васил Колевский (БОЛГАРИЯ)

Ленинские идеи лежат в основе мировоззрения многих прогрессивных писателей мира. Они дают возможность понять и отразить глубже жизнь — ее подлинные конфликты, тенденции ее развития, перспективы будущего. Даже писатели которым не довелось читать труды Ленина испытывают влияние его идей, потому что они давно материализованы. Октябрьская революция, советский образ жизни советская наука и культура — это и есть идеи Ленина, воплощенные в жизнь.

Задача прогрессивных критиков, политиков, идеологов—раскрыть глубже сущность ленинского наследия, показать его подлин-

ное значение в деле познания и революционного изменения мира.

В этом плане я постарался в книге «Ленин и художественная литература» по мере своих сил и возможностей раскрыть эстетические взгляды В. И. Ленина, значение его идей для развития русской, советской, мировой литературы. В книге есть и специальный раздел — «Образ Ленина и ленинские принципы в болгарской литературе». Книга уже вышла двумя изданиями на болгарском языке, вышла она и в СССР, в издательстве «Художественная литература».

За последние годы мною изданы четыре книги: «Наш лозунг» (в одном из стихотворений Н. Вапцарова есть такая строка). Подзаголовок книги — «Советская культура и развитие духовной жизни в Болгарии» — говорит о ее содержании. В ней прослеживается влияние советской культуры на духовную жизнь в Болгарии с 1917 года по сей день.

Вторая книга, «Литература социалистического реализма», посвящена методологическим вопросам литературоведения, поэтике социалистического реализма, другим его проблемам. В ней анализируются произведения видных советских и болгарских авторов.

В третьей книге, «Христо Смирненский в нашей критике», собраны высказывания критиков о творчестве выдающегося пролетарского поэта Болгарии.

В ближайшее время должна выйти моя новая книга «Поэт-кочегар» — о жизни и творчестве другого большого поэта и революционера Николы Вапцарова.

За последние годы увидело свет много произведений, посвященных героическому прошлому болгарского народа. Через два года мы будем праздновать 1300-летие со дня основания нашего государства. И этот юбилей придает особое звучание произведениям, посвященным нашей славной истории.

С большим интересом читатели встретили трилогию Слава Хр. Караславова, посвященную жизни и деятельности основателей болгарской, славянской письменности Кирилла и Мефодия. Перу этого автора принадлежит и произведение «Возвысились Асеновцы», посвященное второму периоду развития болгарского государства.

Вера Мутафчиева написала волнующее произведение о жизни Софрония Врачанского.

Хочется особо отметить мемуарную трилогию и нашей национальной героини Цолы Драгойчевой «По зову совести», в которой прослеживается борьба Болгарской коммунистической партии болгарского народа с 20-х годов по 1944 год.

В жанре документальной прозы написаны книги В. Андреева «Слышу ваши голоса» и «Не могу без вас», Д. Овадия «Левинсон», посвященные героизму болгарских партизан.

Нгуен Ван Бон (ВЬЕТНАМ)

Источник жизненной силы литературы — народ; единственно верный путь, по которому должна идти литература, — путь борьбы и созидания, это мы поняли благодаря учению Ленина. Именно ленинские идеи и помогли за небольшой и полный трудностей период создать во Вьетнаме новую революционную культуру, социалистическую по содержанию и национальную по духу.

В марте прошлого года пекинские экспансионисты развязали агрессивную войну на нашей северной границе, но они получили сокрушительный отпор и были вынуждены с позором отступить. Многие наши писатели непосредственно участвовали в героической борьбе соотечественников, приезжали на места боев после отступления китайской армии Сейчас даже те писатели которые работают над созданием произведений. посвященных годам Сопротивления против французов и американцев, социалистическим преобразованиям и строительству социализма в нашей стране, прерывают свою работу, чтобы самим принять участие в новой борьбе, в борьбе против китайских агрессоров.

Отличительная черта нашей литературы последних лет — в том, что писатели в основном создают не большие, многоплановые произведения, а пишут рассказы, очерки, стихи, пронизанные горячей ненавистью к врагу и решимостью к борьбе, гордостью за наш народ, разгромивший китайских агрессоров.

Несмотря на поражение, пекинские экспансионисты все-таки грозят «преподнести нам второй урок». Мы писатели, готовы внести свой творческий вклад, отдать все свое сердце и разум, свою кровь на борьбу с агрессорами готовы сделать все, чтобы этот — второй — урок стал болезненным ударом для них самих, если они все-таки осмелятся напасть на нас.

АДРЕС — ШУШЕНСКОЕ

Георг В. Пийет (ГДР)

В 1928 году мы создали в Германии Союз революционно-пролетарских писателей. Мы — это значит все те, кто ощущал тесную связь с задачами коммунистической партии и воплощал в своем творчестве идеи коммунизма. Тем самым мы решительно отмежевались от старого Общества германских авторов, весьма пестрой по составу организации, объединявшей литераторов разного толка — от консерваторов, реакционеров, даже фашиствующих деятелей до так называемых аполитичных писателей и пацифистов, разрываемых противоречием между «хочу», «могу» и «разрешено». Мы объявили себя сторонниками марксизма-ленинизма и сделали это учение идейным компасом своего Союза. Отныне в своих речах и выступлениях, в прозе и стихах мы отстаивали идеи марксизма, закладывая основы единения с соратниками по борьбе— рабочими и крестьянами. Мы, боевые товарищи рабочих и крестьян, шли в первых рядах выступлений пролетариата, поставили свое художественное мастерство на службу идеям рабочего класса.

Глубина ленинских идей нашла свое воплощение прежде всего в политической лирике Эриха Вайнерта.

Произведения Иоганнеса Р. Бехера, его перевод поэмы В. Маяковского «150 000 000» также проникнуты боевым духом новой, ленинской России. В стихах, рассказах и репортажах поэты — такие, как Курт Хун, Вильгельм Ткачик, Ганс Лорбеер, Эмиль Гинкель, Курт Клебер, и другие — и прозаики (например, Эгон Эрвин Киш, Альфред Курелла, Карл Грюнберг, Франц К. Вайскопф) взволнованно рассказывали о своих поездках в Советский Союз. Я тоже побывал в СССР в 1930 году вместе с группой молодых литераторов-пропагандистов молодых работниц и рабочих. Группа эта была создана по инициативе библиотеки «Универзум» и возглавлял ее писатель Ганс фон Цвель. Мы посетили предприятия больницы, детские ясли, ночные профилактории места отдыха трудящихся, школы, музеи, театры и все взволновавшее нас записывали и снимали на пленку. Эта публикация была встречена в Германии с огромным интересом. Первые переводы стихотворений Маяковского, первые советские фильмы — «Броненосец «Потемкин» и «Путевка в жизнь» (я присутствовал на премьере последнего в Москве) — революционизировали не только кинематографию Германии, но и образ мыслей многих деятелей искусства. И наконец, «синеблузники». Они чуть ли не в одночасье перевернули весь наш театр, все наши театральные общества, освободили театр от пут мелкобуржуазной косности и сделали его ленинским орудием классовой борьбы. Ох, как это напугало реакционную полицию и прессу! Начались аресты, запреты, но вмешательство властей было не в состоянии подавить растущее влияние этих групп на общественность страны. Марксистско-ленинские идеи, пропагандируемые в стихах, прозе, со сцены, завоевывали признание революционного пролетариата и широких кругов общественности.

В 70-е годы вышел целый ряд книг писателей ГДР, которые прямо или опосредованно отражают идеи Ленина. В особенности это касается литературы для юношества. Достаточно назвать, например, вышедший в прекрасном оформлении том рассказов о Ленине, подготовленный к 100-летию со дня рождения пролетарского вождя. Туда вошли рассказы немецких и советских писателей. Тогда же вышла моя первая книжка рассказов о Ленине «Лапти и дипломаты». Я попытался рассказать о жизни Ленина так, чтобы читатель увидел его как человека и как политического деятеля, увидел ясность его политической мысли и прозорливость. Через пять лет вышла вторая, расширенная книга рассказов о Ленине под названием «Процесс против (за) Ленина», написанная в форме небольших литературных портретов. Кроме того, следует упомянуть подготовленную Эрвином Бекиром книгу о В. И. Ленине, созданную по материалам воспоминаний шофера В. И. Ленина — Гиля. Другие книги Э. Бекира приводят юных читателей на стройки коммунизма и раскрывают величие ленинских идей и планов. Книга Альфреда Куреллы о долгом пути к ленинскому учению, пути, проделанном молодым коммунистом, также вызвала широкий отклик, прежде всего у молодежи, и была инсценирована. Существует множество книг о великих свершениях коммунизма, о плане ГОЭЛРО, в котором воплотились ленинские мечты о будущем, об укреплении материальной базы молодого рабоче-крестьянского государства. Хотелось бы отметить также путевые записки, исторические, документально достоверные произведения о трудном периоде становления народной власти в СССР.

Среди недавно вышедших книг следует назвать прежде всего документальный роман Рут Вернер «Рапорт Сони», основанный на воспоминаниях автора о своей трудной работе в качестве советской разведчицы в Китае и других странах. Не раз ей приходилось встречаться и работать с Рихардом Зорге.

Новый роман Дитера Нолля «Киппенберг» посвящен раздумьям о роли ученого в социалистическом обществе, о гуманности науки, направленной на созидательные цели. И наконец, только что вышел роман Петера Эделя «Если дело идет о жизни» — исповедь еврейского юноши, выросшего в среде крупной буржуазии, но нашедшего путь к рабочему классу, к ленинским идеям.

Идеи Ленина, размышления о становлении народной власти в России необходимы для нашего собственного развития, так я

это понимаю. Поэтому эти идеи с нами в любую минуту нашей жизни. Как может писатель-гуманист работать, не опираясь на ленинские идеи? Это немыслимо. Сознает он это или нет, но ленинские идеи воплощаются в его мыслях и планах.

Яромира Неедла (ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Литература всем своим существом связана с обществом, с жизнью людей. Учение Ленина является идеологической основой нашего общества. И абсолютно невозможно, чтобы искусство, и прежде всего литература, могло обойти этот процесс, чтобы оно развивалось «само по себе».

Мировоззрение писателя, несомненно, находит отражение в его творчестве. Чем более сознательным марксистом является писатель, чем глубже он проникает в смысл ленинского учения, тем точнее и убедительнее способен он художественно отразить действительность, историю человеческих судеб. Ленинский принцип партийности в литературе предоставляет писателю безграничные возможности в выборе и обработке жизненного материала. Речь идет только о том, чтобы подход к задаче, которую ставит перед собой инженер человеческих душ, был подходом ленинским, подходом гражданина социалистического общества.

Ленинское учение является вдохновляющей силой для всех нас, а для писателя особенно.

Мне хотелось бы сейчас вспомнить ленинскую мысль об активности человека и об активизации широких масс. И в этом направлении писатель может сделать многое. Он должен быть участником строительства коммунистического общества, быть воспитателем и путеводной звездой для своих читателей.

В конференции «С Лениным, по ленинскому пути» я участвовала как представитель Союза чехословацких писателей. Поэтому скажу несколько слов о нашей, чешской и словацкой, литературе.

Ленин, его личность, его идеи нашли широкое и достойное отражение в произведениях чехословацких писателей. Назову лишь несколько имен наших поэтов и прозаиков — С. К. Нейман, Йозеф Гора, Мария Майерова, Иван Ольбрахт, Ладислав Новомеский, Владимир Минач.

После 1945 года, когда наша страна была освобождена Советской Армией, забил гейзер поэзии, выразивший чувства всех чехов и словаков — любовь к Советскому Союзу, благодарность освободителям, стремление идти по общему пути. Художественно отобразила эти чувства и мысли не только наша поэзия, но и проза. К личности Ленина — вождя, философа, человека, к жизни советского народа, идущего по пути, указанному Лениным, обращались как писатели старшего поколения, так и молодые литераторы.

Думаю, что нет смысла перечислять здесь всех чехословацких писателей, для которых образ советского человека, советского общества был и остается неразрывно связан с их творчеством, их мировоззрением. Могу лишь сказать что таких, которые не понимают идеологических связей и закономерностей развития, очень мало.

Лично я, как литературовед и критик, в меру своих сил и возможностей участвую в тех процессах, через которые проходит наша литература, публикуя статьи и рецензии в газете «Руде право», еженедельнике «Творба», журнале «Литерарни месичник», а также в издательских публикациях. Наиболее значительными сборниками, в которых я принимала участие как составитель и автор статей, считаю сборник мировой революционной поэзии «Стихи и песни баррикад» (издательство «Альбатрос», 1976) и сборник «Вместе во имя жизни» (издательство «Чехословацкий писатель», 1978), в котором собраны лучшие чешские и словацкие рассказы, объединенные антифашистской тематикой.

◆

Е. ГЕНИЕВА

БЕРЕГА МАЛЬКОЛЬМА БРЭДБЕРИ

Всех, кто когда-либо брал интервью у известного английского писателя, крупного литературного критика и профессионального университетского преподавателя Малькольма Брэдбери, занимал один и тот же вопрос: как ему удается совмещать эти три стороны своей деятельности?

У Брэдбери солидный педагогический стаж — с 1955 года он читает курсы по истории американской литературы в различных университетах по обе стороны Атлантики. Авторитетный специалист по вопросам образования в Англии и США, Брэдбери в 1969 году стал членом Совета Оксфордского университета. Однако путь к этому высокому и почетному званию был нелегким.

Брэдбери родился в 1932 году в Шеффилде в семье железнодорожного служащего. Окончив школу в Ноттингеме, в восемнадцать лет поступил на филологический факультет Лейстерского университета, несмотря на протесты родителей, которые предпочитали, чтобы сын занялся чем-нибудь более практическим, нежели литература.

Писать Брэдбери начал очень рано, еще в школе. Проявившийся у него дар комического дал возможность подрабатывать и тем самым помогать семье: он придумывал скетчи и юморески для радиопередач. В университете Брэдбери организовал курсовую газету и постоянно выступал в ней со статьями. Но материальное положение семьи не улучшалось, и он был вынужден составлять тексты для рекламы, что, как шутливо замечает Брэдбери, явилось для него неплохой школой емкого и точного слова.

Хотя многое отрывало Брэдбери от занятий, он окончил университет с отличием и поехал на стажировку в Америку. «Я сразу же влюбился в эту страну,— говорит Брэдбери,— в ее литературу, хотя до этого читал в основном таких английских писателей, как А. Беннетт и Д. Г. Лоуренс». Интерес к культуре США во многом определил научную карьеру Брэдбери. В 1956 году он занял пост преподавателя американской литературы в университете Восточной Англии в городе Норидже. А с 1970 года является профессором этого университета. Во многом благодаря деятельности Брэдбери кафедра истории литературы в Нориджском университете является самым крупным центром американистики в Великобритании.

Одно перечисление курсов, которые в последние годы читает Брэдбери, показывает, сколь интенсивно и напряженно он работает: «Английская литература и история 1890—1918» «Постмодернизм», «История американского романа XX века», «Основы творчества». Последний семинар он ведет вместе с известным писателем Энгусом Уилсоном, который также живет в Норидже.

Преподавание тесно связано с литературоведческой деятельностью Брэдбери. Автор известных монографий о Э. Форстере и И. Во, многочисленных работ, посвященных истории и теории литературы, Брэдбери — один из самых знающих и широкообразованных критиков сегодняшней Англии, тот арбитр в вопросах искусства, к мнению которого внимательно прислушиваются и начинающие и известные писатели.

Преподавательская и литературно-критическая деятельность отнимает у Брэдбери, как он сам признается, немало сил. Но все же каждое лето в течение двух месяцев университетских каникул и тогда, когда ему удается выкроить время, он пишет романы, рассказы, телевизионные пьесы. Может быть, именно потому, что Брэдбери одновременно выступает и как писатель, и как критик, он особенно пристрастно подчиняясь аналитическому складу своего мышления, относится к созданному. Работает он очень медленно, постоянно переделывает, поэтому неудивительно, что почти за тридцать лет творческой деятельности он опубликовал всего три романа: «Есть людей нехорошо» (1959), «Шаг на Запад» (1965), «Человек истории» (1975) и несколько десятков рассказов, рассеянных по страницам периодических изданий. В 1976 году некоторые были объединены в сборник «А вы-то сами кто будете?».

Каждый роман, как показывают даты публикаций, потребовал почти десять лет работы. Писались они в короткие периоды, когда удавалось «вырваться и скрыться от рутины повседневности». Много времени ушло на обдумывание материала и выстраивание структуры будущего произведения.

Сейчас, глядя на эти книги с известной дистанции, можно с уверенностью сказать, что все три романа представляют своего рода итог каждого из трех десятилетий, на протяжении которых произошли значительные изменения как в обществе, так и в литературе.

Замысел романа «Есть людей нехорошо» относится к началу 50-х годов, к тому периоду в литературе Великобритании, когда с экспериментаторством, которым были отмечены годы между двумя мировыми войнами, было в основном покончено. Писатели, определившие лицо британской прозы тех лет, получили название «сердитых молодых людей». Однако слишком громкий, по мнению Брэдбери, гнев «сердитых» объективно явился «весьма скромным оружием, направленным против пережитков прошлого в новом государстве «всеобщего благосостояния». Типичный герой романа 50-х годов — молодой человек, раздраженно отвергающий все существующие общественные структуры, и в мире, который создали «отцы», он чувствует себя крайне неуютно.

Действие в романе происходит в одном из провинциальных британских университетов. В университетской среде развивается действие и двух других романов писателя. Это дало возможность английским критикам отнести книги Брэдбери к так называемому «университетскому роману» (campus novel), более характерному для современной американской литературы. Они полагают, что столь пристальный интерес писателя к университету объясняется двумя причинами: с одной стороны доскональным знанием Брэдбери жизни студентов и преподавателей, а с другой — тем что ему легче воспроизводить в своих книгах замкнутую среду. Однако сам писатель приводит и третье, гораздо более существенное соображение.

«Мне нравится,— говорит Брэдбери.— писать об умных людях. Для романиста на мой взгляд, это очень благоприятная среда. Она интересна сама по себе, а также потому, что небольшой интеллектуальный круг зеркально отражает многие проблемы, актуальные для общества в целом Поэтому интеллектуальная среда важна для меня не только в плане появления в ней новых идей, меня в не меньшей степени привлекают люди, постоянно ищущие связи между жизнью и идеями».

Именно потому, что свои задачи романиста Брэдбери видит в широком социальном плане, его не удовлетворяет жанровое определение «университетского романа» применительно к собственному творчеству. Первый роман писателя — не только сатира на университетскую жизнь в духе «Счастливчика Джима» Кингсли Эмиса. Это прежде всего, отмечает сам Брэдбери, роман о «серьезных 50-х».

Уже в нем отчетливо определилось социальное звучание прозы Брэдбери, осуждающего индивидуализм в отношениях между людьми. Такая позиция объясняет и несколько иронично звучащее заглавие — «Есть людей нехорошо». Брэдбери не просто констатирует эгоцентризм, проявляющийся в характере и поступках своих героев, но рассматривает его как типично английскую черту, имеющую давнюю «национальную» традицию.

Иная социальная эпоха — «мятущиеся 60-е», одна из модификаций «общества вседозволенности»,— показана во втором романе Брэдбери «Шаг на Запад». Действие перенесено в Америку, точнее, в один из американских университетов, куда приезжает герой, Уолкер и где разыгрываются его приключения. Роман смешной, герои по большей части карикатурны, тяготеют к гротеску. Однако цель Брэдбери не только развлекательная но скорее сатирико-обличительная. В 50-е годы он видел отдельные, но уже тогда беспокоившие его ростки индивидуализма. «в 50-е годы,— пишет Брэдбери,— герои единодушно соглашались, что «есть людей нехорошо» но теперь, в 60-е, поедание себе подобных стало почти что нашим повседневным занятием... Оглядываясь назад,— продолжает он,— я не могу отделаться от мысли, что отсюда и пошли многие наши беды»

В атмосфере бездумности, слепого, подчас беспредметного отрицания, аморализма, претендующего на норму, Брэдбери справедливо видит начало серьезных социальных катаклизмов, ставших особенно очевидными в 70-е годы, которые он назвал «изломанными» и воплотил в «Человеке истории» одной из самых ярких книг последнего десятилетия.

Русский перевод заглавия неадекватно передает значение, заключенное в емком английском словосочетании «History Man», которое Брэдбери выбрал для определения своего главного героя социолога левоэкстремистских убеждений Хауарда Керка.

Английские литературоведы не раз обращались к писателю с просьбой объяснить смысл названия романа В одном интервью Брэдбери заметил: «Историю я понимаю в марксистском плане. И именно такое понимание я пытался вложить в заглавие моего нового романа».

Название отчасти проясняет и предпосланный роману эпиграф из Гюнтера Грасса: «Кто такой Гегель? Некто кто приговорил человечество к истории. А он много знал? Он все знал?»

Не должна смущать нарочитая задиристость этих строк она сразу же настраивает на иронический тон в котором выдержано повествование — от первой до последней строчки. Очень важен серьезный, глубинный смысл эпиграфа, очевидно при-

---

Е ГЕНИЕЕВА
БЕРЕГА МАЛЬКОЛЬМА БРЭДБЕРИ

званный утвердить диалектическую взаимосвязь между личностью и историческим процессом. Каждый «приговорен к истории», каждый — объективная частица ее, человек в своем поведении детерминирован всей логикой общественного развития. Однако Брэдбери как писателя волнует и субъективная роль личности в историческом процессе: причастность к происходящему, ответственность за судьбы мира.

Таковы основные проблемы романа, к осмыслению которых обратился Брэдбери, встревоженный социально-этическими последствиями движения «новых левых», пришедшегося на конец 60-х годов.

Майские события 1968 года во Франции показали всю серьезность выступления молодых. «Новая левая», так социологи и историки определили это явление, по-разному захлестнула страны Запада. Франция, ФРГ и США оказались своего рода эпицентром молодежного бунта. Англия осталась на периферии Однако, если страна и не знала сильных молодежных волнений, общественно-нравственные последствия «новой левой» когда подлинный революционный порыв нередко сочетался с трескучей «левой фразой» и приспособленчеством, проявили себя в полной мере.

Именно об этой негативной стороне бунта, о «революционерстве», о спекуляции на нем, о новом чрезвычайно опасном типе псевдобунтаря и его скрытой классовой сущности «Человек истории» Брэдбери.

Серенький студент, которому под стать его недалекая жена Барбара, в один прекрасный день, где-то в конце 60-х годов, когда идеи левоэкстремистских философов типа Герберта Маркузе стали проникать в среду английских интеллектуалов, скинул с себя оболочку обычного английского обывателя, с тем чтобы надеть ее же, но перелицованную на новый, псевдореволюционный лад. Пролистав Маркузе, начитавшись Фрейда, узнав кое-что о Марксе и переврав его все на тот же маркузианский манер, Керк и его жена Барбара превратились в новых людей, «свободных супругов», живущих бок о бок, но не имеющих никаких обязательств друг перед другом, зачем-то производящих на свет детей, устраивающих пользующиеся дурной славой вечеринки, на которых всегда случаются какие нибудь истории (здесь приоткрывается еще один смысл в значении названия — «Любитель историй», популярных на Западе хэппенингов). Некоторые хэппенинги в романе сродни трагедии: не выдержав пустоты существования, на одном из таких сборищ, описанием которого завершается роман, Барбара пытается покончить с собой.

Роман сразу же стал бестселлером. О нем много писали и в Англии, и в Америке. Сам Брэдбери в одном из последних интервью, которое он дал представителю журнала «Санди таймс», так определил свое произведение: «Человек истории» — о существовании в мире обезличенных предметов, многоэтажных гаражей, торговых кварталов. Место действия в общем-то не существенно: с таким же успехом сюжет мог бы развертываться и на территории больницы или школы. Поскольку все мы живем в буржуазном мире, лишь небольшой частью которого является университет, в мире запрограммированных идей, носителем которых непременно выступает университет, важно воспринимать Хауарда Керка не просто как университетского преподавателя, но как квинтэссенцию современной буржуазности... Керк — моя полная противоположность. Это человек, который разрушает все, к чему он прикасается. Однако с помощью этого характера я смог решить некоторые проблемы, актуальные лично для меня, хотя при этом сохранил ироническую дистанцию, остраненность от моего героя... Я специально сделал Керка социологом, хотя убежден, что именно социология способна многое объяснить в нашем массовом, обезличенном обществе, в существовании которого мы сами повинны. Изображая Керка, я хотел лишь подчеркнуть опасности социологических передержек».

Брэдбери считает себя писателем комического плана. Причем комедийность он понимает весьма широко. Для него комедия выражается не только в способности быть остроумным, «комизм — это еще и умение видеть людей и весь окружающий мир определенным образом, это способ разрушения привычных представлений, штампов». Комическим писателем он называет и Ивлина Во, в традиции которого он, по собственному признанию, развивается. Во всяком случае, он многому научился у Во в описании «анархического, безалаберного мира, в котором очень трудно что-либо понять, в котором герои скорее одномерны, нежели многомерны, а все предстает как хаос».

Брэдбери напряженно размышляет над формой художественного произведения, считая, что каждый повествовательный элемент должен быть максимально значимым, поскольку для писателя он — один из способов отражения на страницах книги эпохи и ее специфики.

С этой точки зрения интересны поиски Брэдбери грамматического времени для «Человека истории». Сначала повествование вполне традиционно велось в прошедшем времени. Но роман, как говорит сам Брэдбери, не получался. И лишь когда он после многих вариантов перевел повествование в настоящее время, проза стала резко динамичной, а на страницах книги возник желанный эффект присутствия мира, в котором отринуто прошлое, утрачены традиции и историческая преемственность.

Темы, поднятые в «Человеке истории», оказались для Брэдбери столь актуальными, что отчасти он продолжил их развитие и в малом жанре — рассказах, составивших сборник с типичным для Брэдбери и несколько озадачиьающим читателя названием «А вы-то сами кто будете?». Сборник состоит из двух частей: в первую вошли серьезные рассказы, в которых писатель высмеивает уклад многих своих современников, основанный на самообмане, лицеме-

рии, отказе от традиционных гуманистических ценностей. Во второй — «развлекательной» — содержатся остроумные пародии на известных современных писателей и критиков: Эрнеста Хемингуэя, Дж. Д. Сэлинджера, Мюриэл Спарк, Фрэнка Кермоуда и других.

Шутливые пародии на самом деле выполняют важную задачу: еще раз напомнить об опасности негибкого, тоталитарно-нетерпимого подхода к действительности. Как только мир, пишет Брэдбери, начинает восприниматься через призму одной какой-нибудь идеи, например через призму ложного постулата о превалирующей роли индивида или об исключительной важности личных отношений, картина реальности искажается.

«Я много думаю над проблемой гуманизма в современном мире. Хотя ему нелегко прокладывать себе путь в нашем обществе». Эти слова могли бы стать эпиграфом не только к романической, но и к критической деятельности Брэдбери.

В современной западной критике Брэдбери наблюдает любопытный парадокс. Он с уверенностью констатирует, что веками соблюдавшееся соотношение: критики существуют потому, что существуют писатели, в середине XX столетия нарушилось. Обратившись за поддержкой к лингвистике, структурализму, семиотике и психологии, критика, особенно американская и французская, выделилась в самостоятельную, автономную область и в целом ряде случаев превосходно обходится без писателей, то есть без литературы. Теперь, иронически замечает Брэдбери, скорее писатели существуют потому, что есть критики, а отнюдь не наоборот. Но именно такая критика, разорвавшая гармонический союз с писателями, вызывает у Брэдбери серьезные опасения. Поэтому совершенно сознательно в своем творчестве он продолжает традицию, давно оформившуюся в английской литературе, когда писатель и критик (вспомним У. М. Теккерея, О. Уайльда, Т. С. Элиота, И. Во, Дж. Голсуорси, Д. Г. Лоуренса, В. Вулф) соединялись в одном лице и писатели становились критиками, взявшими на себя, по словам Вордсворта, задачу воспитания у читателей вкуса и умения не только воспринимать, но и распознавать истинное произведение искусства.

Если взглянуть на деятельность Брэдбери лишь в плане английской критической традиции, то обнаружится несомненное типологическое сходство между его взглядами и воззрениями Мэтью Арнольда, крупнейшего литературоведа XIX века, который заложил основы современной социально-ангажированной критики, развил традицию, идущую от Колриджа, Вордсворта и Шелли, и утвердил интерес к социальным и этическим вопросам бытия человека как своего рода норму для хорошей, серьезной критики.

Из многочисленной армии английских критиков, творческая деятельность которых в основном пришлась на последнее десятилетие (Б. Бергонци, А. Альварес, Д. Дэйви, Р. Хогарт, Фр. Кермоуд, П. Кемп, Дж. Меллорз и др.), критиков, разнящихся взглядами, талантом и принадлежностью к различным школам, пожалуй, лишь Малькольм Брэдбери отличается такой определенностью идейных установок. Ему не свойственны теоретическая аморфность, хаотичность изложения материала, островная замкнутость, нередко встречающиеся в работах даже известных английских литературоведов, которые в этой области именно таким образом реализуют национальную черту — «нелюбовь к теории». В определенном смысле он выступает преемником Уолтера Аллена, с работами которого советский читатель имел возможность познакомиться [1].

Критик социально-исторической школы, с выраженным интересом к гуманистическим ценностям, Брэдбери видит опасное засилие Керков и в среде своих коллег. Во всяком случае, среди тех, кто без устали твердит о том, что поэзия исчерпала себя, драма доживает последние дни, а роман если и не умер, то находится в состоянии глубокого кризиса. Эти же критики безоговорочно подписываются под предсказаниями Маклюэна о тотальной гибели письменного слова и переходе к иным, более коллективным и изначальным средствам и формам выражения, например к таким, как хэппенинги.

Однако Брэдбери убежден, что вошедшее в 60-е годы в моду внешне невинное жонглирование броскими радикальными понятиями уже тогда таило в себе серьезную опасность. Среди критиков, а с их легкой руки и среди определенной группы писателей, укоренились отказ от нравственной проблематики, присущей классическому искусству, чрезмерная увлеченность эротикой, неряшливое отношение к стилю как следствие распущенности в языке. Критики-структуралисты, например, безапелляционно заявили, что реальность — это вымысел и что те писатели, которые продолжают утверждать материальную реальность существования, скучны и плоски. По их мнению, литература исчерпала себя и настала пора «интертекстов».

Иную эстетическую позицию занимает Брэдбери. Он убежден, что литература — это один из важнейших способов познания мира, а его идеалом является критика, дающая людям столь необходимые им социальные и нравственные критерии. Постоянно и настойчиво он напоминает коллегам о тех днях, «когда мы еще не углубились в лексические поля, когда... критик любил людей, читал Джордж Элиот и верил в необходимость нравственного совершенствования личности».

Эти мысли нашли воплощение в сборниках «Что такое роман?» (1969), «Социальный

[1] У. Аллен. Традиция и мечта. М., «Прогресс», 1970. У. Аллен. Постскриптум к «Традиции и мечте», «ИЛ» № 12, 1977.

Е. ГЕНИЕЕВА

контекст современной английской литературы» (1971), «Возможности: эссе о состоянии романа» (1973), а также в статьях, которые с достаточной регулярностью Брэдбери печатает в крупных журналах Великобритании: «Лондон мэгэзин», «Листнер» и др.

Особенный интерес представляют две проблемные статьи под общим названием «Собака, затянутая песками». В них Брэдбери обращается к некоторым ведущим тенденциям в западном искусстве XX века.

В первой части статьи Брэдбери рассматривает проблему модернизма, его идейных истоков и социально философских предпосылок, а также того противоречивого воздействия, которое он оказал на европейское и американское искусство XX столетия. Сегодня многие западные и советские исследователи разделяют точку зрения Брэдбери, согласно которой модернизм 10—20-х годов—это история. Но немногие так метко определяют суть модернистского искусства и природу его влияния, которое критик предлагает рассматривать в единстве идейного и художественного планов.

Не случайно в статье, с которой журнал «Иностранная литература» знакомит читателей, Брэдбери обращается к работам известного испанского философа Хоссе Ортеги-и-Гассета «Мысли о романе», «Дегуманизация искусства», в которых он в 20-е годы сформулировал концепцию вырождения и гибели классического реалистического романа. Эти работы и сегодня широко читаются интеллигенцией Запада и продолжают оказывать существенное влияние на современную критику Запада.

Обращает на себя внимание способ, который Брэдбери выбрал для полемики с Ортегой-и-Гассетом. Он начинает с внешне бесстрастного изложения работы Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация искусства», с тем чтобы в дальнейшем всем ходом собственных рассуждений показать ошибочность многих положений испанского философа. Как известно, Ортега-и-Гассет видел развитие истинного искусства в «избавлении» от реализма, от серьезного, социально-этического содержания, в культе утонченного, сугубо рафинированного повествования, цель которого не создать «аналог реальной жизни», что было задачей великих реалистов XIX столетия, но изобразить замкнутый малый мир — «внутреннее царство романа». Ортега-и Гассет призывает художников подняться над гуманистическим содержанием. Тогда к к для Брэдбери чрезвычайно важно наделение искусства гуманистическим пафосом, которое он, однако, далеко не всегда видит в современных произведениях, например, в авангардистском американском романе или в многочисленных произведениях «массовой культуры». В значительной степени отсутствие гуманистического импульса в искусстве — следствие философии и эстетики модернизма, на генезисе которого Брэдбери особенно подробно остановился в первой части своей статьи.

Модернизм, пишет Брэдбери, был исторически обусловлен в мире, где уничтожились традиционные ценности культуры, где после первой мировой войны смешались все нравственные понятия, где поколебалось убеждение, «что человек может с пользой для себя участвовать в жизни общества». Но именно модернизм как пишет критик, стал показателем или «симптомом весьма трагического и весьма плачевного состояния искусства в целом». «Модернизм,— продолжает мысль Брэдбери,— это, по сути своей, опасный парадокс... прежде всего парадокс в нашем современном определении человека. Определении, в котором содержится требование высшей свободы для личности и в то же время утверждение крайнего детерминизма и всего, что связано с этим понятием. В нем броская заявка на героическое в личности и одновременно отказ от всякой героики. Искусство модернизма — искусство крайней неуверенности и неопределенности суждений и посылки, искусство, потерявшее всякий ориентир относительно того, что же составляет ценность в современном искусстве».

Почему же, определив, что для современного западного искусства в целом нетипичны формалистические поиски Г. Стайн, Дж. Джойса, В. Вулф, Брэдбери подвергает модернизм столь пристальному анализу? Вероятно, в силу того, что современное западное искусство унаследовало, как полагает Брэдбери, от модернизма 10—20-х годов два важнейших понятия. Идейное — дегуманизацию (здесь Брэдбери принимает термин, предложенный Ортегой-и-Гассетом) как «факт истории», иными словами, особое отчуждение, абсурдное состояние сознания западного индивидуума во враждебном ему, сугубо вещном мире. И художественное — абстракцию и как производное от абстракции иронию, особый принцип воплощения самого феномена дегуманизации.

Весьма убедительно Брэдбери анализирует следствия, к которым приводит господство дегуманизации в искусстве, в частности, «безбрежное» распространение абстрактной, иронической интонации в некоторых направлениях и школах. Он видит глубокую внутреннюю связь между театром абсурда, французским «новым романом», всевозможными направлениями в живописи — от поп-арта и оп-арта до абстрактного экспрессионизма и фотореализма. Более того, он сближает современный авангардизм и массовую контркультуру. Для Брэдбери эти явления однородны, генетически связаны не только потому, что фактом своего существования они обязаны феномену дегуманизации, но и потому, что они подчас в трагически абсурдной форме воплощают этот феномен. Для Брэдбери все это — постмодернизм, постмодернистское искусство, в самом своем глубинном слое связанное с философскими и художественными идеями, концепциями, которые разрабатывал модернизм 10—20-х годов.

В бесконечных «измах», которые без устали плодит современное западное искусство, потерялся человек, перестал быть мерилом всего. Слова, произнесенные в начале века У. Б. Йитсом: «центра боль-

ше нет»,— сегодня еще более справедливы, нежели в эпоху Дж. Джойса и Т. С. Элиота.

Так что же, в эту эпоху множественности «измов», в период когда цельность восприятия мира, как с грустью пишет Брэдбери, стала для многих художников Запада почти что недостижимым идеалом, критерии реалистического искусства оказались потерянными, а его берега размытыми?

Реализм, считает Брэдбери, подвергся серьезным, исторически обусловленным изменениям. Сегодня на Западе он прокладывает себе путь в обществе, где дегуманизация стала фактом реальности. Естественно, что реалистическое искусство У. М. Теккерея, Т. Харди, Дж. Голсуорси и даже современника Брэдбери Ч. П. Сноу, сознательно продолжающего в своем творчестве классические традиции, отличается от искусства А. Мердок, Э. Уилсона, Дж. Фаулза, писателей, которых Брэдбери называет «современными реалистами».

Не будем спорить с Брэдбери о точности этого определения. Проблема реализма в творчестве А. Мердок, Э. Уилсона, Дж. Фаулза и многих других современных художников Запада — предмет отдельного разговора, требующий в каждом случае необходимых уточнений[1] Но в целом направление мысли Брэдбери в данном вопросе представляется справедливым.

Для понимания концепции Брэдбери очень важен его разбор полотна Гойи «Собака, затянутая песками», произведения, где несомненны абстрактные черты, но где тем не менее абстракция выполняет в конечном итоге не разрушительную, но созидательную роль. Она призвана передать состояние крайнего ужаса, отчаянья, выражает боль существования в дегуманизированном мире. То, что мы видим на картине, пишет Брэдбери, «ведет из области чистой формы к искусству художественного гуманизма и реализма». Сопереживание делает для Брэдбери трагическое, тяготеющее к абстракции полотно Гойи истинным, человечным произведением искусства.

Реальное, соответствующее предмету изображения название «Собака, затянутая песками» в ходе рассуждений Брэдбери начинает восприниматься метафорически — как философски-художественный протест против засасывающих песков выхолощенной абстракции.

Современный художник, справедливо полагает Брэдбери, может экспериментировать, он должен искать более адекватные формы для выражения своего времени. В этой связи интересно, что в одном из своих выступлений Брэдбери заметил, что западным художникам следовало бы обратить больше внимания на прозу писателей социалистических стран, опыт которых ему представляется весьма важным. Было бы очень желательным пишет Брэдбери освоить и уроки латиноамериканской литературы, столь успешно передающей состояние политической нестабильности, экономического отставания и человеческого одиночества. Но как бы оригинальны и дерзновенны ни были поиски формы, истинное реалистическое произведение для Брэдбери немыслимо без гуманистического начала.

Именно потому, что XX век — век бурный, полный катаклизмов, в котором, как пишет Брэдбери, трудно бывает обрести свое подлинное лицо, задача искусства не просто живописать этот меняющийся мир, но дать человеку «надежные опоры в жизни, изображая человечных героев и воспринимая мир, как старого доброго друга». В решении этой трудной задачи многое зависит от гуманных писателей и умных критиков, к которым, несомненно, принадлежит Малькольм Брэдбери.

[1] Ввиду важности поднятых в статье Брэдбери проблем редакция предполагает обратиться к их обсуждению в дальнейшем.

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ

СОБАКА, ЗАТЯНУТАЯ ПЕСКАМИ

В одной из своих статей я писал о важнейшей перемене, происходившей в живописи и литературе в конце XIX века, когда система знаний и представлений о мире, на которую опиралось реалистическое искусство начала распадаться, позитивизм вступил в борьбу с интуитивизмом, социология с психологией, натурализм с эстетизмом и из этого сложного конгломерата постепенно возникало современное искусство абстракции. В истории искусства то было существенное по своему значению изменение, и ему уделялось все большее внимание по мере того, как мы осознавали, что в искусстве и по сей день сказываются последствия этого перехода к модернизму. Возникновению модернизма давалось много различных объяснений, но в каждом из них прежде всего подчеркивался бурный и коренной характер произошедших перемен. В работе «Современное искусство» (1933) Герберт Рид[1] назвал модернизм «внезапным разрывом со всей традицией», когда «цель, ради которой создавалось европейское искусство на протяжении последних пяти столетий, была безоговорочно отвергнута». Эти слова Рида выразили общепризнанную точку зрения, что же касается самой природы свершившихся перемен или их причин, то здесь единодушия гораздо меньше.

[1] Герберт Рид (1893—1968) — английский поэт, критик искусствовед, один из крупнейших представителей эстетической мысли XX в. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Одно из интереснейших объяснений предложено испанским философом Ортегой-и-Гассетом в эссе «Дегуманизация искусства». В толковании Ортеги сложное понятие «дегуманизация» основано на предположении, что причины, вызвавшие к жизни это новое направление в искусстве, по своей сути носили античеловечный характер; это было искусство элиты, намеренно отделяющееся от народных масс, неспособных-де в своем будничном существовании к наслаждению прекрасным: «... немногие могут правильно настроить свой аппарат восприятия для постижения произведения искусства, прозрачность которого подобна прозрачности оконного стекла. Вместо того чтобы сосредоточиться на самом стекле, они смотрят сквозь него и наслаждаются той реальностью человеческого бытия, которая открывается им в произведении искусства».

«Дегуманизация» Ортеги весьма напоминает модную сейчас теорию «остранения» Виктора Шкловского («Приемом искусства является прием «остранения» вещей и прием затрудненных форм, увеличивающих трудность и долготу восприятия»)[1]. Но тогда как Шкловский в силу формалистического характера своей теории прежде всего рассматривает структуры остранения, Ортегу интересуют главным образом изменения в изображении человеческой личности. Он подчеркивает, что в произведениях современного искусства гуманистическое содержание все большее место уступает форме и игре. «Для современного художника...— утверждает Ортега,— эстетическое наслаждение заключается в том, что он... способен подняться над гуманистическим содержанием. И каждый раз, демонстрируя свою победу, он являет нам задушенную жертву». Эта «задушенная жертва» — исчезающие остатки человеческого, сохранившаяся частица гуманистического, которые Ортега неизменно обнаруживает в современном искусстве и литературе. В результате возникает «инверсия» традиционных форм искусства: «Прежде метафоры в виде орнамента покоились на реальности; ныне возникло стремление убрать эти чуждые поэзии подпорки, то есть подпорки реальности, и «реализовать» метафору, сделать ее res poetica (лат.; здесь — содержание поэзии).

Однако в отличие от многих критиков XX века, например Герберта Рида, Ортега не поражен внезапностью и новизной этого полного разрыва с прошлым. По его мнению, дегуманизация, хотя и принимает ныне неизвестные ранее формы, не представляет собой нечто небывалое в истории; это скорее возрождение извечной иконоборческой традиции. «Все великие периоды искусства отмечены упорным стремлением уйти от конкретного гуманистического содержания»,— замечает Ортега. Поэтому XIX век и реализм — в нашем представлении магистральное направление искусства — Ортега считает отклонением, «крайним заблуждением в истории эстетических воззрений». Именно тогда, утверждает Ортега, искусство стало гуманистичным, оно потребовало от нас узнавания в нем самих себя, сочувствия, сопереживания. Между тем, продолжает он, произведения такого рода «лишь отчасти можно считать произведениями искусства или художественными объектами». В них реализм и гуманизм существуют в полной гармонии, и в таком искусстве люди, дома, горы становятся «нашими добрыми старыми друзьями».

Подобная точка зрения позволяет объяснить, почему роман и связанное с ним сюжетное повествование достигли своего совершенства в XIX веке и почему роману отводится столь важное значение в обсуждении нашей проблемы. В другой работе — «Мысли о романе» — Ортега утверждает, что роману по самой его сути присуща гуманистическая направленность, склонность к созданию «вымышленных психологических портретов», которые могут обрести слишком живые и достоверные черты. В этих рассуждениях Ортеги, разумеется, нет ничего нового. Роман издавна считался, и прежде всего его творцами, той художественной формой, которая позволяла наиболее полно воспроизвести повседневную реальность и в то же время всесторонне раскрыть отношения между персонажами, показать драматизм внутренней жизни героев, создать отвечающее законам литературной условности неторопливое повествование, где человеческая жизнь предстает в тесной связи с развитием общества и истории; при этом читатель воспринимает эту вымышленную жизнь как жизнь реальную, пишет Ортега, поскольку «вымышленные персонажи предстают перед нами как живые люди». Но, справедливо замечает Ортега далее, роман начинает испытывать своеобразное воздействие новых форм абстрактного искусства. Поскольку романы тяготеют к созданию «вымышленной картины человеческого бытия», ирония в них становится выражением дегуманизации; ирония присутствует и в других видах искусства, например, в живописи, прежде всего портретной, но в литературе ей отводится особая роль.

Доводы, выдвинутые Ортегой и Шкловским, имели крайне важное значение для понимания современных художественных форм и форм искусства вообще. Однако было бы неверно думать, что «дегуманизация» искусства носила односторонний характер и сводилась только к усилению формалистического момента в искусстве. Действительно, для многих писателей — таких, как Гертруда Стайн и Вирджиния Вулф,— значение нового направления определялось прежде всего тем, что художник, обнажая внутреннюю сущность искусства как такового, в то же время получил возможность проникнуть в глубины человеческой природы, творить искусство, сочетающее сознательное и бессозна-

---

[1] В Шкловский. Искусство как прием, в сб «О теории прозы» М., «Федерация», 1929, стр. 13.

тельное, эстетические устремления с творческими усилиями разума, или «ид».

Но были и другие писатели, которые вкладывали в новые теории абстрактной формы совсем иной смысл: для них они были реакцией на современную историю, представляющую собой процесс дегуманизации. «Насколько можно судить, новая «тенденция к абстракции» достигнет своего наивысшего выражения не только в простых геометрических формах архаического искусства, но главным образом в более сложных формах, ассоциирующихся в нашем сознании с идеей техники»,— заявил Т. Э. Хьюм[1] под влиянием Бергсона[2] и Воррингера[3]. Примечательно то, что он высказал эту мысль в лекции «Современное искусство» в 1914 году, в сезон вортисизма[4], уже предвещавшего кровавую бойню первой мировой войны с ее новейшими техническими средствами массового уничтожения. Новые абстракции футуризма, вортисизма и экспрессионизма оказали несомненное воздействие на теорию характера Д. Г. Лоуренса, сформулированную им в 1915 году в известном письме к Эдварду Гарнетту[5] по поводу романа «Влюбленные женщины»: «Я увлечен нечеловеческой волей — назовем это физиологией или по Маринетти, физиологией вещества. Меня не волнует, что есть женщина... Вы не должны искать в моем романе выражение старого, неизменного эго — характера...»

Сходные формы могут возникнуть в силу различных причин. Абстракция может вырасти из стремления к формальным новшествам или эстетическому освобождению. Но она может быть и ответной реакцией, поиском эстетического аналога тем историческим процессам технологизации, механизации и обезличивания, которые вытеснили человеческую фигуру из центра бытия, стерли различия между одушевленными и неодушевленными предметами, изменили композиционные соотношения человека и вещи.

После разрушительной войны, которая уничтожила многие традиционные ценности культуры, спутала все нравственные понятия, устоявшиеся социальные отношения, отвергла старую фразеологию и поколебала прочную уверенность в том, что человек может с пользой для себя участвовать в жизни общества или ходе истории, к 20-м годам на первый план выступили внешние причинные связи, усиливая в искусстве иронию и абстракцию.

Страх перед небытием, ощущение враждебности окружения, убеждение, что в мире властвует механистическое разрушение жизни,— все эти черты современного сознания (Фредерик Дж. Хофман[1] весьма плодотворно исследует их в книге «Жестокое «нет»: смерть и современное воображение» (1964) привели в послевоенном мире 20-х годов к возникновению нового понятия формы. Убитый или покалеченный на поле боя, человек в историческом или социальном окружении, как Тайтженс, Джейк Барнс, Клифорд Чаттерли[2], приковывали к себе внимание, равно как и люди-автоматы, захваченные пляской в шутовском хороводе утратившего всякий смысл общества. Так возникли бергсонианские персонажи Во, герои Кафки во власти тоталитарного государственного аппарата, «человек без свойств» Музиля, загнанный в безликую пустоту. Иными словами дегуманизация стала не просто возможным содержанием искусства, но фактором истории. В модернизации мира, утрате духовного начала, в господстве жестокого механистического процесса терялось человеческое «я» — и следствием этого становилось отчуждение, беззащитность перед лицом существования, осознание абсурдности человеческого бытия.

Итак, в литературе утверждаются два типа абстракции: с одной стороны, эстетизированные портреты сознания, как у Вирджинии Вулф, а с другой — механические шуты Ивлина Во, лицедействующие на сцене жизни. Литература все больше усваивала абстрактную интонацию иронии, что означало не обращение к новому содержанию, а отказ от содержания вообще. Даже когда модернизм миновал вершину своего расцвета и в романе 30—50-х годов стал утверждаться чисто абстрактный формализм, а затем наступил период возрождения реализма, это господство дегуманизации и иронии как художественного принципа в изображении человеческой личности тем не менее продолжалось.

Разумеется, сегодня модернистский стиль отошел в прошлое, модернизм стал понятием, устоявшиеся социальные отношения, отвергла старую фразеологию и поколебала прочную уверенность в том, что человек может с пользой для себя участвовать в жизни общества или ходе истории, к 20-м годам на первый план выступили внешние причинные связи, усиливая в искусстве иронию и абстракцию.

---

[1] Томас Эрнст Хьюм (1883—1917) — английский поэт и литературный критик, теоретик имажизма, оказал влияние на Эзру Паунда и Т. С. Элиота; приветствовал первую мировую войну, писал статьи, проникнутые духом милитаризма, был убит в сражении.

[2] Анри Бергсон (1859—1941) — французский философ-идеалист, оказавший большое влияние на формирование теории и практики модернизма; широкое распространение получило его учение об интуиции и теория комического.

[3] Вильгельм Воррингер (род. в 1881 г.) — немецкий искусствовед и теоретик искусства.

[4] Вортисизм — одно из модернистских течений в искусстве начала XX в.; вортисисты, так же как кубисты и футуристы, отвергали принцип воссоздания жизни в формах самой жизни, прославляли современную индустриальную цивилизацию с ее мощной техникой.

[5] Эдвард Гарнетт (1868—1937) — английский литературный критик, драматург, биограф, эссеист; друг и корреспондент Д. Голсуорси, Д. Г. Лоуренса, Д. Конрада и других писателей.

[1] Фредерик Дж. Хофман (род. в 1909 г.) — известный американский критик и литературовед, автор работ по проблемам американской литературы XX века.

[2] Тайтженс — главный герой четырех романов Форда Мэдокса Форда, составивших «цикл о Тайтженсе» (1924—1928): «Не вся кому по силам», «Конец парадам» «Человек мог подняться», «Последний пост»; Джейк Барнс — герой романа Э. Хемингуэя «Фиеста»; Клифорд Чаттерли — персонаж романа Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли»

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ

СОБАКА, ЗАТЯНУТАЯ ПЕСКАМИ

тием историческим. Но похоже, что мы вступили в период возрождения экспериментаторства и реализм в романе после периода возрождения подвергается серьезному пересмотру. Начался новый эстетический период, и нам предоставлен удобный флаг, под которым можно пускаться в плавание. На этом флаге значится «постмодернизм».

Под широким знаменем постмодернизма собрались такие пестрые явления, как театр абсурда, французский «новый роман», американский «новый журнализм», всевозможные направления в живописи — от поп-арта и оп-арта до абстрактного экспрессионизма и фотореализма. Более того, как это нередко бывает в периоды экспериментальных поисков в искусстве, живопись и роман снова сблизились. Возник новый культ — синестезии [1], что находит выражение прежде всего в «хэппенингах», в синтетическом действе, переданном различными средствами, в формах пародии. И тут мы обнаруживаем, что все эти явления оказывают воздействие на развитие романа, который с готовностью оставляет стезю реализма и обращается к исследованию своей собственной лексической и структурной природы. Однако этот возврат к формализму происходит на иных, чем раньше, основах, и у нового формализма нет ничего общего с формализмом модернистов, когда мир был хаотичным, но по крайней мере целостным. Вообще для современного искусства характерно ироническое отношение к самой идее искусства как некоего неделимого, самодовлеющего и замкнутого в себе единства. Новое искусство сознательно стремится к абстракции, и в определенном смысле оно постреалистично. Эти черты особенно наглядно проявляются в живописи, но все более проникают и в другие формы художественного выражения, в том числе и словесные: драму, поэзию, прозу.

Альфред Альварес [2] утверждал, что мы живем в эпоху отсутствия стиля, в эпоху такого стилистического разнобоя, что в нем невозможно выделить главное. Действительно, начиная с 1945 года в искусстве наступил период необычайного творческого подъема и в то же время небывалого многообразия стилей. Всевозможные «измы», как отмечает Эдвард Люси-Смит [3] в работе «Направления в искусстве после 1945 года», стремительно сменяли друг друга, и в итоге недолговечность стала чертой нынешней художественной продукции. Наступил своего рода стилистический перерасход: стиля как такового, моды как формы и формы как моды. В нашем современном мире мода и стиль поменялись ролями, и показательно, что авангардизм, продолжающий традиции модернизма и сюрреализма, был интегрирован массовой культурой или контркультурой. Нет сомнения, что сегодня мы живем в период коренного изменения стиля в условиях всеобщей ломки социальной, сексуальной и гносеологической, мы существуем в мире, в котором проблема стиля приобрела важную социальную функцию. Богемный люд толпится на каждом углу, самопародистов можно встретить в любой мастерской, неохудожников — в любой дискотеке.

В последнее время много писалось о том, что современная западная культура слишком замкнута на самой себе. Отчасти такое самолюбование современной западной культуры, своеобразный нарциссизм, проявляется и в убеждении, что споры по проблемам стилей выполняют важную социальную функцию как область пересечения с современной историей и условиями существования в мире, где господствует техника. Выдвижение на первый план проблем стиля в подходе к искусству и литературе привело к рассуждениям о метаискусстве, паракритике, сюрлитературе, но в то же время эта сосредоточенность на стиле со временем приобретает явный оттенок иронии. Трудно выделить какую-нибудь господствующую черту, определяющую общую ситуацию в современном искусстве. Для него характерны прежде всего такие явления, как абстрактный экспрессионизм, поп-арт, оп арт и кинетическое искусство, фотореализм, минимализм и концептуальное искусство, хэппенинги и прочие направления, порожденные огромным разнообразием питающей их культурной среды. Но если такая господствующая черта и существует, то это, разумеется, заключенная в самом содержании этого искусства недолговечность и как следствие — непроизвольное тяготение к пародии и самопародии.

Одно время казалось, что дороги живописи и литературы расходятся. После второй мировой войны в литературе произошло явное возрождение реализма — «сердитые» писатели в Англии, неоэкзистенциалисты во Франции, писатели моралисты в американской литературе 50-х годов. Но постепенно и все более широко начался процесс сближения живописи и литературы; художники и писатели сообща пытались заново определить сущность творческого процесса, при этом они отвергали как реализм с его копированием действительности, так и герметическую замкнутость модернизма. Вновь появился на свет стилизованный реализм, представленный фотореалистической живописью, работами таких художников, как Хокни и Колфилд[1], а также «литературой факта». Но в то же время произошло и возрождение модернистской абстракции, но уже проникнутой новым чувством отчаяния, что нашло выражение в пустотах минималистской живописи, в молчании персонажей пьес Беккета.

---

[1] Синестезия — совмещение ощущений различных органов чувств; например определенный звук представляется окрашенным определенным цветом.

[2] Альфред Альварес (род. в 1929 г.) — видный английский критик, литературовед, печатается в ведущих периодических изданиях Великобритании.

[3] Эдвард Люси-Смит (род. в 1933 г.) — известный английский поэт, критик, журналист.

[1] Дэвид Хокни, Патрик Колфилд — современные английские художники.

Традиционный холст изжил себя, его осквернили, перекроили; текст переиначили, высмеяли, расщепили.

В то время как художники сосредоточились на технических приемах письма как таковых, писатели обратились к лексической поверхности текста. Они создавали недолговечные тексты, в которых главное значение имели не персонажи, взывающие читателей к сопереживанию, не те или иные системы ценностей и даже не композиционные приемы, например использование приема «точки зрения», а произвольные ритмические структуры, возникающие из противопоставления традиционных художественных средств, свободных вариантов композиции или пародии на структуру и форму. Таким образом, произведение искусства становится конструкцией, игрой с бесчисленным количеством вариантов. Традиционные отношения между художником, полотном и зрителем, а также между писателем, персонажем, сюжетом, текстом и читателем сами становятся предметом произвольного художественного толкования.

Искусство превращается в средство, с помощью которого жизнь со всеми ее случайностями и непредвиденностью можно играючи подчинить определенному порядку, в зависимости от обстоятельств наделить жизнь смыслом или объявить ее бессмысленной, признать ее реальность или нет. А что касается фактов, нашего старого доброго друга, то к ним относятся со все большим недоверием. Выдвижение в литературном произведении на первый план текста делает его своего рода визуальным объектом: писатель уподобляется живописцу, он рассматривает свой текст как нечто фрагментарное, эпизоды — как последовательность статичных сцен, а персонажи — как расставленные в определенных позициях фигуры. В то же время писатель сам становится в ту или иную позу, он актер, самозванец, творец зыбких восприятий, которые сам же с легкостью опровергает.

Пространство подавляет. Текст не вызывает у читателя чувства сопереживания или антропоморфических ассоциаций, предметы предстают безжизненными и никак не связанными с людьми, а те в свою очередь превращаются в карикатуры или фантастические неодушевленные предметы, которыми манипулирует автор. Всевозможные системы и шифры представлены в изобилии, но они несут чисто внешнюю, формальную функцию и заимствованы либо из старых литературных арсеналов, либо у современной истории с ее хаосом и скрытыми подспудными движениями. Автор ускользает от нас, почти теряет контроль над повествованием и при этом либо пускается в рассуждения о своем праве распоряжаться, как ему вздумается, созданной им художественной системой, либо настаивает на ее вымышленном характере. Писатель ищет свой путь, как Борхес, в лабиринте им же самим созданных слов. Среди этих изменчивых форм покоятся человеческие останки: персонажи оказываются в ловушке сюжетов или же сопротивляются предположению, что они плод вымысла, облаченный в лингвистический или структурный шифр, цель которого поглотить их. Все сюжеты существуют испокон веков, и в лучшем случае мы можем предложить новую версию старого сюжета или ироническую пародию на него. Сюжет конечен, текст бесконечен.

Шаг за шагом разрушается непосредственный человеческий контакт с произведением, кропотливая работа над пробуждением в читателе сочувствия. Подспудной темой таких произведений может быть разоблачение современного процесса дегуманизации или просто обобщающее изображение его, как в «кибернетическом романе» Томаса Пинчона, Уильяма Берроуза или Уильяма Гэддиса [1], причем средствами отвлеченной литературной техники, созвучной современному миру. Однако чаще всего такие произведения не избегают двусмысленности: полотна Лихтенштейна [2], фильмы Уорола, романы Берроуза критикуют этот античеловечный мир и в то же время прославляют его. Несомненно одно: кибернетическая вселенная мир господства техники, а также порожденное им изображение человека как пародии на самого себя, автомата, лицедея, актера без собственного лица, картонной фигурки глубоко укоренилось в современном искусстве самопародии.

Может показаться, что я слишком издалека подходил к названию моей статьи, которое заимствовал у Гойи, хотя, вероятно, оно принадлежит не самому художнику, так как речь идет об одном из панно «Дома глухого», выполненных художником на стенах его загородного дома где-то между 1814 и 1819 годами: впоследствии эти панно были перенесены на полотно и выставлены в Прадо.

Гойя был художником романтического склада, во власти противоречивых стремлений. В нем соединялся создатель парадных портретов и чувственных обнаженных, беспощадный карикатурист и скрупулезный хроникер войны и политических событий, придворный живописец и мятежный романтик. Эпиграф его ранней серии офортов «Капричос» («Сон разума рождает чудовищ») раскрывает романтическую расплывчатость его мировосприятия. Тот же афоризм подходит и к панно «Дома глухого», созданным в самый мрачный период жизни художника, после утраты политичес-

[1] Томас Пинчон (род. в 1937 г.), Уильям Сиворд Берроуз (род в 1914 г.), Уильям Гэддис (род. в 1922 г.) — современные американские писатели-модернисты.

[2] Рой Лихтенштейн (род. в 1923 г.) — современный американский художник, представитель направления в поп-арте для которого характерно обращение к образам рекламы, комиксов, телевидения.

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ
СОБАКА, ЗАТЯНУТАЯ ПЕСКАМИ

ких иллюзий, в период добровольного отшельничества, глухоты и тяжелой болезни, отчаяния и углубляющегося нигилизма. В этих гротескных, сюрреалистических полотнах нельзя не увидеть выражение смятения и ужаса, эти картины страдания и жестокости написаны болью; кажется, сама болезнь художника воплотилась в образы, извлеченные из самых тайных глубин воображения; и в то же время в картинах присутствуют конкретные черты страшного, истерзанного войной мира насилия. Бедный и мрачный колорит, искаженные лица, наводящие ужас сюжеты: Сатурн, пожирающий своих детей, шабаш ведьм на поле боя.

Картины «Дома глухого» образуют единый цикл, но «Собака, затянутая песками» выделяется среди прочих своим абстрактным характером: при первом взгляде на картину даже не возникает уверенности, что перед нами вообще фигуративная живопись. На картине отчетливо видны две большие, цветовые, соприкасающиеся плоскости. В правой части картины менее определенно просматривается третья цветовая плоскость. Внизу — под линией пересечения двух основных плоскостей — настораживающее серое пятно, и, даже убедившись, что картина представляет нечто вполне конкретное — композицию неба и песка,— мы не сразу понимаем, что же на ней изображено. Из этих наслоений возникает пронзительное по силе воздействия изображение головы собаки с бесцветными, широко раскрытыми глазами.

Трудно понять, почему эта голова без тела: что это, игра перспективы и тело скрывается за складкой песка? Или же — как подсказывает название — собаку затянули зыбучие пески и еще через мгновение голова также исчезнет под ними? Как бы то ни было, наше понимание картины преображает ее. Это уже не образец умозрительного современного абстракционизма, как могло показаться, но творение фантастического реализма. Фон картины обретает характер абстракции, несущей в себе угрозу, давящей и в конце концов уничтожающей. Любая живая фигура на полотне — как и герой в романе — вызывает у зрителя соучастие, сопереживание и создает ощущение подлинности; именно это ощущение подлинности превращает для нас полотно Гойи в картину жизни, где господствует окружение, пустыня, ничто. Возможно, реставрация, потребовавшаяся после переноса картины в музей, усилила ее абстрактный характер, но тем не менее вся композиция, основанная на сочетании больших цветовых плоскостей и подчеркнутом уменьшении фигуры, воспринимается как выражение трагической иронии. Голова собаки нарушает абстрактность композиции, но в свою очередь абстрактная композиция подавляет главную фигуру, как я думаю, в том сложном, неясном смысле, в каком искусство в конце концов подавляет свой предмет. Короче, образ приносится в жертву жизни, но также и самой форме.

Абстракция — современный термин; очевидно, мы обязаны им Воррингеру, который в 1907 году опубликовал работу «Абстракция и сопереживание» (в тот год, когда Стайн позировала Пикассо и возникал кубизм). Это слово можно только с натяжкой употребить, говоря о Гойе, художнике, который тяготел к романтизму, уходя от копирования реальности к искусству воображения и фантазии. В то же время нельзя не видеть прямой связи картины «Собака, затянутая песками» с двумя современными испанцами: речь идет, разумеется, о Пикассо и Ортеге-и-Гассете с его размышлениями о дегуманизации искусства.

Картина Гойи позволяет по-новому увидеть творчество Пикассо и философские теории Ортеги, поскольку в ней выражено спонтанное влечение к дегуманизации, то опьянение торжеством над задушенной жертвой, о чем говорил Ортега. В то же время переданные ею чувства ужаса, трагедии и сострадания выводят нас из области чистой формы к искусству художественного гуманизма и реализма. Мне кажется, что картина Гойи утверждает идею чистой формы и в то же время отрицает ее, поскольку не только воспроизводит, но и заключает в себе четкую оценку, переданную самими мазками, обрисовкой головы собаки, и таким образом демонстрирует две противоположные возможности художественного выражения, существующие в искусстве.

Картина давно не выходила у меня из головы, и секрет ее воздействия скрыт в том напряженном сочетании противоположностей, которое ей удалось передать. И несмотря на наше нынешнее знакомство с модернизмом, мы по-прежнему готовы ощущать это напряженное столкновение противоположностей — как в живописи, так и в романе, где реализм и абстракция по воле необходимости вступают в соперничество. Вот почему я выбрал эту картину для обложки моего романа «Человек истории», книги, для создания которой это столкновение противоположностей имело центральное значение как в плане темы, так и стиля.

Почему? Я думаю, сегодня художники и писатели должны найти точки соприкосновения с искусством дегуманизации не только потому, что его подход к человеку в известной мере обоснован, но по тем же причинам, которые сделали проблему дегуманизации главной в нашем современном обществе. Мы существуем в мире абстракции, где все подчинено механистическому процессу, в обезличенном мире, который наступает на человеческую личность и все менее поддается индивидуализации. Мы творим такой мир как на практике, так и в сфере мышления. Опасность состоит в том, что мы создаем его без всякой на то надобности, в результате наших стилистических ухищрений. Но в конце концов стиль — это не теоретические абстракции или сугубо эстетическое явление; стиль — это выражение при помощи ясной грамматики сущности переживаемого в данный

исторический момент опыта, и именно поэтому стиль должен претерпеть соответствующие изменения. Вряд ли можно ожидать от наших художников, что они создадут общество, отличающееся гармонией и глубиной, если наши архитекторы, планировщики городов, социологи и политики этого не делают и сделать не в состоянии. Самое большее, на что мы можем рассчитывать, это фантастические видения таких обществ и иных, вымышленных миров, запечатленных художниками. Обращаясь же к изображению нашего мира, художники должны найти язык, стиль и грамматический строй которого отвечали бы нашему времени. В этом и заключается назначение всякого подлинного стиля. Мне кажется, что такой стиль должен непременно основываться на грамматике строгих связей между объектом и субъектом, грамматике настоящего времени, поскольку нами утрачена историческая преемственность, а история — это процесс, который происходит здесь и сейчас, процесс, к которому мы непричастны, наблюдая со стороны за ходом дней, за приметами времени, изменениями моды, стиля стилей.

Нас окружает гнетущая атмосфера, которую мы сами себе создали. В моем романе «Человек истории» она воплощается в мире многоэтажных гаражей, торговых центров и жалких гетто, в мире бетонных коробок для мысли, именуемых школами и университетами, где мы предписываем образцы такого общества, в котором сами существуем. Среди этого ландшафта мы должны отыскать живую человеческую фигуру. В представлении главного героя моего романа человек — всего лишь актер, промелькнувший на зыбкой социальной сцене, исполнитель ролей, недолговечный лицедей, лишенный глубины и богатого содержания. Такой мир, такое восприятие человека, такой художественный стиль нашли отражение во многих наших лучших картинах, фильмах, романах. Например, в полотнах Хокни, фильмах Антониони, романах Хандке.

Побуждаемые естественным стремлением, мы хотели бы, чтобы романы, картины, фильмы не ограничивались констатацией такого мира, а давали бы нам надежные опоры в жизни, изображая человечных героев и воспринимая мир как старого доброго друга. Это вполне понятное и неизбежное желание, и многое в будущем зависит от его осуществления. Но мы должны понять, почему сейчас художнику трудно пойти навстречу этому желанию. Я думаю, что сила и выразительность картины Гойи «Собака, затянутая песками» достигается тем, что художнику удалось выразить «гуманистическое содержание» и в то же время занять позицию остраненности; к тому же стремился и я в своем романе. Внутренняя борьба Гойи между гуманистическим реализмом и абстракцией, его восприятие абстрактного как выражения трагедии и ужаса бытия раскрывают нам важные истины, от которых мы не должны отказываться. Главное достоинство романа, этой теперь уже старой литературной формы, в которой издавна шла борьба между реализмом и сюжетным повествованием, с одной стороны, и абстракцией и чистой формой — с другой, заключается в том, что жанр романа выдерживает решающий по своему значению спор между гуманизмом и абстракцией. На мой взгляд, этим, по сути дела, определяется жизненность и значение романа сегодня.

Перевод с английского Н. ВАСИЛЬЕВОЙ

◆

ГЕНИЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

Советский литературовед, кандидат филологических наук, специалист по английской литературе. Автор многих статей, публиковавшихся в журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ — MALCOLM BRADBURY (род. в 1932 г.).

Английский писатель, критик, профессор Нориджского университета (Восточная Англия). Автор романов «Есть людей нехорошо» («Eating People is Wrong», 1959), «Шаг на Запад» («Stepping Westward», 1965), «Человек истории» («History Man», 1975; роман удостоен премии «Букер») многих рассказов, исследований и статей по проблемам англо-американской литературы.
Статья «Собака затянутая песками» («The Dog Engulfed by Sand») включена в XVIII выпуск литературной серии «Stratford-upon-Avon Studies», которая выходит под редакцией Малькольма Брэдбери и Дэвида Палмера.

Заметки писателя

ЛАРС ЮЛЛЕНСТЕН

«Я — ЛИШЬ ЧЕЙ-ТО ОТЗВУК, ЧЕЙ-ТО СЛЕД»

Предисловие и перевод со шведского КАТАРИНЫ МУРАДЯН

Дебют известного шведского романиста и эссеиста Ларса Юлленстена состоялся в 1946 году, когда он вместе со своим другом Торгни Грейтцем выпустил книгу пародий на современную модернистскую поэзию. В «Камера обскура» писатели взялись доказать что каждый, кому, разумеется, не лень вполне может освоить стиль «современной лирики», лишенной глубоких мыслей и красоты, а порой и совсем бессмысленной «поэзии без поэзии».

В этом скептическом, тонком, изысканном и чуть ядовитом эссе сквозила ирония ученого в адрес «неточной» поэзии. Ларс Юлленстен — анатом, профессор медицины, представитель профессии, требующей предельной точности и бережного отношения к истине. Хотя, конечно, считает он, любая истина относительна, и самое главное — не возвести ее в ранг догмы, вот от чего настойчиво предостерегает Юлленстен во многих своих произведечиях. «Истина пребывает в мире инкогнито»,— заявит он потом в воображаемом диалоге с философом Сёреном Кьеркегором, кумиром своей юности.

Как писатель Юлленстен формировался после второй мировой войны, когда шведская интеллигенция была охвачена чувством вины за свою непричастность к общей трагедии, настроениями растерянности, страха перед возможностью новой «великой катастрофы».

Для шведских писателей послевоенного десятилетия, которое считается временем «политической летаргии и литературного пессимизма», характерны ощущения социальной «слепоты», утраты надежных этических ориентиров, настроения эскепизма, депрессии и опустошенности. Многие писатели поколения Юлленстена — прозаики Ларс Алин, Сивар Арнэр, Стиг Дагерман, поэты Карл Веннберг, Эрик Линдегрен и другие — восприняли войну как «зловещую и циничную гримасу истории», которая наполнила мир «хаосом, инертностью и тревогой».

В этой атмосфере многих шведских художников увлекает волна экзистенциалистских умонастроений, философия отчаяния. «Я начинаю понимать Кьеркегора, утверждавшего, что «сон — это проявление наивысшей гениальности»,— многозначительно роняет Юлленстен в эссе «Современные мифы» (1949), названном им диалектической фантазией, где он упражняется в вариациях на темы датского мыслителя, с ученической прилежностью осваивая его метод иронического отрицания.

ЛАРС ЮЛЛЕНСТЕН — LARS GYLLENSTEN (род. в 1921 г.).

Шведский романист, эссеист. Автор романов, сборников новелл и эссе.

Мы публикуем фрагменты из сборника эссе Ларса Юлленстена «Центон Признаки жизни» (Lapptäcken. Livstecken. Ur arbetsanteckningarna. Söderlälje, Författarförlaget, 1976).

В эти годы «сомнения и надрыва» Юлленстен присоединяется к пессимистическому течению «дискуссии о неверии» и провозглашает тезис «жизнеспособного скептицизма», в основе которого — идея духовной мобильности, способности сомневаться и отказываться от навязываемых буржуазным обществом исторических и идеологических стереотипов, этических штампов. Юлленстен призывает подвергать сомнению «все гарантии и авторитеты, кумиров и идолов». Идеи, претендующие на абсолютность, порочны, считает Юлленстен, поэтому люди, апеллирующие к ним, апеллируют к собственным иллюзиям, они обмануты эффектом смещенной перспективы. «Быть сознательным — означает достичь такого уровня мышления, который предполагает отказ от однозначных истин...» — пишет он в «Эссе о сознании» (1953).

Поиски «неоднозначных истин», считает Юлленстен, ведут художника по пути «научно-теоретического» эксперимента: «Мои новеллы — это своего рода эксперименты или образцы, это художественные упражнения, которые я пытаюсь зарядить смыслом и правдоподобием»,— пишет он в предисловии к сборнику «Отчаявшиеся» (1962). Но не эксперимент ради эксперимента важен для писателя. Смещая углы зрения, выдвигая самые разные, порой диаметрально противоположные гипотезы одной и той же темы, Юлленстен обращается к сложным философским коллизиям, к многомерным ситуациям, к «вечным» сюжетам.

Писатель во многом похож на театрального режиссера, так считает Юлленстен. Он подбирает актеров на роль, предлагает интерпретации разных характеров. Писательский труд Юлленстен уподобляет и актерскому: «писатель прячет за маской свое истинное лицо, как и актер, который, например, опираясь на энергию собственных переживаний, скрывает себя в роли Гамлета».

По принципу театрального действия построен один из самых значительных романов Юлленстена «Смерть Сократа» (1960). Самого Сократа, «историю славной и выдающейся смерти» которого Юлленстен повествует, в романе как будто и нет. То есть он присутствует, но косвенно, опосредованно Сократ, его поступки и мысли, события, связанные с ним, его смерть, наконец, увидены глазами второстепенных персонажей: Аспазии, дочери философа, ее возлюбленного, слуги, старика каменотеса, Ксантиппы. Весь этот хор драматических голосов — типичный прием античного театра. А главный герой появится в романе лишь после того, как опустошит свою чашу с ядом. В этом есть определенная художественная логика. Ведь именно Сократ, который предпочел смерть отречению от своих взглядов, переживет века, физическая смерть его станет началом духовного бессмертия: «Тело погибает и тлеет, но из мертвого тела восстает дух, который невозможно истребить...»

В образе Сократа Юлленстен утверждает силу духовности, побеждающей стихию жестокости и разрушения.

Эта же идея возникает в романе «Мемуары Каина» (1963), стилизующем образец греко-римской дидактической прозы.

У одного парижского букиниста появляется рукопись «с пропусками, с полуистрепанными страницами, с загадочными истолкованиями, с двойным ароматом подлинника и подделки», которая пленила воображение писателя. И он берется «отредактировать, прокомментировать и проиллюстрировать мистическую рукопись». Так возникают «Мемуары Каина», построенные в основном из фрагментов рукописей, философских сентенций, афоризмов, небольших новелл, названные писателем «романом в стиле коллажа».

Миф о Каине варьировался, как известно, неисчислимое множество раз. У Юлленстена в этическом поединке Каина и Авеля сталкиваются две полярные позиции, два мироощущения, две веры. Каин и Авель — антиподы. Каин — земледелец, трезв и практичен. Ему чужды иллюзии и яркие фантазии. Авель — охотник, лесной житель. Азель у Юлленстена — дикарь, бродяга, рыцарь, обаятельный мот и бессребреник. Каину, погруженному в монотонный ритм безрадостного труда от зари до зари, жизнь Авеля, приносящего богу непомерно щедрые дары, кажется легкомысленной, беспечной, праздной. «Мои глаза видели лишь работу. Для меня один день сменялся другим, и этому не было конца... Человеческая жизнь казалась мне убогой и бессмысленной... И сердце мое скорбело и ожесточалось...» — признается Каин. Убивая своего брата, Каин хочет спасти себя и общество от «опасности авелизма» — от веры в чудо. Каин, выступающий как бы от имени разума и справедливости, преодолевает власть кровных уз во имя высокой, как ему кажется, нравственной миссии, считая убийство справедливым.

Так, опираясь на легендарный сюжет, Юлленстен выдвигает этическую коллизию весьма актуального содержания: Каин убивает своего брата за то, что он — «чужак», за то, что Авель мыслит, чувствует и поступает не так, как он — Каин, считающий свой образ бытия единственно непреложным. Такое прочтение образа Каина и легенды, при всей ее внешней условности, содержит весьма прозрачный намек на исторические события XX века, и прежде всего на истоки возникновения фашистской идеологии.

И в этом романе, как и во многих других произведениях Юлленстена, выявились, с одной стороны, его резкое неприятие уродливых сторон буржуазной цивилизации, его яркая художественная одаренность, свежесть образного и изобразительного языка, чуткость стилиста. С другой — абстрактно-пацифистская направленность его идейных поисков, подверженность экзистенциалистским и модернистским концепциям,

склонность к релятивизму — черты, отчасти свойственные послевоенной шведской литературе в целом.

Тема трагедий, пережитых миром в XX веке,— основная и в следующем романе «Лотос в Аиде» (1966). И хотя эта мистическая одиссея посвящена в основном «прошлому, забытому, утраченному», пронизана «музыкой смерти и осеннего увядания», глубоким пессимизмом, но и в ней звучит страстное напоминание о чудовищных преступлениях фашизма, о варварской стихии разрушения, об ужасах войны, о миллионах человеческих жертв.

Проза Юлленстена — усложненная, нервная, метафоричная. Он любит гиперболические сравнения («Я — маленькая Вселенная, и Вселенная — это маленькое «я»), загадочные, многозначительные формулы («Мы хотим так много и можем так мало»), иронические афоризмы («Икар упал, как только приблизился к Солнцу»), неожиданные остроумные аллегории («Если бы крокодилы верили в бога, то у него была бы голова крокодила»), риторические вопросы («Как обезоружить боль?»). За парадоксальностью высказываний Юлленстена — всегда привлекающая острота эстетического зрения. «Я ненавижу легкий успех, которого может добиться любой литератор, блеснув какой-нибудь экстравагантной пикантной выходкой»,— писал он в одной из своих эстетических деклараций.

В книгу «Центон. Признаки жизни» (1976), отрывки из которой мы предлагаем вниманию читателя, вошли рабочие дневники, мимолетные эскизы и философские эссе, наброски к большим, но не осуществленным замыслам, лирические этюды, стихотворные эксперименты, шутливые новеллы, как бы оборванные на полуфразе, и вполне завершенные миниатюры. Здесь писатель размышляет о психологии художественного творчества и природе таланта, о тайнах своей профессии, о призвании, о необходимости писать и невозможности не писать. Обращаясь к творчеству античных авторов, Данте, Гойи, Шекспира, Гёте, Флобера, Стерна, Бьёрнсона, Стриндберга, Ибсена, Юлленстен пытается проникнуть в скрытые механизмы творческого акта, в моменты соприкосновения с жизненным материалом, которые диктуют художнику то или иное произведение.

Его занимают генеалогия бродячих сюжетов, категории героя и антигероя, история происхождения и эволюции популярных литературных и легендарных образов — Одиссея, Крузо, Ромео, Тиресия, Эдипа, Прометея. Орфей, например, представляется Юлленстену «невинным преступником», Дон Кихот — «героем бескомпромиссности и жертвой фантазии», Фауст — «патетическим и трагическим образом».

Особенно часто в своем творчестве Юлленстен обращается к Дон Жуану — «бессмысленному гордецу, бесцельному бунтарю, подчиняющемуся жестокой мушкетерской морали». Роман «В тени Дон Жуана» (1975), написанный в жанре фантастической, аллегорической притчи, шведские критики назвали злободневной карикатурой на современное буржуазное общество. Дон Жуан Юлленстена наделен чертами стихийного бунтаря-одиночки, который усматривает идеал абсолютной свободы в отрицании всяческих законов и норм и погибает в погоне за своими иллюзорными ценностями.

Соотношение вымысла и факта, фантазии и реальности, литературные открытия и эпигонство, природа трагического и сентиментального, каноны классицизма и сентиментализма — эти и многие другие эстетические проблемы затрагивает Юлленстен.

Впрочем, книга «Центон. Признаки жизни» — плод не только кабинетных, сугубо литературных раздумий писателя. Разные состояния «телесной боли и душевной жажды», «страдания, унижения, угнетения», неординарные, порой утрированные человеческие типы — аскеты, отшельники, бродяги, «нравственные альбиносы» — исследует Юлленстен. («Я — анатом и художник, и меня волнуют все человеческие проявления».)

Живя, по его словам, в «эпоху мятежников, хиппи, черных пантер, демонстрантов, анархистов, радикалов разных фасонов», Юлленстен верит в будущее общества, «исцелившегося от физических страданий и моральных недугов». И этой верой в человека, в торжество его разума и интеллекта над силами социального зла проникнуто творчество Ларса Юлленстена, о котором известный шведский писатель, лауреат Ленинской премии мира Артур Лундквист сказал: «Ларс Юлленстен, с удивительно органичными пафосом и интеллектуализмом, темпераментом художника и беспристрастностью исследователя, занимает особое место в современной шведской литературе».

Литературное произведение — это признание в страсти и в свойстве страсти, молитва о хлебе насущном, робкая надежда, что мир снизойдет именно к твоей молитве, даст утолить именно твою страсть.

■

Есть порочные формы радости — когда созерцание чужих страданий доставляет грубое, вульгарное наслаждение, когда нарушенные пропорции, уродства разного рода и оттенка вызывают сладострастные смешки. Порочная радость — непременный ингредиент традиционных развлечений, возраст которых — тысячелетия: дворцовых увеселений, цирковых и уличных, площадных и рыночных представлений и т. д.

Но есть еще и порочная сентиментальность — бесконечная жалостливость и безудержное упоение чужими страданиями, экзальтация, своего рода ментальный

стимулятор, нарциссическое самолюбование, псевдосолидарность со страдающим. Из-за своей фальши и лживости порочная сентиментальность во много раз пошлее и грубее порочной радости. Под сентиментальность маскируются жестокость и эгоизм и от этого становятся более изощренными и надежно защищенными.

■

Мое творчество лишь отчасти принадлежит мне. А может быть, вовсе не так, а наоборот: я принадлежу своему творчеству, я — его собственность, его продукт.

У Бьёрстьерне Бьёрнсона[1] спросили о Сюнневе Сульбаккен[2] — кто она, собственно, такая, откуда он ее взял? И он ответил: «Сюнневе Сульбаккен — это скорей всего я сам!» И Флобер: «Эмма Бовари — это я!» Гёте: «Вертер и Фауст — это я сам!» И Томас Манн: «Доктор Фаустус и Лотта в Веймаре — это я! И Тонио Крёгер — тоже я!» Кьеркегор: «Писатель Юханнес — это, наверное, я, скорее всего я!» Примеры можно продолжить. И я могу ответить так же, если меня спросят: Ларс Юлленстен? Ларс Юлленстен, может быть, это я?!

И дело здесь вовсе не в автопортрете. Полотно вмещает гораздо больше, чем художник запечатлел на нем, чем могут увидеть зритель или критик. Я — лишь чей-то отзвук, чей-то след.

■

По литературе бродит вереница знаменитых пар: одни — герои и другие — их карикатуры. Фауст и Вагнер, Дон Жуан и Лепорелло, Дон Кихот и Санчо Панса, Гёте и Эккерман.

У героев — бóльшие масштабы, чем у «среднего» человека, или у них иные и более «вызывающие» пропорции, чем у простых смертных,— они мужественнее, остроумнее, у них богаче воображение, глубже страсти и т. д. Герой — сверхчеловек или внечеловек в меньшей или большей степени. Он — идеальный образ, вызов тем, кто скромнее и расчетливее. Порой он становится козлом отпущения и погибает именно потому, что поощряет в себе те или иные черты характера, устремления, недоступные другим. Иначе он не может — так уж он создан.

Эпигон же героя карикатурен. Он гораздо мельче и правдоподобнее; он — отражение героя в сильно уменьшенных масштабах, в искаженном виде. У него есть родство с героем, симпатия к нему, но для него герой все-таки чуть-чуть глуповат и порой чрезмерно заземлен. Эпигон как отражение в кофейной ложке, уменьшенное и искаженное. Меньшие пропорции и пафос эпигона делают его комичным, более или менее смешным. Он как бы на ступеньку ниже героя, повествователя и читателя.

И все-таки несмотря ни на что он — своего рода слепок с героя и отчасти отражает комический блеск самого героя. Он высмеивает всех и вся, кроме повествователя и читателя.

Он может улыбаться чуть стыдливо и почти героически, повторяя эффект порочной улыбки.

Эпигон, по-моему, разоблачает какие-то сомнительные черты героя. Он подозревает, что внутри совершенных и избранных есть какое-то полое пространство.

Возможно, в этом и заключается важная особенность комического: клоун делает из себя посмешище, и мы смеемся над ним с высоты собственного превосходства. Но он же и бросает луч сомнения на великих и избранных, и мы, по крайней мере на мгновение, высвобождаемся из-под гнета их превосходства. Клоун же — всегда козел отпущения. Он позволяет нам почувствовать превосходство, но парадоксально противоположное превосходству самого клоуна, который все-таки превосходит нас хотя бы тем, что не стремится быть умнее, чем он есть. Одновременно он вступает с нами в заговор, чтобы избавить нас от чувства превосходства по отношению к тому, чье величие заключается в простоте, смелости и чистоте. Нам самим такое величие недоступно. И эффект срабатывает: мы становимся терпимее и великодушнее. Мы становимся больше — хотя, может быть, нам это и не нужно.

Большой герой и маленький или гротескный двойник, отражающий его,— древняя и широко распространенная модель пары в литературе и искусстве, в религии и реальной жизни.

■

Мои книги — своеобразная стратегическая игра, где маркеры — жизнь, смерть, ненависть, радость, преданность, страх, страдание, беспокойство, отвращение, сомнение, вина, наслаждение, игра, стыд, нежность, крик и еще многое, очень многое — человечность, человеческие ощущения. И ложь, ложь.

■

Мир людей наполнен голосами и знаками — обращения, обвинения, призывы, вызовы, приглашения, инструкции, проекты...

Мы живем в мире описаний, истолкований, призывов, соблазнов, объяснений, развлечений — в духовном мире, насыщенном знаками и ценностями, которые формируют или хотят формировать нас. Мы манипулируем ими деликатно, жестко, порой снисходительно, сами не отдавая себе в том отчета...

Голоса наделены неисчислимым количеством инструментов, плоть и душа которых

---

[1] Б. Бьёрнсон (1832—1910) — норвежский прозаик, драматург и театральный деятель, автор многих повестей и исторических драм. Горячо отстаивал идею национальной независимости Норвегии. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Героиня одноименной повести Б. Бьёрнсона.

ЛАРС ЮЛЛЕНСТЕН
«Я — ЛИШЬ ЧЕЙ-ТО ОТЗВУК, ЧЕЙ-ТО СЛЕД»

воплощаются в самых разных образах. Литература и искусство вмещают бесконечность отдельных и коллективных голосов всех времен и культур. История запечатлена в словах и образах, монументах и традициях. Конструкции общества, города и здания, формы пашен и земельных наделов, дороги, фабрики и здания, улицы, аллеи, проспекты, парки, дорожные знаки — все свидетельствует о чем-то, все выражено разноязыко, все плотно отмечено знаками. Организации и институты, привычки и непривычки, товары в дорогих магазинах и магазинах самообслуживания, ярмарки, обычаи и поговорки, одежды и моды, способы завязывать галстуки, манера женщин улыбаться, детские игры и болтовня, пьяный бред, ругательства, газетные сенсации, популярные песенки, фасоны обувных шнурков, витражи в Александрийском соборе, желоба водосточных труб Нотр-Дама, марки, проездные билеты — всюду и везде мы окружены документами и образцами, обнаруживающими чье-то присутствие, чьи-то требования, надежды и свойства, слишком разные, порой непостижимо сложные.

Мы не одиноки. И даже тот, кто погружен в глубокое, безграничное отчаяние, не одинок, хоть сам того не знает. Даже и его отчаяние и одиночество устранимо — ведь он живет в мире людей.

■

Есть такие формы творчества и творческой радости, которые при ближайшем рассмотрении могут показаться аморальными, а, впрочем, может быть, так оно и есть. Радость сочинять литании. Писать трагедии. Желание изображать на полотне ад. Гойя и его «Ужасы войны», Данте — создатель «Ада», Шекспир — автор «Макбета», Стриндберг — сочинитель «Ада» и «Легенд». Босх, Еврипид, Паскаль, Беккет...

Откуда берется дерзость, бесстрашие — анатомировать человеческие ужасы, страхи, несчастья?

Уже Аристотель пытался объяснить, почему люди любят смотреть трагедии. Он считал, что, помимо всего прочего, в этом содержится своего рода процедура очищения, «духовная» баня со всеми стадиями — напряжением, изнеможением, мукой обновления и раскрепощения, высвобождения.

Но аристотелевская категория катарсиса относится к зрителям, публике. А как же сам художник, который делает предметом своего творчества трагедии и катаклизмы? Может быть, и здесь срабатывает закон катарсиса как движущей силы? Активно вторгаясь в природу страдания, оперируя им у себя в художественной лаборатории, творец срывает со страдания ореол неизбежности, неотвратимости.

Возможно, иногда собственные муки, лично перенесенное и преодоленное страдание становятся мотивом и движущей силой творчества. Художник, «использующий» страдание как вспомогательный материал или инструмент, обращается с ним, как с послушным воском, обретает как бы лицензию на страдание. Он выносит «на продажу» свою частную жизнь, самого себя, обнажает свои раны и муки, использует свое «я» как средство достижения своей цели.

■

«Я не пишу книги — я создаю писательство»,— так я однажды сказал в одном интервью. Я работаю в пантеоне или панопгикуме. Он постоянно пополняется новыми экспонатами, и конца этому нет. У меня благие намерения. Я призываю к человечности, молю о доброте и справедливости. Самодовольная свобода от долга и необходимости чревата творческим бесплодием.

Моя писательская задача — не проповедовать, а изображать достоверное. Не играть, а обнажать, разоблачать, призывать.

■

Я отношусь к слову интимно и властно. К самому слову, к словесным описаниям, документациям, к языковым экспериментам и упражнениям. Я вижу в языке инструмент, который способен упорядочивать и направлять наше существование, изменять и обновлять его. Это отношение, конечно, во многом вызвано моей писательской деятельностью. Оно — плод моей профессии, ею взращивается и поощряется.

■

Что такое «сложный писатель»?

Часто считается, что сложен писатель, которого трудно читать и понимать, трудно внимать тому, что он пишет, у него сложный и, возможно, спорный, запутанный ход мыслей, у него непричесанный язык, полный хитросплетений и ловушек, и чтение его внушает чувство неуверенности. Тут речь идет о технической сложности.

Но бывает и иначе. Называя писателя сложным, читатель или критик скрывает свою обиду и раздражение на тот материал, которому сопротивляется. Если писатель заставляет мыслить, внушает тревогу и беспокойство, будоражит — его зачисляют в ранг сложных. Будоражить—прекрасно, но очень непросто. Трудный писатель может быть трогателен, вызывающ, нравственно требователен и действительно сложен — для тех, кто действительно всерьез пытается воспринять его творчество, «услышать» его, участвовать в его экспериментах и поисках. И напротив, на одного сложного писателя всегда найдется целая серия легкодоступных авторов сентиментальных, драматических историй, поставщиков чисто развлекательного чтива.

Трудный писатель в собственном смысле этого слова серьезен, значителен, ответственен по отношению к бытию — к самому себе и другим. Написанное и прочитанное вводится в сферу жизненных взаимосвязей. В этом есть нечто ибсеновское, сродни требованиям его знаменитого героя Бранда, которые кажутся максималистскими или абсолютно бесчеловечными. Трудный писатель разгадывает и отвергает иллюзии, искусство иллюзионизма, он не призна-

ет ветреного кокетства с публикой, увертоk и чепухи. Такую позицию выбирают немногие. Но, конечно, нельзя, чтобы серьезность и возвышенность приводили к ограниченности кругозора, пессимизму, отсутствию чувства юмора. Жизнь без развлечений, легкомыслия; пустой многозначительности, чепухи, игры, отклонений и случайностей, чувственности и прочего немыслима. Все эти черты присущи и человеку, и произведению искусства, свойственны художественному образу вообще, сколь бы он ни был серьезен и возвышен.

Конечно, сложность имеет много полутонов и оттенков.

Гуннару Экелёфу[1], например, абсолютно чужда проблема отцеубийства, которая занимала подавляющее большинство шведских поэтов, выступивших несколько лет спустя.

Паскаля не трудно читать, язык его не сложен, но трудно охватить его идеи.

У Кьеркегора сложны и идеи и язык.

Достоевский пишет не очень сложно, но задает читателю важные нравственные задачи.

■

Все мое творчество — вечный вопрос.

Что есть что? Что реально и что призрачно? Что устойчиво и что эфемерно, что важно и что пустячно? Как подойти к ближнему, как поступить и т. д. Возможно, мое творчество — результат неприобретенных знаний и потерянных дружб, результат отчуждения. А может быть, мое творчество — настойчивая и всегда безуспешная защита. Как мне выстоять, когда гибель и разочарование, кажется, одерживают победу в последнем туре? Как обезоружить боль? Что противопоставить отвращению и как вырваться из отвращения, уныния и суеты? Что противопоставить тому, что я вижу? Откуда взять силы, чтобы продолжать жить этой жизнью, иногда столь тягостной и оскорбительной? Как творить и зачем отягощать себя творчеством?.. А может быть, мое творчество возникло из ощущения трагизма и боли?

Но, впрочем, может быть, мое творчество — всего лишь настойчивое объяснение в любви, просто с разными интонациями. Меняя состояния и голоса, я описываю людей, их чувства, отношение к миру, подвиги, судьбы и приключения и то, как их чувства вступают в противоречие с их подвигами. Постепенно я приближаюсь к людям, пытаюсь их постичь, смотреть на них с разных точек зрения, так, чтобы точек зрения было как можно больше, стараюсь обнаружить в них самое значительное. Я изворачиваюсь так и этак, чтобы понять, что составляет их суть и суть их существования — не затем, чтобы задавать бестактные вопросы или отгадывать незамысловатые загадки, а для того, чтобы подойти к ним, к их жизни вплотную. Значит, мое творчество можно рассматривать как результат неукротимого любопытства, и жажды ощущений, и постоянно почтительного удивления неисчерпаемым человеческим тайнам, жажды постичь законы человеческого существования — неутолимой жажды.

■

Меня никогда не пытали, мою жену не насиловали, моих родственников не бросали в тюрьмы, моего отца не казнили, моих друзей не сжигали. Со мною этого не случалось — я не испытал всех этих мук. Но я знаю, что это случалось, что так было, так случается, так может случиться. Это — не мои волнения, не мой страх. Но я не лгу, хотя и мой язык говорит за других, за тех, чьи страдания и я переживаю. Ведь смерть нема. Живые обращаются к живым, живые внемлют живым. Поэтому я должен писать, напоминать, предостерегать...

■

«Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна и его удивительный роман о Тристраме Шенди вызывают впечатление рапсодии и каприза, полной естественности,— кажется, будто все написано невидимой рукой, согласовано с намерением и планом, о котором сам писатель не имеет понятия. Он не владеет, не распоряжается написанным. Оптимизм, радость, надежда, удивление, похвала, восторг — все эти чувства, возникающие в писательской работе и его произведениях, направляются именно невидимой рукой. И именно эта невидимая рука ведет рассказчика, сообщает голос и интонацию повествованию, она заставляет рассказчика вспомнить события и штрихи собственной жизни, все-все-все, во что он «встревал» и «попадал». Лоренс Стерн и его герои, его собственная жизнь и их жизнь очень близки. Они ощущают полноту и радость жизни — творец и образы, им созданные. И писателя и его персонажей ведет эта невидимая рука, она недоступна для обозрения, о ней невозможно говорить, ее невозможно описать, или нарисовать, или понять, можно говорить лишь о ее созидательном подвиге.

■

История Дон Жуана — образец судьбы человека, который строит свое поведение, опираясь на диктат собственных решений, и это приводит его к гибели и краху.

Но какие, собственно, могут быть претензии к Дон Жуану?

Крах Дон Жуана происходит в сконструированном моралите. Из этой искусственной монодрамы вовсе не следует, что Дон Жуану всегда грозит гибель. Схема легенды или драмы утверждает, что гибнет именно Дон Жуан, не претендуя на обобщение, что поведение по донжуановскому

[1] Бенгт Гуннар Экелёф (1907—1968) — шведский поэт, автор сборников стихов «Поздно на земле» (1932), «Non serviam» (1945), «Чепуха» (1955). Поэзия Экелёфа отмечена философской сложностью, метафоричностью.

ЛАРС ЮЛЛЕНСТЕН
«Я — ЛИШЬ ЧЕЙ-ТО ОТЗВУК, ЧЕЙ-ТО СЛЕД»

образцу всегда в реальности приводит к гибели. История о Дон Жуане — это нравоучение, а не художественный вымысел. Недаром она возникла в католической Испании, стянутой тугим корсетом ханжества и лицемерной морали, в Испании эпохи «великой инквизиции» и религиозного фанатизма. И позже легенда пересказывалась, забывалась, возрождалась, погибала и воскресала. Во времена романтиков, примерно в то же время, когда Фауст был заземлен до уровня героя «романсов уличных певцов» — «жестоких романсов», Дон Жуана стали оберегать как трагического героя, как жертву индивидуализма и философии сенсуализма. Некоторые относились к нему с симпатией, иногда с сентиментальностью, находили свой собственный вожделенный жизненный идеал реализованным, апокрифированным и героизированным в Дон Жуане.

Другие усматривали в нем устрашающий пример — крах человека, который поступает, сообразуясь лишь со своими желаниями, в эпоху, когда общепринятое отстаивало свои этические нормы и когда новая пиетистская набожность взывала к новому усиленному религиозному пафосу.

Но обязательно ли повествование о Дон Жуане должно завершаться именно так, трагически? Конечно нет — но, быть может, счастливая развязка Дон Жуана будет пошлостью? Или сама модель в своей внутренней структуре такова, что предусматривает только этот финал? Скорее всего со счастливой развязкой в легенде о Дон Жуане пропадает назидательный пыл, она превращается в апологию соблазнителя и распутника... А еще всего вероятнее — легенда обретает этические контуры той эпохи, в которую она воскрешается, и рассказчик интерпретирует ее так, как это необходимо с его точки зрения для публики, которой она адресована... Поэтому она всегда полна значения и конкретно-поучительна...

Легенда проходит своего рода эволюцию, подчиняясь этическим требованиям разных эпох и обнаруживая бесконечную вариантность прочтений.

Куда исчезла легенда о Дон Жуане (ведь был у нее период депрессии), когда к ней был утрачен интерес и она потеряла свою литературную жизнеспособность? И не является ли, скажем, апокриф о Робинзоне Крузо историей Дон Жуана со счастливым финалом? Может быть, Робинзон Крузо — удачливый кузнец собственного счастья, тип героя, соответствующего эпохе Просвещения, и антипод другого Дон Жуана — романтика времен инквизиции? Пессимистическое и оптимистическое мировоззрение противопоставляет друг другу этих литературных героев-идолов. эти две плоскости человеческой души два нравственных идеала — пиетистски сентиментальный и рационалистический...

У Тирсо де Молина, жившего в Испании XVIII века, Дон Жуан олицетворяет протест против учения о предопределении, против непризнания человеческого достоинства и независимости.

Робинзон Крузо у Дефо, например,— воплощение идеала эпохи Просвещения о человеке-первооткрывателе, исследователе, наделенном духовной силой, волей и предприимчивостью.

Дон Жуан у романтиков воплотил черты «нового» пессимизма, неверия в то, что можно строить и направлять собственную жизнь. Отвергая возможности воли, разума, дисциплины, Дон Жуан романтиков взывает к иным свойствам — чувствам, чувствительности и кротости, к неоднозначности, к героизму, к трагической судьбе, к сентиментальности...

Дон Жуан знает, что он обречен — ведь он благочестив, как может быть благочестив богохульник, а именно: он верит в существование и значение бога, которого он хулит. Те, кто сотворил и оберегал легенду о Дон Жуане, сделали его именно сознательным упрямцем, который признает превосходство бога и восстает против него.

Казанова — сибарит, счастливый мот и соблазнитель женщин — совершенно иной тип Дон Жуана. Возможно, есть и еще иной вариант Дон Жуана, не богохульника, а того, кто хочет самоутвердиться, разрушая слащавый идеал безграничной преданности и моногамии, и в своем разрушительстве стремится смести все барьеры...

Кем назвать Лепорелло, Сганареля — лакеями, эпигонами?

■

Кто рассказал о Дон Жуане — кто первый?

Кто знал о нем все, кто следовал за ним по пятам — за его победами и поражениями, кто видел, как это было на самом деле, кто слышал, как это было, как он хвастал бесконечным списком своих возлюбленных? Только он, единственный,— Лепорелло! Он прячется в тени легенды, этот ментор с указкой, он поучает и морализирует, он подстраивает этот в буквальном смысле устрашающе нравоучительный конец! Он источник и рассказчик — Лепорелло!

Но почему же Лепорелло так усердствует, почему он выступает как ментор и проповедник так неподкупно строго? Он очарован Дон Жуаном, это видно с самого начала, это явствует из того, что он сам рассказывает. Его очарованность ведет его по следам Дон Жуана всю дорогу, до конца — или до того конца, который он сам, Лепорелло, теперь нашел, слава богу, чтобы снабдить свой рассказ ядовитым жалом скорпиона, если он, Лепорелло, не выдумал вообще весь рассказ от начала до конца именно для того, чтобы пронзить его этим же жалом.

Жил ли Дон Жуан — мы не знаем. Но мы знаем, что тот, кто рассказал о Дон Жуане, жил, это очевидно. Как жил Дон Жуан — если он жил,— этого мы не знаем. Но мы знаем, что тот, кто рассказал о Дон Жуане, рассказал о нем именно так, как он рассказал,— это мы знаем. А уж был ли то Лепорелло — тот самый Лепорелло, этого мы не знаем. Но что рассказчик был — это бесспорно, поскольку нам известно, что

есть рассказ. И что рассказчик ведет рассказ по следам Дон Жуана слово в слово, сцена за сценой, очарованный и напуганный,— это мы знаем. Возможно, Лепорелло, возможно, кто-то другой, кого нет в рассказе, но чей образ — из рассказа явствует, слово в слово, сцена за сценой — следует по пятам за рассказчиком и его любовными победами. Возможно, Лепорелло, возможно, кто-то другой, возможно, он не один, а их много,— но кто-то из них, и его образ есть в рассказе. И не ошибка назвать его Лепорелло, даже если это был кто-то другой. Носим же мы все свои имена — и заслуживаем их, хотя не всегда им соответствуем. И все-таки наше имя — часть нашего портрета.

■

Писатель-романист — авторитет для своих персонажей, как директор театра марионеток — для своих кукол. Авторитет непререкаемый, но отнюдь не единовластный. Маски, куклы на ниточках или «варежках» выстраиваются в цепочку. Также и герои романа, когда они возникают в фантазии и ищут словесного воплощения.

Эта цепочка — один из важнейших компонентов в диалектической игре, которая составляет писательский труд, как и писание полотен, и реставрация икон. В масках и куклах, в полотнах и словах возникают неведомые силы и духи, которые приводят их в движение, обретают над ними власть. Иначе творчество было бы в лучшем случае утомительным и бессмысленным искусством фокусника.

■

Легенда о Дон Жуане — это легенда о тщеславии, и в этом плане она имеет параллели с легендой об Орфее. И Орфей в конце концов терпит фиаско, разоблачает себя, и он наказан, когда сила, не зависящая от него, обретает над ним власть, он оборачивается — и царство мертвых снова забирает его Эвридику... Так вот, оказывается, он не был властителем этого царства, а лишь подданным, одним из его подданных. То же самое с Дон Жуаном — его кичливость наказана. Его эротические приключения — химеры, он не властен над своей жизнью, он зависит от нее целиком. Разница между Орфеем и Дон Жуаном в том, что Орфей, очевидно,— индивидуалист и опирается на свою мнимую свободу, в то время как Дон Жуан все-таки подвержен общепринятым нормам, традициям и запретам. В этом смысле Дон Жуан скорее похож на современного человека, представителя экономико-политико-технологической элиты, которая, кажется, «доросла» до того, чтобы сконструировать модель человеческого благосостояния и сформировать ценности, спроецировать эту модель на мир чувств, сделать из людей податливый, благодатный материал в соответствии со своими желаниями и устремлениями.

■

Никто не в состоянии понять то отвращение, беспокойство и неприязнь, которые так часто внушает мне мое писательское ремесло — ни критики, ни писатели. И оно приносит ни с чем не сравнимое ощущение безграничного счастья...

Это почти то же самое, как быть влюбленным в неверную женщину. Я говорил себе много раз, что проще расстаться. Я мог бы жить спокойнее, уютнее, смог бы больше сделать, наконец. Но это было бы скучнее, даже бессмысленнее.

Так, по крайней мере время от времени, я ощущаю наполненность жизни, ее смысл.

И эта странная, детская, незрелая, претенциозная, напыщенная, дурацкая и беспрерывно унижаемая влюбленность, эта смехотворная, несчастная, непостоянная влюбленность, почти всегда безответная, столь мучительная, жалкая и затравленная, похожая на все другие несчастные влюбленности, на своего рода наркоманию... Постоянная зависимость от объекта своей любви, как ты ни стремишься от нее избавиться, невозможность удовлетворить свое желание, депрессия, беспокойство, рассредоточенность, отвращение, презрение к самому себе и... И краткие путешествия любви — редкие часы счастливого блаженства, восторги, а потом — долгие периоды горьких сожалений, уныния и страха.

Есть и мнимые восторги, уводящие на ложный путь. Они остаются в памяти и отравляют надежду и уверенность. Чем дольше я живу писательской жизнью, тем глубже в нее втягиваюсь, тем невозможнее становится что-то другое, тем настойчивее и истеричнее мысль, что пора кончать, что вдохновение — как алкоголь, как наркотик, но что оно когда-нибудь иссякнет — не вечно же! И я не властен над ним, увы...

Оно мне постоянно изменяет!

◆

С. КОНДРАШОВ

БЛИКИ НЬЮ-ЙОРКА

Вместо воспоминаний

Привычное слово

Нью-Йорк... Когда я пытаюсь заново вглядеться и вслушаться в это слово, оно кажется странным — то ли дело Тула или Калуга. А между тем было оно чрезвычайно привычным. Было и остается. Через Тулу лишь однажды проезжал, Калугу, признаться, не видел, а в Нью-Йорке, работая корреспондентом «Известий», прожил шесть с половиной лет. Потом нередко наезжал туда из Вашингтона, где пробыл еще пять лет в том же качестве.

Первые нью-йоркские впечатления, относящиеся к ноябрю 1961 года, придавлены грузом времени, их трудно отслоить от множества последующих. Не помню, как сели в международном аэропорту Айлдуайлд (ныне имени Джона Кеннеди), впервые перемахнув через Атлантический океан. Забылось первое впечатление от таможенного зала в здании Международных Прибытий, хотя этот зал должен был запомниться: он большой и двухэтажный, встречающие смотрят с застекленной галереи второго этажа, и на их глазах, как фокусники на арене цирка, таможенники потрошат внизу чемоданы, выставляя на всеобщее обозрение багаж прибывших,— неожиданный первый элемент приобщения к стране, где так пекутся о privacy — праве личности на уединенную, закрытую от посторонних глаз жизнь (что, впрочем, не мешает господству паблисити и рекламы).

От того давнего вечера память сохранила скорее ощущения, чем картины. Когда вышли из здания аэровокзала, кожей почувствовал липкую влажность воздуха, напоминающую о близости океана, а ноздри уловили особый сладковато-кисловатый дух бен-

КОНДРАШОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1928 г.).

Советский журналист-международник, лауреат премии имени Воровского. Автор книг «Жизнь и смерть Мартина Лютера Кинга» (1969), «Американцы в Америке» (1970), «Свидание с Калифорнией» (1975), «По второму кругу» (1977), статей и очерков.

зиновых испарений, именно нью-йоркских испарений, смешанных с нью-йоркским воздухом и неотделимых от него. По пути из аэропорта в город пришло и очень запомнилось ощущение резкого четкого темпа — одно из самых неотвязных и всепроникающих американских ощущений. Упруго и мощно бежала американская машина по восьмирядному Гранд сентрал паркуэй, впереди рубиново горели задние огни других машин, навстречу, за разделительной полосой, неслась светоносная река из автомобильных фар, холодным и резким был свет фонарей, шуршали шины как бы в тишине, и через радиоприемник, объединяя все — и бег машины, и шуршание шин, и хирургический свет ночных фонарей,— врывался отрывисто-отрешенный, завораживающий ритм джаза. Это было вступление в тему темпа, в долгую сагу американских дорог, по которым предстояло изъездить десятки тысяч миль.

Еще одно внутренне сильное ощущение первого вечера связываю со старым, институтских лет, близким товарищем, который когда-то меня, бездомного студента, приехавшего в Москву из Горького, угощал кашей в университетском общежитии, где сам жил на птичьих правах, с которым в одной языковой группе зубрили английский, истекали потом, готовясь к летним экзаменам в жарких аудиториях возле Крымского моста, и за пять лет учения, по пословице, съели вместе пуд соли. Теперь он был нью-йоркским старожилом. Он-то и встретил нас в аэропорту, он-то и отвез на квартиру моего предшественника по «Известиям», уже отбывшего в Москву. И он же удивил и огорчил меня в тот первый вечер какой-то непонятной, холодноватой, как показалось, отдаленностью: встретил, привез, посидел немного, выпил рюмку-другую и — привет, отдыхайте с дороги! — хотя не отдыхать хотелось, а поговорить по душам, зацепиться за эту живую знакомую душу в городе, где все было внове и вчуже. «Что же ты, брат!» — так и хотелось крикнуть ему вдогонку, когда он исчез в лифте, провалился вниз, отправился к своей машине, которую еле воткнул среди других машин у обочины 87-й стрит. Но я удержался от упрека — и правильно сделал. Он прекрасный человек, и много незабываемых часов ждало нас впереди. Просто каждый из нас пропитан тем, что его окружает. Не сразу я понял, что в моем товарище уже сидел Нью-Йорк с его темпом и ритмом, с его образом жизни. А в меня Нью-Йорк еще не вселился. Со временем упрек, от которого я удержался в тот вечер, могли бросить — иногда и бросали — мне мои товарищи и друзья, впервые попадавшие в этот город, в котором я тоже потихоньку становился старожилом.

Так началась нью-йоркская жизнь.

Неспешно оглядываться вокруг у газетчика нет времени. Через четыре дня я отправил в редакцию свою первую заметку. Дни побежали, складываясь в недели и месяцы. Работы было много, она ускоряла этот бег. Толстые, поначалу непривычные газеты и журналы, притягивающий и отталкивающий, назойливый мир американского телеэкрана, залы и коридоры ООН, при которой я был аккредитован в числе сотен других журналистов, дневные и ночные бдения на пресс-галерее Совета Безопасности, серые, слегка шершавые и, увы, неисчислимые страницы основских пресс-бюллетеней. Моря и горы информации, которую нужно было — профессиональный жаргон — перелопачивать... Корреспондент работает наподобие аккумулятора, но разряжаться должен столь же быстро и интенсивно, как заряжаться. Разряжаться приходилось глубокой ночью, когда в Москве уже наступало рабочее утро, диктуя очередную корреспонденцию терпеливым и чрезвычайно предупредительным известинским стенографисткам.

У туриста мало времени, на Нью-Йорк — четыре-пять дней, но его раскованности можно позавидовать: ездит, ходит, глазеет. Душа его и мозг целиком отданы восприятию нового. А у нашего брата, корреспондента, время принадлежит не тому, что близко, а тому, что нужно, сейчас же, для работы — событиям. Вечная спешка, словно дымка на глазах, мешает ему вглядеться даже в город, где он живет, если город этот не его сегодняшняя тема, не то, над чем он работает. При всем при том, погрузившись в свое дело, я поступил в круговорот жизни в Нью-Йорке как один из его обитателей.

Метафорическое слово — небоскреб — стало свойским, не абстрактные небоскребы, а конкретные, с собственными именами билдинги: «Эмпайр стейт», «Крайслер», «Ар-Си-Эй билдинг» в Рокфеллер-сентер, «Тайм энд лайф билдинг», «Дженерал моторс билдинг»... Возле нью-йоркских небоскребов ходил, как в Москве под тополями и липами Тверского бульвара. Сколько раз вечерами с моста Трайборо видел, мчась в машине, знаменитую линию манхэттенского горизонта, прорезанную светящимися колоннами гигантских зданий на фоне темного неба. Постояв в очереди, не такой уж длинной и по-американски хорошо организованной, мог за какие-то считанные секунды взлететь на 86-й этаж самого тогда высокого «Эмпайр стейт билдинга», а затем и на 102-й этаж, чтобы в толчее других любителей высоты и панорамных видов обозреть, если не мешали туман или смог, геометрически четкие просеки манхэттенских улиц, большую, зеленую, с вкраплениями озер, заплату Сентрал-парка, бруклинские крыши, убегающие к океану, изящные полуожерелья гигантских подвесных мостов на заливах и проливах, суда и причалы на Гудзоне и Ист-ривер и континентальные бескрайние просторы на западе, за широкой лентой Гудзона, напоминающие, что Нью-Йорк возник и развивался как первая пристань и самые большие ворота Америки... Но отдадим панорамы туристам. Став оседлым жителем, я больше видел город, не отрываясь

от закованной в бетон и асфальт матушки-земли, через толпы на тротуарах, чертыхаясь в автомобильных заторах.

В Нью-Йорке, как и всюду, все течет и все меняется, порой быстрее, чем в других местах. Всегда что-то случается, причем сенсационно-громко, взрываясь заголовками на первых полосах газет. Кризисы — это тамошний и образ и двигатель жизни. Что жизнь есть борьба, воочию видишь на нью-йоркских улицах. По завалам полиэтиленовых и бумажных мешков, вырастающим возле жестяных гофрированных баков на краях тротуаров, догадаешься, даже без газет и телевидения, что бастуют уборщики мусора, отказываясь пережевывать обильные отходы «общества потребления» мощными челюстями своих неуклюжих машин (такого типа машины встречаются теперь и в московских дворах). Когда пустеют фанерные темно-зеленые киоски и скучающе топчутся киоскеры в фартуках с названиями газет, значит, профсоюз печатников пытается возвести еще одну баррикаду забастовки на пути неумолимой НТР, вступил в еще одну битву не на жизнь, а на смерть с издателями, внедряющими компьютеры вместо людей,— за мои годы в Нью-Йорке половина тамошних газет вымерла, сократив, нет худа без добра, непомерную квоту монотонного, но обманчиво-значительного ежедневного чтива.

Все текло, и все менялось — от мэров до мод. Женские фасоны и прически обновлялись быстрее, но и мужчины-мэры не засиживались в старомодном Сити-холле, потерявшемся среди громад новых муниципальных зданий, их выдворяли недовольные жители города, который, по общему мнению, становился неуправляемым. Небоскребы множились, нравы дичали. В построенном на наших глазах великолепном культурном комплексе Линкольн-сентер здание оперы расцветили красочными витражами Шагала, а магазинные витрины по всему городу загородились на ночь железными решетками — от воровства и вандализма. Всего подвижнее была, разумеется, молодежь. В Гринвич-виллидж растаяли арьергарды битников, но уже наступали экзотические и анархические полки хиппи — чтобы сгинуть в свой черед. Свершались непредвиденные события — и вдруг на короткий миг миллионь разъединенных людей объединялись острым, хотя и недолгим сознанием причастности к одному месту, одному городу. Перегорела однажды некая гигантская электропробка и, как будто объятый светомаскировкой военного времени, погрузился в пугающую тьму весь Нью-Йорк, и на перекрестках стояли регулировщики с фонариками, и какие-то предприимчивые мальчишки, не упуская случая, торговали на улицах свечами, и в нашем доме жители впервые ходили между этажами по лестницам, а не ездили на лифтах, и лестницы освещались скудными дрожащими огоньками свечей в стеклянных плошках. Одним жарким долгим летом опасно обмелели расположенные на севере от Нью-Йорка городские водохранилища, жителей уговаривали реже принимать душ, экономить воду при утреннем бритье, а другим жарким долгим летом вспыхнули, как лесные пожары, негритянские волнения в Гарлеме, и, снижая температуру страстей, власти разрешили чернокожим пацанам открывать пожарные краны — гидранты, и ребята плескались в струях этой заповедной воды, поливая проходящие машины, и белые люди в машинах смирялись с этим негритянским озорством.

Личного драматического опыта не искал, но и он сам собой накапливался с течением времени в городе, где причудливо пересекаются человеческие пути и судьбы. Однажды, прогуливаясь вечером с коллегой, угодили в перестрелку на Бродвее в районе 60-х стритов: на противоположной стороне улицы вышел человек из такси и — сразу же выскочил полицейский из кравшейся за такси зеленой полицейской машины; человек побежал, полицейский — за ним, приказывая остановиться; человек, обернувшись, выстрелил на ходу, и пуля полетела в нашем направлении; выстрелил и полицейский — и не промахнулся; когда мы подошли ближе, он сидел верхом на поверженном ниц противнике, без фуражки, еще не остыв от момента смертельной опасности, еще дрожа от возбуждения, еще не попадая сделавшим свое дело кольтом в кобуру; потом, сгребши за шиворот, подволок раненого к машине, которую подвел напарник, и, схватив головку радиотелефона, прокричал что-то; не прошло и пяти минут, как слетелось с сиренами около десятка полицейских машин (в тот же вечер из сообщений телевидения мы узнали, что наблюдали конец целой детективной истории, что ранен и пойман бандит, который днем ограбил кафе-закусочную и убил полицейского, пытавшегося его задержать). А в другой раз мы сами попали в детективную историю и на страницы не проявивших сочувствие нью-йоркских газет: взломав дверь, неизвестные совершили кражу в квартире — корпункте «Известий», и пришлось наблюдать в деле нью-йоркских сыщиков, которые, разыскивая отпечатки пальцев, сыпали какой-то белой пудрой на темные предметы и темной пудрой — на светлые, но так никого и не поймали... Разве исчерпать всю общую и личную хронику тех лет?

Не забуду вкус сосиски с кислой капустой в Берлин-баре на перекрестке 86-й стрит и Второй авеню. Не забуду и вкус национальной американской трагедии — убийства президента Кеннеди, когда потрясение не отбило страсти к зрелищности, а траур породил коммерцию на трауре. Соседство этих двух далеких друг от друга примеров может покоробить, но я нарочно ставлю их рядом, чтобы читатель задумался, как велика амплитуда впечатлений, когда они накапливаются целые годы. Велика и не так монотонно уравновешена, как махи маятника Фуко, который, свисая с потолка в одном из

просторных ооновских холлов, предметно доказывает вращение Земли разноплеменным ее обитателям...

«Бегут, меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас»,— с изысканной простотой мудрости писал Пушкин. С дистанции прошедших лет я вижу, что учился понимать Нью-Йорк, но принимать его так и не научился, что с азартом еще неизжитой молодости вел с ним бессмысленные и изнурительные сражения. Город об этих сражениях, естественно, не догадывался. Я из них никак не мог выйти победителем. Пожалуй, только сейчас усвоил в полной мере простую истину тех лет: я был чужим в городе, собравшем вместе миллионы людей, чтобы каждый из них острее почувствовал свое одиночество. А кроме того, Нью-Йорк — ожесточенный город, который умеет ожесточать. Нью-Йорк — непревзойденный мастер отчуждения, этого мучительного недуга XX века.

В отпуск из Нью-Йорка в Москву каждый год выбирался как человек, полузадохнувшийся под водой и очумело выскакивающий на поверхность. Но должен признаться, что в 70-е годы, живя в Вашингтоне, в четырех-пяти часах автомобильной езды от Нью-Йорка, я стал смотреть на него по-другому. Я чувствовал магнетическое притяжение и широту этого города, когда сравнивал его с узким мирком вашингтонских политических честолюбцев. Каким знакомым стал путь на север, длиной в двести сорок миль, с выученными наизусть бесплатными и платными автострадами, двумя длиннющими тоннелями под Чезапикским заливом у Балтимора и под Гудзоном при въезде в Манхэттен, с Делавэрским мемориальным мостом, рядом с которым поставили такого же, горбатого и огромного, близнеца — одного моста уже было мало потоку машин. Возвращаясь, я воспринимал Нью-Йорк спокойнее, может быть, грустнее — как великую сцену авеню и стритов, где выведено множество человеческих характеров, участвующих в обнаженных и скрытых драмах и трагикомедиях американской жизни.

Не знаю, сохранился бы этот более спокойный взгляд, доведись мне снова надолго осесть на этой сцене. Впечатления жителя и заезжего человека, как правило, не совпадают...

Повторяю: в очередности моих корреспондентских задач Нью-Йорк стоял далеко не на первом месте. Из сотен больших и малых корреспонденций, посланных мною оттуда, пожалуй, не больше двух десятков было о самом городе. Но было желание внятно написать о нем, этакое кавалерийское желание газетчика уложить современный Вавилон в короткую, простую и, однако, исчерпывающую формулу, желание неосуществимое и оттого еще больше дразнившее и мучившее. В Москву привез пухлые пакеты с газетными и журнальными вырезками. Ненужные, они долго лежали в картонных коробках. Начав работать над этими заметками, извлек и раскрыл пухлые пакеты и, перебрав пожелтевшие вырезки, подышав едкой пылью старых газет, отложил их в сторону. В них много интересного, но это глаза и свидетельства других лиц, а не мои собственные. А собственных набросков и записей, к сожалению, оказалось мало. Тем не менее только ими я решил ограничиться как исходным материалом, ими да двумятремя вступлениями, предлагая читателю эти увиденные мною лики Нью-Йорка. Или — блики. Отсвечивающие, как рябь на воде, преходящие и вновь возвращающиеся выражения его лица — и его натуры...

Другой мир

С места на место человек перемещается не только в своей физической цельности, данной ему от рождения, и не только со своими пожитками, но и с теми незримыми, невесомыми, не доступными никакому таможенному контролю чемоданами, в которых в большем или меньшем порядке уложена его память, мысли и чувства, работа сознания, вся прежняя жизнь. А пересекая границу, каждый из нас, помимо индивидуального опыта, берет с собой (не может не брать) еще и национальный и исторический опыт своей страны и народа. И в другой стране, вопреки известному мудрому совету насчет своего устава и чужого монастыря, каждый, особенно поначалу, судит незнакомый мир законами и практикой родного мира, вынимая из упомянутых чемоданов мерки и аршины не межнационального, среднестатистического иностранца, а конкретного француза, конкретного японца, конкретного бразильца или индийца.

Скажи мне, кто ты, прежде чем приступишь к своему рассказу. Скажи, и я лучше пойму тебя, даже не соглашаясь, потому что буду знать, откуда ты смотришь на свой предмет. Это требование читатель вправе предъявить автору, когда автор пускается в некое, можно сказать, фантастическое путешествие, туда, где не всякий читатель был и, возможно, будет. Отвечу совсем коротко. В Нью-Йорк, минуя таможню, я ввез незримый багаж конкретного 33-летнего советского русского, который родился в маленьком избяном городке Кулебаки (ближайший исторический ориентир — Муром), предвоенные и военные годы жил в Горьком, где отец работал на автозаводе, окончил институт в Москве и успел уже десять лет проработать в «Известиях», из них три с половиной года корреспондентом в Каире, откуда, собственно, и был переброшен за океан. Хотя и ждало меня превращение из арабиста в американиста, все это было не предисловие к Америке, а жизнь, одна жизнь, смешанная с жизнью поколения, краем задетого войной и вступившего в мир взрослых в 50-е годы...

И вот Нью-Йорк во плоти... И в нем еще один человек со своими аршинами... И другой мир вещей и людей окружает и обкладывает этого человека со всех сторон. И требует немедленно определить к нему отношение.

...Ну что ж, расставлял я свои плюсы и минусы, небоскребы полюбить нельзя, слишком холодны и велики для поцелуев и объятий, прекрасная строительная техника (102-этажный «Эмпайр стейт» строили меньше двух лет, в 1929—1931 годах) и голый расчет, рожденный дороговизной манхэттенской земли, и стоят тесно — так, что в рост ни одного не разглядишь. Статуя Свободы, может быть, и годилась как символ в те времена, когда в Нью-Йорк плыли, а не летали, сейчас же эта пятидесятиметровая зеленобронзовая дама с факелом и слепыми глазницами стоит в гавани казанской сиротой. Уолл-стрит в натуре — коротенькая старая улица, затерянная в каменной сутолоке Даунтауна, не страшна на вид, но темна и нелепо массивна, как экспонат из коллекции американского Собакевича. «Метрополитен» — богатейший музей, великое наслаждение, но в нем почти ничего американского, шедевры Старого света, скупленные разбогатевшим Новым светом, судьба выкидывает свои коленца с бессмертными творениями. Солидные серые большие дома на Пятой авеню, где живут богатые и знаменитые люди, отстраненно молчат, глядя на лужайки, деревья, озера и ручных белок Сентрал-парка. На Бауэри обтрепанные и обросшие бродяги в пьяном забытьи, скорчившись, спят на тротуарах; подойдя к машине, затормозившей на красный свет, нахальными хриплыми голосами просят четвертак на пиво. Юнион-сквер — место митингов, уличных златоустов, старых людей на скамейках. В богемной Гринвич-виллидж — кафе, лавчонки, кабаре и люди, которые не просто живут, а как бы играют на сцене, молодые актеры, писатели, художники эксцентрически добиваются признания — странный очаг тепла посреди холодного города, и, кружась там в автомобилях, стандартная Америка любопытствует на домашний Монмартр и чудаков-соотечественников, которые не так, как все, делают деньги. В Гарлеме можно проехать и даже пройтись по главной 125-й улице, но лучше оставить его неграм и держаться подальше. Чайнатаун так затерян в лабиринтах Даунтауна, что не сразу его найдешь, китайские лица и вязь иероглифов, бумажные фонарики, гирляндами украсившие улицы, и непонятные коренья и овощи в лавках, непривычная вкусная еда...

Постигал азбуку Нью-Йорка один и с товарищами, чаще всего с корреспондентом ТАСС Николаем Туркатенко, который тоже был еще новичком. Все в Нью-Йорке он сравнивал с обжитым, цивилизованным Лондоном, откуда его перевели, и, принюхиваясь, твердил, что у Нью-Йорка свой особый запах, который не выразить словами. Запах действительно был особым — запах другой жизни, с ее контрастами и полюсами (их было явно больше двух), с ее необыкновенным разнообразием, множественностью всего и вся — и в то же время внутренним единообразием, граничащим с монотонностью.

Все бесчисленные лики Нью-Йорка были на одно лицо — лицо другой, непохожей жизни. Неосознанно чувствовалось (а потом не раз подтверждалось опытом), что и ладный, видный бизнесмен, который, показавшись из подъезда здания с начищенной медной дощечкой-вывеской, уверенным, пружинящим шагом шествовал к машине,— живой супермен с мужественным, резко очерченным лицом, и все на нем идеально выглажено, повязано, начищено, и атташе-кейс в руке, на весу (тот самый плоский чемоданчик-«дипломат», который так нам теперь полюбился, что вытесняет традиционные портфели) — что этот супермен и одичавший, не помнящий себя, с сизо-пунцовым, сочащимся лицом пропойца с Бауэри, который сидит, покачиваясь, на жесткой чугунной тумбе пожарного гидранта, в мокрых штанах, с бумажным пакетом, где укрыта недопитая стеклянная фляга дешевого спиртного,— оба слеплены из одного теста этой другой жизни. Останови их, спроси — и оба, если не отшатнутся от незнакомого иностранца, заговорят об одном, одними и теми же словами — об американском успехе и американских равных возможностях (и пропойца будет винить не столько общество, сколько себя в том, что эти возможности не использовал), о делении людей на удачников и неудачников. Заговорят на языке доллара и индивидуализма. И в речи того и другого, преуспевающего и пропащего, будет сквозить превосходство американца над иностранцем.

Один из емких образов Америки, появившийся много позднее,— американская очередь где-нибудь на почте, в бюро по трудоустройству, в департаменте соцобеспечения. Они никуда не «прут», не напирают друг на друга, держат дистанцию примерно в полметра. И это не просто вежливость, чувство достоинства, размеры помещения, позволяющего стоять так вольготно, или то, что очереди редки. Это каждый сам по себе, даже когда все вместе, это индивидуализм и частная инициатива, самые прижившиеся деревья на почве американской свободы..

Нью-Йорк поражал динамической силой вещей, больших и малых. Не было благородных останков старины, седых камней, которые одним своим магическим присутствием прививают чувство истории и каждое новое поколение ставят в ряд прошедших и грядущих; нью-йоркские памятники многочисленны, но совершенно незаметны — какими, собственно, и должны быть памятники в стране, где важное национальное свойство — жить лишь сегодняшним днем. Зато бросалось в глаза, что по физической массе богатства, накопленного за какие-то триста лет, этот город опередил своих куда как более старших и почтенных мировых собратьев. В мире материальном он

как бы претендовал на роль пророка, пусть осмеиваемого и забрасываемого камнями, но указывающего ту дорогу, которая другим еще предстоит, и уже далеко по ней ушедшего.

Небоскребы — это лишь нью-йоркская экзотика. Но и рядовые жилые дома, старые, довоенной постройки, поднимались на 15—20 этажей, и это была привычная средняя этажность на Пятой, Сентрал-парк-вест, Вест-энд и других авеню (сейчас там не редкость жилые дома на 30—35 этажей). Автомобили... Бампер к бамперу, непрерывным, разноцветным и разнообразным бордюром они тянулись, можно сказать, на сотни миль вдоль обочин всех авеню и стритов; и негде было приткнуться со своим «шевроле», а движущиеся автомобили заполняли сузившиеся мостовые, и всюду были еще канареечного цвета, в шашечку кэбы (такси) — взмахнешь рукой или свистнешь на американский манер, и они тут как тут, останавливаются, как вкопанные, на полном скаку, лишь взвизгивают тормоза сзади идущих машин; нью-йоркские таксисты — такой же жесткий народ, как московские, но всегда везут, куда скажешь. Супермаркеты и универмаги ломились от продуктов и товаров, и это были не просто известные продукты и товары, но и много неизвестных, диковинных, удовлетворяющих не первую и даже не вторую необходимость, а прихоти, вкус, казавшийся изощренным, иные, непонятно как возникшие потребности. Культ вещей, товаров выступал, конечно, как самая зримая сторона культа денег, но сам доллар уже тогда боялся показываться на людях в своем натуральном виде наличных зеленых бумажек, предпочитая опосредствованный вид чеков и разнообразных кредитных карточек, которыми набиты маленькие и толстые, почти квадратные бумажники американцев,— удобно и гарантия от воров. По субботам долгие прогулки по магазинам были — и остаются — таким же любимым семейным хобби американцев, как в будни вечерние сидения у телевизора. Нет, убеждался я, за вещами в Нью-Йорке не гонялись, их просто накупали и накупали, их как бы жевали, так же машинально, как обжора машинально берет, и пробует, и ест все, что ни попадется на глаза, все, чем ни уставлен стол, не в силах ограничить себя, потому что стол велик, и сидят за этим столом другие обжоры и также берут, пробуют, жуют, едят. Массовая обжираловка называлась «обществом потребления», у нас этот термин тогда еще редко применялся и выглядел странным.

Всего была масса, великие, чрезмерные множества: аптек и банков, заправочных станций и авторемонтных мастерских, забегаловок и ресторанов любой кухни, магазинов-магазинов-магазинов и еще большего числа магазинчиков, отелей и брокерских контор, корпораций и адвокатских фирм, станций подземки, газетных киосков и торговцев цветами, платных автостоянок и многоэтажных подземных и надземных гаражей, общественных и частных школ, колледжей и университетов (несколько), кинотеатров и театров — бродвейских и внебродвейских, католических соборов, протестантских церквей и еврейских синагог, больниц и похоронных домов, книжных лавок, где на витринах пестреют бестселлеры с их короткой шумной жизнью, а внутри всегда найдется место для классиков от Гомера до Чехова, и многих сотен баров, где люди, сидя в полумраке на одноногих, высоких, вертящихся табуретах, ищут в вине истину и спасение от одиночества, пожарных машин, которые с верзилами-пожарниками в зеленоватом толстом брезенте и блестящих касках то и дело проносились под вой сирен, заставляя вздрагивать и думать, что город все время горит, но почему-то не сгорает дотла, дюжих «копов» — полицейских с вычурными бляхами на темно-синих суконных бушлатах, грузовиков с вагонного размера прицепами, чудом влезавших в складские помещения на узких Тридцатых торговых улицах, развозчиков с тележками-велосипедами, металлических столбиков у бровки тротуаров со знаками-знаками-знаками, запрещающими или ограничивающими стоянку автомобилей, и металлических столбиков пониже со счетчиками, куда бросают монеты, чтобы получить право на полчаса или час оставить у обочины автомобиль, не боясь найти по возвращении подсунутое под дворники на ветровом стекле уведомление о штрафе...

Всего была масса... И масса страниц в газетах, воскресные номера весили по два-три килограмма, их нельзя на манер наших сложить и сунуть в карман, их носят под мышкой. Две трети газетного места были отданы рекламе, и вообще коммерческая информация заявляла о себе как главная информация в жизни. Сотни тысяч имен и названий содержались в двух пухлых, увесистых телефонных справочниках, которые бесплатно присылались каждому абоненту: один справочник — обыкновенный, по Манхэттену (а есть еще толстые тома по Бруклину, Бронксу, Куинсу и Статен-Айленду — другим районам Нью-Йорка), а второй — коммерческий, «Желтые страницы», с адресами и номерами телефонов всех заведений тех типов, которые я перечислил, и многих-многих других.

Быт... Важен он или нет? Может быть, и не так уж важен, если толково организован, как не важен воздух, когда он есть. А если плохо, бестолково, то быт заедает, человек, обдирая высокие свои идеалы, как рыба жабры и чешую, отчаянно бьется в сетях быта. Это мы знаем, к сожалению, слишком хорошо. А там, в Нью-Йорке, вопросы быта решались по-другому, не обществом, а каждым в одиночку. Противоречия между бытом и идеалами, казалось, нет, ибо к быту и сводятся идеалы. Ибо быт — это и есть бытие, и есть жизнь сегодняшняя и завтрашняя, жизнь индивидуальная, без каких-либо коллективных обязательств перед будущим. Для одних, предпринимателей, быт — это бизнес на устройстве быта, на обслуживании, торговле. Для других, потре-

бителей, быт — это удобства, приобретаемые в меру наличия денег. Бытовые неудобства — это отсутствие или нехватка денег. И весь разговор о быте прост: деньги на бочку — и вот он вам, такой быт, какой пожелаете. Только отгородитесь от других, чтобы они вам не мешали. Только?! Но как отгородиться в таком большом городе?! Как?! Тоже в меру наличия денег — домами со швейцарами и охранниками, жилым районом получше, частными клубами, полицией, которая следит, чтобы неустроившие быт не мешали устроившим, и т. д.

Всего была масса... И еще одна, тоже необъятная, масса — хитросплетения, настоящие лабиринты и дебри всяческих законов, правовых норм, судов, адвокатов. Но тут я пасую, это так и осталось темным лесом, в который лишь чуть-чуть заглядывали с опушки газетных страниц, заполненных описаниями судебных процессов и всяческих преступлений и скандалов. К адвокату обращался пару раз, когда надо было определить сумму подоходного налога (этого в отношении нас несправедливого и позднее отмененного побора, которым американские власти облагают не только своих граждан, но и иностранцев — как бы за особую милость допуска в Америку). А без адвоката американец так же беспомощен, как малое дитя без няньки. Нигде, наверное, нет такой массы адвокатов, как в Америке, а в Нью-Йорке их даже больше, чем в Вашингтоне. Не буду хулить уважаемое сословие, адвокаты нужны так же, как и законы, к тому же они дали Америке много крупных, выдающихся людей, но что это за странная общенациональная привычка разговаривать друг с другом через суд и при посредстве адвокатов? Американцы умеют и любят «качать права». И это тоже упирается в доллар. Актриса через суд требует материального возмещения за «моральный ущерб» с врача, который, искусственно увеличивая ее грудь, придал ей, груди, не совсем ту форму, о которой договаривались, и, странно, совсем не усматривает морального ущерба в том, что казус этот попадает в газеты. Родители школьника, сбитого автомобилем, подают в суд на муниципалитет, потому что дорожные знаки, предупреждающие о близости школы, не были достаточно заметны. Матерый гангстер на пушечный выстрел не подпускает представителей правосудия, высылая им навстречу взвод адвокатов, умело разгадывающих юридические ловушки и капканы...

Великое множество примеров такого общения. Но эта сторона американского образа жизни практически осталась непознанной. И тут в интересах объективности уместно сделать одно разъяснение. В Америке стремнина чужой жизни, временами весьма опасная, все-таки несется мимо нас, откомандированных советских граждан. Мы наблюдаем ее со стороны, с берега, в стремнину не ныряем, в конкуренции, именуемой крысиными гонками, не участвуем. Почем он, фунт американского лиха? В чужой среде мы, словно космонавты в открытом космосе, работаем как бы в скафандрах, имея автономную систему жизнеобеспечения — зарплата, получаемая от московской редакции, а не американского работодателя, оплачиваемое жилье, медпомощь. Живем рядом с американцами, но не так, как они. Не играем в американский вариант игры «пан или пропал», в успех или неудачу и на своей, как говорится, шкуре не испытываем всю жесткость борьбы за существование. Что, конечно, защищает нас, но и ограничивает наши возможности проникновения в другую психологию, в другой мир...

Хорошо, скажет читатель, принимаю это разъяснение к сведению. Но как вы в этом Вавилоне, в других его лабиринтах вообще ориентировались, да особенно на первых порах? Отвечаю: эмпирически, дорогой читатель. При помощи друзей и коллег. Набирая потихоньку свой опыт. А также постигая логику американской практичности и рациональности. Она-то и была путеводной нитью.

Поначалу было боязно самому сесть за баранку и включиться в автомобильную реку — напрасные страхи, с некоторым опытом водить машину в Нью-Йорке легче, чем в Москве, дорожные знаки заметны, просты, разумны, мостовые размечены, водители умелы и дисциплинированны, их действия легко предугадать. И нет парализующей боязни дорожной полиции, она не придирчива, вмешивается лишь в крайних случаях. Нью-йоркскую подземку справедливо ругают, не входы, а лазы — как в общественную уборную, станции грязны и слабо освещены, но несколько слов похвалы: вагоны удобные, остановки частые, сеть очень разветвленная. Среди сонмища улиц и домов, казалось, черт ногу сломит, но нет, тоже напрасные страхи: в Америке развит язык, позарез нужный в век больших городов и человеческих скоплений,— язык знаков и вывесок, дорожных схем и карт. Указатели улиц — на углу каждого квартала — видны и автомобилисту, и пешеходу. На каждом доме — большой номер. Письменная информация обильна и точна. «Толкай» — написано на двери, и ее надо толкать рукой или ногой, а не тянуть на себя, и дверь не заперта и не заколочена, непременно откроется. «Тяни» — и значит, надо тянуть, а не толкать. В кафетериях меню — это аршинные буквы на стене за раздаточной стойкой, ресторанные меню вывешены для обозрения либо на входной двери со стороны улицы, либо на оконном стекле: посмотри и прельстись, а если не по карману или вкусу, нечего и заходить, не изводи попусту время свое и официантов, ведь время — деньги, не забудем этот универсальный американский принцип. Рядом с меню, вместо рекламы,— увеличенная фотокопия хвалебного отзыва гастрономического обозревателя (есть и такие) из какой-нибудь нью-йоркской газеты. У театра или кинематографа, утверждая действенность печати,— фотокопия лестной газетной рецензии на спектакль или фильм. Движущиеся предметы

тоже не были анонимны, автомашины с надписями на бортах извещали о владельцах или фирме, адресе, телефоне и, разумеется, назначении: санитарная машина, фургон из цветочного магазина или, предположим, передвижная парикмахерская, в которой стригут, бреют и всячески холят домашних собачек. И люди объявляли о себе, хотя далеко не все. На слепом, который с немецкой овчаркой на поводке просил милостыню, была дощечка: «Я слепой» (помогало мало). Забастовщики в пикетах носили плакаты: «Бастуем»...

В магазинах все продукты расфасованы, все товары разложены и развешены — и ко всему допущен покупатель; нет раздражающего и отнимающего времени посредничества продавца, но когда возникнет вопрос, он к вашим услугам. Это рациональность коммерсанта: покупатель идет туда, где удобнее. В области сервиса много мелких чудес, иногда за ними стоят огромные, не легко дающиеся достижения. Вот чудо обыкновенного телефона-автомата на нью-йоркской и любой другой американской улице. Из его будки можно позвонить в любой американский город (и даже за границу), разговор — в пределах США и всей Северной Америки — дадут мгновенно, невидимая операторша, у которой находится время на любезность, скажет, сколько монет нужно бросить в щелку, и у нее есть возможность проверить, столько ли вы бросили, и, нажимая какие-то свои кнопки, она сдаст вам, если положено, сдачу, которая зазвякает в желобе возврата, а если в чреве аппарата нет полагающегося вам пятака или гривенника, еще и спросит ваш адрес,— чтобы выслать пятак или гривенник по почте. И тем самым удивить вас на всю жизнь. Уважение к человеку? Может быть. Во всяком случае, уважение к его центам.

В «Нью-Йорк таймс», серьезнейшей из американских газет, показывали сверстанные полосы — впрок заготовленные некрологи на живых еще людей, политиков и бизнесменов, кинозвезд и писателей. И это тоже была американская практичность и рациональность — в пугающе потусторонних формах. Понятие кощунства — это всего лишь сентиментальность, эмоции наивных людей. А если оно и существует, то в иерархии ценностей стоит позади соображений оперативности и подготовленности к неожиданностям, без учета которых газета отстанет от других, потеряет читателя, рекламодателя и прибыль. Некрологи на живых переписываются и изменяются, пока человек продолжает жить, увеличиваются или уменьшаются, отражая колебания его известности и общественного веса. И был человек — меня с ним знакомили,— писавший некрологи, неплохой, либеральных взглядов человек, ценный, как считалось, тем, что не забывал печатать свои печальные извещения и характеристики, когда умирали прогрессивные американцы.

Стандартность в разнообразии. Иссушающий прагматизм. Доллар как универсальная подоплека. Всепроникающий культ доллара — противоречивый культ, от которого удобство и бездушие. В зависимости от того, что кому выпадет — орел или решка.

Со времен Колумба каждый человек, пересекавший Атлантический или Тихий океаны, открывал Америку, не смущаясь стертой вторичностью своих открытий. Что ж, это в природе человеческой: человек истину добывает, а не срывает на манер его библейских прародителей, как спелое яблоко с древа познания добра и зла. Истина, добытая лично,— это новая, а не старая истина. Не на веру, а на зубок. Ваш покорный слуга не стал исключением.

Перечитывал свидетельства Горького, Есенина, Маяковского. В их время мы не разбирали Америку так подробно, как сегодня, но рассматривали весьма пристально. Не углубляясь в детали, знаменитые отечественные пилигримы эмоционально ощущали Нью-Йорк как некий единый живой организм, как воплощение американской жизни. Остальную Америку они мало знали и, можно сказать, не признавали, хотя большая американская литература не так уж часто избирала Нью-Йорк своей сценой и предметом изображения. Горький в начале века проклял Город Желтого Дьявола. У Есенина двойственность оценок. Для своей щемяще русской музы он не мог найти и не искал места среди небоскребов, но заметки о Железном Миргороде начинал в 1923 году так: «...Да, я вернулся не тем. Много дано мне и много отнято. Перевешивает то, что дано». За электрический свет Бродвея, зажженный перед человеком, а не перед иконами, он сгоряча объявил его улицей «тоже нашей». Восхищался «громадной культурой машин», но внутреннюю культуру американцев счел примитивной: «Владычество доллара съело в них все стремление к каким-либо сложным вопросам».

Почему у них, детей и творцов русской культуры на ее повороте к новым временам, этот американский город вызывал такие сильные чувства? Откуда этот эффект притяжения и отталкивания? Не потому ли Нью-Йорк так потрясал их, что в материальном смысле — своими этажами, электричеством, машинами, богатством — навязчиво являл образ будущего, но что́ это явленное им будущее сулило человеку? Какую цену брало с него? Там в яви они видели, какую цену заплатил человек — ни счастья, ни тепла, ни братства. Не цветущий сад, а каменная и бетонная пустыня будущего, где механически и бездуховно живут энергичные люди — дельцы с оскалом великолепных зубов и отсутствием света в глазах.

В своих американских стихах Маяковский призывал: «Если ты отвык ненавидеть,— приезжай сюда, в Нью-Йорк... Чтобы в мили улиц опутан, в боли игл фонарных ежей, ты прошел бы со мной лилипутом у подножия их этажей».

Какие резкие и сильные строки! Какое сильное чувство! На время или навсегда его разделяют и многие американцы (признаний в любви к Нью-Йорку почти не услышишь), и еще больше иммигранты, поступающие в нью-йоркские жернова. Но ведь они все еще едут туда в поисках своей доли, надеясь, что жизнь, как металлический доллар, приземлится орлом, а не решкой. А Нью-Йорк не признает суда эмоций и уверен, что никакими, пусть самыми искренними и яростными, проклятиями не опровергнуть сам факт его существования, его темп, размеры, грохот, его способность ошеломить...

Уже на четвертом или даже на пятом году моей нью-йоркской жизни прилетел однажды очень близкий друг, мастер и философ жизни, исповедующий единственный культ — культ дружбы. Я встретил его вечером в аэропорту, растерянного, отлепил от туристской группы и повез в Манхэттен дорогой, которую знал наизусть. Этой дорогой уже возил многих знакомых, впервые прилетевших в Нью-Йорк, и, чувствуя их рядом, озадаченных и притихших, вспоминал свой первый прилет в Нью-Йорк и как бы заново въезжал в него вместе с ними, видя эти автострады, похожие на скоростные движущиеся ленты, этот холодный, упорядоченный бег тысяч машин, этот свет фонарей,— и вдруг, с моста, зрелище вечернего Манхэттена, темного неба, пронзенного колоннами небоскребов. Мы въехали в улицы, и я чувствовал, как мой друг впитывал их в себя. Потом повез его на знаменитый, в рекламах и огнях, кусок Бродвея на Пятидесятых и Сороковых стритах, который новички почему-то хотят видеть в первую очередь. Потом за разговорами просидели всю ночь и на самом рассвете вышли на Бродвей, уже другой, незнаменитый, о котором я еще расскажу. Но и этот рядовой Бродвей не думал засыпать, мы пили кофе в закусочной, и там посетителей было почти как днем и не дремали официанты. Пошли в Сентрал-парк и совершенно одни, над утренним туманом видели утесы домов, вздымавшиеся к югу и востоку. «Да, с этим городом не пошутишь»,— сжав губы и покачивая головой, бормотал мой видавший виды друг. Я запомнил интонацию его восклицания. Да, этот город уже наступал на него, уже вбивал в него свои масштабы, свои особые измерения. Да, с этим городом не пошутишь...

Недолгое житье на Парк авеню

Первое наше нью-йоркское жилье было на Парк авеню. Первый жилой дом по-американски. Первые лендлорды — домовладельцы, знакомство с ними было, правда, заочным, по почте: они присылали очередное уведомление об арендной плате в самом начале месяца, а я, предупрежденный, что надо во избежание штрафа платить вперед, выписывал и отправлял им чек (как и положено жителю Америки, незамедлительно обзавелся чековой книжкой и стал клиентом рокфеллеровского банка «Чейз Манхэттен»). Первая квартира, типично американская: стены и потолок окрашены белой клеевой моющейся краской, нет верхнего света и люстр, рамы в окнах одинарные, состоят из нижней и верхней половинок, нижняя поднимается, верхнюю можно опускать, на кухне, от лендлордов, холодильник и газовая плита, отопление у каждого дома свое, на батареях краники для регулирования температуры. Все другое, вплоть до ручки у входной двери — круглой, ухватываемой ладонью, с вмонтированным замком. После каирской, где я жил до приезда в Америку, нью-йоркская квартира была запущенна и невелика — гостиная и две спальни, одна из которых, с окном, глядевшим в колодец двора, считалась кабинетом. С потолка в кабинете кусками свисала краска. А стоила эта квартира почти втрое дороже каирского просторного жилья, около трехсот долларов в месяц. Парк авеню! Престижный адрес! Почти на уровне Пятой. Мой предшественник держался за эту квартиру. В самом деле, уже один адрес производил должный эффект, хотя дошлые люди по номеру дома за глаза отличали истинную фешенебельную Парк авеню от нашей — экономной, второразрядной.

Остров Манхэттен, где живут менее двух из восьми миллионов нью-йоркцев и куда сотни тысяч людей из других районов города, пригородов и отовсюду ежедневно приезжают на работу, в магазины, за зрелищами и увеселениями и мало ли еще по каким делам, нарезан на авеню и стриты. Авеню — это широкие, идущие с юга на север, то есть в том же направлении, в котором вытянут остров, магистрали, их чуть побольше десятка. Стриты — сравнительно короткие и узкие, как правило с односторонним движением, улицы, пересекающие Манхэттен с востока на запад.

Так вот, истинно престижная Парк авеню лежит в районе Пятидесятых — Семидесятых стритов. А наш дом стоял вне этой зоны, на углу Парк авеню и 87-й стрит. Именно на 87-ю выходил его единственный подъезд, хотя адрес на медной дощечке, прибитой к стене, и на матерчатом козырьке, протянутом от двери до края тротуара, возвещал: 1060, Парк авеню. С севера, в каких-то полутора десятках кварталов-блоков, стремительно наступал Гарлем, совсем иными становились дома и люди, уже не претендующие на престиж и респектабельность Там стуком, лязгом и грохотом вагонов вырывался наружу из-под земли железнодорожный тоннель, проложенный от вокзала Гранд-сентрал под хилым бульварчиком на Парк авеню.

Даю эту справку как иллюстрацию к нью-йоркскому социально-географическому размежеванию. Холоднольдистые административные небоскребы обрываются на

Пятидесятых стритах. Дальше начинаются две шеренги фешенебельных жилых домов. В парадных, начищенных и надраенных подъездах сидят не тети Нюши с вязальными спицами в руках, а привратники в черных форменных костюмах, а то и во фраках. Золотом или серебром на их фуражках вышит адрес. Белые перчатки. Рослые, плотные, важные. Распахнут перед вами дверь, но задержат, проверяя у жильцов по внутреннему домовому телефону, ждут ли гостя. Поднесут до лифта чемоданы и картонки с покупками. Свистком или специально зажженной лампочкой подзовут такси, а в дождь под раскрытым зонтом проводят жильца или гостя до машины. Это коллективная прислуга и защитный кордон (в семидесятые годы привратников дополнили специальные вооруженные охранники — времена стали опаснее). Открыты ведь лишь бедность и простая жизнь.

Скотт Фицджеральд писал про богатых, что они — д р у г и е. Емкое определение. Они не такие, как м ы. Это его влекло и мучило, богатые — сильный магнит. Он был заражен Американской Мечтой (пишется с большой буквы), этим особым американским эпосом, легендой и былью, концепцией личного счастья и свободы, которые немыслимы без успеха и денег. Не считаю себя вправе судить о духовном кризисе и опустошении Скотта Фицджеральда, но его слово д р у г и е хотел бы выделить, продолжая нечто вроде воспоминания о полугодовом жилье на Парк авеню. У меня не было ни американского гражданства, ни Американской Мечты, а оставалась из страны детства и страны молодости, опробованная и жизнью в Каире, несколько наивная, но стойкая неприязнь к буржуям. Соседи, обитавшие южнее, в престижных домах на Парк авеню, были для меня в д в о й н е д р у г и е, потому что наше м ы отличается от американского, потому что с американцами мы — р а з н ы е. Да, журналист должен быть везде, познавать все и знать всех, но я не мог — и не хотел — перепрыгнуть через себя, свое происхождение и воспитание, не мог ничего поделать с данным от рождения характером. Искать на Парк авеню знакомств в мире д р у г и х, навязываться, ставить себя в искусственное, неравное положение? Увольте — хотя д р у г и е, разумеется, не догадывались ни о моем существовании, ни о гордой позе, скрывавшей недостаток общительности и контактности. (Впоследствии были встречи с крупными капиталистами и видными политиками, а с одним симпатичным мелким миллионером из провинции возникли даже приятельские отношения, хотя не считаю, что такие знакомства дают особые, магические ключи к познанию Америки.) Какие-то спорадические связи, однако, образовывались. Одна была заочной. Уравненные с д р у г и м и и по признаку адреса, мы тоже получали глянцевый иллюстрированный журнал «Парк авеню соушл ревю» — светскую хронику Парк авеню. Это был локальный, как бы уличный журнал, только для обитателей Парк авеню, неожиданное окошко в эгоцентрический мир богатых. Он доказывал правоту Хемингуэя: они не только д р у г и е, они еще и с к у ч н ы е. Эта их, другая, скука была наполнена поистине черным юмором для тех, кто принадлежал к большому, неустроенному, страдающему миру, у кого еще живо стояли в памяти картины нищеты на каирских улицах и в деревнях дельты Нила. Улыбающиеся декольтированные дамы и джентльмены в смокингах на благотворительном балу общества борьбы с раком, реклама мехов и духов, бриллиантов и китайского фарфора, консультации эксперта по игре в бридж, имена людей света, известных и интересных лишь людям света, репортаж из особняка некоего Самюэля Спенсера, который показывал своим соседям — но нас не было среди них — свое собрание картин, среди них «Философа» Рембрандта; в тот сезон много разговоров велось о великом голландце, он был в моде, так как музей «Метрополитен» за рекордную сумму в два с лишним миллиона долларов (что и навлекло моду) приобрел его полотно «Аристотель созерцает бюст Гомера».

Помимо этого журнала с обитателями Парк авеню нас роднили еще письма от благотворительных организаций с призывами вносить лепту в фонды помощи больным раком, глухонемым, слепым, душевнобольным — эти письма, не ставя имен и фамилий, тоже автоматически рассылали по всем квартирам всех домов на Парк авеню, чтобы д р у г и е могли, если захотят, не отрываясь от дел, заявить посредством отправленного по почте денежного чека о своем сочувствии страждущим и несчастным.

В Нью-Йорк мы прилетели в ноябре. Ноябрь был на удивление теплым, не сразу осознали, что это ведь широта Еревана и Самарканда, что Нью-Йорк много южнее Сочи и Батуми. Солнечные дни перемежались дождливыми. Не спеша переходила в сиротскую зиму долгая и красивая осень — лучшая нью-йоркская пора. Дождливые дни были унылыми и короткими. Рано зажигались уличные фонари, вода шипела под колесами машин, светофоры, как омытые слезами зеленые и красные глаза, глядели сквозь завесу влаги, город ужимался и втягивал шею в плечи, хохлился, как его жители под большими черными зонтами... На память приходит реальная или выдуманная, но все равно истинная картина тех дней: в позднее, темное утро жена, осторожно приподняв вертикальную, наматывающуюся вверху на палочку занавеску из плотной вощеной бумаги, стоит с пятилетней дочкой у окна, с осторожным и боязливым любопытством всматривается в открывающийся кусочек Нью-Йорка, в дождь и промокшие большие дома, вытянувшие к мостовой темно-зеленые навесы своих подъездов, в машины, ритмически отряхивающие дворниками капли с ветрового стекла,

в редких пешеходов на серых плитах тротуаров. Молчаливая сцена под шелестение шин, доносящееся с улицы. Перелетные птицы. Как свить тут гнездо, пусть временное? Как согреться и обжиться?

■

На углу 86-й и Лексингтон авеню я спускался в лаз подземки. Обычно ехал либо до вокзала Гранд-сентрал и там по 42-й шел к широкому серому небоскребу на Ист-ривер, в штаб-квартиру ООН, либо высаживался на 51-й и шел к гранитным громадам комплекса Рокфеллер-сентер. Справа от 70-этажного небоскреба радиокорпорации Ар-Си-Эй стоит здание агентства Ассошиэйтед пресс, в нише перед вертушкой двери телетайп выстукивает для пешеходов биржевые котировки и последние известия. Кто из советских корреспондентов, живших в Нью-Йорке, не приходил в это здание и не поднимался на пятый этаж в оффис ТАСС? Там обретали самую свежую информацию, поступающую на телетайпы, и, что еще ценнее, чувство товарищества и дружеской теплоты. Там было средоточие нашего маленького нью-йоркского мира, и дверь всегда была гостеприимно открыта настежь (ее закрыли, врезали в нее глазок, когда экстремисты-сионисты облюбовали незащищенный, не охраняемый полицией оффис ТАСС как мишень нападений и провокаций). Собирались и около часу дня, гурьбой пересекая авеню Америк, отправлялись на 49-ю улицу, в недорогой французский ресторан «Шамплейн» — в святой американский час ланча, среди толп спешащих перекусить нью-йоркцев крохотное вкрапление: десяток советских журналистов,— пока не сгинул этот «Шамплейн», раздавленный стальной пятой новых небоскребов. И всегда, с нами всеми, мы менялись, приезжали и уезжали, а он оставался — Гарри Фримэн...

Знакомство — это конкретизация. Не только доктрины, но и дома. И живые люди вместо понятий. Не абстрактные прогрессивные круги, а собравшиеся в старом Таун-холле поседелые в невзгодах и передрягах коммунисты и их попутчики — вот Арт, вот Джо, вот Джимми и Карл; после коротких речей с шутками идут по проходам сборщики — американская шапка по кругу, нужны средства для газеты. Не безымянные друзья, а друг по самому высшему счету — Гарри Фримэн, душа-человек, милейший и бескорыстнейший, всегда готовый помочь старший товарищ, опекун сменявшихся поколений советских корреспондентов, начавший работать корреспондентом ТАСС в Америке еще в двадцатые годы, когда большинство из нас ходило пешком под стол или вообще отсутствовало на этом свете. Легко бросить слово — друг, но попробуй устрани все барьеры между собой и своим американским другом, их возводит не только политика, но и образ жизни. А с Гарри не было барьеров. Родным местом была для нас его с Верой квартира на 89-й и Медисон авеню, и они по многу раз бывали у каждого из нас — в Нью-Йорке, Вашингтоне и в Москве. Много изведали вместе, много изъездили американских дорог — до тяжелой, долгой, оказавшейся неизлечимой его болезни...

Все конкретизировалось и воплощалось, как на Луне после прилунения: был видный с Земли невооруженным глазом желтый сияющий диск, пробирающийся сквозь волнистые туманы, а высадился на этом диске человек — и вот пыль, вот камни и кратеры, вот резкие светотени под жестким, не загороженным атмосферой солнцем. Так и тут. Уже не словесный оборот — американская «большая пресса», а, предположим, рыжеусый Сэм, который хлопает всех нас по плечу и всячески являет нам свое расположение (чтобы через пятнадцать лет, во время послеуотергейтских разоблачений признаться, что шпионил за советскими корреспондентами, выполняя поручения ЦРУ), вот газета «Дейли ньюс» с ее полублатным жаргоном и таким же содержанием, в руки брать брезгаешь, но ведь читают ее больше всех. А вот — совсем другая песня— умнейший журналист, газетный патриарх-философ Уолтер Липпман, еще живой, на страницах еще живой «Нью-Йорк геральд трибюн», или Джеймс Рестон, тоже маститый, завидного профессионального класса, из десятилетия в десятилетие выдающий свои две умных, дельных, порой едких, почти всегда интересных «колонки» в неделю, как будто родился с таким биоритмом, с такой подключенностью к политической кухне, с таким азартом личной ответственности за все, что происходит в его стране и в обществе, которому он служит.

А вот Уолтер Кронкайт, ведущий программу вечерних новостей на Си-Би-Эс, теперь уже легендарный телевизионный бог, даже нами не раз уважительно описанный, но и тогда звезда первой величины; из воспоминаний первых месяцев: часов с шести утра сижу на диване с блокнотом в руках, вперившись в телеэкран, жена и дочь еще спят, а Уолтер Кронкайт уже ведет свой репортаж с космодрома на мысе Канаверал, «живьем», что было ново и непривычно, о Джоне Гленне, о первом американском орбитальном полете; тогда они в космосе отставали, но упорно наверстывали, и президент Кеннеди поклялся до 70-го года высадить американца на Луне, и в то утро не все ладилось, предпусковой отсчет время от времени интригующе прерывали, но Уолтер был как всегда на уровне — спокойный, добродушный и усмешливый, обстоятельный, а за ним на фоне темного предрассветного неба в страшноватом таинственном ожидании маячил силуэт ракеты.

А вот другое, тех дней, телевизионное светило — Джек Паар от Эн-Би-Си, говорун-развлекатель, хозяин «поздневечернего» шоу, умная и чуточку усталая улыбка, кажется, вечно под хмельком, тоже обаятелен, но не слишком ли он сложен, мягок и ироничен для миллионов, которым адресовано это «поздневечернее» шоу, — потом опросы его угробили, свидетельствовали, что аудитория тает, рекламодатели все меньше давали рекламы под Джека Паара, он стал нерентабельным, исчез, похоже, спился...

День за днем одолевался самый трудный для журналиста, приехавшего на новое место, период — первоначального накопления информации и переработки ее. Разгадывались загадки людей и загадки вещей, и первые оказывались сложнее вторых. Люди несут в себе тайну другой психики, тайну того сложного взаимодействия человека и общества, которое в своем вечном процессе формирует и лицо страны, и поведение ее народа.

■

В новых американских многоквартирных домах обычно есть один парадный подъезд, на каждом этаже десятки квартир выходят в один коридор. Наш дом был старым. На нашем восьмом этаже было лишь три квартиры. В одной жил одинокий биржевой маклер. В его внешности и манерах не было ничего от карикатурной биржевой акулы, но занятие его, состоявшее в продаже акций, не переставало казаться мне странным и осудительным. В наших отношениях установилась та обычная дружеская фамильярность, которая создает и видимость близости, и дистанцию между соседями. В другой квартире жила дама, работавшая диктором на телевидении. Она была приятной наружности и все время улыбалась, показывая хорошие зубы. Я уже не заблуждался насчет природы американской улыбки, понимая, что очень часто это лишь служебная функция. (Еще Горький заметил: «Есть много энергичных лиц, но на каждом лице прежде всего видишь зубы».) Был мне уже известен и американский обычай снимать в лифте шляпу при виде дамы; встречая в лифте телевизионную даму, я поспешно снимал шляпу. На вопрос о самочувствии, как и положено, мы отвечали друг другу: Fine! — Превосходное!

В домах побогаче прислуживают коренные, не в первом поколении, американцы, у нас лифтерами были испанец, австриец, чех. (Каждый сверчок знай свой национальный шесток.) Когда никого не было, седой испанец, застенчиво улыбаясь, рассказывал о себе, укладывая рассказ в короткое путешествие между этажами. Приехал в Нью-Йорк с отцом в 19-м году. Работал на сталелитейном заводе — завод закрыли. После было много занятий, но все недолгие, случайные. Детей нет, так как поздно женился. Почему поздно? Не было работы. Нет работы — нет денег — нет жены... «О, мистер, эти люди не то что европейцы. Они помешались на долларах»,— просвещал меня бывший чех, тоже один на один между этажами.

Перед рождеством, следуя обычаю, жильцы вручали лифтерам, почтальонам, суперу (домоуправу) конвертики с долларами — своеобразную тринадцатую зарплату.

Это было первое рождество на американской земле. Всюду появились зеленые веночки, перевитые красными лентами. Перед церквами умильно-нелепыми муляжами лежал в синтетических яслях младенец Христос, над ним склонялась такая же мертвенно-кроткая дева Мария. У магазинов несли вахту Санта-Клаусы от благотворительной Армии спасения. В красных шапках и синтетических полушубках с белой опушкой, в черных резиновых сапогах и с длинными клочковатыми искусственными бородами, они собирали подаяния в пользу нуждающихся под раздумчиво-веселое треньканье рождественских колокольчиков. Рождество — главный праздник на рубеже старого и Нового года и главный коммерческий сезон, который начинается еще с конца ноября. Люди приучены бегать по магазинам и накупать подарки — торговая выручка за декабрь равна двум-трем среднемесячным, ею измеряется итог года и общая экономическая конъюнктура.

Декабрь был бесснежным, но с ледяными ветрами, набиравшими большую скорость на прямых просеках авеню и стритов. Люди с картонками и пакетами ловили такси, грузились у автобусных остановок, подняв воротники, спешили по тротуарам, подгоняемые ветром. Царил суматошный хмельной праздничный дух. Веселились на бесчисленных Christmas parties — рождественских вечеринках. Мы тоже побывали на полдюжине вечеринок, обрастая новыми знакомыми. Было шумно и мило, все были нервически оживлены, передвигаясь со стаканами коктейлей в руках. Но возникавшие знакомства оказывались либо шапочными, либо сухо-деловыми.

Критерии мои, может быть, были неоправданно максималистскими критериями молодого человека из другой страны, к тому же с небольшим жизненным опытом. Но я не мог (да и сейчас не могу) избавиться от этого впечатления: в человеческих отношениях поражал избыток механистичного и явно недоставало незастывающего цемента душевного тепла. Как и вещи, отношения между людьми были рациональны, функциональны, эффективны (вот коронное слово!). Не на дерево с корнями, уходящими в землю, и кроной, то пышно зеленеющей, то сбрасывающей листья, походили они,

а на комбинации каких-то кубиков, каких-то геометрических фигур. Вместо органической связи были холодные стыковочные узлы.

Многие мои мерки, домашние и каирские, не подходили. В Каире у египтян нередко сквозило заискивание перед иностранцами. Привыкли они к подчиненности, к тому, чтобы обслуживать американцев и европейцев, видеть в иностранцах богатых и сильных людей, от которых можно кое-чем поживиться взамен за услуги. В Нью-Йорке все было наоборот. Именно из американца выпирает чувство превосходства над иностранцем. Именно иностранец идет в Америке вторым сортом. Во-первых, типичный американец убежден, что нет в мире страны лучше, богаче и свободнее, чем его страна, и нет валюты тверже его доллара (в семидесятые годы это убеждение пошатнулось). Во-вторых, важно понять и все время иметь в виду, что Америка — нация иммигрантов. За исключением отверженных индейцев, которых мало кто принимает в расчет, все американцы — в каком-то смысле иностранцы в своей собственной стране, иностранцы в том или ином колене. Вот почему на только что приехавшего иностранца средний американец привык смотреть как на свежего, новенького иммигранта. Для него иностранец — не более чем кандидат в американские граждане, у которого меньше стаж пребывания и, стало быть, прав. Иностранец, по мнению такого американца, должен понимать свою неполноценность и мириться с ней. Он должен быть благодарен уже за то, что его пустили в Америку. А он, неблагодарный, норовит стать конкурентом, ухватить тот кусок американского пирога и благополучия, который американец считает своим (привыкнув видеть в иностранце нового иммигранта, американец, как правило, искренне удивляется, узнав, что иностранец приехал в Америку временно и собирается вернуться к себе домой).

Грубыми нью-йоркцев, может быть, и не назовешь, но иностранец на первых порах больно ощущает их неприветливость и жесткость (еще одно из коронных слов!), а также обнаженную меркантильность. Наслышавшись об американском сервисе, мы думали, что лендлорды хотя бы поздравят новых жильцов с новосельем. Не тут-то было. Вместо поздравления получили извещение, что арендная плата повышается на 15 процентов; это правило, как мы узнали, касается всех новых квартиросъемщиков...

Прошло три с лишним месяца. В один февральский день все жильцы, включая и старых, получили уведомление о предстоящем повышении арендной платы на десять процентов. Через неделю к нам пришли пожилой мужчина и молодящаяся женщина, оказавшаяся француженкой. Как представители комитета жильцов, они собирали деньги на адвоката, который в суде должен был оспорить решение лендлорда. Меня смущало, имею ли я право принимать участие в такой зарубежной общественной деятельности, будучи советским гражданином, к тому же зарегистрированным в Америке (была тогда такая практика) в качестве иностранного агента.

— Поймите, это же капитализм, — уговаривал меня мужчина. — Сегодня они требуют больше, а через год продадут дом, и новые хозяева опять повысят плату.

Этот американец не без основания подозревал, что у советского русского, приехавшего из страны, где строят социализм, представления о капитализме носят отвлеченно-академический характер. Наш лендлорд, объяснял он, проделал довольно распространенный трюк: продал дом за двойную цену, причем своим родственникам, жильцы считали, что это фиктивная сделка, заключенная для того, чтобы легально оправдать новое повышение арендной платы — ведь новому лендлорду закон гарантирует определенный процент прибыли.

Наняли адвоката, писали петицию мэру. По приглашению жилищного комитета я однажды направился в Сити-холл. Там разбирали жалобы населения на законопроект о контроле над квартплатой. В зал заседаний публику не пускали, но на галерке для посетителей собралось человек триста. Мест не хватало, полицейские удерживали возбужденную толпу. На галерке не было, конечно, персонажей, знакомых по фотоиллюстрациям в журнале светской хроники Парк авеню.

Председатель призвал посетителей к спокойствию, предупредил, что публичные изъявления чувств запрещены. Но его словам не вняли: чем сильнее ораторы внизу обрушивались на домовладельцев, тем громче им вверху аплодировали. Я наблюдал один из эпизодов постоянной войны, разделившей Нью-Йорк на два лагеря — домовладельцев и квартиронанимателей. Патетически разоблачалась подоплека жилищного бума: не ремонтируются и сносятся прочные еще дома, потому что в них городской закон запрещает резко поднимать квартплату. На их месте строятся, да, современные, многоэтажные, да, комфортабельные жилища, но квартплата в них вдвое и втрое выше. Против новых домов жители протестовали так же, как рабочие протестуют против новых, прекрасных автоматических, электронных машин, потому что эти машины выбрасывают их на улицу.

Внизу в пресс-комнате раздавалась дробь пишущих машинок. Но на следующий день газеты даже не упомянули о жарких дебатах в Сити-холл. Старо. Не новость...

Не знаю, чем кончилась одиссея на 1060, Парк авеню. Вскоре жить там стало невыносимо. С восьми утра прямо под окнами отбойные молотки строителей вгрызались в манхэттенский гранит, готовя котлован под новый — и дорогой — жилой дом. Пожертвовав престижем, мы переехали к концу весны с Ист-сайда на Вест-сайд, точнее, на Риверсайд-драйв.

Наш Бродвей

Этот отрезок обыкновенного Бродвея, а не Бродвея-символа я называю нашим по праву человека, который долго жил рядом с ним, знал его больше, чем любой другой район Нью-Йорка, и из поездок по Соединенным Штатам возвращался туда — не странно ли? — как домой.

На нашем Бродвее тоже шумный хаос людей и машин, но нет вселенской рекламы и дешевых приманок для заезжих людей, там живут просто жители. Там Бродвей, текущий, как естественная река, среди прямолинейных каналов авеню и стритов, пересекается с Амстердам авеню и 72-й стрит. А широкая, с двусторонним движением 72-я выходит к автостраде вдоль Гудзона, дающей возможность быстрых бросков на юг и север Манхэттена, и к Сентрал-парку, связывая Вест-сайд и Ист-сайд. Большой транспортный узел. Перекресток в квадрате. И там, где, слившись, сразу же прощаются Бродвей и Амстердам авеню, стоит посредине на треугольном островке старое строеньице — вход в подземку. К островку, переждав потоки машин, устремляются потоки людей. Это оазис, где утоляется особая жажда обитателей большого города — жажда быстрых передвижений. Окошко в кассе узкое, с решеткой — предосторожность от грабителей. Приобретя кругленький желтенький, с каждым годом дорожающий жетон, бросив его в щель автомата и слегка поддав бедром металлическую палку турникета, по двум пролетам старой железной лестницы спускаешься на узкую, грязную и темную платформу с крышей, подпираемой крашеными железными столбами. Из тоннеля с грохотом вылетают экспрессы и локалы. (Раньше были вагоны как вагоны, но, вернувшись в Нью-Йорк в семидесятые годы, после трехлетнего отсутствия, я увидел чудища, по самые крыши исписанные, заляпанные самыми ядовитыми красками,— этакие скоростные, грохочущие произведения поп-арта. Особый вид прикладного искусства: чем бы молодежь ни тешилась, лишь бы не бунтовала,— и потому муниципальные власти дали ей измазюкать вагоны.) Локал идет со всеми остановками, экспресс, сотрясаясь от бешеной скорости, останавливается через две на третьей, через три на четвертой. Или на юг — в Мидтаун и Даунтаун, в Бруклин, или на север — к Гарлему, в Бронкс, туда, поработав на белых, возвращаются домой негры, а также пуэрториканцы, которые все еще никак не попадут в категорию полноценного белого человека.

На островке два стратегически расположенных киоска. На их прилавках вырастают, чтобы убывать, кипы дневных, вечерних и утренних газет, придавленные от ветра тяжелыми железяками. Субботними вечерами, когда посекционно подвозят воскресную «Нью-Йорк таймс», места на прилавках не хватает. Секции самой объемистой нью-йоркской газеты, как поленницы заготовленных на зиму дров, полутораметровыми штабелями складываются у киосков и ближайших стен.

Газетно-журнальных киосков на нашем Бродвее много. Эти киоски — настойчивый штрих городского пейзажа. Будь я не газетчиком, который не может пройти мимо них ни на улице, ни в своем рассказе, а художником, переносящим на полотно приметы Нью-Йорка, обязательно нашел бы место для немудреной, сколоченной из фанеры, темно-зеленой конуры без окон и для киоскера, выглядывающего из нее,— обычно пожилого, простецки одетого мужчины, фамильярно-грубоватого человека улицы, невольного наблюдателя людей и нравов. Он многое примечает: киоски расположены на бойких местах, открыты чуть ли не круглосуточно. Судя по виду и возрасту киоскера, к баловням жизни его не отнесешь, радости и удовольствия его невелики, жизненная практика поневоле пуританская, а за спиной его и по бокам всеми цветами передовой типографской радуги пестрят на обложках разных, с позволения сказать, изданий девицы соблазнительных очертаний и поз; как резиновые игрушки, надутые своими мускулами, отсвечивают золотой краской культуристы; вся вульгарная ярмарка «массовой культуры» — импульсы секса, порнографические альбомы, запечатанные в целлофан (сначала купи, а потом разглядывай), откровенные намеки гомосексуализма, коктейль вседозволенности, насилия и садизма и тот же коктейль, но с претензией на пресыщенную утонченность, с прицелом как бы на интеллектуалов — пикантно-скабрезные ежемесячники «Плейбой» и «Пентхауз». Все рядом — разделено и перемешано. Кого же отражает это зеркало, так нахально подставляющее себя на всех перекрестках Америки? Какого человека? Тут же, из иной оперы, напористые плотно набитые броско и интересно поданной информацией политические еженедельники «Ньюсуик» и «Тайм», которые не без успеха разлетаются и по всем континентам, навязывая американский взгляд на мир и на события в мире, особенно там, где нет такого же оперативного и напористого, другого, своего взгляда. И тут же журнальчик программ телевидения («Ти Ви Гайд»), полезный журнал «Кью», который сообщает, что́ идет в сотнях нью-йоркских кинотеатров, числом звездочек и краткими аннотациями довольно трезво определяя ценность того или иного фильма. И так далее.

Уже пропитавшись теленовостями, по привычке, сильной и неодолимой, как у наркомана, я выходил к половине десятого вечера на угол Бродвея и 72-й стрит за новой инъекцией подробной и оперативной информации, выжидая, когда подкатит фургон «Нью-Йорк таймс» и шофер сбросит обвязанные проволокой связки свежих газет,

помеченных уже завтрашним числом. Это было первое издание, последнее поступало около двух часов ночи...

Но дом, в котором прожили шесть лет, стоит не на самом Бродвее, а в трех минутах ходьбы от оживленного перекрестка. Занимает целый квартал, блок, как говорят в Нью-Йорке, ограниченный 73-й и 74-й стритами, Вест-энд авеню и Риверсайд-драйв.

Бродвей шумит к востоку, а на западе, за сквером, где прогуливают больше собак, чем детей, и за автострадой течет Гудзон. Мы жили по-над речкой-реченькой в милю шириной. Гудзон был в наших окнах и из детства и юности вызывал другой образ большой реки — Оки, неспешно считающей последние версты перед впадением в Волгу. Только нет на Гудзоне песчаных пляжей и отмелей, какие были на той Оке, возле Стригина, Молитовки и Американского (теперь Приокского) поселка, где в начале 30-х годов селились в специальных коттеджах фордовские специалисты, помогавшие строить Горьковский автозавод; только ни разу не пришлось прыгнуть, разбежавшись, в Гудзон, а вместо купающихся у берега были щиты, запрещавшие входить в опасно загрязненную воду, хотя иные рыбаки не с пустыми руками возвращались с набережной напротив нашего дома.

Семнадцатиэтажный краснокирпичный дом имеет два парадных входа и несколько служебных, а также выезд из подземного гаража. Адрес: 11, Риверсайд-драйв, хотя ни одна из дверей на Риверсайд-драйв не выходит. В Америке нет в домах тринадцатых этажей по причине суеверия хозяев, боящихся потерпеть убытки на суеверии жильцов, а адреса, как уже упоминалось, даются по соображениям престижа (в уличном табеле о рангах Риверсайд-драйв стоит выше Вест-энд авеню).

Не только номера, но и имена есть у американских домов. Наш назывался Шваб-хаузом. Построил его и окрестил человек, сделавший большие деньги в сталелитейном бизнесе. Долгое время Шваб-хауз был едва ли не самым большим из жилых домов на Манхэттене. Он и сейчас не уменьшился, более полутысячи квартир, но постарел и одряхлел, уже как будто мал в сравнении с новыми циклопическими жилыми новостройками...

Из советских корреспондентов первооткрывателем Шваб-хауза был Николай Курдюмов, работавший тогда корреспондентом «Труда». Вторыми, в 62-м году, поселились мы. Курдюмов представил меня менеджеру и, как положено, письменно за меня поручился: не какой-то шаромыжник с улицы и без гроша в кармане, а представитель солидной, финансово стабильной газеты. Трехкомнатная квартира на восьмом этаже стоила 305 долларов в месяц (сейчас арендная плата выросла вдвое) — то есть больше половины зарплаты, доведись платить из собственного кармана, но две трети брала на себя газета. После нас в этой квартире-корпункте провели долгие годы известинской службы в Нью-Йорке Мэлор Стуруа и Виталий Кобыш, а сейчас живет Виктор Солдатов.

За границей наши люди держатся кучно. Тропа, проторенная Курдюмовым, привела в Шваб-хауз Генриха Боровика и Геннадия Герасимова от АПН, Александра Дружинина — от Гостелерадио, Георгия Кузнецова — от «Труда»... Сложить вместе — десятки лет и много-много историй, меньше драматических, больше обыкновенных, тех, что и составляют течение жизни. В иное, предрасположенное к романтизму и мистике время можно было бы вообразить, как духи людей, уже вернувшихся в свои московские квартиры, витают там, среди покинутых ими стен Шваб-хауза — наши мысли и грезы тех лет, терявшие новизну и обновлявшиеся образы Нью-Йорка и Америки, призраки нашей жизни с чадами и домочадцами, радости и тоски, неровно пульсирующего напряжения работы и всяческой суеты сует. Но духи и призраки водятся лишь в фильмах ужасов, а машина времени, позволяющая вернуться назад, еще не сконструирована. Впрочем, не преуменьшаю ли я достижения определенного рода? Машины времени, как таковой, может быть, и нет, но некие ее звукозаписывающие устройства уже существуют. Предполагалось, что наши стены в Шваб-хаузе имеют уши — магнитофонные уши ФБР. Как долго в этом заведении хранятся записи семейных разговоров и ссор, товарищеских споров и дискуссий, темы и поводы для которых все время подбрасывала и американская, и наша жизнь? Много было шумных посиделок, читали стихи, слушали записи песен Окуджавы и спорили, порой до хрипоты, а потом глядели в ночную тьму, на огни, отражавшиеся в Гудзоне, и, остывая, возвращались к долгим американским будням...

Когда уезжал, подсчитал: в Шваб-хаузе было прожито шесть лет, почти каждый шестой день жизни. За вычетом отпусков и поездок набиралось верных полторы тысячи дней и ночей, причем в том возрасте, между тридцатью и сорока, когда человек проходит первые курсы в своем университете зрелости. «В чужих краях провел я много дней но не оставил там души ни крошечки, ей-ей»,— поется в песне про скитальца-моряка. Хорошая песня, не раз приходила в голову и мурлыкалась в чужих краях. И немудреный ее смысл был вроде бы бесспорным. Но... Если задуматься... Душа — не сыпучее тело, подверженное простым физическим законам. Когда она наполняется? Когда убывает? Какая происходит с ней усушка и утруска? И разве оставить где-то крошечку души — это обязательно разбазарить? Когда долго живешь за границей, жизнь эта становится привычной, но ощущение странности ее не проходит, а скорее возрастает — странности, условности, чемоданности. Словно и не жизнь

это, а долгий антракт в подлинной жизни, потому что подлинная твоя жизнь может быть лишь там, где подлинный твой дом. И все-таки... Помногу ездившие люди знают, что понятие дома многоступенчатое. Кроме дома, где родился, дома, где жил с родителями, дома — города или деревни, дома — отечества, родной земли, про которую поэт сказал: «...Даже лечь в могиле братской лучше, кажется, в тебе»,— в длительной загранкомандировке возникает дом временный, промежуточный, тоже странный дом, свой да не свой, хотя может ли быть чужим дом, в котором живешь ты вместе с семьей? Так или иначе из поездок в Калифорнию, Аризону, Монтану, Техас, Висконсин и так далее я прилетал и приезжал в Нью-Йорк домой, в Шваб-хауз. А из Москвы летел в Америку в тот же Шваб-хауз уже не домой, а за границу.

Были такие дни в этом доме, которые не уйдут из памяти,— дни и ночи. Как забыть ту, после жаркого майского дня, мучительно-непонятную ночь, когда почему-то не спалось и было какое-то томление и бессилие, как-то нехорошо тянулись часы, а потом дрему отбросил резкий телефонный звонок, и коллега, дежуривший в отделении ТАСС, без дипломатических подходов и околичностей, резко и, показалось, чуть ли не грубо — как еще об одной, посторонней новости, пришедшей на телетайпы,— сообщил, что в Горьком умерла моя мать, долго и неизлечимо болевшая, так и не дождавшаяся возвращения старшего сына на родину. А другая ночь, когда, смущенная и как бы извиняющаяся, разбудила меня бродившая тенью в квартире жена: кажется, пора. И, позвонив опекавшему ее доктору Юджину Клочкофф (он же Евгений Клочков, сын старого русского эмигранта), мы спустились в гараж под Шваб-хаузом, к машине, слава богу, не заставленной другими машинами, и по предрассветным пустынным улицам — слава богу, без заторов и пробок — я повез ее на другой конец Манхэттена, в роддом, где она родила сына — так быстро, что я, высадив и проводив ее, еще не успел найти место для машины, хотя на рассвете припарковаться легче, чем в разгар дня.

Но это личное, а наши квартиры в Шваб-хаузе назывались служебным словом — корреспондентский пункт. Там мы жили странной (повторю это слово) жизнью — рядом с домашними и, однако, отодвинутые от них своей работой, занятые отнюдь не семейными событиями, увлекаемые и погребенные под вечной лавиной информации. Мы варились в американском соку, пытались быть по-американски осведомленными об американской политической кухне, так или иначе болели американскими общественными страстями и заражались американскими внутренними симпатиями и антипатиями, а иногда даже испытывали чувство (неизбежное и иллюзорное) причастности к ходу этой, другой, жизни. И чаще служебными, чем личными были наши выходы и выезды из этого краснокирпичного дома. Шли пешком в Сентрал-парк, на митинг протеста, заливавший тысячами людей просторную Овечью лужайку, ехали в Вашингтон, чтобы с пресс-галереи палаты представителей конгресса выслушать традиционное январское послание американского президента «О положении страны», летели в другой конец Америки, на очередной национальный съезд республиканцев или демократов, возвещавший финальную стадию очередной битвы за Белый дом.

Позднее, когда я работал уже в Вашингтоне, Шваб-хауз благодаря дружескому гостеприимству коллег все еще сохранял домашнее тепло и назначение отправного пункта в хождениях по Нью-Йорку. В январский дождливый вечер 73-го года оттуда поехал на перекресток Бродвея и 42-й стрит посмотреть, как американцы празднуют конец самой затяжной в их истории — вьетнамской войны; они никак не праздновали. В июле 76-го, временно переселившись в Шваб-хауз, освещал съезд демократов, который собрался в Нью-Йорке, чтобы выдвинуть своим кандидатом в президенты Джимми Картера (но об этом позднее).

А раньше там же переживал американские трагедии политических убийств, мучимый мыслью о несбалансированности этой страны, с которой мы связаны одной веревочкой ракетно-ядерного века.

В ноябрьские дни 1963 года, когда с товарищем собрались ехать в Вашингтон на похороны убитого в Далласе Джона Кеннеди, по телевизору вдруг объявили, что Освальда, предполагаемого убийцу, сейчас будут — в порядке живого телерепортажа, разрешенного помешавшейся на паблисити далласской полицией,— перемещать из здания полицейского департамента в тюрьму, и мы, уже с чемоданами в руках, уже собираясь спуститься в гараж, решили обождать пару минут, зло пророчествуя, что сейчас и Освальда, чего доброго, шлепнут в этой суматохе,— и пророчество сбылось тут же, к нашему ужасу, на телеэкране: мы увидели, как возле щуплого, напряженно испуганного Освальда, которого под руку вел в подвале полиции дюжий детектив, вдруг вынырнул пожилой лысоватый человечек и что-то такое, не сразу разглядишь, было у него в протянутой руке, и вдруг Освальд стал клониться набок, падать, и суматохи стало еще больше; мы спустились в гараж, выехали и уже за городом на автостраде, которую полосовал сильный ноябрьский дождь, узнали из непрерывных радиобюллетеней, что Освальд скончался... А убийство Мартина Лютера Кинга в Мемфисе 4 апреля 1968 года, еще один страшный телевизионный вечер почти под занавес первой долгой американской командировки. В тот вечер потрясенный человек вывел из строя корреспондента: я ничего не передал в газету, не мог уместить ошеломительную новость в скупые, узкие строки оперативного

отклика (по возвращении в Москву из потрясения, из эмоционального толчка родилась книга о Кинге)...

Но, увлекшись Шваб-хаузом, я забыл о соседнем Бродвее.

На нашем Бродвее сохранились черты той цивилизации, которая сложилась в больших американских городах еще до нашествия массового автомобиля и которую автомобиль не сумел целиком поломать. Районы жилья не отодвинуты там на край света от центров торговли и сервиса. Люди еще не разучились ходить пешком, как в новых, стремительно выросших мегалополисах типа Лос-Анджелеса, где, чтобы, предположим, запастись провизией, надо садиться за баранку автомашины, не идти, а ехать в супермаркет, искать место на автостоянке, бывает, на сотни машин, в магазине размером с небольшой крытый стадион катить коляску вдоль десятков стеллажей с продуктами и потом ту же коляску, пройдя через одну из десятка касс, выкатывать из магазина, упирать носом в специальный барьер, снова идти к машине, вспоминая, где ее оставил, подъезжать на машине к барьеру, открывать багажник или дверцы для магазинного боя, укладывающего пакеты, и, наконец, возвращаться домой, в гараж, выгружая пакеты возле лифта. Слов нет, прекрасные супермаркеты, но не слишком ли долгий ритуал, не слишком ли опасная зависимость от автомобиля, особенно в эпоху энергетического голодания, высоких цен на бензин и повторяющихся его нехваток.

А наш Бродвей — старый, обжитой район, где все удобства быта, как говорится в Америке, на пешеходном расстоянии, то есть рукой подать. Мы хорошо знали семь кварталов-блоков, от 72-й до 79-й стрит, и отрезок 72-й между Бродвеем и Вест-энд авеню. За сигаретами или пеной для бритья ходили в «Грин драгстор» или другие аптеки, которых там, пожалуй, еще больше, чем газетных киосков, а в аптеках есть почти все — от зубной пасты и разных транквилизаторов до мороженого, яичницы с ветчиной и резиновых пляжных шлепанцев. За продуктами — в супермаркеты «Фудсити» или «Фэрвей», там торгуют также прохладительными «мягкими» напитками и пивом — лишь по воскресеньям пиво не продают до двенадцати часов дня, до обедни, чтобы нетрезвое дыхание верующих не оскорбляло господа бога. Бумагой и шариковыми карандашами запасались в небольшом магазине канцпринадлежностей между 74-й и 75-й стрит. Фильмы иногда смотрели в огромном, вечно пустом «Биконе» или «Эмбасси», кинотеатре поменьше и получше. Ресторанчики и закусочные, несколько баров и химчисток, не считая той, что располагалась в самом Шваб-хаузе, одна прачечная-автомат, где белье стирали и сушили сами жители, бросая четвертаки в щели машин, два отделения банков, похоронный дом, несколько старых третьеклассных отелей (в одном из них, по имени «Ансония», ветшающем помпезном здании стиля вычурного барокко, когда-то, говорят, останавливались Рахманинов и Шаляпин, но американцы скуповаты на мемориальные доски, а в бывший знатный отель теперь страшно войти — туда муниципалитет вселяет несчастных людей, живущих на вспомоществование, и там их нещадно грабят разного рода жулики — от обыкновенных до тех, кого называют лендлордами). Даже советская школа, от представительства СССР при ООН, располагалась тогда неподалеку, на 79-й, и туда ходила моя дочь, конечно, не одна, а с матерью, детей без присмотра наши в Нью-Йорке никуда не пускают.

И существовал на этом Бродвее свой филиал Вавилона, сколок нации иммигрантов. В большинстве своем это были уже американские граждане, но за многими явственно выглядывала земля отцов или их собственной молодости, и часто даже род их занятий был под стать очень сузившейся при пересечении океана, приспособленной к Америке и американцам, национальной репутации. Напевая и балагуря, веселые итальянцы в узкой, как пенал, закусочной раскатывали тесто и, густо полив его томатной пастой, посыпав тертым сыром, ловко бросали большие круги пиццы на стальной под электропечи. Кубинцы держали парикмахерскую, они бежали с Кубы, потому что «до Кастро» Куба была американским туристским островом, продолжением Майами-Бич, и эти бродвейские кубинцы жили там бритьем и стрижкой американцев; подставляя голову и щеки их бритве, я помалкивал, откуда приехал сам. Услужливые, молчаливые, загадочно живущие китайцы работали в ресторанах «Шанхай дор» и «Гуд лайф». А больше всех, пожалуй, было евреев (они составляют не меньше четверти нью-йоркского населения) — среди жителей, в кондитерской «Бабка», отеле «Эспланада», в аптеках, магазинах радиотоваров и канцпринадлежностей, в двух лавках деликатесов на 72-й стрит, где торговали подобием наших колбас, селедки и хлеба, даже жареными семечками и где даже русские соленые огурцы считались частью еврейской кухни (наверное, потому что с русской кухней Нью-Йорк первоначально знакомился в начале века через российских евреев, перебравшихся в Америку). Пуэрториканцы на велотележках развозили продукты из магазинов и были на подхвате, на черной случайной работе. Ирландцев представляли хозяин ресторана морской пищи и прогуливавшиеся по тротуарам блюстители порядка — в нью-йоркской полиции ирландцев не меньше, чем в нью-йоркской мафии выходцев из Сицилии. Пожалуй, лишь японца не хватало тогда на Бродвее, но, впрочем, и его изредка заносило — скромным и деловитым туристом в аккуратном костюмчике, с фотоаппаратами и кинокамерами.

В 70-е годы к нашему Бродвею с севера совсем близко подошел Гарлем, все больше негров и пуэрториканцев селилось в боковых стритах, а в 60-е негры попадали туда преимущественно в поисках работы. По субботам и воскресеньям у кинотеатра «Эмбасси» появлялись с утра негритянские мальчишки с ящичками, на которые усаживались верхом, со складными стульчиками, предназначенными для клиентов. «Эй, мистер! Ботинки почистить!» — покрикивали они бойко и несколько боязливо, попав на территорию белого человека. Рядом, подпирая стену отделения «Чейз Манхэттен-бэнк», в шляпах, смятых и слегка сдвинутых набок с особым нью-йоркским шиком, и уже начищенных ботинках, жмурясь, как коты на солнышке, провожая глазами молодых женщин, лениво перебрасывались словами загадочные мужчины средних лет, и от них за версту несло прожженностью, пугающей нечистоплотностью, бездной порока, цинической силой дельцов-гангстеров или гангстеров-дельцов...

Лето — самая тяжкая нью-йоркская пора. Весенние радости коротки, быстро наступает жара и пыль, духота и почти стопроцентная обессиливающая влажность. Асфальт и бетон раскалены. Городской грохот еще громче. Пытка автомобильных пробок еще невыносимей. От Гудзона — ноль свежести. Жалко детей, еще больше жалко стариков, бедных пленников города. На разделительной полосе бродвейской мостовой они сидят на скамейках тесно и одиноко, не разговаривая друг с другом, седые головы, вставные зубы, сухие, морщинистые лица, и в их взглядах и позах, в их одиночестве — печать Нью-Йорка, которая вдавливалась десятилетиями. Слева и справа несутся автомашины, под скамейками грохочут поезда подземки, и даже поздними вечерами нет прохлады, а они сидят и сидят.

Зимой Гудзон оживает, шлет холодные ветры. На мостовых из-под канализационных крышек вырываются густые клубы теплого влажного пара — непонятные, таинственные и, однако, вписывающиеся в городской пейзаж,— как будто там, под землей, по специальной договоренности с дьяволом, создан для удобства местных грешников свой нью-йоркский филиал преисподней.

Но много выпадает каждый год хороших дней, теплых, солнечных, пронзительно-ясных, как наши сентябрьские дни. Жители прогуливаются, выходят вечерами показаться на Бродвей — эксцентричная молодежь, выставляющая красоту и силу, небрежно-модно одетые мужчины, и женщины средних лет, и люди постарше и попроще, уже осознавшие свой возраст и переставшие служить одному из американских культов — культу молодости. Неспешное фланирование, выгуливание своих собак и разглядывание чужих собак, иногда знакомство, тоже через собак, томительная тяга к другим людям и скорлупа одиночества. Перед какими-нибудь выборами какой-нибудь местный кандидат, который не упустит и два-три десятка голосов, показывает себя народу на перекрестке, демократически протягивает руку для рукопожатия незнакомым людям или витийствует, балансируя на радиаторе автомобиля, оклеенного агитплакатами. А в поздний час, когда пустеет Бродвей, между выступами потушенных витрин прячутся молоденькие негритянки, предлагая свои ночные услуги автомобилистам и редким пешеходам.

И летними вечерами, и поздней осенью перед Днем благодарения, и в конце декабря под рождество долгое время появлялась седенькая чистенькая старушка с аккордеоном и прикрепленной к нему кружкой. Постоянное ее место было возле отделения банка «Чейз Манхэттен». Она сидела на раскладном стуле, седые волосы аккуратно причесаны, маленькая и уязвимая, как воробышек, не глядя на прохожих, и пальцы ее бегали по клавишам, извлекая из аккордеона старые европейские мелодии вроде вальса «Дунайские волны».

И так грустно становилось от знакомых звуков в дни чужих праздничных сумерек, когда сильнее чувствовалось, как проходит время.

И Бродвей тек мимо рекой жизни.

Негр на тротуаре

Первый час ночи. Бродвей между 74-й и 75-й. Через темные окна бара, таинственно подсвеченные, как в глубине аквариума, видны люди, стоящие у стойки и сидящие на высоких крутящихся табуретках. Стаканы и рюмки — в их руках или перед ними на стойке, меж расставленных локтей. Спины, шляпы, затылки, реже — лица Звуки из бара не доносятся, и от немоты сцена в этом аквариуме выразительна, как пантомима. Главный в пантомиме — бармен. Он-то повернут лицом — любезным и жестким. Галстук-бабочка, длинный накрахмаленный белый фартук. Неслышно, гибко и ловко снует бармен, один на всех, и за ним тоже подсвеченные красочно переливаясь, заманчивые этажи разных бутылок. Сбоку, не загораживая бутылок, вертится, искрится реклама пива «Шлитц».

Напротив бара, на краю широкого бродвейского тротуара,— киоск. Забаррикадированный кипами газет, загораживая большой квадратной головой красоток с журнальных обложек, выглядывает оттуда нетипичный дегенеративного вида киоскер, напоминающий кинострашилище Финкельштейна. Он глядит исподлобья, мычит что-то

нечленораздельное, и всякий раз, беря газеты, я вижу, что руки не слушаются его. Когда газеты есть в других киосках, обхожу его стороной.

Знакомый бар. Знакомый киоскер... Останавливаюсь из-за уличного происшествия. На тротуаре, чуть в стороне от бара и киоска, лежит негр. Напился? Не похоже. Он лежит тихо и покорно, весь длинно вытянувшись, не как пьяный, который храпит с открытым воспаленным ртом и даже в свалившем его сне время от времени как бы порывается встать и продолжить свой путь. Негр лежит скорее как мертвый. Такое покорство в его позе, что первая мысль: не лежать ли ему так вечно? Средних лет. Из помятых с бахромой брюк высовываются мослы темных негритянских лодыжек, стоптанные, разбитые башмаки надеты на босу ногу. И кепочка на асфальте — чуть в сторонке. Также чуть в сторонке полицейский. Он явно при лежащем негре, в этом сейчас его служба, но словно он сам по себе. Так, невзначай, шел-шел и остановился. Быть при негре ему унизительно. Типичный «коп» — от темно-синей фуражки с кокардой до начищенных тяжелых ботинок. Вес, масса как у быка, кольт в открытой кобуре, дубинка, связка ключей на добротном широком кожаном ремне. Все в нем добротно, вплоть до выражения лица, такого, каким оно и должно быть у стража порядка не где нибудь, а в Нью-Йорке, в Америке.

Это ночь с субботы на воскресенье. На Бродвее все еще людно. И достаточно много света, чтобы, проходя мимо, увидеть красную запекшуюся струйку крови, проборождившую щеку и подбородок негра. Красная струйка на сизом одутловатом лице — даже в беспамятстве бледность не заливает негритянские лица. Струйка притягивает прохожих, как тайна и знак бедствия. Увидев лежащего плашмя негра с зловещей красной струйкой на лице, они замедляют шаг и останавливаются на расстоянии, которое принято называть почтительным и которое точнее было бы назвать безопасным расстоянием между участниками и зрителями.

Участников всего один негр и еще, по долгу службы, полицейский. Негр молчит и не двигается, кажется и не дышит. И полицейский молчит, чуть в сторонке, поигрывая дубинкой. Но что-то такое есть в позе полицейского, убеждающее, что негр не мертв. И встав полукругом, молчат зеваки, разглядывая лежащего, разгадывая струйку крови на его лице. Пара подружек — старушек с фиолетовыми волосами, из тех, что скрывают прогрессирующую бедность. Мужчина с сигарой во рту и воскресной газетой, прижатой к правому боку. Другой мужчина, подозрительно сладковатый, от него пахнет женскими духами. Дама с белым пудельком, она взяла его на руки, и пуделек бисеринками глаз тоже поглядывает на лежащего. Парень с девушкой, полуобнявшись, с живыми молодыми лицами, еще не привыкшими скрывать чувства...

Что стряслось тут, среди еще не заснувшего города, среди прогуливающихся людей, с этим поверженным ниц черным собратом по человечеству? Какая поразила его напасть судьбы? Всем любопытно, но все молчат, хотя вот он рядом, дюжий источник информации. Выяснять — это уже, пусть самым краешком, вовлекаться, а вовлекаться — это принимать какие-то обязательства сострадания и сочувствия, это стеснять себя, ограничивать свою свободу (взял да и пошел дальше), переходить от безучастности к участию. Вовлекаться не принято. Главный принцип поведения на нью-йоркской улице — принцип невмешательства.

Бесстрастность на лицах двух старушек, дамы с собачкой, мужчины с сигаретой и другого, сладковатого, говорит: да, любопытство сдержать не можем, вот, видите, стоим и смотрим, но принцип невмешательства не преступим. О, человек в большом городе, сам по себе, одинокий среди тысяч, праздный или занятый, но всегда берегущий свой уличный суверенитет, свои эмоциональные ресурсы! С бóльшим чувством у круглого открытого бассейна в зооуголке Сентрал-парка следит он за нырянием моржа, ожидая, когда, отдуваясь, морж вдруг возникнет на поверхности воды, поблескивая черным, влажно лоснящимся телом. С моржом нет проблемы вовлечения.

Жду, что будет дальше. Одни, постояв-постояв, уходят своими путями, вверх или вниз по Бродвею. Другие, натыкаясь на покорно лежащего негра, заменяют их и молча останавливаются на том же расстоянии, восстанавливая тот же полукруг.

А похожий на мертвого негр, провалившись в небытие с ночного Бродвея, где гуляют люди, гудят машины, горят фонари и вывески, с бесчувственно спокойным выражением лица, пересеченного струйкой крови, продолжает странствовать в неведомых глубинах беспамятства, не подозревая, что скромная его особа привлекает такое внимание, собирает так много белых людей, любопытствующих, когда же он вынырнет и вынырнет ли из этих своих глубин. Он рядом с нами — и невероятно далеко, где-то в своей неизвестной нам жизни, стремительно, как самолет через клубы облаков, проносясь через нее, легко склеивая были и фантазии,— какие они? Но разве не так же далеки друг от друга мы, вполне в сознании наблюдая эту сцену?..

Подкатывает зеленый полицейский «плимут», потом еще один. И машина «скорой помощи», по надписи на борту видно, что принадлежит она неподалеку расположенному госпиталю имени Рузвельта. При появлении своих монументальный полицейский приходит в движение. Склонившись над негром, не спеша, с брезгливостью, которую не может, да и не хочет скрыть, он выворачивает наружу содержимое его

карманов. По выражению его лица можно догадаться, что он заранее знает, что может быть в таких негритянских карманах. Но мы-то не знаем. Среди зевак оживление. Однако ничего интересного в карманах нет. Извлекаются кусок булки и в ней половина сосиски, запечатанные в пластик прямоугольнички документов. Полицейские всматриваются в прямоугольнички, желая удостоверить личность несчастного. Документы, видимо, не совсем в порядке. На лицах полицейских читается недовольное: придется повозиться.

Потом приходит очередь двух санитаров. Они кладут негра на носилки, легко несут худое тело к санитарной машине. На тротуаре остается лишь кепка негра. Полицейский то ли не замечает ее, то ли лень ему нагнуться, то ли говорит в нем раздражение против этого злополучного негра, из-за которого пришлось тут торчать столбом. Но зрителей забытая кепка смущает как незавершенность действия. Еще мгновение — санитарная машина уйдет, а кепка так и останется. И кто-то не выдерживает, вовлекается. Нет, не поднимает кепку сам. Но показывает на нее полицейскому, и тот — порядок все-таки есть порядок — еще раз наклоняется и, подняв кепку, артистически небрежно бросает ее на носилки, на грудь остающегося недвижимым негра. Бросает как раз в тот миг, когда носилки на роликах вкатываются в чрево санитарной машины, дверцы захлопываются, и навсегда исчезает из нашей жизни незнакомый негр с красной струйкой запекшейся крови на сизой щеке.

Взвыв сиреной, как будто проверяя ее на громкость и хриплость, санитарная машина трогает, уходит, набирая скорость. Разъезжаются полицейские машины, бросая на ночную улицу тревожные рубиновые отблески своих вертящихся фонарей. Полицейский приосанивается, веселее поигрывает дубинкой и тоже двигается в свой ночной путь; ему хочется размяться. Все расходятся. Тротуар пустеет. Через темное стекло витрины в аквариуме бара я вижу ту же пантомиму — молчаливых, как рыбы, людей у стойки и бармена перед многоэтажным царством бутылок.

Слабак Джо

Джо Эрнандес — американец из испанцев, маленький, под пятьдесят лет, черноволосый, с глазами навыкате, как у птицы. Явился в палату № 424 с охапкой чистых простынь. Из туалета принес таз с теплой водой, мыло, поставил на столик у кровати. В тазу у него плавала мохнатая салфетка.

В моей одиночной палате в госпитале Рузвельта перебывало уже много персонала. Все квалифицированно ухаживали за больным, увеличивая счет за лечение, который предстояло оплатить редакции. (Когда меня привезли в госпиталь теряющим от боли сознание, дежурная в приемном покое, хладнокровно пропуская мимо ушей мои стенания, не приняла меня, пока не заполнила анкету и не выяснила, как и из каких средств я буду платить. За неделю в госпитале счет составил восемьсот долларов, а по нынешним временам был бы никак не меньше полутора тысяч.) Одна сестра измеряла давление, другая делала уколы антибиотиков, третья проверяла температуру и пульс. Кормили меня после операции глюкозой через капельницу, а когда ее увезли, еще одна женщина стала приносить чай и еду. Почти все они были негритянками — и бойкие девушки, с любопытством поглядывавшие на русского больного, и пожилые тетушки, от которых исходило спокойствие и доброта. Американская четкость не терпит безымянности. Всякое общение начинается с того, что люди представляются друг другу. Каждая, входя, называла имя и фамилию, они же были вышиты синими нитками на карманах их курток. Каждая тренировалась в произношении моей фамилии, для них сложной и трудной. Каждая быстро и хорошо, без лишних слов и движений делала свое дело, и все процедуры я принимал как должное. Но тут с недоумением поглядел на таз, на мыло и на Джо, которого видел в первый раз.

— Сможете протереть себе грудь и руки салфеткой,— ответил он на мой вопросительный взгляд.— А я вам вымою спину и ноги.

Протереть так протереть. Потом, кряхтя, я повернулся на живот, и Джо ловкими и точными движениями смазал спину мокрой намыленной салфеткой, вытер сухим полотенцем. Потом высвободил из-под простыни мою правую ногу, подложил под нее аккуратно свернутую тряпку, снова обмакнул салфетку и вынул, мягко отжав. Не ахти какая работа для здорового мужчины — обмывать больных, но Джо делал ее с охотой и добротой. И это мне нравилось. Когда он справился с левой ногой и, осторожно перекатывая меня на кровати, сменил постельное белье,— заговорили.

А поговорить тогда было о чем. В нью-йоркский госпиталь со злокачественным аппендицитом, который неразгаданным мучил уже несколько лет, я угодил в самое неподходящее время. На следующий после срочной ночной операции день, когда, еще слабый после адской боли, я начал приходить в себя и испытывать радость человека, удачно избежавшего большой опасности, разразился знаменитый «карибский кризис» октября 1962 года, поставивший мир на грань ракетно-ядерной войны. Настаивая на выводе советских ракет с Кубы и демонстрируя американские мускулы,

президент Джон Кеннеди предпринял рискованный шаг, провозгласив военно-морской карантин Кубы. Американские военные корабли занимали позиции, чтобы блокировать морские пути к Острову Свободы, а наши торговые суда все еще шли к его берегам. Наступил тот исторический момент, про который с должным основанием, а не ради красного словца можно было сказать: мир затаил дыхание. Затаил дыхание, следя за крайне обострившимися отношениями двух великих держав. Никогда еще опасность вооруженного конфликта с применением ракетно-ядерного оружия не была такой реальной.

Жена принесла мне маленький транзисторный радиоприемник. Я слушал прямые передачи из зала Совета Безопасности, собравшегося на срочное заседание, и голоса встревоженных американских радиокомментаторов, лишившихся обычной небрежной уверенности. Лежа на американской удобной больничной койке, этом агрегате с рычагами, при помощи которых можно облегчать жизнь лежачего больного, меняя положение его тела, глядя в американский белый больничный потолок и пользуясь американским дорогим сервисом, не без фатализма я думал приблизительно так: вот от одной опасности избавили меня крепкие, умелые, в рыжеватых волосах руки хирурга Форда, которые видел я перед тем, как уплыть в бессознательность наркоза, но как ничтожна оказывается эта опасность в сравнении с тем, что надвинулось и может обрушиться на всех нас, на весь род человеческий, и как бессильны и беспомощны мы, простые люди, в вопросах своей жизни и смерти, как зависим от ума и воли людей, принимающих за всех нас критические и, может быть, роковые решения. Мысль о близости и возможности мировой катастрофы была тогда у всех на уме, она всех объединяла.

И я ничуть не удивился, когда незнакомый санитар Джо заговорил о том же.

— Плохие новости,— сказал он.— Быть войне!

И, думая, что перед ним американец или во всяком случае иностранец, который не может не разделять американские взгляды, добавил:

— Зачем только Кастро навязывает коммунизм кубинцам?

Я сказал, кто я и откуда и выразил свое несогласие: разве дело в Кастро, а не в политике американцев, которые держат ракеты у самых границ Советского Союза, например в Турции, но при этом, действуя по принципу: что позволено Юпитеру, то не позволено быку, не хотят терпеть оружия, поставленного Советским Союзом Кубе по просьбе кубинского правительства, желающего обезопасить свою страну от вторжений и провокаций контрреволюционеров и ЦРУ. Джо стушевался и тут же свой промах смягчил шуткой:

— Русский? Из миссии? Журналист! Ну, вы пропускаете большое событие...

И снова завздыхал. Его брат служил на американской базе Гуантанамо, расположенной на Кубе. Из-за чрезвычайного положения семьи военнослужащих уже начали эвакуировать с базы, и жена брата должна была вот-вот прилететь в Штаты.

Он сделал свою работу, отнес таз в туалет, собрал ненужное белье и исчез за дверью плавной мелкой походкой. Обут он был, как и все в госпитале, в белые, тяжелые на вид, бесшумные кеды на толстой резиновой подошве — удобную обувь американского медицинского персонала. Я заметил: в походке его было что-то танцующее. Потом узнал от Джо, откуда у него такая походка. Оказывается, долго, целых двадцать лет, он был балетным танцором. Родился в Мадриде, до первой мировой войны отец его работал там секретарем в посольстве Соединенных Штатов. Балету учился в Париже, у русских. Много ездил по свету. Что заставило его расстаться со сценой? Какие жизненные передряги привели на работу медицинского брата в нью-йоркский госпиталь? Этого я так и не узнал.

На следующий день Джо пришел в намеченный час, снова обмыл меня и сменил постельное белье и заодно испытал новое, еще в стадии обкатки, слабительное «тривидад»: больницы в Америке оказывают такие услуги фармакологическим фирмам...

А день тот развивался еще тревожнее. Возбужденными голосами людей, которые спешат поделиться важными, всех касающимися новостями, радиодикторы наперебой докладывали о приближении решающего часа, о неминуемой пробе сил между американскими военными кораблями, блокировавшими Кубу, и советскими торговыми судами, идущими навстречу американскому карантину. Джо был полон волнения и откровенного страха. Он обтирал меня мокрыми салфетками и не забывал о своей обязанности испробовать на мне слабительное «тривидад», но мысли наши, как говорится, были далеко. Как человек, профессионально причастный к политике, я перебирал в уме разные возможные варианты решения кризиса и пытался хоть как-то утешить и подбодрить американского гражданина Джо Эрнандеса, но он считал, что дело безнадежное, катастрофы не миновать, что, пожалуй, придется нам сгинуть тут, в Нью-Йорке, под ударами советских ракет. И вот что главное: страшился он, американец, не чужих, а своих, не Москвы, а Вашингтона, полагая, что именно в Вашингтоне первыми перейдут роковую грань, нажмут роковую кнопку и всех нас угробят.

— Вы, сэр, не знаете эту страну,— говорил он, не прерывая своего дела, двигаясь по комнате, и танцующая его походка как-то еще больше оттеняла его отчаяние.— Вы не знаете, что́ за люди заправляют в этой стране, сидят в правительстве и

в армии, какой у них нрав и характер. Это богатые и упрямые люди, привыкшие, чтобы все было, как они хотят. Раз они решили, они не отступят, пойдут на все. Нет, сэр, войны не избежать...

Так говорил Джо Эрнандес, сын дипломата, бывший танцор, работавший медицинским братом в госпитале Рузвельта, американец из испанцев. Так говорил он в пугающие дни «карибского кризиса», выражая свой ужас и страх перед лидерами своей страны, чувствуя себя песчинкой, застигнутой катаклизмом.

К счастью, Джо оказался никудышным пророком. Мрачную тучу пронесло. Судный день не наступил, и мир, пошатываясь, отошел от края пропасти. Нашли компромиссное решение; а сам кризис и вызванный им политико-психологический эффект оставил долгий, глубинный след в поведении двух ядерных держав. Но это уже другой вопрос, не касающийся встречи с Джо.

...Кто он, этот Джо с черными глазами навыкате и легкой походкой? Какая жизнь стоит за его испуганными откровениями? Видать, не сладкая, застращали его, наверное, некоторые из соотечественников. Наступили пару раз скошенным ковбойским каблуком с подковкой на его балетные тапочки. С хрустом. Показали ему небо в овчинку и провели «лилипутом у подножия их этажей».

В общем, слабак Джо. Но что сказано этим словом «слабак»? Может быть, он просто человек, который не хочет (и по натуре своей не может, даже если бы захотел) жить по волчьим законам сильных. Может быть, он — гуманист. Разве это слово так велико, что не относится к маленьким людям? Человек, тоскующий по человечности. Жалкий, испуганный гуманист...

Еще в больнице, приподняв изголовье на кровати-агрегате, я записал по свежим следам этот поразивший меня эпизод. Выйдя, похоронил запись среди других, забыл. Но потом Джо стал возвращаться, выплывать в памяти — ознобом его страха, его оторопью, его предсмертной истомой, пусть преждевременной. Он выплывал как тип, как человек-ориентир. Встреча с ним оказалась семенем, из которого выросла какая-то часть моего практического знания Америки. Культ силы, ковбойщину, инстинкт бойцовых петухов — это свойство он верно подметил у своих соотечественников. Конечно, подметил не первым. Ведь это изначальное свойство людей, покоривших новый континент, а что касается политики, то был и есть термин — «с позиции силы». Но одно дело всем известный термин, а другое — такой предметно-убедительный страх предметного Джо в палате № 424.

Он, этот Джо, выплывал, когда американцы его типа, но более активно отвергающие волчьи законы, жгли повестки в армию, участвовали в протестах против вьетнамской войны. Джо выплывал и тогда, когда в политических битвах за Белый дом, считая, что избирателей больше влечет проповедь силы, чем разума, появлялся очередной trigger-happy man — большой любитель пострелять.

Президент Джонсон ожесточенно бомбил Северный Вьетнам, а когда его допекали критики, загораживался афоризмом Гарри Трумэна: «Если не выносишь жара, держись подальше от кухни». Гарри Трумэн — вот один из людей, которого наверняка страшился Джо Эрнандес. Трумэн выносил любой жар, рефлексия, сомнения и колебания были ему незнакомы: по его приказу были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, хотя он уже знал, что это такое — атомная бомба. Полтора года назад, совершив в числе миллионов особое паломничество нашего века — в Хиросиму, я видел на камне, хранящемся в мемориальном музее, знаменитую, на века оставшуюся тень человека, испарившегося, как капля на раскаленной сковороде, в миг атомной вспышки. У людей, еще живых людей, вытекали глаза и кожа сама по себе, свисая кусками, сползала с тела. Попробуйте после этого перечитать Данте? Его ад — всего лишь вымученные фантазии. А Трумэну этот кухонный жар был нипочем, и до сих пор живет он в памяти своих сограждан как сильный президент.

Многое можно вытянуть, расшифровывая страх Джо. Этот блик — упорный. Пропадет — и вновь отсвечивает перед глазами. Новыми ситуациями, новыми именами. И тем же непреходящим поклонением силе. Той же игрой в ядерные гляделки: кто моргнет первым?

Кинозвезда

Поездку кинозвезды Н. в Советский Союз нью-йоркские газеты освещали как сенсационный прорыв «железного занавеса». Печатались обычные в таких случаях фотоснимки: белокурая красавица без шапки в снежной Москве у ворот американского посольства, она же на Красной площади — одна и выше Спасской башни. Печаталась история о том, как Кинозвезда хотела попасть в Мавзолей, минуя стоявшую очередь, и как наш переводчик, в котором галантность, видно, перевесила разумение, уговаривал милиционера пожалеть и пропустить легко экипированную, на высоких каблучках, знаменитую за границей даму. Но свет заморской Кинозвезды не растопил ледяное сердце московского милиционера...

В Москве Н. пользовалась гостеприимством известинцев. А когда, вернувшись, захотела написать о своих впечатлениях, мне позвонили из редакции, попросили

помочь Кинозвезде. Работая над репортажем о поездке, она не могла припомнить, что и кто изображены на привезенных ею фотоснимках.

Кинозвезда остановилась в отеле «Плаза», нью-йоркском прибежище знаменитостей с артистическим уклоном. Отель находится на юго-восточной окраине Сентрал-парка, рядом с Пятой авеню. Наискосок еще не возвели небоскреба «Дженерал моторс», но напротив, у въезда в парк, как всегда, стояли черные фиакры и сидели на козлах их возницы в цилиндрах — живучая нью-йоркская дань лошадиному веку и былому темпу жизни; не дай бог на шоссе, идущем через парк, оказаться в своем авто за таким фиакром, проклянешь торжественно-медленное цоканье копыт и, лихорадочно поглядывая в зеркальце заднего обзора, будешь мучиться нетерпением автомобилиста, который не может перескочить в более скоростной ряд, потому что там, один за другим, с усмешкой оглядываясь, несутся дети автомобильного века.

На деловое свидание с Кинозвездой я взял коллегу, который, как мне казалось, не потеряется даже в таком обществе. Дверь открыла сама, знакомая по газетам и кино- телеэкранам, молодая белокурая миловидная женщина. Она была в рубашке навыпуск и в черных, толстых, плотно обтянувших ноги брюках. Мы очутились в гостиной номера люкс. На стене висел портрет Кинозвезды, выполненный в стиле аппетитного реализма. В комнате были мягкий диван и тяжелые мягкие кресла, на одном столике стояли бутылки со спиртным, на другом лежала раскрытая жестяная коробка с конфетами. Надо ли упоминать, что Кинозвезда была привычно очаровательна. Усадив нас на диван и полулежа перед нами на ковре в позе одалиски с картин, рисующих негу Востока, она говорила по тогдашней моде интимно-тихим, хрипловатым голосом, нежной рукой гладила выгибавшего спину сиамского кота, который, как живой талисман, всюду сопровождал ее со времени ее первого кино-триумфа, и учила нас пить мексиканскую водку текилу, закусывая ее щепоткой соли, лихо брошенной в рот с тыльной стороны ладони, и кусочком лимона.

Рассказывая о своих московских и ленинградских впечатлениях, она по-мальчишески восклицала: «Ха!» — когда хотела передать удивление или восторг. Восторга было много, принимали ее как у нас умеют. Ворохом свежих фотоснимков доказательства лежали перед нами. Кроме обязательных изображений на фоне Кремля, без которых не возвращается из Москвы ни один американец, были там снимки Кинозвезды с известными нашими артистами и режиссерами на большом приеме в Доме кино. Она говорила, как много теперь у нее друзей в Москве, но почему-то не помнила наизусть ни одного имени, и, по правде говоря, этакая нотка снисходительности сквозила в ее рассказе. Той снисходительности, которую вызывает порой наше не по разуму гостеприимство у иностранцев, более экономных в изъявлении чувств и в хлебосольстве.

Кинозвезда, обуреваемая восторгами, хотела изложить их в иллюстрированном журнале, но перо не слушалось ее. Одного восклицания «ха!» не хватало для печатных страниц, а приглашенный ею в соавторы опытный журналист, как слепая лошадь, ходящая по одному кругу, привычно возводил крупноблочные конструкции «холодной войны», которые не совпадали с теплыми индивидуальными впечатлениями нашей Кинозвезды.

И, конечно, во время поездки родилась у нее идея совместного советско-американского фильма. И было уже зерно сюжета. Он и она. Но он — русский. А она — американка. Встречаются в поезде Москва—Ленинград. Любовь с первого взгляда. И то, и се, не совсем еще ясное,— и в конце горькое расставание в Вене. Современные Ромео и Джульетта, несчастные от того, что две их страны соперничают и даже враждуют, как Монтекки и Капулетти. На роль американки уже имелась подходящая кандидатура — сама Кинозвезда. Теперь надо было найти профессионала-сценариста, который из зерна замысла вырастил бы дерево сценария. И режиссера. И деньги на съемки фильма. Но коммерческая сторона, как мы поняли из объяснений Кинозвезды, не так уж ее волнует, поскольку она то ли крупный акционер, то ли владелица какой-то кинокомпании...

Расстались мы друзьями — и ненадолго: в тот же вечер Кинозвезда приглашала нас в Иден-Рок-клуб на рок-вечер. Эпоха рок-н-ролла была в полном разгаре. Рок-вечера и рок-танцы стали популярным и модным средством общения. По подсказке своих деловых агентов, этих самых вечных спутников американских кинозвезд, наша Кинозвезда устраивала музыкально-танцевальный и одновременно рекламный вечер чуть ли не под эгидой ООН, хотя Генеральная Ассамблея не дебатировала вопрос о роке и Совет Безопасности не принимал на этот счет никаких резолюций. В Иден-Рок-клуб пригласили послов и других дипломатов.

Мы запоздали, вместо пяти пришли к семи. У дверей клуба все еще толпились неприглашенные поклонники Кинозвезды. Зал был невелик, а собралось человек двести, дым стоял коромыслом, табачный и всякий другой. И царицей этого шумного собрания была, конечно, та самая молодая женщина, которая утром гладила сиамского кота и учила нас пить мексиканскую водку. Теперь на ней было вечернее платье с глубоким, пожалуй слишком смелым, вырезом сзади. В конце выреза, почти на копчике, алела свежая роза, оттеняя черный бархат платья и белую спину Кинозвезды. Вспомнилось мнение циников-знатоков: спина — самое прекрасное место Кинозвезды. А самое прекрасное никогда не должно пропадать втуне. Самое прекрас-

ное надо открывать для всеобщего обозрения. Знатоки каламбурили: товар — лицом, даже если это спина.

В тот музыкально-танцевальный вечер наша Кинозвезда не отдыхала. Она делала бизнес, ковала железо, пока горячо, пока не утихло паблисити, сопровождавшее ее поездку за «железный занавес». Кинозвезда теперь не принадлежала себе. Она принадлежала всем. Дюжина фоторепортеров вилась вокруг нее в Иден-Рок-клубе и не меньше полусотни репортеров светской хроники. И стоя на площадке, среди лихо танцевавших пар, в центре разудалого сборища, она принимала такие позы, которые лучше всего выставляли ее прелести, ослепительно улыбалась и танцевала больше с теми гостями, которые и сами были известностями того или иного рода и потому удваивали рекламу. Она светила всем, эта вечерняя Звезда, и оттого казалась неприступной, была куда как дальше от нас двоих, чем та, дневная, в отеле «Плаза»...

За столом мы сидели с сотрудником одного известного нью-йоркского еженедельника. Он был с приятелем-бизнесменом. Приятель, впервые попав на такую вечеринку, недоуменно и насмешливо озирал людей, сидевших за соседними столами в фосфоресцирующем полумраке, фоторепортеров, сквозь клубы табачного дыма целившихся в освещенную танцплощадку. Он смеялся над бульварными газетами, живущими сплетнями и слухами о жизни и любовных похождениях кинозвезд и других знаменитостей и, разглядывая королеву вечера, соглашался с общим мнением: «Да, лучше всего она сзади» Но больше всего смешило и удивляло его присутствие на этом мероприятии двух советских корреспондентов. Он обещал пригласить нас к себе и показать реальную американскую жизнь и своих соседей — типичных американцев. Мы были первыми в его жизни русскими, и для своей дочери он брал автографы у нас, а не у Кинозвезды. И мы расписались на розданной всем гостям рекламной брошюрке под названием «Давайте потанцуем!».

Прорвав у дверей заслон поклонников и устранив соперника в лице развязного эстрадного кумира, мы после вечера увезли Кинозвезду поужинать в бельгийском ресторанчике на одной из улочек, рядом с небоскребом ООН. В подвале, где помещался ресторан, в тот вечер было занято лишь два стола. Увидев и узнав ослепительную молодую даму, сидевшие начали поглядывать в нашу сторону. Узнала Кинозвезду и официантка, пожилая скромная усталая женщина.

— Мы так рады вас видеть! — радостно говорила она, хлопоча у нашего столика.

Давая понять, что не такой уж простой этот ресторан, несмотря на его скромный вид, официантка сразу же сообщила:

— Губернатор Рокфеллер тоже заходил к нам недавно со своим сыном.

По типичному американскому представлению Кинозвезда и политик-миллиардер были для этой женщины на одном уровне, в одной категории — знаменитостей... Она принесла фотооткрытку с изображением ресторана и получила автограф Кинозвезды для своего сына.

Теперь Кинозвезда опять вовсю светила нам двоим, опять очаровывала милыми манерами и приятно хрипловатым голосом, и я снова готов был забыть, что это дисциплинированная, предельно занятая, жившая по строгому расписанию американская Кинозвезда.

Но за ужином мы не засиделись. В девять вечера в отеле она встречалась с массажистом, успокаивавшим нервы 27-летнего прелестного создания. Утром — съемки на телевидении. На пасху она летела в Чикаго, к родителям. А потом в Голливуд, где уже ждал ее новый фильм и разные неотложные дела.

— Ведь я еще и капиталист,— пошутила она над собой.— У меня два дома в Калифорнии.

Доставив ее в отель, мы распрощались. Через некоторое время я получил от нее письмо с благодарностью — на крохотном надушенном листочке меловой бумаги. А встречаться больше не пришлось, лишь имя ее попадалось в газетах и на киноафишах. Правда, попадалось все реже. То ли ей не хватало таланта, то ли еще что-то не ладилось у очаровательной капиталистки. Ее мечта о совместном фильме была похоронена на самом большом кладбище в мире — кладбище невоплощенных идей...

Однажды в прекрасную летнюю пору, в самый разгар сезона отпусков, американцы, переместившиеся на пляжи обоих океанов, узнали о самоубийстве Мэрилин Монро, самой знаменитой, самой безмятежно-счастливой и самой американской из американских кинозвезд. Когда самый очаровательный из кумиров, приняв на ночь сверхдозу снотворного, отправляется в мир иной, это вызывает сильное потрясение. Откликов было много. Среди других прозвучал и голос нашей знакомой Кинозвезды. Забыв о самодисциплине, она заявила репортерам как бы от имени всех кинозвезд, что в них, кинозвездах, видят не живых людей с душой и сердцем, а всего лишь привлекательные куски мяса. И слова ее были напечатаны рядом с фотоснимками нагой женщины, красиво плававшей в прозрачно-изумрудном бассейне,— последними фотоснимками Мэрилин Монро.

Утром на Черч-стрит

В шесть утра, когда еще не рассвело, молодые голоса в темноте Бэттери-парка, у южной оконечности Манхэттена, где днем, ежась под ветром, туристы глазеют на статую Свободы, стоящую среди залива, и где бронзовый толстолапый орел стережет мраморные скрижали с именами моряков, которых скрыла пучина в годы второй мировой войны.

В семь утра, когда рассвет едва брезжит,— топот молодых ног по пустынному тихому закоулку, и пылающее волнением лицо кудрявого вожака лет восемнадцати от роду, и его крик:

— За мной!

За ним — сотни. Они вливаются в узкий коридор пешеходного мостика, повисшего над выездом из Бруклинского автомобильного туннеля. Мостик выводит их на Черч-стрит, и там тоже суматоха и бег ребят и девушек. У них прекрасные лица людей, делающих стоящее, хотя и непривычное и даже рискованное дело.

Льющийся по мостику поток сбивает инерцию сна и покоя. Становится тревожно и хорошо.

И у полицейского, стоящего на выходе с мостика, тоже тревожное лицо, но это тревога острова, обтекаемого людским половодьем. Полицейский не один, их много, этих вкраплений в темно-синих суконных шинелях, и, поигрывая дубинками на ремешках, они спешат за толпой, двигающейся по Черч-стрит. Конный полицейский, как бы играя, но играя зло, вдруг приближается к кудрявому вожаку, тянет к его кудрям руку в перчатке, но вожак увертывается.

И, конечно, репортеры — с кинокамерами, магнитофонами и оранжевыми карточками «рабочей прессы» на груди, этими маленькими картонными бирками, которые, как щиты, спасают от полицейских дубинок.

Поток стремительно течет по мостовой и тротуарам Черч-стрит. Поток заговаривает с идущими на работу, еще редкими людьми, но те отстраняются отчужденно и боязливо. Молчат дома, еще пусты старые и новые оффисы делового района рядом с Уолл-стритом. А мостовая шумит, но это не здешний шум, и сознание ясно разграничивает голоса и топот молодых людей и отрешенное сухое молчание контор.

Посередине мостовой неторопливо и уверенно движутся на гнедых лошадях полицейские в темных накидках, размеренное цоканье копыт напоминает о прочности власти и порядка среди кратковременной, разбушевавшейся стихии. Темные накидки, лошади на улице, с которой не ушла еще ночь, накрапывающий дождь... В памяти строки Лорки: «На крыльях плащей чернильных блестят восковые пятна... Надежен свинцовый череп — заплакать жандарм не может; идут, затянув ремнями сердца из лаковой кожи»...

Толпа течет по Черч-стрит на север, в сторону центра. Быстро светает. Прохожих все больше. И кто-то из толпы кричит, как декламирует:

— Чего мы хотим?

— Мир! — дружно отвечают ему.

— Чего мы хотим?

— Мир!

Пантерой крадется сзади зеленая полицейская машина. По тротуару споро шагает детектив в сером пальто, в руке у него передатчик «уоки-токи», из передатчика звучит хриплый командный голос.

— Чего мы хотим?

— Мир!

— Мир, брат,— это бородатый студент с добродушной иронией кидает шоферу, недоуменно стоящему у своего грузовика. Но тот молчит и не признает его за брата. Слышу обрывок разговора. Один из людей на тротуаре говорит другому, кивая на молодежь: «Это дерьмо шумит, чтобы попасть в газеты»...

Полвосьмого утра. Полицейские перегоняют толпу с Черч-стрит на параллельный Бродвей. Поток, который еще полчаса назад властвовал на спящей улице, выходит на большой проснувшийся перекресток Бродвея и Хьюстон-стрит, к буйству гудящих машин, к тысячам пешеходов, в трезвое деловое, будничное нью-йоркское утро. Теперь демонстранты в меньшинстве. Конные полицейские, ловко маневрируя, теснят их с мостовой на тротуары, но поток, уже раздробленный на ручейки, снова стремится на мостовую, чтобы задержать машины, остановить железный грохот и ход железного города и заставить его задуматься о далекой, ужасной, зверской войне...

А в это время у старого кирпичного здания на Уайтхолл-стрит спокойно и тихо. Не только само здание, но и соседние улицы оплетены сотнями деревянных полицейских барьеров, в кузовах грузовиков лежат еще барьеры про запас, и самым главным барьером стоят сотни здоровяков в темно-синих шинелях, с дубинками и «сердцами из лаковой кожи», а также их автобусы, их тюремные фургоны, санитарные машины.

В невзрачном кирпичном доме помещается нью-йоркский призывной центр. Это и есть мишень участников «Недели против призыва в армию». Изо дня в день они штурмуют его, но взять не могут...

Биржа рядом на углу

Большие окна этого заведения на бойком углу 72-й стрит и Бродвея иногда были открыты, иногда задернуты бежевой солидной драпировкой, но через стеклянную дверь всегда виднелось длинное табло на задней стене и два ряда бегущих по нему зеленых букв и цифр. У двери снаружи и за дверью внутри все время сидели и стояли люди, почти все старики и старушки. Взгляды их не отрывались от бегущих знаков. Верхний зеленый ряд означал текущий курс акций на Нью-йоркской фондовой бирже, нижний — на Американской фондовой бирже, которая много меньше Нью-йоркской. Вывеска у входа гласила: «Фрэнсис Дюпон энд К°. Члены Нью-йоркской фондовой биржи». Неброская вывеска заведения, знающего себе цену. Это был филиал известной брокерской фирмы.

Как человек, лишь наблюдающий чужую жизнь, но не могущий к ней привыкнуть, я всякий раз смотрел на этих старичков как на чудо, которое невозможно постигнуть. У них такая же тяга следить за биржевыми котировками, как у наших пенсионеров «забивать козла» во дворе или на соседнем бульваре. Эти для меня таинственные бегущие знаки цифр, дробей и сокращенных наименований корпораций, казалось, извлекали из них последние всплески страсти, последние экономные стариковские эмоции.

И всякий раз в этих старичках у дверей и за дверьми мне чудилась какая-то ужасная, торжествующая усмешка. Вся жизнь как сизифов труд. Всю жизнь толкает человек в гору свой камень; рассчитывая, мучаясь, терзаясь сомнениями, приобретает акции вот этой, а не вон той корпорации, а сейчас, когда смерть подстерегает его за углом, приходит сюда смотреть зеленые быстрые знаки: а не покатился ли этот камень вниз, на него? И ведь когда он тащил камень в гору, кое-что зависело от его ума и умения, а теперь, на последнем рубеже, с последней мечтой о спокойной старости нет у него ни здоровья, ни времени на новую попытку, еще на один шанс...

Однажды я толкнул стеклянную дверь и вошел внутрь. Видимо, все было относительно спокойно в тот день на углу Уолл-стрита и Брод-стрит, где в старом, мрачном, массивном здании размещается Нью-йоркская фондовая биржа. И потому было спокойно и здесь, на нашем углу, хотя с той же вроде скоростью бежали знаки на табло. И этим спокойствием люди, сидевшие в помещении, чем-то напомнили мне о похоронах. Вот так в раскрытую дверь приходят с улицы даже незнакомые люди отдать последний долг умершему или просто посмотреть на покойника. И так же не проходят они к гробу, а стоят в дверях или сядут у стены на стулья, посидят-посидят и тихо встанут, как этот старик, и будут пробираться к выходу, держа шляпу в руках. И так же молча займет освободившееся место другой, и положит свою шляпу на колени, и, вытянув голову, молча будет смотреть...

И в этом заведении поразила меня готовность американцев помочь журналисту. Молодому клерку я предъявил свое удостоверение «рабочей прессы», равно выдаваемое нью-йоркской полицией и своим, и иностранным корреспондентам. Он сразу обещал привести мне человека, который дал бы требуемые пояснения, вышел, оставив меня в своей конторке-боксе, потом вернулся, попросил обождать еще минутку и наконец пришел с другим молодым человеком делового вида, с фигурой спортсмена, внимательными глазами и бруклинским акцентом. Тот представился как Шелдон Н. Волк, заместитель менеджера филиала брокерской фирмы «Фрэнсис Дюпон энд К°».

Мистер Волк не знал, как пугающе звучит по-русски его фамилия, хотя родители его, евреи, приехали из России в начале века и все еще помнили некоторые русские слова. Свою фамилию он выводил не от русского волка, а от немецкого «фолк» — люди, народ.

Он родился и вырос в Бруклине, самом многолюдном и наиболее населенном евреями районе Нью-Йорка, окончил Лонг-айлендский университет и, отслужив в армии, нанялся в «Фрэнсис Дюпон» — центральную контору на Уолл-стрите. Потом был переведен сюда, на «оперативную» работу брокера. Он объяснил, что эта работа интереснее и финансово заманчивее. Продавая акции той или иной компании, брокерская фирма получает от этой компании комиссионные. Одна треть комиссионных идет служащему, который непосредственно занимался продажей этих конкретных акций. Чем больше акций продает мистер Волк, тем больше его месячный заработок. Ему помогает репутация «Фрэнсис Дюпон». Это солидная, известная, третья по величине брокерская фирма, имеющая больше ста отделений в Соединенных Штатах и за рубежом. У нее много корпораций — клиентов, прибегающих к ее посредничеству при продаже своих акций. Ее услугами соответственно пользуются многие из желающих приобрести акции.

Рассказывая о себе, Шелдон Волк с удивлением вспомнил, что в детстве даже (даже!) не мог читать финансовые страницы газет, эти письмена биржевых котировок, непонятные для непосвященных (потроша газеты, я всегда выбрасывал эти страницы с облегчением человека, которому много надо читать по долгу работы и который не прочь сократить свою норму чтения), а для посвященных — чтиво куда как увлекательнее детективных романов, пробуждающее азарт игроков. Попал он в брокерский бизнес случайно, но сейчас для него лучше и интереснее работы нет.

— Тут чувствуешь себя на самом главном месте,— говорит он,— и национальные, и международные дела как на кончиках пальцев. Вы же знаете, как чувствительна биржа ко всему, что происходит...

У меня есть один вопрос, который не раз уже задавал я американским деловым людям. Но медлю. Знаю, что мистер Волк может счесть его наивным, несолидным, пропагандистским. Многим американцам этот вопрос и в самом деле представляется назидательно-пропагандистским, но, для проверки, хочется получить на него еще один ответ.

— Извините за несколько щекотливый вопрос. Дело в том, что наша страна устроена не так, как ваша, и многие у нас считают осудительным и аморальным вот это довольно массовое американское занятие — играть на бирже, на акциях, к примеру, каких-нибудь военно-промышленных корпораций, которые производят, к примеру, самолеты, бомбы, напалм, играть на этих акциях, зная, что ты можешь тем больше выиграть, чем сильнее и смертоноснее военные действия, чем больше нужда в разного рода военной технике. Получается, что тебе выгодно, когда гибнут и страдают люди другой страны, где-нибудь за тридевять земель, да и твои соотечественники в военной форме...

Я еще не закончил своей тирады, но по выражению его лица вижу, что молодой, сметливый и любезный мистер Волк понял ее смысл и, вполне возможно, даже предугадывал ее у советского корреспондента. Понимающе и даже поощрительно смотрит он на меня, как будто хочет сказать: давайте, выкладывайте, ничего тут нет щекотливого...

И я заканчиваю тираду:

— ...Ну как во Вьетнаме, например...

При каких обстоятельствах он задумывался над этим? Какие уравнения выводил в уме? Чужая душа — потемки. Но ответ у него наготове. И сын людей, которые когда-то уехали в Америку, спасаясь от жестокости и несправедливости еврейских погромов, философично и чуточку снисходительно, как старший младшему, говорит:

— Это все очень просто. Если решил прыгнуть в мир денег (он выбрал именно это выражение), то все остальное уже неважно. Что поделаешь?! Это, если хотите, образ жизни. Если бы я родился у вас, в вашей стране, я, наверное, думал бы, как вы. А если бы вы родились здесь, вы, может быть, думали бы, как я...

Ну что ж, ответ серьезный, без дураков. Играй по правилам. Где уродился, там и пригодился (хуже, если не пригодился там, где уродился). Чтобы постигнуть чудо стариков, приходящих, как на посиделки или на похороны, в филиал брокерской фирмы, мне надо было и родиться здесь, и прожить их жизнь.

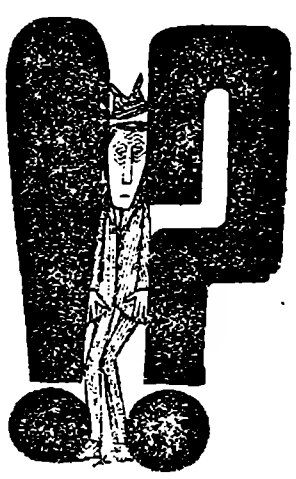
А Шелдон Волк о старичках, толпящихся у двери, сказал так, как и должен был сказать представитель солидной фирмы, которая, оберегая репутацию, терпит ненужных людей и оказывает им мелкие услуги.

— Это маленькие люди, отошедшие от дел,— объяснил он.— Может быть, у них и есть пара десятков акций, не больше. Крупные люди заняты. Они не будут сидеть здесь впустую...

Поблагодарив его и попрощавшись, я вышел на улицу. Закрывая дверь, увидел, что таинственные знаки продолжают бежать на табло. Это бежала американская жизнь, бежало американское время. Шелдон Волк уверен, что совсем по-разному бежит оно для него и для изношенных жизнью, молчаливых и покорных завсегдатаев филиала «Фрэнсис Дюпон энд К°» на углу Бродвея и 72-й стрит. Не придется ли ему разувериться?

(Окончание следует)

Антирубрика



ЛУИДЖИ МАЛЕРБА

Песок на зубах

Перевод с итальянского Е. ДМИТРИЕВОЙ

Прошло много лет, прежде чем я решился сказать правду. Теперь, когда меня спрашивают, люблю ли я море, я спокойно отвечаю: нет, не люблю. Казалось бы, что тут особенного, но у всех от удивления глаза на лоб лезут: как так? почему? непостижимо! Мне не верят, думают, я оригинала из себя строю, будто мне делать больше нечего — мне-то, часовщику! Часовое дело — наука честная и точная. Жизнь, по-моему, тоже честная и точная наука. Часы и жизнь вранья не терпят.

Почему, интересно, море или цветы обязательно должны всем нравиться? Разве я не имею права сказать: некоторые цветы я не люблю? Оказывается, не имею; оказывается, все цветы прекрасны и о них нельзя говорить плохо. Хотя взять, например, фуксию — что в ней красивого? Висюльки серо-буро-малиновые, как виноградные выжимки, листья уродливые, приторный запах. Или еще один цветок с невыносимым, прямо-таки тошнотворным запахом — туберoза. Я не боюсь признаться: фуксия и тубероза мне противны, если надо, могу это даже в письменном виде подтвердить.

Кроме цветов, есть еще один трудный и очень деликатный момент — дети. Дети священны, допустим, детей надо понимать и по возможности любить, разве я спорю? Но зачем меня считать чудовищем, если я убежден, что дети бывают симпатичные и несимпатичные? Детей моих клиентов мне волей-неволей приходится терпеть, хотя иной раз попадаются такие детки, на которых только глянешь, и сразу хочется убить их на месте. Само собой разумеется, я в жизни ни одного ребенка пальцем не тронул, ни своего, ни чужого, но неужели я не могу сказать про несимпатичных детей, что они несимпатичные? Оказывается, не могу, запрещено. Как будто все дети — ангелы небесные.

Впрочем, вернемся к нашему разговору о море: не понимаю, что в нем находят хорошего. Издали оно еще ничего. Издали оно даже может казаться красивым, не возражаю. Но все эти красоты не по мне, я и на минуту не остановлюсь полюбоваться каким-нибудь пейзажем, хотя иногда бывает — посмотрит человек вдаль и увидит море, а оно сверкает, словно серебряное. Ну и что из этого? Согласен, морская даль производит определенное впечатление, но только не на меня. Плавать в лодке или на корабле ради того, чтобы видеть вокруг одну воду и ничего другого,— по-моему, самая большая глупость, которую придумали европейцы.

На земле растут деревья, цветы, есть города, горы, холмы, луга, ущелья, короче говоря, природа бесконечно разнообразна и предстает перед нами во всем своем богатстве. Еще на земле живут мужчины и женщины. На море ничего не встретишь. Оно ровное и плоское, когда же на нем поднимаются волны, тут и говорить нечего, в это время лучше находиться в другом месте. На море нет жизни, а если и есть, то ее не видно. Возможно, рыбы считают его разнообразным и интересным, но они живут под водой, и их тоже не видно. Что толку в существовании миллионов рыб всевозможных форм и расцветок, раз я их все равно не вижу? Корни деревьев тоже бывают самой причудливой формы, но кому в голову придет говорить о корнях, которые спрятаны под землей и не видны? Можно, конечно, стать на берегу и рассуждать о цвете морской воды: посмотрите, какая гамма красок! ах, какая синева! ах, какая голубизна! изумруд, бирюза, берлинская лазурь, се-

© Luigi Malerba, 1979.

ребро! (Последний оттенок я уже отметил выше.)

Конечно, море меняет цвет в зависимости от часа и времени года. При голубом небе и море голубое, если небо свинцовое, море тоже приобретает свинцовый оттенок, в некоторых же случаях, если верить Гомеру, оно даже бывает «винного цвета», ну и что? Горы тоже меняют цвет, но ведь никто не станет пялиться на гору и тратить прилагательные по этому поводу. Вообще, тратить прилагательные — пустое дело. Впрочем, тот же Гомер — разве не мог он поточнее выразиться и объяснить, какое вино имеет в виду, белое или красное, это большая разница.

Я не понимаю людей, способных торчать на пляже под палящим солнцем все лето. Они балдеют на солнцепеке, а когда совсем одуревают от жары, плюхаются в воду, чтобы освежиться. Но почему, позвольте спросить, в жару не спрятаться в тенек? Я понимаю — зимой, когда холодно, погреться на солнышке. Однако эти чудаки лежат на солнце в разгар лета, в самую жару. Конечно, морская вода приносит им некоторое облегчение, но можно ли придумать что-либо более абсурдное?

В прежние века не было такого паломничества к морю, как в наше время. Мода эта совсем новая и придумали ее спекулянты. Стоит одному что-то сделать, как все бросаются ему подражать, словно обезьяны. Выйти из воды и тотчас же голым растянуться на песке, который прилипает к мокрому телу,— о такой гадости мне даже думать противно. Только свиньи валяются в грязи, но на то они и свиньи. Ради того лишь, чтобы позагорать у моря, многие готовы спустить все до последнего гроша. Между тем злоупотреблять солнцем вредно, оно плохо действует на кожу, от него появляются морщины, а в чересчур больших дозах оно даже канцерогенно. Об этом из года в год пишут в медицинских журналах, но спекулянты грудью стоят и не пропускают эти сведения в газеты, которые все читают.

Бедные люди! Иной раз я захожу на пляж, чтобы посмотреть на этих несчастных, страдающих от зноя, и говорю себе: погляди, как они мучают себя, вот дураки! Я вижу: в час дня они открывают холодильные сумки, вытаскивают оттуда свои ледяные бутерброды и бутылки с пивом и едят прямо на песке. Песок на зубах — что может быть ужаснее? Но эти несчастные все терпят, им кажется, они отлично отдыхают. Если вам нравится плавать, плавайте на здоровье, но я вас умоляю, не ешьте вы эти бутерброды с песком, который скрипит на зубах. Я как представлю себе это, так весь мурашками покрываюсь.

Многие приносят с собой на пляж зонты или тут же берут их напрокат у спекулянтов. Это уж совсем дико. Коли вы любите тень, вот бы и сидели себе в тени, но чего ради вас тянет на солнце, если вы все равно потом залезаете под зонт? А раз вам нравится торчать на солнце, торчите, но когда обожжете ступни о раскаленный песок, страдайте молча и не жалуйтесь. Вам приятно возвращаться домой с черными от мазута ногами? Пожалуйста, ваше личное дело.

Но я готов голову дать на отсечение — жариться на солнце никому не нравится. В тот день, когда кто-нибудь осмелится сказать, что лежать летом на солнце — идиотизм и к тому же вредно для здоровья, пляжи опустеют. Я верю: рано или поздно это случится, и тогда люди, как в доброе старое время, будут приходить на берег моря исключительно, чтобы прогуляться на закате, когда солнце не так печет. Если бы у меня была возможность выступить по телевидению или в газете, я бы все это высказал. Часовщик тоже имеет право голоса. Я бы сказал: я понимаю бедуинов, которые по необходимости пересекают песчаные пустыни; я понимаю верблюдов — у них тоже нет выбора; я понимаю рыбаков, вынужденных целыми днями болтаться в своих суденышках ради заработка; но если человек едет к морю без уважительной причины, ради так называемого отдыха, по мне, он сумасшедший. Правда, когда я говорю, что не люблю море, на меня смотрят так, будто сумасшедший я. Ну и пусть, никто не посмеет запретить мне высказывать свое мнение! Да, я не люблю моря, меня от него воротит. И можете думать обо мне что угодно.

ДЖАННИ РОДАРИ

Война поэтов

Перевод с итальянского Л. ВЕРШИНИНА

Поэт Сореллини, по имени Альберто и по прозвищу Альберто, возглавляет банду поэтов, которые пишут слова на музыку, и банду композиторов, которые пишут музыку на слова. Друзья зовут его также Плакучий Поэт, отчасти потому, что волосы у него напоминают плакучую иву, отчасти же потому, что свои полные горючей тоски стихи он сочиняет со слезами на глазах.

Альберто-Альберто знаменит на всю Италию, а также в кантоне Туссен как изобретатель рифмы «любовь — кровь».

Но скажем сразу со всей честностью: эту рифму он украл у поэта Освальдо, бывшего главаря конкурирующей банды, бывшего потому, что вот уже десять лет, как Альберто-Альберто похитил своего соперника и заточил в старинную башню на берегу моря, дабы тот не разоблачил его.

Личный секретарь Альберто-Альберто по имени Оскар как раз возвратился из старинной башни, куда он отправляется изо дня в день, чтобы бросить пленнику пачку галет. Хлеба Освальдо не ест — бережет фигуру.

— Как он там? — спрашивает Альберто-Альберто, вытирая слезы носовым платком, и берет у Оскара запасной платок.

— Отлично, — докладывает Оскар,— говорит, уже почти нашел новую рифму на слово «кровь». Ему понадобится еще самое большее полтора года. Рифма, как он утверждает, уже вертится на кончике языка.

— Он сущий дьявол! — восклицает Альберто-Альберто, орошая слезами и второй платок, который Оскар тут же с благоговением откладывает в сторону. Ведь он не только исполнительный секретарь, но и главный хранитель носовых платков Плакучего Поэта. Он сам вышивает на них монограммы своего повелителя. И всегда носит с собой коробку с двенадцатью дюжинами платков.

Будем откровенны — у Оскара тоже есть своя маленькая тайна. Он выжимает мокрые платки, собирает слезы поэта в бутыли, разливает их в изящные флакончики и затем потихоньку продает за большие деньги поклонникам и поклонницам Поэта. Каждый, кто купит десять флакончиков, получает право на дополнительную изящную бутылочку слез или же на штопор. Можно также получить флакончики слез по почте и приобрести их в рассрочку.

— Записывай,— приказывает Альберто-Альберто, который за время отсутствия Оскара сочинил в уме новое стихотворение:

Ты помнишь тот день
Любовь
Когда завладела консервным ножом
Взбудоражив мне кровь
А потом сбежала
В Гуальдо Лерóй
С электриком-левшой
Ля-ля-ля
С того дня я плачу
Тебе на письма деньги трачу
Но ты осталась верна ему
Скажи почему почему
Возврати мне консервный нож
Прошу тебя очень
Хотя бы по почте
Ля-ля-ля

Оскар потрясен до глубины души:

— Какие стихи, маэстро! С такими стихами и самая заурядная песня получит первый приз даже на конкурсе в Бусто Арсицио!

— Впусти всех,— всхлипывая, говорит Альберто-Альберто,— я лично прочту свое творение, прежде чем выбрать композитора.

— Банда, входи! — кричит Оскар, распахнув дверь.

Входят парами ровно тридцать поэтов и двадцать четыре композитора. (Хотя композиторов меньше, чем поэтов, но они более толстые, так что по весу счет сходится.)

Все вытягиваются по стойке «смирно» и поют гимн банды, сочиненный самим Альберто-Альберто:

В моем сердце — любовь
И волнуется кровь
Ля-ля-ля
В моем сердце всегда
Кровь бурлит — не вода
Ля-ля-ля
Но тоска все растет в моей душе
Любовь моя отвернулась уже

Они собираются запеть второй, самый знаменитый куплет гимна, который начинается словами «любовь — вновь», а не «любовь — кровь», как вдруг вбегает курьер. Он задыхается, у него лицо человека, которому хотелось бы находиться сейчас где-нибудь подальше. В Боготе, например, или на худой конец на Капри. Он падает на колени перед Альберто-Альберто и срывающимся голосом восклицает:

— Маэстро, сжальтесь надо мной! О, что со мной теперь будет?

— Не знаю,— отвечает Плакучий Поэт.— Совершенно себе не представляю. А что случилось?

— Пленник...

— Что пленник?..

— Сбежал!

— Тоже в Гуальдо Лерóй?

— Его местопребывание мне неизвестно. Страж старинной башни сообщил лишь, что Освальдо прорыл галетами подземный ход из своей темницы и скрылся в поле, держа направление на северо-восток.

— Я же говорил, чтобы ему не давали слишком сухих галет! — сокрушается Альберто-Альберто.

— Галеты были свежайшие, мой повелитель,— докладывает Оскар.— Частично уже отгрызенные. Видно, он их сушил под матрацем.

— Я весьма огорчен,— сухо замечает Альберто-Альберто, бросая на пол мокрый от слез платок.— Послушаем, не сообщило ли уже радио об этом историческом побеге.

Оскар включает радио в тот самый миг, когда диктор радостно объявляет:

— Друзья мои, счастлив сообщить вам чудесную новость! После десяти лет добровольного уединения и раздумий в тайном прибежище, известном лишь ему одному и его близким, к нам вернулся знаменитый поэт Освальдо. Сейчас он сам прочтет слова песни, сочиненной им за десятилетие плодотворного одиночества.

Освальдо откашливается, чтобы прочистить горло, и затягивает:

Моя единственная любовь
Стынет в сердце моем кровь
Ты попала не в глаз а в бровь
И рыдаю я с того дня
Как покинула ты меня
И сбежала в Мольфетта
С бухгалтером Бальтолетта
Которому двадцать восемь лет
И ровно три месяца
Ля-ля-ля

— Выключите! — кричит Альберто-Альберто.— Этот дьявол обманул меня. Придумал новую рифму к «любовь — кровь» — бровь. Он давно ее нашел, а сам коварно уверял, будто ему осталось поработать еще полтора года. Банда, вольно!

АНТИРУБРИКА

Поэты и композиторы, стоящие по стойке смирно, слегка расслабляются.

Альберто-Альберто изрекает:

— За всем этим кроется какая-то тайна. Быть может...— Но тут громовые крики навсегда похищают у потомков суть этого крайне важного умозаключения.

Это банда Освальдо окружает виллу Плакучего Поэта и поет свой боевой гимн.

Альберто-Альберто не колеблется ни секунды:

— Все по своим местам. Сражение начинается!

Поэты и композиторы укрываются за дверьми.

Оскар хлопает в ладоши, и слуги мгновенно приносят котлы дымящейся поленты, которую всегда держат в кухне наготове в предвиденье чрезвычайных событий. Полента — кукурузная каша — приготовлена из мельчайшей муки высшего качества. Она не пропускает воздух и потому очень долго не остывает.

Когда банда Освальдо во главе со своим коварным предводителем, бежавшим из плена, бросается в атаку, защитники виллы обливают ее горячей кашей. Они геройски распевают гимн воинов, сочиненный Альберто-Альберто:

Вскипела кровь
Я воин вновь
Погибель ваша
Горячая кукурузная каша
Даже и без приправы
Ля-ля-ля

Штурм отбит. Освальдо и его банда готовятся вести длительную осаду виллы.

Как вам, вероятно, известно, вилла Плакучего Поэта находится вблизи города, на его живописных западных холмах. Альберто-Альберто лично выбрал это место, чтобы можно было любоваться удивительными, радующими душу закатами.

Полный ненависти и жажды мщения, Освальдо приказывает поставить в саду огромную ширму из белого пластика, дабы помешать Альберто-Альберто любоваться закатами. Альберто приходится прибегнуть к хитрости чтобы в нем вновь пробудилось вдохновение. Он велит Оскару проецировать миниатюрные закаты на стену гостиной. Но это все-таки не настоящий закат... Слезотечение резко снижается...

Трудно сочинять стихи о несчастной любви, изменах, покинутых невестах, о бегстве неверных возлюбленных в Неаполь или в Потенцу, глядя на домашний закат размером три метра на два.

Голодной смерти Альберто-Альберто не боится — в погребе у него хранятся неисчислимые запасы крупы, муки и охотничьей колбасы. Но вот стихи... Стихи у него получаются все менее жалобные и печальные... Все более сухие... Однажды он даже продиктовал Оскару такие строки:

В сердце — сор
В носу — простуда
Что-то капает оттуда.

Оскар, испуганный, вздрагивает. Поэты и композиторы отскакивают назад, словно они нечаянно наступили на кобру.

— Маэстро,— лепечет Оскар, - вы ничего не забыли? Вам не кажется, что в стихах не хватает слова, одного словечка, которое кончается на «овь».

— Какого же? — растерянно бормочет Альберто-Альберто. — «Готовь», «морковь»? Короче, скажи сам какого!

— «Вплавь»,— подсказывает Оскар. И тут же понимает, что хотел сказать совсем другое слово, да к тому же «вплавь» кончается на «авь». Он бросает умоляющий взгляд на поэтов и композиторов. Все наперебой пытаются подсказать:

— Славословь!

— Буровь!

Нет, никому так и не удается выговорить слово «любовь».

Банда уже совсем было впала в черную меланхолию, как вдруг из сада раздался голос Освальдо, усиленный рупором:

— Я протестую! Вы применили оружие, запрещенное конвенцией Санремо! Вы прибегли к гипнозу! Ни я, ни мои люди никак не могут произнести слово из шести букв, которое начинается на «л» и кончается на «овь». Если не прекратите свои преступные действия, я разбомблю виллу сорока восемью роялями!

— Освальдо, с нами случилось такое же несчастье! — плачущим голосом отвечает Альберто-Альберто.— И если я солгал, пусть прольется моя... свекровь.

— Что?! Альберто, ты, верно, хотел сказать «новь»?

Вы, конечно, уже догадались, что ни Альберто-Альберто, ни Освальдо не могут больше выговорить не только слово «любовь», но и «кровь».

А эти два зарифмованных слова и принесли им обоим всемирную славу. Именно из-за них они вели беспощадную борьбу.

Война немедленно прекращена. Поэтов и композиторов из обеих банд рассылают во все части света искать утерянные слова.

— Доставьте их сюда живыми или мертвыми! — повелевают оба Великих поэта.

Бандиты обшаривают кустарники, обыскивают пещеры, устраивают облаву на людей и животных в Абруццском Национальном парке, роют туннель в Альпах, но слов «любовь» и «кровь» так и не обнаруживают. Поиски продолжаются шесть месяцев и сто двадцать дней, после чего их приходится прекратить из-за нехватки средств. Альберто-Альберто и Освальдо, истратив все свои деньги на поиски, совершенно разорились. Теперь они бродят по улицам и просят милостыню. Обе банды стали грабить окрестные селения. Оскару живется получше других — он продает на рынке слезы Плакучего Поэта. (У него еще осталось семь гектолитров слез, но сбыть их нелегко.) Ловкий мошенник, Оскар выдает их за лосьон от выпадения волос.

Эксперты утверждают, однако, что слова «любовь» и «кровь» никто не крал, они не спасались бегством от врагов и не укрылись в лесу. Просто они поистерлись от чрезмерного употребления и растаяли, словно крохотные кусочки мыла, которые исчезают в сливе ванны под мрачный рокот грязной воды.

ДЖУЗЕППЕ Д'АГАТА

Жизнь и смерть одного «спайдера»[1]

Перевод с итальянского Г. БОГЕМСКОГО

Несчастный случай сочли необъяснимым; это отнюдь не означает, что дорожная полиция, прежде чем похоронить его в архиве, затратила слишком много времени на выяснение причин катастрофы. Этого только не хватало. И так каждый день газеты сообщают об уйме дорожных происшествий. А тут не было причинено никакого ущерба окружающим, если не считать смерти водителя, жизнь которого к тому же не была застрахована. Итак, значит, случай самый ординарный и если и вызывал легкое волнение полицейских, то только потому, что им так ничего и не удалось обнаружить.

Машина среди бела дня, в условиях прекрасной видимости, на прямой как стрела автостраде свалилась под откос... Перед ней не возникло никакого неожиданного препятствия. Может, водитель уснул? Или вдруг ему стало плохо? Или что-то с мотором?

Не ломайте голову. Авария произошла потому, что ее вызвал я. Я, красный «спайдер»: это я захотел покончить со всем раз и навсегда, решил убить себя, если понятие «самоубийство» подходит также для автомобиля, механического средства передвижения, если также и за нами, машинами, признается право обладать волей, способностью самостоятельно принимать решения, делать выбор. Впрочем, я, так сказать, не мертв и не знаю, умру ли я даже тогда, когда специальный пресс превратит меня в простой железный лом.

Я не в силах был больше так жить. Может быть мой владелец и не хотел умирать, но ему тоже приходилось нелегко. Возможно, я немного перестарался, хватил через край, но зато его кончина приобрела символическое значение. Он умер, как подобает разочарованному, разуверившемуся автомобилисту, расстался с жизнью так, как расстаются с нею фанатики на Востоке, заживо себя сжигающие в знак своего несогласия с действительностью.

Бедный мой хозяин. Я вспоминаю, как мы были счастливы вместе. Казалось, эти счастливые времена будут длиться вечно, а они кончились и больше не вернутся.

Когда я родился, я был белый «спайдер». Кто знает, почему нас так называют,— это значит, если не ошибаюсь, «паук» С объемом цилиндров в три тысячи кубических сантиметров я скорее походил на ракету, торпеду, метеор. Первым моим владельцем была женщина, которая плохо управляла машиной, я работал у нее один год, потом у нас случилось дорожное происшествие, сказать по правде, совсем пустяковое — мы стукнули бампером чью-то машину на повороте, даже не слишком крутом, но этого было достаточно, чтобы моя дама решила меня продать.

Я стоял на огромной стоянке подержанных машин всех марок, когда меня увидел мой второй и последний хозяин: он влюбился в меня с первого взгляда и после долгих подсчетов меня купил.

Это был простой служащий, и мое содержание требовало от него жертв. Однако он полюбил меня, был со мной счастлив и, главное, владея мною, самоутверждался, так как сразу поднимался на несколько отметок вверх по той социальной шкале, которой измеряются люди. По крайней мере, в то время эта система измерения была в силе, даже более того — можно сказать, была единственной всеми признанной и принятой. Как шикарно выглядел мой хозяин, когда после окончания работы он покидал со мной служебную стоянку под восхищенными и завистливыми взглядами сослуживцев.

Подумать только, что даже тогда люди жаловались на то, что горючее — мое питание — влетает им в копеечку. Просто смешно вспомнить. Ни одного уик-энда или праздника мой владелец не проводил без меня. Впрочем, будучи холостяком, он и не мог найти лучшей компании, чем моя, более преданного друга, чем я. Конечно, женщин, которые побывали на моем сиденье справа от водителя, мы перевидали немало и меняли их частенько, но только мы двое, мой хозяин и я, были неразлучны.

Я выпивал литр каждые пять-шесть километров, но кто на это обращал внимание? На скорости двести километров в час мы носились повсюду, по всем туристическим местам в Италии и за ее пределами. Помимо расходов на бензин и плату за проезд по автострадам, мы могли себе позволить останавливаться в гостиницах и посещать рестораны. Мы этого не знали, но Италия тогда была страной молочных рек и кисельных берегов. Потребляйте, потребляйте, всем всего хватит до скончания века — таков был веселый лозунг, витавший над нашими превосходными, забитыми машинами дорогами. У кого не было автомобиля, тот прятался от людей, его считали неудачником, несчастным, потерпевшим крушение в жизни.

Еще я вспоминаю, как хозяин, когда я сделал свои первые сто тысяч километров, решил отпраздновать это событие: он велел механику перебрать мой мотор, а потом отвел меня в другую мастерскую, где ремонтировали кузовы, и оттуда я вышел с новой кожей — красной как огонь. Я стал более обаятельным, более стильным. Мой хозяин превратился в первоклассного водителя и не давал мне спуску. Я знал, что он

---

[1] «Спайдер» — по-английски «паук». Так называют мощные гоночные автомобили. *(Прим. перев.)*

© Nuova Casqeditrice L. Cappelli, 1977.

решил эксплуатировать меня до конца, столько, сколько я выдержу, а потом задумал заменить другим «спайдером»; его намерение радовало меня, потому что мы, автомобили, уж так устроены: мы созданы, чтобы существовать от рождения до того момента, когда нас пустят на слом, мы не любим менять владельцев, мы не ревнивы — наоборот, даже хотим, чтобы вместо нас по дорогам мчались более мощные, еще более красивые машины, чем мы. Поистине мне приходит мысль, что мы, так называемые механические средства передвижения, лишенные сердца и ума, во многих отношениях куда честнее и лучше людей.

Внезапно нашим золотым денечкам пришел конец. Ни с того ни с сего именно автомобили вдруг стали обвинять во всех грехах, на нас указывали как на главную причину экономической катастрофы, будто нас спроектировали не сами же люди в качестве источника расходов и средства потребления. Цена на бензин начала расти — все это было явно направлено к тому, чтобы наши баки остались пустыми, и мы умерли бы от голода и жажды.

Мой хозяин начал все чаще оставлять меня в гараже: на мне он уже не ездил на работу. Я представлял себе, как он садится в автобус и, оттого что он вынужден пользоваться общественным транспортом, чувствует себя униженным, неполноценным, низведенным до уровня тех своих несчастных коллег, у которых нет даже собственной малолитражки. Я знаю, что он пытался бороться, не поддавался, не желал отказываться от меня. чтобы провести уикэнд, хотя нередко сокращал его, а то и пропускал. Но я видел, как, сидя за рулем, он ломает голову над сложными расчетами, вычисляет, какую выбрать скорость, чтобы сэкономить горючее, или же изучает маршрут с меньшими подъемами и спусками. Бедный мой хозяин, для него эти поездки уже перестали быть отдыхом, развлечением.

Некоторое время назад, несомненно для того, чтобы заменить меня другой привязанностью, он обручился. И она сразу же вмешалась в наши отношения, заявив, что это безумие — содержать машину с таким прожорливым мотором. Он ответил, что с радостью заменил бы меня на малолитражку, она же сказала, что он вообще может прекрасно обойтись без автомобиля: вместо меня он мог бы после свадьбы завести ребенка.

Вчера мой хозяин сел рядом с местом водителя и дал вести меня какому-то незнакомому человеку — наверное, покупателю. Когда я это заметил, то сделал так, что мой мотор начал стучать, а сцепление еле включаться, и поэтому незнакомец от меня отказался.

А бензин опять подскочил в цене.

Хозяин решил воспользоваться мной в последний раз. Он сел за руль и принялся жать на акселератор так, как в лучшие времена, послав меня вперед на максимальной скорости. Вот тут-то я и решил сойти с дороги и броситься под откос.

Художник по воскресным дням

Как только мне предоставляется такая возможность, то есть удается скопить немного деньжат и выпадает несколько праздничных и выходных дней подряд, я немедленно все бросаю и как на крыльях мчусь в Париж. Иногда это случается даже три-четыре раза в году.

Верно говорят, что Париж всегда Париж. Ничего не поделаешь: для художника это все равно как припасть к живительному источнику творчества, как вдохнуть воздух родины, который тонизирует и стимулирует, хотя за воду из этого источника и за этот воздух тебя заставляют платить втридорога, ибо стоимость жизни в Париже — это вам не шутка. Но какая разница? Париж стоит мессы, как говаривал тот король, и я как художник, свято чтущий традиции богемы, довольствуюсь тем, что питаюсь одними булочками и селюсь в самых жалких пансиончиках. Впрочем, мои потребности очень скромны также и потому, что почти все имеющееся в моем распоряжении время я провожу в Лувре.

В его великолепных залах моя душа, не зная робости, без всяких комплексов, свободно беседует с великими художниками прошлого; в самом деле, я чувствую себя одним из них, и притом, как я постараюсь сейчас доказать, с полным правом.

И вот я у истинной цели своего путешествия, наконец-то я могу подойти и часами созерцать, восхищаться своим шедевром, изумительным портретом Джоконды. На меня всегда производит огромное впечатление, когда я вижу непрерывное и благоговейное паломничество к моей картине: туристы и искусствоведы, съехавшиеся со всего мира, стоят перед ней словно в молитвенном экстазе. Мне не удается прогнать мысль о том, что я автор этого столь глубоко чтимого произведения и стою тут же, рядом, незаметный в толпе и никому не известный. Сердце у меня громко бьется, горло сжимают нервные спазмы, и я не в силах сдержать безмолвных слез гордости и волнения.

Вряд ли кто может упрекнуть меня в нарциссизме; я считаю, что это исключительно высокая привилегия, когда твоя картина выставлена в Лувре. Все мои коллеги-художники, все, в том числе и те, кого считают самыми известными, мне завидовали бы, если бы об этом знали. Но я не ищу громкой славы, рекламы, признания в свете и довольствуюсь малым: с меня достаточно того, что я время от времени могу присутствовать при поклонении, объектом которого является моя картина. Для настоящего художника важно именно это.

Нет-нет, я не оговорился, тут нет никакого недоразумения: картина, о которой идет речь, это именно полотно, изображающее знаменитую Мону Лизу, более широко известную под именем Джоконды.

Конечно, ее нарисовал Леонардо да Винчи, а я не призрак и не новое воплощение прославленного художника — я всего лишь человек, рисующий урывками, как и когда может, в ущерб своей работе, которой вынужден заниматься, чтобы прокормиться; человек, которого называют любителем, дилетантом или еще хуже — с иронией и пренебрежением — «художником по воскресным дням».

Это правда — Джоконду написал я. Или, точнее, картину, которая изображает Джоконду и которая выставлена в настоящее время в Лувре, написал я. Не правда ли, неплохо? Во всяком случае, я ничуть не уступаю великому Леонардо, поскольку не только публика, но и ученые-искусствоведы относятся к моей картине так, как если бы ее написал Леонардо.

Мне понадобились годы прилежной учебы и труда, но я сумел добиться своего. Заменить своей картиной оригинал оказалось даже не очень трудно: с моей манерой держаться и строгим костюмом достаточно было выдать себя за сотрудника музея. Это произошло несколько лет тому назад.

Я, конечно, владею своей тайной, но тем не менее все равно получаю заслуженное удовлетворение. При помощи маленького магнитофона я записываю на пленку меткие наблюдения и проницательные суждения, которые ученые высказывают перед моей картиной, а дома их вновь прослушиваю и сортирую по порядку. Я собираю все, что было написано и пишут сейчас о Джоконде и связанном с ней мифе, сотни книг, если считать лишь самые важные, и я считаю, что половина их посвящена Леонардо, а половина — мне. Я стараюсь сохранять объективность. Хотя, непрерывно сравнивая обе картины, я и уверился в том, что полотно, написанное мною, гораздо лучше того, что написал Леонардо, я все же отдаю ему должное, ибо он создал свое произведение задолго до меня. Конечно, краски, которые употреблял Леонардо, далеко не так совершенны, как теперешние, зато он в своем распоряжении имел натурщицу — Мону Лизу, тогда как мне пришлось обращаться к написанному им портрету, который, как бы ни был удачен, все же не может быть таким живым и выразительным, как оригинал во плоти и крови. Одним словом, плюсы и минусы уравновешивают друг друга, и мне кажется, что поделить между нами заслуги поровну будет вполне справедливо.

Я всегда выхожу из музея последним. Я уношу в своей душе удовлетворение, и оно переполняет меня во время обратного путешествия в поезде. Словно хмельной, с блуждающей улыбкой на губах, я сижу один, в сторонке, не участвуя в разговорах своих попутчиков, подавляя в себе желание признаться, что портрет Джоконды, который наверняка кто-то из них видел во время традиционного посещения Лувра, принадлежит моей кисти.

Дома меня ожидают нищета и унижения, которые мне приносят занятия живописью. Ведь рука-то, моя рука, все та же, что написала знаменитую картину, а результаты, оценки со стороны публики и критики совсем иные, можно сказать диаметрально противоположные. Там — толпы посетителей, желающих взглянуть лишь на одну мою картину, а здесь, где картин хватит на целую выставку, никого, если не считать родственников и близких друзей, людей, которые, к сожалению, ничего не смыслят в живописи. А что сказать о критиках: я лезу из кожи вон, ухаживая за ними, стремлюсь заслужить их благосклонность, но абсолютно тщетно. Когда я звоню по телефону, они говорят, что их нет дома, или придумывают самые нелепые отговорки, только бы не ходить на мои выставки. Я до сих пор еще ни разу не испытал удовольствия от продажи хоть одной из своих картин, и единственное, что меня хоть немного утешает,— это уверенность, что я буду «открыт» и по заслугам оценен, когда меня уже не будет в живых, как это произошло с другими художниками. Я уже сказал, что не жажду славы, однако признание моих заслуг, хотя бы самое маленькое, мне вовсе бы не повредило.

Часто я подолгу изучаю, созерцаю картину Леонардо, которой я владею, и предаюсь при этом различным размышлениям: вот родись я тоже в пятнадцатом веке, у меня теперь была бы такая же слава, как у Леонардо, даже, может быть, более того — я затмил бы его гений, и не он, а я вызывал бы всеобщее восхищение.

Позавчера, на последней выставке, которую я устроил, я выставил в числе прочих своих произведений Джоконду Леонардо, разумеется выдав ее за копию, выполненную мною ради чистого развлечения. Так вот, как я и ожидал, картина не произвела ни на кого никакого впечатления. Двое искусствоведов, знаменитых экспертов, которых мне удалось затащить на свою выставку при помощи самых невероятных ухищрений, перед Джокондой только улыбнулись, словно увидели что-то забавное, и сказали, что картина очень мила, старательно написана, но несколько ученическая. И больше не удостоили ее ни единым взглядом. Так что и великий Леонардо получил свое...

А вчера у меня украли несколько картин. Это мне доставило некоторое удовлетворение, хотя не скрою, что воры, должно быть, были людьми несведущими. Более того, у меня есть основание подозревать, что они, как и я сам, «воскресные художники», бедняки, которые стащили мои картины, чтобы использовать их как холсты. Потому что у многих художников-любителей нет денег даже на то, чтобы купить холсты и краски.

Среди других полотен они унесли и полотно Леонардо, конечно приняв и его за мою мазню. Я не пошел в полицию заявлять о краже. Человечество не лишится шедевра, ибо Джоконда Леонардо сама по себе ничего не стоит, как доказал случай

на моей выставке; кроме того, «официальная» Джоконда, та, что написал я, находится на своем месте в Лувре.

Надеюсь, что полотно Леонардо будет использовано каким-нибудь «воскресным художником» — он напишет поверх него свое произведение, шедевр, который, быть может, когда-нибудь станет бессмертным.

Дьявол-77

Помимо того, что сам папа римский, высший церковный авторитет, не так давно торжественно подтвердил, что я, дьявол, действительно существую, нахожусь в добром здравии и полон сил, лично я более чем когда-либо верю в предназначенную мне роль, которая состоит в том, чтобы представлять собой злую силу, необходимую по контрасту оттенять добро. Извечное разделение духовного, а как следствие и материального, мира на добро и зло, свет и тьму еще не утратило своего значения, что бы там ни утверждали скептики и неверующие.

Сами подумайте, при всем том, что творится ныне, всем том, что мы постоянно видим и слышим вокруг, разве можно подвергать сомнению факт моего существования; более того, я убежден, что нынешние времена — это времена моего господства, торжества моих способностей, времена, позволяющие проявлять себя самым неожиданным и коварным образом, что свойственно моему характеру. Конечно, я прекрасно понимаю, что господство мое временно, преходяще, ибо силы добра в конечном счете когда-нибудь одержат верх, но факты свидетельствуют о том, что пока, на сегодняшний день, победа за мной. Я не знаю, какой тактики придерживается добро, но предполагаю, что оно намерено весьма сурово покарать нынешние поколения, чтобы потом, в один прекрасный день разрешить все сразу посредством массового искупления. Пока же я использую, как могу, оставленное для меня свободное поле деятельности и стараюсь сотворить столько зла, сколько в моих силах.

В течение всего лишь каких-нибудь нескольких лет я сумел наделать в Италии немало всяких пакостей. Возьмем, к примеру, скандал с министрами, когда их обвиняли в коррупции; на самом-то деле виновны не те, кто давал взятки, и не те, кто их брал, а я. А кто, вы думаете, отравил при помощи облака ядовитого газа целую цветущую, промышленно развитую провинцию? Тоже я. Дело моих рук и спекуляция в строительстве, и незаконный вывоз капиталов за границу, и уклонение от уплаты налогов — я просто называю наугад лишь некоторые из беззаконий и преступлений в той широкой гамме злого умысла, которой я располагаю. Все, все то, что называют насилием, произволом, злоупотреблением, подавлением,— это моя работа. Мое воображение в сфере зла поистине не знает границ — даже тех, что установлены религией и в рамках которых я должен был бы действовать. Достаточно одного примера: с незапамятных времен я и мусульманский дьявол не поддерживали между собой отношений, каждый из нас действовал в области своей компетентности. Так вот, несколько лет назад мне удалось заключить с мусульманским дьяволом договор о сотрудничестве — и пожалуйста вам: арабы поставили западный мир перед лицом кризиса, подняв цены на нефть. Разве это с моей стороны была не гениальная находка?

Иногда я даже спрашиваю себя, откуда берется такое поразительное богатство воображения, такая удивительная сила фантазии, которыми обладает зло и которые являются извечно присущими ему качествами, столь заметными по сравнению с ограниченностью, я сказал бы, бесцветностью, характеризующими добро. Я думаю, что живой ум — отличительная черта зла, тогда как для добра типична духовная нищета, если не глупость. В самом деле, история оставила нам богатую галерею портретов куда более многочисленных, чем праведники, которые встречаются так же редко, как и белые вороны. Кто знает почему? Действительно ли конечная цель человечества — добро и правда ли, что в конце концов оно восторжествует? Неужели и ловкость и талант, употребленные на то, чтобы творить зло, так ничему и не послужат и затрачены впустую? Но я предпочитаю не залезать в такие дебри и заниматься своим ремеслом дьявола, не мучая себя лишними вопросами.

В настоящий момент я вовсю развлекаюсь экономическим кризисом в нашей стране. Для дьявола это просто счастливый случай, и я не упустил такой замечательной возможности; доказательство тому, что политическое положение у нас выглядит следующим образом: гигантские проблемы, стоящие перед правительством. Я смеюсь от души, когда думаю, что из этого всего получится. Я убежден, что, если мы будем продолжать в таком духе и не изменим курса, спасения нам нет, а уж я-то, конечно, не подскажу тем, кто держит в своих руках власть, как ею следует пользоваться. Они ее хотели? Так тогда пусть знают, что это опасный зверь, командует им дьявол, и поэтому очень трудно его укротить. Впрочем, я спокоен, ибо молитвы, которые власть имущие возносят к богу в надежде, что он просветит их, укажет путь спасения, подобно крикам осла не достигают неба.

Не надо думать, что все свое время я посвящаю исключительно важным вопросам, глобальным проблемам, волнующим целые народы. Я тоже позволяю себе иногда отдохнуть, развлечься. Например, забавляюсь тем, что подшучиваю над людьми; моей любимой шуткой остается самая старая из всех — вселиться в кого-нибудь и превратить его в одержимого. Жаль, что ныне не в моде охота на ведьм и волшебников и что одержимых дьяволом — то есть тех, кто ведет себя не в соответствии с правилами, установленными большинст-

вом,— уже больше не сжигают живьем. Сколько невинных вот так отправили на тот свет — в прежние времена со мной очень считались и я пользовался большим уважением.

Однако до сих пор изгоняют дьявола разными заклинаниями — должен признать, иногда весьма остроумными,— чтобы заставить меня подобру-поздорову, а то и насильно убраться из тела, в которое я вселился. Специалистами в этом деле являются, как правило, монахи — люди, мнящие, что я их боюсь. На самом же деле я всласть забавляюсь с экзорсистами, иногда даже позволяю им одолеть себя именно для того, чтобы доказать невеждам, что я и впредь существую,— в общем, веду себя, как шахматист, который, будучи непобедим, нарочно иногда проигрывает одну-две партии, чтобы не лишиться противников, а следовательно — и возможности играть.

Недавно я вселился в одну студентку — девушку из богатой буржуазной семьи — и, чтобы все об этом узнали, вдохнул в нее социалистические идеи. Разразился скандал; родители отвели девушку к монаху-экзорсисту. Он лез из кожи вон, израсходовал весь запас заклинаний, но так ничего и не добился: внушенные мною идеи остались в голове девушки.

Теперь мне хочется сыграть шутку с самим этим добрым монахом: я постараюсь, чтобы социалистические идеи постепенно проникли и в его голову. Я уже заранее хохочу при мысли о том, что от него ими, наверное, вскоре заразится весь монастырь.

ДЖУЗЕППЕ БРУНАМОНТИНИ

Неподобающее поведение

Перевод с итальянского Л. ВЕРШИНИНА

Я бегаю по коридорам. Здание, где я служу,— огромное, парадные похожи на монастырские ворота. Буквально слетаю вниз по винтовой лестнице, бесконечной, как колодец святого Патрика [1], и куда медленнее взбегаю по ней же на верхний этаж. А бегать мне тяжело, ведь ступенек уйма, а само здание такое высокое, что служащие даже спускаются в лифтах.

Я курьер и выполняю все поручения с быстротой ястреба. Бумаги попадают из одного отдела в другой, из левого крыла здания в правое за несколько секунд, а не недель. Понятно, я мог бы прибегнуть еще и к ускорениям, но врезáлся бы тогда в служащих, которые унылой чередой тянутся по коридорам и толпятся в приемных и на лестничных площадках.

[1] Мифический колодец, который, согласно ирландской легенде, ведет прямо в чистилище.

© Gilberto Bagaloni Editore, 1978.

Да и какое впечатление произвело бы мое чрезмерное усердие на вышестоящее начальство? Одно из двух — либо меня приняли бы за ненормального, либо за пройдоху.

Кому придет в голову, что я на работе занимаюсь тренировкой? Разве что всяким темным дельцам, которые вечно отираются в нашем министерстве. Они знают все: дни рождения жен глав отделов, дни именин детей высокопоставленных чиновников и неизменно посылают им «скромные» подарки. Конечно, чтобы потом легче было обделывать свои грязные дела.

Тренируюсь я, разумеется, тайком: пять шагов и поворот, еще пять шагов и снова поворот. Вот так же каторжник Папийон шагал по своей одиночной камере. Чтобы совсем не пасть духом, он отмечал лишь, сколько уже прошло полугодий. Мне повезло больше. К счастью, в моем полном распоряжении все широкое и длинное здание. После короткой пробежки можно подышать свежим воздухом. Правда, воздух у нас не слишком-то свежий — служащие беспрерывно курят, а комнаты почти не проветриваются. Да к тому же на столах пылятся папки с документами.

После полудня у меня вторая тренировка, в этот раз на станции технического обслуживания. Я и здесь работаю и тренируюсь с полной отдачей. Особенно полезны для развития грудной клетки и укрепления спины приседания. Слегка пританцовывая, словно боксер, который в одиночестве тренируется на ринге или работает в зале с грушей, я имитирую удары с обеих рук по кожухам машин.

А вот настоящей, серьезной гимнастики я не делаю ни утром, ни после полудня. По крайней мере открыто. Я лишь повторяю движения государственных служащих и мойщиков, что также помогает общефизическому развитию.

Если мне нужно поднять с земли ветошь, я наклоняюсь не просто, а весь изгибаясь. Когда же мне надо смазать машину и помыть оба крыла, я сажусь на корточки и потом, во время работы, прыгаю как лягушка.

На что я надеюсь? Продлить молодость? Принять участие в первенстве страны? Вот это было бы совсем неплохо. Особенно в состязаниях по спортивной ходьбе.

А пока я все энергичнее тренируюсь в коридорах. Хожу покачивая бедрами, как заправский мастер спортивной ходьбы.

Но проделываю я это не на дистанции, а в служебном здании, и потому многие служащие решили, что я пародирую походку начальства. Они хотят знать, кого точно я избрал мишенью своей сатиры, чтобы тайком над ним посмеяться.

Дошло до того, что служащие составили поименный список своих самых ленивых и одновременно преуспевающих коллег и пытаются угадать, в кого из них я мечу.

АНТИРУБРИКА

Про меня говорят: «Чудной у нас курьер». Как будто эти люди не понимают, что такой отзыв не украсит меня в глазах начальства.

Так и случилось: начались разговоры, толки. Многие по-отечески советуют мне не раздражать начальство. В ответ я начинаю клясться и божиться, что так вышагивают все мастера спортивной ходьбы. Но мне не верят. «Ты разве не служил в армии? Вышагивать это — ать-два, ать-два».

— Посмотрите, пожалуйста, спортивную передачу,— возражаю я.— Сами увидите, как ходят Дордони и Памич.

Но никто из служащих не смотрит состязания по спортивной ходьбе. Вот «Музыкальная карусель» — это совсем другое дело.

В любом случае я ошибаюсь, и крупно, принимая всех за наивных глупцов, говорят они. Так можно и взыскание получить, а то и вообще вылететь с работы. Парикмахер в обеденный перерыв намыливает им щеки, готовясь побрить, а они дергаются на стуле, чтобы не терять меня из виду, не понимая, до чего это опасно.

— Ты же был раньше скромным, добрым парнем!

Я и остался скромным, добрым парнем. Но раз уж вам так хочется, выберу другой вид спорта. Откажусь от романтической мечты. А жаль! Ведь она согревала меня каждый вечер, когда я стремительно, вприпрыжку возвращался со станции технического обслуживания домой, вдоль низких каменных оград, мимо тутовых деревьев в парках, а потом, по двору под равнодушными взглядами жильцов.

Иногда я и во сне все еще иду своим волнообразным шагом по берегу моря, под пальмами, по дорожкам луна-парка, а не по коридорам, где за мной в замочные скважины подглядывают служащие... Мне снится, будто я попадаю на дорожку стадиона во время футбольного матча. И все: игроки, зрители — застывают на минуту и в почтительном молчании смотрят, как я финиширую. Затем, опомнившись, отводят меня в раздевалку, осторожно, словно я сумасшедший. Бегом возвращаются на стадион, и матч возобновляется под всегдашний, оглушительный грохот петард.

И тут я просыпаюсь, нехотя встаю, еще во власти чудесных сновидений и приключений. Потом, уже на работе, я с новой остротой переживаю их, вытирая пыль со столов и опорожняя мусорные корзины. Я беспрестанно думаю, чем же мне теперь заняться. Прыжками? Спринтерским бегом? Метанием диска? Но меня пугают каждодневные, невероятные нагрузки и результаты чемпионов. Достанет ли у меня мужества бросить им вызов? Собственно, я и не надеюсь победить. Просто мне хотелось бы войти в семью спортсменов, принять участие в соревнованиях.

До чего же трудно сделать окончательный выбор! Заняться фехтованием? Нет, разве найдешь среди служащих партнера! Тяжелой атлетикой? Где достать денег на покупку штанги?

А пока я сную по кабинетам, разношу вечно сонным чиновникам папки с документами, что-то беспрерывно бормочу, размахиваю руками и успеваю на бегу сделать сальто-мортале.

У меня оставалась последняя надежда, и я попросил:

— Сделайте меня скороходом.

Так в министерствах называют мотоциклистов, которые развозят срочные депеши. Быть может, в память о прежних пеших рассыльных.

— Я буду мотопосыльным без мотоцикла,— убеждаю я начальство.— Но на место примчусь не позже, чем мотоциклист. Ведь мне не придется ждать у светофоров. Да и на бензине сэкономите, и я даже домой не загляну.

Но курьеров, точнее, мальчиков на побегушках не хватает, и мне отказывают.

Недавно мой начальник сказал своему коллеге: «Хоть этот парень и со странностями, но он один из самых исполнительных курьеров. Пожалуй, даже самый исполнительный».

А я тем временем ношусь утром по коридорам министерства, а вечером — между машинами на станции технического обслуживания, так и не зная, какой же вид спорта выбрать.

Конечно, я предпочел бы всерьез заняться легкой атлетикой. Но и гимнастика мне нравится.

И вот вчера мне пришло письмо из отдела личного состава, в котором сурово порицаются мои неприличные выходки, притом в служебное время. Меня также предупреждают, что не следует, во избежание увольнения, злоупотреблять долготерпением начальства и своим неподобающим поведением подрывать авторитет администрации.

◆

Наши гости

Божидар Божилов *Лучезар Еленков*

БОЛГАРИЯ

Божидар Божилов и Лучезар Еленков, несмотря на небольшую разницу в возрасте, представляют разные поколения в современной болгарской поэзии. Божилов вступил в литературу в сороковые годы, он автор нескольких десятков поэтических сборников, стихи его переведены во многих странах. В Советском Союзе в переводах Булата Окуджавы вышел сборник его избранной лирики, озаглавленный «Весенняя поэзия». Революция и любовь — таковы основные темы творчества Божилова, всегда чутко откликающегося на события современности, принимающего активное участие в общественной и литературной жизни своей страны. В настоящее время он директор одного из крупнейших издательств Болгарии — «Народна култура».

Лучезар Еленков относится к тому поколению болгарских поэтов, которое еще совсем недавно называли молодым. Его имя появилось в литературе сравнительно недавно, но он уже выпустил девять поэтических сборников, в которых, по мнению болгарской критики, главной является героическая тематика в ее философском осмыслении. За последний из них — «Бескрайние мосты» — он удостоен премии Союза болгарских писателей.

Разговор начинается с крупнейшего события культурной жизни Болгарии — празднования 70-летия замечательного поэта и революционера Николы Йонкова Вапцарова. Каждого из наших гостей с именем Вапцарова связывает что-то свое, личное.

— Не так давно,— рассказывает Божидар Божилов,— вышла книга жены поэта Бойки Вапцаровой, своеобразная летопись его жизни. В частности, в этой книге упоминается, что в один из самых трудных и напряженных для Вапцарова дней войны, когда

он приехал в Варну, чтобы установить связь с подпольной организацией города, он нашел время встретиться с одним начинающим поэтом Этим поэтом был я, тогда юный гимназист. Воспоминание о той встрече навсегда сохранится в моей памяти. Но помнить о Вапцарове важно не только для того, чтобы отдать дань уважения ему как поэту и революционеру, но и для того, чтобы укреплять в литературе линию гражданственности, которая так ярко воплотилась в его творчестве. В болгарской поэзии Вапцаров был одним из первых продолжателей традиции Маяковского, и не формально, а по духу.

Лучезар Еленков, говоря о значении творчества Вапцарова, подчеркивает необходимость более широкой пропаганды его поэзии:

— Конечно имя Вапцарова широко известно в Советском Союзе. Но это не исключает нового обращения советских поэтов-переводчиков к его стихам, попыток еще точнее передать всю силу его поэзии на русском языке. Книги переводов Вапцарова давно разошлись, а появляются уже новые поколения читателей, которых стоит приобщить к его поэзии, рассказать о его жизни и подвиге.

Лучезар Еленков и сам стремится внести свой вклад в это благородное дело. Вапцарову посвящена одна из поэм его сборника «Бескрайние мосты». Она навеяна впечатлениями от путешествия Еленкова по нашей стране, во время которого он увидел паренька, читающего стихи Вапцарова. Этот факт, собственно, и послужил толчком для создания поэмы. Советская тема вообще занимает большое место в творчестве Еленкова. В том же сборнике рядом с поэмой о Вапцарове — поэма о советской разведчице Раисе Окипной. Единственная пока прозаическая книга Лучезара Еленкова «Рожденная морем» также посвящена СССР.

— Мой первый опыт в прозе — книга об Эстонии, которая входит в серию книг о советских республиках. Серия была задумана Партиздатом и издательством «Народна младеж» в связи с 60-летием Октябрьской революции, и я, как секретарь Союза болгарских писателей по зарубежным связям, принимал непосредственное участие в ее подготовке. Авторами всех этих книг являются наши известные писатели. Самую оригинальную, пожалуй, написал Росен Босев. От истории своего случайного знакомства он протянул нить к жизни всей Туркмении. Я выбрал Эстонию. Мне, южанину, она представлялась экзотической, но кроме экзотики я нашел там много интересного, неожиданного и поучительного и в общем работал над книгой с большим увлечением. Впрочем, и тут я не смог удержаться в рамках только прозы, в книге есть и мои стихи об Эстонии, и переводы стихов эстонских поэтов Деборы Вааранди, Пауля Руммо, Арви Сийга.

Не одно стихотворение посвятил нашей стране, своим советским друзьям, в том числе и поэтам, с которыми его связывает давняя дружба, и Божидар Божилов. Любовь к советской литературе, с которой он познакомился много лет назад, в последнее время находит особое выражение в его переводческой работе.

— Уже несколько лет я работаю над переводами стихов выдающегося советского поэта Николая Заболоцкого. Он близок мне и как человек, и как писатель. Работа оказалась очень трудной, поскольку я стараюсь точно передать своеобразную форму его стихов. Особенно меня увлекли стихи, которые он написал в тот период, когда создавал свое стихотворное переложение «Слова о полку Игореве». В них он широко использовал старинные слова и выражения, близкие к болгарским. Я стремился переводить так, чтобы сохранить их в тексте без изменений. Скоро том стихов Заболоцкого выйдет в свет.

Издательство, которым я руковожу, широко издает советскую литературу. У нас существуют две серии: «Вершины советской поэзии» и «Советские поэты». Мы стремимся найти для каждого советского поэта близкого ему по духу болгарского переводчика. Недавно мы начали выпускать новую поэтическую серию, небольшие книжечки, которые надо скорее носить в кармане, чем ставить на полку. Тем самым мы хотим, с одной стороны, сделать поэзию более доступной и расширить круг ее любителей, а с другой — даем возможность ее ценителям никогда не расставаться с любимыми авторами.

В заключение гости отвечают на традиционный вопрос — «Над чем вы сейчас работаете?»

Последний сборник Божидара Божилова «Американская тетрадь» написан по впечатлениям от поездки в США, где он прожил несколько месяцев. «Эта книга,— писал болгарский еженедельник «Литературен фронт»,— не имеет ничего общего с поверхностными и беглыми зарисовками туриста, которые часто преподносят нам наши путешествующие авторы... Сборник Божидара Божилова обладает всеми достоинствами своеобразного художественного документа, в котором находит выражение новое самосознание болгарина как гражданина планеты, всего мира».

— А сейчас я пишу книгу очерков об Америке. Но в ней будут не просто рассказы об увиденном, но и размышления об этой полной контрастов стране.

Лучезар Еленков работает над новым сборником стихов.

— Я хочу назвать его «Бессонные пристанища». Человек живет не только там, где его дом. Его мятежный творческий дух может переноситься куда угодно, для него нет границ и пределов.

М. ТАРАСОВА

Фото А. Рикельмана

К нашим иллюстрациям

СОКРОВИЩА СЛАВЯНСКОЙ СТАРИНЫ

Во всякой науке есть доля поэзии. Так, археология открывает нам поэзию былых времен. На 2, 3 и 4 страницах обложки этого номера журнала воспроизведены снимки археологических находок, сделанных на территории древней Великоморавской державы. Предметы эти имеют не только историческую, но и художественную ценность, свидетельствуют о высоком уровне развития искусства и ремесел у славян.

Великая Моравия — одно из крупнейших раннефеодальных славянских государств — существовала на территории нынешних Моравии и Словакии вплоть до 906 года. В этой державе побывали с просветительской миссией Кирилл и Мефодий, посланные туда византийским царем Михаилом III по просьбе великоморавского князя Растислава. Деятельность Кирилла и Мефодия, а также их учеников и последователей способствовала распространению славянской письменности на территории Великоморавской державы, что привело к возникновению чешской и родственной ей словацкой литературы.

Публикуемые иллюстрации, выполненные словацкими фотографами-художниками Александром Паулом-старшим и Александром Паулом-младшим, репродуцируются из книги известного словацкого ученого, члена-корреспондента Словацкой Академии наук Яна Декана «Великая Моравия», выпущенной недавно в Братиславе издательством «Татран».

Монография эта суммирует итоги работ ученого в области исследования истории государства, где жили предки нынешних чехов и словаков. В книге подчеркивается идея славянской общности, уходящей корнями в глубокое прошлое, а также самобытность славянской культуры.

«Великая Моравия» Я. Декана — это уникальное издание, выполненное на высоком научном и полиграфическом уровне, которое следует считать ценным вкладом не только в историографию, но и в историю искусства.

Капитальный труд словацкого ученого обобщает и популяризирует результаты систематических археологических раскопок, проводившихся на территории бывшей Великоморавской державы. Планируется дальнейшее расширение археологического исследования этого интереснейшего периода славянской истории. Вместе с учеными Чехословакии в этом примут участие и специалисты из Советского Союза.

Сделанные археологические находки позволяют глубже постичь дух и своеобразие эпохи, оставившей не так уж много памятников письменности. Они несут в себе новую и объективную информацию о Великой Моравии и развивающейся на территории державы древнеславянской культуре, что дает возможность полнее обрисовать ее историческое значение в широком европейском контексте. Дошедшие до нас сокровища красноречиво повествуют о духовном богатстве древних славян и их извечном стремлении к прекрасному — к тому, что в высоком смысле мы именуем поэзией.

СВЯТОСЛАВ БЭЛЗА

◆

Среди книг

Издано в СССР

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ И КАПУСТНОЕ ПОЛЕ

Польские поэты. Леопольд Стафф. Казимира Иллакович. Юлиан Пшибось. Тадеуш Ружевич. Вислава Шимборская. Перевод с польского. Составление, вступительная статья и примечания В. Британишского. Москва, «Художественная литература», 1978.

Начиная знакомиться с новой книгой переводной поэзии, искушенный читатель прежде всего заглядывает в конец, в оглавление: кто переводчики? Ибо от этого зависит многое, если не все. Бывали, да и сейчас бывают, случаи, когда поэты, по заслугам прославленные у себя на родине, в русском переложении предстают вполне заурядными стихотворцами. Хотя порой и видно, что переводчик был добросовестен и старателен. По таким переводам можно судить, о *чем* писал поэт в разные периоды своей жизни, можно проследить эволюцию его мировоззрения, можно и научный труд создать при случае. Но доставить эстетическое наслаждение они не способны.

В очередном томе «Библиотеки польской литературы», знакомящем русского читателя со стихами Леопольда Стаффа, Казимиры Иллакович, Юлиана Пшибося, Тадеуша Ружевича и Виславы Шимборской, состав «переводческого корпуса» многообещающ: Б. Слуцкий и Д. Самойлов, Л. Мартынов и С. Кирсанов, М. Павлова и Ю. Мориц. Представлена двумя переводами из Пшибося Марина Цветаева, тремя — из Шимборской — Анна Ахматова. К этому списку не нуждающихся в рекомендациях имен хотелось бы в первую очередь прибавить еще одно — Владимир Британишский. В конце пятидесятых годов это имя называлось в списке молодых поэтов Ленинграда, дебют Британишского — сборник «Поиски» — был отмечен яркой самобытностью. За ним последовали сборники «Наташа», «Пути сообщения», была и книга прозы. А потом Британишский все реже выступал с оригинальными произведениями, посвятив себя делу перевода. В книге «Польские поэты» он присутствует не только в качестве переводчика, но и составителя, «главного архитектора» всего издания. Обстоятельное, глубокое предисловие также написано им. И если говорить об удаче всего предприятия (а это именно удача, большая и серьезная), то первые слова признательности должны быть адресованы именно ему.

Это большая книга, и поэты представлены в ней обильно: каждая подборка могла бы стать самостоятельной книгой на русском языке, второй по счету для Стаффа и Ружевича, первой для трех остальных. В том числе и для Казимиры Иллакович, старейшей современной польской поэтессы. Столь широкое знакомство с ее тонкой и человечной лирикой — несомненная радость для русского читателя:

Все можно сделать, но не для себя:
Пощады вымолить и чудо совершить,
И чью-то злую волю сокрушить,
Беду прогнать, как волка от кошары,
И разгадать неведомого чары...
И волшебство кончается... Оно
Своей любви не радость, не подмога —
Оружье складывает у порога,
Бессилья и ничтожества полно.
А ведь, казалось бы,— немудрено
Помочь своей любви ну хоть немного!..

(«Не для себя». Перев. Е. Благининой)

Ведь и впрямь так бывает: *другого* и выслушаем, и ответные слова для него найдем, и уйдет он вправду утешенный, а сами остаемся наедине с такой же, но *своей бедой* — и не знаем, что с ней поделать... Думается, стихотворение это очень близко традициям русской поэзии — и не случайно: поэтесса выросла в бывшей Витебской губернии, сдавала экстерном гимназические экзамены в Петербурге, преподавала в зрелые годы русский язык, переводила Толстого («Анну Каренину») — стихия русского слова для нее не чужая. Однако столь прямое выражение поэтической мысли, столь четкая строфика далеко не всегда присущи Иллакович: ее своеобразный, самобытный стих зачастую текуч и зыбок, иные стихотворения похожи на заклинания, народные заговоры и наговоры, иные, наоборот, поражают предельной простотой:

Привольная-вольная воля —
Капустное поле!
Стою пред тобою и знаю:
Ни раю,
Ни теплому южному краю
С тобой не сравниться —
С твоей красотою простою,
С твоей добротою...

(«Капустное поле». Перев. Е. Благининой)

Та же Иллакович — и другая! Это не от перевода, это — от оригинала, переводчик

один и тот же — Елена Благинина; видимо, перед нами тот случай, когда два поэта «нашли» друг друга. Впрочем, и другая переводчица — Наталья Астафьева — тоже, как видно, нашла в Иллакович родственную душу: ее переводы в большинстве своем удачны.

Утонченная поэзия Иллакович изначально демократична — достаточно вспомнить хотя бы названия стихотворений: «Наши девчата», «Бабы», «Картошка», «Ячмень». Строки ее преисполнены уважения к людям земли, к тяжелому крестьянскому труду. Может быть, поэтому так естественно и органично сложились у нее стихи о погибшем молодом советском солдате, которого хоронят его боевые товарищи:

Один, впереди, неловко держал венок
из красных роз,
другой — фотографию, третий — оружие,
четвертый — фуражку нес.
Шли один за другим, ни на кого
не глядя,
а ветер их светлые волосы
трепал и гладил.

(«Советские похороны». Перев. Н. Астафьевой)

Может быть, чуть меньше удался переводчикам Стафф — поэт, проживший долгую жизнь, мастер, чье творчество в значительной мере связано с поэтической культурой конца прошлого — начала нынешнего столетия. Вероятно, в этом-то и дело: многие элементы *той* поэтической культуры в современной литературной практике почти утрачены. К примеру, Стафф, как и многие его сверстники, на протяжении многих лет разрабатывал форму сонета. Для большинства же его сегодняшних переводчиков эта форма «чужая» — даже если соблюдаются все требования сонетной схемы (что тоже бывает не всегда), остается ощущение скованности, натянутости: будто в одежде не со своего плеча вынужденно щеголяет человек. Но в целом переводчикам удалось передать колорит поэзии Стаффа: серьезной и мощной, возвышенной, как Млечный Путь, и торжественной, как хорал, в молодые (да и в зрелые) годы поэта нередко напоминавшей Верхарна, могучих его «Фламандок».

Но ошибется тот, кому, по беглом прочтении нескольких стихотворений, поэзия Стаффа покажется надмирной, обращенной исключительно к «вечным» темам, чуждой страстям и борениям своей эпохи. В критические моменты истории поэт был чрезвычайно точен в своих оценках. Так, в книге «Радуга слез и крови» (1918) он прославил «брата-рабочего» «с молотом в руках» и высокую правоту русской революции, в годы после второй мировой войны принял социалистические преобразования в родной стране, разделил общую заботу поэтов мира, написав сонет, кончающийся словами: «Мир человечеству! Свобода! Жизнь! Любовь!». Впрочем, сонетов в эти годы Стафф писал немного. На склоне жизни он все чаще обращался к прозрачному и ясному свободному стиху, и как раз вот эта часть его наследия обрела убедительное звучание на русском языке (переводы Б. Слуцкого, В. Британишского, М. Живова, А. Гелескула).

Перед переводчиками поэзии Юлиана Пшибося стояла, думается, задача тройной сложности: передать не только смысл, не только музыку, но и само начертание стихов, плывущих по странице, словно разорванные ветром облака по голубому небу. Общественный деятель, дипломат, государственный человек, Пшибось был поэтом непростым: его стихи — это мир причудливых ассоциативных связей, неожиданных, как бы текучих образов. Дорога у него «движется в упряжи из каштанов, сквозь череду которых продевает быстрые морды коней, едва держа на вожжах» («Пейзаж», перевод В. Британишского), памятник на площади «связал все окруженное пространство в узел бронзы» («Предел», перевод С. Кирсанова). Такая поэзия не всякому близка, у нее свой (сегодня уже достаточно широкий) читатель. Следует, однако, иметь в виду: сложность Пшибося — не из желания быть сложным, едва ли хотя бы один значительный поэт ставил перед собой такую задачу. На свой лад Пшибось стремился к простоте, к прямой и непосредственной «пересадке» чувства из сердца поэта в сердце читателя — как пересаживают само сердце современные хирурги. Не восторги эстетов интересуют его: он пишет о простых людях, о судьбах народов и революций. В тридцатые годы он бросил пророчество-афоризм: «Победу одержит Мадрид на баррикадах Варшавы!» А несколько позже в стихах «Декабрь весны сорок третьей» написал:

Нам из сотен тысяч пушек залп победы
на востоке
грянет солнце!

(Перев. Л. Мартынова)

Только дилетанты могут полагать, что переводить свободный стих легче, нежели стих классический. *Плохо* перевести — может быть, и легче, перевести *хорошо* — во сто крат трудней. Обойтись без подпорок, уловить внутренний ритм, воссоздать его на ином языке, убедить читателя, что эта «странная проза» — все-таки стихи, а не что-то иное,— задача, которая не всякому переводчику по плечу. Тем важнее отметить, что она оказалась успешно решенной в отношении стихов Тадеуша Ружевича. Некоторые из переводов, вошедших в нынешнее издание, знакомы читателю по книге поэта «Беспокойство», вышедшей у нас еще в 1963 году. Но многое — в том числе из последних по времени оригинальных книг Ружевича — предстает перед русским читателем впервые. Вот уж где полное отсутствие всяческих «подпорок» — стих Ружевича держится не «украшениями», а «прочностью конструкции», как совершенно справедливо отмечает в предисловии В. Британишский. Ружевич почти не рифмует свои строки, отказывается от знаков

препинания — и это, как и все сложности Пшибося, во имя высшей простоты, естественности, «прозрачности», как говорит сам поэт.

Не стыдитесь слез
не стыдитесь слез молодые поэты.
Восторгайтесь луной
лунной ночью
соловьиным пением
и чистой любовью

заклинает он в очень важном для понимания его позиции стихотворении «Очищение» (перевод М. Павловой), и это звучит как призыв обратиться к первоистокам поэзии, к чистым и незамутненным ключам. А в позднейшем стихотворении «Рассказ о старых женщинах» давняя, еще бодлеровская, уитменовская тема обогащается новым и чрезвычайно важным нюансом — демократизмом:

диктаторы паясничают
приходят и уходят
руки диктаторов
в крови
старые женщины встают спозаранку
покупают мясо овощи хлеб
подметают варят
стоят на улице скрестив руки
молчат
старые женщины
бессмертны

(Перев. А. Эппеля)

И наконец, Вислава Шимборская, чьи стихи по праву завершают эту большую книгу,— пафос и легкая ирония, любовь к жизни и острое, щемящее чувство ее единственности и неповторимости:

Жизнь здесь и немедля.
Спектакль без репетиций.
Тело без примерки.
Голова без раздумья.

Не знаю роли, которую играю,
знаю, что моя, и ничья больше.

(«Жизнь здесь и немедля». Перев. А. Эппеля)

Нам, советским читателям, безусловно, многое говорит давнее стихотворение Шимборской «Картина в Зимнем дворце», посвященное Октябрьской революции (его перевел Д. Самойлов). Но с не меньшим интересом читаются и будут читаться ее стихи, «привязанные» непосредственно к самым жгучим и острым проблемам современности — политическим, социальным, нравственным: «Монолог для Кассандры» и «Вьетнам», «Террорист, он следит» и «Похвальное слово сестре». Ограничиваюсь перечислением названий не только из экономии места, но и потому еще, что у Шимборской, как у всякого настоящего поэта, название — полноправная строка стихотворения, выстроенные же в ряд, они дают определенное представление не только о круге пристрастий поэта, но и о его эстетических установках.

Итак, перед нами книга, в которой польская поэзия (далеко не в полном объеме, разумеется) предстает перед нами как явление яркое и значительное в мировой культуре нашего столетия. Книга, на страницах которой в тесной взаимосвязи присутствуют высокое и повседневное, небо и земля, Млечный Путь и капустное поле.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

ЧИТАЯ ЭРВИНА ШТРИТМАТТЕРА, ИЛИ К ВОПРОСУ О ДИФФУЗИИ ЖАНРОВ...

Эрвин Штритматтер. Романы в стенограммах. Рассказы. Перевод с немецкого. Предисловие и составление С. Львова. Москва, «Прогресс», 1978.

У читателя, склонного к строгой учености, то бишь к четким и недвусмысленным классификациям, титульный лист этой книжки может вызвать недоумение. «Романы в стенограммах» — название само по себе вызывающее (сколько раз переписывали, переделывали свои романы классики, а тут — нечто мгновенно фиксируемое, только что с языка сорвавшееся, «стенограммы» какие-то). Рядом же в подзаголовке и совсем с толку сбивающее стоит обозначение — «рассказы». *Романы* и тут же — *рассказы*, будто одно не исключает другого!

Ведь что есть рассказ? Испокон веков считается, что это — «малая форма эпической прозаической литературы», а роман... как говорится в учебниках, это — «большая форма эпического жанра (sic! — *Ю. С.*) литературы нового времени. Его наиболее общие черты: изображение человека в сложных формах жизненного процесса, многолинейность сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц, многоголосие, отсюда — большой объем сравнительно с другими жанрами». А повесть — нечто в середине находящееся, просто «эпический прозаический жанр». В утешение недоумевающему читателю-классификатору скажу, что и теоретики-систематики сообщают, что термин «рассказ» не обладает строго определенным значением и, в частности, находится в сложных, не установившихся (sic! — *Ю. С.*) отношениях с терминами «новелла» и «очерк». Ну и конечно с термином «повесть» (сколько повестей поименовано рассказами, и наоборот).

Но бог с ними, с этими внушающими недоумение «строгими» классификациями — над ними иронически подсмеивается автор «Романов в стенограммах», и тон его иронии, дружелюбно снисходительный, однако не прощающий суетливого упрощенчества, драпируемого в «серьезные» одежды, собственно, и навеял тон моей статьи.

Хорошо знаком читателям, в том числе нашим, советским, эпический, романно-эпический дар Эрвина Штритматтера. Как бы там ни было, но именно романы «Оле Бинкоп» и «Чудодей» остаются значительнейшими его созданиями, в них же перед нами — скажем вместе с цитированным теоретиком — «изображение человека в сложных формах, охватывающее судьбы ряда действующих лиц, многоголосие...»

Так-то оно так, но всякий, кто прочитает умело составленный С. Львовым сборник «Романы в стенограммах» (как бы избранное из четырех книг писателя, созданных им в 70-е годы), согласится и с тем, что по-

добное «изображение» и «многоголосие» свойственно как сборнику в целом, так и некоторым отдельным произведениям, в него входящим. Это чувствуется, например, в пространной истории «Цирк Винда»; поистине многоголосием отмечены рассказы-«романы» «На набережной Ялты» и «Снегурочка»; на двух с половиной страницах рассказа «Моя бедная тетя» оригинально проявляет себя симбиоз очерка.

Сергей Львов, знаток немецкой литературы прошлого и настоящего, предпослал книге предисловие, освобождающее меня от необходимости характеризовать ее составные части, их творческую историю и, как говорится, нравственный прицел. С. Львов сумел на небольшом пространстве предисловия ввести читателя и в курс дела относительно некоторых жанровых особенностей включенных в сборник произведений. «Романы в стенограммах» — это вовсе не «сжатая запись будущих романов», это повествование о жизни, судьбах различных людей как типических индивидуальностей того или иного исторического времени (добавлю, что Вера Панова тоже делала попытки работать в такого рода форме, называя ее терминологически продуманно «конспектом романа»). О произведениях из другой книги Э. Штритматтера «$^3/_4$ из ста маленьких историй» автор предисловия к нашему сборнику справедливо говорит как о «миниатюрах, листках своеобразного дневника — лирического и философского». Я же добавлю, что здесь есть и попытки иносказаний, притч, не всегда, впрочем, удающихся антидидактичному по природе своего таланта писателю; есть здесь и зарисовки непосредственно натуралистического свойства, тоже не производящие особого впечатления; зато там, где ощутимо глубокое лирическое авторское переживание, выстраданная мысль, «помноженные» на великолепнейшую наблюдательность реалиста-эпика,— вот там и возникают, не побоюсь сказать, подлинные жемчужины многозначной прозы, называемой —по языковой бедности систематиков-литературоведов? — прозой лирической... всего только лирической. «Ночной ветер», «Заячьи волоски», «В сене», «Волшебство росы», «Вода поздней осенью», «Снежная весна» — эти и подобные им миниатюры, «стихотворения в прозе» составляют целое ожерелье.

Вернемся же к парадоксу жанровых неувязок или, как говорят в «строгой» науке,— к вопросу о жанровых смещениях, а подчас даже и диффузиях...

Парадоксальна свобода писателя превозмочь жанровые догмы, удержав плодотворные принципы и качества различных жанров. Парадоксальна — и ко благу искусства — полнота охвата им жизни, сила его правды!

«Мой роман, — признался однажды Э. Штритматтер,— это большой брат моих маленьких историй». Так оно и есть. В романах писателя многое идет от композиций цикла новелл, когда совокупность «маленьких историй» образует сюжетный костяк обзорно-сатирического романа, традиции которого влияют на прозу немецкого языка со времен, по меньшей мере, Гриммельсгаузена. В рассказах же Штритматтера, в «малой» его прозе ощутимы разработанные более всего именно романистикой многолюдье и разнохарактерность персонажей, обилие повествовательных интонаций, образующих особую романную гармонию, внутренне оправдываемая смена ракурсов видения, «точек зрения», что дает возможность представить жизнь более всеобъемлюще — такое именно слово употребляет Э. Штритматтер, когда в книге автобиографических (но не только!) историй «Синий соловей» доверительно поделился с нами мыслями о «волнующей игре с углом и точкой зрения»: «Она занимала меня в юные годы и занимает до сих пор, ибо я установил, что многие великие умы, ходившие по нашей земле, смотрели на жизнь куда более всеобъемлющим взглядом, нежели мы, и делали это единственно при помощи фантазии, без всей той аппаратуры, от веры в которую не можем отказаться мы, люди века науки» (Э. Штритматтер не может отказаться от шпильки по адресу умертвляющего наукообразия и банальных клише! — *Ю. С.*).

И такое принципиальное *романное* качество (присущее не только романам, но, повторяю, более всего разработанное в сфере культуры реалистического романа), как *самодвижение* персонажей, то есть анализ внутренне присущих этим персонажам причин их духовно-душевного изменения в сложном взаимодействии с обстоятельствами «места и времени»,— и это качество проявлено с большой силой в малой прозе Э. Штритматтера. Он менее всего фаталист, этот писатель. И как бы ни был внимательно-спокоен его взгляд, обращенный на людей (тут секрет точной детализации в его описаниях), к персонажам своим он не относится как к некой пассивной части природного «фона». Они у него все в движении, заключенном, естественно, в рамки, что определены историческим временем и собственными их возможностями,— но в движении безостановочном. Именно поэтому «Цирк Винда» — в общем-то даже не «конспект романа», а «микророман», концентрированный роман; именно романным подвижным героем выглядят дедушка и другие родственники автора: дядя Филь и тетя Элли — «Снегурочка» из «Синего соловья» (поистине живые, переменчивые, осязаемо-рельефные характеры!); отсюда уместность, более того — необходимость ретроспекций, пунктирного восстановления духовной и душевной биографии «вдовца, пенсионера, но еще бодрого и крепкого» Харделя, героя великолепной *новеллы* «Кошка и человек», или Эриха, главного действующего лица в монументально-портретном рассказе, разоблачающем психику немецкого националиста-обывателя («На набережной Ялты»).

У Э. Штритматтера не пассивна и сама природа. Животных он так любит, что спо-

собен не только романтически их опоэтизировать, но и— на основе любовного наблюдения за ними и обихаживания их — предположить, вслед за своим дедом-крестьянином, а еще и вслед за Томасом Манном, «что трансцендентное — врожденный опыт— дано прежде всего животным. Вероятно, он (Томас Манн.— *Ю. С.*) откуда-то узнал об этом. Я верю поэтам так же, как ученым,— не без лукавства добавит наш автор,— и не стесняюсь этого, потому что знаю, что в каждом настоящем ученом скрывается поэт а в каждом настоящем поэте — ученый...».

Да что там животные! «Жителями земли» называет писатель деревья, в отогнутом лепестке только что раскрывшегося из бутона цветка видит — будто с «позиций» насекомых — «пеструю посадочную площадку», «нектарную лавку», дверь которой «стояла настежь, и цветная вывеска сулила: *мед в обмен на пыльцу!*». Что уж говорить о насекомых и растениях, когда у Э. Штритматтера одушевлен и *действует* простой валун в одноименном рассказе-очерке. Очерке о передовом трактористе, сказал бы я, если бы валун здесь не вступал почти на равных в поединок с трактористом: «камень делает выдох...», «упорствует», а когда изнемогает, побежденный, вывернутый трактором, когда лежит на обочине, тогда он «щурится на солнце, которого не видал несколько тысячелетий. И вот уже жуки взбираются на валун, спеша сообщить ему, что он вытащен на свет божий и лег у них поперек дороги».

Поистине — целый роман и социально-символического, а еще, может быть, даже натурфилософского смысла!

Ведь и в самом деле «жизнь и времена года — непрерывный процесс, к познанию которого не подберешься с помощью линейки и тетради в клеточку»; ведь и впрямь «издавна есть между созданиями природы отношения, еще не объясненные нами, ибо мы объясняем только то, что может принести нам пользу».

Ребенок и поэт понимают пользу не утилитарно, они способны увидеть (и убедить нас в существовании) *синего* соловья — воплощение мечты, любви, красоты, поэзии. Это вам не «апостолы полезности», «заботливые люди», не останавливающиеся перед вопросом — зачем писатель марает «бесполезными каракулями драгоценную бумагу — ту же валюту?» Это вам не строгие систематики, которым все ясно и потому им остается действовать, как одному бывшему другу Э. Штритматтера: он «собрал и переписал цитаты из двадцати четырех книг и сделал из них двадцать пятую книгу, за которую удостоился титула доктора наук, впрочем, говоря об этом своем друге,— спохватывается писатель,— я не хочу сказать ничего плохого о докторах наук вообще».

Спохвачусь и я... Смеяться над цитатами вместе с обильно цитируемым автором — разве для рецензента это не означает рубить сук, на котором он сам сидит?

Цитировать тексты Э. Штритматтера — одно удовольствие... И там, где он по-пришвински наблюдателен и лиричен,— писатель из ГДР хорошо любит и чувствует русского писателя, открывшего «весну света»... И там, где у Э. Штритматтера мы ощущаем удивительное, по-гейневски парадоксальное, соединение точности не разрушающей, а обогащающей эту точность ироничности («За парком среди лугов текла Эльба, весной она со страстью и яростью вспоминала, что была когда-то первобытным потоком и тогда луга служили ей брачной постелью; а когда кончалось любовное опьянение и Эльба возвращалась к своей жизни матроны, в уплату за ночлег она оставляла на лугах разводья, и из этих разводьев колокольными вскриками звучало кваканье жерлянок»...). Можно было бы еще многое цитировать из Э. Штритматтера в доказательство его умения тонко раскрыть психику ребенка и подростка (ведь существенная сторона «малой прозы» писателя — это лирические «мемуары», «автопортреты» детских и юношеских лет), его умения оперировать исторически и социально емкой деталью (обязательное для эпика умение!), его нешаблонных, мало того, антишаблонных, очень личных и вместе с тем общепоучительных суждений о писательском ремесле (прочтите хотя бы начало «истории о том, почему и как пишут», названной вызывающе парадоксально «Суламифь Мингедо, доктор и вошь»).

Но я не буду больше цитировать, потому что не претендую, в отличие от бывшего друга писателя, на «титул доктора наук». А не претендую потому — признаюсь теперь читателю,—что сам толком не разбираюсь, в каких же это «неустановившихся отношениях» находится «рассказ» с «очерком» и «новеллой» и как с точки зрения «диффузии жанров» понять название веселой, умной и полезной книжки Эрвина Штритматтера «Романы в стенограммах».

Ю. СУРОВЦЕВ

Издано за рубежом

ПО МНЕНИЮ АМЕРИКАНСКИХ КРИТИКОВ...

Рецензии Роберта Тауэрса и Роджера Сейла, перепечатываемые нами из американского журнала «Нью-Йорк ревью оф букс» с небольшими сокращениями, посвящены книгам, ставшим — каждая по-своему — заметным событием в литературной жизни США. Эти книги находятся на разных полюсах и в идейном, и в творческом отношении, и самый факт, что обе они оказались в списках бестселлеров, наглядно свидетельствует о глубокой неоднородности и противоречивости литературного процесса в США. Думается, нашим читателям

будет интересно познакомиться и с тем, как эти противоречия истолковывает американская критика.

Р. Тауэрс, постоянный литературный обозреватель «Нью-Йорк ревью оф букс», анализирует сборник рассказов Джона Чивера — одного из крупнейших мастеров американской реалистической прозы, писателя, которого хорошо знают в нашей стране. Критик Р. Сейл, часто выступающий с полемическими статьями о современной американской прозе, комментирует новый роман Марио Пьюзо, прославившегося «Крестным отцом» — рассчитанным на невзыскательные вкусы романом о мафии, по которому впоследствии режиссером Ф. Копполой был сделан не менее нашумевший фильм.

ИЗЯЩЕСТВО ПОЧЕРКА

The Stories of John Cheever. New York, Alfred A. Knopf, 1979.
Джон Чивер. Рассказы. 1979.

Рассказы Чивера запоминаются отдельными фрагментами, в памяти остаются причудливые персонажи, загадочные происшествия, мимолетные встречи, пассажи, завораживающие своей неповторимой красотой. Но если вы предусмотрительно не приобретали сборники рассказов Чивера по мере их появления, вам не хватает контекста, в котором заиграли бы эти фрагменты. Некоторые новеллы («Песнь факела», «Пловец») постоянно включались и включаются в различные антологии, зато многие другие словно заточены в своеобразную литературную темницу: их с удовольствием вспоминаешь, хочется перечитать, но где их искать — неизвестно. Чивер — из тех художников слова, что помогают по-новому взглянуть на мир, обогащают наше ассоциативное мышление, но чиверовские сборники подчас не отыскать на полках даже, казалось бы, самых укомплектованных библиотек. Успех его романа «Фальконер» все изменил — перед нами пухлый, увесистый том, в который вошел шестьдесят один рассказ. Прекрасный подарок.

Прочитав всю подборку подряд, я изменил свое мнение о Чивере, сложившееся у меня в предыдущие годы. Не иначе как под влиянием его романов Чивер представлялся мне куда большим любителем странного и загадочного, чем это оказалось на самом деле. Из шестнадцати рассказов, представляющихся мне первоклассными (а учитывая общий объем сборника, это не так уж мало), двенадцать написаны пером реалиста, строго соблюдающего все каноны в смысле причинных связей, временной последовательности и жизнеподобия, умело сдерживающего капризы собственной фантазии и авторского произвола.

Хотя Чивер вовсе не считает себя документалистом и ему не нравится, когда его сравнивают с такими «обличителями нравов», как, скажем, покойный Дж. О'Хара, его рассказы имеют отчетливую социальную направленность, и в этом нет ничего плохого. Документально точное изображение того, как мы — или во всяком случае многие из нас — живем, давно стало одной из тех «внештатных» функций литературы вымысла, от которых она только выигрывает, и только уж совсем выжившему из ума теоретику придет в голову осудить ее за это. Чивер не так высокомерен, как Очинклосс, он тоньше и глубже, чем Марканд и бесконечно человечнее, чем О'Хара. Чивер лучше, чем кто бы то ни было, описал мирок, который зажиточные буржуа-протестанты создали в своих ист-сайдовских квартирах, пригородных особняках, на летних дачах Нантакета, в охотничьих домиках Адирондака, на фермах Новой Англии. За годы писательской деятельности Чивера у этих людей заметно поубавилось прислуги, но в остальном этот мир тот же, что и прежде: швейцары, лифтеры, частные школы, уроки верховой езды, яхт-клубы, танцевальные классы, коктейли, а по воскресеньям — церковь.

По-прежнему сохраняя вес в обществе, не соответствующий своему численному составу, представители этой социальной прослойки испытывают все большее разочарование и утрачивают былую уверенность в себе — процесс, весьма интересующий Чивера-писателя. Его безукоризненно воспитанные герои тоскуют (о чем заявляют во всеуслышание) по тому, что один из чиверовских героев назвал «школьными добродетелями»: быть хорошим спортсменом, смелым, ловким, нравственным и великодушным, вместо этого им уготованы алкоголизм, супружеские измены, равнодушие.

В очень трогательном рассказе, который называется «Автобус до Сент-Джеймса», мистер Брюс заезжает за своей дочерью, которая учится ездить верхом. Он разглядывает родителей, которые, как и он, ждут окончания урока, и приходит к выводу, что эти люди, сделанные «из того же куска ткани, что и он», сбиты с толку и растерянны в самой своей основе, слишком эгоцентричны или слишком невезучи, чтобы придерживаться образа жизни, гарантирующего стабильность, как это делали их матери и отцы. Вместо этого они возложили бремя порядка на своих детей, заполнив их жизнь пустыми ритуалами.

Многие из них потеряли у Чивера необходимые финансовые ресурсы для поддержания этого унаследованного (или благоприобретенного) стиля жизни. Герой-рассказчик другой прекрасной новеллы, «Брак», убежден, что они с женой «принадлежат к тому обширному мелкобуржуазному слою, представители которого способны помнить лучшие времена. Деньги настолько прочно въелись в нашу жизнь, что мне порой вспоминаются эмигранты, затратив-

шие массу энергии на то, чтобы пустить корни в чужой почве, но которым нет-нет да и вспоминаются родные берега».

Как и многие его предшественники в XIX веке, Чивер безжалостен в изображении упадка «благородных классов», тех, кто всеми правдами и неправдами стремится не то чтобы преуспеть — хотя бы поддержать видимость благополучия.

Чивер на удивление чуток к ритмам семейной жизни своих героев («Поросенок в колодце», «Сельский муж»), к сложностям отношений между братьями («Прощай, брат мой», «Фермер и лето»), к вопросам, как вести себя с родственниками жены, а также с прислугой, с няньками, наемными работниками и принадлежащими к другому социальному слою соседями, пишет он и о тех, кто разочаровался в родителях.

При всем своем интересе к внешнему слою жизни Чивер никогда не был всего лишь бытописателем. В своем отношении к жизни он скорее напоминает поэта старой лирической закалки. Он говорит в своем предисловии к сборнику: «За всеми этими слегка обветшалыми бытовыми подробностями я ищу нечто постоянное: любовь к свету, моральные основы бытия». Можно, конечно, спорить, насколько Чивер моралист, но его тяга к свету, вера в его всепобеждающую силу сомнений не вызывает. Его рассказы как бы омыты светом, наводнены им, а герои порой кажутся чуть опьяневшими от него, у них самое настоящее «головокружение чувств».

Свет для Чивера — несомненно этическое и даже религиозное понятие. Свет для Чивера — это благословение, это ласковая материнская улыбка, это все неуловимое, чистое, нежное, это лишь на мгновение открывающееся присутствие Творца в его творении. Порой Чивер готов, как жаворонок Шелли, воспарить к источнику света: запоздалый романтик, он простер свои светоносные крылья в безвоздушном пространстве. Иногда лирический импульс делает его трогательно-наивным, но чаще всего Чивер точно фиксирует то, что подсказывает ему зрение и слух. Хотя его «световые» образы прямо-таки ослепляют читателя, не менее яркими и запоминающимися оказываются у него цвета, запахи, «текстура» бытия. С такими мало похожими друг на друга писателями, как Фолкнер и Лоуренс, Чивера сближает удивительный дар передавать точное ощущение мгновения во времени и пространстве — не украшательства ради, а в качестве важнейшего элемента характеристики героев. Вот две молодые женщины, у которых мужья неудачники, в печально-трогательном Центральном парке просиживают до самых сумерек, хвастаясь туманными перспективами, которые якобы открываются перед их мужьями («Клад»). А вот удрученный отец возвращается домой к больному ребенку: «Помещение нельзя было ни убрать, ни проветрить, я шел по холоду от автобуса, и, когда вошел в дом, на меня пахнуло микстурой от кашля, табаком, яблочными огрызками и несвежим постельным бельем» («Брак»). Поэтическое начало чиверовской прозы дает о себе знать именно в таких эпизодах, а не в псевдокрасивых «заключительных фразах», к которым он порой питает слабость.

Внесение в обыденное фантастического — старый прием Чивера, которым он пользовался еще в своих первых рассказах. Удачнее всего этот ход срабатывает в «Исполинском радио», где многоквартирный дом в Саттон-плейс превращается в сварливый улей перебранок и склок с помощью радиоприемника, который транслирует типично чиверовской благополучной супружеской парочке все разговоры жильцов. Быт, повседневность описаны здесь Чивером ничуть не менее тщательно, чем в любом из его «реалистических» рассказов: ссора мужа с женой, когда эпидемия скандалов распространяется на супругов, передана безжалостно и точно — в документальном и в социальном аспектах,— так, словно волшебства никакого не было и в помине. Главные творческие победы Чивер одерживает там, где ему удается найти правильное соотношение между повседневным и фантастическим. К таким удачам следует отнести, помимо знаменитых «Песни факела» и «Пловца», изящно-жутковатый этюд «Учительница музыки», где муж, доведенный до отчаяния вечным беспорядком дома и постоянно пригорающими обедами, по совету соседей обращается к пожилой учительнице музыки. Она дает ему для разучивания музыкальные гаммы, которые «укрощают» неумелую хозяйку, но сама учительница умирает страшной смертью колдуньи. Перечитав эти рассказы, я, однако, пришел к выводу, что в них присутствует некоторая заданность, нарочитость и они все же уступают таким сильным и, при всей своей внешней неброскости, запоминающимся новеллам, как, скажем, «Фермер и лето» и «Автобус до Сент-Джеймса».

Чивер — писатель, недостатки которого удивительным образом являются продолжением его же достоинств. Умение — в творческих целях — отождествлять себя со своими героями-буржуа позволяет ему, с одной стороны, живо и убедительно запечатлеть их образ жизни, их проблемы, но это приводит и к тому, что сужается его социальный кругозор, рождается этакий сентиментальный снобизм, который время от времени дает о себе знать. В отличие от Фолкнера, Сноупсы и Бандрейджи которого выписаны с такой же любовью, что и Компсоны, Чивер испытывает немалые затруднения, когда пытается проникнуть в мысли и чувства тех (обычно это ирландцы-католики), кто обслуживает парадные и лифты многоквартирных домов Ист-Сайда. «Кланси в Вавилонской башне», «Рождество — печальное время для бедняков», «Управляющий» — в этих рассказах Чивер предлагает нам весьма неубедительные и шаблонные образы этих тружеников, сохраняя в то же время присущую ему наблюдательность и понимание в изображении

тех, кто населяет многоквартирные дома и на кого работают эти люди.

Наибольшие же трудности возникают перед писателем, когда он пытается описать мысли и чувства «чужаков», например, в «Клементине», где рассказывается о простой итальянской девушке, приехавшей в Америку, или в позднем рассказе «Артемис, копатель колодцев», в котором он отправляет копателя артезианских скважин в объятия сексуально ненасытной матроны, а потом посылает героя в неправдоподобное путешествие в Россию. В его отношении к подобным персонажам проглядывает снисходительность, и, хотя он им сочувствует, пишет о них малоубедительно.

Снобизм Чивера — впрочем, весьма невинный — заставляет его благоговеть перед светскими дамами-аристократками и особого ущерба не приносит, если не считать, конечно, сентиментальной слепоты, которую проявляет порой обычно такой зоркий писатель. В «Управляющем» нас (и героя-управляющего тоже) заставляют пожалеть некую миссис Бествик, которая носит бриллианты величиной с орех, но, увы, не может себе больше позволить нанимать квартиру, которая переходит от нее к пронырливой и хамоватой выскочке миссис Негус.

Чивер-рассказчик все время на переднем плане. Судя по всему, он никогда не придерживался теории, превратившейся одно время в аксиому у нашей академической критики, смысл которой заключается в том, что автору положено оставаться в тени и не рассказывать, а показывать. Чивер же постоянно на арене, от чего сам получает немалое удовольствие, он выкладывает все, что знает про своих персонажей, властно распоряжается их судьбой и вовсю ими командует, лишь временами милостиво разрешая им перевести дух. О своих персонажах Чивер повествует таким авторитетным тоном, что — в наиболее удавшихся рассказах — читателям и в голову не приходит усомниться в его правоте, но порой он злоупотребляет обобщениями типа «когда мы идем по улице, мы крайне редко оглядываемся и обрачиваемся».

Из таких и из множества других черточек складывается неоднозначный образ Чивера-рассказчика, которого не следует путать с Чивером-человеком, хотя кое в чем они несомненно совпадают. Про первого и впрямь хочется сказать, что «стиль — это человек», что же касается второго, то о нем судить его родным и близким, а впоследствии и биографам. Чивер-рассказчик располагает к себе обаянием, жизнерадостностью, проницательным умом. В своих симпатиях он не всегда постоянен, но всегда сердечен. Он — внимательный хозяин, не позволяющий скучать гостю-читателю, умеющий заинтересовать его, порадовать удачной фразой. Любит он иногда и, как говорится, себя показать, покрасоваться перед читателем. За легким течением его остроумной беседы угадываются, однако, глубокие омуты печали и разочарования. Но он не циник. Не назовешь его и убежденным моралистом. С семьей и обществом в том виде, в котором они существуют, у Чивера нет непреодолимых разногласий. От всех недугов тела и души Чивер рекомендует давно проверенное средство: любовь, любовь, любовь.

Всевластие и всеведение Чивера-рассказчика, проявляющееся в его лучших рассказах в совершенстве формы, порой, как это случается в его поздних новеллах, оборачиваются авторским своеволием и манерностью. Я не в восхищении от романов Чивера об Уопшотах, где эксцентричность слишком часто превращается в самоцель в ущерб развитию сюжета и раскрытию характеров действующих лиц. Нечто похожее происходит и в таких рассказах, как «Перси» и «Драгоценности Кэботов». Они написаны так, словно Чиверу безразлично, поверит ли читатель хотя бы на мгновение в реальность его героев. Здесь торжествует схематизм, а образы — унылo-надуманные. Возможно, слишком много сил ушло в этот период у Чивера на его странные и мрачные романы «Буллет-Парк»[1] и «Фальконер», но в них эксцентричность и разгул авторской фантазии ничуть не мешают созданию убедительных и трогательных историй, которые хотел поведать писатель.

Благодаря этому изданию лучшее из рассказов Чивера снова перед нами. Вновь порадовавшись его маленьким шедеврам, оставим в стороне вещи слабые и неудавшиеся. Количество побед, одержанных Чивером в его нелегком ремесле, достаточно велико, его завоевания убедительны и прочны, и лучшее из созданного им не скоро будет предано забвению — вердикт, звучащий при всей своей справедливости весьма напыщенно в отношении писателя, напыщенностью никогда не отличавшегося.

РОБЕРТ ТАУЭРС

[1] Печатался в «ИЛ» № 7, 8 за 1970 г.

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

Mario Puzo. Fools Die. New York, Putnam's. 1978.

Марио Пьюзо. Умирают дураки. 1978.

Бульварная литература последних лет главным образом занимается подглядыванием: как живет Голливуд, что поделывают эстрадные знаменитости, пилоты авиалайнеров, политиканы-жулики, она напичкана наркотиками, затейливой эротикой, насилием — таким привычным и само собой разумеющимся. «Крестный отец» Марио Пьюзо, выходивший за последние пять лет тиражом, каким не издавалась даже Библия, дал возможность познакомиться с мафией — предмет,

в своем роде достойный изображения. Большинство читавших этот роман соглашались, что, мол, написан он, конечно, прескверно, но во всяком случае читателя за нос в нем не водят: жизнь мафии описана убедительно, если не сказать достоверно. У того, кто раскроет новый роман Марио Пьюзо «Умирают дураки», может создаться впечатление, что его ждет нечто в этом же роде.

Вот мы в Лас-Вегасе, в мире, обладающем для любопытствующих поистине притягательной силой. «Джордан выиграл двадцать четыре раза подряд — невозмутимо и бесстрастно. После его восьмой победы вокруг стола, где играли в баккара, собралась толпа, участники же, забыв об осторожности, шли ва-банк. После десятого круга крупье в будке нагнулся и извлек специальные фишки по 500 долларов. Они были красивы: кремовые с золотыми ободками.

Прижавшись к стене, Калли следил за игрой, Диана была рядом. Джордан помахал им рукой. Вдруг он почувствовал, что волнуется. Он выиграл в тринадцатый раз, и на другом конце стола один из игроков — он был из Южной Америки — крикнул: «Маэстро!» После этого за столом все сразу притихли, а Джордан продолжал побеждать».

В таком стиле пишут киносценаристы, так что, если дело дойдет до экранизации, у Пьюзо — или у того, кто его заменит в этой функции,— вряд ли будет много хлопот.

Позволить своему персонажу одержать двадцать четыре победы подряд, дав ему тем самым заработать за одну ночь 400 000 долларов, потом заставить его проследовать к себе в номер и застрелиться — сюжетный прием, выдержанный в лучших традициях бульварной литературы. Пьюзо еще вернется в Лас-Вегас и подробнейшим образом растолкует нам, что представляет собой гигантский отель, он же игорный дом, как выявляют шулеров и как отличить авантюриста-профессионала от жалких любителей.

«В глазах Гронвельта настоящий авантюрист должен быть человечным, способным на сочувствие. Авантюрист высокого класса должен искренне любить свое ремесло. Он щедр, готов бескорыстно помогать, он хороший товарищ...»

Ни дать ни взять Хемингуэй, описывающий своих матадоров,— только Пьюзо описывает своих героев страшно многословно и утомительно.

Но Пьюзо быстро надоедают и Лас-Вегас и авантюристы. Ему вообще все быстро надоедает. Свобода композиции и фабульная непоследовательность таят в себе определенные преимущества для мастера бульварного жанра: чтобы заинтересовать читателя, не надо кропотливо воссоздавать целое полотно, достаточно несколькими штрихами дать фон, сделать несколько моментальных снимков и ринуться дальше: представить писателя, подозрительно похожего на Нормана Мейлера; а другого писателя, рангом пониже, отправить на заработки в Голливуд с тем, чтобы читатели имели возможность ужаснуться тамошним нравам; другого героя откомандировать в Японию и оттуда «угнать» в Гонконг; познакомить нас с неким импресарио из штата Теннесси, который задумал оскопить юного исполнителя религиозных гимнов, дабы сохранить от изменений приносящий доходы голос последнего, и так далее. Если я обнаружил в романе писателя — вылитого Нормана Мейлера, актера, смахивающего на Марлона Брандо, режиссера, весьма похожего на Копполу, кинокритика, напоминающего Полин Кел, то не исключено, что другие читатели могут пополнить этот список.

Все это, по-моему, дает представление о том, что за книгу написал Марио Пьюзо и почему это событие не литературное, а коммерческое. Впрочем, было бы несправедливо ограничиться подобным определением, ибо у автора романа «Умирают дураки» были, судя по всему, более честолюбивые намерения. Впервые это становится очевидным, когда Пьюзо расстается с Лас-Вегасом и когда оказывается, что фабулы как таковой нет и не предвидится. Вскоре убеждаешься, что персонажи романа — не столько марионетки, сколько не сумевшие реализовать себя люди, о чем Пьюзо и собирался как можно яснее сказать, да не смог — таланта не хватило. После эпизода в Лас-Вегасе начинается длинный рассказ про персонажа по имени Джон Мерлин, который убежден, что он, как и сказочный Мерлин, обладает волшебным даром, на самом же деле он простой смертный, писатель,— впрочем, о чем он пишет, узнать читателю не дано. Мерлин — гражданский служащий военного ведомства, любящий отец и муж, персонаж, на которого Пьюзо не жалеет в своем романе словесного пространства. Работает ли Мерлин на писателя, похожего на Мейлера (который у Пьюзо издает ведущий американский литературно-критический журнал), трудится ли в Голливуде (после того, как его второй роман становится бестселлером), Мерлин всегда мрачнее тучи и наводит на читателя тоску. Вот здесь-то и оказывается, что в бульварный роман проникает нечто, этому жанру вовсе не присущее,— роман автобиографический.

Не берусь судить, случалось ли с Марио Пьюзо что-либо из того, что приключилось в романе с Мерлином,— не в этом дело. Рыхлость и аморфность романа «Умирают дураки» проистекают из «серьезности» намерений автора; если б не это, роман получился бы куда более ладным и стройным, характеры не столь расплывчатыми, а все неясности — устраненными. Взять хотя бы возникающего через каждые сто страниц Арти, брата Мерлина и его единственного родственника — братья осиротели еще в раннем возрасте. Арти — человек добропорядочный, супруге не изменяет и честно трудится в не очень честном Управлении пищевых продуктов и медикаментов. Когда Арти умирает, Мерлин сетует на то, что его, Мерлина, волшебные силы, видать, слабеют. Попробуй Пьюзо обойтись без Арти,

роман от этого ничего бы не потерял. И опять-таки если б Пьюзо не хотел написать «серьезный» роман, я уверен, что Арти ему бы не понадобился.

Столь же необязательна и Диана, с помощью которой заманивают за карточный стол «клиентов» и которая появляется в начале романа,— подруга победителя-самоубийцы Джордана, Мерлина и еще одного персонажа — настоящего авантюриста. Потом она бесследно исчезает, но никому из действующих лиц и в голову не приходит полюбопытствовать, что же с ней сталось. Или же нам вдруг ни с того, ни с сего сообщают, что Мерлин берет взятки у тех, кто, чтобы избавиться от двухгодичной службы в армии, хочет записаться в резервисты, для которых срок действительной службы равен шести месяцам. Это мелкое лихоимство Мерлина с художественной точки зрения интереса не представляет и кажется совершенно не мотивированным. Просто морально безупречный герой вдруг становится морально ущербным и грубит чаще — только и всего. Когда Мерлина ловят с поличным, его приятель-авантюрист находит лжесвидетеля, чтобы дать Мерлину возможность уйти с миром в отставку и посвятить себя литературной деятельности.

Все эти события не обусловлены художественной логикой, а посему их включение автором в роман может вызвать у читателя удивление и заставить его заподозрить, что кое-что из описанного в том или ином виде приключилось с самим Пьюзо. Написать об этом художественно Пьюзо не сумел по причине отсутствия соответствующего дарования, однако, судя по всему, Пьюзо отнюдь не собирался изготовить бульварный роман, но о «серьезности» авторских устремлений говорят как раз самые слабые и с точки зрения сюжета ненужные места книги. Голливудские эпизоды сделаны до смешного топорно, но и они по-своему необходимы автору. Мерлин работает над сценарием дешевого фильма для кинокомпании, постоянно пользующейся услугами юристов, чтобы держать в ежовых рукавицах сценаристов, актеров и режиссеров, которые пытаются сделать нечто, имеющее хоть какое-то отношение к искусству, или осмеливаются хоть на доллар превысить смету. На сценарии такого рода уходит, как правило, дней десять, Мерлин же трудится над ним чуть ли не год, то и дело курсируя между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Похоже, что хотя Пьюзо не собирался открыто писать о своей работе над экранизацией «Крестного отца», он не смог удержаться, чтобы не сказать об этом, пусть в завуалированной форме.

В Голливуд Мерлина влечет не только необходимость работать над сценарием: после десяти лет безупречной супружеской жизни он завел роман с актрисой Дженнел. Что же касается законной супруги Мерлина, то она задвинута Пьюзо куда-то на периферию романа, так что порой не верится, что она реально существует. Впрочем, насколько реальна Дженнел — тоже большой вопрос, достаточно прочитать, как описывает ее Пьюзо: «У нее было крупное, скуластое лицо с прекрасной белоснежной кожей, которая, казалось, не нуждалась в косметике. Глаза у нее были то беззащитные, как у ребенка, то печальные, как у героини Дюма». Трудно сказать, так ли описывал Дюма своих героинь или автор что-то напутал.

Пьюзо относится к Дженнел как, пожалуй, ни к кому из героев романа — на полном серьезе. Хотя ее главная функция — оживить эротические эпизоды романа, она еще и совершает доброе дело: соблазнив юного певца из Теннесси, она тем самым спасает его от угрожавшего ему оскопления. Пытаясь создать ее портрет, Пьюзо израсходовал двести страниц. Циничный мастер бульварного жанра вряд ли стал бы так долго возиться со своей героиней.

Продираясь сквозь словесные дебри романа «Умирают дураки», я не раз спрашивал себя, неужели найдутся люди, которые получат удовольствие от этой унылой серятины. Книгу, конечно, раскупят — из-за славы «Крестного отца» в первую очередь, но ведь и «Сильмарильон», помнится, в свое время значился в списке бестселлеров, однако мало кто нашел силы дочитать его до конца. Считает ли сам Пьюзо, что написал хороший роман? Думаю что нет, хотя явно намеревался. Изготовив коммерческую поделку, он, конечно, мечтал создать произведение искусства: репортажи-подглядывания сочетаются у него с фрагментами, повествующими (весьма невнятно) о внутренней жизни героя, в которых, кажется, присутствуют элементы личного опыта его создателя. Пьюзо даже строит повествование в одной части книги от первого, а в другой от третьего лица, словно желая отделить «бульварное» начало от «художественного», но границу провести не так-то просто. Все дураки в романе умирают, но Мерлин остается жить, мучительно сознавая, как мало для него значит жизнь, сколь немногое в ней его радует. Можно понять его жену, когда она говорит, что чувствует себя гораздо спокойнее, когда он отсутствует. Трудно сказать, насколько в образе Мерлина отразился сам Марио Пьюзо, человек замкнутый и малообщительный, прославившийся благодаря своему бестселлеру, а теперь мечтающий преодолеть одиночество и стать достойным представителем семьи человеческой, написав настоящий роман.

«Пепел, пепел, пепел... Я плакал так, как не плакал, когда потерял отца и мать, когда любил безответно, когда рушились надежды. Во всяком случае, у меня хватило порядочности ощутить боль, когда умер он».

Это плохая проза, но здесь мы имеем дело не с привычной литературной халтурой. Мерлин — а, может быть, вместе с ним и Пьюзо — и в самом деле хотел поведать о том, как он несчастен, но его признания на редкость косноязычны. В результате получился роман-монстр.

РОДЖЕР СЕЙЛ

◆

Из месяца в месяц

АЛЖИР

Фильм «Нахля», поставленный режиссером Фаруком Белуфа, рассказывает о судьбе молодой певицы, ставшей жертвой мифа, созданного вокруг ее имени буржуазной прессой. Действие фильма происходит в 1975 году в столице Ливана Бейруте. Бурные события потрясают город, война еще не началась, но она вот-вот вспыхнет. На этом трагическом фоне целая армия журналистов, искушенных в искусстве рекламы, пытается создать беспечальный образ молодой певицы с ее жизнерадостными песенками, уводящими от трагических проблем и событий, которыми живет страна. После встречи с прогрессивными журналистами Нахля поймет это, она переживет тяжкий творческий кризис, но не найдет в себе сил вывести песню на улицу и, душевно сломленная и опустошенная, покинет страну. В роли Нахли выступила талантливая актриса Ясмина Хлат (на фото), получившая приз на XI Московском международном фестивале за лучшее исполнение женской роли.

(«Кинобюллетень»)

БОЛГАРИЯ

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

Традиционный, уже двадцатый, праздник поэзии состоялся в Благоевграде. Он был посвящен широко отмечавшемуся 70-летию замечательного поэта и революционера Николы Йонкова Вапцарова, и потому местом его проведения избран родной край поэта.

«Наша поэзия,— сказал в выступлении на торжественном вечере председатель Союза болгарских писателей академик Пантелей Зарев,— следует заветам Вапцарова, продолжает его патриотические и интернациональные традиции, и сегодня, когда мы строим социализм, она воплощает мечты и надежды людей труда и помогает народу в историческом деле построения лучшего мира».

В празднике приняли участие многие известные болгарские поэты, родные и близкие Николы Вапцарова, зарубежные гости.

По традиции в канун праздника вышел в свет специальный поэтический сборник «Поэзия-79». Он состоит из трех разделов. В первый, озаглавленный «Величие», включены стихи, посвященные Николе Вапцарову,— его сверстников и друзей, а также молодых поэтов, для которых Вапцаров — история.

Во втором разделе — «Антология» — собраны новые, разнообразные по тематике и стилю стихотворения современных болгарских поэтов всех поколений.

Третий раздел — «Имп
пульс» — отведен произведениям молодых и даже начинающих авторов.

Конечно, отмечает еженедельник «Литературен фронт», «один сборник не может передать всей полноты и богатства сегодняшней нашей поэзии, но он представляет собой итог, зовущий к дальнейшим поискам».

За лучшие стихотворения сборника были присуждены премии, лауреатами которых стали Дора Габе, Евтим Евтимов и Калин Донков. Премии за все творчество в целом был удостоен народный деятель культуры, Герой Социалистического Труда Венко Марковский.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«РЕАЛИСТЫ» Ч. П. СНОУ

В издательстве «Макмиллан» вышла новая критическая работа Чарльза Перси Сноу «Реалисты: портреты восьми романистов». Это сборник эссе, в котором Сноу разбирает творчество Л. Толстого, Достоевского, Стендаля, Пруста, Диккенса, Бальзака, Генри Джеймса и Гальдоса. Все эссе Сноу, отмечает рецензент журнала «Букс энд букмен» К. Базаров, отличает не только превосходное знание предмета исследования, но и занимательность изложения, что делает их доступными широкому кругу читателей. Большое внимание Сноу уделяет описанию частной жизни восьми великих реалистов. По мнению критика, наиболее интересным и познавательным для английского читателя будет эссе о Гальдосе, творчество которого еще недостаточно известно в Великобритании. Виртуозно по замыслу и исполнению эссе о Достоевском — лучшее, как отмечает рецензент, в сборнике.

ВЕНГРИЯ

ЕЩЕ ОДНО ПОХОЖДЕНИЕ ДОКТОРА ФАУСТА

Писатель Ласло Дюрко широко известен в Венгрии как прозаик, драматург, публицист, режиссер, директор Народного театра, общественный деятель.

С большим интересом был встречен литературной общественностью новый роман Ласло Дюрко «Счастливые похождения доктора Фауста в аду». Газета «Мадьяр немзет» писала: «После длительного перерыва вышел новый роман Ласло Дюрко, и уже один факт появления художественного произведения этого писателя должен обрадовать читателей».

Как и в прежних своих драмах и постановках — «Электра», «Каменщик Келемен», романе «Современные похождения Дон Кихота»,— Дюрко обратился к историко-литературному сюжету, в данном случае к известной легенде о докторе Фаусте, чтобы художественно осмыслить его с позиций сегодняшнего дня, с позиций социалистической действительности.

Главный герой романа Дердь Сабадош — вначале журналист, потом директор типографии, затем председатель районного совета: казалось бы, ничего необычного в его судьбе нет. Но характер этого человека сложен.

Автор романа рисует жизнь своего героя на протяжении более тридцати лет — с 1944-го по 1977 год, подвергает его различным испытаниям, как бы экзаменует его на идеологическую прочность.

Роман написан от первого лица, что придает произведению особую достоверность. Но в то же время от первого лица говорит в романе как бы сам дух революции, самосознание человечества, воплощенные в образе главного героя — Дердя Сабадоша.

Эту книгу критик Жолт Кёхати сравнивает с известным романом Эндре Фейеша «Кладбище ржавчины». Но если в центре романа Эндре Фейеша были представители рабочего класса, то в центре романа Ласло Дюрко находятся представители интеллигенции, позиция и поведение которых особенно ярко проявляются в решающие моменты венгерской истории.

В газете подчеркивается, что новый роман Ласло Дюрко «Счастливые похождения доктора Фауста в аду» будет особенно интересен и поучителен для молодежи.

Известный венгерский критик Миклош Алмаши в большой статье на страницах газеты «Непсабадшаг» называет книгу Ласло Дюр-

На снимке: в роли Дердя Сабадоша — популярный актер Тибор Бичкен, в роли Кати — актриса Каталин Гомбош.

(Журнал «Фильм, синхоз, мюжика»)

ко «хорошим, но не простым для чтения романом: в нем соединены вместе документ и вымысел, семейный роман и монодрама, исторические заметки и публицистическая проза».

Об актуальности и значимости романа говорит и тот факт, что к нему уже обратились работники венгерского телевидения и в популярной передаче «Открытая книга» готовят сейчас инсценировку этого произведения.

ГДР

ПЕТЕР ЭДЕЛЬ ВСПОМИНАЕТ

К 30-летнему юбилею ГДР вышел в свет двухтомный автобиографический труд писателя, публициста, общественного деятеля Петера Эделя «Если дело идет о жизни». Название это подсказано последним романом Г. Канта «Остановка в пути». Эдель цитирует слова польского поручика, обращенные к главному герою кантовского романа: «Не надо разве, если дело идет о жизни людей, совершенно точно узнать, совершенно точно рассмотреть, совершенно точно расслышать, совершенно точно подумать?»

Петер Эдель (год рождения 1921-й) хочет поделиться своим жизненным опытом с младшими современниками: ему и в самом деле есть что рассказать. Его дед Эдмунд Эдель, известный в свое время художник, постарался приобщить внука к искусству. Мальчика рано начали учить рисовать. Но в дни гитлеровской диктатуры ему пришлось отказаться от рисования. Подобно другим подросткам «неарийского» происхождения, родители которых не сумели вовремя эмигрировать, он был вынужден отбывать трудовую повинность на военном заводе. Двадцатилетним юношей Петер Эдель вместе с молодой женой Эстер включились в подпольную антифашистскую работу — вскоре оба были арестованы, Эстер погибла. Петер Эдель побывал в пяти концлагерях: Гроссбеерене, Освенциме, Заксенхаузене, Маутхаузене, Эбензее. Всюду он старался рисовать и прятать свои рисунки, сумел вынести их на волю. Теперь оригиналы этих рисунков — портреты товарищей по заключению: немцев, русских, поляков, сцены лагерной жизни — находятся в экспозиции антифашистских мемориалов и музеев в ГДР и Австрии.

С живой теплотой и благодарностью вспоминает Эдель о людях, которые морально поддержали его на разных этапах его трудной молодости,— и великая художница Кете Кольвиц, которая старалась как могла помочь преследуемым коллегам и их семьям, и Юлиус Фучик, с которым Эдель встретился в пересыльной тюрьме незадолго до его казни. Гитлеровские концлагеря представлены в мемуарах Эделя подчас в неожиданных ракурсах — он рассказывает, например, о строго законспирированной мастерской, где заключенные художники, чертежники, печатники должны были по приказу фашистских властей изготовлять фальшивые английские банкноты, предназначенные стать оружием «психологической войны»... После краха гитлеровского режима Петер Эдель выступал на Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля обвинения, а в последующие годы целиком посвятил себя делу борьбы с неонацизмом в разных его обличьях. В 1969 году вышел, а вслед за тем и был экранизирован его антифашистский роман «Картины свидетеля Шатмана». Новая книга Петера Эделя основана на документах, но написана ярко и эмоционально — плавный ход воспоминаний подчас прерывается прямым разговором автора с читателями, призывами к молодежи: беречь завоевания социализма.

НА ЭКРАНЕ—ХРОНИКА ОДНОЙ СЕМЬИ

Писатель Герхард Бенгш около десяти лет назад создал телевизионный фильм «Крупп и Краузе», хорошо принятый зрителями. Этот фильм отразил шестидесятилетний период истории Германии. Недавно телевидение Германской Демократической Республики показало новую работу писателя, посвященную тридцатилетию Республики,— фильм в пяти сериях «Длинная улица». Бенгш и на этот раз берет большой отрезок времени — он рассказывает историю семьи Хольман начиная с 1949 года и доводит рассказ до наших дней. В центре — фигура Михеля Хольмана, дорожного рабочего, для которого смысл жизни — семья, личное благополучие. С большим тактом, в сдержанных тонах показывает Герхард Бенгш эволюцию этого сложного человека, иногда наивного, иногда

На снимке: Альфред Мюллер и Регина Хайнтце в телевизионном фильме «Длинная улица».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

слишком скептически настроенного, одновременно простодушного и хитрого, практичного и мечтательного. Бенгш показывает зрителям жену и детей Михеля Хольмана, его друзей, товарищей по работе. Характеры этих людей развиваются на фоне важнейших событий тридцатилетней истории Германской Демократической Республики. Как отмечает рецензент газеты «Нойес Дойчланд», «герои фильма даны убедительно и правдиво, они близки сегодняшнему зрителю».

«Герхарду Бенгшу вместе с режиссерами Кристианом Штайнке и Петером Веквертом, исполнителем главной роли Альфредом Мюллером и всем слаженным, хорошим коллективом удалось создать интересный, значительный фильм, который заставит зрителей о многом подумать,— пишет газета «Берлинер цайтунг».

На снимке: исполнители главных ролей Амоль Палекар и Шридэви в фильме «Шестнадцатая весна».

(Газета «Джан юг»)

ИНДИЯ

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА

Как сообщает газета «Джан юг», на экранах индийской столицы с успехом демонстрируется новый полнометражный художественный фильм «Шестнадцатая весна» (продюсер — Анджанеюлу, режиссер — Бхаратхи Раджа). Это фильм о чистоте и благородстве простых людей — о безоблачной, полной радужных грез юности, впервые сталкивающейся с обманом и подлостью, и о бескорыстной преданности изгоя, без колебаний встающего на защиту поруганной чести любимой женщины.

«Картина «Шестнадцатая весна»,—пишет рецензент,— несомненно, создана в стороне от проторенной колеи коммерческих фильмов хинди, заполнивших индийский экран».

Рецензент особо отмечает великолепную игру исполнителей главных ролей в фильме — молодой актрисы Шридэви и артиста Амоля Палекара. «Шестнадцатая весна» — второй «взрослый» фильм с участием Шридэви, до этого она несколько раз снималась в детских картинах. Рецензент высоко оценивает исполнительское мастерство молодой актрисы и прочит ей большое будущее, считая ее восходящей звездой индийского кинематографа. «Уроженка Южной Индии, Шридэви произвела подлинный фурор в кинематографическом мире хинди,— пишет в этой связи рецензент.— Своей блистательной игрой Шридэви создала полный жизни и обаяния образ шестнадцатилетней девушки, переступающей порог юности».

Проникновенную музыку, звучащую в фильме «Шестнадцатая весна», написал композитор Джаядэв.

ИСПАНИЯ

ИНТЕРВЬЮ С ХОРХЕ ГИЛЬЕНОМ

Хуан де Дьос Мельядо, корреспондент испанского журнала «Камбио-16», встретился в Малаге с мэтром испанской поэзии, одним из старейших представителей «Поколения 27 года» Хорхе Гильеном, возвратившимся на родину после долгих лет эмиграции.

В свои 86 лет Хорхе Гильен, как никогда, любит жизнь и каждый день садится за письменный стол, обдумывая что-то новое для своего поэтического сборника «Финал». Этот сборник призван стать своего рода завершающим трудом его шестидесятилетней жизни в литературе.

«В 20-е годы,— вспоминает поэт,— нас считали людьми странными, мы были разными, но все одинаково были увлечены поиском подлинной Испании. Нас было десятеро, и у нас было четыре слова, отражавшие суть нашего творчества: подлинность, свобода, уважение и верность дружбе...»

Хорхе Гильен никогда не изменял этой своей студенческой клятве. Свои принципы он отстаивал до конца: «После победы Франко я уехал, потому что не мог вынести диктатуры. Мне говорили, что это пройдет, убеждали, чтобы я остался, но у меня было предчувствие, что это продлится долго...

Несмотря на диктатуру, многие все же остались. И писали. Думаю, что сейчас настала пора привести в порядок все то, что было написано нашим поколением, включая и гениального Мигеля Эрнандеса. Пусть все знают, что, несмотря на все попытки убить творчество интеллигентов-демократов, фашизм не достиг своих целей...»

Книга, над которой Хорхе Гильен сейчас работает,— это раздумья человека, исполненного надежды: «Если я не надеюсь, значит, я умираю. Наверное, поэтому моя последняя книга — книга надежды. Мне никогда не нравилось акцентировать внимание на себе. Я всегда обращаюсь к другим и пишу для других. Я обращаюсь к окружающему меня миру, людям, что и найдет отражение в моем сборнике «Финал».

ИТАЛИЯ

СЕЗОН ПРЕМИЙ

В Италии состоялось присуждение ежегодных литературных премий. Газеты подчеркивают, что оно сопровождалось борьбой различных литературных групп

и нескольких крупных издательств, имевших своих «фаворитов». Критике со стороны левой печати подверглось решение жюри премии «Виареджо» — одной из самых крупных литературных премий в Италии,— присудившего эту премию писателю Джорджо Манганелли за роман «Сотня». Признавая богатство выдумки, остроумие и огромную эрудицию автора, некоторые критики указывают, что роман этот далек от жизни и представляет собой «игру ума», в нем содержится множество сюжетов, которые не получили развития, а лишь намечены автором, а потом и вовсе отброшены.

Главным конкурентом романа «Сотня» был роман писательницы Люче Д'Эрамо «Отклонение», традиционный по форме и реалистический, в котором повествуется о драматической судьбе молодой итальянки, ослепленной демагогической фашистской пропагандой в годы второй мировой войны.

Специальная премия председателя жюри конкурса «Виареджо» по его решению (этот пост в течение многих лет занимает старейший писатель Италии Леонида Репачи) вручена известной итальянской журналистке и писательнице Ориане Фаллачи за ее книгу «Человек». Смелые репортажи Орианы Фаллачи на самые острые, не только итальянские, но и внешнеполитические темы принесли ей мировую известность. Ее новая книга посвящена героической жизни и трагической гибели в 1976 году греческого патриота и видного демократического деятеля А. Панагулиса. С Панагулисом писательница была близка последние годы его жизни, с тех пор как он приехал в качестве политического эмигранта в Италию. По форме эта книга — романизированная биография, но многие критики считают, что это скорее политический роман. Фаллачи писала книгу три года, изучила множество документов, связанных с деятельностью Панагулиса. Учитывая известность как героя книги, так и автора, а также широкую рекламу, предшествующую ее выходу, газеты полагают, что биографический роман Фаллачи станет бестселлером не только в Италии, но и за рубежом.

Международная премия «Виареджо-Версилия» присуждена писателю и поэту Данило Дольчи за последний сборник его стихов и за все его творчество в целом.

Литературная премия «Прато», обычно присуждаемая произведениям на темы Сопротивления и антифашистской борьбы, в этом году вручена писателю Ферруччо Уливи за роман «Чистые руки».

Другой важной литературной премии — «Стрега» — удостоен роман Примо Леви «Монтажный ключ». Это роман на рабочую тему. Его герой — пьемонтский рабочий Фауссоне, высококвалифицированный монтажник, используемый на самых ответственных работах по монтажу, требующих большого опыта и умения. Его инструмент — сложный монтажный ключ, так называемый «звездный». Этот точный и чувствительный инструмент — символ любовного и ответственного отношения Фауссоне к своему труду.

НИКАРАГУА

«КИНОКАМЕРА И ВИНТОВКА»

Так озаглавлена опубликованная в кубинской газете «Гранма» статья, посвященная проблемам развития никарагуанской кинематографии. «До последнего времени в Никарагуа не было отечественной кинопромышленности. Кинокомпания «Продусине», бывшая верной служанкой диктатора А. Сомосы, существовала на средства иностранного капитала. Деятельность недавно созданного Института никарагуанской кинематографии имени А. Сандино явится решающим фактором в становлении национального киноискусства в этой стране»,— отмечает корреспондент газеты.

«Кинокамера — наше оружие» — этот девиз не случайно сегодня объединяет кинематографистов Института. «Слова девиза,— подчеркивает корреспондент,— это не просто метафора, но и признание неотделимости задач киноискусства от великих целей никарагуанской революции». И отнюдь не случайно Институту присво-

На снимке: никарагуанские кинематографисты-сандинисты во время съемок на Южном фронте. Слева направо: Рамиро Лакайо, Альваро Хименес, Адриан Караско и Эмилио Родригес.

(Газета «Гранма»)

ено имя национального героя Никарагуа А. Сандино. Ныне «неоценимым достоянием юной никарагуанской кинематографии», по словам корреспондента, является документальная кинолента, отснятая кинематографистами — бойцами Фронта национального освобождения имени Сандино в пекле кровопролитных сражений в апреле 1979 года на Южном фронте и являющаяся ныне свидетельством рождения никарагуанского киноискусства в горниле национально-освободительной борьбы.

«Мы убеждены,— заключает «Гранма»,— что никарагуанский кинематограф будет развиваться в русле нового латиноамериканского кино, обратившегося к злободневным политическим и социальным проблемам, и обогатит это направление».

ПОЛЬША

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЯРОСЛАВУ ИВАШКЕВИЧУ

По случаю 35-летия газеты «Жице Варшавы» была учреждена Почетная грамота для авторов газеты. Первую грамоту в истории газеты получил Ярослав Ивашкевич.

15 октября 1944 года в освобожденном районе Варшавы, Праге, под обстрелом гитлеровской артиллерии вышел первый номер «Жице Варшавы». Первые номера печатались на оберточной бумаге, на примитивных печатных машинах.

Ярослав Ивашкевич, выражая благодарность за награду, сказал: «Когда 35 лет тому назад я приехал в разрушенную до основания Варшаву, я увидел человека, стоящего среди развалин, это был Вех. (Стефан Вехецкий, автор широко популярных фельетонов о Варшаве.)

— Что я должен делать? — спросил он у меня.

— А кто вы?

— Журналист.

— Вот и пишите. Люди нуждаются в этом. Я тоже пишу, потому что это нужно людям».

В течение многих лет Ярослав Ивашкевич ведет в «Жице Варшавы» рубрику «Беседы о книгах», получившую широкое читательское признание.

ПРЕМИИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

По случаю Международного года ребенка присуждены ежегодные премии Председателя Совета Министров за художественное творчество для детей и юношества. Премии, как отмечает газета «Жице Варшавы», свидетельствуют об огромном значении, которое придается этому творчеству, об уважении к деятелям культуры и признании их заслуг.

Премии нынешнего года присуждены: Ванде Жулкевской за все творчество в целом, ее лучшим произведением признана книга «Волшебник» о Януше Корчаке; Тадеушу Кубяку, Станиславу Бискупскому, Рышарду Лисковскому, Збигневу Ненацкому, Клементине Солонович-Ольбрыхской, Ядвиге Хамец, автору книг о выдающихся представителях польской истории и культуры.

В Варшаве состоялось вручение харцерских литературных премий за 1979 год.

Премию за книги для детей младшего возраста получил Ян Эдвард Кухарский, автор «Варшавян»; за книгу для детей среднего и старшего возраста «Длинный урок» премию получила Эва Островская.

Специальная премия Главного штаба Союза польских харцеров присуждена Северине Шмаглевской за книгу «Новый след черных ступней».

В варшавской Национальной библиотеке была открыта выставка «Польская книга для детей и юношества в 1918—1978 годах».

Режиссер фильма «Кинолюбитель», получившего на XI Международном кинофестивале золотую медаль, Ежи Кесьлёвский пришел в художественный кинематограф из документального кино, где проявил себя как зрелый мастер. Фильм «Кинолюбитель» рассказывает о скромном агенте по снабжению Филипе Моше, который стал кинолюбителем сначала «для себя», но, познав могучую силу киноискусства, понял, что его «любительство» превратилось для него в призвание. Роль Филиппа Моша, как отмечает журнал «Фильм», с блеском сыграл молодой актер Ежи Штур.
На снимке: Ежи Штур в роли Филипа Моша.

(Журнал «Фильм»)

США

ИСКАЛЕЧЕННЫЕ ДУШИ

Критика широко откликнулась на появление романа Сьюзен Ричардс Шрив «Дети сильных». В центре произведения, действие которого развертывается в Вашингтоне четверть века назад,— группа подростков, чьи отцы занимают видные должности в правительственном аппарате США. Все эти конгрессмены и министры сделали карьеру во времена «холодной войны» и «охоты за ведьмами», активно участвуя в антикоммунистической кампании, возглавляемой сенатором Маккарти. Звезда сенатора уже закатывается: в романе он показан жалким, спившимся человеком, которого преследуют запоздалые угрызения совести. Однако дух маккартизма по-прежнему отравляет американскую жизнь.

Писательница стремится показать, как эта нездоровая атмосфера растлевает ее юных героев. На первый взгляд это обычные подростки — они тянутся к романтике и приключениям, остро переживают первую любовь и первые неудачи. Но предоставленные самим себе — отцы перегружены работой, у матерей времени предостаточно для всего, кроме воспитания своих детей,— герои Шрив быстро перенимают те нравы, с которыми они постоянно сталкиваются в окружающей их среде. Эти «дети сильных» воспринимают себя как особую касту избранных, и они отличаются нетерпимостью, порой даже бесчеловечностью по отношению к каждому, кто не принадлежит к их кругу.

В школе, которую они посещают, герои Шрив образовали замкнутую группу, своего рода бюрократическую элиту, провокациями и угрозами заставляя других учащихся подчиняться своему диктату. А когда один из «сильных» отцов находит в себе мужество выступить против насаждаемой в стране всеобщей подозрительности и жестокости, его дочь, прежде входившую в кружок «избранников», былые друзья подвергают издевательствам и преследованиям, едва не приведшим к трагической развязке.

Сьюзен Шрив удалось тонко и достоверно передать опустошительное воздействие маккартизма на сознание юных американцев, вступавших тогда в жизнь. Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» Л. Макмерти пишет, что «Дети сильных» — самое заметное из многочисленных произведений последнего времени, посвященных временам «холодной войны», чье духовное наследие дает себя почувствовать в США по сей день.

ФРАНЦИЯ

«ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ, ГОДЫ 1950—1975»

Так называется антология, составленная поэтом Аленом Боске (издательство «Диферанс», 544 стр.). Им же написаны небольшие вступительные статьи о каждом поэте. В антологию вошли стихотворения ста сорока поэтов Франции, а также франкоязычной Европы, Канады и некоторых других стран. Стремясь осветить связь поэзии 1950—1975 годов с предшествующим периодом, Ален Боске посвятил несколько страниц книги «вдохновителям современной поэзии»: Сен-Жон Персу, Арагону, Мишо, Кено, Гильвику и некоторым другим. Критики отмечают, что среди этих имен не хватает Тзара, Лейриса, Шара. Представлен и ряд поэтов следующего после них поколения, несомненно повлиявшего на поэзию последней четверти века,— например, Френо, Кланьсье, Мелик, но отсутствуют Марсенак, Тортель, Виан, Сезер, Глиссан. Большая часть антологии посвящена поэтам, определившимся как сильные творческие индивидуальности в 50-е годы. Среди них есть имена, знакомые советскому читателю по последним переводам: Рубо, Добжинский, Варгафтиг («ИЛ» № 1, 1979). Лишь сделав выбор из нескольких тысяч произведений, А. Боске смог создать свою поэтическую панораму. Разделив ее на тринадцать рубрик, составитель представил в каждой из них поэтов, которых характеризует ряд общих черт, например: «поэты многозначности», «поэты иносказания», «поэты нового барокко», «поэты абсурда», «поэты борьбы», «поэты контестации». Такая классификация многим критикам кажется спорной. Лионель Рей в «Юманите» тем не менее признает, что А. Боске удалось внести некоторую упорядоченность в сложную картину современной французской поэзии.

ФРГ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ ГЮНТЕРА ЗОЙРЕНА

Гюнтер Зойрен приобрел широкую известность к середине 60-х годов как один из ярких представителей западногерманского «нового романа» (о его романе «Лебек», переведенном на русский язык, писала «ИЛ» в № 3 за 1970 г.). Однако уже более десяти лет его имя не появлялось на печатных страницах. Было известно, что он стал телевизионным сценаристом, поставщиком довольно заурядной продукции.

В своем новом романе, вышедшем после столь долгого перерыва, он, по словам критика Гюнтера Блёккера, с «ошеломляющим драматизмом» рассказал о том, что с ним произошло. Герой романа — телевизионный сценарист, в прошлом писатель. Ему предстоят очередные съемки, и по ходу их он погружается в воспоминания, размышляет о прожитой жизни.

Автобиографический характер книги, пишет рецензент в газете «Франкфуртер альгемайне», очевиден.

Пристально вглядываясь в самого себя, герой Зойрена вдруг осознает, что из писателя, когда-то всерьез

на снимке: четырехлетний Алеш Монтелеоне — исполнитель роли Ю. Фучика в раннем детстве.

(Еженедельник «Забер»)

задумывавшегося над жизненными проблемами и пользовавшегося заслуженным успехом, он незаметно превратился всего лишь в «поставщика продукции», который полностью зависит от требований «заказчика». «Мне стало ясно, что я превратился в безликого автора с фирменным знаком».

Книга разоблачает нравы, царящие на западногерманском телевидении, вскрывает циничное равнодушие дельцов, которые заботятся о чем угодно, только не об искусстве. «Вся фальшь, которую я произвожу, так растворяется в общей продукции, что это даже незаметно», — говорит Зойрен устами своего героя. Во всем господствует «закон аппарата», все совершается по заведенной схеме: «мертворожденные фильмы, новые субсидии, новые съемки и так далее».

Рассказчик, от лица которого ведется повествование, решает наконец порвать со своими работодателями, обрести независимость и написать действительно свою книгу. По мнению рецензента, эта вторая часть романа удалась писателю меньше. Попытка начать новую жизнь в горной деревушке, почти нетронутой цивилизацией, описание творческих проблем, которые одолевают автора в процессе трудной работы над книгой, слишком напоминают давно опробованные в литературе схемы. Это, однако, не умаляет критического пафоса нового романа Зойрена, возвращение которого в литературу можно считать успешным.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

КАКИМ ОН БЫЛ, МАЛЕНЬКИЙ ФУЧИК

Писатели, драматурги, кинорежиссеры не раз обращались к образу Юлиуса Фучика, привлекавшего их не только величием своего подвига борца-антифашиста, но и обаянием своей личности, ее удивительной цельностью и духовным богатством.

В большинстве посвященных Фучику художественных произведений показывалось, каким он был в годы своей зрелости; в последнее же время создано несколько работ о детстве Фучика, о становлении, о формировании характера того Юлиуса Фучика, которого знает сейчас все прогрессивное человечество. Среди этих работ новая книга Л. Фукса «Хрустальная туфелька» и новый фильм «Юлек» режиссера Оты Коваля, который вместе с Миланом Павликом является также и автором сценария.

О замысле фильма О. Коваль говорил: «Юлек был прекрасный человек. Фильмом о его детстве мы стремимся приблизиться к нему. Картина обращена прежде всего к молодежи, чтобы она знала, что и герой бывает скромным и простым».

Жанр фильма весьма трудный и редкий: это фильм-поэма, в котором действие органически спаяно с музыкой, а жизнь маленького героя воспроизводится не в непрерывном, хронологически точном течении событий, а лишь в ее отдельных, самых значительных этапах. Такими этапами были: участие Юлека в спектаклях Смиховского театра, переезд семьи из Праги в Пльзень, первые жестокие удары начавшейся мировой войны.

Поскольку фильм представляет Юлиуса Фучика от раннего детства до двенадцатилетнего возраста, когда мальчик выпустил свой первый рукописный журнал «Слован» (и тем самым навсегда определил свою будущую профессию и по существу перешагнул порог детства), режиссеру пришлось привлечь на роль Юлека троих ребят, которые должны были воплотить три этапа жизни героя.

Фильм «Юлек», как и другие фильмы для детей, над которыми работал режиссер О. Коваль, не только увлекает ребят, но и заставляет их задуматься, помогает им находить своего героя, достойного подражания.

ЧИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

ГДЕ ПАМЯТНИК ПАБЛО НЕРУДЕ?

«Ни одна площадь, ни одна улица, школа или библиотека в Чили не носит

имени Пабло Неруды,— сообщает издающийся в Мадриде журнал чилийских демократов «Араукария де Чиле».—Останки поэта покоятся в скромной нише Общего кладбища в Сантьяго, и имя его выведено черной краской обычной малярной кистью, указывая лишь годы рождения и смерти, равно как по соседству на нишах с останками многих, никому не известных бедняков».

По сообщению журнала, недавно один мексиканский корреспондент совершил поездку по местам, связанным с Нерудой. Прибыв в Парраль — селение на юге страны, место рождения поэта,— он обнаружил, что небольшой монумент, воздвигнутый в свое время здешним муниципалитетом, был уничтожен военными властями, не желавшими, чтобы хоть что-то напоминало о том, что тут родился Неруда.

В последнее время не только писатели, но и представители разных слоев населения Чили начали кампанию за строительство памятника Пабло Неруде, и в печати отмечалось, что крупнейшие скульпторы мира были бы готовы участвовать в создании этого памятника, а средства могли быть собраны по народной подписке, путем устройства концертов, театральных постановок.

Хотя эта инициатива нашла теплый отклик в стране, однако кое-кто, в том числе нынешний президент Общества писателей Чили Луис Санчес Латорре, настроен скептически, считая, что режим не допустит, чтобы памятник Неруде возвышался в чилийской столице. Между прочим, асессор по вопросам культуры пиночетовской хунты Энрике Камнос Менендес уже заявил, что «настоящий момент еще не является подходящим, поскольку многие помнят Неруду как политического деятеля», и даже высказал «сожаление», что некоторые не могут отделить образ поэта от образа борца-антифашиста. Асессор поддержал высказывание Пиночета: «Да, мне нравятся отдельные стихи Неруды, но только любовные и те, которые посвящены отцам отечества, но не коммунистические». Со своей стороны, восьмидесятилетний критик рупора хунты, газеты «Меркурио», Эрнан Диас Арриэта счел нужным сказать: «Неруда, конечно, заслуживает всяческих памятников, однако нельзя забывать, что свою душу он продал дьяволу»

Дискуссии вокруг проблемы памятника Пабло Неруде, как сообщает «Араукария де Чиле», продолжаются, а тем временем его могила на протяжении всех этих лет остается местом паломничества патриотов Чили: у его ниши всегда лежат свежие цветы и записки, написанные наспех, со словами признания и любви к великому поэту-коммунисту.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор П. Е. [illegible] Фарафонтова.

Адрес редакции: [illegible] н 233-51-47.

Издатель[illegible]».

Сдано в набор 2.XI. 19[illegible] 11.XII. 1979 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9[illegible].-изд. л. 28,80.

Тираж

Ордена Трудового [illegible]тов народных
депутатов СССР» [illegible]ская пл., 5.

17 ИЛ

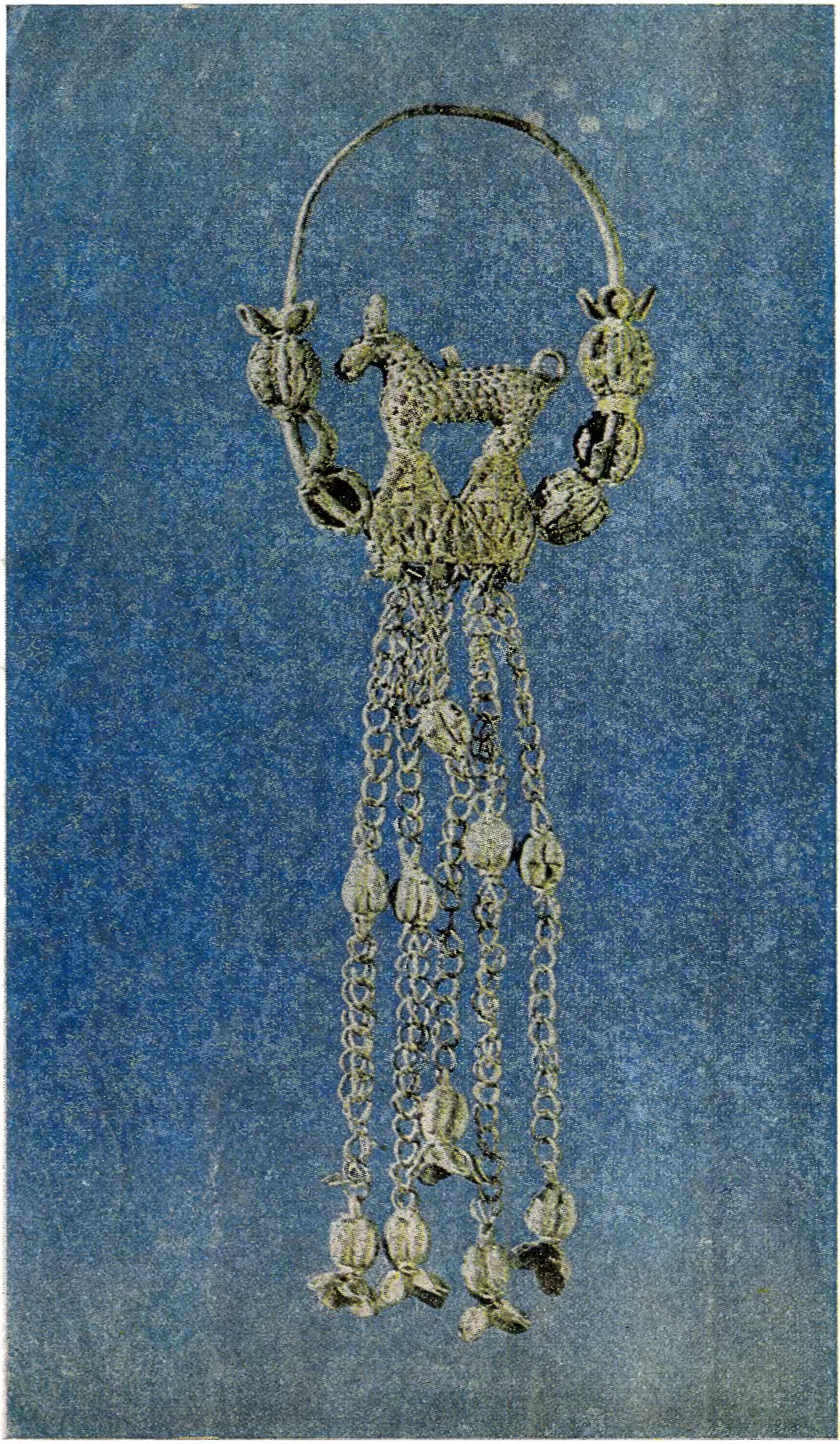
Литой бронзовый подвесок

Серебряный подвесок с желто-красной геммой

Позолоченные бронзовые серьги

Пуговица с орнаментом

Серебряная серьга

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394